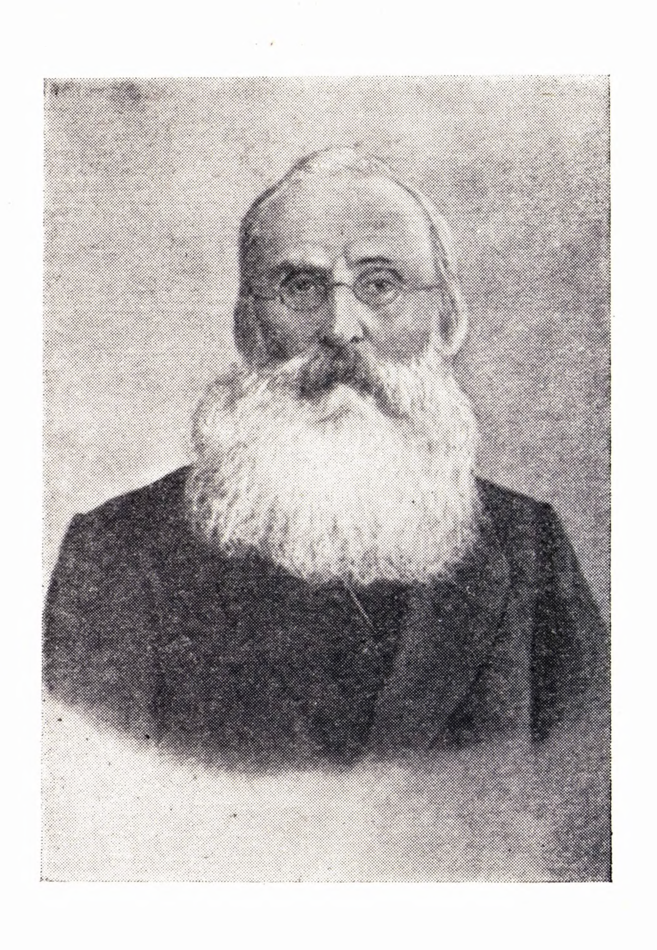
СЕРГЕЙ МАКСИМОВ

ИЗБРАННОЕ



СЕРГЕЙ МАКСИМОВ

ИЗБРАННОЕ

Иллюстрации **И. В. Тихонова**

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1981

Р1
М17

Подготовка текста, составление,
вступительная статья и примечания
С. И. Плеханова

Оформление **Ю. Алексеевой**

Максимов С. В.

М17 Избранное/Подготовка текста, сост., вступ. статья, примеч. С. И. Плеханова; Оформ. Ю. Алексеевой; Ил. И. В. Тихонова.— М.: Сов. Россия, 1981.— 560 с.

Имя писателя и этнографа С. В. Максимова (1831—1901) было широко известно читателю-современнику, его высоко ценили А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, И. С. Тургенев и другие писатели того времени.

В книгу вошли главы и отрывки из книг писателя «Год на Севере», «Лесная глушь», «Сибирь и каторга» и других, а также извлечения из известной советскому читателю книги С. Максимова «Крылатые слова».

М $\frac{70302-177}{М-105(03)81}$ 94—81. 4702010200 Р1

СТРАННИК

В истории русской культуры есть имена, которые принадлежат одновременно литературе и науке. Владимир Даль — это не только бессмертный «Словарь живого великорусского языка», но и превосходные рассказы из народной жизни. Николай Михайлович Карамзин и Николай Иванович Костомаров были наделены столь же крупным литературным даром, как и выдающейся проницательностью историков. В этом ряду стоит и имя Сергея Васильевича Максимова. Ныне к его творчеству в равной степени обращаются этнографы, фольклористы, историки, литературоведы. Наследие этого писателя, основательно забытое широким кругом читателей, никогда, тем не менее, не лежало под спудом — целые десятилетия ученые внимательно перечитывали книги выдающегося знатока простонародной России. Ссылки на произведения Максимова почти непременно встретишь на страницах исследований, посвященных прошлому нашего Севера, культуре, обрядам и верованиям старой деревни.

Максимов досконально изучил жизнь родного народа; даже в ту пору, когда традиционное многоцветье быта, восходящее к седой старине, было доступно наблюдению каждого,— даже тогда писатель намного превосходил своих современников в понимании строя жизни и мировоззрения трудового крестьянства, городской бедноты, всякого рода ремесленников. Один из близких знакомых Максимова свидетельствовал: «Я прочел более или менее все, написанное Максимовым, и тем не менее в беседах с ним почерпал все новые факты, расширявшие и углублявшие мое знание народа. Максимов представлял собою сокровищницу наблюдений и знаний в этой области. Он до тонкостей знал народную жизнь тех многочисленных местностей, которые он объездил или обошел» [1].

Эти обширные познания писатель приобрел не только в путешествиях. С самого детства приобщившись к стихии народного

[1] Сементковский Р. И. Встречи и столкновения.— Русская старина, 1912, декабрь, с. 572.

быта и языка, он впоследствии только углублял свое знакомство с различными сторонами русской жизни, с теми ее особенностями, которые порождались новыми явлениями в общественной жизни, в хозяйственном строе государства.

Сергей Васильевич Максимов родился 7 октября 1831 года в посаде Парфентьеве, одном из глухих селений Костромской губернии. Давным-давно вышедший в заштат, посад по старой памяти именовался «бывым городом», хотя о прежнем громком статусе напоминала лишь планировка улиц да звание «мещанина», отличавшее рядового обитателя Парфентьева от окрестных крестьян. На деле же иной посадский обыватель жил неказистее деревенских соседей — голь, нищета достались в удел этим «вольным» поселянам, окруженным крепостным морем.

Отец Максимова, парфентьевский почтмейстер, выглядел на таком фоне чуть ли не аристократом. В захудалом посаде, где не было ни помещиков, ни круга чиновников, облаченный в форму человек воспринимался, вероятно, как наместник высших сил на грешной земле. Уже это одно должно было проложить разделительную черту между «почтальонским дитем» и его сверстниками из простонародья. К тому же родитель будущего писателя принадлежал к господствующему сословию — дворянству. И хотя иные из таких мелкопоместных «господ» сами за плугом босиком ходили, дети их имели возможность получить лучшее образование, нежели ребятня из неграмотных обывательских семей. Отец Максимова был как раз из таких «малодостаточных» дворян, которые стремились дать своим детям сносную выучку,— после посадского народного училища будущий писатель поступил в Костромскую гимназию, а по окончании ее отправился в Москву, в университет.

Но прежде чем воспринять азы грамоты, Сергей Максимов прошел хорошую уличную «школу». И этому не воспрепятствовали те сословные рамки, которые как будто должны были отгородить его от простолюдинов. Двух лет оставшись без матери, мальчик оказался на попечении нянек, которые, по простоте душевной, не заботились об ограждении своего питомца от «тлетворного» влияния обывательских чад. И рос он как трава растет; товарищами детских игр его были чумазые ребятишки из окрестных подслеповатых изб. Именно в эти ранние годы зародилось у Максимова тонкое чувство родного языка, понимание простонародной речи, не скованной условностями школьной грамматики. Примечательно, что другой блестящий знаток русского слова, во многом схожий с Максимовым по своей литературной судьбе, его ровесник Николай Лесков, воспитывался в детстве в таких же точно условиях — происходя из семьи полунищего дворянина, он, по образу занятий, ничем не отличался от крестьянских мальчишек.

«Уроки» обывательского Парфентьева дополнялись тем нравственным влиянием, которое оказывал на мальчика его отец, слывший весьма начитанным и передовым человеком. Известно, что в тесной дружбе с семейством парфентьевского почтмейстера состоял опальный поэт Катенин. Отрешенный от генеральской должности на Кавказе, он с 1838 года затворился в костромском имении, наполняя окрестности слухами о своих причудах и шумных забавах. В общении с отцом Максимова изгнанник отводил душу. Знакомство с Катениным, беседы с ним несомненно должны были повлиять на формирование юношеских представлений и Максимова-сына. Принадлежа по своим взглядам к декабристскому кругу, Катенин по своим литературным убеждениям был «старовером». Иные из современников считали его чуть ли не архаистом, родственным известному адмиралу А. С. Шишкову; может быть еще и потому, что поэт в собственной художественной практике стремился возродить метрику и ритмику древней русской литературы и фольклора.

Шли сороковые годы. В обществе происходили глубинные процессы, определившие дальнейшее развитие России. Учась в Костроме, Максимов был в курсе всех заметных событий культурной жизни страны — в ту пору губернская гимназия считалась одним из лучших провинциальных учебных заведений такого рода. Десятком лет раньше из ее стен вышел А. Ф. Писемский, одновременно с Максимовым в ней учился А. А. Потехин, будущий известный драматург. Юноши подружились, под влиянием своего старшего земляка Сергей прочел многотомную «Историю государства Российского» Карамзина, романы Загоскина и Вальтер-Скотта. Увлечение историей было вообще характерно для русской молодежи тех лет.

Литература чутко отзывалась на интерес общества к прошлому родины, к жизни простого человека —«сеятеля и хранителя». Пионерами народоописательной словесности стали Даль, Сахаров, Снегирев, Терещенко. Появились альманахи вроде «Очерков России», издаваемых Вадимом Пассеком, ставившие своей целью углубленное изучение русской национальной жизни. Иные из материалов, помещавшихся здесь, отличались поверхностностью, слащавостью, но уже само обращение к «низкому» предмету говорило о многом — ведь еще недавно жизнь мужика считали просто недостойной внимания изящной словесности. Большой успех в публике имели такие издания, как «Наши, списанные с натуры русскими», вышедшее четырнадцатью выпусками, или даже «Картинки русских нравов», убогие по своему художественному уровню. А выпущенные Некрасовым два тома «Физиологии Петербурга» и продолжение их —«Петербургский сборник»— стали насто-

ящими событиями в тогдашней литературной жизни. Народоведение набирало силу по мере того, как крепли самобытные силы русской литературы и журналистики. Подсчитано, что только за десятилетие 1839—1848 годов в России было опубликовано около 700 физиологических очерков.

Подъем национального самосознания по-своему осмыслялся и в правительственных сферах империи. К описываемому времени относится появление формулы «православие, самодержавие, народность», автором которой был министр просвещения С. С. Уваров. Но под знаком уваровской триады развивалась неглавная, маломощная линия русской культуры. Поэтому понятно, что явившаяся на общественной авансцене влиятельная группа молодежи, преданной заветам старины, отвергавшей западный путь развития, вызвала повышенный интерес власть имущих. Они оказались на подозрении из-за своей оппозиции к таким основополагающим институтам тогдашней социально-экономической системы, как крепостное право, «плененная» государством церковь, судебная практика. Последовало высочайшее распоряжение о негласном полицейском наблюдении за бородатыми молодыми людьми. А после европейских событий 1848 года, когда в одно лето по многим странам Европы прокатилась волна революций, официальная народность еще более усилила надзор за народностью неофициальной.

В такой атмосфере молодой Максимов заканчивал гимназический курс в Костроме. В выпускном классе он подготовил речь «Ломоносов как первый русский ученый», прочитав ее во время торжеств, на которых присутствовали губернские власти, юноша произвел большое впечатление на аудиторию. Особенно, как передавали очевидцы, был тронут местный архиерей. Однако ни этот публичный успех, ни отличные оценки по всем наукам не принесли Максимову золотой медали, так как строптивому ученику не выставили удовлетворительный балл за поведение.

Летом 1850 года будущий писатель приезжает в Москву. Он мечтал о поступлении на филологический факультет университета, но намерению его не суждено было осуществиться. Под впечатлением революционных событий на Западе и появления своих, российских «крамольников»—«петрашевцев»— правительство Николая I со свойственной ему решительностью поспешило прикрыть «рассадники заразы»— на все факультеты, кроме медицинского, прием был приостановлен. Волей-неволей пришлось вчерашнему гимназисту определяться в медики.

Освоившись в Москве, Максимов свел дружбу с несколькими одаренными молодыми людьми, среди которых особенно выделялись будущий историк Дмитрий Иловайский, ставший впоследствии

знаменитым врачом Сергей Боткин и Иван Колюбакин, мастерски читавший комедии Гоголя. Друзья увлекались литературой, читали свежие номера «Москвитянина», в тот год объединившего лучшие молодые литературные силы славянофильства — в журнале печатались А. Н. Островский, А. Ф. Писемский, Аполлон Григорьев. Еще жив был Гоголь, и компания друзей Максимова специально ходила на Никитский бульвар посмотреть на гуляющего «Гомера русской словесности» (как именовал его восторженный Константин Аксаков) — автор «Мертвых душ» жил тогда неподалеку.

Дар чтеца вскоре сделал Ивана Колюбакина широко известным. С ним познакомился А. Н. Островский и полюбил талантливого юношу. Однажды знаменитый драматург пришел на Спиридоновку, где Колюбакин жил вместе с Максимовым под самой крышей одного из доходных домов. Там и состоялось их знакомство. А вскоре Максимов появился в редакции «Москвитянина» и увидал тех, чьи имена были на слуху у читающей России,— Писемского, Мельникова-Печерского, Погодина. В это время студент-медик и сам кое-что пописывал: то были переводы легковесных французских книжонок, выполнявшиеся по заказу полуграмотных издателей Никольского ряда. Став в Москве завзятым театралом, Максимов возмечтал было написать историю русского театра и стал собирать материалы для задуманного труда, но затем охладел к этой идее. Его все больше захватывала мысль об изучении жизни русского народа. Впоследствии Аполлон Майков писал ему: «Вы помните наше знакомство с Писемским: не знаю, он ли был крестным отцом ваших первых произведений, но помню, что его трезвый взгляд на жизнь и искусство сильно действовал на вас, еще юношу, и не остался без влияния на дальнейшие ваши труды. Он, кажется, первый и указал вам на изучение жизни русского народа, найдя в вас и нужную для того подготовку, меткий взгляд и разумную наблюдательность»[1].

В 1852 году Максимов перебирается в Петербург в надежде поступить там на филологический факультет университета. Но и здесь ему не повезло, и он определился для продолжения образования в военно-медицинскую академию. Литературные упражнения, однако, не были оставлены. Через посредство Л. А. Мея, активно сотрудничавшего в «Москвитянине», Максимов знакомится с предприимчивым журналистом А. В. Старчевским, как раз тогда задумавшим выпускать «Справочный энциклопедический словарь». Начинающий литератор поместил в этом издании ряд анонимных заметок и между ними обстоятельную статью о В. И. Дале. (И этот факт, безусловно, свидетельствует о тогдашнем направ-

[1] Архив Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), ф. 565, № 2, л. 7.

лении интересов будущего писателя.) Старчевский был, кроме всего прочего, помощником О. И. Сенковского, редактора «Библиотеки для чтения», и фактически вел все дела журнала. В ту пору «Библиотека для чтения» по числу подписчиков стояла на первом месте среди русских периодических изданий. В 1854 году здесь появилось имя Сергея Максимова, выступившего в январской книжке журнала с очерком «Крестьянские посиделки в Костромской губернии». В течение того же года он напечатал в «Библиотеке» еще пять материалов, которые сразу обратили на себя внимание читателей. Такой взыскательный знаток родного языка, как И. С. Тургенев, пришел в восторг от очерка «Сергач».

В литературную среду Петербурга молодому писателю помог войти и М. Л. Михайлов, впоследствии широко известный революционный демократ. На склоне лет Максимов тепло вспоминал об этом отзывчивом человеке: «В редакции «Библиотеки для чтения» я с ним познакомился, был им обласкан, услышал первые приветливые слова и поощрение к тем работам по изучению крестьянского быта, которые я тогда робко начинал. Он свел меня к Тургеневу и ввел в тот кружок литературных корифеев, который тогда около него группировался. Он указал Панаеву на одну из моих статеек, и из уст последнего я получил первую ободрительную и поощрительную похвалу в печати»[1].

Немалую роль в литературной судьбе Максимова сыграли также братья Курочкины, старший из которых стал впоследствии знаменитым сатириком и издавал позднее весьма популярный журнал «Искра». Один из знакомых писателя впоследствии напишет: «...самое решительное влияние на окончательный выбор им дальнейшего поля деятельности имел Николай Степанович Курочкин, в то время кончавший курс в медицинской академии и сам горевший желанием примкнуть к литературе. Дружба с ним и братом его, известным переводчиком Беранже, Василием Степановичем, и совместное с ними жительство в одной квартире, которую посещало множество петербургских и приезжавших из Москвы литераторов, главным образом литературной богемы, определили навсегда тот путь изучения народного быта, по которому с тех пор последовало развитие»[2] Максимова.

Дружба с известным поэтом-сатириком связывала Максимова и позднее. На склоне лет в одном из своих писем он называл себя «другом и единственным наследником»[3] В. С. Курочкина.

---

[1] Максимов С. В. За А. Ф. Писемского.— Новое время, 1889, № 4880.

[2] Архив Государственного литературного музея, ф. 349, № 2.

[3] Архив Государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина, ф. I, № 1656.

Ободренный похвалой Тургенева, начинающий литератор окончательно решает посвятить себя исследованию и описанию народного быта. Летом 1855 года он отправляется в свою первую «экспедицию»— во Владимирскую и Вятскую губернии с целью изучения традиционных ремесел. Его привлекал также и таинственный жаргон офеней — торговцев вразнос. Села, из которых по всей Руси расходились коробейники, выхвалявшие свой грошовый товар на улицах городов и деревень, располагались в основном в нескольких соседних уездах Владимирщины.

Облачившись в скромное парусиновое пальто, представляясь попутчикам то семинаристом, ищущим место учителя, то господским человеком, получившим «вольную», новоявленный этнограф смело ринулся в гущу жизни.

Максимов много увидел в этой первой своей поездке. Результатом странствий стали очерки, один за другим появившиеся в «Библиотеке для чтения» в течение года, последовавшего за поездкой. Когда позднее писатель собрал свои первые работы в книге «Лесная глушь», М. Е. Салтыков-Щедрин писал о ней: «Г-н Максимов принадлежит к числу лучших наших этнографов-беллетристов, и изданное им ныне новое собрание очерков и рассказов служит несомненным тому доказательством. Драгоценнейшее свойство г. Максимова заключается в его близком знакомстве с народом и его материальною и духовною обстановкою. В этом смысле рассказы его должны быть настольною книгой для всех исследователей русской народности...» [1]

Писатель начал свой путь в литературе в переломную эпоху. Со смертью Николая I, совпавшей с поражением России в Крымской войне, обозначились новые веяния в общественной жизни, которые захватили даже верхи, включая окружение молодого императора Александра II. Приверженцем некоторых перемен оказался и брат монарха великий князь Константин Николаевич, возглавлявший военно-морское ведомство. Под впечатлением военного поражения «прогрессистам» из окружения монаршего брата, по всей вероятности, всюду мерещились причины превосходства англо-французов в Крымской кампании, и они уверены были, что укрепить военную мощь страны можно будет с помощью заимствования западных принципов строительства армии. Поскольку было известно, что в империи Наполеона III новобранцев во флот набирали из числа жителей приморских местностей, с детства хорошо знакомых с ремеслом моряка, великому князю немедленно подали мысль ввести подобную практику и в русском флоте. Но

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч. в 20-ти т. Т. 9. М., 1970, с. 440.

прежде следовало изучить обычаи населения поморий России, а равно и быт рыбацких поселений по берегам крупных рек. Так возникло предложение отправить для исследования и описания морских побережий и больших водных путей страны талантливых литераторов, успевших достаточно ярко заявить о себе. В «литературной экспедиции» согласились принять участие такие крупные писатели, как Островский и Писемский. М. Л. Михайлов вызвался отправиться на реку Урал для описания рыболовецких обычаев тамошнего казачества. И он же вновь посодействовал своему молодому коллеге — по представлению Михайлова влиятельный издатель «Современника» И. И. Панаев написал рекомендательное письмо директору канцелярии морского министерства, в котором говорилось: «Г<осподин> Максимов на свой счет путешествовал с целью изучать русский быт и нравы, а теперь он желает быть присоединенным к какой-нибудь из экспедиций, назначаемых от морского министерства. Я вам смело рекомендую этого молодого человека и уверен, что его трудами будут довольны»[1].

В результате всех этих хлопот Максимову в удел достался самый «несоблазнительный» край — европейский Север. Избрав неизученные, малонаселенные пределы, молодой писатель обрекал себя, конечно, на бо́льшие (сравнительно с другими участниками годичной командировки) трудности. Но — и это оказалось главным — он получил возможность рассказать о целой стране, никем по-настоящему не исследованной и не описанной. Результатом поездки было то, что имя Максимова сразу и прочно утвердилось в русской литературе. Это произошло после выхода в свет его двухтомного сочинения «Год на Севере» (1859).

В 1856—1857 годах писатель проехал сотни верст вдоль побережья Белого моря, посетил Соловецкие острова и дикий в то время Мурман, проплыл по Пинеге, Мезени и Печоре. Он узнал самобытную культуру поморов, познакомился со старообрядческими гнездами, увидел забытый богом Пустозерск, где когда-то скончал свои дни мятежный протопоп Аввакум. Рассказ обо всем этом произвел огромное впечатление на читателей. На появление книги Максимова откликнулись крупнейшие журналы того времени —«Отечественные записки», «Библиотека для чтения». «Современник» напечатал отзыв видного прозаика и критика А. В. Дружинина, а в «Русском слове» выступил Н. В. Шелгунов. Заслуги писателя в изучении Севера высоко оценили ученые — Российское географическое общество присудило ему за двухтомный художественный отчет о путешествии по «странам полунощным» золотую медаль.

[1] Максимов С. В. За А. Ф. Писемского.— Новое время, 1889, № 4880.

Но еще до выхода в свет книги о Севере Максимов предпринял третье путешествие. Целью его на этот раз было изучение быта крестьян черноземной России. Он посетил пять губерний, всюду рекомендуясь как торговец средней руки. Одевшись соответственно объявленному званию («костюм состоял из поддевки так называемого серонемецкого сукна со складками на пояснице с боков и сзади, высоких до колен сапог, мерлушечьей шапки и романовской овчинной шубы на плечах»), Максимов без труда входил в доверие к мужикам и сумел собрать нужный ему материал гораздо скорее, чем предполагал вначале. Позднее он написал книгу «Куль хлеба и его похождения»— своего рода энциклопедию земледелия и хлеботорговли на Руси, предназначенную для детей и молодежи; книга сразу стала очень популярна и выдержала множество изданий.

Военно-морское начальство было весьма довольно результатами изысканий Максимова на Белом море, и пригласивший его для беседы великий князь предложил ему отправиться в новую поездку по поручению морского ведомства. В те годы происходило интенсивное освоение пустынного Амура русскими поселенцами, однако в печати высказывались сомнения в целесообразности заселения дикого края. Максимову предложили детально обследовать состояние новообжитых мест и беспристрастно оценить результаты переселенческого движения.

Согласившись вновь отправиться в дальнюю дорогу, писатель, получив командировочные и запасшись грозными бумагами с сургучными печатями, отбыл на Восток летом 1859 года. О том, как встречали Максимова на Амуре, достаточное представление дает «Открытое предписание старшим станиц», выданное посланцу морского ведомства наказным атаманом забайкальского казачьего войска (сохраняем орфографию подлинника.— *С. П.*). «Предписывается сим при следовании командированному по воле Его Императорского Высочества Генерал-Адмирала Литератору Максимову наряжать немедленно от станицы до станицы потребное число казаков для сопровождения его за прогонные деньги».

Проследовав с таким эскортом к устью Амура, путешественник погрузился со своим багажом на борт пароходного корвета «Америка» и прошел на нем полторы тысячи миль до японского порта Хакодате. Познакомившись с Японией, Максимов в ту поездку успел еще заглянуть в Маньчжурию,— его интересовал быт китайцев в приграничных городах Небесной империи. Обо всем увиденном за этот год он рассказал в книге «На Востоке».

На возвратном пути с Дальнего Востока писатель исполнил еще одно официальное поручение — ознакомился с бытом каторжан и ссыльных. Он был, по сути дела, первым литератором, с

позволения властей допущенным на все круги тюремного и каторжного ада. Максимов получил возможность ознакомиться с архивами сибирских централов и острогов — сделав множество выписок, он затем воспроизвел их на страницах своего объемистого сочинения «Тюрьма и ссыльные», предложенного вниманию высокого начальства. Однако книгу признали неудобной для опубликования. И все же рукопись была приобретена морским министерством и издана им ограниченным тиражом для распространения в секретном порядке. Прошел десяток лет, прежде чем писателю удалось напечатать переработанные главы из книги в «Вестнике Европы» и «Отечественных записках». И когда в 1871 году «Сибирь и каторга» (так теперь называлось все сочинение) появилась отдельным изданием, она имела феноменальный успех. Максимов вновь открывал русскому читателю неведомую страну — теперь это был мир кандальников, уголовных и так называемых государственных преступников. Значительную часть своего труда писатель посвятил политическим ссыльным — причем в своем изложении он опирался как на архивные материалы, так и на беседы с теми, кто на долгие десятилетия был заточен «во глубине сибирских руд». Познакомившись в Забайкалье с декабристом Д. И. Завалишиным, писатель узнал от него много подробностей о жизни изгнанников. Большая глава в «Сибири и каторге» о декабристах оказалась по тому времени наиболее обстоятельным и связным рассказом о годах, последовавших за ссылкой в каторжные работы участников восстания на Сенатской площади. Максимов с явной симпатией повествовал об этих людях, что в немалой степени обусловило успех книги в демократических кругах.

Но прежде чем ссыльно-каторжная эпопея стала достоянием читающей публики, автору ее пришлось еще немало попутешествовать в поисках «сюжетов» для своих книг. По возвращении писателя из Сибири морское ведомство предложило ему отправиться в новую командировку — на сей раз на Каспий и на реку Урал. И он вновь соглашается, ибо, как писал он в то время одному из своих корреспондентов, «...устойчивое упорное преследование заветных идей изучения России через посредство путешествия... поставил главной целию жизни»[1]. Плодом поездки по Каспийскому побережью, которая состоялась в 1862—1863 годах, были очерки о нравах туземного населения этих мест, а также поселившихся здесь русских сектантах.

После этой поездки писатель на несколько лет вернулся к оседлому образу жизни. Материала, собранного в странствованиях по Руси, хватило на долгие годы. Яркие, написанные сочным

[1] Щукинский сборник. Вып. X. М., 1912, с. 435.

языком очерки Максимова постоянно появлялись в самых читаемых журналах той поры. Слава его как непревзойденного знатока жизни народа крепла с каждой новой книгой. Понятен поэтому выбор товарищества «Общественная польза», пригласившего его в 1865 году редактировать издания для народа, которые должны были печататься на средства, пожертвованные благотворителями. За короткое время Максимов подготовил к печати два десятка книжек, причем половина из них написана им самим. В то время дело это было незнакомое — прежде простому человеку перепадало от книгонош и офеней разве что незатейливое чтиво на лубочных листках да грошовые серобумажные переложения с французского или немецкого (вроде тех, что когда-то делал и сам Максимов по заказу доморощенных издателей Никольского рынка). Произведения же, выходившие в эту пору из-под его пера — «Край крещеного света», «Крестьянский быт прежде и теперь», «О русских людях», «О русской земле»,— отличались доступностью изложения, прекрасным языком и в то же время серьезностью, научной достоверностью. Недаром все написанное тогда Максимовым постоянно переиздавалось, расходясь по стране в десятках тысяч экземпляров. К примеру, «Край крещеного света», повествование о многочисленных народах и племенах, населяющих Россию, выдержало более десяти изданий. В роли просветителя Максимов продолжал оставаться, в сущности, всю свою жизнь. Бескорыстное, горячее служение народу было главным делом его жизни. И не случайно многие демократические журналы той поры не только предоставляли ему свои страницы, но и положительно оценивали его литературную деятельность. Сам писатель так определял содержание своего творчества: «...странствовал долго, забирался далеко, видел многое и написал много. Когда нужда указала на литературный заработок — в деревню я унес свою любознательность, изучая беспомощную нищету, которая с малых лет и меня самого ласкала и любила. Любовь помогла разобраться и убедиться воочью в том, что под деревенскими лохмотьями бьется горячее сердце, что разбросанный и неприбранный хлам есть не что иное, как вчерашние следы неустанной борьбы на жизнь и смерть с суровой природой, что эта борьба руководится практическим изобретательным умом, направляется богатырскими силами, могучим народным гением. В поисках за этими очевидными следами и в посильном подборе точных доказательств я с наслаждением увлекся на все эти изжитые литературные годы»[1].

Последнее из значительных путешествий Максимова состоялось в 1867—1868 годах, когда Российское географическое общество

---

[1] Архив Пушкинского Дома, ф. 326, № 43.

отправило его в составе этнографической экспедиции для изучения Северо-Западного края — Смоленщины и Белоруссии. С дороги писатель посылал корреспонденции в «Голос»— сотрудничество с издателем этой влиятельной ежедневной газеты А. А. Краевским у него началось в 1863 году и продолжалось в течение многих лет. Часть материалов, собранных во время этой поездки, была использована Максимовым для очерков, помещенных в журнале «Древняя и новая Россия» и роскошном многотомном издании «Живописная Россия». Другая часть наблюдений нашла место на страницах большого труда —«Бродячая Русь Христа-ради», впервые опубликованного в «Отечественных записках». Познакомившись с отдельным изданием книги, А. Ф. Писемский, один из ближайших друзей Максимова, писал со свойственной ему желчностью: «Спасибо тебе за высылку твоей книжки, с которой я теперь знакомлюсь с великим удовольствием: эк, какой мирок ты разных гадин вывел; впрочем, надо сказать правду, и другие более высшие прослойки нашего общества не лучше»[1]. «Бродячая Русь» в том виде, в каком она увидела свет, составила только часть задуманного, но не осуществленного Максимовым многотомного исследования. Перед читателем книги прошли разного рода попрошайки и мошенники, собиравшие подаяния якобы «на погорелое место» или «на построение божьего храма». Может быть потому, что книга вышла несколько одноплановой — с уклоном в обличение скитающегося люда,— она не имела такого успеха, какой выпал на долю других сочинений Максимова. И в художественном отношении «Бродячая Русь» уступает другим крупным трудам писателя: здесь много сырого, неглубоко осмысленного материала.

После возвращения из путешествия по Белоруссии Максимов сразу же определяется на службу. Обремененный к тому времени семьей, писатель очень много работал, но тем не менее постоянно не вылезал из долгов и был просто не в состоянии прокормиться литературными заработками. Вот почему он согласился занять место редактора «Ведомостей Санкт-Петербургского градоначальства и Санкт-Петербургской городской полиции». С марта 1868 года он в течение тридцати лет ежедневно отправлялся в контору издания, дабы вычитывать обширные полосы объявлений и «Дневник происшествий», пестревший такими заголовками: «Укушение собаками», «Неосторожная езда», «Тяжкий ушиб», «Обжоги», «Раздавленный вагоном», «Укушение кошкою», «Вывих плеча», «Укушение лошадью». Штат редакции был мизерный, и Сергею Васильевичу приходилось нелегко. В одном из своих писем

---

[1] Писемский А. Ф. Письма. М.— Л., АН СССР, 1936, с. 349.

Д. И. Завалишину писатель жаловался: «К этой моей редакции присоединилась нежданная и негаданная вторая, по изданию Вестника Общества попечения о раненых и больных воинах, от которой, несмотря на незначительное вознаграждение и на кучу дел, я не имел права и не был в силах отказаться... Редакция Вестника попечения о раненых и больных пристигла меня врасплох. Между прочим эти хлопоты по новому и лишнему делу заполнили и тот скудный досуг, который кое-как выбивался для меня среди беготни за статистическими и иными полицейскими сведениями и сидений до 3 часов ночи в типографии. Тут и там я один без помощников и сотрудников»[1]. И несколько позднее Максимов сообщал прежнему адресату: «Я до 5 часов ночи сижу в типографии, все пишу сам, и каждая статья стоит нескольких фунтов крови»[2]. Совершенно непонятно, когда Максимов успевал писать свои произведения (а печатался он по-прежнему часто). Если добавить к этому, что у редактора «Ведомостей» нередко случались неприятности по службе, что писателю приходилось вести изнурительные тяжбы с полицейским начальством из-за вмешательства последнего в редакционные дела, то выдержка, целеустремленность Максимова покажутся вовсе незаурядными.

С водворением Максимова на углу Большой Садовой и Большой Итальянской, где помещались «Ведомости», заканчивается для него полоса странствий по русской земле. Непродолжительные поездки на родину или в Москву уже не могли дать ему значительного материала для новых сочинений. Тем не менее имя писателя постоянно появлялось на страницах газет и журналов — запас наблюдений, почерпнутых в прежние поездки, был велик.

В эти годы заметно возрос его интерес к истории, в каждом новом произведении того периода видно стремление отыскать исторические корни бытовых явлений. Дружба с известными любителями и знатоками старины, среди которых были профессор Н. И. Костомаров и артист И. Ф. Горбунов, также способствовала развитию интереса к прошлому России. На склоне лет он вспоминал: «В течение 3—4 лет, почти ежедневно, после занятий в Публичной Библиотеке, мы, по соседству, собирались пить чай в Балабинском трактире, который на нашем языке назывался Балабаевской обителью, где архимандритом был назначен я, сам Костомаров носил чин канонарха, книгопродавец Д. Е. Кожанчиков — иконома; все прочие, приходившие к нам на беседу, носили общее имя «благодетелей»[3].

---

[1] Щукинский сборник. Вып. X. М., 1912, с. 450—451.
[2] Там же, с. 454.
[3] Архив Государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина, ф. I, № 1656.

В число близких друзей Максимова входил выдающийся скульптор М. О. Микешин, автор памятников «Тысячелетие России» в Новгороде, Екатерине II в Петербурге и Богдану Хмельницкому в Киеве. Писатели С. Н. Атава (Терпигорев) и В. О. Михневич также были непременными участниками встреч у Максимова или в чайной «обители». Это был круг людей, великолепно знавших русскую старину, понимавших толк в древнем красноречии — переписка друзей полна «словес извитием» в духе «ветхих» писаний монашествующей братии. В совершенстве владел приемами сего археографического юмора и Максимов.

У писателя постоянно рождались новые замыслы. То возникала идея написать историю русской бороды, то приходило желание изъяснить читателю значение фасонов шапок и шляп на Руси, то просился на бумагу рассказ о традиционном поведении русского человека в гостях. Будучи знатоком родного языка, тонко понимая все оттенки живой речи народа, Максимов во всех произведениях стремился докопаться до сути, понять происхождение того или иного выражения. В старых рукописях и книгах, с которыми писателю постоянно приходилось иметь дело, он наталкивался на любопытные объяснения речений, смысл которых с годами затемнился. Многие из подобных выражений можно было понять, лишь зная обстоятельства их зарождения. Будучи в деталях знаком с ремеслами и нравами разных местностей России, этнограф также находил в народных занятиях и обычаях истоки всякого рода присловий, бытующих в языке. Наконец он решил посвятить толкованию крылатых слов целую книгу. В 1883 году на страницах крупной ежедневной газеты «Новости» стали появляться заметки Максимова под общим названием «Не спуста слово молвится». В последующие годы статьи из этого цикла печатались в юмористическом журнале «Осколки» и в газете «Новое время». Когда «Крылатые слова» (так писатель назвал книгу) появились отдельным изданием (1890), они вызвали многочисленные отклики, в том числе и крупных ученых-языковедов. Научные журналы подвергли Максимова довольно суровой критике за балагурство и рассказывание не относящихся к делу анекдотов. Но эти претензии, в сущности, были неосновательны, ибо «Крылатые слова» являются художественным произведением, в котором в свойственной именно Максимову манере давалось объяснение многим русским идиомам. Если взять главу из книги, посвященную толкованию словосочетания «впросак попасть», то подробное описание традиционных промыслов Ржева (плетение канатов) покажется, излишним только тому, кто видит в этой книге просто справочник. Но при всем том Максимова отличали добросовестность и стремление к предельной точности. Поэтому в повторном

издании «Крылатых слов» он исключил два десятка толкований, вызвавших несогласие рецензентов, но возражал против многих объяснений, предложенных ими. Готовя второе издание, он обращался, в поисках достоверных толкований, не только к книгам, но и к знакомым, известным знатокам старины. Так, в письме к московскому меценату и коллекционеру А. А. Бахрушину он просил: «Не забудьте черкнуть коротенький ответ на маленький вопрос: имеется ли в Замоскворечье Ивановская улица (Кожевники?), а в особенности какая-нибудь Ивановская площадь — исстари»[1]. Это было необходимо для уточнения толкования выражения «во всю Ивановскую», которое вызвало разноречивые мнения. Однако, собрав дополнительные сведения, Максимов оставляет в новом издании прежнее толкование идиомы.

К концу жизни правительство назначило Максимову за литературные заслуги небольшую пенсию, и он смог наконец оставить службу в «Полицейских ведомостях». Теперь пришел черед мемуаров — в эти годы им написаны воспоминания о Л. А. Мее, И. Ф. Горбунове, А. Н. Островском. Он и раньше пробовал свои силы в этом жанре: заметки его об А. Ф. Писемском, о литературной экспедиции, о декабристе Д. И. Завалишине, предисловие к сочинениям П. И. Якушкина, в котором он рассказал о своих впечатлениях от этого примечательного человека,— уже одно это могло бы составить Максимову репутацию талантливого, проницательного писателя.

Последняя из крупных работ Максимова увидела свет за два года до его смерти, в 1899 году. Он назвал свою книгу «Нечистая, неведомая и крестная сила» и соответственно поделил ее на три части, посвященные суеверным представлениям народа о всякого рода чертях, домовых и ведьмах, о реликтовых верованиях в магическую силу природных стихий, восходящих ко временам язычества, и, наконец, о так называемом бытовом православии — праздниках и обрядах христианского календаря, также наполненных языческим смыслом. Последняя из частей книги задолго до возникновения замысла этого сборника на протяжении многих лет появилась в виде отдельных статей в газетах и журналах. А идея собирания сведений о «нечистой» и «неведомой» силе родилась у писателя не без участия известного в те годы благотворителя князя В. Н. Тенишева, создавшего Тенишевское реальное училище в Петербурге. Поныне широко известно смоленское имение жены князя — Талашкино, которое стало в конце века одним из средоточий художественной жизни страны.

---

[1] Архив Государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина, ф. I, № 1665.

Здесь собирались художники, литераторы, преданные идеалам национального искусства, народным традициям. В. Н. Тенишев серьезно занимался народоведением, созданное им «Этнографическое бюро» разработало программу собирания многообразных сведений о крестьянстве. Многочисленные корреспонденты бюро на местах стали снабжать организацию всякого рода данными, относящимися ко всем сторонам жизни земледельцев. Князь задумал издать на основе полученных материалов многотомное исследование быта и культуры народа. Максимов с охотой включился в эту деятельность. В октябре 1898 года он сообщил А. А. Бахрушину: «Работа моя у кн. Тенишева приняла теперь внушительные размеры, и я затянулся в нее, что называется, по самые уши»[1]. Нечистая, неведомая и крестная сила» мыслилась ее автором только как первое в ряду других подобных исследований.

Зна́ком широкого признания заслуг Максимова перед отечественной культурой было избрание его в 1900 году почетным академиком по отделению русского языка и словесности Российской Академии наук. Но дальнейшим замыслам писателя не суждено было сбыться. Болезнь легких, которой Максимов страдал уже давно, ослабила работоспособность и стала причиной его смерти, последовавшей 16 июля 1901 года.

Вскоре после кончины писателя книгоиздательское товарищество «Просвещение», выпускавшее так называемую «Всемирную библиотеку», в составе которой были собрания сочинений крупнейших русских и иностранных писателей, решило издать труды Сергея Васильевича Максимова. Многое из написанного им не вошло в это собрание, и тем не менее читатель получил целых двадцать томов — подлинную «энциклопедию народной жизни».

* * *

Говоря о жизненном пути Максимова, нельзя не подчеркнуть оригинальность, новизну, которыми отмечено любое произведение писателя. И хотя его имя почти всегда упоминается в ряду других деятелей русского народоведения (П. И. Якушкин, И. Г. Прыжов), масштабность трудов Максимова, степень проникновения в современную ему жизнь, глубина осмысления увиденного за годы странствий ставят его выше любого из многочисленных литераторов-этнографов, сотрудничавших на страницах сотен русских периодических изданий — от солидной «Русской старины» и «Отечественных записок» до неофициальных отделов губернских и епар-

---

[1] Архив Государственного театрального музея им. А. А. Бахрушина, ф. I, № 1666.

хиальных «Ведомостей». Были в то время и люди, о многом писавшие подробнее Максимова, знавшие материал не хуже него. И если бы мы стали теперь оценивать наследие писателя только по объему сделанного им, то у него нашлось бы немало соперников в лице известных путешественников или краеведов вроде И. Токмакова и Наркиса Чупина, оставивших огромное число разнообразных сочинений. Да и новизна книг Максимова была новизной лишь для первочитателя. О тех же Соловецких островах и до Максимова и позднее писали немало. В числе прочих рассказал о своей поездке в монастырь знаменитый в прошлом беллетрист Вас. Ив. Немирович-Данченко. Его книга, так и названная «Соловки», куда подробнее повествует о монашеских островах, нежели соответствующая глава из «Года на Севере». И все-таки сегодняшний читатель наверняка предпочтет сочинения Сергея Максимова. Ведь дело прежде всего в том, что «Лесная глушь», «Крылатые слова», «Нечистая, неведомая и крестная сила» и прочие книги писателя — первоклассные образцы русского художественного слова, изящная словесность во всем глубоком и точном значении этого понятия. Максимов живописал своего рода «образ жития» русского народа. Оттого его очерки непохожи на фактографические хроники, а организованы сюжетно. В них отразилась обрядность, внутренняя сущность образа жизни, целесообразность и исторически сложившийся «порядок жития». Максимов создал единственный в своем роде художественный мир — по одной странице узнаешь его неповторимый стиль, своеобычность авторского взгляда.

О языке произведений писателя-странника надо сказать особо. Современному читателю, впервые открывающему для себя творчество Максимова, может поначалу показаться неожиданным само построение фразы, употребление слов в их непривычном значении. Такое впечатление — результат многолетней системы обучения родному языку, закрепляющей в сознании человека набор довольно жестких грамматических построений. Во времена Максимова разговорный язык был намного гибче и выразительней — особенно явно это проявлялось в речи народа. Причастные и деепричастные обороты, которыми мы ныне уснащаем свою речь (и отсюда громоздкость конструкций), не были столь характерны для прошлого.

Толкаясь на ярмарках, пристанях, ямских станциях, писатель постоянно записывал в свои дорожные книжки услышанные меткие замечания, всегда стремился докопаться до происхождения нового непонятного слова. Его неизменно привлекала возможность пополнить свои знания за счет экзотических жаргонов, распространенных на Руси,— именно поэтому на заре своей литературной деятельности он отправляется в поход за словарем офеней, изу-

чает тайный язык нищих, тюремную «музыку». Впоследствии он составит сравнительную таблицу различных жаргонов — офенского, тарабарского, конокрадского, кантюжного (шерстобитов) и т. д.

Тот язык, которым написано большинство сочинений писателя, оказывается непривычен для сегодняшнего читателя лишь поначалу; вслушавшись, вжившись в него, начинаешь ощущать всю красоту и образность этой речи. Вместо описательности — всегда точное указание предмета, умение выразить средствами родного слова сложные отвлеченные понятия. От великого знания языка и тонкий юмор Максимова. С именем писателя закономерно связать понятие о культуре русского смеха, о нашем исконном юморе вообще.

Проза Максимова — настоящее противоядие от языкового бескультурья.

Читая Максимова, учишься понимать слово в его первоначальном, наиболее точном смысле. Когда в «Нижегородской ярмарке» встречаешь выражение «трудовая работа», то в первый момент оно кажется стилевым уродцем, но, вдумавшись, видишь, что писатель тоньше нас чувствовал оттенки значений — в данном случае «трудовой» восходит к понятию «трудный», «тяжелый». Иные из слов употреблялись прежде в непривычном для нас контексте — в этом смысле речь героев Максимова ближе к старомосковскому языку Крылова, нежели к словарю современного человека. Бесконечно разнообразие пословиц, приговорок, использованных писателем. Многие из замеченных им выражений не встретишь ни у Даля в его «Пословицах русского народа», ни в капитальном труде А. С. Ермолова «Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках, приметах». Знаменательно, что в любой из своих книг Максимов обязательно выделяет подслушанное им слово, как бы протягивая его на ладони читателю: всмотрись, вслушайся, насладись игрой обретенного самоцвета. Недаром фольклористы так много находят для себя на страницах максимовских сочинений.

Может представиться, что большинство очерков писателя являются только этнографическими или своего рода фотографическими копиями действительности, обладают лишь такой же ценностью раритета, как пожелтевшие снимки из старого альбома. Однако следует еще раз подчеркнуть, что очерки Максимова обладают всеми достоинствами художественной прозы, что читатель найдет в них и своеобразие взгляда на действительность, и композиционное изящество, и строгость сюжета, и ритмическую законченность.

В лучших очерках Максимова искусство композиции доведено до совершенства — особенно много удач в книге «Лесная глушь». Взять хотя бы описание одного дня знаменитой ярмарки

в Нижнем Новгороде. Не замечая предупредительной руки рассказчика, направляющей его внимание, читатель как будто бы волен в выборе маршрута — вот в этом-то и состоит подлинное искусство повествователя. (Еще Овидию принадлежит определение: «Искусство заключается в том, чтобы в произведении искусства его не было заметно»). Такова и «Поездка на Соловецкие острова» из «Года на Севере»— с подлинной грустью перелистываешь последнюю страницу путешествия, и это чувство — тоже художественный эффект, «предположенный» автором. Заставить сопереживать — печалиться, восторгаться, любить или ненавидеть — вот задача искусства. И если эти эмоции испытывает читатель, погружаясь в книгу, значит, он имеет дело с подлинно художественным творчеством.

Такая оценка книг Максимова вовсе не находится в противоречии с тем обстоятельством, что во всех критических отзывах на его произведения подчеркивалось фактографическое, документальное начало. Писатель-землепроходец в этом отношении вполне вписывается в общую картину отечественной литературы XIX века. Современный исследователь пишет об «общерусской традиции предпочтения действительности, питавшей художественный реализм»[1], причем относит к причастникам этой традиции как явного натуралиста Боборыкина, специализировавшегося на обрисовке условий жизни разных социальных слоев, так и Толстого с Достоевским. Максимов не чурался и сочинительства как такового — есть у него и рассказы, и небольшие повести,— однако главным для него оставалось изучение, к которому приглашался и друг-читатель. При этом глубина впечатления, производимого книгами Максимова, состояла в прямой зависимости от предмета изучения. Если бы он, как многие этнографы-любители, ограничивался описанием способов намотки онучей да перечислением занятных суеверий какой-то местности, его сочинения очень быстро оказались бы в забвении. Но в том-то и дело, что писатель вскрывал бытовую оболочку жизни, обнажая тайное тайных ее. Хорошо сказал об этом современник Максимова: «Он не был ученым-этнографом. Он не измерял черепа, не определял обхватов груди и длины оконечностей. Но то, что он мерил, и то, чего нельзя измерить никаким другим прибором, кроме человеческой чуткости и таланта, была душа народная, народная психология, народное мировоззрение»[2]. К этому таинственному, неосязаемому предмету были устремлены все помыслы классической русской литературы. И в этом не было разделения на беллетристов и очеркистов — не дели-

[1] Палиевский П. В. Литература и теория. М., Современник, 1978, с. 126.

[2] Архив Государственного литературного музея, ф. 348, № 2.

ла словесность по этим жанровым группировкам и тогдашняя критика. Целый огромный пласт в истории русской литературы составляет нравоописательное направление. Лесков, Григорович, Николай Успенский, Кокорев, Эртель, Атава, Левитов — творчество этих писателей если не полностью, то на добрую половину состоит из очерков, посвященных быту различных сословий старой России. Крестьянство — основной класс тогдашнего общества — изучали многочисленные литераторы-народники, из которых наиболее известны Глеб Успенский, А. Н. Энгельгардт. Их волновали, в основном, экономические и социальные процессы, происходившие в этой среде. Максимов с самого начала выбрал ту сферу народной жизни, в которой сосредоточивается исторический опыт многих поколений,— культуру. Его интересовало и духовное творчество, проявившееся в создании бесконечных сект и религиозных толков. Рассказы Максимова из истории старообрядчества, исследования многочисленных ересей, плодившихся после великого раскола православной церкви, представляют определенный интерес и ныне, однако многие из этого круга вопросов попросту сняты сегодняшним развитием — исчезли «скрытники» и «христолюбцы», некогда наполнявшие лесные губернии. Да и вообще очень многое из описанного Максимовым сделалось достоянием невозвратимо ушедшего прошлого. В этом смысле его книги — великолепный литературный памятник нашей национальной старине.

Широта взглядов, объективность, искренность, убежденность в необходимости и полезности своего дела снискали С. В. Максимову расположение многих современников. Писатель пользовался всеобщей любовью в литературных кругах, о его книгах с уважением говорили люди разных взглядов. Когда Максимов скончался, некрологи, посвященные ему, поместили все крупнейшие издания России. Об авторитете его сочинений говорит и такой факт: Лев Толстой заимствовал из «Сибири и каторги» сюжет для своего рассказа «За что?», написанного в 1906 году. Таким образом, книги Максимова активно участвовали в формировании литературного процесса его времени, добавляя в многоцветную палитру русского художественного слова свои собственные краски и тона.

Народоведение в России числит Максимова одним из своих патриархов. «Он да Якушкин, Павел Иванович, были у нас в России первыми работниками на совершенно невозделанной ниве, первыми интеллигентными тружениками, превратившими изучение русского народа в писательскую профессию»[1]. Жанр художественно-этнографического очерка с течением времени обзавелся многи-

---

[1] Сементковский Р. И. Встречи и столкновения.— Русская старина, 1912, декабрь, с. 572.

ми последователями, возникла целая школа, в которой особенно заметную роль играли писатели-областники, во многом способствовавшие сохранению богатств русской народной речи. «Углубляясь в дремучий и роскошный лес родного языка, богатого, сильного и свежего, краткого и ясного, на этот раз, конечно, довелось пробраться лишь по опушке»,— так писал Максимов в предисловии к книге «Крылатые слова». Такому же мощному лесу можно уподобить и ту литературу, в которой полвека трудился писатель. Теперь, по прошествии десятков лет, мы видим, что созданное им не потерялось в этом величавом бору, не заслонилось самыми роскошными его кронами. И, несмотря на то что почти все описанные Максимовым обычаи и представления русских людей стали достоянием истории, произведения писателя вызывают на сопереживание, будят мысль. Незримое таинство творится в душе каждого человека при общении с книгами, подобными «Словарю» Даля, «В лесах» и «На горах» Мельникова-Печерского, с драмами Островского,— как бы обретает вещественность связь настоящего с прошлым, личность делается неразрывным звеном в гигантской, бесконечной цепи поколений, протянувшейся из безгласной тьмы времени к дню сегодняшнему. И эта цепь становится тем прочнее, чем больше знание о себе, о своей стране дается в удел нам. С каждым годом мы открываем для себя все больше богатств, таящихся в дальних закоулках нашей национальной памяти, процесс возвращения забытых ценностей необратим. Он становится все очевиднее, делается жизненно необходим строителю сегодняшней и завтрашней жизни; в нем залог того, что связь времен никогда не нарушится.

Развитие народоведения уже в прошлом веке воспринималось лучшими людьми России как своего рода гарантия от исторического беспамятства, углубленное изучение суеверий и отживших обычаев рассматривалось не как род чудачества. «Предрассудок — он обломок древней правды»— сказал поэт. Изучение самых нелепых, на первый взгляд, бытовых привычек и представлений способно дать ответ на такие вопросы, перед которыми в бессилии останавливается историк. «Этнография есть та же археология, только живая, действующая» [1],— писал Максимову знаток русской старины И. Е. Забелин. Добавим, что главными инструментами такого археолога оказываются проницательность, понимание народа, глубокое знание его истории. Всем этим в избытке обладал Максимов, и книги его — полновесное тому свидетельство.

---

[1] Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, ф. 461, № 4.

Из книги „ЛЕСНАЯ ГЛУШЬ“



ИЗВОЗЧИКИ

Издавна извоз составляет самый любимый промысел русского человека. Извоз можно даже назвать по преимуществу *русским* промыслом: в какую бы среду ни был поставлен православный переселенец и поселенец, он везде первым долгом поспешит обзавестись лошадью и сделаться извозчиком. Лошадка вывозила на первых порах изо всех бед и напастей всю русскую колонизацию, и колонизаторы наши редко умели осваиваться с местом без помощи извозного промысла. Так спасли себя (и разбогатели теперь) те наши сектанты (например, молокане и духоборцы), которые выселены были за Кавказ в среду недружественного мусульманского населения. Так между разнообразными выселенцами в Воронежской губернии извозом занимаются только русские. В Сибири, на Барабе, русские извозчики (возчики) успели даже выхолить из туземных пород особую породу обозных лошадей, и т. д. в бесконечность. Промысел извоза чрезвычайно прост и удобен, особенно для того, кому нет желания жить по чужим людям, далеко от родной семьи, и даже выгоден преимущественно, конечно, там, где много езды между торговыми городами и где торговая деятельность во всей своей силе. Когда не было еще ни железной дороги, ни почтовых и частных дилижансов, класс извозчиков был чрезвычайно многочислен. Теперь же, при быстром улучшении путей сообщения, заметно уменьшился он: опустели огромные ямы *, которыми усеян был путь между двумя столицами, много извозчичьих домов, существовавших лет по сто и более, покинули свое ремесло и сделались

---

* Слова, отмеченные в тексте звездочками, объяснены в конце книги, в разделе «Примечания».

хозяевами легковых извозчиков. Но в тех из наших губерний, где еще нет шоссе, или если и есть, то недавно устроенные, извозчичий класс сохранился во всей своей простоте, со всеми своими оригинальными способностями.

В Сибири, например, по большому торговому тракту от Казани вплоть до Кяхты промысел этот сохраняется до сих пор во всей чистоте и неприкосновенности; особенно же сумел он уберечь патриархальное добродушие и невинные нравы и сохранил первобытными людьми тех, которые занимаются извозом в местах Сибири, где тракт разошелся с почтовым и потянулся по травяной степи — Барабе. Там простодушно-чистых людей, занятых извозом, иначе и не зовут, как *дружками,* а дружки они и потому также, что живут между собою в самой тесной приязни, не подъедая друг друга, и такою дружною артелью, которую никто не плотил, но которая, однако, ощутительно для всех существует и до сих пор никакими кабинетными правилами еще не изломана и не испорчена. Правда, что и эти извозчики китайских чаев и московской мануфактуры, с падением кяхтинской торговли и с заведением на сибирских реках пароходов, стали упадать силами и количеством, но качество их все то же. В недавнюю старину, в начале прошлого столетия, из этого почтенного сословия сумел выделиться и такой замечательный человек, как Анфилатов. Записавшись в купцы города Слободского (Вятской губернии), он на долговременном промысле доставки товаров самолично в Сибирь, а потом при помощи приказчиков по многим местам России, умел дойти своим собственным разумением до необходимости основания банка. Банк его, учрежденный в городе Слободском, был первым частным банком в России, сумевшим долгое время поддерживать заграничную торговлю слободских, вятских и орловских купцов чрез Архангельск и выразившим свою плодотворную деятельность, с другой стороны, в процветании ремесел, которые приходят в большее и большее развитие.

В таких глухих местах, где еще не пылят шоссе, не свищут ни локомотивы, ни пароходы, извозчичий класс до сих еще пор делится на два совершенно отличные один от другого типа, не говоря уже в общем, но даже и в частностях: на *троечников,* ездящих постоянно на тройке, редко на паре и решительно никогда на одной

лошади, и на *одиночников,* наоборот, ездящих всегда на одной, на двух, редко на трех лошадях, но всегда *вразнопряжку:* на одной, двух и трех телегах, смотря по числу домашних лошадей. Одиночник никогда не запрягает тройку в одну телегу и весьма редко пару; с своей стороны троечник считает за стыд ехать на одной. Первый занят ремеслом по нужде, второй или троечник — чисто из любви и привязанности к нему, если только он сам хозяин, а не нанятый работник. Троечник всего чаще возит седоков побогаче: купечество и дворянство, и если доставляет товары, то всего чаще те, которые идут на дворянскую же руку: красные товары *, бакалею и т. п. Одиночник из живой клади доставляет крайнюю бедность: семинаристов на родину, солдат на побывку, а из товаров те, которые громоздки, посерей и подешевле: горшки, деревянную посуду, соль (для которой в южных местах России существует, также отживая свой век, особый промысел чумачества *, отправляемый вместо лошадей на волах) и так далее. Но скажем о каждом особо и сначала об аристократах.

I

ТРОЕЧНИК

У ворот постоялых дворов в дальних губернских городах, где-нибудь в Ямской или Московской, до сих пор еще толпятся несколько мужиков, легко одетых, по-домашнему: летом просто в рубашках, подпоясанных красным кушаком, зимою в полушубках, слегка накинутых на плечи. Это извозчики-троечники, поджидающие седоков и от нечего делать прибегнувшие к различным развлечениям: один, уместившись на облучке собственного или чужого экипажа и обхватив обеими руками увесистый ситник, удовлетворяет и аппетиту, готовому явиться по собственной воле хозяина во всякое время, и искреннему желанию приятно провести время. Другой, выпросив у дворника балалайку, сел на скамейке у самых ворот и потешает не столько соседа, сидящего рядом, сколько себя самого, охотника отколоть ущипкой какую-нибудь новую штуку в давно известной всем песне и на привычном ему инструменте. Двое поодаль, дружно ухнув, подняли громаду-тарантасище на толстой палке и, подставив дугу, начинают смазывать колеса. В другой стороне собрались охотни-

ки до видов и любуются проходящею семьею свиньи, другие заняты дракой уличных мальчишек, вполне сочувствуя ловкому удару одного, советуя взять побежденному противника под силки и доказать ему, что знайде наших.

Но вот подходит какой-то господин. Извозчики разом смекнули, что это седок, и окружили подошедшего.

Объявляется место поездки и неимение собственного экипажа.

— Так, стало, у вашей милости нет своей кибитки?— переспросят ребята.— Что ж, ничаво, могим и свою снарядить.— И почешутся.

— Знамо уж, свою надыть, коли нетути ихней,— заметит другой и в размышлении продолжает рассуждать:— Вестимо, без кибитки плохое дело; дождичек пойдет — мочить будет и все такое... Так, выходит, и телега наша, все как есть наше, а вашей милости, значит, только сесть да и ехать.

— Все как следует примерно,— увлеченные размышлением соседа, говорят его товарищи.

Наступает глубокое молчание, которое нарушает седок вопросом о цене.

— Кака цена? Шашейные-то * вы, что ли, платите? — спрашивает один.

— Разумеется, уж ты все бери на себя, а мне чтоб никаких беспокойств не было.

— Вестимо, вам надыть спокойствие... А вас сколько примерно поедет?

— Двое.

— Стало, клади у вас немного, не отяготит: чемоданчик, подушки...

— Одеяло,— подскажет один.

— А скоро ты меня повезешь?

— Да уж это как вашей милости будет угодно; лошади у нас хорошие, мешкать не станем. Как прикажете, так и поедем.

Снова наступает молчание, прерываемое обыкновенно опять вопросом о цене. Немного подумавши и переглянувшись с товарищами, торговавшийся решительно говорит свою цену.

— Да что, барин, без лишнего: двадцать рубликов с вашей милости взять надыть.

Нанимающий страшно озадачен запросом и не соглашается на предложение.

— Эй, барин, не дорого! Пора-то, вишь ты, рабочая, никто меньше не возьмет... Будьте уж не в сумлении.

Один новичок берет 18, ему обещают 12.

— Нет, барин, эдак уж совсем несподручно. Что скупиться-то, говорите делом. Вон молодец-то, пожалуй, берет и восемнадцать, да вы с ним и жизни-то не рады будете, измучит вашу милость, как есть измучит... Двои суток проваландает, ведь у него вся тройка с сапом и хромает, а мы бы вашу милость и в одни сутки приставили.

— Хочешь тринадцать и ни гроша больше.

— Нет, барин, видно, тебе ехать не надо, коли так упираешься!— заключают как бы обиженные извозчики и отойдут несколько в сторону от вышедшего из терпения седока.

— Ну, слышь, сударь, ладно!.. Будем толковать настоящее дело,— говорит опять *рядчик* вслед уходящего седока.— Девятнадцать берем, коли хошь, а то как знаешь...

Седок, однако ж, упорен в своей цене.

— Эй, право, какой ты барин несговорчивый, ну... восемнадцать с полтиной.

— Тринадцать и ни копейки!— говорит уже выведенный за границу терпения нанимающий и вполне убежденный в том, что, набавивши рубль, придется прибавить и другой и до конца сделки выдержать роль набавлятеля. Тогда, в свою очередь, с тем же упорством не будут поддаваться извозчики и заставят-таки дать требуемую ими цену. И потому, обсудив, что барин-де кремень, как есть, значит, кремень, его не сломаешь — сразу видать, что не впервые едет, благо, хоть дает-то не десять рублев, несходную цену, извозчики непременно вернут седока.

— Слышь, почтенный... ну, вот уж и осерчал. Ведь мы не сердились же, слушали и твою цену: запрос — не обидное дело. Какое ваше последнее слово, да и по рукам.

— Сказано вам — тринадцать.

— Ну ладно, ладно... берем, хоша и не повадно маненько, да уж, видно, барин-то хороший. На чаек-то уж пожалуйте, ваше благородие!— заговорит сторговавшийся вкрадчиво-льстивым голосом, снявши свою шапку; его примеру следуют и товарищи, низко кланяясь победителю.



И будь седок хоть и в самом деле кремень, но на водку даст-таки, хоть даже и из чувства самодовольства, не говоря уже — от радости.

По уходе пассажира начинается обоюдная сделка: если сторговался хозяин постоялого двора, то он посылает очередного своего работника, или, если выгодно ему передать за меньшую цену другим, он начинает с ними торговаться. По большей же части дело кончается проще — метанием жеребья: извозчики или вытаскивают из мозолистой руки собрата узелочек пояса, или перебирают рукою на тут же валявшейся палке, или же, наконец, вынимают условную вещь из шапки — будет ли это с известной отметкой щепочка, камешек, ломаный грош с оттиском зуба и т. п.

Большею частью, при всех подобного рода сделках, извозчики, с общего согласия, выбирают *рядчика* — человека привычного, опытного в этом деле и, конечно, честного. Избранный облекается полною доверенностью остальных, вполне убежденных в том, что он несходно не сторгуется и никогда не допустит выскочку-новичка, не участвующего в сотовариществе, *отбить седока*. Новичок поедет с седоком разве в таком случае, когда возьмет чрезвычайно дешевую цену, которую никогда бы не взял опытный извозчик и которой ему самому хватит только на *прокорм* себя и лошадей, а о барыше, при всей бережливости, нет и помину. Поэтому троечники составляют из себя род некоторого общества, основанного на общем интересе — возить седоков не дешевле заранее положенной, по общему уговору, платы.

Сторговавшийся троечник обыкновенно везет седока *до места с кормежкой* и тогда, конечно, в полном распоряжении своего пассажира, от которого вполне зависит и срок времени, которое придется быть на станции, и, наконец, самая езда. Троечник, подрядившийся до места, беспрекословен к понуканьям и требованиям остановиться. Но по большей части все троечники возят на *сдаточных* и в таком случае всегда целую компанию пассажиров. Нанявши, троечника, дают ему полное право приискать попутчиков, не претендуя уже на то, если придется выехать позднее обыкновенного срока и в компании человек шести и более, потому что извозчик, везущий на *сдаточных,* мало обращает внимания на то, тяжело ли будет его тройке, зная, что на следующей станции его сменит новый ямщик на *свежих* лоша-

дях. Собравши своих седоков, извозчик дает им клочок бумажки, где расчислены деньги, следующие к выдаче на каждой станции, и предлагает кому-нибудь из пассажиров быть чем-то вроде кассира или, по их выражению, *плательщиком,* и вручает ему деньги, сторгованные за проезд, с вычетом барыша и денег за первую станцию. Барыш, конечно, остается в пользу рядчика или того, кто первый повезет седоков. В огромном, крытом со всех сторон тарантасе, получившем в последнее время на языке извозчиков громкое название *дорожного вагона,* отправляется поезд. Каждый пассажир здесь уже в полной власти извозчика — он не может претендовать * ни на тихую езду, ни на неловкость сиденья и при первой попытке высказать свое неудовольствие озадачивается резонным ответом:

— Уж мы не впервые ездим — знаем все заподлинно, и нас не учить стать; видали, примерно, всяких. Ведь вон сидят же другие господа — ничего не говорят... А коли неловко — сядь половчее; сказано, всяк о себе старается, а ведь и те такие же деньги платили...

Последнее замечание не всегда бывает справедливо: весьма часто седок, к полной своей досаде, узнает от соседа, что передал лишних два рубля, тогда как очень часто другой сосед заплатил вдвое дешевле обоих, потому что уж не впервые в дороге и знает обыкновения извозчиков. И успокаиваемые собственными промахами, седоки дают зарок не давать другой раз лишку и не беспокоить уже извозчика понуканьями, вперед уверенные в том, что легче взять с него этот лишек, чем заставить изменить привычке — ехать по собственному усмотрению, а не по желанию и прихоти пассажиров. Во всяком случае, извозчики помнят обещание и верны в данном слове — предоставить на место в условленный срок, и разве часами двумя позднее (но не более) седоки увидят цель своего путешествия.

Место родины хозяина-троечника — какое-нибудь торговое село, где отец его содержит постоялый двор, а следственно, и занимается извозом. Еще с малолетства отец приучает ребенка к будущему его ремеслу. Поедет ли в поле *треножить* лошадей или просто привести их на двор для впряганья, он сажает своего парнишку на лошадь впереди себя и дает ему в руки поводья; нужно ли съездить в соседнюю деревню за овсом или сеном, он смело вверяет это поручение своему

восьмилетнему сыну. Ребенок до того привык к лошади, что ему нипочем проскакать галопом по целому селу на речку, чтобы там напоить или выкупать лошадей; даже в детские игры ввел он езду на тройке сверстников, делая замечания коренной бежать рысью и как можно больше подымать ногами пыль, а пристяжным бежать вскок и держать голову как только возможно больше набок, а сам, развалясь в санках или тележке, вполне наслаждается плодами своей опытности.

Мальчику исполняется двенадцать, тринадцать лет — возраст, когда отец считает его способным управлять тройкой и достойным того, чтоб доверить ему седока.

— Ты смотри, вызволи меня, постреленок!— говорит последний, боясь ввериться неопытности мальчика.

— Да небось, барин, не вывалим, нешто не знаю: вот Сивко маненько рысист, так мы его посдержим, а уж коренной Воронко хоть и с норовом, да меня теперь не надует,— отвечает новый извозчик, судорожно сжимая кучу вожжей, в первый раз в жизни, к несказанной его радости, очутившихся в его руках. Отец, низко кланяясь, упрашивает вашу милость не сомневаться и дает приличные наставления сыну.

— Смотри ты у меня, лошадей не задергивай, под гору — спущай, на гору во все лопатки; уважь их милость! А то коли что не ладно, смотри ты у меня, сыч, дам такую таску, что до новых волосьев не захочешь. Телегу-то помазать попроси там кого-нибудь. Без подмазки не езди: оси горят. Да слышь, не забудь! Там долго-то не балуй, не вертись — покормишь, да и с богом назад. Эй, легонько, дурак, пристяжных не задергивай!.. Коренника-то осади... под гору легонько. Эй, не хлещи! Говорят те не хлещи!—кричит отец вслед отъезжающей кибитке.

Но первое доверие оправдалось: телега цела и, как видно, смазана, лошади не в мыле, да и мальчишка прибыл своевременно.

— Поди,— говорит обрадованный и довольный отец,— поди в избу, там тебе матка пряженцов напекла, да уж оставь, оставь шлею-то... без тебя сделаю. На вот, возьми вожжи, снеси в избу, а уж здесь и без тебя сделают.

Обучение кончилось. Мальчишка с этих пор уже частенько получает подобного рода поручения, теперь уже ловко подбирает правую полу и засучивает ее за новый

красный кушак, подаренный отцом за способности. Крепко наметавшийся в своем деле и сделавшись к нему привычным, теперь, пожалуй, он и посмеется недоверчивости седока, лаконически ответив:

— Нешто впервые? Не с эдакими-де езжали.

Отец только посмеивается бахвальству парнишки и ни за что не согласится отказать сыну в удовольствии и только скажет, когда уже все готово: «Ну, с богом! Благослови господи! Прощай, барин, счастливого пути!»

Лет через пять или шесть отец совершенно перестает ездить, предоставивши это дело сыну. Сам только и делает, что рассчитывает извозчиков за обед и сено да изредка чинит порвавшуюся сбрую.

Но вот приблизилась пора заменить и старуху. «Пора женить парня»,— думает отец, рассчитывая взять молодицу у такого соседа, который занимается также извозом. Когда дело слаживается, все хозяйство передается на руки молодых. Теперь у отца только и дела, что копошиться в углу: пускай-ка де теперь молодые сами поломаются, а наше дело со старухой киселя поесть да лежать на печи аль на полатях. Теперь, благодаря бога, все сделали, что могли, немного надо: саван сошьет сын, так и тем будем довольны — рассуждают старики, радуясь на новых хозяев.

Молодой начал с того, что перекрыл двор новой соломой, давно уже лежавшей в запасе, приделал новые березовые колоды кругом двора. Самый двор усыпал свежей соломой, переклал печи и украсил горницу, назначенную для почетных проезжающих, картинами, купленными им у проезжего офени-владимирца. Извозчики, по старой привычке, все еще въезжали к нему — и не раскаивались: молодая хозяйка кормила их славной лапшой и кашей, которые как-то и покрутее сделались, чем у старой, да и наливает-то она как-то побольше и пощедрее. Завела она пироги, чего у стариков не было,— одним словом, ведет и она свое дело не хуже, коли еще не лучше мужа. И вот вследствие таких-то обстоятельств, а еще главнее вследствие того, что новый хозяин охотно дает и обед и корм лошадям в кредит,— обстоятельство весьма важное для извозчика, особенно если он подрядился до места не брать с седока денег,— мало посещаемый прежде постоялый двор по целой дороге сделался известным за самый лучший и выгодный.

Всякий извозчик и своему брату, и барскому кучеру, впервые едущему с господами на своих, посоветует остановиться у свояка. И вот, глядишь, у нового хозяина и изба выстроилась новая, и вместо одной горницы для господ проезжающих у него явились две и обе вдвое просторнее прежней. И зажил он себе припеваючи: в доме у него *теплынь,* а в хозяйстве тишь да крышь да благодать божья, нет ни в чем недостачи. Зачем бы, кажется, ему подвергать себя и зимней вьюге, в которой ничего нет хорошего — сечет она ему немилосердно лицо,— и летнему зною, который безжалостно производит загар на его лице и мускулистой широкой шее? Но страсть, привычка вечно быть на козлах не дает ему покоя и влечет на новые предприятия. «Так отец мой делал,— думает он,— и не след и мне покидать ремесла; мастерства я никакого не знаю, а плотники питерские не лучше меня живут: знать, уж и умереть доведется извозчиком, да и парнишке передать мою волю — не покидать извоза. Только немного неповадно ездить одному, без товарищей, и лошадям тяжело, да и сам ину пору по неделе не бываешь дома, ладно, кабы взяли на пай возить на сдаточных: оно все бы лучше было, а то все у ворот стоять как-то неладно стало».

И вот однажды за чашкой чая в городском трактире сам извозчичий хозяин предложил честному мужичку идти в долю и возить на сдаточных — обстоятельство весьма важное в жизни извозчика! Если парнишка еще малолеток и нет в доле брата, извозчик нанимает батрака и на лишние деньги покупает новую тройку: теперь ему *гону* много будет, успевай только пошевеливаться. И будь он немного изворотлив и бережлив, дела пойдут ходко: явятся новые планы, при деньгах весьма легко исполнимые, только умей заслужить доверие собратов. При удаче он делается необыкновенно смел и предприимчив.

Раз как-то стороной он услыхал, что в городе передается постоялый двор и старый хозяин ищет покупщика, который вел бы его хозяйство и был ему известен; у смельчака мгновенно родится в голове новое предприятие — купить этот двор, покинуть родную деревню и выписаться в мещане, — предприимчивость влечет его туда неудержимо. Никому не сказавши о своем намерении, он поехал в город, сторговался со свояком, отдал

половину денег, остальную же ему, как мужику честному, поверили и, возвратясь в деревню, объявил он жене неожиданную весть.

— Где уж нам в городе жить, жили в деревне — хорошо было, а там, бог весть, что будет — может, и помрем.

— Полно, баба! Помереть помрешь и здесь. А и в городе люди не лыком шиты. Что тебе деревня-то, а там и человек другой... Да что тут с тобой растабарывать? Сказано: волос длинен, да ум короток; нечего мешкать, дело сделано — собирайся!

Нагрузив несколько возов, он отправил их в город, потом сам перевез семейство. На первых порах в нем будто проснулась как бы на время затаившаяся страсть к извозничанью он года два еще ездит с охотой и все так же, как и прежде, т. е. на сдаточных. Но скоро сделалась в нем непонятная перемена: извоз, с которым он свыкся с измалетства, ему опостылел, ничто не заставит его выйти на улицу выжидать седоков. Нужна особая рекомендация, чтоб он взялся вас прокатить, и уж если запросил какую цену — ни копейки не уступит, лучше и не торгуйтесь, скорее не поедет, чем возьмет меньше запрошенного. Видно, что уже не нужда заставляет его ехать с вами, а эта страсть поездить — покататься. Здесь он прежде всего делает удовольствие себе самому и потому на обратный путь для шутки возьмет иногда чрезвычайно дешево, так что вам самим смешно и странно покажется, и повезет вас так, как никто не возит и как сам никогда не езжал прежде: на сотне верст у него одна упряжка и то на короткое время, бог весть, когда успевают наедаться и отдыхать его лошади. И что за чудо его лошади! Ни один извозчик не проедет мимо, чтоб не мызгнуть губами и не сказать вслух: «Славные рысачки, говорят, на Вятку сам ездил, по пятисот рублев дал за каждого живота».

В начале путешествия он невыносимо молчалив и как будто важничает. Вот зарябили по сторонам и на пути деревеньки. От нечего делать седок желал бы знать их названия, в надежде разговориться с ямщиком, но отрывистые слова «починок», «задний двор», «середний двор», «передний двор» решительно отбивают последнюю надежду разговориться с ним. Видно, что ямщик еще как-то не разошелся.

Седок начинает дремать, утомленный однообразием полей, засеянных овсом и рожью, рожью и ячменем, изредка прерываемых густым перелеском еще с более скучным однообразием стволов или можжевельника, или березы и сосны. Кибитка незаметно въехала в большую деревню, при самом въезде в которую торчит маленькая избенка с крылечком посередине. На фронтоне крылечка виден приманчивый знак — пучок засохшей порыжелой елки — признак питейного. Извозчик поехал мелкой рысцой немного подальше вперед, осадил тройку и, повернувшись вполоборота к седоку, просит позволения *промочить горло*. Промачивание продолжается недолго, но в сытость, после чего извозчик успокоит седока приличным замечанием.

— Небось, барин, наверстаем!— говорит он, покрякивая и поглаживая бороду.— Маненько позамешкались, да ничего, держись только! Так-то махнем, что старикам на печи икнется, а старому свату живот подведет. Эй вы, распрекрасные, дети любимые, уважьте... ой, ударю!— и, громко взвизгнув, он только махнет вожжами, и обрадованная тройка вихрем мчит вас вперед.

Тогда не попадайся навстречу развеселившемуся троечнику ни один одиночник: он сразу осмеет его с ног до головы и ввернет обидное замечание.

— Эй ты, ворона, вишь как развалился, словно знать никого не хочет! Гляди, гужеед! Ведь ось-то в колесо попала! Коней надорвешь — по миру пойдешь, глянь-ка: всех ведь в мыло загнал. Эх ты, сипа-сипа: ешь ты сыто, мякину да горох, что дедко стерег.

Не утерпит остряк, чтоб не отпустить приличного комплимента и деревенским девушкам, толпою идущим за грибами, и резкого, бранного замечания деревенским ребятам, вечным спутникам последних в их прогулках и занятиях.

Вот минута, когда седок смело может положиться на словоохотливость ямщика и узнать у него не только подробные биографии всех владетелей мелькнувших в стороне и на дороге усадеб, но даже душевные склонности и привычки помещиков. Про деревни и спрашивать нечего: хозяина каждой избы он знает по имени и вообще обнаружит в себе человека бывалого, который из семи печей хлеб едал, не морщился. Если пассажир не соскучится слушать его болтовни и крепко

понравится извозчику, последний готов его *поважить* песенкой, сначала любимой, потом, пожалуй, и по заказу седока, какой он захочет и сам пожелает. Коренные песенники, кажется, теперь только в среде этого сословия и удерживаются.

Одним словом, нет услужливее, словоохотливее троечника, подрядившегося до места. Исполняя всякое требование седока, он сам, со своей стороны, чрезвычайно уступчив и невзыскателен. Требования троечника ограничены: зимой — дозволение погреться в питейном, а чтоб дать вздохнуть лошадям — веселая беседа с седоком, достаточно вознаграждаемая живым участием и вниманием к разговору. Летом, когда по деревням на дороге начнутся праздники и веселые хороводы девушек, окруженных густой стеной любезников-ребят, наполнят деревенские площадки около часовни, а толпы подгулявших гостей-мужиков переходят из избы в избу попить-пображничать,—тогда извозчику-троечнику достаточно, *если милость ваша будет,* забежать к свояку поздравить его с праздником. Не пройдет и десяти минут, как извозчик в сопровождении хозяина и хозяйки той избы, около которой остановилась его тройка, выйдет к снисходительному седоку, пропустив вперед свояков, с низкими поклонами будет потчевать крепкой брагой и праздничными пирогами.

— Да не погнушайтесь, ваша милость, взойдите в избу нашей хлеба-соли отведать, чем богаты, тем и рады! —скажут, низко кланяясь, хозяева.

Русское радушие и гостеприимство не замедлят вознаградить за потерянное в угощениях время, а еще более разгулявшийся извозчик *наверстает* и привезет в обещанный срок к назначенному месту.

Таков троечник больших почтовых трактов, где много езды, а следственно, и проезжающих. Добрый, разговорчивый, *привычный* к своему седоку, охотник побалагурить и поразговориться, услужливый и беспрекословный на большом тракте, он делается совсем иным человеком, как будто перерождается там, где меньше езды и где он как будто лишен сообщества людей и товарищества и делается человеком прямо и безотносительно занятым собственным интересом *поживиться,* и поживиться не только на счет седока, но даже и своего брата-извозчика.

Есть чрезвычайно много в огромной России таких

трактов, где не пролегает торговой дороги, но где также изредка бывают проезжающие, имеющие нужду в извозчиках. Здесь обыкновенно в какой-нибудь деревне, верстах в пяти-шести от города, найдется мужичок, имеющий пару лошадок (третью он выпросит у соседа, если потребуется надобность непременно в тройке) и даже в рабочую пору, ненадолго, готовый ради лишнего рубля прокатить проезжающего. Отысканный непременно по знакомству и особой рекомендации, он запрашивает огромную плату, вполне уверенный, что он нужен, крайне нужен, что без него дело не обойдется. Проезжающий, употребив всевозможные средства в отыскании других, снова обратится к нему, согласный на запрошенную цену. Не проедет извозчик десяти верст, как уже передает седока другому, при седоке же торгуясь с новым извозчиком, при нем же уступая его за треть условленной платы. При этом, конечно, сопряжено бесчисленное множество неприятностей: часто везут седока, противно условию, на паре и не так скоро, как бы желал он, потому что впряженные лошади совсем не дорожные, а простые, изможденные — рабочие. Наконец, случается и то, что несчастного пассажира часов пять возят из одной избы в другую, из деревни в соседнее село, чтоб сбыть его посходнее и прибыльнее. С ужасом недоумевает несчастный, отдавая, по прибытии на место, не менее его несчастному последнему извозчику — жертве корыстолюбия его собратов — ничтожную сумму, доходящую иногда до полтинника и менее.

Напротив, троечник больших торговых до́рог только летом, когда он вместо себя для домашних работ должен нанимать работника, и выгоден зимой, когда корма бывают дешевле и езды больше, потому что и питерщики * едут домой, да и у школьников бывают каникулы.

В заключение очерка должно сказать, что редко, почти даже никогда не случается так, чтобы сын троечника покинул ремесло отца. Оно, можно сказать, делается наследственным в роде, переходя от отца к сыну, и нередки случаи, что попавшийся современному путешественнику извозчик уже десятый в роде занимается извозом. Редкий также случай, чтоб троечник сделался одиночником, разве сгорит все его имущество, кроме его любимой тройки, или другое какое горе сде-

лает его бедняком, но не отобьет у него охоты и привязанности к прежнему ремеслу, с которым он свыкся от колыбели и пристрастился по обстоятельствам.

Напротив, множество бывает случаев обратных, т. е. одиночник делается троечником с охотою и искренним желанием заниматься ремеслом и выгодным и прибыльным, но только впрочем, в таком случае, когда ему, что называется, сильно повезет. Большею же частью одиночник, достигнувши своей цели, т. е. подновив или переделав избу и поправив хозяйство, снова берется за старое свое ремесло — пахаря, без всякого сожаления к покидаемому временному. Избалованный же своим ремеслом троечник ни за что в мире не согласится сделаться одиночником и скорее пойдет на почтовую станцию ямщиком или легковым извозчиком в столицу, чем покажется всем знакомым своим не лихим троечником-запевалой, а гужеедом *-одиночником.

Прямое, резкое отличие троечника от одиночника, конечно, кроме тройки, это сапоги — валяные зимой и кожаные летом,— синий кафтан внакидку на красную рубашку и плисовые шаровары летом; теплая непотертая шуба баранья, высокая шапка зимой, заменяемая в жару низенькой пуховой шляпой, в которой вечно торчит павлинье перо, иногда даже два или три вместе. В шапке и шляпе всегда найдется у троечника красный платок — подарок жены или полюбившей его девушки, в сапоге уж всегда и непременно маленькая коротенькая трубочка, а в широких шароварах кисет *с самбраталическим,* имеющим свойство всякого курящего заставить раз сто плюнуть и крякнуть, прежде чем выкурится крохотка-наперсток трубочка. Вот все, что только любит брать с собою в дорогу троечник, да разве путь лежит мимо родной деревни, куда забежит он повидаться, и старая мать или молодая жена сунет ему за пазуху тряпку с пирогом. Таковой он немедленно же и истребляет, зная, что по дороге много к услугам его и постоялых дворов с дешевым обедом, и потому-де запас тут лишняя вещь, ни к чему путному она не ведет.

Тихо и незаметно умирает троечник, завещая сыну любимое свое ремесло и последнюю главную волю — похоронить на родном погосте, где лежат все родные под покривившимися деревянными крестами, немного поодаль от каменной церкви соседнего села, в котором он был когда-то прихожанином и молельщиком.

II
ОДИНОЧНИК

Отец одиночника, простой мужик-пахарь, вовсе не занимается воспитанием сына, предоставляя это дело жене — хлопотливой крикунье-бабе, или лучше самой природе. Мальчишка, который два года поползает на грязном полу отцовской избы между овцами и телятами, столько же времени поваляется в грязи и пыли деревенской улицы, с раскрытым ртом удивляясь невиданным диковинкам — от простой крестьянской телеги до затейливых старинных дрожек проезжей старушки помещицы; потом несколько лет походит с ребятишками-сверстниками за грибами и ягодами, раз по десяти в день купаясь в соседней реке-луже. Лет шестнадцати он уже принимается за серп и косу, вовсе не думая о своем будущем ремесле. Наступит зима со своими холодами и бездействием; мужику осталось завалиться на печь или сесть в угол и тачать свой неуклюжий лапоть, но во дворе у него пара лошаденок и двое саней — тут уж как-то не хочется быть в бездействии, особенно если за мужичком состоит недоимка. И вот, по совету соседа, мужичок подновит свои сани, починит сбрую и отправится в соседний город за товаром; здесь земляк найдет ему доверителей свезти пеньку, шерсть, муку в губернский город и обои сани нагрузит этим добром до самого верха. В огромном обозе длиною с версту потянулась и пара лошадок новобранца-извозчика вслед за другими. Сложивши в городе кладь и получивши расчет, ему остается или опять искать оказий, или просто ехать порожняком. Приятель-земляк и тут его не оставит и выручит из беды: найдет ему целую кучу седоков на обои сани, так что доехать до деревни ему придется не только даром, но еще и с излишком, а расчет за кладь весь почти останется целым в его кошельке.

Подобного рода оборот чрезвычайно полюбился мужику по очень простой и естественной причине: у него нашелся и лишний грош в хозяйстве, и случай коротать полезно и выгодно зимние ночи. Мало-помалу одиночник заводится знакомством и начинает возить исключительно одних седоков, и только разве за неимением последних возьмется за кладь. Глядишь, каждую зиму он является в городе и где-нибудь за углом выжидает

своих седоков, каких-нибудь семинаристов или гимназистов, пользующихся вакацией. Пройдет зимы три-четыре, и у одиночника завелись седоки постоянные, знакомые, которые избавляют его от необходимости стоять за углом и уже сами отыщут его где-нибудь на печи или полатях постоялого двора. Торговля с ним короткая, цена за проезд известная, незначительная. Всякий из седоков знает и своего извозчика и то, какое число пассажиров любит он сажать в свои широкие пошевни, называемые им *креслами,* а потому никто и не претендует, если он посадил лишнего и выедет позднее, чем обещал, да и повезет мучительно тихо, потому что всякий знает, что ни один одиночник не любит делать больше шестидесяти верст в сутки и меньше четырех станций на стоверстном пути. Даже эти станции или *привалы,* самый постоялый двор, где остановятся, известны каждому седоку как нельзя лучше, наконец, имя и хозяина и хозяйки его, и число часов, которые доведется просидеть в душной избе или рассматривать затейливо пестрые и занимательные суздальские картинки, которыми увешаны стены пассажирской горницы. Досужий гимназист найдет достаточно времени, чтобы разобрать все надписи, которыми унизаны и потолок и стены, наконец, и сам найдется, чтоб и по себе оставить приличное воспоминание в стихах следующего содержания:

Здесь мы были,
Чай пили,
Яичницу ели
И трубку курили.

Пока седоки пьют чай или едят яичницу, изготовленную услужливой хозяйкой, извозчики распрягли лошадей и задали им сена. Один за другим входят они в избу и, предварительно помолившись и поздоровавшись с хозяевами, начинают *разболокаться.* Снявши полушубки, одиночники являются в рубашках, подпоясанных тесемкой с болтающимся на ней медным гребешком, которым тотчас же и приводят в порядок растрепавшиеся волосы.

— А что, хозяюшка, не покормишь ли ты нас?— заговорит один, покрякивая и почесываясь.

— Да вы все ли тут пришли, нет ли кого на дворе? —спросит хозяйка и, получив в ответ лаконическое «кажись бы все», начинает накрывать на стол: положит

коротенькую скатерть, поставит солоницу — четырехугольный деревянный ящик с такой же крышечкой, открывающейся кверху, каравай хлеба, сбегает в погреб и в ендове принесет квас, наконец, начнет копаться около печи. Извозчики залезают за стол, крайний берет нож и *рушает* хлеб, остальные в глубоком молчании ожидают *варева*. Приходит хозяйка и на деревянной тарелочке приносит говядину, половину которой тем же порядком и крошит сидящий с краю. Является огромная деревянная чашка со щами, сюда складывается приготовленное *крошево;* сидящий в переднем углу под образами начинает есть — его примеру чинно, не торопясь, следуют остальные.

Щи съедены, только на дне чашки осталась непочатою говядина; застучат ложки по столу, и хозяйка снова в другой, третий, четвертый раз подливает щей. Едят-едят, да вдруг все и перекрестятся: чему обрадовались?

Куски пошли! (настало время за крошево приниматься). За щами является лапша и съедается с тою же невозмутимою тишиною, нарушаемою только стуком ложек или просьбою подбавить еще немного лапшицы и передать сукрой хлебца.

Когда съедается лапша, разговор начинает как будто навязываться. Какой-нибудь из сидящих вызовется уже и лошадок проведать и уйдет из избы, за ним другой и третий. А между тем хлебосольная хозяйка приносит кашу и глиняную плошку с топленым маслом. Каша как-то особенно вкусно приготовлена и понравилась извозчикам: трех чашек как не бывало, и странное свойство — она развязала языки. Начинаются толки. Откуда ни возьмется красноречивый, опытный рассказчик в лице проезжего офени или господского лакея.

— Эй, слышь-ка, хозяйка! Есть, что ли, еще что-нибудь?

— Молоко с творогом, коли хотите! — отвечает голос из-за перегородки.

— Давай, поедим и молока твоего!

И две чашки молока с творогом разместились в желудках разгулявшихся потребителей.

— Пироги подавать, что ли, ребята? — снова спросит хозяйка.

— Да они с чем у тебя? — скажет какой-нибудь шутник.

— Вдругорядь будут с кашей, а теперь с аминем,— ответит хозяйка — и действительно, пирог с аминем, т. е. пустой, без начинки.

— Ну, баста, ребята, вылезай, пора и коней попоить. Сами поели, и им пора дать вольготу...

Напоивши лошадей и задавши им овса, извозчики ложатся спать. Пройдет часа два или три, и снова воз за возом отправляется из задних ворот дорожный поезд.

Здесь не лишним будет заметить, что одиночник никогда не едет один, а всегда в компании с другими, держась поверья, что задним лошадям легче плестись за другими. Потому редкий когда-либо согласится ехать впереди, всегда стараясь немножко позамешкаться, чтобы после догнать товарищей и примкнуть сзади. Но если уже выпала ему такая несчастная доля — предводительствовать обозом и у него двое саней вразнорядку, то никогда не пустит вперед ту свою лошадь, которая получше другой и *пошагистее,* а норовит поместить не так рысистую лошадь и всегда правит ею своеручно. Он ни разу во всю дорогу не употребит плети, которой очень часто даже и нет у него, как вещи совершенно ненужной при такой тихой езде, как езда одиночников. Вообще одиночник чрезвычайно любит своих *животов* и бережлив к ним даже до мелочности: ни за что не посадит балуна-школьника на свое место на облучок, не даст ему ни вожжей, ни плети.

Ничем столько не угождают ему седоки, как слезши с воза пойдут сторонкой — мера единственная, даже полезная зимой, потому что, сидевши неподвижно на одном месте, можно отморозить себе ноги, да, наконец, нужно же разнообразие в такой тихой езде, тянущейся мучительно медленно. В благодарность за одолжение одиночник любит *поважить* своих седоков, а в свою очередь, когда дело дойдет до горы, он соберет их на воза, громко крикнув: «Садитесь, ребята, гора!»— и легонькой рысцой спустит их вниз. Затем опять продолжается та же история — согревание себя и своих ног собственным же средством — взбираньем пешком на гору.

Во время таких обоюдных, дружеских одолжений с обеих сторон незаметно наступят сумерки, а за ними и темная, глухая ночь. Седоки на своих местах, извозчики тоже на облучках; передний зачмокал, задергал

вожжами, и лошаденки мелкой рысцой потащились вперед — разительный признак близкого ночлега.

За столько же сытным, как и обед, ужином разговоры бывают обыкновенно обильнее и интереснее. Ночной ли сумрак и темнота только что проеханного леса, страсть ли русского человека к чудесному, имеющая много пищи в тихой езде, когда от нечего делать и в лесу сильно воспламеняется воображение, но только за ужином у одиночников всегда затеваются рассказы о разбойниках.

— А слышали, ребята,— начнет какой-нибудь краснобай,— намнясь в Вожерове како дело случилось?

— Нет... а что? Нешто не ладно?— отзовутся собеседники.

— Да, чай, знаете Михея-то Терпуга, ну вот что с товаром ездит, еще такой коренастой, с черной бородой, да он завсегда тут все разносчиком ездит, никак годов больше двадцати будет.

— Будет-то будет!— отзовется хозяин, охотник послушать разговоры своих гостей и принять в них деятельное участие,— знаем Терпуга...

— Ну!— в нетерпении отзовутся в один голос все извозчики.

— В осеннюю Казанскую * в Вожерове ярмарка, бывает, что ли, аль базар какой, заподлинно не могу сказать.

— У них на Введеньев день бывает ярмарка!— заметит хозяин, присевший на лавку, поближе к гостям.

— Терпуг приехал с товарами, лавочку открыл, посбыл товару сколько мог, да, говорят, и больно много. К вечеру собрался, связал воз, все как следовает, да на перепутьи и забеги в питейной. Хватил косулю, другую, третью — разобрало... Он и давай бахвалить про деньги — на столько-то товару всякого продал; спросил еще косулю — выпил. Случись тут трое молодцов из тутошних, перемигнулись, примерно, и вышли. Михей выпил косуху и тоже вышел. Да вам, чай, в примету, братцы, на десятой версте отселева мост-от?

— Коло починка-то, что ли?— спросил хозяин.

— Ну!— подхватили слушатели.

— Вот эдак, примерно, около первых петухов едет Михей один, работника с ним не было; только на мост въехал, как хватит его кто-то по затылку, да так

больно, что он и свалился. Как опомнился, пришел в чувствие — видит, дело плохо: один молодец держит под уздцы лошадь, а двое лезут с дубиной: «Давай, говорят, деньги, а не то под мостом будешь, не успеешь-де родным и поклону справить». Михей изловчился, вытащил кистень, да как рванет того, что первый полез на него: у того только искры из глаз посыпались... упал! Тот, что лошадь держал, драло под мост, а за ним и третий. Съехал Михей с моста, а они ему вдогонку: счастлив-де, проклятый, догадался — кистень достал, а то бы хлебал уху в омуте...

— То-то я гляжу,— намнясь за маслом ездил в Вожерово,— Спирька-Сыч что-то сгорбился, с овина, бает, упал,— перебил хозяин.— Да вот вечор ваши же ребята рассказывали, что Терентий Павлов вез на тройке купцов с ярмарки и тоже, примерно, в питейное вожеровское зашли и выпили на порядках — знатно. Тут на задах-то у нас перелесок будет; они, что въехали туда, слышат, свистнуло в стороне, а там в другой. Купцы хоть и на кураже были, а струсили... Терентию и горя мало, едет да попевает, еще шажком и тройку-то пустил. А в корни-то у него была вятка сивая, бает, триста рублев в Котельниче дал... Видят купцы, около дороги человек верхом показался, выехал на дорогу. За ним другой тоже на лошади, поравнялись да и давай растабарывать. Терентий с ними: куды-де едете, не по пути ли, да что больно лошаденки-то у нас плохи? Купцы было кричат, чтоб шибче ехать, а Терентий как бы и не слышит, знай толкует. Да вы, говорит, ребята, не хотите ли поменяться лошадями-то! Я бы коренника-то, бает, уступил дешево, взял бы, пожалуй, обеих, да коли и третий бы был, и того бы взял. Те только посмеиваются да переглядываются, один пустил немножко вперед, да только было хотел ухватиться за поводья, как гикнет Терентий, индо купцы носы в лисьи шубы попрятали. Кони взвились, только пар валит; те было версты две поехали, да видят — дело дрянь, не догонишь. «Ладно, говорят, в другой раз поедешь — нас не минуешь». А Терентий только посмеивается да покрикивает — так и удрал...

— Да нешто они давно, хозяин, так-то занимаются?— спросил один из извозчиков.

— Ну, теперича маленько посмирнее стали, зря-то не нападают, разве ночью на одного.

— Вестимо, в обозе-то что они сделают? Так только лишь... Бока наломаем, знают они, на кого нападать. Да никак пора, ребята, лошадок попоить да и спать завалиться!— заключил первый рассказчик, вставая из-за стола и поблагодарив хозяина за хлеб и соль.

Через полчаса в избе все стихает. Извозчики забрались на печь, на полати, на лавки и, подложив полушубки под голову, наполнили всю избу сытым и тяжелым храпом. Хозяин притащил из сеней огромную связку щиты или плетеный из соломы ковер и бросил его в углу на пол, наконец, погасив лучину *в светце,* вскоре и сам захрапел за перегородкой. Около полуночи между спящими начинается некоторого рода суматоха, лежавшие на печи и полатях перебираются на пол, будучи не в состоянии выдержать той страшной духоты, которая едва терпима в самой избе — на полу и лавках, но становится удушливою на печи и полатях. И хотя по пословице «пар костей не ломит», все же этот жар в течение пяти часов редкий в состоянии вытерпеть и готов даже отдать должное удивление и полную дань справедливости тому, кто всю ночь вылежится там и долго потом, проснувшись, протирает глаза и не может очнуться.

— Эк его разжарило! Обрадовался теплыни, словно и невесть чему, как это хватило мяса, что хоть глаза-то привел бог протереть, не весь сжарился!.. Пройдись маленько, свояк, а то, чай, всего разломало,— заметил лежавший на лавке.

— Благо хоть свет-то божий привелось увидеть, а то и не чаял; вишь, какой зуд пронял, словно блохи накусали,— подхватит какой-нибудь остряк-швец, сшивающий хозяйские овчины для тулупа.— Попробуй, сват, кваску, авось не прогонит ли тоску,— и, подавая кружку все еще неочнувшемуся и протирающему глаза свату, добавит:— Славный квас, землячок, один пьет, а у семерых животы рвет; выпьешь глоток, со смеху покатишься, а выпьешь другой, сведет тя дугой — небось еще не попросишь.

— Что, небось ладен — глаз изо лба воротит?— спрашивает разговорившийся остряк, когда ошеломленный, наконец, крякнул, выпивши полкружки и свесив свои ноги на лесенку.

— Теперь пройдись маленько, да смотри не забудь онучки *-то, а то тебя тут и не дождешься; вишь ведь

словно дома развалился!— продолжают острить одиночники, увлеченные примером бойкого парня-швеца, давно уже поджавшего ноги где-нибудь подле *светца* на лавке и ловко вскидывающего руку с иголкой, так что глазам больно следить за его работой.

Снова смолкнет все в избе, хотя уже и проснулись все ее временные и постоянные обитатели и, обвивши свои ноги онучами и оборами *, подвязывают лапти. Изредка в разных углах раздается протяжный зевок в виде завывания: «Ох-хо-хо — ау... чих; ехала деревня поперек мужика»... Вскоре начнется плесканье водой из глиняного рукомойника с тремя горлышками, висящего на веревочках около печи, под полатями рядом с рушником или полотенцем. Этот рукомойник имеет весьма дурное свойство — всякому непривычному вовсе некстати налить воды за шиворот, если он слишком сильно раскачает его на веревках и не догадается придержать рукой прежде, чем наклонить свою голову.

За хозяйской перегородкой начинается однообразное щелканье счетами при отрывистом высчитывании потребленного овса и сена. Зазвенят медные деньги, захлопает дверь из избы в сени, иногда раздастся голос нетерпеливого седока, понукающего своего извозчика поскорее закладывать и всегда озадачиваемого следующим ответом:

— Ишь какой прыткий! Дай разделаться с хозяином-то, гляди, еще и не закладывали. Без других я не поеду... спешить некуда, к вечеру будем в городе, небось не замешкаем. Мы свое время знаем, барин, подика лучше буди своих-то — рано поднялся больно, еще только третьи петухи пропели.

Иногда после такой речи раздается голос растерявшегося извозчика, отыскивающего какой-нибудь синий или красный кушак и рукавицы, и через полчаса изба пустеет. И снова воз за возом медленно, мучительным шагом, при всеобщем молчании еще не разгулявшихся путешественников, потянется длинный обоз одиночников по избитой ухабами зимней дороге.

СЕРГАЧ

Приступая к рассказу об одном из оригинальных промыслов, составляющем исключительную особенность русского нрава, спешим оговориться. Промысел или способ прокормления себя посредством потехи досужих и любопытных зрителей шутками и пляскою ученых медведей не так давно был довольно распространен. Теперь, при изменившихся взглядах, при усилиях общества покровительства животных, промысел сергачей значительно упал и близок к окончательному падению. От столиц сергачей положительно отогнали; теперь не видать ученых медведей, пляшущих на окраинах, на дачах наших столиц в летнее время. Кое-как держится еще этот промысел около мелких ярмарок в глухих и отдаленных местностях, всего больше в северных лесных и южных степных губерниях...

В наших северных великороссийских губерниях обычай водить медведей усвоен жителями известных местностей; большею частью водят татары Сергачского уезда Нижегородской губернии. И вот происхождение названия сергача, которое переходит с хозяина-поводыря и на мохнатого плясуна; один проводник остается при своем неизменном названии — козы. Имя «сергач» сделалось в последнее время до того общим, что будь поводырь из Мышкина (Ярославской губернии), владимирец, костромич, ему непременно дается имя нижегородского городка. Часто, однако, появление плясунов повещается и еще более общим криком — говорят обыкновенно: «Медведи пришли!» Впрочем, мало-мальски знакомый с коренными, главными отличиями великороссийских наречий и говоров, легко отличит сергача от мышкинца и владимирца: первый говорит своим мягким низовым — нижегородским наречием, оба остальных — суздальским грубо окающим. Цыгане с медведем решительно никогда не заходят на север, вероятно, ограничиваясь своей благодатной Украиной. Однако нелишне заметить и то обстоятельство, что нет правил без исключений, нет закона безусловно неизменного: попадаются и такие, которые так себе надумали приняться за медведя, без исконного обычая предков, и потому неудивительно, если при расспросах признается пово-

дырь, что он не ближе, не дальше — сосед ваш, только бы жил он на бору, да водились в этом лесу медведи. Но это бывает очень и очень редко.

Ученые медведи носят еще название сморгонцев, наш «сергацкий барин» переименовывался в «сморгонского студента», «сморгонского бурсака», но это медвежье прозвище было распространено лишь в западной половине России, да и там теперь исчезло. Исчезновение произошло вслед за тем, как прекратились, повымерли все те ученые медведи, которых воспитывал богач Радзивилл, знаменитый Пане Коханку, и на которых, по преданию, он ездил в Вильну и раз даже явился на сейм в Варшаве. По преданию этому (кое-как сохранившемуся на месте), Радзивиллу ловили медведей в густых первобытно-диких лесах Полесья до Припяти около Давид-городка. Вели их 300 верст до знаменитой резиденции Радзивилла — Несвижа, в трех верстах от которого (в фольварке Альбе) существовал разнообразный зверинец. Здесь косолапый ставленник отдыхал короткое время и затем уводим был в другое имение Радзивилла — местечко Сморгоны, лежащее на почтовом тракте из Вильны в Минск, в тридцати верстах от г. Ошмян и более чем в двухстах от бывшей резиденции князя Радзивилла. Здесь в Сморгонах было особое каменное строение, медвежье училище, носившее шуточное прозвище Сморгонской Академии. Косолапые студенты здесь обучались особыми мастерами в двухэтажном здании, в котором каменный пол второго этажа накаливался громадною печью из нижнего этажа. Студенту надевали лапти (каверзни) на задние лапы, предоставляя передним становиться на горячий пол; но так как нежные медвежьи подошвы жару не выдерживали, то медведь и был принужден держаться на задних лапах на дыбах. Достигая такой привычки или спссобности, медведь приучался затем к известным штукам, которые делали из него зверя ученого, но которые, однако, не вызывали таких остроумных приговоров, какими славятся нижегородские сергачи. Выученные медведи производили репетиции и жили потом в местечке Мире, другом радзивилловском имении, в сорока шести верстах от г. Новогрудка (в Минской губернии) и уже только в двадцати восьми верстах от радзивилловских дворцов в Несвиже. В Мире ученые медведи поступали к цыганам, которые, как известно,

издавна были поселены здесь и имели, по преданию, даже собственного короля, пожалованного в это звание чудаком и самодуром Паном Коханком. Мирские цыгане водились со сморгонскими бурсаками, бывшими в саду в особом деревянном здании-зверинце, превратившемся теперь в уютный и теплый жилой дом современного владельца (гр. Витгенштейна). Кроме экстренных случаев сеймовых поездок эксцентрического Пане Коханку и прогулок его на медведях по собственным местностям, цыганам предоставлено было право водить медведей на посторонние потехи и для собственных заработков. Отсюда и появление с учеными медведями — сморгонскими бурсаками — и цыган вслед за нижегородскими татарами. В настоящее время (по личным нашим расспросам в тех местах) не только не существует в Сморгонах чего-либо похожего на этот промысел, но и в Мире не осталось даже следа цыган, переродившихся в коренных белорусов. Самые предания очень слабы, неточны, хотя и существуют указания на место бывших зверинцев. И только в склепе несвижского огромного костела среди других Радзивиллов сохраняется скелет и Пана Коханка, человека огромного роста с высокою грудью, одетого в высокие кожаные ботфорты (хорошо сохранившиеся), в полуистлевший бархатный кунтуш, с вышитой на левой стороне высокой груди звездою и с тканным серебром широким шелковым поясом.

* * *

— Ну-ка, Михайло Потапыч, поворачивайся! Привстань, приподнимись, на цыпочках пройдись, поразломай-ка свои старые кости. Видишь, народ собрался подивиться да твоим заморским потяпкам поучиться.

Слова эти выкрикивал нараспев и тем низовым наречием, в котором слышится падение на мягкие буквы с некоторой задержкой или как бы коротеньким, едва приметным заиканьем (каким говорят по всей правой стороне Волги), низенький мужичок в круглой изломанной шляпе с перехватом посередине, перевязанным ленточкой. Кругом поясницы его обходил широкий ремень с привязанною к нему толстою железною цепью; в правой руке у него была огромная палка — орясина, а левой держался он за середину длинной цепи.

В одну минуту на заманчивый выкрик сбежалась толпа со всех концов большого села Бушнева, справлявшего в этот день свой годовой праздник летней Казанской *. Плотно обступила глашатая густая и разнообразная стена зрителей: тут были и подвязавшие пестрые передники под самые мышки — доморощенные орженушки, охотницы щелкать орехи, хихикать, закрываться рукавом и прятаться друг у дружки за спиной, когда какой-нибудь незнакомый любезник начнет *отгибать колена* и поведет медовые речи. Толкались и ребята в рубашках, без шапок, готовые при первом удобном случае прилично встретить и проводить захожего любезника, если он не сойдется с ними заранъше. Подобрался позевать и приезжий посадский парень, вырядившийся в свою праздничную синюю сибирку, страстный любитель пощелкать в бабки и для того всегда державший в заднем кармане несколько гнезд и свинцовую битку, за которую часто доставалось его бокам и микиткам. Подошел посмотреть и волостной писарь в халате, мастер выкуривать одним духом целую трубку самбраталического и не поперхнуться. Не было только одних стариков и солидных гостей, которые, забравшись в избы, поднимали страшный шум о какой-нибудь запущенной мельнице, да бабы-большухи, как угорелые, метались от шестка к столу и обратно, выставляя жирные пироги и поросят с кашей на потребу дорогих гостей, которые кучами валили из избы в избу от раннего полудня до позднего вечера.

Между тем на площадке раздавалось звяканье цепи, и мохнатый медведь с необычайным ревом поднялся на дыбы и покачнулся в сторону. Затем, по приказу хозяина, немилосердно дергавшего за цепь, медведь кланялся на все четыре стороны, опускаясь на передние лапы и уткнув разбитую морду в пыльную землю.

— С праздником, добрые люди, поздравляем!— приговаривал хозяин при всяком новом поклоне зверя, а наконец, и сам снял свою измятую шляпу и кланялся низко.

Приподнявшись с земли в последний раз, медведь пятится назад и переступает с ноги на ногу. Толпа немного осаживает, и поводатарь начинает припевать козлиным голосом и семенить своими измочаленными лаптишками, подергивая плечами и уморительно повер-

тывая бородкой. Поется песенка, возбудившая задор во всех зрителях, начинавших снова подаваться вперед:

Ну-ка, Миша, попляши,
У тя ножки хороши!
Тили, тили, тили-бом,
Загорелся козий дом,
Коза выскочила,
Глаза выпучила.
Таракан дрова рубил,
В грязи ноги завязил.

Раздается мучительный, оглушительно-нескладный стук в лукошко, заменяющее барабан, и медведь с прежним ревом — ясным признаком недовольства — начинает приседать и, делая круг, загребает широкими лапами землю, с которой поднимается густая пыль. Другой проводник, молодой парень, стучавший в лукошко и до времени остававшийся простым зрителем, ставит барабан на землю и сбрасывает привязанную на спине котомку. Вытащив оттуда грязный мешок, он быстро просовывает в него голову и через минуту является в странном наряде, имеющем, как известно, название козы. Мешок этот оканчивается наверху деревянным снарядом козлиной морды, с бородой, составленной из рваных тряпиц; рога заменяют две рогатки, которые держит парень в обеих руках. Нарядившись таким образом, он начинает дергать за веревочку, отчего обе дощечки, из которых сооружена морда, щелкают в такт уродливым прыжкам парня, который, переплетая ногами, время от времени подскакивает к медведю и щекочет его своими вилами. Этот уже готов был опять принять прежнее, естественное положение, но дубина хозяина и щекотки козы продолжают держать его на дыбах и заставляют опять и опять делать круг под веселое продолжение хозяйской песни, которая к концу перешла уже в простое взвизгиванье и складные выкрики. С трудом можно различить только следующие слова:

Ах, коза, ах, коза,
Лубяные глаза!
Тили, тили, тили-бом,
Загорелся козий дом.

Медведь огрызается, отмахивает козу лапой, но все-таки приседает и подымает пыль.

Между тем внимание зрителей доходит до крайних пределов: девки хохочут и толкают друг дружку под

бочок, ребята уговаривают девок быть поспокойней и в то же время сильно напирают вперед, отчего место пляски делается все уже и уже и Топтыгину собственною спиною и задом приходится очищать себе место.

Песенка кончилась; козы как не бывало. Хозяин бросил плясуну свою толстую палку, и тот, немного огрызнувшись, поймал в охапку и оперся на нее всею тяжестью своего неуклюжего тела.

— А как, Михайло Потапыч, бабы на барщину ходят?— выкрикнул хозяин и самодовольно улыбнулся.

Михайло Потапыч прихрамывает и, опираясь на палку, подвигается тихонько вперед, наконец, оседлал ее и попятился назад, возбудив неистовый хохот, который отдался глухим эхом далеко за сельскими овинами.

— А как бабы в гости собираются, на лавку садятся да обуваются?

Мишук садится на корточки и хватается передними лапами за задние, в простоте сердца убежденный в исполнении воли поводатаря, начавшего между тем следующие приговоры:

— А вот молодицы — красные девицы студеной водой умываются: тоже, вишь, в гости собираются.

Медведь обтирает лапами морду и, по-видимому, доволен собой, потому что совершенно перестает реветь и только искоса поглядывает на неприятелей, тихонько напевая про себя какой-то лесной мотив. Хозяин между тем продолжает объяснять:

— А вот одна дева в глядельцо поглядела, да и обомлела: нос крючком, голова тычком, а на рябом рыле горох молотили.

Мишка приставляет к носу лапу, заменяющую на этот случай зеркало, и страшно косится глазами, во всей красоте выправляя белки.

— А как старые старухи в бане парятся, на полке валяются? А веничком во как!.. во как!..— приговаривает хозяин, когда Мишка опрокинулся навзничь и, лежа на спине, болтал ногами и махал передними лапами. Эта минута была верхом торжества медведя; смело можно было сказать ему: «Умри, медведь, лучше ничего не сделаешь!»

Ребята закатились со смеху, целой толпой присели на корточки и махали руками, болезненно охая и поминутно хватаясь за бока. Более хладнокровные и ви-

давшие виды сделали несколько замечаний, хотя и довольно сторонних, но все-таки более или менее объяснявших дело.

— Одна, вишь, угорела,— продолжал мужик,— у ней головушка заболела! А покажи-ка, Миша, которо место?

Медведь продолжал валяться, видимо, желая до конца напотешить зрителей, но хозяйская палка, имевшая глупое обыкновение падать как раз не на то место, где чешется, напомнила зверю, что нужно-де всему меру знать, а хозяйские уроки не запамятовать. Очнувшийся Мишка сел опять на корточки и приложил правую лапу сначала к правому виску, потом перенес ее к левому, но не угодил на хозяина. Этот, желая еще больше распотешить зрителей, сострил и, дернув порывисто за цепь и ударив медведя по заду, промолвил:

— Ишь ведь, старый хрыч какой! Живот ему ломит, а он скулу подвязал! Покажи-ка ты нам, как малые ребята горох воруют, через тын перелезают.

Мишка переступает через подставленную палку, но вслед за тем ни с того, ни с сего издает ужасный рев и скалит уже неопасные зубы. Видно, сообразил и вспомнил Мишка, что будет дальше, и крепко не по нутру ему эта штука. Но, знать, такова хозяйская воля и боязно ей поперечить: медведь ложится на брюхо, слушаясь объяснений поводатаря:

— Где сухо — тут брюхом, а где мокро — там на коленочках.

Недаром Топтыгин неприязненным ревом встретил приказание: ему предстоит невыносимая пытка. Хозяин тащит его за цепь от одной стены ребят до другой, противоположной, как бы забыв о том, что зверь всегда после подобной штуки утирается лапой. С величайшею неохотою поднимает он брошенную палку и, схватив ее в охапку, кричит и не возвращает. Только сильные угрозы, на время замедлившие представление, да, может быть, воспоминание о печальных следствиях непослушания заставляют медведя повиноваться. Сильно швырнул он палку, которая, прокозырявши в воздухе, далеко перелетела за толпу зевак. Наказанный за непослушание, медведь начинает сердиться еще больше и яснее, он уже мстит за обиду, подмяв под себя вечно неприязненную козу-барабанщика, когда тот, в заключение представления, схватился с ним побороться. При-

жал медведь парня лапой, разорвал ему армяк, и без того худой и заплатанный, и остановился, опустив победную головушку. Только хозяйская памятка привела его в себя, громко напомнив и о плене, и о том, что пора-де оставить шутки, не место им здесь.

Осталось мишке только пожалеть об этом и сойти со сцены, но неумолимая толпа трунит над побежденным и поджигает его схватиться снова с медведем. Однако этот последний совсем не расположен тягаться, достаточно уверенный в собственных силах. Он окончательно побеждает противника уже простою уступкою: Мишка валится навзничь, опрокидывая на себя и козу-барабанщика.

— Прибодрись же, Михайло Потапыч,— снова затянул хозяин после борьбы противников.— Поклонись на все четыре ветра, да благодари за почет, за гляденье,— может, и на твою сиротскую долю кроха какая выпадет.

Мишка хватает с хозяйской головы шляпу и, немилосердно комкая, надевает ее на себя, к немалому удовольствию зрителей, которые, однако же, начинают пятиться в то время, как мохнатый артист, снявши шляпу и ухватив ее лапами, пошел по приказу хозяина за сбором. Вскоре посыпались туда яйца, колобки, ватрушки с творогом, гроши, репа и другая посильная оплата за потеху. Кончивши сбор, медведь опустил голову и тяжело дышал, сильно умаявшись и достаточно изломавшись.

Между тем опять начались на время прекратившиеся хороводы, сопровождаемые писком гармоник и песнями горластых девок. В одном углу, у забора, щелкали свайкой, в другом играли в бабки, соображаясь с тем, жохом или ничкой ляжет битка. На одном крыльце показалась толпа подгулявших гостей и затянула песню, конченную уже в соседней избе на пороге. Чванились гости, кланялись хозяева, прося хоть пригубить чарку и не погнушаться пирогом с морковью, и буйно-весело разгорался деревенский праздник, которому и веку-то только три дня, и то потому, что покосы кончились, а рожь только лишь недавно начала наливаться.

— Что, земляк, поди, с Волги аль с Оки, что ли, какой?— спросил старик, подходя к вожаку, пробиравшемуся в питейный.

— Маленько разве что не оттеда!— отвечал тот и поплелся дальше.

— Давно, поди, возишься с суседушкой-то?— расспрашивал старик, указавши на Мишку, который, понурив голову, плелся за хозяином и искоса поглядывал на допросчика.

— Годов пять будет, коли не больше. Да не балуй, неповадной!— продолжал он, дернув за цепь медведя, который успел уже присесть на корточки и начал сосать лапу.

— От себя, что ли, ходишь али от хозяина?

— Мы от себя ходим. Нынче охотников-то и в нашей стороне куды-куды мало стало: всяк лезет в бурлачину, а зверь и гуляет себе на всем просторе.

— А, поди, уж, чай, попривык к свояку-то?— продолжал расспрашивать любопытный старик и шепнул что-то парнишке, который, спустив рукава рубашонки и разинув рот, пристально разглядывал мохнатого плясуна.

— Вестимо, попривык, ко всему привыкнешь!— отвечал вожак как бы нехотя и как будто крепко надоели ему людские расспросы на каждом перекрестке. Но когда парнишка принес деревянный жбан хмельной деревенской браги и старик попотчевал провожатого, сергач стал заметно словоохотливее и, утерши бороду удовлетворял любопытству тароватого старика.

— Да вот как привык: коли когда поколеет — ссохну с тоски, коли не того еще хуже. Известно, почти свой человек стал, без него хоть сгинь да пропади — вот как привык! Нако, Миша, пивка, попей сколько сможешь, ты ведь у меня завсегда ко хмельному охочий был, годи вот маленько, а то и сердитей чего хватим. Пей-ка, брат, коли есть что — не чванься!..

И вожак, налив пива в шляпу, поднес своему кормильцу.

— Вот видишь, старина, сам что ешь или пьешь — ему завсегда уж уделишь. И совесть тебя мучает, коли не отломишь чего, да и он-то таково жалостно смотрит, что кусок не лезет в горло — и все делишь пополам!— продолжал рассуждать поводырь в то время, как Мишка, утершись лапой и пощелкав зубами, выказал нетерпеливое желание идти дальше.

И видел старик расспросчик, как куцый зад Топтыгина скрылся за дверью питейного, и слышал он, как

взвизгнула баба, нагибавшая коромысло колодца и обернувшаяся назад как раз в ту минуту, когда мохнатый философ проходил мимо, не дальше как пальца на три от ее сарафана. Бросилась она опрометью в избу, оставив ведра подле колоды, и долго ругала на всю деревню и зверя и провожатого.

Не уйти сергачу от любопытных расспросов и не отмолчаться ему, когда возьмет свое задорный хмель и начнет подмывать на похвальбу и задушевность.

— Маленьким, братцы, взял, вот эдаким маленьким, что еле от земли видать было,— говорил он любопытным завсегдатаям, обступившим пришельцев и всегда готовым слушать все, что ни предложит им досужество, будь это хоть в десятый, хоть даже в сотый раз.

— Было, вишь, их два брата, вестимо двояшки: ни тот, ни другой старше. А жил-то я, братцы, у нашего благочинного в батраках — отцом Иваном звали,— продолжал сергач уже таким тоном, который ясно говорил, что вы-де народ темный, а мы люди бывалые, слушайте только, да не мешайте, таких диковин наскажем, что вам и во сне не привидится.

Кое-кто из слушателей подперлись локотками, другие самодовольно обтерли руки о полы своих полушубков, а красторожий сиделец * всею массою жирного тела перетянулся через стойку и вытаращил масляные глаза.

— Жена у меня померла; домишко весь ветром продуло и солому всю снесло на соседский овинник, а вон Мишутка мой еще махонькой был. Эх, думаю, худая жизнь без хозяйки! А все лучше хлебушко путем доставать — не биться о холодный шесток, вот и нанялся я к отцу-то Ивану. Ну и живу, братцы, ничего... живу путем-толком, ни он меня, ни я его не обижаем, все идет по миру, по согласию. Да вот стали раз как-то недобрые слухи ходить: ниоткуда взялась медведица, да и начала рвать скотину по соседству, досталось-таки на порядках и нашим сельским — которой вымя выест, которую всю изломает, а сычухинский мельник еще хуже рассказывал. Ухватил, слышь, медведь-от Базихину буренку за шиворот, да и поволок к лесу. На первых порах все, слышь, задом пятился, да, знать, корова-то больно ревела или сам-от добре приустал, только взвалил он ее на закорки, стал на дыбы, да и

потащился к оврагу. Собрались наши сельские миром, да и порешили идти сообща против зверя; кое у кого ружьишки понабрались, у Матвея Горшка достали рогатину. Хотели было ямы вырыть да и позавалить берестом, так старики да девки пристыдили. Начало, братцы, и меня подмывать пойти на охоту. Берет такой задор, словно в лихоманке хожу,— и ружьецо было, на тридцать сажен хватало, и долото промыслил для заряду.

— Пусти,— говорю,— отец Иван, с ребятами на охоту! Рогатины,— говорю,— достали, и ружей никак с пяток было.

Тот — никак, и матушка тоже.

— Убьет!— говорят.— Что тебе в этом толку? Да и парнишка сиротой останется, некому и порадеть будет. Чем,— говорят,— на медведя-то ходить, в другом чем будешь пригоден. А там и без тебя народу много, сам говоришь — все село идет.

«Дело,— думаю,— толкуешь! Твои бы речи и слушать». Подумал я, братцы, подумал, да и пошел клепать косы на *повит*. Пришли наши ребята с охоты и медведя приволокли с собою убитого: шкура вся взбита, словно решето какое, и брюхо распорото. Медведь бы куды ни шло: затем, стало быть, ходили, а то, вишь, с ним еще барского повара притащили, тоже побывшился (умер). А дело-то было вот как: сунулся он с ножом кухонным, что говядину режет, разогнал ребят, никого не подпущал к себе, «сам,— говорит,— справлюсь, один на один, только,— говорит,— не мешайте». Пошел он по медвежьей тропе, да и не приходил назад, слышали ребята, как ревел благим матом, а подступиться боялись, да уж потом целым миром и подошли к оврагу-то. Видят ребята, оба лежат не шелохнутся, подмял медведь Еремку, задрал, слышь, с затылка, да и сосет мозги. Начали палить — не сдвинулся медведь, все лежит на одном месте. Подошли наши, а он уж и помер. Кабы, говорят, Еремка в сердце угораздил, да подшиб его под ноги, может, и убил, говорят, и сам бы жив остался. А то как понажал тот его, да изловчился ухватить за затылок — ну и помер.

— У нас так это не так бывает,— перебил один из слушателей.— Живем мы в лесах глухих, волока верст по сотне будут, едешь ты лесом — ни одной деревни, все дуб да береза, взглянуть, так шапка валится. На



всем волоку и жилья-то только две либо три избенки, и то лесники строют.

— А ты из каких мест?— спросили бушневские.

— Вятские — из Яранска-города бывали.

— Не знал ты там Гришуху Копыла — торговал хомутами и пошел-то из нашей деревни?

— Где, братцы, знать, народу всякого есть, всех не спознаешь.

— Вестимо, где там всякого знать!— подтвердил тот же, который задал вопрос.

— Ну!— крикнули завсегдатаи, проводив это «ну!» тяжелым вздохом.

— Да вот теперь, он рассказывал, летом было, а у нас так по осеням за медведем-то ходят. Как, примерно, началась первозимица, набросало снежку, он, говорят, и пойдет искать берлоги и все старую выбирает, а то выгребают и новые, так, на поларшина. А уж коли пошел он к берлоге, знамо чернотроп после себя оставит. Охотники-то уж и знают это время, замечают тропу по деревам да по кустам, а ему дают улечься. У них только бы знать, в какую сторону пошел, а уж там найдут по чутью, на нос.

— Берлогу-то найти нехитрая штука. Сам, брат, хаживал, хоть и не рассказывай, все сам поизведал, коли хошь, так и тебе расскажу,— прихвастнул сергач.— Берлогу он завсегда вглубь на три четверти роет, только бы самому улечься. Как, стало быть, ляжет, так и навалит сверху хворосту всякого, лапок сосновых, валежнику, а дырочку для духу завсегда-таки оставит наверху. Вот и видишь, как завалит хворост-от снегом, из дырочки пойдет пар змейкой — ну, знать, засел тут дедко и сосет лапу. Тут его только сам не замай, да не говори про него, не поминай его имени, чтобы не услышал он; не тронет, ни за что не тронет, да и такой-то увалень, что и не повернется. Один раз только и повертывается он во всю зиму, а то целых ползимы на одном боку лежит, да ползимы на другом.

— Слыхать-то слыхали об этом,— поддакнули слушатели.— Ну, а ловить-то как?

— Да так же, поди, как и у них. Главная причина из берлоги вытравить — поймают, вишь, зайца, да и начнут щипать, а сам-от больно этого писку не любит; а не то собак улюлюкают. Потапыч-то, вишь, осерчает, вылезет из берлоги, да и встанет на дыбы, тут его в

пять, шесть рогатин и начнут донимать. Из ружей мало стреляют, плохо берет его пуля-то — тепла, вишь, шуба, пальца в три будет, коли не того больше. А ноготки? Гляньте-ка, ноготки-то!

И хозяин полюбовался двухвершковыми когтями своего воспитанника.

— Ведь вот бьешь его палкой — думаешь, больно, так нет тебе, словно деревянный, разве в щекотное место попадешь. Только и надежда одна, что на кольцо, а то всего бы, кажись, изломал. Бывали и такие случаи, что подымут облавой, собаками, тут бы и бить его, так иной раз косой шут деру задает с перепугу да спросонья, начнет кувыркать — на доброй лошади не догонишь, а коли он сам пустился в погоню — ни за что не уйдешь! Тут уж он всю зиму не лежит — и бродит все по соседству. Злей его тогда нет зверя на свете, хуже волка голодного. Человек тогда не попадайся ему, хоть в другой раз и не тронет, если молодой еще да не попробовал человечьего мяса.

— Мед, говорят, охотник он есть? — поджигали сергача его слушатели.

— Винцо, братцы, больше любит. Вот и теперь бы выпил, кабы было чего...

Догадались бушневские, куда наметил рассказчик, да только переступили с ноги на ногу и почесали затылки. Первый начал вятский.

— Нехорошо, — говорит, — братцы, обижать прохожего человека. Пойдет далеко, понесет худую славу: вот-де был на бушневском празднике, да, знать, у них свои свычаи — сами пьют, а гостей не потчуют.

Сергач после угощения сделался еще разговорчивее. Мишка сладко облизывался, и, когда хозяин опять растобарывал с земляками, он свернулся на полу и крепко заснул, пустив страшный храп и сап на всю избу.

— А далеко ходишь? — спросил опять вятский. — Домой-то, чай, не скоро попадешь?

— Наше время известное: как вот начнет немного завертывать, станет эдак моросить первоснежье — мы и потянемся на наседало. Ходим-то, вишь, босиком, так зимой уж и щекотно станет: сам-то он не привык, так и делаешь во всем по его. А не то, так куда больно серчает!

И поводырь, защурив глаза, медленно покрутил головой.

3 Заказ 471

— Ни за что ты его не приневолишь на ноги встать, коли зима застанет, знает шут это время: свои-то, вишь, в берлогу залягут да и сосут на досуге лапу, ну, а ведь на него не лапти же надеть. Да коли правду сказать, так и сам лето понамаешься, рад-рад как попадешь домой на печь поотогреться.

— Эх, земляк, куда ни шло! Расскажи уж заодно — как ты его залучил под свою стать? А трудновато, поди, было, долго не поддавался, да ведь чего человек-от не сделает? Вон один, говорят, блох выучил пляске, слыхал я в Питере, а за морем так еще облизьяну выдумали! — поджигал сергача один из бушневских и хитрою речью и хмельной водкой, которая до того развеселила поводыря, что он затянул песню, подхвативши щеку, и такую заунывную, что самому сделалось жалостно. Однако благодарность за угощение и чувство довольства самим собой, а еще больше воспоминание прошлого, которое чем страшнее, тем приятнее, заставили сергача рассказать всю подноготную, которую у него же, у трезвого, не вышибешь колом, не то что лукавым словом.

— Давно, братцы, было, и, признаться, не то, чтобы очень, а таки Мишутка мой еще и пушком не зашибался, а теперь, глядите-ка, и борода полезла. Да что, Мишук, нешто спать захотел, кажись, брат, рано? Ты на этого-то мохнача не гляди, зверь ведь он, как есть зверь, поел, да и потяготки взяли, — говорил отец, обращаясь к товарищу-сыну, который, сидя на лавке, поминутно закрывал громкие и широкие зевки не менее широким кулаком.

— Тоска, тятька, слушать-то все одно да одно. Который уж раз доводится? Вот вечор тоже рассказывал, а мне запрет сделал: ничего, говоришь, про медведя не рассказывай! А сам где ни спросят, всю подноготную скажешь!..

— Эх, Мишуха, брат ты, Мишуха! Правду старики молвят, — продолжал отец с тяжелым вздохом и с укором качая головой, — зелен горох невкусен, молод человек не искусен. И толк-от бы в тебе, Миша, есть, да, знать, не втолкан весь! Слушай-ка вот лучше, умная речь завсегда и напредки пригодна бывает. Жил я, братцы, у нашего отца Ивана в работниках и как раз вот на ту пору, как медведя-то ребята убили.

— Помним, земляк, помним, еще барского-то кучера больно помяли!— поддержали слушатели.

— Не то на другой, не то на третий день после охоты, не помню, братцы, вот хоть лоб взрежьте, не помню, поехала матушка с дочкой своих проведать. Жили-то они всего с поля на поле от нашего села, и церковь ихняя словно на ладонке стоит — все видно, только одна река и отделяла. С нашей стороны берег и ничего бы, покат и ровен-гладок, а вот оттуда — крутояр такой, что береги только скулы да ребра придерживай, а то как раз на макушку угораздишь. Прибежали, вишь, наши, волком воют, все село перепугали, думали — уж опять не медведь ли им встренулся. Так, вишь, нет, говорят, другое что. Пошел я на двор, да и смекнул сразу, чему бабы взвыли. Пришла, вишь буланая-то кобыла, что с ними отпустил, да без телеги, одну оглоблю цельную приволокла — другой только осколышек, а заверток так совсем не нашел, пополам порвались. Пришел я к оврагу, стоит телега вверх бардашкой, и на одном колесе шина лопнула и спицы повыпрыгали. Пришел я домой да и говорю батюшке: «Так и так,— говорю,— отец Иван, телега на мосту лежит, надо бы домой привезти».— «Что ж,— говорит,— возьми саврасого мерина да и привези».—«Что,— говорю,— савраску возьми — я и на себе приволоку, не этакую,— говорю,— тяжесть важивали».—«А что,— говорит,— Мартын, ведь колесо-то новое надо?»—«В кузницу,— говорю,— снести надо — обтянуть шиной, на себе,— говорю,— снесу, и коли хошь, так сегодня».— «И оглоблю-то,— говорит,— новую надо. Поди,— говорит,— выруби!» «Ладно,— говорю,— отец Иван, вырублю!» Взял я, братцы, топор да и пошел за гуменники. Тут у нас лес идет, да такой благодатный что иное дерево с утра начнешь тяпать, а к обеду едва одолишь.

— Нешто уж больно толсты?— спросили бушневские.

— Сучков, видишь, много, да такие коренастые — насилу обрубишь; коли не прихватишь пилы — хоть матушку-репку пой. Выломил я ему оглоблю березовую — веку не будет, и для заверток зарубку наметил, да так, ради прохлаждения, и завернул в малинник. Он тут и пойдет вплоть до реки, пытают есть ребята, а все ягод много, и такие все сладкие да крупные, что твоя морковь или репа. Ем я, братцы, малину и еще песни

попеваю от радости. Слышу, сзади поурчит что-то да пощелкает, почавкает, да опять заурчит. Забралась, думаю, корова чья, кому больше? Да нет, думаю, корове тут нечего взять, да не пойдет она в малинник — всю исколет. Взял меня, братцы, задор посмотреть. Только бы ступить, ан шмыг мне под ноги медвежатка. Взвизгнул я благим матом, да уж дома одумался — коли, думаю, не изломали, так, стало быть, некому, а коли медведицу убили, так, знать, это сироты ее горемычные. Может, пестун остался при них? Да где, думаю, поди, того теперь и с собаками не сыщешь — далеко ухрял, ему до чужого добра дела мало. Вот и загорелось, братцы, ретивое, больно захотелось медвежат-то изловить. Прихватил про всякий случай и ружьишко и рогатину — думаю, коли пестун наскочит, поборемся, постоим за себя. А там задами, чтоб свои не знали, пробрался я в малинник и смотрю из-за сосны, куда медвежатка подевались? Слышу, опять поляскает да пощелкает, да опять,— я выдвинулся немножко вперед и рогатину наладил. Долго смотрел, больно долго: выбежали пострелята и начали на спине кататься, один ухватил лапами малину и сосет ягоду. Все, братцы, стою да гляжу, как один другого лапой мазнет да и отскочит и спрячется за кустом. Нет-нет, да опять подскочит и достает другого лапой, да не достал — кувырнулся через голову, а братишку опять задевает. Один подпрыгнул ко мне. Стою, братцы, не трогаюсь, а сердце вот так ходуном и ходит, а все смотрю по сторонам, думаю, выскочит пестун, коли не мать сама — приму на рогатину. Постреленок тем часом развязал мне оборку у лаптя, ухватил в рот и защелкал, а сам жужжит, словно шмель или оса какая. Немного погодя и другой подскочил и тоже лапоть дергает, а братишку нет-нет, да и мазнет лапой. Смотрел я, смотрел, сгреб их в подол, да и света в очах не взвидел. Домой прибежал — языка не доищусь, от одышки сердце ходуном ходит. Своим показать боюсь: велят выбросить, а больно жаль. Снес я их в овин да и запер до поры до времени. Сходил опять за оглоблей, прислушался — смирно везде, нет, думаю, далеко пестун — коли матери брюхо вспорото, хоть и брат, а, видно, свои животы-то подороже.

— Знать, правду говорят, что пестун-то им братом доводится?— допытывал любопытный вятский.

— Да ведь вот как у них это дело-то ведется: родила мать двояшек, один медведь, а другой Матрена Ивановна. Вот и ходят они с матерью, говорят, до первого снега, медведица-то поскорей растет, так и мать поскорей ее от себя гонит: ступай-де на свои харчи, а мне тебя девать некуда — невмоготу уж стало. Братишка вот дело другое, его она всегда с собой берет и в берлоге холит, а как выведет новых, то и приставит к ним: блюди-де да посматривай за ними, чтоб не баловали, а коли в чем непослушны, сам расправы не делай, мне скажи! И уж тут, что не по ней — выволочку задаст такую, что, вон рассказывал Елистрат Кривой, долго валяется на земле да ревет что есть мочи. Поревет-поревет, да и перестанет, а все, слышь, плетется за матерью: знать, в большом страхе держит, коли и колотухи не донимают.

— И злющая же эта медведица!— заметил вятский.— Коли человека, говорят, где изломает — все она. Сам не таков, толкует народ. Того как раз самого испугать можно, только, слышь, коли завидел, иди смело навстречу — не тронет. Сзади зашел, только ухни что ни есть мочи — забежит, слышь, и следа не отыщешь. Да если и начнет кувыркать он к тебе, только на землю ложись да не дыши. Придет, говорят, понюхает, попробует лапой, а лежачего ни за что не тронет, только лежи дольше, пока совсем не уйдет, а завидел, что ты встал да пошел, тут хоть и ложись опять — другой раз не надуешь. А за зад не дает хвататься, и уж если собаки впились туда — пропала медвежья сила. Так ли я говорю, дядя?

— Попытал, брат, я этой медвежьей силы — был под хмельком да и ударь раза два для смеху. Взревел Мишук и плясать перестал, как ни ломал — не хочет! Я его еще колонул, как он рявкнет, братцы, да вскинется, вот о сю пору памятка осталась.

И сергач, в удостоверение истины, показал на изрытое рубцами плечо, где еще ясно можно было разглядеть пять кругленьких ран — следы медвежьего гнева.

— Насилу, братцы, водой отлили!— закончил сергач.

Дивились слушатели и качали головами.

— Ведь вот, почтенные, толковать теперь будем: и зверь, глядишь, а сердце словно человечье!— заметил целовальник *.

— Да и ухватки-то все человечьи!— поддержал его один из самых молчаливых слушателей.— И на лапах-то у него по пяти пальцев, и мычит-то он, словно говорить собирается, а с боку попристальнее глянешь — словно видал где и человека-то такого.

— Уж и смышлен же, ребята, откуда разуму понабрался!— продолжал между тем сергач.— Вот как повозишься-то с ними и поприглядишься ко всему, и все запомнишь, коли и рассказать — так слова не выкину. Все, бывало, в овине сижу да с ними и занимаюсь: и на задние-то лапы ставлю, и падог * в руки дам, ну и побьешь в ину пору, коли не понимает. Уж пытал батюшка-священник уговоры делать:

«Чтой-то,— говорит,— Мартын, ты, братец, тот да не тот, никак тебя теперь к дому не залучишь — уж не жениться ли собираешься? Вот овин бы,— говорит,— топить надо да и снопов остатки нужно перевезти туда, а то погниют совсем». Тут-то меня словно по лбу кто, а у самого догадки-то не хватило: сгреб я пострелят-то мохнатых, да и поволок в свою избу, что пустой стояла: жила тут нищенка да и померла в осенях. Бегом бегу я домой и крепко полы придерживаю, да как раз на самого-то тут тебе и наткнулся. Начал стыдить — земля, братцы, подо мной загорелась. «Ты-де не малый ребенок — нанялся бы в няньки, все лучше с человеком-то возиться. Повойник бы,— толкует,— надел, сарафан синий, взял бы копыл * и нитки сучил. Гвоздил, братцы, до того, что горю со стыда, деться негде, а и выпустить медвежат — так в пору. Да нет! Удержался, хоть и народ обступил. «Ни за что,— говорю,— не брошу, хоть и стыдно больно, а не кину; привык,— говорю,— водой не разольете!» Как приду, бывало, к ним в избу — овсянки натолочь или щей налить, что у матушки выпросишь,— идут к тебе пострелята вперевалку. Станут на задние лапы и на руки к тебе просятся, а сами друг дружку толкают — приучил, вишь, так: кому первому, так и берут завидки и того и другого. Приласкаешь немножко, покормишь, играть начнут с тобой. Дашь им палец — сосут, а не кусают, пока зубов-то не было. Начали вот и зубы прорезаться, так с зуду, что ли, али потехи ради все лавки изгрызли. Корыто, вишь, было — так и то никуда стало не годно: все исщепали. Гляжу-погляжу: стали мои ребята промеж собой драки заводить, да так часто, что уйму не было. Слышу, бывало,



из сенец, возню да рев подымут такой, что унеси ты мое горе. Прихожу как-то раз в осенях: лежит один косоглазенькой и еле дышит, глянул на меня, да и опять нос под себя подвернул. Поставил я овсянки — так не ест и с места не встает; братишка его такой шустрый да веселенький — нет-нет, да и щипнет лежачего-то. Ну, думаю, подрались ребята — помирятся. Пришел я по вечеру — лежит еще тот и на меня уж не глянул. Братишка возле сидит да нюхает, и лапой-то двинет, и на меня-то обернется. Э, думаю, худое дело! Зашла шутка не туда, где ей следно быть. Потрепал живого сорванца, да, видно, одно и осталось — стащил мертвого на зады да и закопал в ямку. А уж куды, братцы, жалостно было — ино место слеза прошибла. И остался я при одном, вот при этом, а ту, медведицу-то, так и поучить не удалось.

Возился-то я с ним до весны,— продолжал сергач, утерши слезинку, выжатую не то хмелем, не то и в самом деле воспоминанием об утрате одного кормильца.— Пришел я, братцы, в хозяйскую избу — сидит эдак батюшка за столом, под тяблом *, и книгу толстущую с полицы снял да читает. А тут попадья сидит на конике * и считает яйца. Положил я на полати шапку, рукавицы, распоясался и начал разболокаться. Слышу — крякнул отец Иван, поглядел на меня через очки да и стал выговаривать. «Что ты,— говорит,— Мартын, не поприглядишь себе местишка какого, ведь вон весна наступает? Али с медвежатами,— говорит,— пойдешь, да ведь поди еще не пляшут?— А сам улыбнулся да и опять сердито смотрит.— Ищи,— говорит,— Мартын, места другого, а уж нам ты не нужен!» Больно разобидел он меня этим словом, уж лучше бы инако как вымолвил. Ну, думаю, ладно, служил я тебе без перекору, а коли медвежонок тебе не люб — прости, отец Иван, не поминай лихом! Да на другой же день и перебрался я, братцы, к себе в избу. Кое-как перебился и лето и зиму — то лыки драл да плел лапотки, да березки молоденькие подрубал, то веники вязал да продавал в город. Больше, впрочем, ученика-то своего обучал. Прислушался у татар приговоров, кое-что от себя понабрал на досуге, да как поприсохло весной, я и поволок его в город: ходи-де, Миша, похаживай, говори да приговаривай. С тех пор вот и мыкаемся с ним по чужим людям и везде — спасибо — обиды не видим. Разве у иного ребят пере-

пугаешь, так велят убираться. Зимой лежишь дома. Сам-от спит, а ты свое дело справляешь: лапти, что ли, тачаю... По три, братцы, пары в сутки делаю!— прихвастнул сергач и, разбудивши товарищей, поплелся вон на свежий воздух, сопровождаемый единодушным, тяжелым вздохом всех своих слушателей.

Вышел вятский на крыльцо, и видит он, как поднялся сергач на гору и повернул направо к густому перелеску. Все меньше и меньше становятся путники, далеко бредут они по оголенному пару, чуть-чуть видна вдали деревенька, словно одна изба, и ничего кругом: одно только длинное поле, по которому босому пройти кромешная мука: торчат остатки ржаной соломы вперемежку с пестами, до которых охотники малые ребята да деревенские свиньи. Идет хозяин все впереди, опираясь на палку. Чуть-чуть передвигая ноги и низко опустив голову, плетется и его медведь, сзади идет с котомкой коза-щелкунья. Можно еще и цепь различить и ноги пешеходов, но вот все это слилось в одну сплошную массу и чуть распознаешь их от черного перелеска. Скоро и совсем потонули они в куче деревьев. Вот завыли где-то далеко собаки, видно, почуяли незнакомого зверя и дикое мясо. Вздохнул вятский и вернулся в питейный, да прямо к сидельцу.

— Дай-ка,— говорит,— поскорее еще красовулю!

* * *

Недалеко ушли наши путники, где-нибудь под сосенкой или просто в дорожной канаве завалятся они на ночевку: тут медведь, рядом с ним и сам поводатарь. Ухватил Мишук хозяина лапой и дует ему в лицо и ухо целые столбы пару. Крутит головой сонный хозяин, а проснуться не хочется — крепко умаялся в запрошлый день, да и отяжелела голова от бушневского угощения. К утру только очнулся сергач и, изловчившись от тяжелых и удушливых объятий зверя, положил свою голову на его мягкую, мохнатую спину и поглядел на сына. Крепко спит тот, уткнувшись в котомку и накрыв лицо шапкой; ни с того, ни с сего ухватился он за веревку на барабане-лукошке и тянет на доморощенном свистке нескладную песню. Но вот выкатилось солнышко из-за верхушек сосен, потянулось по небу и назойливо глянуло в защуренные глаза наших комедиантов; обдает их варом и ложится на лица загар новым сло-

ем, а тут налетели комары да мошки; собака взвыла поблизости, лошадь бешено заржала, и коровы мычат как-то жалобно. Овцы брыкают по полю, и собрались свиньи в особую кучу, тесно сбившись спинами. Проснулись и наши путники и, умывшись в первой попавшейся речке, снова поплелись в дальний путь-дорогу.

Сегодня опять будет плясать и медведь, и коза, и поводырь. Может быть, опять попадут на праздник, и угостят их густым пивом, крепко приправленным свежим хмелем. Будет хозяин читать опять те же приговоры, ничего не прибавит. Попробовал было раз, да плохо вышло, и почесал он под бородой, а на другой день встал, совесть мучает, и спрашивает вожак своего сына:

— А что, брат Мишутка, никак уж я вечор больно дурить начал? Вишь ведь эта хмель проклятая, прямо тебя на смех сует. Надо завсегда бояться того, чтобы такой приговор твой поперек сердца не пришелся становому, что ли, или какому начальнику. Захочется брякнуть — оглянись, а то все лучше привяжи язык свой на веревочку. Меня уже за это раз в городу отодрали и выгнали вон.

И зарекся он с тех пор прибавлять от себя и решил один раз навсегда: «Видно, как все говорят, так и мне приходится, а новое-то как-то и не под стать, да и ребятам не нравится, разве уж когда под хмельную руку и выскочит что не думавши, так тому стало этак и быть».

Может быть, попадет сергач в барскую усадьбу и начнет покрикивать перед балконом, поминутно путаясь от старания говорить не то, что прилично слушать своему брату, а господскому уху не стать и неприлично. Станет расспрашивать его барин, пригласивший медведя для удовольствия детей:

— Что это у тебя — медведь или медведица?

Сняв шапку и низко кланяясь, сергач говорит своим низовым наречием, свысока и с выкриком:

— Вядмидь, батюшка, вядмядича-то ашшо махонькой померла.

— А как ты выучил его пляске?

Сергач, почесывая затылок и опять с поклоном, отвечает барину:

— Все, батюшка, палкой! Знать, на все-то она пригодна, кормилец. Палкой Мишку донял, палкой и науку втемяшил.

Усмехнулись все гости и дальше продолжают расспросы:

— Из выручки-то остается, поди, лишок?

— Какой, господа милостивые, лишок: еле конец с концом сведешь, да и то бы ладно.

Говорил поводырь сущую правду. Ремесло сергача не для наживы, а для прокорму: еще ни один из них не только каменного, но и деревянного дома не выстроил, а вернее, что и тот у него, который от отца достался, разметал ветер и прогноили дожди. Промысел этот — весь ради шатанья, и эти плясуны — бродяги настоящие (что и медведь в лесу), к тому же бродяги такие, которые и в народе не пользуются никаким уважением, как шуты гороховые и скоморохи. От последних они, впрочем, и происходят по прямой нисходящей линии, как законное и кровное потомство. Для медвежатников, как бы широко ни концентрировались круги, у всех один центр — кабак. Для вина и пьянства, кажется, сергачи и с места поднимаются и лет по десятку не возвращаются на родную сторону. Не только спаиваются сами хозяева, но спаивают и делают пьяницей и медведей, зверей лесных; пьют они с горя по утрате воли.

Но барин продолжает спрашивать:

— А не продашь ли ты медведя-то? Мне бы вот сани казанские обить хочется, знатная бы полость вышла из твоего зверя.

Увлеченный предположением барина, сергач погладил медведя, любуясь его густой жесткой шерстью.

— Нет, кормилец, ста рублев твоих не надо! — отвечал он решительно.— Пусть лучше сам поколеет, тогда разве не жаль будет и шкуру снять. А теперь нам продать не из чего. Нет уж, ваша милость, не утруждайтесь! Еще послужит он на мое убожество. А убить за что? Худого не сделал, кроме добра одного,— продолжал рассуждать вожак, с любовью гладя медведя и кланяясь барину.

— Отчего он у тебя маленький — молод, что ли? — спросила востроглазая барышня.— К нам недавно большого приводили.

— Уж такой, стало быть, уродился маленький. Вот медведица, так та, вишь, завсегда покрупней бывает.

— А чем ты кормишь его? — продолжала востроглазая расспросчица.

— Высевками, кормилица, да мякиной. Сделаешь месиво на горячей водице, да тем и кормишь. Мяса-то, вишь, боимся давать, хоть и охоч он до него, особо до сырого-то. Злится он больно, благует так, что из послушания выходит, и уйму нет никакого. А уж плясать, матушка, так ничем не приневолишь — урчит да огрызается и рыло под себя подбирает.

— Принесешь ты нам медвежоночков маленьких?— картавил баловник в плисовой курточке.— Папаша! Вели ему принести медвежоночков.

Кланялся сергач домочадцам, и утешал папенька баловня-сынишку.

— Не кусается он?— спросила опять любопытная барышня.

— Нет, матушка, не кусается.

— Да я думаю, и нечем?— подтвердил барин.— И кольца в зубы продеты, да и самые-то зубы, чай, все повышиб с места. Если и оставил какие, так и те, я думаю, сильно качаются. Так что ли?

— Как же, коли не так, ваша милость.

— Так ступайте же на кухню, там вас обедом накормят и вина поднесут. А это сын, что ли, твой?

— Сынок, кормилец, Мишуткой зовут.

* * *

Вот так, пробираясь по барским усадьбам, маленьким городкам и деревенским праздникам, бредет наш сергач и на родину, чтобы плесть дома из лыка лапти, тачать берестяные *ступанцы* или веревочные *шептуны* из отрепленных прядок, и вьет к ним оборы, а потом целым возом таскает их на ближний базар и кое-как пробивается до весны, в которой ему ровно нет никакого дела. Уж если обзавелся медведем, так одна дорога — мотаться по чужим людям, куда редко пойдет тот, у кого есть запашки и пожни, хотя даже и небольшие. В свою очередь, ограничиваются и неприхотливые зрители одним и тем же представлением и от души смеются тем же присказкам и остротам, какие, может быть, только вчера рассыпал перед ними другой вожак. Редкое, диковинное наслаждение, истинный *на улице праздник,* когда появятся в деревне в один день два зверя и четыре проводника: во-первых, и грому больше — в два

лукошка грохочут, и борьбы больше — два парня снимаются. А во-вторых (и это едва ли не главное), стравливают медведей, которые, как звери незнакомые, рвут на себе шерсть до того, что клочья летят, ревут так, что у слушателей волос дыбом становится, и сильная медведица так быстро и далеко бросает менее сильного медведя, что человеческой силе и во сне не привидится. Это удовольствие хотя и просто делается — стоит только соединить обе цепи противников или столкнуть их задами, да подальше прогнать толпу зевак,— но зато случается чрезвычайно редко. Не всякий хозяин решается жертвовать своим кормильцем, разве соблазнят его большие деньги, затаенная мысль о предстоящих выгодах и прибыли да крепкий задор похвастаться силою своего питомца. Тогда он даже готов согласиться с охотником-помещиком и на травлю собаками: снимет цепь да и отойдет, подгорюнясь, к сторонке.

Долговечно ремесло сергача, как и всякое другое, на какое попадает русский человек, который не любит метаться от одного к другому и крепко стоит за знакомое и привычное, только бы полюбилось ему ремесло это. А там не до жиру, быть бы живу, рассуждает он, и сыт и весел, как попался мосол, лишь бы только свой брат не попрекал негожим словом. И ходит он с медведем, пока таскают ноги, а свернулся зверь от лет или болезни, и купит его шкуру наезжий кожевенник,— берет тоска *хозяина:* не ест, не пьет, все об одном думает. За дело хватится — да все прыгает вон из рук, отвык от всего, ни к чему способа нет приступиться. Подумает, подумает горемыка, да и пойдет, при первой вести о лютом звере, с рогатиной или другой какой хитрой уловкой, чтобы загубить медведицу и отнять у ней детищей. Потом опять набирается он терпением: учит медвежат стоять на задних лапах, передвигает им ноги для плясу и других потех, какие делал покойник, а там кое-как проденет кольца, попытает ученика перед своей деревенской публикой и смотришь — повел он зверя на людское позорище * и опять выкрикивает свои старые приговоры.

Но вот стареет сергач, долго ходит он все с одной потехой, приелась она ему, как иному старику сулой * с овсяным киселем, и стыдно становится, да и укоры начались от других стариков свояков: «Что ребятской-де потехой занимаешься на старости лет? Зубы ведь кро-

шатся, а ты песни поешь да пляшешь перед народом».

— Брось, Мартын, пора за ум взяться, какое ведь твое ремесло? Ничего ты не нажил, вот и выходит, что и с седой ты бородой, да с худобой.

«Может, и дело говорят»,— подумает вожак да и сбудет выученика первому наклевавшемуся охотнику. Немного протоскует, конечно, да найдет утешение: просто-напросто делается из поводыря записным медвежатником — одно от другого недалеко, оба ремесла двор о двор, по соседству живут.

Первую песенку зардевшись спеть, говорит поговорка,— так-то и медвежатник начинает свою охоту хитрыми уловками, которые состоят в том, что он ловит медведя там, где этот невольно показывает свою слабую струнку. Известно, что нет ни одного зверя, который бы любил так мед и так бы часто посещал борты * как мохнатый Михайло Потапыч. Сколько смешных и вместе с тем остроумных шуток придумал враг-человек: повесит чурбан, который чем сильнее бьет медведя в лоб, тем больше злится зверь и качает чурбан лапами; соорудит навесец — лабаз, который отгораживает сласти от лакомки, и лишь только Мишка пропихнет свою лапу в единственную щель, оставленную ему хитрыми врагами, и иной раз даже вытащит соты, как десятки острых гвоздей готовы уже к его услугам, как ни бьется медведь, а приходится умереть самою глупою смертью: разобьют его зад толстыми палками и примут потом на рогатины. К таким штукам прибегает на порах охотник и не заводит собак, не покупает двуxствольного ружья, предоставляя это дело настоящим охотникам; он без крику и шуму выберет в лесу березовую толстую палку, обточит ее поглаже, зайдет к соседу-кузнецу и просит сделать копье-наконечник, потом приделает под копье перекладинку из той же березы — и вот он, обладатель рогатины, идет подбивать кое-кого из охотников.

Втроем-вчетвером, все с рогатинами, один про запас ружьишко прихватил,— идут смельчаки по протоптанной траве, прямо к берлоге. Разбудили зверя и криком и шорохом, подняли на дыбы, и зачинщику первое место. Наученный заранее, как вести дело и остерегаться, чтоб зверь не вышиб или не переломил бы рогатины, смельчак, не взвидев света, рванулся на зверя и врубил половину оружия в медвежье мясо, прямо под

ложечку. Дико заревел медведь, но напал не на олухов. Не успел он, может быть, осмотреться порядком, как охотник упер рогатину в корень дерева, и чем больше бился зверь и хватался за рогатину, тем она дальше и дальше уходила внутрь. Осталось товарищам дорезать добычу ножом и разделить между собою.

Но вот, полонивши с десяток медведей сообща с товарищами, охотник задумал новую штуку: понабрал пузырей, сыромятной кожи и обтянул себе затылок, шею и плечи, засел на печь, и заскорузли снаряды толстой броней. Два дня принимался он точить широкий нож, заостренный с обоих концов, и никому не говорил о задуманном, как ни добивались ребята-товарищи. Они уж после смекнули, что надумал он идти один на один.

— Пускай попытает!— решили они, и ему ни полслова о своей догадке.

Пришли только раз да сказали, что вот-де верст с десяток оттуда проложил медведь тропу и ревет по зорям. Закипело сердце у охотника: и страх, и радость, и боязнь, и храбрость — все в один раз приступило. Привязал он нож туго-натуго ремешком к руке, надел полушубок и захватил одну только рогатину. Идет по тропе и прямо к тому месту, где медведь показался. Смотрит мохнач и заподозрил врага: встал на дыбы и прямо к нему навстречу. Минуты не прошло, как уже рогатина попала в зверя и крепко рассердила его. Пока он собирался с духом, охотник прислонился за толстым деревом и выжидал удобной минуты. Свирепствует зверь и хватает землю огромными глыбами; начал вырывать кусты и швырять их в сторону. Стоит охотник незамеченный, и взбрела ему мысль непрошеная: дать тягу, да куда-нибудь подальше. Но, видно, не совсем потерялся, вспомнил, что тут-то ему в бегстве и неминучая гибель. Загорелись его глаза каким-то страшным огнем, и губы дрожат, а мурашки так и сыплют по телу: бросился он вперед что было силы и, заслонив лицо левым локтем, лежал уж под зверем и порол ему брюхо острым ножом. Через минуту внутренности медведя, одни за другими, показались на свежий воздух. Угораздил смельчак, как истый знаток, в самое сердце и разодрал шкуру от самой лопатки до клочка хвоста. Льет с него пот крупным дождем и от трудной работы, и от огромной массы, которая тяжелым камнем легла ему на плечи. Облегчился он от нее, свалил мертвого

медведя и ни с кем уже не делил его, никого не брал в складчину.

Было бы хорошо начало, а за другим чем уж дело не стало: понравилось молодцу ходить один на один и бьет он на то, чтобы дойти тридцатого, а там, говорят, сколько ни ходи,— ни один уж медведь не уйдет и не тронет.

ГРИБОВНИК

В самой дальней глуши одной из отдаленных и глухих северных губерний наших, в двухстах верстах от губернского города, завалился бедный городок, разжалованный екатерининским учреждением о губерниях в посады — посад Парфентьев.

Городком с надолбами, чесноком *, рвами и палисадом начал он свое существование еще в те древние времена, когда славяно-русское племя пробиралось на север лесами и среди них и инородческого племени мери устраивало свою новую жизнь и начинало ее не совсем красно и привольно. До сих пор еще по горе, на которой стоит нынешний каменный собор, можно судить об удачном выборе твердыни, за которой отстаивали свое право на оседлое житье древние пришельцы с юго-запада, и отстояли столь удачно, что память о мери осталась только в названии реки, протекающей под горой. Зовется река Неей, принимает в себя невдалеке Сомбас, Вохтому, Кужбал, Монзу и т. п., но принимает также и Чернушку, оправдывающую свое название только по внешнему виду, но не по достоинству воды, чистота и вкус которой обратили на себя внимание путешествовавшего государя Александра Павловича. Кругом посада, еще в 30-х годах нынешнего столетия называвшегося «бывым городом», самое ничтожное число селений сохранило непонятные инородческие звания; громадное же большинство их свидетельствует о силе натиска и распространения русского племени. Кто первым выбрал место и застроился — имя того первого и сохраняется до сих пор в названиях деревень, обложивших посад в великом множестве. Вот с поля на поле Лошково и Свателово, вот Трифоново, Нечаево, Савино, Федюнино, да и Федюшино, Ефимово, Семеново,

Павлово, Еремейцево, Сидоровское и т.д. в бесконечность — все по именам первых выселенцев. Только в верховьях реки, в самой глуши лесов, и удалось удержаться названиям по языку более древнего народа, аборигена тех мест, где новые пришельцы умели выстроить и удержать такие крепости, как Шемякин Галич, как Чухлома, Кологрив и Макарьев, и город Парфентьев, лежащий между ними как раз в середине, около 70-ти верст расстояния от каждого.

Не назвался наш городок Парфеновым, как назвался бы он в том случае, когда положил бы ему начало первой избой и хозяйством мужичок-колонизатор (Савва, Ефим, Семен, Еремей, Лошка, Нечай), но получил свое имя несомненно от монаха, выстроившего монастырь в честь Рождества Христова. К монастырю под горой пристроилась впоследствии, как и везде на Руси, слобода (до сих пор сохраняющая свое имя), слобода из людей свободных, которые любили тянуть к монастырям под их защиту и на монастырские льготы. Но о монахе только догадка, и даже о монастыре сохранились самые слабые и смутные предания. На том месте теперь кладбище с десятком необычайно древних сосен — остатком монастырской рощи, а за кладбищем опять клочок такой же рощи, принадлежавшей некогда к воеводскому дому. От последнего остались только гнилушки, да и те уже высушило солнце в пыль и развеял ветер, может быть, в ту сторону, где и до сих пор за одним урочищем или лугом сохраняется название палачовки. Палачам земля эта принадлежала, на палачей посадские люди эту землю возделывали и тем их пропитывали. По другую сторону монастырской горы, где стоит старый собор внутри старой крепости, к соборной горе примыкает третья часть селения, расположенная по склону возвышенности и называемая собственно посадом, где жили посадские люди и ямщики, живут теперь сплошь мещане. В собственность ямщиков была отписана та земля, которая примыкает к Парфентьеву со стороны, противоположной реке Нее, — земля, которую удалось после долгих ссор и споров оттягать в недавнее время крестьянам соседней слободы Лошкова.

Дорога в Парфентьев от губернского города Костромы начинается сразу лесами, которые еще дают себя знать и чувствовать, как серьезные лесонасаждения на

целых двух сотнях верст почтового пути, набегающего сплошь и кряду на высокие и крутые глинистые горы. На первой полусотне верст попадается также древнейший город княжеской постройки и древнего славянского имени — Судиславль. Еще через 70 верст от него, также за лесами и горами, на низменности большого озера под крутой горой, сохраняющей остатки Шемякина дворца и крепости,— древнейший город Галич. Кругом его лежат крутые каменистые горы, из которых за одной сохранилось древнее мерьское прозвище Чолсмы, за другой древнерусское — Свиная Нога. От Свининских гор в 60, от древнего Галича в 70 расположился и тот Парфентьев, на котором остановилось наше внимание. Двадцать пять верст от Галича тянется уже густой лесной волок без всякого жилья. Лес вырос на мокрой и еще до сих пор сохраняющей свой дикий первобытный вид местности — огромный холодильник, в котором берет свой исток река Нея, настолько обильная еще водяным запасом, что лишь в двухстах верстах от этого места река теряет свое имя, впадая в Унжу — один из солидных и главных притоков Волги.

Мрачный и мокрый лес кончается лишь для того, чтобы дать место большому селу Бушневу с приселками и множеством других сел опять-таки с коренными русскими именами (Арсеньева слобода, Никола-Угол, Ивановское Лермонтова, Никола Каликино и т. п.), а затем опять леса и селения в перемежутку. Селения Бородино, Зикеево, Задний двор, Передний двор, Середний двор, и между ними Погорелки, Починки, Потрусово — как свидетели тех неключимых бед и напастей от пожаров и болезненных «трусов»— моровых поветрий, которыми приветствовала дикая страна новых непривычных пришельцев с теплого юга. Но вот и деревня Трифонова, остается всего пять верст, но лес неотвязчив. Он еще продолжает тянуться перелесками, хотя борьба с ним пошла не на шутку: то и дело по сторонам тянутся возделанные поля, засеянные или гуляющие под паром. Вот за три версты мелькнул крест посадского собора внизу под горой; надо еще ехать, чтобы увидеть купол, главы, крышу церковную, мы на возвышенности, и дорога наша отлого, но едва приметно спускается *тянигусом* по покатости. Остается верста — и посад виден весь под горой, как бы в яме, как Галич, как Судиславль, Ростов Ярославский, Переяславль За-



лесский и другие древнейшие города, когда у пришельцев не было еще настолько смелости и права, чтобы победоносно взбираться на горы, как забрались на Днепре — в Киеве, в Могилеве, в Смоленске.

Подъезжая к Парфентьеву, оглянитесь: много ли таких картинных местностей на Руси святой? Кругом обступили горы: посад действительно в ложбине. По горам стоят густые сухие леса, так называемые боры, кое-где перерезанные пустырями, означающими присутствие пашен, лугов и селений; пять сел кажут через лесные гребни золотые кресты и белые каменные здания: вот прямо Успенье-Нейское, левее Дмитрий-Потрусово, Ефремье, Веденье и Никола-Ширь. Последний справедливо, с поразительной поэтической правдой, рисует свое место —действительно непроглядную ширь, действительно одну из красивейших, очаровательных местностей, перед которой может уступить даже и парфентьевская. Очень нетрудно найти такие пункты, с которых леса кажутся в таком изобилии, что будто разлилось лесное море, среди которого даже не видать и этих белеющихся островов с лугами и селениями. Огромное беспредельное море лесов, среди которого становится даже положительно страшно, представляет в этой местности именно то явление, каковое скоро сделается большой редкостью на всех пространствах северной России, прорезаемой Волгой и ее притоками. Парфентьевская местность обманчива в том лишь отношении, что, представляя посад под горой и как бы в яме, в самом деле сохраняет его место на горе довольно крутой и высокой. Низменность предшествует лишь реке и, занятая слободой посада, суха, широка и привольна по богатым травою лугам, которые с древних времен принадлежат первым хозяевам местности и называются поповскими, составляя собственность парфентьевского духовенства.

Насколько выигрывает посад от такого своего красивого лесного положения, можно судить из того, что воздух весь пропитан ароматом окрестных сосновых лесов, весь наполнен смолой, без малейших признаков присутствия болотных миазмов: леса в этом случае блестящим образом исполняют свое главное мировое назначение — быть естественными регуляторами ветров и сырости. Кроме того, за лесами еще служба, при способности принимать в себя различные газы и перера-

батывать их в собственное вещество,— очищение воздуха, который портится дымом жилых строений, теплинами на полях и лесах, дыханием животных и людей и испарениями земли, которая к тому же здесь больше, чем где-либо, требует и получает удобрения. Насколько же сильно влияние лесных насаждений, буквально обступивших посад со всех четырех сторон, можно уже судить из того, что здесь ни разу не бывала холера, поглощавшая множество жертв в окрестностях не более десятка верст. Сверх того, долголетие обитателей резко бросается в глаза: лошковский старик, бывший посадский церковный староста Роман Абрамыч... умер 110 лет, его соседка по избам — 122, Тимофею Аникичу — 90, старик рождественский священник Иоанн Клириков умер 85 лет и т. д.

Насколько же выигрывает посад от своего положения в такой отдаленной глуши (даже по отношению к губернскому городу) при содействии отчаянных дорог, идущих по лесам, по крутым горам и по глиннику (который в сухую погоду делает костоломный колок, а в дождливую невылазен),— читатель может судить по нижеследующему.

Бедность жителей поражает всякого при первом взгляде: нет ни одного каменного дома, а большая часть деревянных прогнили до слез, покривились и полуразрушились. На слободку подле кладбища, отделенную от посада глубоким оврагом (и потому названную Завражьем), и глядеть больно: как заселилась она в древности по обычаю самым бедным людом, не ужившимся в посаде, так и теперь на большую половину застроена старыми срубами, которые только оттого и похожи на хижины, что прикрыты обрешетившеюся дранью и не покрыты соломой затем, что это запрещено в городах и преследуется. Наряд жителей до сих еще пор на большую часть шьется из домотканых материй, и домашние станы, про свой обиход, еще не так давно щелкали почти в каждом доме. Только в последнее время двух десятков лет ивановские ситцы и московские сукна стали подспорять этому горю, но довольно слабо и не совсем удовлетворительно: много заплат, много наставок, лоскутков и рвани довольно. Не носят посадские лаптей только потому, что совестно это господам-мещанам, но окрестные крестьяне все сплошь обуты в дешевый продукт березового и липово-

го дерева: в шептуны и лапти. Словом сказать, посадская бедность сквозит отовсюду.

Мещанское право — по положению — отняло пахотную землю, оставив лишь при выгоне, но парфентьевцы с отчаянием ухватились за кое-какой клочок пахоты и отвоевали ее во время введения екатерининского городового положения. Чтобы спасти себя, стали кортомить * земли у соседних крестьян, но не спаслись и этим: земля их холодна и климат суров. Овес, ячмень, рожь, лен да и все тут (один затейник-барин в 4 верстах по соседству пробовал за лесом высеять гречку, да на другой год уж и не убытчился, не сеял). К тому же и то, что высевается, на шестой год, голодный, всегда не доходит, но и в счастливое время родится только сам-три, сам-четыре, отбивая от земли всякую надежду. И удобренная щедро под самыми домами и на огородах земля не поднимает даже такой благодатной овощи, как огурцы: их привозят из-за семидесяти верст, из Галича. Вот почему людны и крикливы посадские базары в четверги по зимам, когда окрестный крестьянский люд собирается поделиться с мещанством мешочками убереженного жита и обменять его на сушеного и страшно соленого судака, которого перекупают мещане на более отдаленных ярмарках, шумящих в стороне к Волге и вблизи этой реки — всероссийской кормилицы. В базарном шуме прорывается ясно вопль отчаяния голодовки окрестного люда, а посадских людей всех звончее и отчаяннее.

Что же посадским мещанам остается делать посреди самых невыгодных условий и гражданского положения, и климатических неудобств? Да то же самое, что и прочему мещанству иных городов, поставленных даже и среди более благоприятной и счастливой обстановки! Городская жизнь, при наибольшем развитии общежития и при сильнейшем подспорье нужды и бездолья, сделала из мещан людей бойких, смышленых, находчивых и при этом поместила их в среде деревенских жителей, сплетенных проще и более подслеповатых. Отсюда постоянные стремления и возможность поживиться от простоты деревенщины, маклачить на ее счет на всякую стать, какая только подвернется. Вот почему в Парфентьеве народились барышники на крестьянских лошадей такие, что знают их и боятся даже в очень далеком вятском городе Котельниче, где, как известно,

раз в году бывает одна из самых крупных конных ярмарок. Человек десять парфентьевских мещан мечутся, как цыгане на торгу, на двух своих ярмарках — в девятую пятницу (по Пасхе) и на Макарьевской (25 июля) — с кнутом за поясом, с крупной, всегда готовой на устах бранью, с озорным криком, со лживой божбой и с тем плутовством, которое не щадит и отца родного. Вот почему посадские занимаются и таким *последним* делом, как битье кошек, и за то прозваны от соседних крестьян *кошкодавами*. Заводов кошачьих они, впрочем, не держат, а бродят по деревенским задворьям и воруют чужих. Воруют же и от бедности и по той причине, что под Галичем с древнейших времен приладилась большая промышленная слобода Шокша с кожевенными заводами, выделывающими меха и кожи. Кошка идет на опушку шапок, а за скотскими шкурами пять-шесть парфентьевских мещан круглый год ездят по окрестным деревням. Шокша перерабатывает все это в ходовой товар, который и исчезает в ней, как капля в море, потому что шоковские ездят еще в архангельский город Пинегу, где и скупают все меха тундряного зверя: песцов, горностаев, оленей, волков. Наука воровать кошек не прошла для посадских совсем бесследно: хаживали они по ночам и за другими продуктами, угоняли лошадей и коров — то и дело ходили по базару мужики с шапкой на палке и с криком: «Не видал ли кто таких-то примет пропавшую скотину?» Бывали времена, что некоторые мещане выходили и на торговую дорогу встречать или провожать купеческие обозы с красным и дворянским товаром, а когда появился в тех местах в двадцатых годах нынешнего столетия известный разбойник Васька Торинский, трое парфентьевских мещан угодили в Сибирь. Впрочем, это — худшие, более забаловавшиеся и более голодные, у которых отчаяние бездолья растравлено пьянством и налажено кабаком. У хороших и лучших — другие пути и средства.

Парфентьев выстроился именно в такой местности, где все население давно и крепко убедилось в том, что житьем дома на неблагодарной земле не проживешь, надо уходить в хорошие места, искать заработков на стороне. Это тяготение вон на отхожие промыслы — явление не только очень давнего происхождения, но и поразительное по обилию уходящего люда и по разно-

образию способов и форм самой промышленности. Парфентьев в этом отношении составляет даже такой замечательный пункт, на котором встречаются два пути для выхода на отхожие промыслы и оба переламываются, расходясь один от другого в совершенно противоположные стороны. Тотчас же за рекой Неей, омывающей посад с северной стороны, все лежащие волости высылают народ на восток, в «Сибирь», как привыкли там выражаться по древнему праву и обычаю, хотя в настоящее время эта «Сибирь» есть не что иное, как губернии Вятская, Пермская и Казань. Здесь нанимаются на заводские работы, но всего более любят коновалить, а подчас и колдовать. Затем все волости по сю сторону Неи, к Галичу и Чухломе, тянутся прямо на запад, и именно в Петербург, где в особенности много чухломского и галицкого люда: в десятниках и плотниках, в малярах и стекольщиках, в каменщиках, печниках и штукатурах, в сидельцах лавочных и торговцах-ношатых с разносным товаром. Насколько древен занейский уход в сибирские страны, настолько же стар теперь стал и местный отхожий промысел в Питер, одновременный первым годам основания столицы, когда потребовались туда лучшие русские плотники и между ними самые лучшие — жители лесных деревень Костромской губернии.

Мещанская гордость и городское тщеславие крепились очень долгое время среди окрестного соблазна, не поддаваясь тем двум тягам, которые равно были сильны; парфентьевские жили дома, рассчитывая на отсутствие мужчин и легкую добычу около баб. Но когда и баба выросла сметкой и толком до хорошего мужика, но когда и мужик стал являться развитым и умным далеко свыше ума и развития торгового посадского, когда, наконец, попробовали двое-трое посадских, преодолев стыд и предрассудки, сходить в Питер и им посчастливило, с этими тремя отпустили мальчиков. Мальчики, сделавшись взрослыми мастерами и торговцами, потащили за собой и собственных детей и ближних родственников. И вот лет тридцать тому назад зазнали в Петербурге и мещан парфентьевских. Не выродилось из них ремесленников и мастеров, но в торговом классе мелких торговцев и приказчиков стали приметны и они: довольно парфентьевских на рыбных садках, есть и на Апраксином дворе, но всего больше и очень много

на Андреевском рынке, который они особенно полюбили. Но много их остается еще дома, удерживаемых или предрассудками стариков, или крайней настоятельной нуждой быта при своем пепелище, или выгодами нахоженного и налаженного промысла в ближней окольности, или, наконец, крайней безысходной бедностью, решительно не позволяющей подняться с места и обратиться в такой дальний путь. Однако домашнее дело плохо кормит, и на доморощенном коне далеко не уедешь. Судьба таковых поставлена невыгодно и подчинена замечательным случайностям. Так, например, благодаря обилию и сохранности окрестных лесов, житейская судьба парфентьевских жителей на большую долю и крепко подчинена урожаям на лесные произведения: отчасти на ягоды, но всего больше и по преимуществу на грибы. Надо сказать правду: в урожае грибов все спасение и вся надежда посадских домоседов и старожилов. А так как не всякий год на них урожай, а надежды сосредотачиваются в этом пункте в большой массе, то и понятны та бедность и бездолье, которые резко и характерно бросаются в глаза. Как, по-видимому, ни странно, что жизнь сотен людей зависит от этих тайнобрачных растений, носящих название масленников, рыжиков, белых грибов или, по торговому, черного и белого гриба,— тем не менее вот целая и большая местность с древнейших времен приурочила себя к этому делу, связала с ним свою судьбу и обратила грибы в товар, а дело собирания и приготовления их в особый промысел, способный прокармливать целые семьи, большой посад, великое множество деревень и т. д. Попутный посад Судиславль (также безуездный город Костромской губернии) за то, что принялся у парфентьевских скупать грибы и торговать ими, успел обстроиться гораздо лучше и выстроить даже несколько каменных домов, и все положительно от грибной торговли. Оборот грибов у самого богатого судиславца (Папулина), по самым верным слухам и расчетам, простирается в год до полутораста тысяч. Посад Судиславль приобрел в России по этой торговле довольно громкую известность и успел затереть и затемнить совсем своего главного и первого поставщика — Парфентьев, и разделяет Судиславль свою славу и барыши только с Егорьевском (Рязанской губернии) и с Каргополем (Олонецкой губернии), откуда, впрочем,

идут более рыжики, получившие очень давнюю и большую известность[1]. И тот и другой уверенно рассчитывают и твердо опираются (хотя и не с прежней силой) на обилие постных дней, число которых в годовом церковном кругу православной России простирается до 195, то есть более половины года.

Мы не сомневаемся в том, что грибной промысел бывшего города Парфентьева идет из древнейших времен, обладая всеми свойствами первобытного сколько по замыслу, столько и по исполнению. Нигде в окрестностях он не развит в такой мере, да и вся мелочь сборов в более отдаленных окрестностях все-таки свозится в Парфентьев или, собственно говоря, в село Успенье-Нейское, удаленное от посада только на четыре версты. Здесь также по дешевому приему и указаниям самой природы 15 августа бывает ярмарка специально грибная, которая и у места разыгрывается в одно утро, потому что производят грибную развязку каких-нибудь десяток молодцов, приезжающих из Судиславля, и между ними приказчики такого крупного купца-капиталиста, каков Папулин. Посадская макарьевская ярмарка (25 июля с подторжьем 24 числа) несколько ранняя для грибов, а потому шумит больше крестьянским товаром: изделиями деревянной посуды, лаптями, красным товаром и галицкими огурцами, за которыми приезжают чиновники даже из того города (Кологрива), к уезду которого приписан «бывший город Парфентьев».

Сбор грибов начинается в июле и к середине его не представляет еще такого множества продукта, которое обещало бы ему возможность сделаться предметом настоящей оптовой торговли. К августу собранные грибы приготовляются уже впрок, т. е. высушиваются в печах, и над посадом стоит уже смрад, и на дальнюю окольность несется характерный запах сушеных грибов. Мещанские избы пропитываются тем же запахом насквозь на долгое время; понявы и сарафаны, армяки и рубахи — все несомненно доказывает, что идет грибная сушка, требующая большого количества дров, ко-

---

[1] В последнее время значительными массами на петербургские рынки стали доставлять грибы евреи из мокрых лесов Северо-западного края, но эти грибы дурного качества и очень дурного приготовления — слабые соперники грибов севера России, т. е. костромских и рязанских. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

торые, однако, не имеют почти никакой цены (березовые дрова, по заказу, толстые трехполенные стоят 1 рубль 20 копеек, а сосновые и хворост со щепами рубятся без всякой пошлины, весь расход — взять топор и нарубить, запрячь лошадь и привезти). Сначала идут масленники и сушат их; в торговлю поступают они под именем черного гриба, потом появляются целики и белые грибы вместе с родичами своими — боровиками и березовиками. Одновременно, к концу июля, поспевают рыжики, которые особенно любят августовские росы по утренникам, и в августе же, к холодам, выходят грузди с родичами своими — свинарями. Три последние сорта грибов — останных — поступают в мочку и солку и, вылежавши под прессом, являются лучшим сортом соленых грибов, потому что необыкновенно тверды (ядрены), устойчивы для сохранения и потому пользуются наибольшим почетом и уважением в торговле. Соленые грибы продаются в кадочках и ведрах, сушеные нанизанными на нитках связками, отборные с одними шляпками, неотборные и с корешками. Продают же на вес и те, и другие, и третьи.

Сбором грибов занимаются все от мала до велика, с раннего утра, можно сказать, с первым лучом восходящего солнца, отправляясь в соседние боры. Самые искусные сборщики, если грибы появились поблизости, сходят в день раз до пяти и возвращаются обыкновенно очень поздним вечером. «После парфентьевских уже в лес не ходи»— таково общее окрестное мнение. И действительно, оживают соседние леса от перекрестного и беспрестанного ауканья, и нельзя представить себе в лесу такой глухой трущобы, где бы не привелось натолкнуться на кого-либо из посадских. Крестьяне мещанам завидуют и исподтишка побранивают, но древний обычай по отношению к грибам сохраняет леса в общинном нейтральном и неделеном владении. Рубить дрова нельзя, но ломать грибы не запрещается. Временные заявления со стороны крестьян на заповеди в своих лесах — замечательная редкость и не имеют особенной силы и значения. Парфентьевские грибовники и грибовницы ходят верст за десять — за пятнадцать, лишь бы были здоровы и выносливы ноги, но, по привычке, в такую даль за грибами ходят даже и старые старухи. За груздями же и свинарями ездят парфентьевские даже за двадцать-тридцать верст в огромный бе-

резник под Задориным, в сторону Кологрива, который, как известно, получил и свое имя от того, что лежит коло грив или около двух грив лесных, т. е. сплошных полос: одна идет в Вологодскую губернию и исчезает вместе с архангельскими лесами на тундре, другая соединена с лесами вятскими и пермскими, а стало быть, и с сибирскими, то есть не имеет конца. За груздями ездят посадские уже с кузовьями на двух-трех телегах, опять целыми семьями, но уже с запасами дней на десять и на две недели.

Каждая хозяйка с детьми (преимущественно хозяйка, потому что мужчины охотятся на грибы только в крайних случаях нужды или обильного урожая), каждая хозяйка выхаживает летом грибов на 25 — 30 рублей, а считая семью в пять человек, получает в подспорье хозяйству ровно такую сумму: 150—200 рублей, которая кормит дом круглый год. В этом отношении парфентьевские мещанки представляют собой то отрадное явление, которое на Руси столь резко характерно, что женщина в домашнем и сельском хозяйстве с достоинством оспаривает у мужчин главную роль. При трезвости, при большей любви к семейству, при заметной честности и трудолюбии и на этот раз они являются ангелами-хранителями и в десятках семей положительными спасительницами в бездолье мещанского быта. Не забудем при этом, что в Парфентьеве двенадцать кабаков и до шести трактиров, где мещанские мужья просиживают время и деньги из собственных заработков с значительным прихватом жениных и детских денег, выношенных на грибах, выхоженных ногами, буквально добытых горбом. Мещанское пьянство равносильно мещанскому безвыходному бездолью, и в Парфентьеве по праздничным дням с избытком довольно и круто посоленной брани, и кровопролитных драк, и неугомонного бесконечного буйства. Для парфентьевских же мещан, сверх того, к воскресным дням для драки и разгула прибавляются по зимам еще лишние праздники — базарные четверги. В этой бездонной пропасти, на засыпку которой тысячами умов еще не придумано никакого средства, исчезают и те малые деньги, которые платят непьющим мещанкам за неверный и ненадежный грибной продукт судиславские кулаки. И слишком жаркое лето без дождей, и лето с дождями, но очень ветреное и холодное в равной степени способны отнять и

этот кусок хлеба, не слишком горький лишь по приятности целительных разнообразных и веселых (в компании) прогулок. К счастью, негрибовные лета бывают не часто. Правда, заработок значительно упадет, судиславцы не много оставят денег, но все-таки оставляют, когда пройдет негрибовное лето, но зато неизбежно наступит осень с росами. Росы грибы выгоняют, и рыжики после утренников бывают даже лучше (сочнее и тверже). Развитию грибов, как известно, наиболее способствует холодный и влажный климат, потому что две или три тысячи известных доселе нечужеядных пород являются преимущественно на севере и в середине России; Костромская губерния играет в этом отношении одну из главных ролей, а описанная местность виднее и характернее всех прочих.

Познакомившихся с местностью и промыслом просим теперь обратить внимание на отдельного представителя — нашего знакомца и грибного охотника и любителя.

* * *

Едва только успели отозваться третьи петухи, и разноголосый чередовый выкрик их замер в отдалении, в воздухе наступила прежняя ничем не возмутимая тишина, как бы в ожидании появления солнца. Вскоре пронеслось едва ли не последнее кряканье коростеля, засевшего где-то во ржи, и топот шальных овец, напуганных обнюхиваньем проходившей коровы.

В чистом здоровом воздухе несся издали нескладный звон почтового колокольчика: лениво-сонно болтал его язычок. Ехал ли там угомонившийся и заснувший проезжающий, а может быть, и почтовый ямщик возвращался домой, растянувшись во всю длину своей тряской телеги. На улице сверкнула пролетавшая ласточка, успевшая уже набрать пищи; на дороге щебетала и прыгала сорока; далеко в поле заржал жеребенок, и звякнула колокольцем где-то вблизи стреноженная лошадь. Солнышко выглянуло сначала одним краем, но вскоре и совсем показалось, набрасывая на землю длинные и густые тени.

Все еще спало, но на дальнем конце улицы показалась маленькая темная фигура, при дальнейшем приближении которой нетрудно было узнать в ней Ивана

Михеича — первого в околодке грибовника, испытанного знатока своего дела. Не даром же он поднялся так рано, прихватив с собой два больших лукошка, не даром и шаг его так порывист — старик хорошо знает, что ему нужно еще четыре раза сходить в лес, прежде чем придется улечься до другого утра. Не хуже многих из своих соседей знает он то, что грибы — единственное средство его к существованию и что этот год гораздо грибовнее прошлогоднего благодатного лета — нужно же пользоваться этим себе на пользу, другим на зависть и удивление.

С вечера выпал довольно бойкий и крупный, но очень теплый и непродолжительный дождик, так способствующий росту грибов, и Иван Михеич идет в полной уверенности набрать оба лукошка доверху, в чем никто из соседей и усомниться не смеет. Хорошо было известно всем, что ни разу в жизни не возвращался он из лесу с пустыми лукошками, а в грибной год обтыкал даже их еловыми лапками и клал сверху, для хвастовства и задору соседей, старый белый гриб величиной в мещанскую шапку.

Нельзя было не удивляться его приглядке к тем местам, которые любят его кормильцы, наконец, тому громадному количеству связок белых грибов и масленников, которые продавал он зимой на ближайшей ярмарке и на порядочную выручку существовал до следующего лета. Одни говорили, что он счастлив на этот продукт и сам его ищет, другие — что он знает тайные заговоры и вызывает грибы наружу, третьи говорили, что он ищет гриба по *нюху*, как собаки дичь, и по ветру ходит на лес и попадает на грибные кучки. Более благоразумные соседи стояли на одном, что лиха беда приглядеться к бору да заприметить попристальнее, какой гриб какое место любит, а там — смотри, да не зевай только.

В тридцать лет прогулок по соседним лесам трудно не узнать их, как свои пять пальцев, но все-таки завидная приноровка Ивана Михеича к грибному делу удивительна и непонятна. Были же в околодке старинные грибовники, но и те всегда отдавали почет нашему старику и являлись к нему на новую новинку, которая всегда сопровождалась некоторыми обрядами, имеющими смысл только там, где все летние занятия состоят исключительно в сборе грибов и продаже их.

Празднование появления новой новинки всегда случалось в избе Ивана Михеича вскоре после того, как проиграют овраги и выступит первая зелень. Он обыкновенно приглашал к себе на закуску трех-четырех человек коротких знакомых, сажал их за стол и отправлялся за переборку, дверь которой всегда плотно притворял за собой.

Гости обыкновенно молчали, самодовольно улыбаясь и поглядывая то на водку, то на заветную дверь, которая вскоре отворялась и в ней являлся тоже весело улыбавшийся хозяин с огромной сковородой, налитой маслом и сметаной. Под этими-то снадобьями и скрывалась виновница сбора гостей — новая новинка или, лучше, первые весенние грибы — сморчки, хорошо вываренные в квасу и поджаренные.

Сковорода торжественно становилась на стол, гости приглашались отведать, и всегда неизбежно начиналось переглядыванье и улыбки, пока сам хозяин не глотал гриба. При этом всегда кто-нибудь из гостей больно теребил хозяина за ухо к несказанному удовольствию и утехе его и приговаривал: «Новую новинку бог послал: пуще теребить, слаще скажется». То же самое повторялось и между остальными гостями, причем хозяин вечно рассказывал о том, что сморчок только и годен как снедь пока не прогремит первый гром. После того в гриб этот, по его мнению, заползает змея и пускает яду, отчего сморчок начинает гнить и пропадает до новой весны. Только три раза в жизни услыхал он гром прежде, чем попробовал новой новинки, и вот с тех-то пор дал он себе зарок всегда праздновать его появление и созывать гостей и никогда не изменял себе.

Точно так же, как первый весенний гриб, Иван Михеич встречал появление и первых летних грибов: волнушек и сыроежек, отваривая их в квасу и обливая сметаной, но не поджаривая. Любил он при этом первым ухватиться за чье-нибудь ухо и весело ухмылялся. Рад был, несказанно рад старик, что, наконец, наступает пора его деятельности трудолюбивой, безупречной, невинной во всех отношениях.

Иван Михеич был старик приветливый, хлебосольный, вечно согласный со всяким, даже нелепым, мнением другого. Приветливо глядело его лицо, хорошо к нему шла и прическа седых волос с висков на темя,

гладкое, как ладонь, светлое, как луна в зимнюю морозную ночь.

Но между многими добрыми качествами, снискавшими общее уважение соседей, разумеется, водились за Иваном Михеичем и слабости. Одна из них особенно достойна внимания, как слабость, свойственная столько же одному, сколько и всем записным грибовникам. Тайну *своего знания* мест Иван Михеич до самой смерти не высказывал никому. Трудно было от него добиться слова об этом и решительно невозможно было уговорить его привести на свои заветные места, да, кажется, и сам он этого не в силах был сделать.

В минуты откровенности, когда у человека в полном смысле слова «душа на ладони и сердце за поясом», старик иногда соблазнялся — рассказывал, что рыжик синий — полевик — любит траву и некоторую влагу, настоящий рыжик — красненький боровик — требует уже не столь густой травы, не нуждается в особенной влаге и сидит в том месте, где луг сменяется кучами сосновых иголок. А здесь уже, по его мнению, изредка селится хитрый белый гриб в соседстве с красноголовым боровиком. Впрочем, оба гриба любят березняк и сосник, тень и некоторую влагу и при этом попадаются не иначе, как в прошлогодней листве.

Впрочем, в этих сообщениях практической сущности было не много: рассказы показывали знание самого знатока, но слушателей знатоками не делали. Старик оставался верен завету хранить приметы и знание в тайне.

— Сыроежки,— прибавлял Иван Михеич в минуту решительной откровенности,— растут без разбору: где успел, тут и сел, только что не забираются сдуру в болота. А масленник такой уж гриб благодатный, что из всех грибов охочий расти. Припрысни только его дождичком легоньким, да солнышка покажи — он тебе все поляны облепит. Выгоняет его и роса по осени — пожалуй, ему и дождей не надо на этот раз. Не люблю за одно: больно марок! А первачки по лету хороши в отваре. Главная причина, если хочешь больше грибов набирать — не спеши, не суйся,— прибавлял Иван Михеич как бы в назидание, но все-таки сохраняя все свое достоинство и ни на волос не изменяя зароку.— Набирай грибы исподволь, не торопясь. Бери пока что есть под рукой, а передние и те, что по бокам растут,

не уйдут от тебя. Иной гриб, пока сидишь подле кучки, при тебе только и на свет-то божий выползет, оттого оглядываться не мешает. Там уже глядишь, новички народились, пока ты откапываешь передние — бери их, не чванься. Первачки-грибки — хорошие, хоть и марают руки, а ведь и без того дело не обходится, особенно с маслятами. Зато уж умен белый гриб: тот тебе сам-то по себе и на глаза не покажется — стыдливый гриб! Много-много, если даст повадку да крайком высунется, а то весь в земле и с шляпкой своей. На то и цветом к земле шибко подходит, не всегда отличишь. Жаль одного — червяк его точит, ни за что точит, и досада берет, если снаружи и хорош бы и свеж, а внутри — негодящая гниль! Красноголовые-то, дураки-боровики, те хвастуны: те ведь на весь лес сияние свое производят. Для них закон не писан, их и слепой на сто шагов заприметит. Вылезет один боровик, и ребятишки маленькие подле стоят, только откапывать нужно, оттого что хороши в отваре.

— А вот ты свинарей ухитрись находить, да груздей соленье подавай!— продолжал Иван Михеич, видимо горячась и желая похвастаться.

Слова его похожи были не столько на наставления, сколько на укор и упреки.

Он продолжал:

— Листву они любят, в листве осиновой да березовой нарождаются!.. Знаем мы это, слыхали, что в листве и листвой-то этой они накрываются от стыда, от человечьего глазу... Не в игольниках же им расти, в трущобе этой. Знаем, что и расти-то они начинают к осени, когда дожди идут поназойливее и тень держится дольше — все знаем! А поди-ка покажи мне такую листву, так и поедешь, глядишь, к Задорину. А я так и здесь, поблизости найду и посолю на зиму, целых две кадушки посолю, а в Задорино ваше, за двадцать верст, не поеду. Вон есть, пожалуй, поджарый опенок, либо долговязый березовик, тех иную пору возами вози — не изведешь и умаешься. А я так не люблю таких, по мне — либо белый гриб, либо груздь, либо боровик маленький.

Каков был на словах Иван Михеич, таков и на деле. На подобные наставления подчас он был щедр, но ни разу не приводил на свои заветные места: доведет, бывало, до кучки масленников и посоветует обрезать ко-

решки и класть только шляпки, а сам и скроется в чащу бора. Тогда уже никакие ауканья не соблазнят его на отклик до тех пор, пока не кончит торжественно своего дела. Точно таким же образом поступил он однажды со мной.

Местом прогулки назначен был тот бор, который, по мнению Ивана Михеича, был менее прочих обобран, и те полянки, которые находились в самой чаще. Иван Михеич по обыкновению усадил меня подле кучек масленников и немедленно скрылся куда-то в сторону. Грибов после вчерашнего дождика высыпало до такой степени много, что приходилось давить их ногами, и одними мелкими можно было бы набрать полное лукошко, а не добирать ягодами, то есть не прибегать к невинной хитрости, общей всем несведущим в деле грибовникам.

Переползая от одной кучки к другой, я постепенно подвигался вперед и незаметно очутился перед едва проходимой чащей, где все сучья готовы хлестать вас и в лицо и в шею. В надежде поймать в ней Ивана Михеича, сбиравшего грузди, я начал осторожно раздвигать сучья и пробираться на более безопасное место. Сухие прутья трещали под ногами, попадались такие чащи, в которые уже решительно не было никакой возможности проникнуть: нужно было обходить их. Таким образом переходя от небольшой полянки в чащу и из этой в более густую или жиденькую, встречалась неодолимая трудность для ног, представляемая огромными, гнившими колодами толстых дерев: кое-где валялись кучки моху и муравейники, пробегала по колоде ящерица, каркала ворона и чирикал воробей. Вскоре передняя чаща как будто осветилась, лес поредел, оставалось идти наудачу прямо вперед — иначе пришлось бы плутать и раз десять подходить к одному месту. Начался редкий осинник или лучше березняк, где догнивали прошлогодние листья и было совершенно тихо. Только векша * прыгала по деревьям, цепляясь за тонкие прутья и покачиваясь на самой верхушке высокого дерева. За осинником начались сплошные колючие кусты можжевельника, и прямо перед глазами открылась большая поляна, окаймленная со всех сторон лесом, переход к которому составляли кусты маленьких елок и можжухи. Такой же точно кустарник вразброску пересекал середину поляны широкой лентой. Кое-где тор-

чали обгорелые пни, а самая поляна представляла вид давнишней *новины* *, которая, может быть, на будущий же год должна будет превратиться в пашню. В некоторых местах даже приступлено было к этому делу, потому что кое-где валялись вывороченные с корнями пни и навален свежий дерн. Между пнями занялась трава, до которой не касалась в нынешнее лето коса, потому что трава, общипанная в некоторых местах, была довольно густа в тени. Вправе поляна выгнулась и, как казалось, опускалась вниз; даже можно было различить вдали желтую песчаную окрайну и, наконец, заподозрить существование оврага или русла протекавшей тут речки.

ПАСТУХ [1]

На поляне паслась скотина, в некоторых местах лежали коровы, подобрав под себя передние ноги, и, тупо вперив свой взор куда-то вдаль, пережевывали жвачку. Из-за куста прыгнул козел и погнался за трусихой овцой, нырнувшей в ближний кустарник. Свинья хрюкала в луже, вымытой вчерашним дождем; стреноженная лошадь зазвенела бубенцом, привязанным к шее, и сделала несколько

[1] В наших местах специальных пастухов не существует вовсе: скотина пасется на божьей воле и господнем просторе сама по себе. Лесов еще так изобильно-много, что сделать загороди решительно ничего не стоит, а потому загороди кругом пахоты и огородов тянутся на целые десятки верст и ежегодно ремонтируются. К тому же, в угодьях такой простор, что вовсе не трудно отводить под выгоны места подальше от полей и лугов, а выгоняя скотину на пар, все-таки помещают ее в огороженных пространствах. Если случается такой грех, что блудливая скотина проберется в ржаное или яровое поле, тогда оповещают хозяев и дешевым способом, палками и на лошадях, при помощи мальчишек выгоняют скотину, а на пробитое ею место тотчас же кладут заплату. Самых непокорных блудливых животов сами хозяева знают и сами же спешат употребить против их злого нрава домашние первобытные средства на тот случай, чтобы злой человек или заведомый враг не «застал» скотины, т. е. не запер бы ее в свой хлев и не потребовал бы за это денежного выкупа или даже не отрубил бы хвоста. Во избежание этого лошадей обыкновенно треножат, т. е. связывают путами две передние или обе задние ноги, на шею свиней навязывают вилашки — треугольник, чтобы они не могли пролезать в промежутки между изгородью, на коровьи рога, которыми скотина ухитряется иногда поднимать задвижки в

скачков вперед. Другая лошадь без видимой причины брыкнула задом и фыркнула. Из лесу слева вышла целая семья свиней, в которой на старших надеты были треугольные вилашки. Навстречу им пронеслось стадо баранов, вероятно, напуганных прежним козлом. И над всей этой простой картиной пылало июльское солнце, способное наложить на лицо густой слой загара и выжать из тела последнюю мочь и силу.

Время подвигалось к полудню. Невыносимая жажда мучила меня. Оставалось спешить наудачу к оврагу, где действительно сочилась речонка, в это время шумевшая, но пересыхающая при продолжительном вёдре, доказательством чему служило множество бочагов, разбросанных поблизости. Некоторые из них осенялись кустами сплошной ветлы, иногда обгорелой, но большей частью красовавшейся своим темно-зеленым цветом. Перед речкой находилась довольно широкая полянка, на которой рассыпались и анютины глазки, и кашка, и кусты репейника, и стебельки отцветавшего зверобоя.

Тишина в овраге была невозмутимая. Лишь внимательно вслушавшись в нее, можно было различить дальнее ширканье косцов, точивших свои косы лопаткой с песком. Издали пронеслось протяжное звонкое «ау» каких-нибудь грибовников, отыскивающих друг друга. Это же «ау» повторилось в другом конце леса и замерло, и опять наступила прежняя тишина. Но при перемене места слышалось только журчание воды, стекавшей вниз и пробившейся между спопутными кучками камней, да с горы пронеслось неприятное и страшное в лесу мычанье коровы.

Напившись воды, я оглянулся кругом и тотчас же заметил подле края речки, у широкого бочага, под густым кустом ветлы распростертую фигуру в синей ру-

---

воротах, привязывают лукошки и т. п. Последующий случай, как исключение, как явление поразительное и редкостное, осталось в воспоминаниях, почерпнутых во времена уже отжившего свой век крепостного права. Сдача в пастухи, на позорное до смерти в тех местах занятие, составляло тогда одно из часто практиковавшихся тяжких помещичьих наказаний. Собственно пастухи в Костромской губернии появляются лишь там, где истреблены леса, сменившиеся обработанными землями, к тому же сильно перепутанными чересполосным и перекрестным владением. Заиграй пастух в Парфеньтеве, весь посад сбежался бы — слушать, дразнить и хохотать. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

бахе. Фигура эта, сколько я мог разглядеть при дальнейшем приближении к ней, принадлежала парню, широкому в плечах, обернувшемуся ко мне спиной и угрюмо смотревшему в небо. Подле него лежала длинная плеть и валялась мохнатая собачонка, вероятно, покоившаяся глубоким сном, потому что не слыхала моего прихода. Не слыхал его и парень, который, опершись на руки, все смотрел в небо и тоже, может быть, спал или находился в полузабытье и дремоте.

Невольно подчинившись его примеру, я совсем бессознательно взглянул также на небо и услышал дальний едва слышный крик журавлей, которые черной вереницей тянулись там. Пискливый крик пролетавшей птицы становился все слышнее и слышнее. Журавли, как кажется, хотели спускаться, потому что уже можно было различить отдельные фигуры и их длинные носы. По всем приметам, это были журавли действительно, а не дикие гуси: они вразлад друг с другом, продолжали гоготать и опускаться.

Парень, как казалось, следивший за ними, мгновенно встрепенулся, отнял руку от головы и обернулся ко мне в то время, когда я уже стоял подле него.

— Жаль, ружья не прихватил с собой!— заговорил он, как будто нехотя, но, тем не менее, смело и прямо обратившись ко мне.— А то бы ссадил одного, вот, ейбогу, одного бы ссадил!

— Разве ты так хорошо стреляешь?— спросил я бессознательно, поощряемый той словоохотливостью и доверием, которыми он поразил меня с первого раза.

— Да уж безинскому Петрухе за мной не угнаться. Для меня этих диких-то уток что ни есть проще сшибить — сразу заныряет, а то что *жираф*? так только... долгоногая птица. А подстрелил ее, и начнет ковылять на кривых-то ходулях. Знаешь что?..

— Да ты из каких?— спросил он, быстро изменив тон и пристально уставившись прямо на меня.

Я сказал.

— Так ты что же тут, грибы, что ли, сбираешь — может, заблудился, коли так далеко зашел? Ведь ваши-то места отсюдова, почитай...

Парень замолчал, как бы высчитывая версты, и немало поразил меня, сказав, что до нашего посаду от Вертиловки, до которой наберется гон тридцать, считается двенадцать верст.

— А ты сам из Вертилова, должно быть?

— Вестимо, из Вертилова, там наши господа живут, а я при скотном дворе у них, в пастухах. Вот они теперь стаей, стало быть, летят, да не сядут: вожак-от опять поднимается, знать, нас с тобой завидел,— рассуждал мой пастух, продолжая смотреть вверх и следя взором за журавлями, которые, картинно развернувши дугой свою вереницу, потянулись дальше и выше.

Журавлиный крик делался едва слышен, а вскоре и совсем заглох в этом душном воздухе, который тяжелым свинцовым гнетом навис надо всем окружающим. Вдруг, откуда ни взялся, новый подобный же крик — и перед глазами зачернела новая птица, но уже одна только, жалобно и скоро кричавшая вслед за стаей.

Пастух мой продолжал смотреть в небо и рассуждать вслух, следя за полетом последнего журавля:

— От стаи отстал!.. Не применился! Должно быть, выводок весенний. Этих лихо стрелять: сейчас закружатся. Попрыгает, попрыгает, да и ляжет. Тут его ты и бери. Только берегись: притворяются часто, и как раз носом глаз выхватит. Раз эдак-то и меня было, как господским детям хотел на потеху в гостинец живым поймать... Постой-ка, постой, никак сядет!

Пастух вскочил на ноги, схватил свою плеть, толкнул при этом ногой своего мохнатого жучку и опять присел, когда собака залилась звонким лаем и кинулась в гору.

— Напужали!— проговорил он с сожалением, усаживаясь на старом месте.

— Отдыхают они опасливо, словно бы и люди,— заговорил он снова после непродолжительного молчания.— У них в артеле завсегда есть сторож чередной. Коли все прикурнут, стоит он на одной ноге и другую переменяет и не спит, а зачуял что да завопил по-своему, так все и переполошутся. Разбегутся эдак на ходулях-то своих по лугам, да и кверху. Тут в них стреляй знай — не промахнешься...

Он опять замолчал, а я, утомленный донельзя, расположился тут же, рядом с ним в надежде отдохнуть после долгой ходьбы и вполне уверенный, что мой товарищ давно набрал оба лукошка грибов и, бесполезно проискав меня по лесу, сидит себе дома.

Мне оставалось еще одно: отплатить за внимание вниманием, поддержать разговор, и потому я спросил

парня о тех удобствах, которые представляет ленивая жизнь и спокойная обязанность пастуха.

— Ничего,— говорил он мне,— ничего, коли сноровку знаешь да поприменился. Корова во всем стаде всех спокойнее. Ей куда велишь — туда и пошла, а то лежит в тени, никого не замает и всегда, помни, на старое место ложится. Напиться захотела — к реке пошла. Ну и овца... тоже смирна, только не пужай, не наскакивай с плетью. Вон и к жучке попривыкли. Только два козла блудливы очень, у, как блудливы!

Парень при этом прищурил глаза и помотал головой. (...)

— А все кучера избаловали, да ребятенки господские, особо вот того, черного-то. Зато свинья что ни на есть хуже всех: это, как сказано, свинья, так она и есть свинья полосатая.

На выраженные сомнения я получил такой ответ:

— Теперь начать с того, что свинья во всякую воду без разбору лезет и лежит она в этой воде — только покрякивает. А подыми ее, попробуй: да хоть сто палок обломай — ни за что не поворотишь. Того гляди, еще злость ее возьмет, проклятую, так и уноси бог ноги. Слыхал, чай, как они с волком дерутся?

Получив ответ отрицательный, говорун мой продолжал разговор, растянувшись на спине и по-прежнему посматривая в небо:

— Я это сам видал, да и от других слыхивал, что коли волк напал на свиное стадо, так ни одной не поживится — не дадут. Вот как бывает и дело это самое...

При этом рассказчик повернулся на бок и оперся на оба локтя. Волосы его свесились на лицо, и вся фигура, при занимательности предстоящего рассказа, представляла что-то особенно серьезное и привлекательное. Свежее, хотя и загорелое лицо, черные волосы, на висках вьющиеся колечками, красивая коротенькая, но круглая бородка, наконец, серьезный вид и какое-то сознание важности рассказа возбудили во мне и интерес, и полное внимание. Я уже окончательно забыл и грибы свои, и Ивана Михеича; мне хотелось слушать и расспрашивать своего нового знакомца, говорить и сидеть с ним даже до тех пор, когда возьмет верх истома и я наклонюсь к траве и засну.

— Вот как бывает и дело это самое,— говорил он.— Ухватил когда волк поросенка, что ли, какого в стаде,

да завизжал этот поросенок, то будь свиньи хоть за двои гон — прибегут к волку. Они ни на реки, ни на озера попутные не посмотрят. Отобьют своего детища, да и встанут кучей: поросят собьют в середку, задами да спинами своими вместе сотрутся, и попробуй волк, вырви поросенка! Уж и ходит же он, сердешный, долго ходит, и сбоку-то, слышь, забежит, и прямо кинется, а все, глядишь, назад бежит, да хвостом виляет. Артель все вплотную стоит и на него напирает, поросята визжат посередке, матери свою музыку ведут. Волк только скалит зубы да щелкает, прыгает да щелкает, а в артель не посмеет ударить. До того мучат его свиньи эти, что так и кинет и пойдет к домам. Вот тут-то я одного и свалил пулей. А крепко же и он рассерчал: больно дрягался, как я его домой хотел стащить.

— И всегда отстоят себя свиньи, не дадутся ему?

— Да чего не дадутся! — говорил он мне. — Иные боровья до того свирепеют, что из ватаги ино выскакивают. Клык наострит, слышь, да и метнется за волком вдогонку, отбежит, знаешь, немного, а себя-таки помнит: сейчас и назад и опять задом в артель вотрется. А те все напирают да визготню ведут, все, знаешь, подвигаются. Зато уж и ушел хоть волк, не скоро свиньи разойдутся из кучи. Тут им человек не попадайся — всего изорвут. Значит, и тебя принимают за волка. Лягут они после того в озеро, так ты в трубы труби — не подымешь, пар так и валит, хоть на ночь оставляй, ровно, слышь, в бане были... Хрюкотня такая пойдет, что коров и овец переполошат, во как! — заключил рассказчик.

— А овца так, я думаю, совсем беззащитна?

— Оно, пожалуй, кому, как не овце, трусливее быть: напужал ты одну, так, глядишь, и все переполошились. Что овца? — продолжал он, как бы рассуждая с собой. — У той и защита против волка одна, что на стену кидаться, словно угорелой. Вон у нас была такая притча в подызбице, лет тому пяток назад. Туда мы на зиму овец застаем, так вошли с братом. Глядим: двух ярок загубил серый... зарезал, словно языком слизнул. Выходило, видишь, окно на улицу, а изба-то наша с краю как раз, подле бань приходилась. Заколотить мы его забыли али бо что? Только волк пролез, знать, туда, да и зарезал... Вдругорядь, думаем, не надуешь: взяли мы с братом да и заколотили окошко-то планка-

ми и двери плотно приперли. С братом порешил я так, чтобы мне сесть в подполицу с ружьем, да и дожидаться волка. Раз, смекаем, приходил, вдругорядь захочет. Вот я сижу это в подполице, да только вздумал, что, мол, придет понаведаться, а он как тут и легок на помине. Взвыл, слышь, за оврагом, да опять, да и еще опять взвыл. Может, думаю, товарищей подобрал. Коли не втроем идет, так вдвоем, может быть, как и водится у них завсегда, когда на грабеж подымаются. Может, думаю, и один позарился. Сижу вот я в подызбице и ничего не боюсь. Ружье подле, овцы в кучу сбились, а ночь — хоть глаз коли. Дело это в осенях было. Взвыл мой волк за оврагом, да и замолчал: идет, думаю. Только, слышу, он уж и тут: просунул в окошко лапу, да видит — планками загорожено, пролезть нельзя, грызть нужно, он и грызет... Планки-то не подаются же, однако, на зуб-то даже, сколь ни востер: из дубового полена сделаны были и вколочены плотно-наплотно. Я стал прислушиваться: так стал визжать, пострел, больно шибко принялся за работу. Вон и щепки полетели чуть не в глаза мне, а все он визжит да огрызается. Перестал, слышу. Что-то дальше будет? Гляжу на окно, а он хвост запустил в окно-то, ко мне, значит, да и начал болтать из стороны в сторону. Хитрит, думаю, серый, напужать хочет: пусть-де овцы со страху в двери кинутся, на двор выбегут, а я, мол, на дворе и перережу их. Только что овцы-то на стену бросились, я его и угодил за хвост-то, да и лажу к себе притянуть. Взвопил брата, что здесь-де, мол, сам в руки дался. И притрухнул же мой волк, куды напугался — совсем понатужился, так, братец, всего меня и окатил. Мы его после и добили вдвоем, брат ему всю голову расколотил топором... А то повадились после другие волки собак сманивать со дворов. Так уж мы тут просто всей деревней этих из ружей били. Придут они, слышь, вдвоем и завсегда, помни, вдвоем: один встанет за углом, а другой идет к подворотне. Тоже запустит хвост, да и выманивает. Собака-то побежит за ним, он от нее, а другой волк из-за угла выйдет, да и накроет спереди и сзади: один возьмет за шиворот, другой за хвост, либо ноги в рот захватит и унесет в поле. Там сначала играть с ней начнут, и до того, сказывают, играют, что совсем заморят. Поколелую уж и поедают напоследях и так обчистят, что только одна голова останется да

шкура. И шкуру-то начисто обточат, что словно мясник по заказу: сам видал, врать не из чего...

— Медведи, кажется, в нашу сторону не заходят?— спросил я, заинтересованный рассказами, хотя и не хуже его знал, что в наших лесах медведю негде водиться, разве притащится он по пути, да и уйдет обратно в свое место. В дальней окрестности хотя и были леса, но большей частью боры, со всех сторон окруженные жильем и при том же не представлявшие таких чащей, какие любит этот зверь. Пчел у нас также разводят мало, а ставить ульи в лесу — и обыкновения нет.

— Приходил один года три тому назад, коли еще и не больше того, и много натворил беды: одних коров надавил до десятка, мужика изломал из Соснины,— продолжал пастух, отвечая на мой вопрос.— Этот, сказывают, коли заберется в стадо, всех переломает. Чего бы, кажись, лошадь и на ходу бы легка, а не уйдет от него, коли влепит он ей заднюю лапу в спину, да правой уноровит за дерево ухватить. Визжит, ино, слышишь, бедная, а уж он ей и брюхо тем временем вспорет...

— Этот, я думаю, и со свиньей справляется?

Рассказчик улыбнулся, быстро улыбнулся на мой вопрос и продолжал:

— Много свинье нужно, коли тот захочет — ухватил за щетину, вскинул кверху, да и разбил вдребезги обземь. С дедом этим расправа плохая: с корнями деревья рвет, не то что...

И рассказчик опять усмехнулся в то время, как на горе послышался шум и показалось облако пыли, несущееся прямо к косогору. Какая-то дрожь пробежала по членам, пастух бессознательно ухватился за плеть, и мы уже готовы были видеть перед собой медведя или волка.

Ожидания наши были обмануты: в облаке пыли показались фигуры овец, выбивавших ногами частую дробь, которая глухо отзывалась, отбиваемая сухой землей. За овцами, тоже в пыли, неслась пастухова собака, высоко вздернув мохнатый хвост. Овцы вдруг остановились и столпились в кучу, навострив уши и как бы ожидая, что сейчас раздастся новый крик или лай, и они опять стремглав понесутся на свое место.

Пастух отправился наверх произвесть должный распорядок.

Я остался внизу и слышал, как тот щелкнул несколько раз плетью, как снова пронеслись овцы, облаками вздымая пыль, и как опять сделалось тихо, так тихо, что у меня смежились глаза и я заснул. Долго ли спал — не помню, но проснулся, разбуженный глупой коровой, которая рассудила фыркнуть мне в лицо на пути своем к водопою.

Пастух мой шел от реки прямо ко мне. Волосы его были мокры, с бороды капала вода; видно было, что и сам он сейчас из воды.

— Не хошь ли и ты искупаться? Вот мой бочажок приговоренный — лихо можно. А и не глубок — только по шею, на дне чисто. Сучья повытаскал сам, одни камни остались. Тут, коли хошь, и поглубже есть один, да вода не проточная: волосатиков, поди, много. Вопьется, сказывают, в ногу, никоими силами не выживешь, разве отрывать начнешь. А кости, слышь, скулят от него — и места не найдешь. Все от конского волосу, говорили, нарождается. А шевелится, словно бы и пьявица какая!

Таким рассуждением сопровождал он меня на пути к бочагу, над которым нависли целые кусты ветлы и откуда неслась особенно заманчивая прохлада.

Поместившись через час под тем же кустом, под которым и прежде сидели, мы молчали некоторое время, пока пастух мой ласкал свою собачонку.

В это время на противоположном краю оврага из желтевшейся ржи выставилась белая фигура девушки лет пятнадцати, у которой в руках было что-то тяжелое, завернутое в тряпицу и завязанное. Девушка подходила уже к нам, но, завидев незнакомое лицо, остановилась на минуту и потупилась. Пастух махнул рукой и, обращаясь ко мне, проговорил:

— Племянница!.. Старшего брата дочка, сиротой осталась. Ульяной зовут... Иди сюда скорее, не тронут. Обед, что ли, принесла? — спросил он девушку, когда та, все еще не поднимая глаз, остановилась перед нами. На ней надета была длинная рубаха, коса заплетена и висела вдоль спины. Видно было, что она была все утро на покосе, загорелое лицо подсказывало о том же.

Робко зазвучал ее голосок; девушка говорила:

— Сегодня, дяденька, только одни щи варили, да вот молока прислала баушка. Крынку велела назад принести, когда опростаешь...

— А на-ка вот тебе гостинку, Уля: даве смастерил на бездельи, на вот!.. Годится ходить по ягоды.

Дядя отдал девушке красивенькую плетенку, свитую из ивяных прутьев, с крышечкой, плотно приделанной с одного боку.

— Крышку-то я сниму, дядя,— проговорила девушка,— а то мешать только будет.

— Как знаешь сама, твое дело. Да вон прихвати и братенку своему, Матюшке, дудку. Только бы рукой не хватался за дырочку эту да языком прихватывал — во как!..

Пастух громко высвистывал свою известную всем песню, посадил девушку подле себя и погладил по голове.

— Изо всей семьи что ни на есть лучше, — продолжал он, обращаясь ко мне. — И куды ласкова! Сам, почитай, один вынянчил, зато и люблю пуще всех ее вот да Матюшку — младшего ее братишку. Я ей и жениха стану отыскивать... сам. Хошь жениха, Уля?

— Рано еще, дядя! Баушка говорит: еще два года нужно погодить. Тогда уж, говорит.

Девушка взглянула на меня, покраснела и еще больше потупилась. Это, как казалось, понравилось дяде, потому что он, погладив ее по голове, крепко поцеловал в темя и принялся за обед, пригласив и меня не погнушаться, отведать хлеба-соли.

— Сам-то ты разве не женат? А ведь пора бы, кажется!— спросил я его по уходе девушки.

Парень крепко задумался и заговорил про себя, тяжело вздохнув и как бы желая умерить свою болтливость и излишнюю откровенность.

— Бабы говорят: скоро третий год на второй десяток пойдет, как бы, кажись, не пора? Уж и так семья серчает. Ты, говорят, в тягле лишной. Вон, говорят, у брата уже дети большие, а ты совсем бобыль, как перст одинокий. Вестимо бобыль, сами знаем, хоть и отец и мать живы, и брат родной... Ну да что брат? Один брат был, да и тот сплыл, хоть и двоюродным он мне доводился. Ну что ж что не женат? Хотел было, сами знаете, да, вишь, пень словно какой подвернулся, и не сталось по-моему. Одну девку три брата разом полюбили и не сказывали. А у ней только к Петрухе одному и лежало сердце. Меня, вишь, она за брата

почитала, сама сказывала. И померла... ну и господь с ней... ладно она это сделала.

Всю эту речь пастух говорил едва слышно, опустивши голову и перевивая плеть на коротеньком кнутовище. Как будто ему совестно было поднять голову и своим бойким, умным взглядом окинуть любопытного расспросчика. Долго он сидел в таком положении, по временам покачивая головой и передергивая плечами.

— Да ты поди знаешь Петруху-то нашего?— спросил он, быстро приподняв голову и взглянув на меня.— Он у нас тут частенько бывал в посаде с проезжающими: отец мой лет пяток тому назад держал извоз, а Петрован-от и ездил ямщиной. Три лошади держали... Красивой такой парень был, лицо краснощекое еще такое — чай, знаешь?

Получив отрицательный ответ, пастух опять спустил голову и задумался.

— Что же он — брат тебе был?

— Брат-то брат был, да не родной. После покойного дяди отец в нашу семью привел, с тех вот пор и стал он словно родной, особо мне-то... Брат Васюха невзлюбил его и сомустил у нас всех, только один я не послушал...

— За что же?

— Да вишь, девка у нас Матрена была, и славная девка, голосистая, гладкая, смиренница такая, что слова даром не промолвит. И полюбились они с Петрованом-то: любятся и никому не сказывают. Только меня одного и ласкает девка, братом называет, а все, должно быть, Петруха нахвалил. Ласкает это она меня и гостинцев носит: то черники сушеной, то каленых орехов, не сказывай только, говорит, брату своему Василию. «Что мне сказывать?—говорю.— Ведь и Петруха тоже брат!»

Так вот и любились они целое лето и осень. Слышу — наши бабы об этом проведали, стали толковать, что никак-де Петр Матрену за себя засватать хочет, ожениться надумал. Я к ним. «Да!— говорят.— Только, слышь, филиповки пройдут, да святки, и пойдем к дяде с поклоном». Как услышал я это, так у меня у сердца словно оторвалось что — так и ошибло. И не то, чтоб я любил ее, что ли, а все же, думаю, гостинцами кормит, братом зовет, целуемся ину пору... Про-

молчал я, однако, никому про то не сказал: ни отцу, ни невестке, ни брату — никому в семье. Подошли у нас на ту пору супрядки осенние, стали свадьбы налаживаться. Слышу: брат Василий ребят сомущает: «Побьем да побьем Петруху, я за все отвечаю, не бойтесь. Пусть-де, слышь, к моей суженой не суется!» Я опять промолчал. Да слышу, Васюха все одно да одно гвоздит ребятам нашим. Те уже и сговорились с ним, и место в банях наметили. Я и скажи Петрухе-то. «Ладно,— говорит,— нишкни до время!» А там возьми да и подошли ко мне Матрену с пряниками да поцелуями. «Приходи,— говорит,— тогда за бани, да и дожидайся меня за нашим овином!» Пришел я туды, а ему на ту пору из Соснина привелось идти, пошевни у земского ходил просить. Вижу: выскочил брат Василий да и сгреб его, откуда ни возьмись и наши ребята. Не олух же был и Петруха: за ним чуть ли не все соснинские пришли. Начали драться. Слышу: вопит брат Васюха. «Не стану,— говорит,— другу-недругу закажу, не трону твоей Матрешки, любитесь вволю!.. Отстань только, не души!» Стою я так за овином, к углу припал ни жив, ни мертв. Слышу, Петруха меня кличет. Да я не пошел — побоялся... или так что-то... А соснинские ребята наших лихо вздули! Да и брату Василию досталось: синяки по всему лицу были. Отцу сказал, что на супрядках с полатей упал. Так и прошло!..

Рассказчик улыбнулся и, как казалось, припоминал всю смешную обстановку давнишней свалки. По всему было видно, что радовался он за своего двоюродного брата-победителя, держал его сторону.

— Что же дальше было?— спросил я его.

— А уж дальше-то больно плохо было...

И он глубоко вздохнул.

— Васюха-брат стал баб подмывать, а те сдуру отца сомустили, а как пришел Петрован-от к отцу, начал говорить, что вот-де невесту нашел, благослови!.. «Чем,— говорит,— благословлю, откуда деньги? Брат вот только шубенку оставил да буренку яловую. Эта девка и Василию либо Ванюшке годится. Мне,— говорит отец-от наш,— хозяйка к дому нужна, а ты сегодня здесь, а утре и с собаками тебя не сыщешь. Любись с другой какой, а эта не по твоему рылу. Слышишь,— говорит,— завтра в город ступай, седоков присматри-



вай, да и в дорогу. О себе оставь думать, сам завтра сватать иду, а тебе не видать ее, как своего уха». Тем было и порешил отец, да уперлась сама девка. Больно, вишь, любила Петруху, ни за меня, ни за брата не хотела идти. Господь, думаю, с ней! Ничем я ее не обидел! Пускай гнушается! Пришел я только к отцу да сказал ему, что я, мол, чужому счастью не завистник, не нужно мне Матрены, не стану заедать ее век девичий. И не сватай, говорю, лучше. Отец посмотрел эдак на меня, обругал да из избы выгнал. После не говорил он со мной неделю, словом не приголубил...

— Что же сталось с Матреной?— спросил я опять призамолкшего рассказчика.

— Что с Матреной? Знамо, неповадная была девка — как уперлась на свое, так с тем и отъехали все. Нейду, говорит, да и все! Либо Петруху, слышь, либо никого. Тут как на зло лихоманка за ней увязалась и начала ее ломать да сушить. «Ступай,— говорят,— в баню, скорей пройдет!..»—«Нет, и так, слышь, пройдет!»— и на улицу вышла. Тут с Петрухой встренулась, и тот ее стал уговаривать. Плачет только Матрена, а никого не слушает и в баню нейдет. Кореньев каких-то напарили ей в горшке, и тех в рот не брала. «С души,— говорит,— тянет! Горько больно, лучше так перемогусь!» Перемогусь, перемогусь, да на том и села: свалило ее на печь да и начало гнуть. Кричит, бывало, на всю избу и никого не допускает. «Укушу,— говорит,— не замайте... Укусила бы,— говорит,— Василия Корепина!» И брата Петруху вспомянет, меня закричит да и заревет. Начнет это причитывать словно по покойнике. Эдак-то ровно трое суток мы в переменку с Петрухой просидели у ней. А на четвертые отец Петруху услал в город, а меня засадил в избу. «Полно,— говорит,— с бабами возжаться, шалопай ты эдакой! Твое ли это дело! Посмотри ты на себя!..» Слышу поутру: пришла наша невестка, да и говорит, что Матрена-то после третьих петухов побывшилась — поминала Петруху да меня, опять на брата Василия грозилась. Отец пожалел: «Первая, слышь, девка так помирала, никто себе ворогом,— говорил,— не бывает!» Сам оболокся, мне велел и брату и повел нас за собой. Смотрим: обмыта лежит, лица и не знать стало — все искалечено. На другой день Петрован вернулся из

дороги да и взвыл, как узнал о Матрене, больно же взвыл!..

У рассказчика навернулись слезы. Вероятно, желая поправиться, он толкнул своего жучку ногой, поднялся с земли и отвернулся на ветер, который начало наносить прямо на нас.

Неловко было просить его продолжать интересный разговор, и я счел за лучшее, дав ему успокоиться, привести к тому окольным путем. Лучше всего, подумал я, спросить его о том, каким образом попал он в пастухи. Мне казалось, что и это обстоятельство имело некоторую связь с предыдущим.

Как бы не вслушавшись в мой вопрос и увлеченный своим рассказом, он продолжал его каким-то вялым, несколько дрожащим голосом, из чего, однако, можно было заключить, что он все-таки рассказывал охотно, без всякого принуждения со своей стороны.

— В осенях это было, о чем рассказывать стану, только что заморозки пошли у нас. После Матрениной-то смерти ровнехонько бы через год. Сидим мы эдак в избе, отец с бабами на овине рожь домолачивал. Васюха шлею конопатил, а Петра не было дома, опять в извоз услали. Я у светца с Матюшкой-племянником самострелы из лучины делал. Вот и сидим мы эдак одни-одинехоньки. Бабушка на печи храпит. Васюха-брат, как теперь знать да помнить, песню на ту пору мурлыкал, а Матюшка махонькой нет-нет да и загогочет: либо, вишь, что лучинка-то из рук прыгает. Я ему, знаешь, опять самострел в руки дал и опять лучинку вложил, да и поджог с правого-то конца. Только бы лучине-то этой загореться, а Васюха перестал песни да и окликнул: «Никак, знать, тот-от... одмен-от наш вернулся, слышь, воротами заскрипел!..» И опять замурлыкал песню и дратву зубом ухватил.

Что ж, думаю, пусть его! Да и опять новый самострел Матюшке сделал. Заливается мой парнишка так, что и мне ино любо стало. Тем временем и Петруха в двери. Гляжу, лица на нем нет, весь бледный, совсем пьян — шатается. «Где,— говорит,— дядя?»— и глазами своими масляными вскинул на меня. «На овине,— говорю,— рожь домолачивает...»— «То-то, слышь, рожь домолачивает, чтоб опосля,— говорит,— мне куском своим оржаным, в глаза корить... знаю»,— говорит.

Снял эдак Петруха шубу и сел за стол, схватил

шапку с головы, да и кинул супротив себя. «Вот теперича,— говорит,— есть хочу, больно есть хочу, груздей бы соленых поел с квасом. Да нет, слышь, не хочу я есть, ни за что не стану... Чебоксарский купец десять рублев сулил помесячно... и одежа его, и с одного с ним стола харчи идут...» Петруха, смотрю, и голову опустил на грудь, так что и бороды его курчавой не стало знать. Упер он эдак руки-то в колена и голову опять вздынул. Встряхнул волосами да и замолчал... Пусть, думаю, покуражится маленько... «Вот,— говорит,— братьев у меня двое... то бишь один,— говорит,— брат — Ванюха». И рукой на меня показал. Что, думаю, дальше скажет? «Вместе,— говорит,— пьем, вместе по соседкам ходим... Люблю,— говорит,— Ванюху... А тут тебя, слышь, корят ни зря ни походя день-то деньской... И бабы мусолят, да и дядя: «Ляд,— говорит,— с тобой, коли пьешь!» А нешто на твои пью?.. Господа приезжающие дают на водку — так и пью... Попросил на армяк — у тебя старый, слышь, хорош; кушак дай — Васюхе годится. Вот жисть-то она!.. Вот!.. «Не давайте, слышь, бабы, новых рубах ему, в старых нащеголяется, а эти и Василию годятся». Петруха, помню, опять головой тряхнул и прошел по избе. «Дай,— говорит,— Ваня, обух!.. Дай топор!.. Дядю, слышь, подай!» Тут уж я подошел к нему прямо да и ухватился за руки, вижу — совсем его дурость какая-то одолела. «Отстань,— говорю,— не ругайся!»—«Ваня, слышь, не бранись, не сердись на меня!.. Хоть ты-то!..» Да так, помню, болезненно молвил он это, что у меня и руки опустились и кровь на сердце кинулась. Матюшка-племянник ревет и самострел кинул. «Тебя,— говорит,— что ни на есть люблю пуще всех. Не замай меня!..»

Я опять ухватился за руки: «Мол, оставь дурости! Не ругайся!»

— Где, слышь, дядя?— гудет мой парень, словно вон бык на пастве.— Дядю,— говорит,— позови! Уйду, да и не приду больше, а дядю позови! Отдам ему вот эти десять рублев, да и все тут, пусть не корит!

Десять рублев, помню, из-за голенища вытащил Петруха да и кинул на стол.

Взял я эти деньги, засунул за тябло и опять уцепился за Петруху. Уйму, думаю, его пока до время, а отец придет на ту притчу, ничего не выйдет путного.

— Не ломайся,— говорю.— Оставь эти дурости свои. Коли зла хочешь, на вот, бей меня, бей!..

На ту пору и рожу ему подставил и руки навел.

— Нет, слышь, не трону тебя, Ваня!.. А оттого, что люблю, пуще всех люблю... во как!

И обнял он меня, шибко обнял, нали — крякнул. Да опять за свое.

— Дядя,— говорит,— где, где он?

— В овине,— говорю,— последние суслоны обмолачивают, что от вечерних остались.

— Туды,— кричит,— пойду, туды!..

А сам ногами брыкает, словно баран шальной. Брат Василий сидит в углу по-давнишнему и все ухмыляется да бороду обгрызает... все ухмыляется...

Я ухватился за Петруху, оттолкнул его от дверей, на пол свалил да и сел на грудь.

— Оставь,— кричит,— тебя не трону. Васюху, слышь, только дай, да дядю, да невесток дай!

А на эту-то притчу, как назло, и отец в двери, да прямо к Петрухе и лезет в глаза.

— Что,— говорит,— опять нализался? Опять, поди, на водку дали?

Петруха мой вскинулся с полу да и встал эдак к печке — руки заложил назад, потупился.

Отец смотрит на него во все глаза и ровно бы шибко сердится.

— Нализался?— кричит.— На водку дали? Обрадовался даровщине и все пропил, с горя, поди,— дядя обирает?..

— Да!— говорит Петруха и качается.— Пропил!.. Все пропил!.. Вон только десять рублев осталось, а двенадцать дали — все, все пропил!..

И глаза прищурил и опять головой встряхнул. Гляжу — облизнулся, руками замахал. «Эх, думаю, пьян ты, Петруха. Лучше бы было, кабы не грубил отцу». А он тут тебе опять, словно назло, рожон вострый в горло.

— Купец проезжающий в работники нанял, десять рублев задатку дал. Песни, вишь, ему мои да приговоры пондравились. Что ж? Я пойду. Сам свой разум теперь имею, никого не хочу знать. Сам себе голова!.. Только,— говорит,— одного Ваню жаль, а то ничего!..

И опять на меня рукой показал. Я на ту пору на отца глаза вскинул, вижу — покраснел старик, словно мак рдяный, да как крикнет, да топнет:

— Вон,— кричит,— на печь! На полати! Под лавку! Спать!— кричит.— Пьяный, чихирник! У братьев невест отбивать надумал, дармоед эдакой!.. Деньги прогонные все лето прогуливал, с целовальниками подорожными спознался. Матрешку заморил! Ванюшку сомущаешь! Меня обижать стал!

И начал эдак усчитывать и вины насчитывал много и, помню, рекрутчиной пригрозил.

— Как пьян, так и атаман, а проспится — свиньи боится. Вяжи его, дуры бабы, да и спать укладывай, крепче вяжи, вот так. Бери, Васька, веревку да крути руки назад, крепче,— кричит,— крепче!.. А ты, болван, что рот разинул, что не подсобляешь? Держи ему ноги! Что он дрягается!.. ты!.. Ванюшка!...

Да как ляпнет меня ни с того ни с сего. Тут уж и совсем опустились у меня руки и света божьего не видал я. Лежу и землю не чую. Помню только — в избе темно, зыбка скрипит, отец на печи храпит... Петруха на полатях храпит, бабы за переборкой... Так я и не спал до утра.

Рассказчик мой замолчал и с трудом перевел дух, как бы утомленный наплывом тяжелых воспоминаний и текучестью оживленных подробностей события. Солнце клонилось к закату. От реки понеслась продолжительная прохлада, столь редкая и, следовательно, драгоценная в жаркие июльские дни. Мимо нас проплелась на водопой корова и проскакала стреноженная лошадь с жеребенком. Окрестность была по-прежнему тиха, но эта тишина сделалась еще приятнее и привлекательнее. В это же время молчал мой собеседник.

Едва-едва собрался он с духом и только на мой вызов решился рассказать остальное.

— Так-то вот сталось,— заговорил он с тяжелым вздохом,— что Петруха от нас ушел к купцу в Чебоксары, да в два лета хоть бы одну грамотку прислал о себе. Только мне раза никак два наказывал поклон с ходебщиками. Сказывали те, что Петруха там у купца товары возит по ярмаркам, три, слышь, лошади на руках имеет. Звал, было, меня к себе, да отец не пустил.

— Я тебе,— говорит,— последние звенья в костях вышибу! С чихирником непутным спознался — сам таким стал... Собирайся!— говорит.

Оболокся я. Из избы вышли. Гляжу: прямо на бар-

ский двор ведет меня тятька. Помню: выходит барин в халате. Старый уж у нас барин был. Вышел и табаку из серебряной табакерки понюхал — мы ему оба в пояс, и еще, и еще. Поклонились.

— Что,— говорит,— вам нужно?

— К твоей милости,— говорит отец,— не обидь, яви милость! Парень совсем от рук отбился, работать на семью не хочет, за Казань просится.

— Хорошо,— говорит,— что ж тебе нужно?

— Не возьмешь ли,— говорит отец,— на скотный двор скотину пасти?— да и чебурахнулся в ноги. Я тоже пал. Взглянул на меня барин. А добрый он был, всех уважал, какая бы ни была твоя просьба.

— Я,— говорит отец,— и оброчное, и государево за него платить буду, яви милость!

— Хорошо,— говорит.— Я прикажу управляющему.

Мы опять ему в ноги, да вот с этих самых пор как лето, так и иду к скотнице принимать животы. Да шесть десятков голов на руках у меня. Я, стало быть, отвечаю за них. Вот третеводни корова поколела, так пытал меня управляющий мылить: «Ты,— говорит,— чего смотришь? Разве не твое это, слышь, дело?» Мое-то мое, вестимо, мое, да поди ты, вот тут свалило корову в канаву, да так и затянулась, замоталась. Это не то что свинья — ту, коли не заколешь, сама не свалится скоро.

Овцы тоже маленько привередливы, нападает на них мокрец, что ли, такой, совсем из сил выбиваются, крутит их из стороны в сторону, просто-напросто вьюном вьют. Так и замотается, а там, глядишь, и другая почала. Да раз этак-то позапрошлым летом никак десятка два ярок поколело. Навязали было мне тогда гусей стеречи, ну и ничего, смирная птица — сядут этак на озеро и сторожа посередь себя посадят. Этот не спит, гусенят стережет, на заре просыпаются и кричат всей артелью. Теперь за ними скотница Паранька приставлена. А мне за всем не в усмотр было — сам отказался.

— Что же ты по зимам делаешь?— спросил я его.

— Вестимо, по дому работаю. Что дадут, то и делаю, ни от чего не отказываюсь. Теперь и отец словно бы не серчает. Иной раз кушак новый купит, рукава новые к полушубку прошлой зимой сделал, про невест толковал, да я не хочу...

— Отчего же? Давно пора!

— Нет, так, не хочу!.. Без меня много. А то опять, глядишь, чужой век заедать станешь, не хочу! После Матрешки боюсь, ну их!.. Да пора никак и скотину отгонять в кучу, напоить, да и в хлев придут заставать,— проговорил пастух, взглянув на небо, которое как будто заволокло туманом; солнце скрылось за оврагом, и только виден был его красноватый отблеск на верхушках дерев знакомого уже мне бора.

Я поднялся с ним на гору. Пастух начал сгонять коров, оставляя лошадей и овец на ночлег, вероятно и сам предполагая остаться здесь же, чему неопровергаемым доказательством служил шалаш, сделанный из осиновых и березовых сучьев и примкнутый к оврагу.

Вскоре явилась сама скотница и угнала коров. Я стал прощаться с пастухом и расспросил о дороге.

— Иди на Печениково,— говорил он мне,— а там по болоту ступай на Свателово, да смотри, легонько. Гать-то у них положена, только стара больно, вертячих песков много по сторонам, чертовы воронки попадаются, совсем засосет. А не то, коли не хочешь — бери на кирпичные заводы, вот все прямо на свателовские горошища. Тут тебе и посад свой, знать, приведется, как пройдешь мимо оврагу вашего. Ступай вот пока перелеском направо,— говорил он мне, указывая на то место, в которое мне нужно было углубиться.

На полпути к нему он остановил меня криком:

— Слышь-ко!.. В Ильин день у нас в Вертиловке праздник, заходи пивка напиться — лихо будет, хороводы заводят. Угощение не хуже вашего посадского идет. Отпрошусь — отпустят. Приходи, право, упоштую во как!..

НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

Нижегородская ярмарка в полном разгаре. На двух башнях китайской архитектуры, обращенных к Оке и выстроенных на ее берегу, выкинуто два флага; в гостином дворе нет ни одного пустого номера. Все они наполнились произведениями всевозможных русских городов: здесь и кяхтинские чаи и сибирское железо; московские и ивановские сукна и ситцы; ярославские, кинешемские и

вятские полотна; романовские и слободские овчины; казанские козлы и другая кожа; торжковские шитые сапожки, башмаки, и туфли; кимвровские и московские сапоги всех сортов и достоинств; орловские, тульские и другие яблоки и вязниковские вишни; киевские варенья и сушеные фрукты; петербургский сахар; железные сундуки и подносы на азиатский вкус и бухарскую руку; тульские стальные изделия и самовары; углицкое копченое мясо; крымские и кизлярские вина, имеющие потом превратиться в иностранные, преимущественно французские; польские сукна; сибирские и камчатские пушные звери галицкой и московской выделки; уральская икра; оренбургские и донские балыки; астраханская и пермская соль; подгородные крестьянские изделия и мосальские хрусталь и фарфоровая посуда; нежинский листовый табак и корешки; и чудного рисунка ковры фабрики князя Енгалычева; и прочее, и прочее, и прочее.

По дорогам, идущим к Нижнему, реже тянутся обозы, застилавшие прежде весь путь и мешавшие проезду тарантасов с хозяевами. Все эти обозы направляются в Нижний и редко назад.

За Окой, на огромной песчаной косе, обрамленной с другой стороны желтыми водами Волги, выстроился новый город, решительно не имеющий нужды и ничего общего с тем, который чудною панорамою раскинулся на горах противоположного берега. В этом городе все свое, начиная от собора, армянской церкви и мечети до местопребывания губернатора, почтовой и ярмарочной контор и оканчивая возможными удобствами обыденной жизни. Самый Нижний на время переселился сюда, призакрывши свой гостиный двор и ежедневно отправляя за Оку чуть ли не половину своего населения. И хотя кратковременна жизнь этого нового и временного города, уничтожаемого волнами бурливой реки во время весеннего разлива, но тем не менее жизнь эта своеобразна и полна интереса. Вся Россия собралась сюда, чтобы положить свою долю влияния. Трудно, даже кажется и невозможно, представить себе хоть один самый дальний уголок нашего обширного отечества, который не прислал бы сюда своего представителя.

Мост, соединяющий город с ярмаркою, давно уже наведен и во всю длину его, на целую версту, расстав-

лены оренбургские казаки, обязанные криком «легче!» останавливать и ретивый бег пары лошадей приезжего собственника и легонькую побежку с перебоем лошаденки извозчика: нижегородского, костромского, владимирского на пролетках непременно не лежачих рессорах и заезжего казанца на своей оригинальной долгушке. Положим, что мы уже на середине моста; поспешим обернуться назад и полюбоваться чудным видом Нижнего Новгорода, который уступит в этом отношении только Киеву, но превосходит все города России.

Город весь раскинулся на высоких горах. Далеко от нас влево, за самую высокую гору цепляется зубчатая стена древнего кремля, помнящего доблестный подвиг Кузьмы Минина. Ближе к ярмарке широкой змеей вьется длинный подъем в город; еще правее прилепились к горе старинные церкви и здания старинного мужского монастыря; несколько выше прикреплены полуразрушенные деревянные домики бедных обывателей, разделенные густою зеленью садов, которые далеко отошли от домов их владельцев. Дальше и выше за горою весь Нижний со своими оригинальными домами, стены которых большею частью выкрашены красною под кирпич краскою; но самого города уже не видать с мосту, и только часть его «Нижний-Базар», имеющий большое отношение к ярмарке, составляет красивую, сплошь каменную набережную Оки, над которою высится Строгановская, необыкновенно красивая и оригинальная церковь на каменной, довольно высокой насыпи. Обернемся направо, и целый сплошной ряд мачт судов со всяким товаром бросается в глаза, мешая проникнуть дальше. Кажется, все суда Волги и Оки, все эти расшивы, барки, кладные, шитики, завозни, струги, гурянки, сурские межеумки, суновки, соминки собрались сюда, чтобы запрудить устье и всю Волгу направо и налево от города и щегольнуть разнохарактерными пестрыми флагами с изображением целых картин в роде похищения Прозерпины, прогулки Нептуна с огромною свитою Нереид и Тритонов или ловли кита, бросающего огромный столб воды в лодку зверопромышленников. Тут вас прежде всего поражает пестрота, безвкусие и безграмотность в надписях; самые суда от верху до низу размалеваны всеми цветами радуги и, кажется, в этой пестроте спорят друг

перед другом. Оглянемся налево: широкая, глубокая, черная бездна Оки потянулась вдаль в своих крутых берегах. Кое-где мелькают по ней лодки, перевозящие пешеходов и управляемые русскими мужиками в оригинальных шляпах грешневиком. Не увидим только дощеников, до последнего нельзя заставленных лошадьми и экипажами и всегда управляемых татарами в белых круглых валяных шляпах. Наместо их перекинулся мост и перевел их трудовую, тяжелую, ломовую деятельность на Волгу, с другой стороны города Нижнего.

Между тем мы подвигаемся дальше вперед, ближе к самой ярмарке; мост как будто кончился, то есть уже не видно под ним черной Оки, которую сменили пески, расстилающиеся под ногами, направо и налево застроенные амбарами для склада хлеба и лесу, постоялыми дворами для извозчиков или так называемым «кругом» и теми пекарнями, которые снабжают всю ярмарку ржаным хлебом. По количеству этого хлеба, как известно, определяется приблизительное число ярмарочных посетителей. Направо пестреют раскрашенные садки для рыбы. Здесь любители лакомятся настоящей неподдельной и диковинной стерляжьей ухой.

Толкотню на мосту встречающихся экипажей сменяет новая толкотня, не менее затрудняющая проход и проезд. Толпятся огромные кучи мужиков, оборванных, с изнуренными, страшно загорелыми лицами. Всмотримся в них и увидим следы трудовой, ломовой работы; прислушаемся к разговорам и подивимся разнообразию выговора. Вот один приземистый мужичок, в рваном армяке, подошел к толпе земляков, поместившихся кучей у перил моста. Он показывает гармонику, которую берет один из товарищей и начинает наигрывать комаринскую, но, видимо, недоволен игрой. Он несколько времени вертит инструмент в руках, остальные ребята оскалили зубы.

— Да тут, земляк, один клапан никак совсем порешился, да и из-под донушка-то дух идет. Поди невесть что дал,— проговорил игрок тем певучим наречием, так характеризующим костромича, страшного охотника окать.

Замечание игрока принято за остроту и встречено довольно громким смехом, который обратил на себя вни-

мание окружавших. Инструмент с изъянцем подвергается исследованию; проходившие без дела праздные люди останавливаются и нетерпеливо желают знать — о чем тут судачит народ. Из толпы сыплются советы и остроты вроде тех, которыми готов угостить русский человек своего брата в минуту неустойки и неудачи, особенно если они сопровождаются комическою обстановкою. Один советует снести инструмент в кузницу; другой хочет купить да просит прибавки — гривенник на шкалик; третий забыл захватить денег; у четвертого карман с дырой. Все эти замечания встречаются смехом и новыми остротами:

— Да ты бы, земляк, лучше сапожишки купил, а не то бы шапку какую: а то, гляди, эта и воронам на гнездо не годится.

— Ну да и вам, ребяты, не укупить мне новой: бегунцов-то за спиной, поди, тоже больше, чем в кармане денег.

— Небось под бечевой-то в таких сапогах по музыке пойдешь; оно, гляди, и с ноги не собьешься, — и тому подобное.

В справедливости этих замечаний никто из остряков не сомневается, но прислушайтесь к говору, и вас поразит его разнохарактерность, начиная от низового выговора с оригинальным падением на мягкие буквы до лесного, где грубое «о» нередко превращается в еще более грубое «у».

Здесь, на мосту, мы решительно можем прислушаться ко всем наречиям и встретить их представителей: тут *и родимый* ростовец и чистобай тверяк, который подчас *дзекнет* не хуже своих соседей-белорусов, в лице какого-нибудь зубцовского *купча-молодча* или бежечанина, которого *рици цисци* в свете нету.

Сколько есть у Волги притоков, столько и губерний всей внутренней России, столько же и разнообразия в представителях этих губерний на ярмарочных толкунах и площадках; а таких только губерний мы свободно можем насчитать 21 с двенадцатью инородческими соседями, которые и портили, и изменяли родной язык великороссов. Не диво было прежде, если прогонят через мост целый гурт быков мужики в измаранных дегтем рубашках, которые, сгоняя непослушных длинною палкою в кучу, кричали на чистом малороссийском наречии и в созерцательном молчании

шли за ними следом, словно развинченные, вперевалку, и ни на что не обращая внимания. Теперь этого стало не видно с тех пор, как чугунки стали ломать наружный вид и внутреннее достоинство и свойства древней Макарьевской ярмарки.

Толпа кинулась к чему-то белому и массивному, двигающемуся от ярмарки по направлению к городу, и, вскоре окружив верблюда, (...) провожала его за мост. Все эти кучки (...) людей, по-видимому праздных, но на самом деле только временно праздных, —бурлаки, пришедшие наниматься в нынешний год уже на вторую путину. Завтра же, может быть, они по зову урядчика и найму хозяев судов, которым всегда нужен и дорог работник, накинут на плечи лямку и тяжелым, перевалистым шагом побредут по луговой стороне матушки-Волги в предшествии вечного своего *шишки* — человека более других изможденного, но более других знающего местность. Запоют они свои заветные песни, которые так хороши на Волге и так богаты содержанием. Только бы с ноги не сбиваться да подхватывать враз, а за словами у них не стоит дело. Там придут они на заветный бугорок, где-нибудь на Телячьем броду, достанут из чередового мешочка горсточек пяток крупицы да вольют в котелок ведерко воды кормилицы-Волги — и сыт бурлак — трудовой человек и опять он ломает свою *путину* все дальше и дальше, все туже и туже. Не страшат его беды незнаемые, лихорадка и самая немощь от усилия в труде и упорства в лишениях: тем же настойчивым шагом подвигается он и при конце путины, каким шел в начале. Недоволен он только грязью после дождей да ветром противным. Пожалуй, он и без особенного удовольствия переезжает на судно, когда того требует местность и особая непогодь. Ему бы только кончить скорее путину да добиться до честного и безотлагательного расчета, а за себя он не стоит.

— Легка беда две путины сломать, а на третью, глядишь, и сам назовешься. А что и об доме-то тоску разводить. Вестимое дело, как у бар, так и у нашего брата одно выходит: как не видишь своих, так и тошно по них, а увидишь своих, да много худых, так лучше без них. Давай бог толкового шишку, да тороватого хозяина, да спопутную погодку, хоть бы и парусила она, да только дождей бы не давала. А что там болести

разные да немощь!.. Вот, слышь, к нашему брату и подойти нельзя — так и это опять ничего. Наш брат бурлак как ступил на берег, да пошел на свои деревни: на первом же селе бабы тебя словно пчелы облепят. Мы уж у них без бани и обеда не берем. Давай нам, тетка, щей, дескать, горячих, да пару, да веник, а нам со своим двугривенным не до дому же тащиться — на вот, бери... ведь и ты, глядишь, не разживешься с него. А посмотрел бы ты, как наши ребята на Рыбном пьют, так тем, что нашего брата ни в грош не ставят да еще и глумством всяким доходят,— в нос кинется, в почесотку введет и в зависть всякую. Ведь у нашего брата копейка ребром стоит, а с нее пар валит...

Довольный собой, бурлак в Нижнем ни в чем не откажет себе перед трудами, которые ждут его в путине: пьет и бушует под кружалами не тише московских купцов.

Между тем на мосту через Оку с каждым днем заметен прилив новых бурлаков, которые ждут только обратной путины и не дожидаются ее долго. Вот подходит урядчик:

— Кто, ребята, на Рыбное? Кто на Казань? Кто на Симбирск?

— Мы, хозяин!.. Отправляй нашу артель попервоначалу: вон те и шишка наш! У него и пашпорты наши.

— Ну так молись, ребята, да и ступай с богом,— собирайся!

Мост еще не кончился, но начался уже ряд лавок, в которых хотя и производится торговля, но мелочная: шапками, картузами, шляпами, сапогами и прочим добром, необходимым в быту крестьянском и бурлацком.

Между тем к концу моста окончательно начинает поражать близость ярмарки: со всех сторон тянутся навстречу длинные обозы, запирающие проход дальше. Толпа делается гуще и разнообразнее; говор становится громче и сильнее и несколько напоминает базар в каком-нибудь маленьком дальнем городишке или торговом селении. Но еще несколько десятков шагов — и мы уже на самой ярмарке. Длинная широкая улица потянулась с моста, образуемая досчатыми балаганами, выстроенными наскоро, на живую нитку. Как бы

для того, чтобы скрыть их вопиющий недостаток, все они выкрашены серенькой краской, но тут пока только старое платье, зазывные приглашения вроде апраксинских* или гостинодворских московских с теми же неудачными предложениями купить то, что уже у нас есть, и с такою же настойчивостью. И здесь также готовы ухватить за руки и силою втащить в лавку, если только найдется хоть малейший повод к тому. Мужиков и баб подгородных торгаши просто таскают за руки силой.

Вот две дороги — одна налево, мимо груд дынь и арбузов к центру ярмарки: двум заветным флагам и так называемому Главному Дому; другая прямо к театру. Выберем последнюю и будем иметь удовольствие видеть Новинское* или Исаакиевскую площадь во время Святой недели или масленицы. Целая площадь обстроена балаганами с заманчивыми картинами и вывесками. Там намалевано целое поле сражения; здесь целая пирамида людей, исковерканных в различных фантастических положениях. Из некоторых балаганов раздаются выстрелы; один — сильнее прочих: проходившая толпа праздных мужиков ухает, останавливается. Мужики переглянутся, улыбнутся, отпустят доморощенную остроту и пройдут дальше. На самокатах раздается однотонная музыка, которую и можно слышать только на народных гуляньях. Здесь — целая ватага горничных, отпущенных господами, мещанок, раздобывших двугривенный на каком-нибудь шитье или вязанье, соседских деревенских орженушек, доставляющих себе удовольствие на проданные торговкам ягоды, и продажные красавицы, набежавшие со всей России,— по гривеннику. Все это качается в самокатах на слоне, на коньках, колясках и на других разного рода и вида сиденьях, и все они крайне довольны и собой, и ярмаркой, и людьми, которые дали им на то средства.

Тут же, напротив самокатов, или как обыкновенно называют их здесь — *кружал,* вечно сидят торговки-бабы с орехами, подсолнечниковыми и арбузными семячками, моченым горохом, гнилыми яблоками, услаждающими вкус катальщиков.

В страшный восторг приходит вся эта ватага, когда главное лицо начнет подбирать рифмы в ответ своему старосте-командиру или когда на него напяливают

мундир вверх ногами. Он жмется и ёжится и что-то кричит; его не хотят слушать, но когда четыре мускулистые руки, окончательно надевши мундир, начинают его встряхивать как бы в мешке, народ кричит:

— Шибче, ашшо встряхни: небось уколотится!

Но когда нового солдата ставят на ученье и дают ему в руки ружье, и он вместо «на плечо» кричит «горячо», вместо «от ноги» брякнет во все горло «погоди!» — толпа гремит тем неистовым смехом, который только ей одной и под силу. Толпа ждет не дождется того антракта, когда, после показа актеров, участвующих в следующих представлениях, является давно ожидаемый скоморох-утешитель. Кажется, и сам он мало думает о себе и тоже, в свою очередь, не дождется антракта, того последнего антракта, после которого он со всех ног бежит в ближайшую деревянную будку с елкой и с лаконическою какой-нибудь надписью: «Меченая выставка, № 10». Это какой-нибудь портняжка, пьющий запоем, но во время охмеления работающий за четверых. Он отбился от всех рук, в какие только ни бросала его судьба и от каких представлялась ему возможность отбиваться. Он и теперь, может быть, убежал от хозяина на время ярмарки из страсти к своему веселому ремеслу, которое влечет за собою огромное количество водки, притупляющей в нем всякую щекотливость к побоям. Кончится ярмарка, портняга опять придет к старому хозяину после долгого-долгого похмелья и начнет подводить:

— Что так как-де довольны очинно вашею милостью, то не примете ли опять на верстак; заслужим чем могим, а о другом-прочем не сумлевайтесь: все очинно пойдет прикрасно.

Сядет он опять на верстаке, подхвативши под себя ноги, если только не до конца рассердил и этого хозяина. Сидит он до первого запоя, но уже перед ярмаркой опять улизнет, не спросясь и постаравшись всеми неправдами забрать свои деньги вперед. Глядишь: он опять где-нибудь на балаганном балконе под Новинским. На великий пост фигляр опять пропадает, но на святой он опять тут как тут, если только не успеет его изломать запой, как вещь лишнюю и ненужную на этом свете. Народ гудит в восторге от его острот, и никто не спросит, никто не пожалеет его, если явится другой с тем же искренним желанием насме-

шить толпу и потешить. На ярмарке в Нижнем он тут как тут, но уже на целое лето.

Раевщик — тоже человек, обрекший себя на потеху, но уже решительно иного характера: он даже, если хотите, враждебно смотрит на паяцев, которые, привлекая толпу к себе, отвлекают от его театра. Вот почему он всегда выбирает местечко подальше от кружал, но всегда видное и, по возможности, бойкое. Ясно, что и здесь зрителей у него немного. С большой радостью пускает он за какой-нибудь пятак в складчине целую кучу ребятишек. Редко-редко навернется на него и здесь такой любитель, который, желая потешить себя приговорами, бросит ему полтинник и, отойдя на приличное расстояние, не смотря в стеклушки, слушает вранье сказочника, которое в Нижнем вращается на остротах и насмешках над купцами: «купцы продают рубцы, сено с хреном, суконные пироги с навозом» и прочее.

— Вот бы и ярмарочное дело теперь,— говорит он любопытствующему знать о положении дел и ходе его торговли,— а что? Лучше бы и не трогаться из Москвы. Все барыши отбивают у нашего брата эти кружала проклятые — и Петрушкой бы стучишь и «ватрушками» и разными приговорами трогаешь. Оглянется к тебе весь народ-от этот, да и опять на паяца зевает. Тут не токмо что, а и киятра-то не окупишь. Вот один этот маленький 20 рублев стоит, да два раза в год окрась его, да надпись подбери позаманистей, что вот-де «сия панорама показывает разные виды городов и селений»,—так и будешь знать, как себя прокормить. А потаскай-ко ее на плечах, так и даст она тебе знать себя, хотя и не веска — всего только два пуда будет — да зато занозиста: все тебе плечи пообширкает. Только вот один работник и выручает еще кое-что: не то поглаголистей он, не то киятер-то у него большой. Одного весу в киятре будет пудов 18; сам и картины подлаживаешь, коли не уноровишь достать большую. Тут ведь ширины одной два с половиной аршина, есть на чем поразовраться, особо когда хмельком заберешься. Тут уж врешь и сам не ведаешь что!— прихвастнет раевщик.

Неправда в его словах только одна: не поедет же он даром за четыреста верст, не рассчитав и не испытав барыша зараньше. Никогда не пойдет в раевщики мужик, привыкший трудом зашибать копейку; всегда

уж это какой-нибудь аферист, прошедший огонь и воду и вот теперь ударившийся в скоморошество, и всегда с верною, заранее рассчитанною целью. Знает он очень хорошо, что таких досужих людей, как он сам, едва ли насчитывается до десятка. Все они знают друг друга, и все они, по большей части, приказчики одного какого-нибудь достаточного хозяина, который посылает их в другое время по дворам для потехи детей и их нянюшек.

Еще несколько шагов вперед, и перед вами большое серое здание театра, все облепленное афишами, на которых буквами в вершок обозначены имена заезжих столичных артистов. Василий Игнатьевич Живокини почти никогда не сходит. Те же афиши пестрят все городские фонарные столбы сверху донизу, но публики привлекают против ожидания мало: внутренность театра неудобна, освещена дурно какими-нибудь тремя десятками свечей, неудобно прилепленных к ложам; всюду сквозит ветер, музыканты играют хотя и старательно, но всегда фальшиво. На сцене ставят плохие пьесы провинциального репертуара, большею частью трагические и драматические со всегдашним враньем на афишах того, что не покажут да подчас и показать не могут. Пьесы к тому же и разыгрываются плохо, с весьма немногими исключениями.

Отсюда вы можете отправиться в железный ряд, самый длинный изо всех, где выставляют напоказ иногда вещи удивительные. Мы видели целый дом, сделанный из железа в один этаж: весь он складывается несколькими рабочими в двое суток, но разбирается весьма скоро, чуть ли не в 10 часов или того меньше. В доме этом пять комнат: прихожая, контора, зал, спальня и кухня. Хозяин ценил его в полторы тысячи, говорил, что в нем весу восемьсот пудов, и в расчетах ошибся, потому что ярмарка — не выставка: изделие его никто не купил.

Обогнувши театр и повернувши немного налево, мы вскоре очутились в самом центре ярмарки, который можно считать у Главного Дома. От него прямо потянулись ряды каменных корпусов гостиного двора, разделенных между собою на две половины узеньким бульваром, еще достаточно не обросшим. Сейчас налево самое почетное и видное место отведено было строителем ярмарки (при Александре I) Бетанкуром —

книжной торговле. Но ее нет и следа: все лавки модных и иных ходовых товаров. А книги на ярмарке — не товар (дешевые картины еще туда-сюда); книжному торговцу перед всеми другими оптовыми нельзя и признаться. Зато все другие ряды и линии честно и буквально сохранили за собою свои старые названия: москательные, бакалейные, бумажные, кожевенные и даже колокольный. Бульвар ведет до огромного ярмарочного собора с одной стороны, а с другой примыкает к главному корпусу, в котором временно помещается ярмарочное управление: начиная от квартиры губернатора и лиц, нарочно командируемых на этот случай, и кончая почтовым отделением. Середину нижнего этажа этого корпуса занимает огромная зала, образованная четырьмя меньшими наподобие креста, середина которого занята несколько возвышенным помостом для помещения оркестров военной музыки. Залы эти отчасти напоминают москвичу его Голицынскую галерею, а петербургскому жителю — Пассаж, с которым он, кажется, и имеет большое сходство, если только присоединить к тому запах пригорелого масла, который врывается сюда из смежной трактирной залы.

Под Главным Домом помещаются магазины персидских товаров со своими горбоносыми, смуглыми, краснощекими хозяевами в пестрых халатах, с длинными, ни к чему не нужными рукавами и в высоких мерлушчатых шапках. Тут же, в одном углу, приютились изделия Екатеринбурга: все эти топазовые, аметистовые, сердоликовые печатки, вазы из орлеца, тарелки и чашечки из калганской яшмы, крестики из горного хрусталя, запонки из тяжеловесов и дымчатого топаза, целые иконы и картины из всевозможных яшм, и из них же пресс-папье, и тому подобное. Попадаются на глаза и небольшие шкапчики, в которых приезжий оптик разложил свои инструменты и местный токарь — свои безделушки. По вечерам здесь играет музыка и бродят толпы городских фатов и иногородных заезжих гостей между кучами сундуков, ящиков, на которых чинно-важно сидят уставшие. Вам предстоит приятное удовольствие задевать за чужие ноги или до невыносимой боли ушибить колено об выставившийся угол ящика, на каждом шагу наталкиваясь на новый прилив гуляющих, толпы которых как тени шатаются из угла в угол. Разойтись тут решительно негде, и слово *гу-*

лять приличнее было бы заменить в этом случае словом *толкаться.* И все-таки находятся охотники: чуть ли не целый Нижний является сюда для прогулки и как бы для того, чтобы в сытость насладиться удобствами ярмарки (которой и веку-то всего только два месяца) и потом на целых десять месяцев замкнуться в свой заветный кружок.

Один выход из Главного Дома ведет к Оке. Он с двух сторон окружен целым рядом извозчиков, потому что это главный подъезд от города, а другой выходит на бульвар; к нему извозчиков не подпускают. От бульвара Главный Дом отделен небольшой площадкой, на которой постоянно толкутся продавцы-ношатые: господин неопределенного вида в длинной чистенькой сибирке с целою связкою ящиков и коробочек за плечами. Та, которая в руках, открыта: он показывает пряник и называет последний заманчивым именем вяземского. Зная о близости Городца, богатого села здешней губернии, расположенного на берегу Волги в Балахнинском уезде, давно уже получившего известность в деле печенья пряников, можно усумниться.

— Да вжеж усе у Вязьме пекли: городецкие-то на меду, а наши на сахаре. Наши рассыпчатые, с цукатом!— выкрикивает нам в ответ продавец и не обманет. Мы должны ему поверить, если не на слово — по крайней мере, за произношение, которому он остался верен и на нижегородской площадке. Это чистый смоляк, приказчик или родственник какого-нибудь вяземского пекаря, который разложил свой товар где-нибудь в гостином дворе, в каком-нибудь бакалейном ряду, под какою-нибудь литерою И или К. И поверьте, что надпись на прянике, гласящая, что «Сеи праникъ спечен въ Вязме» или «Сия коврышка вясемска», как нельзя больше справедлива и неподдельна. При этом (если есть досуг и время) смоляк готов нам забраковать и охаять городецкие пряники, называя их «перепечами», поджаренными на сковородке в масле. «Их-де перед ярмаркой щетками оттирают, медом да маслом приправляют для скусу; они все оржаные пополам с мякиной; медовики, сухари, сусленики. Они и идут-то только на масленице да на святой неделе под кулак ребятам фабричным по пятаку на перешиб за десяток...»

Тут же, как из-под земли возьмется, подступает казанский или симбирский татарин, подосланный с бракованным, редко добротным мехом из крымских барашков или воротником часто настоящего камчатского бобра, редко польского с подкрашенными сединками. Так же, как и везде, верный себе самому, татарин запросит страшную сумму и уступит за половину, по нескольку раз отходя в сторону, упуская покупателя иногда далеко из вида и опять выходя откуда-нибудь из-за угла или подсылая товарища, если заметит стойкость в назначенной цене и упорство.

— Купи, барин, у меня мех!— говорит подосланный и покажет тот же мех, который уже видел покупатель, и немного сбавит цены против прежнего.— Нонче дорог крымский баран — настоящий, барин! Тебе не убытка, а нам деньга нужна!.. Слышь, барин,— тебе добра хочим.

При дальнейшем упорстве он еще, пожалуй, несколько сбавит цены и, если видит хоть маленький барыш себе и хозяину, при надбавке непременно уступит мех: за большим не гонится, как и те его родичи, которые продают в столицах халаты, платки и мыло и покупают всякую рвань: старые штаны и голенища, треугольные шляпы и изломанные шпаги и сабли.

Вообще сказать, эта площадка между Главным Домом и бульваром — место сходки всех мелочных торгашей: тут и мальчишка лакей, стащивший у барина несколько томов журналов старых годов, и человек, приплевшийся из Москвы продавать свою ваксу, которая способна сделать сапоги наши на целую неделю чище зеркала и не боится ни дождя, ни грязи, ни пыли, а в сущности дрянь, какую только себе можно представить. Тут же протискивается вперед и казанский татарин с коробкой мыла, способного в два приема согнать загар и выводить веснушки. Все эти люди, с утра вытащившиеся из своих конур где-нибудь в подвале Кунавина, начинают обыкновенно свое путешествие по трактирам. Мимоходом только останавливаются они у Главного Дома и, бог весть, в каких занятиях проводят вечер, когда стемнеет и начинается торговля новых лиц, также приехавших из Москвы, Ярославля и ближайших к Нижнему губернских городов, всех этих рудневских и иных красавиц aus Riga, aus Revel и даже aus Hamburg und Lübeck.

Всюду видно кропотливое желание продать, навязать товар, как это встречается на любом толкуне в столицах. Но этого торгового движения целой России, движения нескольких миллионов рублей, собственно, предполагаемой ярмарки в том значении, как мы привыкли понимать по образцам других губернских городов с ярмарками, решительно, против ожидания, не видно, не заметно. Ярмарка налицо, но ее торговля, движение? Мелочные покупки в лавках нижегородских жителей решительно ничего не значат. Ничего не доказывает и это множество лавок, которые целый день, по-видимому, стоят отпертыми без цели, и эти хозяева, которые пьют чай решительно в невозмутимом спокойствии, заботясь, кажется, только о том, чтобы вовремя передать горячий стакан из одной руки в другую и не обжечь себе ладони и пальцев. Весь гостиный двор пройдешь из конца в конец и не заметишь предполагаемого движения ярмарки; не удивит незначительное движение, немного больше того, какое встречается в любом гостином дворе любого губернского города. Нередко, впрочем, виден перед рядами, в которых производится оптовая продажа, десяток возов, которые нагружаются шерстью, цыбиками чаю, бочками: сахару, вин и пряностей. При этом, всегда и неизбежно, заметны, как и на перевозе, широкие богатырские спины татар и их изрытые оспой лица: вся ломовая работа производится этими коренастыми, здоровыми татарами здешней и соседних губерний. Татары приходят сюда недели за три-четыре до начала ярмарки целыми артелями. Начальником артели в таких случаях от нанимающих хозяев назначается доверенный русский, которого иногда не трудно и заметить тут же в синей сибирке с большою палкою. С ним легко свыкается рабочий татарин, делается ему, по-видимому, безропотно послушен, скоро выучивается и водку пить и при первом случае просит на чай (...) не хуже другого рабочего из русских подгородных мужиков. Только плохо еще говорит татарин по-русски, но, во всяком случае, делается далеко непохож на своего единоверца, например, обитателя дальних уездов Вятской губернии, на оренбургского, а в особенности на сибирского татарина.

Возы (...), нагруженные татарином, дают вам еще некоторое право заключить о близости коммерческих сделок, но вглядитесь в то же время в дороги, ведущие

от Нижнего в Вятку, Кострому, Казань и Москву, и тогда уже делается несомненным полный разгар ярмарки. Нет, кажется, никакой возможности пробраться никакому экипажу между бесконечными вереницами возов, уставивших в своем медленном движении всю дорогу с своими неизменными мужиками по сторонам — владетелями лошадей и длинных телег, жителями или подгородных деревень, или, по большей части, Муромского уезда Владимирской губернии. Молча плетутся они по сторонам, страдая от всех перемен прихотливой погоды и только по привычке перенося скуку однообразного пути, на который обрекли они себя по нужде и по обычаю отцов и дедов. Три-четыре раза успевают они отправить доверенный им товар на свой страх и полную ответственность за его целость. Хозяева отпускают с ними только одного приказчика, а сами едут уже в конце ярмарки в вагонах, каютах, но всего больше на тройке, в тарантасе и в компании пяти-шести человек, из которых трое главных сидят в главном месте, один молодец на козлах, двое других назади, в каком-то мешке из рогож, отличающемся всевозможными неудобствами и неуклюжестью.

Вернемся на ярмарку и подивимся всем удобствам, которые предоставлены здесь торговому классу, начиная от подземного коридора кругом всей ярмарки до избушек, сколоченных наскоро из досок и торчащих на каждом главном углу. Коридор подземный — отхожие места, выстроенные Бетанкуром так, что особым током воды они прочищаются почти во мгновение ока и служат, при чистоте своей, помещеньями и для курящих, так как курить в рядах и на бульварах запрещено. Надпись на одной из избушек ясно говорит вам, что здесь:

Иксъ соменованой паликъ махтеръ и фелтьшалъ Іванов, въ новь приехадшей изъ Москвы.

Таких не одна, а около десятка.

Выставленные в окнах другого домика портреты дают вам знать, что тут фотография, прибывшая из Петербурга, из Москвы, спустившаяся из города Нижнего на время ярмарки.

Невольно поражает безграмотность московской вывески, с претензиями на подробное исчисление всего, что может сделать хозяин, и краткость вывески петербургского человека, вывески, которая большею частью

пишется на двух, часто на трех языках и уже с гораздо меньшим числом орфографических промахов. В Москве: «продажа, торговля, лавка и т. п. разных овощных и колониальных товаров, табаку, цыгар, чаю, сахару, кофе купца Ивана К.»— в Петербурге: овощная лавка, «мелочная лавка № 1». Московские вывески словно дали вековой зарок ссориться с грамматикой; в Петербурге только уж чересчур перехитривший маляр поддастся соблазну и переврет, но зато в остальном преимущество далеко на стороне Петербурга. Та же безграмотность замечается и в гостином дворе, большая часть которого наполнена приезжими москвичами; редко, весьма редко заберется между ними приезжий из Петербурга, Варшавы или Одессы. За доказательствами ходить весьма недалеко: стоит обойти кругом ярмарки и пересчитать, сколько на этом пространстве выстроено различных трактиров, харчевен, ресторации и других заведений подобного рода. Чья прихоть развела их в таком огромном числе, при такой величине самого помещения, как не прихоть москвича, который не откажется по десяти раз на день пить чай вприкуску, со сливками и без сливок, с лимоном, с медом, с изюмом. А между тем эти трактиры едва ли не главный притон для всех коммерческих сделок. По чистоте и убранству, наконец, по самому названию этих заведений можно, кажется, судить об относительном количестве совершаемых в них сделок. Здесь-то, можно сказать, заключается *корень* ярмарки, как выражаются сами купцы. Сюда-то сходятся они, чтобы заключить последнее условие, сказать друг другу последнее слово: «да» или «нет».

Дело обыкновенно производится следующим образом: купец, желающий купить по мелочи, является к тому, у которого есть то, что ему нужно. Покупщик кланяется, улучает свободную минуту, несколько времени мешкает, переминается — он незнаком с продавцом; тот спешит предупредить его и спрашивает:

— Что вам угодно, почтеннейший?

— Да вот-с, желательно бы из сукон-с недорогих... ситцев московского производства... дардедаму...

— От каких и до каких цен?— спрашивает продавец.

Но покупщик желает видеть самый товар. Продавец приказывает приказчикам снять товары с полки, и,

когда покупщик займется самым внимательным разглядываньем их, он спешит с ним разговориться; допрашивает, из какой губернии он родом, где производит торговлю и кто его рекомендовал ему. При получаемых ответах москвич придакивает:

— Тэк-с, тэк-с, знаем Ивана Спиридоныча. Отчего же вы по-прошлогоднему не обратились к Андрею Фектистычу? У них товар без обману; сами в фабричном деле обиход держат... на несколько тысяч товару производствуют.

Покупатель, человек не впервые имеющий дело, знает, к чему ведет речь продавец, и потому тотчас же спешит рассеять сомнение и, если намерен покупать на чистые деньги, не нуждаясь в кредите, отвечает прямо.

Слово за словом, и покупщик уже назначает количество нужного ему товару, а затем:

— Позвольте уже, выходит, утрудить ваше досужество, на кое время попросить в заведение чайком побаловаться.

Продающий соглашается, отдает нужные приказания приказчику, а сам с покупателем отправляется в ближайший трактир. На пути первый спешит заговорить со своим покупателем. При этом кстати пожалуется на времена тугие, упомянет вскользь, что и он потерпел убытку на несколько сотен; расскажет какой-нибудь несчастный случай на перевозке, где от водополья и недостатка в перевозчиках подмочили у него товар рублей на триста и более. Тут же сошлется на трудность найти и придержаться за честного, доверенного приказчика. К слову прихвастнет, что за всем свой глаз нужен; без того — хоть в гроб ложись.

Но вот они уже в заведении, где их встречают поклоны хозяина трактира, буфетчика, двух приказчиков, приставленных для надзора за служителями. С радостью видит москвич во всем обстановку любого московского трактира. Те же маленькие столики с вечно мокрыми и сомнительной чистоты скатертями, накрываемые маленькой салфеткой; те же полоскательные чашки на столах; тот же песок на полу и морс на середнем большом столе, всегда готовый к услугам даром, без платежа пошлины; те же заветные парочки * и вечный *кувшинчик* сливок; та же даровая закуска к водке, состоящая из куска ветчины или соленой рыбы с двумя огурцами, и, наконец, те же половые в белых ру-

башках, с полотенцем на одном плече — бойкие ребята-ярославцы, охотники прислушаться к вашему разговору и, по мере средств и возможности, вмешаться в него, надеясь вполне, что их не оставят без внимания. Привычные люди, знакомые гости-москвичи всегда готовы подразнить полового каким-нибудь нелюбимым им словом, разговориться с ним и отвечать на все его замечания, высказываемые всегда отборными выражениями, большей частью заимствованными у своего же брата, который знает грамоте, в досужий час почитывает романы московского изделия и вслух читает новые газеты, кривотолком объясняя места темные.

Кучкой, расправляя бороды и разглядывая до последней нитки своих гостей, стояли половые подле стола, когда вошли новые гости. Мгновенно все они перемешались, засуетились, хватаясь как угорелые за кучу салфеток, пока один, побойчее прочих, не отделился вперед. Подойдя к столу, он разложил салфетку, оправил ее, бессознательно повернул полоскательную чашку, вытер, поставил ее на салфетку и вопросительно перебежал взглядом с одного гостя на другого.

— Три парочки чайку, да смотри хорошенького: самого, знаешь, лучшего!— говорит покупатель.

— Лансену, что ли? —спрашивает несколько грубо привычный половой.—Чашек-то две принести, лимону али сливок?

— Вели *собрать* цветочного, да лимонцу два кусочка принеси, хорошенького,— отвечает заказывающий.

При этом он самодовольно потирает руки и начинает общелкивать пальцы в то время, как продавец бессознательно оглядывает со всех сторон полоскательную чашку и, бог знает с какою целью, щелкает в ее донышко своими пятью ноготками. Видимо, они еще не освоились, а продолжать давешний разговор, прекращенный ответными поклонами хозяину заведения и его приказчикам, находят теперь уже решительно излишним.

Не проходит пяти минут, половой уже мчится на всех парусах, растопырив руки и живо передергивая плечами. В одной из рук мотается приподнятый выше головы поднос с чашками и двумя чайниками, которые бог весть каким чудом не падают на пол и, кажется, только чисто акробатической ловкости служителя обязаны этим спасением. Половой не поставил, а ловко

бросил поднос на стол, причем посуда страшно зазвенела, но, к удивлению, осталась цела. Он отскочил и опять дал знать о своем присутствии подле стола, метко бросив серебряную ложечку прямо в чайную чашку, причем ложечка жалобно завизжала и раза три перевернулась с боку на бок. Половой опять отошел на свое место к столу и, обкусывая бороду и подпершись локотком, искоса наблюдал за своими гостями.

Покупатель долил чайник, сполоснул чашки, налил их и, придвинув блюдечко с тремя парами сахару к гостю, просит его угощаться. Гость снял один кусочек, перекрестился, налил чаю из чашки, растопырил свою пятерню в виде рогульки и, уместив на нее блюдечко, начинает пить, прищелкивая сахаром решительно в гомеопатических приемах. Половой продолжает обкусывать бороду и наблюдать своих гостей. Оба они выпили чай. Один закрыл чашку и положил на донушко оставшийся в руках кусок сахару. Тот, который заказывал, сбросил сахар и вскрыл чашку, сухо промолвив:

— Не в одолжение!.. Уважьте еще чашечкой!

Половой продолжает наблюдать и видит, что у купцов дело совсем не ладится. Его привычному взгляду не трудно угадать в них продающего и покупающего. Половой переступил с ноги на ногу, перекинул полотенце с одного плеча на другое, оправил рубашку и, отодвинувшись немного от стола, начинает опять наблюдать за ними. И вот, наконец, к крайнему его удовольствию, заказывавший догадался и, подозвав его сначала звоном в полоскательную чашку, а потом пальцем, говорит ему:

— Принеси-ко, молодец, графинчик очищенной... али какую вы более уважаете?— продолжал он, обращаясь к своему гостю.

— Что до нас, то все едино-единственно, какую прикажете-с!— отвечает тот и заметно повеселел.

— Так уж поуважительнее по крайности графин принеси, да и рюмочек-то, знаешь, хозяйских подай!..

С теми же ловкими порывами и громким звоном поставил половой на кончик стола требуемый графин с куском ветчины и двумя огурцами на тарелке. Затем он опять скрылся, чтобы принести нож и вилку, разрезать закуску и вывалить целую ложку крепкой сарептской горчицы, от которой у купцов зажжет во рту и

захватит дыхание. Половой опять станет наблюдать и, если не позовут его на новую услугу уважить парочкой чайку или порцийкой селяночки, он заметит за своими гостями большую перемену: после первой же рюмки, сопровождаемой кряканьем и обтиранием бород, они делаются заметно разговорчивее. Первым начинает покупатель:

— Так как нам оченно нужно товар этот получить во свое во владение, то соблаговолите уже назначить ему и сумму безобидную. Вам, значит, продать без убытку, а нам купить без оного.

— Да вот что,— отвечает продавец, пережевывая закуску, обтирая вытребованной салфеткой рот и руки и придвигая уже налитую чашку.— Если вы теперича, выходит, перводобротного самого купите, то дам вам на редкость лучше, чем вы сами отложили, а уж на брак так мы и цены накладывать не станем... Так уж для первого знакомства, чтоб уж и вперед нам компанию и дела вести.

— Всегда, выходит, покупатели ваши!— перебивает его первый и при этом приподнимается и кланяется. Продавец дает ему руку через стол, также привстает и также низко кланяется. Они уже знакомы и, по-видимому, довольны друг другом.

— Так как же теперича цена ваша будет, добротному-то?..

Покупатель, сколько заметил наблюдающий половой съежился, даже покраснел, как бы и не рад был, что так скоро приступил к концу, не догадавшись оттянуть его подальше.

Продавец медлит, покупатель наливает еще две рюмки и просит *пригубить*.

— Очень благодарствуем... и опять-таки не будет ли? Я вот лучше чайку еще плошечку выпью!— церемонясь ответит гость и придвинет чашку.

— Нет, вы уж не беспокойтесь: чай-то и опосля можно. Нас ведь, к примеру, водка не раззорит; только будем друг другу в одолжение делать, чтоб и напредки в обязательстве происходить. Прошу покорно!.. Послушай-ко, молодец, вели-ко нам обрядить селяночки московской, да посолонее, капусты вели накрошить побольше.

Половой пристукнет каблуком, монотонно, скороговоркой объявит буфетчику о желании купцов и мелкою

дробью слетит с лестницы в то время, когда покупатель успеет опять напомнить о назначении цены.

— Без лишнего, почтеннейший, —ответит ему продавец.— Для ради первого знакомства сделаем и уступку. Вот положа руку на сердце, если вам на чистые — по полутораста целковиков за партию, а то продаем и дороже!..

Покупщик не соглашается, дает свою цену; продавец долго крепится, говорит, что нынче и матерьял и рабочие стали дороже: почти что, дескать, не из чего и биться. Но ведь и покупщика — старого воробья — на мякине не обманешь; он подается ленивее самого продавца.

Селянка между тем съедена; графин опростан, но купцы еще ломаются: окончательно не сошлись в цене. Только к концу чая они заметно подаются и мало-помалу убеждаются в том, что нельзя же одному без барыша, а другому купить с убытком. К тому же цены и тому и другому известны хорошо, так хорошо, что, принимая во внимание и самое время и другие зависящие от него обстоятельства, они друг перед другом не останутся в больших барышах, а свое возьмут безобидно.

— На угощеньи благодарим покорно!— говорит продавец, берясь за шляпу и раскланиваясь.

— Просим не прогневаться!— отвечают ему.— Уж, выходит, теперича извольте и задаточек получить...

— Обойдемся и без оного,— отвечает продавец,— милости просим теперича товар получить; а мы во всякое время готовы, пожалуйте!

Отдавши товар новому хозяину, он обязан, в свою очередь, для поддержания знакомства на будущее время угостить его по окончании сделки по крайней мере обедом, если, что называется, не *расхарчиться* на большее. Впрочем, тут частую и большую роль играет шампанское, обыкновенное тотинское (Тотина), которое сплошь и рядом уходит за Клико и Редерер.

Вот вследствие каких обстоятельств целые десятки трактиров, окружающих гостиный двор, всегда полны народом и нет, кажется, ни одного места, которое бы в таком количестве зашибало копейку, как заведения подобного рода, если не принимать в расчет те, которые расположены за московским шоссе. Недаром же хозяева трактиров употребляют всевозможные приман-

ки для тороватых хозяев, у которых, кроме главной мысли о торговле, замечаются и другие наклонности, сродные иному человеку в минуту прилива денег. В нескольких трактирах для услаждения слуха посетителей ревет целый хор московских цыган с гиком и диким выкриком, который решительно заглушает треньканье гитары или торбана. Издали он кажется вам простым криком пьяных певцов, вблизи делается довольно сносным или, по крайней мере, поражает некоторою стройностью голосов, согласно аккомпанирующих друг другу после хоровых вскрикиваний. Наконец, хор этот способен привлечь полное ваше внимание и затронуть даже кое-какие струны чувствительного сердца, когда начнет петь solo какая-нибудь Лиза или Танюша. Но отходите дальше от этого буйного хора, если у вас нет особенного желания истребить все заготовленное хозяином трактира количество бутылок шампанского. Предоставьте это тем, которые исподтишка от отцов и хозяев бурливо тратят свободное время.

Есть на ярмарке другие трактиры, в которых происходит то же, только несколько в тесных рамах. Там какая-нибудь смазливенькая немочка-арфистка, умеющая говорить и по-польски и по-французски, страшно жеманясь и, кажется, стесняясь собственными приемами, несколько похожими на приемы горничных, подойдет к вам с засаленною тетрадкою нот и попросит на починку арфы. Не стесняйтесь: кладите гривенник, пятиалтынный — здесь всем довольны; от вас большего не потребуют, а и откажете — за вами не будут следить с насмешливым взглядом, не будут делать оскорбительных замечаний на ваш счет, замечаний, которые в другом месте долетят до ваших ушей и оскорбят ваше самолюбие, если только вы несколько обидчивы. Не дадите... но едва ли вы не дадите хорошенькой девушке, которая стоит долго, готова отвечать на любезности. И посмотрите: она словно маков цвет раскраснелась. Ей, кажется, даже совестно незавидного своего положения тут, среди этих людей, которые чуть не во все горло говорят о ней замечания и ждут со страхом, что вот и к ним подойдет она. Арфистка действительно подходит к сидящим, но не ко всем: у ней уже замечено несколько господ, которые раз отказали ей. Компания других всегда спешила кончать угощение и браться за шляпы при первом появлении арфистки с заса-

ленными нотами. К ним не подойдет она, но зато охотно подсядет и с полчаса полюбезничает с знакомым тороватым господином, с которым она без церемонии, и даже сама назначает ему сумму в рубль, два, три и больше. Он вчера только, может быть, пил здесь шампанское и портер и заказывал арфисткам свои любимые песни. Подосланная девушка особенно любит подходить к тем посетителям, которых видит здесь в первый раз в жизни или в первый раз сегодня, когда они только еще успели взойти; на это у арфисток глаз острый (...)

Вот и теперь обратилась она к двум купцам, совершающим сделку.

— Извините!— говорит тот, который только что дразнил полового какой-то «горчицей с молоком» да «переяславскими сельдями».

Она обращается к другому.

— Нет уж, барышня, мы ведь не молоды, да и не затем пришли, признаться. Вот похолимся чайком да и уйдем.

— Ужо-тко, барышня, наши молодцы вечерком подойдут, ты вот коло них-то пофинти. Этот народ посходнее хозяев. Коли к водочке пожелание имеете, так милости просим — велим подать.

В некоторых трактирах поют даже знаменитости, сошедшие со сцены, но уже растерявшие известность по всевозможным ярмаркам; и голоса с изъянцем, и поют они весьма фальшиво, хотя с большою бойкостью и навыком. Неприхотливый вкус посетителей в других трактирах легко удовлетворяется испорченным органом или даже просто шарманкой, которая шипит им камаринскую или щелкает какую-нибудь «жил-был у бабушки серенький козлик» и т. п. модное по сезону и политическому настроению общественной столичной жизни, но с перевесом и преимущественным влиянием Москвы.

Настает пора обеда. По рядам чаще стали показываться разносчики, но не в таком огромном числе, как в московском или здешнем гостином дворе. Причиною тому, вероятно, также близость трактиров, где ожидают проголодавшегося огромные московские порции кушаньев, из которых одна в состоянии насытить вас, а один обед всегда подается двум посетителям, но и тут, кажется, трудно обойтись без остатков. Если прискучат

жирные трактирные кушанья и хочется отыскать разнообразия и притом тут же на ярмарке, не делая шагу дальше, к услугам оригинальные армянские кухни. Стоит только пройти мимо (...) мастерских на свежем воздухе, в которых перешивается старое платье и шьются личные сапоги, глазам являются два балагана, из которых клубами несется масляный дым. Внутри балагана простые деревянные скамейки, накрытые коврами, перед маленькими столиками, на которых пока еще ничего нет. Это-то и есть армянская кухня. Войдите туда, если хотите, но имейте терпение перенести духоту, которая наполняет балаган, и не обращайте внимания на господствующую там нечистоту, какая только и может попадаться в учреждениях такого рода. Без подобной решительности вы откажете себе в удовольствии есть пилав, кебаб, шашлыки и другие национальные армянские кушанья. Если нечистота эта сильно поражает и непонятно, каким образом можно сидеть тут и есть эти жирные кушанья,—оглянитесь кругом и успокойтесь. С тою же целью пришли сюда все эти господа, не только прилично, но даже роскошно одетые, все эти грузины, персияне, армяне, привезшие в Нижний свой шелк шемаханский, свои платки и материи шелковые — бурсу, канаус, свои ковры и кизлярские вина.

Какой-то аферист, оренбургский татарин, каждогодно пригоняет сюда штук до пяти кобыл, сухих, изможденных, и сверх того привозит несколько бочонков с заранее заквашенным кумысом. Пройдя китайский ряд с его оригинальными киосками и целыми грудами цибиков чаю, вы вступите на мост, с которого открывается с одной стороны сибирская пристань на Волге, а с другой, за широким Мещерским озером, поле и дальнее село за черным лесом. На этом-то поле, на мыску, образованном озером, палатка, около которой привязаны приведенные татарином кобылицы и воза три с бочонками кумыса. Гугнивый татарин раскинет под ноги ковер; вы должны сесть и поджать ноги, иначе рискуете ушибиться головой о козла палатки, которая крайне узка и низка. Татарин продает кумыс в бутылках и штофах; наливает его в деревянные чашки, хвастается тем, что целого штофа не выпьешь,— при этом покажет сначала на голову и покачает ею, а потом на ноги, прибавив:

— Неможно, а садись, а ноги неможно!..

Он, видимо, рад угостить своим добром, уверяя, что кумыс не свежий, а уже достаточно выбродившийся, что напиток этот очень здоров, и при этом расскажет случай, как один барин из Петербурга приезжал к ним пить кумыс эдаким (татарин показал валяющуюся на ковре соломинку), а на зиму уехал вот каким (татарин размахнул руками насколько можно было в его узенькой палатке). Вы потчуете его папиросой, он берет, но не курит.

— Отчего?

— Жена... бранит! — говорит он в ответ, указывая на свою старуху, почти всю укутанную в какую-то темного цвета тряпицу. Татарка в это время доит кобылицу.

Мимо мечети и рядов, наполненных целыми кучами невыделанных кож, где хозяевами сидят исключительно одни татары, можно пройти на сибирскую пристань, с которой во время ярмарки производится отправка пароходов всех четырех обществ, которые и имеют здесь, по этому случаю, свои временные конторы. Но здесь, кроме огромных груд всякого товара, бесчисленного множества возов, то и дело прибывающих и отъезжающих, ничего не встретишь, но зато ясно видится результат ярмарки. Это, кажется, единственное место, где она принимает свой настоящий вид. Тут уже нет тишины, тут уже не видно прогуливающихся, как в гостином дворе, но все это труд. Здесь суетливость не бесполезна, но направлена к известной, прямо положительной цели. Если утомителен этот однообразный вид ломовой работы, вид рогож, веревок, крючьев, поспешите на ярмарку — там, вероятно, уже играет по рядам музыка, направляющаяся к главной цели своей (на целый вечер) под арки Главного Дома. Но пройдите все ряды два, три, несколько раз взад и вперед и здесь не найдете ничего оригинального, резко бросающегося в глаза. Всюду страшное однообразие, к какому привыкает столичный житель и какое дня на три-четыре еще может занять провинциала, незнакомого с разнообразиями суетливой, деятельной жизни. Здесь те же наряды и то же гулянье, те же перерыванья в лавках, одним словом, все то же, как и везде, и Нижний в этом случае не представляет ничего самобытного. Вот проскакал на лихой паре соседний богатый помещик, который привез с собой много денег для покупки и других экстренных расходов. Вот рыщет целая компания нижегородских

чиновников, явившаяся погулять до позднего вечера, чтобы потом в общественном неуклюжем омнибусе выбраться на подъем в городе и разбрестись по всем этим Варваркам, Покровкам, Печоркам... Вот отца семерых детей вытащила его хозяйка, вырядив в праздничную сибирку и заставив расчесать седую бороду. Впереди родителей идут дочки молоденькие, хорошенькие, в пух разряженные; какой-нибудь приказчик или сын знакомого при встрече с ними сгорит со стыда, неуклюже сдвинет шляпу и, страшно кобенясь и поглядывая искоса, раскланяется и зашершит по песку ногами. Вот вырядившийся по последней моде приказчик вышел кстати из своего магазина — людей посмотреть и себя показать.

Магазины по всем главным линиям хорошо обряжены, с теми же огромными зеркальными стеклами, за которыми выставлены всевозможные приманки для гуляющих покупщиков. Вот, наконец, и этот человек, всегда небритый, вечно общипанный, всегда веселый шутник и всеобщее посмешище, без которого едва ли в состоянии обойтись хоть один в свете гостиный двор; для него шутник едва ли не столько же необходим, как и разносчик с лотком, наполненным всякою снедью. Человек этот или, лучше, жизнь его достойна подробного описания, потому что это один из тех людей, которые в молодости подают кое-какие надежды, но к старости, в зрелые лета, делаются ни к чему не годными и достойно заслуживают осмеяния и шуток порядочного человека. Эти люди в частностях не похожи друг на друга, но в общем поражают вас изумительным сходством. Главная цель их — добыть, вымолить у вас возможными шутками небольшое количество денег, достаточных для того, чтобы к вечеру быть пьяным. Это какой-нибудь прощелыга, забубенный забулдыга, по выражению простого народа,— кабацкий завсегдатель, попрошайка, вот как бы, например, и этот человек, которого вы каждый год встретите на Нижегородской ярмарке. Без него даже сомнительною кажется полнота ярмарочных удовольствий для торгующего класса. Приехал он за весьма сходную цену. Переночевав где-нибудь в канаве, он на другой же день спешит отправиться для обревизования ярмарочных трактиров и находит их решительно набитыми посетителями. Забулдыга самодовольно улыбнулся, отошел в сторону, вытащил из кармана берестяную,

ветлужского производства тавлинку * и угостил себя до слез костромским зеленчаком, потом оправился и подошел к первому столу.

— Бедному прохожему!— говорит он, протягивая руку.

Его не слушают, а если и слышат, то не дают ничего. Он направляется к другому столу и уже успевает обдумать новую фразу для просьбы. Лицо его искривляется улыбкой; он кладет голову на плечо, делает возможно смешную гримасу, руки прячет назад и разбитым голосом говорит гостям, которые пьют водку:

— Попросил бы я у ваших степенств рюмку водки, да ведь, поди, не дадите.

Шутка попала прямо в цель с полным успехом — шут крякнул, выпив рюмку, и начинает опять:

— Вот теперь — так хоть на спор готов идти с кем угодно, что не дадите другую!..

И эта шутка удается ему как нельзя лучше: с ним начинают шутить, над ним смеются; он входит в свою роль и, будьте покойны, не останется в накладе, то есть получает третью, иногда четвертую рюмку, после чего ему уже сердито и грозно приказывают отойти прочь. Он громко стучит ногами, повертывается на каблуках, руками шибко ударяет по боку и марширует с выкриком «раз — два, сено — солома» к соседнему столу, перед которым вытягивается в струнку и выкрикивает громовым голосом:

— Здравия желаем, господа купцы именитые, благотворительные! Жертвуйте старому кавалеру пятиалтынный на подметки!..

По окончании такой речи он спешит даже показать свои измызганные сапожищи и, получив просимое, делает опять налево кругом и таким образом обходит все столы, перед каждым придумывая новые шутки. К вечеру он уже, что называется, готов и валяется где-нибудь за рядами до нового утра, с которого опять начинается его побирайство.

В середине ярмарки человек этот бог весть откуда успеет набрать целый оркестр музыкантов, состоящий из двух татарчонков со скрипками, разбитыми и ни к чему не годными. Но забулдыга об этом нисколько не заботится. Он сам берет лукошко, обтягивает его кожей наподобие барабана, барабан этот ставит под ноги, в руки берет гармонику, садится на стул, татарчонкам

велит играть что им придет в голову, сам же гудит разладицу. Татарчонки пляшут, он вздергивает плечами и свищет; нескладная музыка гудит, пищит, щелкает. Оркестр готов. Сам капельмейстер играет разом на трех инструментах, товарищи его играют и вместе с тем пляшут — чего же лучше? Цель достигнута, все смеются его выдумке до тех пор, пока она достаточно не наскучит, и бросают в шляпу подставного мальчишки-попрошайки трехкопеечники, пятачки, гривенники, а в счастливый час и полтинник. Мальчишки дня на два сыты, сам капельмейстер пьян, и все, стало быть, остались при своем и не в убытке.

Между тем незаметно настает вечер; густой мрак опустился на всю ярмарку и ее окрестности; ярче других мест освещены площадки перед Главным Домом, где толпятся неопределенные тени, с одной стороны для найма извозчиков в город, с другой — с таинственною целью. По бульвару шмыгают взад и вперед другие тени; некоторые сидят на скамейках — сколько позволяет различить это тусклый свет фонарей, слабо мерцающих у гостиного двора, который весь уже заперт, кроме пяти-шести чередовых магазинов. Хозяева их забрались наверх своих номеров, где в маленьких комнатах пьют в десятый раз чай и ужинают вместе с главными приказчиками. Хозяева скоро лягут спать, приказчики... но не трудно сказать, как они проводят время отдыха в ту пору, когда хозяева их спят непробудным сном: приказчики закатываются в Кунавино, в места подешевле, чтобы не столкнуться с «самими».

Вот уже в редких окнах над лавками мерцают огоньки, бросающие свой слабый свет на бульвар и мостовые. Под арками Главного Дома еще гремит некоторое время музыка и толкается огромная масса гуляющих. Музыка к десяти часам кончится. Персияне и армяне к одиннадцати спешат напиться чаю и, закусив всухомятку, запереть свои магазины, чтоб тут же улечься спать до другого утра, когда нужно вставать рано. Толпы гуляющих после ухода музыкантов делаются все реже и реже, под арками становится тише, огонь гасится. Сквозь отворенную дверь к Оке несется прохлада, слышен стук сторожей в доски, дальний лай собак из города и последний звук рожка отъезжающего омнибуса.

КОЛДУН

Колдуны — не всегда ловкие плуты, обманывающие темный и суеверный народ при помощи своей сметки, которая дальше других видит и выше стоит, но также *знахари,* как остаток древних волхвов и кудесников, вызванные народною потребностию в качестве врачей и значении целителей от действия всякой вражьей силы. Не всякая болезнь, по народным понятиям, зависит от себя самого, но большая часть из них, почти все болезни происходят от злого духа; болезни его шалости, *самого* рук дело. Какие-нибудь *поносы* (понос, кашель, насморк) от поветрия, от простуд (да и то под большим сомнением), а стрелы, притчи, ветряной нос, даже нарывы, чирьи, другое многое — непременно от злого духа и злых людей: по наговору или с глаза, по ветру или по следу. Эти-то причины и должен разбирать достойный человек — знахарь. Настоящий колдун, колдун в собственном смысле, такие болезни умеет насылать, но он же знает и *замок* отпирать. Отпирают замок и простые знающие люди. Оттого-то ни одна болезнь и не лечится без наговоров, и ни один наговор без *замка* не бывает. Оттого-то нет более или менее живых околотков, где бы ни ходил слух о каком-нибудь колдуне, которые не всегда старики, но сплошь и рядом молодые люди и люди средних лет. В Великороссии только колдуны поубавились; колдунов еще очень много.

Чем глуше место, темнее народ, чем погуще леса и подальше большие города и торговые центры, тем вернее встреча с колдуном. В настоящей глуши они, впрочем, и сами не затрудняются объявлять себя и хвастаться (в чем, однако, ради барышей и корыстей, их существенный и главный интерес личный). Взглянет в лицо да и скажет: «Счастья у тебя нет, а коли злых дней не запомнишь, значит, чужим счастьем живешь», а разговорится, то и начнет хвастать: «Мужа с женой поссорить грех, для того что союз-от богом благословенный, а поссорить парня с подругой не грех, то я и могу сделать, а как — про то не сказывается». Вот таким-то доточникам и на свадьбах первое место впереди, чтобы прочищать дорогу к венцу, таким и на пиру первое место, первая чарка и особый почет. Это — одиночки.

Колдуны водятся, по архангельским слухам, в Кореле (между корелами), по уральским заводским известиям, колдуны целыми деревнями живут в отдаленных и глухих местах Чердынского уезда (Пермской губернии), оттого и существует поверие и присловье, что чердаки-колдуны, чертовы знахари, там на Ивана Лествичника (30 марта), когда домовой бесится, и они, один раз только в году, замирают. Но там же, на Урале, те самые невинные коновалы, у которых и инструменты все на виду, коновалы, которые толпами выходят на восток (в Сибирь) из Кологривского уезда (Костромской губернии), делаются на время колдунами и слывут таковыми вовсе не по заслугам и без всякого права.

Не про этих промышленников, но про двух из настоящих и присяжных колдунов рассказ наш, основанный на недавней были, к сожалению, окончившейся так неожиданно. Придумали на колдуна лекарство, но не из той аптеки взяли, вопреки указаниям и советам здравого смысла, а где слепой слепого водит.

* * *

Черным, полусгнившим и надломившимся в середине домишком глядит кабак Заверняйко в глаза всякому проезжему по тому дальнему и глухому проселку, где поставила кабак этот насущная потребность окрестного люда и личный произвол туземного откупа. Судьба поставила его, по обыкновению, на тычке — бойком месте, и хотя кругом пошли пустыри да лес, да поля и ближайшие селения далеко ушли в сторону, тем не менее сюда забежит и соседний мужик праздничным делом пропить накопившуюся за неделю бешеную копейку, и извозчик, везущий ближним путем купеческий товар, и ямщик туземной власти, осчастливленный милостивым снисхождением своего седока, выбежит оттуда, обтираясь рукавом, покрякивая и похлопывая себя рукавицами по бедрам, как и всегда.

В кабаке Заверняйко народная сходка. Бестолковый крик, покоры и перебранка мешаются с песнями, бойко и голосисто затянутыми, не вовремя и глухо кончаемыми. Громкий гул этот, вырываясь в отворенную дверь и открытые окна, возбуждает со стороны проходящих некоторые замечания:

— Путиловские землю разделили, мироедов поят...



— Больно уж распоясались-то. Ну, да ведь и то, парень, молвить — удельные *.

— Пущай гуляют: ихнее дело дворянское, как есть господа, а мироеды-то наши, народ теплый, на повадке... к бражничанью-то!

— Да уж это святое твое слово, чай, ведь и Еремка тута!

— Где ему, ледащему, не свои полати: на всех перепутьях первая кочка, завсегда!..

— Зайдем, паря, взглянем!..

— И то дело! Может, еще и попоштуют! Чай, уж все в загуле!

— С утра еще забрались, как, чай, не в загуле. Пойдем, взглянем...

Перед глазами входивших — старые, давно знакомые виды, с которыми не расстаться русскому человеку вовек ни в одном из питейных: прямо полки со стеклянной четвероугольной посудой различных величин и цветов и по ним печатные надписания. Стойка потертая, просаленная, напротив,— мрачный и грубый целовальник в сторонке, недалеко от него парнишка-подносчик — пропащий навек человек; дверь сбоку, ведущая в квартиру целовальника, кругом лавки, на этот раз пропасть народу пьяного и потому говорливого. Все в шапках, картузах или шляпах, все до единого заняты разговором. Только двое вошедших составляли исключение, и то ненадолго: они были замечены тотчас же, как показал голос, вылетевший из середины толпившегося подле стойки народа:

— Первачки пришли, пропустите! Эй, ребята, полезай вперед, вы... соснинские!

— Пошто вперед? Нам и здесь ладно!

— Подходи, ребята, к стойке, пей за путиловских. Путиловские целую полку откупили, станет на вас!

— Нету, не надо, пошто? Мы ведь так зашли по себе, не надо, не просите!

— Пей, знай — не ваше дело, после сочтемся.

— Нет, да нельзя ли уволить, пошто пить? Не надо!

— Помни, знай, да берись за свое, не то и без вас выпьем!

— Не просите лучше, не надо, благодарим покорно!

— Сказывай спасибо, когда выпьешь, а теперь, знай, пей за путиловских, дело-то мы их порешили. Любовное дело вышло, знай, пей, не заставляй кланяться.

— Не так ли лучше, полно? Мы... по себе зашли. Ну, да, знать, ладно, быть по-вашему, давай за путиловских выпьем.

И опять все смешалось и перепуталось в общем гуле и сумятице, только целовальнику, может быть, не всегда, впрочем, любознательному да, наверное, двум соснинским мужикам могли броситься в глаза несколько мужиков, составляющих цель предпочтительного, общего потчеванья. Между ними один был веселее и бойчее других. Он то поиграет на балалайке, то врежет бойкое замечание в толпу мужиков и поворотит весь разговор в другую, желаемую им сторону, то подойдет к стойке и потребует новую свежую посудину на потребление, то взвоет песню, то опять идет к стойке. Глядит решительным хозяином-распорядителем настоящей попойки. Соснинские мужики подошли к нему и заговорили:

— Что, брат Еремушка, как?

— Что как?

— Ты... тово, здеся?

— А то нет, что ли, не видишь?

— Что, дело-то порешил, значит?

— Какое дело?

— А путиловское-то?

— Ну?

— То-то порешил, мол?

— А вам-то что?

— А ничего, Еремушка, как есть ничего...

— Видели вы, братцы, воров-то соснинских?— кричал Еремушка уже вслух всей компании, вытащивши пришедших мужиков в середину.— Вот божье рождение, все как следно, с руками и с ногами, и голова есть, а не то, потому, значит, господский народ. Спроси ты его по суду, например,— не ответит, не сумеет, потому подневольный, выходит, человек, речи своей он не имеет.

Еремушка кончил, толпа молчала. Соснинские мужики стояли, понурив головы, словно громом пришибленные, а может быть, и потребленная на чужой счет водка отняла у них право говорить свое. Может даже быть, что они не смекнули сразу, к чему повел речь затронутый ими знакомец. Еремушка явился перед ними с водкой и продолжал свое:

— Вот они теперича выпить должны, потому водка речь дает, а опять-таки у них мирского суда нету — подневольный народ. Дай ты ему, выходит, землю: на,

мол, твоя она, он и возьмет, хоть по всей-то по ей камни прошли, возьмет и камни зубами повытаскает, потому самому, что господскому человеку не велят рассуждение иметь. Сказали — и делай! Так ли я говорю, святые человеки? Не вру ведь...

— Да ты пошто это про нас-то, Еремей Калистратыч, теперича-то? Наше дело известно, в барской воле состоим, ему повинны, все от него — и суд от него...

— Не на мое ли же опять вышло, так ли я начал-то? Так, стало быть, и будет! А вы пошто у барина-то управляющего нового не просили?

— Большаки отказали: старики не пошли.

— А пошто стариков слушали? Пошто не пошли сами? Сказывал ведь я вам, как надо-то? Так вишь: сами, мол, с усами, а дураки, дураки несусветные.

— На совете твоем спасибо, потому тебе и угощение тогда предоставили, а сталось вот так, что не пошли...

— Вот и выходит опять, стало быть, по-моему: подневольный вы народ, речи у вас своей нету, воли нету... пропащий вы народ — вот что.

— Да ты пошто это говорить-то зачал? В другую бы пору когда... а то, вишь, народ всякой...

— Народ этот — свой. Народ этот такой теперича, что вот три года землей-то не помирили промеж себя, а пришли ко мне: приставь, слышь, голову к плечам, научи! И давно бы так. А мне что? Я таков человек уж от рождения, что для свово брата православного жену куплю да на кобылу выменяю, только что вот светлых-то пуговиц не ношу *,— сделал дело, как следно. Вот потому и пьем, целой кабак для меня откупить рады!..

Без меня бы, слышь, ребята, ни Матвей, ни дядя Евлампий, ни Тит, ни Гришутка ничего бы не поделали, а со мной и каша уварилась!— говорил он уже шепотом на ухо разгулявшимся мужикам.— Вот теперича мы песни станем петь, а утре я опять к вам зайду — и опять потолкуем!..

В ответ на это соснинские мужики тяжело вздохнули и, махнув руками, отошли в сторонку. Еремушка уже расстилался вприсядку и весело взвизгивал, как человек, у которого в эту минуту не было никакой заботы, кроме насущного потребления водки. Соснинские мужики вполголоса перемолвились:

— Не дело он, парень, затеял, не так бы ему, парень, говорить-то надо!

— При чужих-то, вестимо, не ладно!

— Не ровен черт управляющему-то молвит, опять загнет...

— Загнет, паря, беспременно загнет.

— Не надо бы эдак-то, вслух-от!..

— Вот то-то не надо бы, больно не надо бы!

— Сам зачинщик — сам и ответчик, пущай так и станется.

— Эх, паря, не заходить бы нам сюда-то!..

— То-то не надо бы — по себе бы лучше!

— Уж это известное дело!

— Ну да ладно, нишкни дока. Смотри вон, Еремушка-то пляску задал, каково, нали * смехота берет! Вот как!.. Что в ступу!.. Колесом пошел, на все парень руки! Огонь!

Кабацкая толпа представляла в эту минуту решительный хаос: крепко трезвый человек не нашел бы тут ничего общего и толкового; все перемещалось и перепуталось, как и бывает это всегда на всякой пирушке, где православный люд живет прямо по себе, своим доморощенным толком и на своей редкой, но дорогой воле. Только одни кабаки видят эти бесконечно веселые картины, всегда, впрочем, поучительные и глубоко знаменательные.

Наступили сумерки; внутренность Заверняйко, по обыкновению, мрачная и грязная, сделалась еще мрачнее, но зато стала представлять более оживленную картину. Весело было всему собравшемуся здесь люду под задорную песню гуляки, подхватившего ухо и встряхивавшего хохлатой головой, и другого, выбивающего всей пятерней веселые трели на балалайке. Вся ватага представляла на этот раз одну дружную, согласную артель, из среды которой выделялись только две фигуры, по-видимому, не принимавшие живого участия в общей попойке, где всякий встречный — по обыкновению русского человека — гость и побратим, святая душа. Этим двум как-то и дела нет до того, что творится вокруг, и как будто дивились они и непонятным казалось им, отчего и из чего бесятся и пляшут в задорном загуле все остальные посетители веселого Заверняйко. Собираются ли они здесь на ночевку или выжидают конца общей свалки — решить пока трудно, тем более что гульба принимает еще более оживленный и шумный вид. Слышались поощрения, подзадориванья, ободрительный крик и хохот.

— Ну-ка, Иванушка, прорежь еще задорненького-то, да знаешь, эту-то... разухабистую.

— С ломом-то, что ли, которая?

— Айда!

Рябой, худощавый парень распоясывался, откашливался, прорезал стаканчик задорненького, становился фертом, бил дробь ногами, с гиком приседал, выкидывая из-под себя то правую, то левую ногу далеко вверх; бешено вскрикивал, выгибая плечи, и летел в таком виде от двери к стойке и от стойки обратно к двери. Общее внимание исключительно было устремлено на него.

По окончании пляски снова выковыривалась пробка крючком целовальника, снова наполнялись и опорожнялись стаканчики, снова гудела песня, снова визжал и трещал пол от задорной пляски и снова оглушительный крик и хохот еще сильнее, еще чаще выносился из дверей кабака Заверняйко в лес и на опустелый, глухой проселок. Но по-прежнему молча сидели оба мрачных гостя, словно выделенные, словно попавшие не на свое место: черный, словно цыган, старший мужик и худощавый, но с плутовскими глазами, приспешник его — парень-подросток. Старший покойно и незлобиво созерцал все, что происходило перед его глазами, младший показывал больше нетерпения и озабоченности. Наконец, не выдержал после того, как много перепелось песен, много выпилось вина другими гостями:

— Дядя Кузьма, дядя Кузьма! Не пора ли?

— Чего пора?

— К ночи, вишь, пошло, негоже!

— Что больно?

— Пора, дядя Кузьма, ей-богу!

— Помани маленько, дай уходиться: ишь, гульба какая ходит. Разговоры еще у нас будут, не про всех!.. Чего тебе?

— Боязно больно!

— Чего такого? Черт ты, право, черт, вот и все!

— Знобит, дядя Кузьма! К ночи, вишь...

— Ну да ладно — поставь поди, и мы шорканем поихнему. Ставь ступай косушку на первую пору!

Парень, видимо, рад был разрешению, и он, и черная борода дяди Кузьмы виднелись уже у стойки. Последний между тем разговаривал с целовальником.

— Что больно сердит ноне, Кузя? — спрашивал целовальник.

— Всегда ведь такой, как от матери вышел,— сухо и отрывисто отвечал тот.

— Чей это молодяк-от с тобой?

— Дальной.

— А чей такой?

— Не здешной.

— Сердит ты, Кузя, право слово, сердит, не видал тебя эким, а и давно мы дружбу ведем.

— Всегда такой, всегда такой — и вчера, и завтра,— так же неприветливо и неохотно отвечал дядя Кузя, но целовальник стоял на своем:

— Не учить ли парня-то думаешь, али просто погадать он к тебе пришел?

Но дядя Кузьма был уже опять на старом месте и опять молча созерцал играющую перед ним картину до той поры, пока целовальник не положил ей конец повелительным криком:

— Будет благовать-то, ребята, надо и честь знать, запираюсь, спать ложусь.

— Дай, последнюю споем!

— Будет, наслушался! Допевай на поле — там привольнее.

— Давай еще выпьем на тебя!

— Нету вина у меня: час не показаной!

— Экой ты какой лешой — ходить к тебе не станем.

— Не пугай — придешь.

— Идем, братцы, наплюем ему, рыжему черту, в бороду. Забирай ребят-то, кто из вас пободрее!

Вскоре вся ватага вывалила вон. Дядя Кузьма и его приспешник видимо ожили: первый стоял уже у стойки и, засучивая рукава и покрякивая, говорил целовальнику:

— Вот теперь и мы с тобой поведем разговоры, давай-ка покрепнее-то которой, да вспень его, мошенника, пусти искру.

Явился штоф и три стакана. Выпили. Целовальник начал первым:

— Смекнул ведь я даве-то: чужой, мол, народ есть, оттого, мол, и дядя Кузя сердитой такой.

— Ну как тебе не смекнуть? Плут ведь ты, недаром рыжой-от со сковороды соскочил.

— Что, мол, парня-то на выучку, что ли, взял?— спрашивал целовальник вкрадчивым, льстиво-добродушным голосом.

— Тебе, дядя Калистрат, что бабе: все сказывай, до всего охоч. Задорен больно!

— Уж и ты лихой черт, что глухая старуха — все про себя да на себя.

— Гадает! — отрывисто ответил дядя Кузьма и указал бородой на приспешника.

— Аль зазнобило? — спрашивал Калистрат.

Парень молчал.

— Его знобит только с холоду, а от этого, чтобы от девок там... не бывает, не такой! — ответил за парня дядя Кузьма.

Сам молодец только ухмыльнулся и почесал затылок.

— Что это не видать тебя, Кузя, с неделю никак не бывал у меня? — спрашивал целовальник.

— Наше дело известное: все со своим ремеслом. В Митюхино — поля звали опахивать — ходил.

— А что у них неладного-то?

— Скотина, вишь, падала; пришли да и взмолились. Поучи, говорят, нету-де таких-то, чтобы указали, как надо. Три рубля на серебро выговорил — показал на девок. И уж девки же там, паря, что репа! Вырезали, слышь, этой бороной полосы вершка на два вглубь, что лошади! Ядрень-девки такие, что не привидывал.

— Ну да тебе, цыгану-то, и на руку.

Слушатели засмеялись, и даже на сухом каменнном лице самого дяди Кузьмы прыгнула улыбка, выказавшаяся легонькой дрожью губ и левого глаза.

— Будет, Калистрат, ты нас не держи, нам пора!

— Постой: поговори, посмеши!

— Вдругорядь приду, а теперь не до смеху, нечего и распоясываться по-пустому. Спозаранку ничего не ел, да, знать, и до утра так-то. Ты нам водки с собой отпусти, утре занесем посудину-то, да ведерко дай, да кочергу...

— Ну, Кузя, что ни говори, а парня учить ведешь.

— Не будь ты Калистрат, сказал бы я тебе такое слово, чтобы ты у меня до утра не прочихался. До завтра небось не хватило б тебя подождать-то. Экой народ! Давай кочергу-то, да золы, да соли!

— Не сердись, будет по-твоему.

— Сказано: смалкивай, невестка, — сарафан куплю; ну и цыц, пострел, коли кашу съел. Идем, Матюха, Калистрат не переслушает всего-то, на него хоть наморд-

ник накидывай: по неделям, разиня рот, охочий слушать...

С тем и вышли.

Черная осенняя ночь, не возмущенная ни одним порывом ветра, ни одним людским криком или говором, была уже на дворе. Еще чернее ее стоял вдали лес без просвету, без звука, словно творилась в нем великая тайна и выжидалось оттуда страшное чудо.

Смело шел по его направлению дядя Кузьма, робко плелся за ним его приспешник-парень. Прошли поляну, прошли перелесок, не проронив ни единого слова. Вступили в лес; дядя Кузьма начал первый таким сиплым голосом, как будто не выходил он из кабака несколько суток и не спал он эти сутки в бешеном загуле:

— Помнишь ли зачуранья, как я тебе даве сказывал?

— Помню, дядюшка!— отвечал Матюха таким робким голосом, как будто смолоду били его и забили в нем всякое смелое, самобытное слово.

— Сказывай!— резко выговорил дядя Кузьма.

Парень молчал.

— Сказывай про китов, на которых земля держится, сказывай поскорее: скоро, гляди, кочетье взопят.

— Это не страшно: отпустил душу — скажу. На тех китах земля стоит,— начал Матюха более смелым, хотя еще и дрожащим голосом.— Один кит потронется — земля всколыхнется, а все-то вместе — в тартарары пойдем; один помрет — все туда же пойдем.

— Что китов держит?

— Огненная река.

— Что реку держит?

— Дуб железный.

— Куда солнце на ночь уходит?

— В златотканые чертоги на востоке; там стоит Буян-остров, и живет в нем змия Македоница, всем змиям старшая, на зеленой осоке сидит птица, всем птицам старшая, и ворон, всем воронам старший брат, и стоят там реки-кладези студеные...

— Сказывай дальше про Афонскую гору!..

— На горе Афонской дуб стоит ни наг, ни одет, а под дубом тем живут семь старцев, семь ставцов, ни скованных, ни связанных. И приходит один старец и приносит семь муриев * черных и велит их взять и колоть. И клюет тех муриев птица Гагана. И лежит там

бел-горюч камень Алатырь, и излизывают тот камень лютые змии весь и ядовиты летом и через всю зиму оттого сыты бывают.

— Ладно, побратиме! Обернись назад, снимай крест да и клади под пяту в лапоть и — не оборачивайся.

— Теперь, Кузьма Семеныч, что хошь сделаю все по твоему по велению — мне-ко што: не ругались бы над тобой опосля, а то все сделаю,— говорил Матюха задыхающимся голосом и как будто сквозь слезы.

— Лишнего говорить не надо. Становись и сказывай: «Отдаю себя в руки дьяволам»,— перебил его дядя Кузьма.

Матюха сделал все, как указал ему тот: выворотил рубаху наизнанку, левый лапоть надел на правую ногу и обратно, два раза перевернулся через голову, опять сказал после всего старое заклятие и обернулся лицом на запад, по приказанию и при словах учителя:

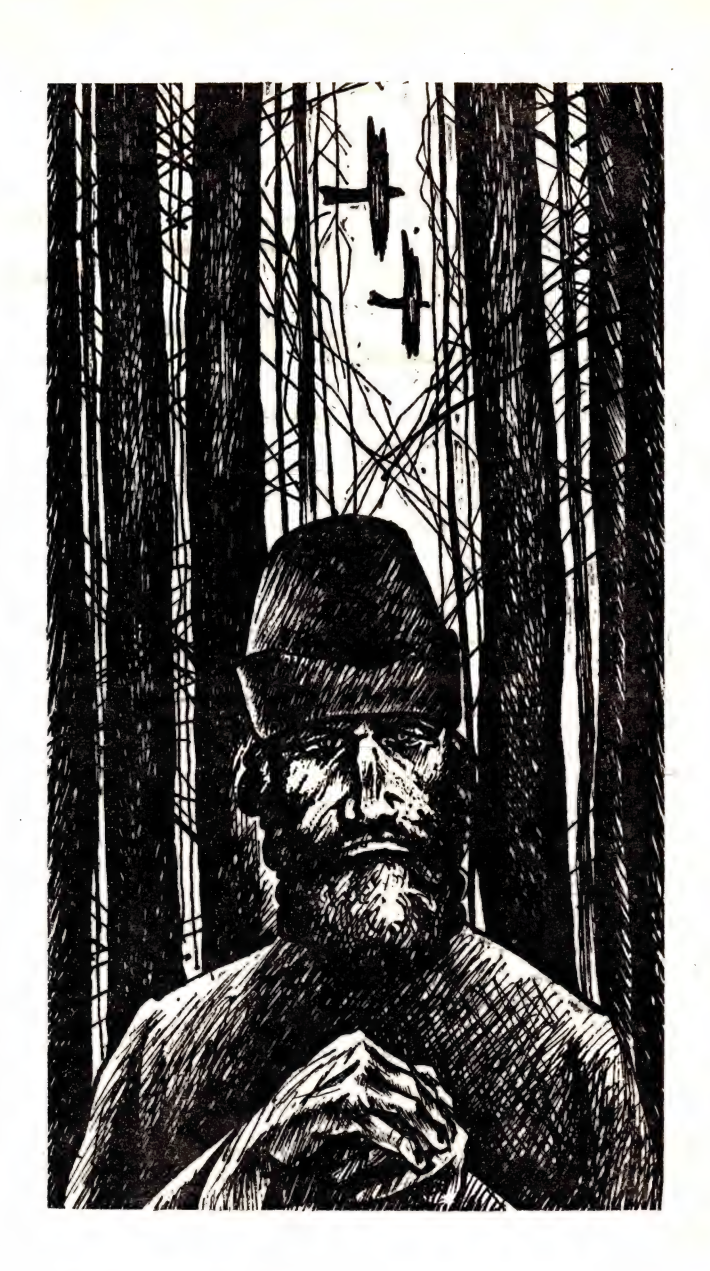
— Пройдет день на вечер, вынь ты тот крест на ветер, на стену повесь, и придут к тебе дьяволы. Для того ты спать ложись, не молясь, не крестясь. Придут — не придут; сказывай им, что я учил; примут и учить тебя станут по-всякому. А вот тебе соль и кусочек; соль наговорена, кусочек — страшное дело: потеряешь — дня не проживешь.

Видит Матюха, что соль как соль, и кусочек поменьше горошины, и кусочек этот не то сосновая сера, не то воск или вар, липкий такой.

— Зачем соль-то, дядюшка? Пущай вар, терять его, значит, не надо.

— На соль шептать надо то, что хочешь супротивнику твоему сделать: сохни, мол, тот человек, как эта соль сохнуть станет; отступите, мол, дьяволы, от меня и приступите к тому человеку, а мне-ко, мол, благо. И ступай на дорогу или в избу ступай, где тому человеку идти надо будет, и зарой ту соль, и не вдолге опять сходи, и вырой и скажи: «Подите, дьявольщина, прочь от меня». И крест надень. А супротивнику твоему будет скорбь и сухота. И вот тебе слово мое крепко. Чурайся, как учил с утра; говори за мной!

— Стать мне на месте, быть ведуном, знали бы меня люди и боялися — добрые и злые, неведомые и знакомые, и всякая душа человечья, и зверья, и птичья. И будь то чистое место, на котором стою, нечисто, и будь тот ветер, на который дышу, поганым. Слово мое



крепко, запечатано, заказано, замок, замок!.. Аминь, аминь, аминь!..

— Ложись и не вставай, пока не взоплю!

Матюха лег навзничь и долго лежал, пока дядя Кузьма говорил над ним много всякого вздору, какой только лез в его голову, и руками махал, и кричал совой, и глухо лаял собакой, мяукал кошкой, как и всякий другой искусник, которых так много ходит по белому свету на смех и забаву доброго православного люда. Другой раз тот же бы Матюха поджал живот от смеха, махал бы руками и надрывался бы до слез и кашля; теперь он лежал на земле, не шелохнувшись, и когда поднялся по приказанию хозяина, по щекам его текли обильные слезы. Учитель понял их по-своему.

— Плачь, Матюха, пока слезы текут; тут не токмо человек, и кремень возрыдает. Знай же раз навсегда, что теперь ты колдун стал и будет тебе все по желанию по твоему. С тем и пойдем опять к Калистрату.

Сосредоточенно, молчаливо шли они перелеском, полем, проселком и выгоном; молча вошли и в кабак, где дядя Калистрат только что проснулся и, опершись руками на стойку, по временам зевал с выкриками и глубокими вздохами, вперив свой масляный взор в потрескавшуюся невыбеленную огромную кабацкую печь. Дядя Кузьма подвел к нему Матюху с самодовольным и смелым видом, промолвив:

— А вот тебе, дядя Калистрат, и новоставленный! Давай ты нам теперь водки побольше, да не казенной. А там, знай, указывай всякому и на него, как и на меня. Знает-де, мол, и трясцу напускать, и домовых окуривать, и с лешими знается от мала до велика, что с братьями, и от дьявольских напущений способит. А смекнул ты вечор, да признанья спрашивал, больше матери знать хотел. Это не след, чтобы нашему брату все о себе сказывать, на то и голова у нас в кости скована.

«Откуда Кузя парня достал?—думал Калистрат-целовальник, проводивши гостей и оставшись один на один с собою.—Знаю я всякого народу много, затем и на тычке живу: ходят в мое жилье и господа проезжие, а из соседних баб все на примете, не токмо мужики. А нет, такого молодца не видал и не знаю. Надо быть, и впрямь из дальних»,—решил целовальник и на том крепко задумался.

Раз запавшая с этой минуты мысль, не находя прямого исхода, не давала ему потом покоя. Много рассказывалось с той поры в Заверняйко разных историй, веселых и плачевных, проезжими мужиками, всегда откровенно-простосердечными и добродушными, а тем более еще под пьяную руку; но любопытный, приучивший себя прислушиваться к чужим толкам проезжего люда, целовальник не мог поймать даже намека на интересовавшую его тайну. Всегда нетерпеливый и в этом отношении даже беспокоящийся, Калистрат пробовал и сам задирать кое-кого из более толковых соседей кабака Заверняйко.

— Не знаете ли вы, ребята, парня такого, с Кузей хаживал, хохлатенький, что сам Кузя? Не то чтобы он рыжий, а эдак сивенькой и косой такой, что заяц; говорить не охочий и на вино такой крепкий, что тебе соцкий * любой, али бо и сам становой.

— Это какой же такой, ребята?— спрашивали обыкновенно мужики и друг друга и самого Калистрата.— Да у тебя-то часто бывает?

— Раз видел и наказ получил, чтоб сказывать, что и он такой же колдун.

— Ну а звать-то как?

— Матюха, никак.

— Матюха, вишь... да, может, кузнец!

— Ишь тоже, того-то знаем доподлинно, еще солью закусывает и в кармане ее на тот конец носит.

— Ну так дьячок.

— Про дьячков и не сказывай: весь причет знаю, заходят и они посидеть.

— Других не приберем.

— У извозчиков поспрошай, те доточней; нищую братию опять — те только, кажись, пегого черта не знают, а черного видывали.

Попробовал Калистрат спросить у нищей братии — нашлась такая дряблая старушонка, тихая, как агнец, на паперти церковной, бойкая щебетунья в кабаке придорожном, межидворница-сплетница во всяком селении, куда вводят ее страсть к бродяжничеству и попрошайству и сердоболье ко всякой бабе деревенской, плаксивой и вечно недовольной своим настоящим.

Калистрат только заикнулся: «Не знаешь, ли, мол, того-то и такого-то, с тем-то, мол, ходит»,— нищенка и досказать не дала:

6 Заказ 471

— Мне чего не знать, Калистратушка, так обидно нали просто, выходит, в землю ложись и гробовой доской накрывайся. Матюхой звать, Иванов сын, в Питер ходил — не поладил, назад пришел, полюбовница за солдатами в поход ушла, косой...

— Да ты постой, постой, сказывай по порядку,— перебил защебетавшую побируху целовальник.

— На ухо тебе молвить, да не при всех, Калистратушко, не ладное дело с ним сталось: душеньку-то свою он в недоброе место продал,— шептала побируха.

— Знаю; сказывай по порядку.

— Косушечку от себя поставишь — всю подноготную поведаю, без утайки.

— Не стоим о том, а потому — нам знать любопытно.

Побируха подхватилась локотком, целовальник оперся локтями на стойку, и начался рассказ:

— Паренька-то этого я еще оттого помню, как с покойничком сынишечком со своим, с Михайлушком, миром побиралась, за христовым то есть подаяньицем ходила. Завсегда был сбойлив *, завсегда шустрый такой, что опосля того и не привидывала. Не пропустит это он ни единой старушечки, ни единой христовой сестры, чтобы не наскочил он на тебя. И либо тебе шлык * сшибет, либо котомочку-дароносицу оборвет, али бо костыль вырвет да и учнет на нем, что на лошадке, ездить. Бегаешь за ним, бегаешь, лаешь его, лаешь; уморишься ину пору до ручья кровавого. Пойдешь к батьке, нажалуешься, натреплет он его, нащиплет так, слышь, зайдется даже, в пене по полу валяется. «Я не бил,— говорит,— не вырывал костыля, не наскакивал,— говорит,— не дрался». Померли у него старики — зашибать стал, крепко зашибал: на базарах на этих, в обедни пьян, а и в свалках то и дело он первый задирает, опять же о святках девушкам проходу не дает — где он, там знай, слышь: поседка до первых петухов разойдется от его от окаянного от озорства. На становых писарей нападать стал, чего бы тебе, кажись? Постегали крепко-накрепко, и тут уйму не дался.

— Головорез, выходит! Бил, стало быть, на то, что прямо бы головой-то хохлатой своей да в петлю,— заметил от себя целовальник.

— Да уж это вестимо дело! В рекрута, Калистра-

тушко, возили — вернулся ведь! Сказывали, и кос, мол, и левое-де плечо выше правого. Ни под какую стать и не подошел. Вот он каков угорелый человек есть!.. И жила у них тут в деревне девонька такая, Лукешкой звать, потаскуха. Из себя она такая бы видная и не рябая, да худую по себе славу по миру пустила. Становой ли, слышь, наедет, да хоть и в другой деревне встанет, соцкой под вечер у ней под окном завсегда падогом стучит. Одно тебе это слово; опять же другое: ни один человек ее в избу к себе не пускал — за своих за девок опасались, значит. И у Лукешки у этой по праздникам бы, что ли, а то и в будни не в редкую гульбу такую ребята наши пускают, что дым коромыслом идет. И стегали ее, и в волостное * звали, срамили всяким делом — все прошло с нее прахом, что с гуся вода. Все в глум взяла; пошла еще пуще того, что саврас без узды. Старики взялись за свое: стали ребятам наказывать, чтоб взяли бы ее да и бросили. Рекрутством пристращали. Так только и угодили тем: перестали ходить к Лукешке, и вою из ее избы не слыхать стало. И она стала что своя не своя, уходилась. И на то пошло: выйдет ли за ворота — ребята стали глум на нее напущать, позорили, ворота дегтем мазали. Выходить перестала. Идешь, бывало, за своим за мирским подаяньем — сидит себе под оконцем да песенки про себя поет-потешается, и ни тебе у ней прялка в руках, мотовильце бы какое: сидит себе барынькой коптеевской и знать не знает. Худеть, глядим, начала: со скуки, мол, плакать стала, у оконца-то глядючи на бел на свет. Со кручины, мол. А сама хоть бы те ногой к кому за советом, со тоской со своей. Все одна. Стали замечать, что Матюха, этот озорной, допрежь надругался над ней, а тут ни с чего сблаговал: стал под окошко к ней ходить, разговорами ублажал, а там поглядят: не думаючи, не гадаючи, и в избу к ней залез, да с той поры почесь и не выходит, и долго бы и по времени-то. А поваженой, вестимо, уж, мол, что наряженой: отбою не бывает.

Обворожила это его девка, обложила это его красотами своими, что ни входу, ни выходу ни ему, ни другому кому. Стали по деревне слухи такие ходить опосля, что, мол, они уж и согласие друг другу сказали, на женитьбу то ись, и на улице показывалися рука об руку. У Матюшки и блажь эта озорная прошла, думчивой такой стал, смирный: не лается, не дерется, за одним

делом ходит. Все бы это так и было, да поставили на ту пору в деревню ихнюю солдатов. Уж известно это, Калистратушко, в деревне солдаты на постое встали, завивай горе веревочкой: держись мужики крепче зубами за женкины понявы и ворота припирай плотнее.

— Солдат не дает маху: известно, целыми деревнями бабы на проводы выть выходят,— примолвил Калистратыч.— Сказывай дальше!— И Калистратыч махнул рукой и повесил голову.

— Пришли эти солдаты, родной человек, расставили их это по избам. В Лукешкину не поставили. Наша сестра, известно, сейчас на о́гляд: который лучше, да у которого усы черные, да круче вьются, который опять краше фертом стоит у ворот. Все берут на примету и бабы и девки. Матюшка ровно того и ждал, что и Лукешка от других не отстанет. Она первая. Торчат солдатские усы в ее оконце что ни день все те же, хоть ты что хошь. Матюшка опять в озор! Побился с солдатом-то до крови, по начальству ходили. И Матюшку в управе постегали, и солдата тоже. Да Матюшке не впрок пошло — девонька его другого приучила, и с тем подрался, а ушел полк-от из деревни, и Лукешка за солдатом увязалась. И с той самой поры что в воду канула. О сю пору ни привету, ни ответу. Матюшка только, слышь, догнал ее где-то на дороге да поколотил шибко, тем-де душеньку-то свою и отвел.

И еще пуще опоследях закручинился Матвеюшко, а отошел, стал присватываться — ин нейдет никто. Тому не гож, этому не ладен, той бы и под стать, так, вишь, за дурости-то за его поопасовались. Тут вот он и стал толковать неладное такое. «Хорошо ж,— говорит,— коли не было мне талану ни в чем, стану я искать в другом каком месте, а к вам,— говорит,— приду не такой, по мне, мол, либо полон двор, либо корень вон, а уж к лихому человеку понаведаюсь». И пропал из деревни-то, что Лукешка же его. Да вот в наших местах и нашел человека-то экого, Михея-то Иваныча. Я согрешила окаянная — и жилье-то его указала. У земского у Терентья, в Матюшкиной деревне-то, в Раздерихе-то, на то время, сказывали, денег тридцать рублев бумажками пропало, и на вора указать не смогли, а Матюшка-де Михею, слышь, може опять тридцать рублев за науку-то дал и через двенадцать ножей кувыркался: такой-

де колдун стал! Да не наше это дело-то: поклеплешь, сказывают, на чужую душу — своей худо будет. У тебя в кабаке и деньги-то эти, слышь, отдавал Матюшка Михею-то, а я ведь не то чтобы... не для худа. Что сказывают, по тому и смекаем. А ты не бей, убогая ведь я, и зашла-то попрощаться — в Соловецки пробираюсь, кормилец! Порадей на убогое место копеечку во имя Христово!— выпела побирушка своим заученным плаксивым голосом в заключение рассказа и — получила-таки вспоможение.

Вернулся Матюха в свою деревню почти через месяц, стал показываться на улице веселым таким и далеко не сумрачным, как все предполагали. Вскоре стал являться и в избах, как добрый земляк и сосед, и на образа крестится не старым крестом, а все тем же — прежним *. И хозяев приветствует по обычаю и здравствуется добрым пожеланием: «Все ли добро поживаете, подавай вам, господи, добрым советом и согласием на века вечные».

Стали его спрашивать:

— Где это ты пропадал, Матвеюшко?

Молчит, как будто вчера только не был тут.

— Сказывают, стращал ты нас чем-то недобрым на отходе?

Улыбается Матюха и на этот вопрос и рукой машет, как будто отмахивает от себя все злые наветы и наговоры соседей.

Более любопытные и сомневающиеся уходили дальше и между разговорами, как будто невзначай, упоминали имя колдуна Кузьки. И на это Матюха отвечал решительным вопросом:

— Кто с такими негожими людьми знается?

— А в кабаке Заверняйко бываешь?

— Да коли на путь попадался да выпить хотелось — заходил погреться.

— А целовальника Калистрата знаешь?

— Рыжий такой да толстый? Видал.

— Он ведь Кузьке-то, колдуну, сердечный друг, все, слышь, краденые вещи от него принимает, за одно-де с ним.

— А кто их знает! — отвечал обыкновенно сердито Матюха всем одно и то же.

А сам между тем и в сельский кабак стал заходить после обедни и не буянил там, не запойничал. Сказки

прежде охотник был рассказывать — теперь и красные девки не допросятся, не только ребятишки.

Лечить попросили его — на то-де знахари да знахарки живут на белом свете. Нанялся под конец в батраки на полевые работы, так никто против него не был ретивее в этих работах.

Стал, одним словом, Матюха совсем иным человеком.

— И лезет же вам, бабы, в шабалы ваши такое все несхожее да негожее,— толковали потом большаки *,— ну-ка место какое: Матюха-де колдуном стал! Да видано ли где, что колдуны в батраки нанимаются да от лечьбы отнекиваются. Охоч парень был до сказок да пригрозил в сердцах — вы и на толки нищей братии развесили уши. Было бы слушать кого! А то ишь что выдумали, непутные, право, непутные!..

Но и этим дело не завершилось — бабы творили свое.

На другой день Ивана Летнего вот что рассказывали они шепотом сначала друг другу по принадлежности, а потом и самим большакам:

— Агафья — барский подпасок — перед зарей на реку вышла и видела-де мужика на раменьях *, в рубахе без пояса и без лапоток, на босу ногу, ходит-де да траву какую-то щиплет. А как стала заря заниматься, мужик-то завернул траву эту в тряпицу, подпоясался и лапотки обул, а Агафья-де стала ни жива, ни мертва: мужик-от Матюха был, нечесаный такой, словно битый. Сказывают нищенки, что-де Адамову голову собирал, трава-де такая есть, что нечистых духов показывает, нарядными-де такими кукшинцами кажет, и при себе носить надо... И другое разное такое те нищенки сказывали...

— Нет, бабы, что-нибудь и так, да не так. Матюха сказывает, что на повете-де спал, а по ночам боится ходить, не токмо на Иванов день, когда и лешие бродят, и мертвые из гробов встают и плачутся,— решили мужики. И продолжали-таки горой стоять за Матюху и не опрашивали его потом ни одного раза, боясь рассердить и озлобить.

Когда, таким образом, мужики, всегда туго подающиеся на всякую бабью сплетню, примирительно смотрели на все, что говорилось про Матюху, сами вестовщицы не остановились на одном.

Еще спустя немного времени они опять перешептались между собою и опять окликали мужей новейшими новинками:

— Слышал ли, Кудиныч?

— Опять, чай, про Матюху да про колдунов?

— Нету, не про него, про Прасковьюшку.

— Чего с ней такого недоброго?

— Выкрикать стала.

— На кого?

— Не сказывает доќа, а знобит-де ее болесть, начнется-то, мол, в горле перхотой попервоначалу и стоит там у сердца-то недолго — вниз скатывается, да и ухватит у сердца-то и нажмет его так, что и себя-де не взвидит и не вспомнит ничего, ругается-де затем таково неладно! От лукавого, мол, это, от напуску: душу-то де лукавый не замает, а все за сердце-то у ней щемит и таково туго, что сердце икать-де начинает, глаза под лоб подпирает; по полу валяется — мужики не сдерживают, откуда сила берется. Все ведь это от нечистого, все от него!

Немного спустя опять новые вести:

— На Федосьюшку икоту наложили, и она вопит; говела на Успенье, к причастию хотела идти — не пустила болесть. Степанидушка за обедней выкрикала, когда «Иже Херувимы» запевали, вывели — перестала. Просил у ней Матвей-от кушака, слышь, коломянкового запрежь того — не дала: за то-де...

Но и этим вестям мужики не давали веры; наконец, сами видели все и слышали — и все-таки стояли на своем, пока не втолковали бабы, что берет-де немочь все больше молодух, да и из молодух именно тех, к которым присватывался когда-то Матюха.

— И зачем Матюха,— прибавляли они,— им свой солод навязывал, когда станового на мертвое тело * выжидали и потому пива варили? Сказывал им Матюха, что мой-де солод сделан так, как на Волге делают, а потому-де и крепче. Чем же наш-от худ, впервые, что ли, земских-то поим, и не нахвалятся?..

Задумались мужики, навели справки — вышло на бабье: Матюха продавал солод. Спрашивали его — не отнекивается.

— Зачем же?— выпытывают.

— Да залеживался.

— Много ли его у тебя было?

— Пуда полтора.

— Ты, Матвеюшко, дурни с нами не делай! Мы ведь люди крещеные.

— А я-то какой? А с чего мне с вами дурню-то делать? Не обижали ведь вы меня, а слово — не укор.

— Ну а бабы что тебе сделали?

— Бабы-то сделали? И бабы ничего не сделали.

— Ты, Матвеюшко, не обидься, коли мы тебя в становую квартиру с Кузькой сведем.

— Пошто обижусь? Сведите!.. А не то подождали бы малое время — мы бы... я бы позапасся.

— Да не надо, Матвеюшко, твое дело правое — не спросят, зачем запасаться?

— Обождите!.. Али уж коли на правду пошло — пойдем и теперь, пожалуй! — выговорил Матюха тем резким, решительным тоном и голосом, который заставил мужиков немного попятиться и с недоумением посмотреть друг на друга.

Пришли к становому. Спрашивает и этот:

— Опаивал, оговаривал?

— Нету.

— А сибирскую дорогу знаешь?

— Какую такую?

— По которой звон-от на ногах носят?

— Ну!

— А вот тебе и ну! Покажите-ка ему!

Зазвенели кандалы, Матюха попятился.

— В полчаса готов будешь; стриженая девка косы не успеет заплесть — зазвенят на ногах. Кузьму Кропивина знаешь?

— Не слыхал, а может, и знаю, ваше благородье.

— Пишите! В кабаке Заверняйко бывал?

— Там бывал, бывал не однова.

— Один?

— Не один, с Кузьмой бывал и с другими бывал.

— Пишите! На первый раз будет и с меня и с него.

С этого дня Матюха уже не был свободен.

Через пять уже лет, когда видели его и на большом прогонном пути и на дороге в суд, сказывалось на площади во всеуслышание такое решение:

«Кузьму Кропивина наказать плетьми, дав, по крепкому в корпусе сложению, тридцать пять ударов, и по наказании отдать церковному публичному покаянию, что и предоставить духовному начальству; касательно

до Матвея Жеребцова, то как Кропивин уличить его не мог ничем, а верить ему, Кропивину, одному не можно и за справедливое признавать нельзя и упоминаемый Жеребцов ни с допросов, ему учиненных, ниже на очной ставке, данной ему с Кропивиным, при священническом увещании, признания не учинил, то в рассуждении сего, яко невинного учинить от суда свободным и по настоящему теперь нужному делу посева хлеба времени и домашних крестьянских работ препроводить его в свое селение, а Кропивина содержать под караулом».

— На мир Матюхе клепать нечего — выручил мир, хоть и по самое горлышко в воде сидел. А Кузьке поделом — зашалился больно и меня ни за что, ни про что подвел — перепутался. Ну пущай посидел я немного в негожем месте, да у меня хозяева есть, хорошие хозяева, можно за них бога молить — откупили... то бишь оправили и опять в кабак сидеть отослали!— хвастался Калистрат-целовальник спустя уже многое время после того, как провели столбовой колдуна Кузьму.

— А примешь, Калистратушко, сибирку синюю купецкую? Не можется — выпил бы,— перебил его робкий голос одного из гостей-слушателей.

— Спроси хозяйку мою, сам не принимаю ноне...

— Что так, Калистрат Иваныч?— в один голос выговорили посетители.

— Да чтоб с живого лык не драли: теперь, брат, и я старого лесу кочерга и меня на кривых-то оглоблях не объедешь тоже — первая голова на плечах и шкура невороченая. Всякую штуку к бабе теперь неси, а мнека — деньги. Да и то, смотри, братцы, по-кабацки: что слышал здесь — не сказывай там. Прощайте-ко-с, запираюсь!

ПОВИТУХА-ЗНАХАРКА

Лежит мужичок на полатях — сумерничает: уповод * на дворе еще непоздний, и в избах не зажигали лучины. Лежит мужичок и нежится, сон не берет его, а лезут в голову разные мысли: вот хотелось бы ему пройтись по деревне на́большим, чтоб всякий давал почет и ему, и хозяйке-со-

жительнице. А то — он и в выборных бы миру не прочь послужить, лишь бы не в соцких только.

«Замотаешься!— думает он, да опять же и про на́большего надумал.— Не рука и набольшим быть — не выберут... Всякому, знать, зерну своя борозда, а давай нам тюру да квасу, было бы за что ухватиться и зубами помолоть... вот оно что! А что и бога гневить: хозяйство веду не хуже кого, всего вдоволь — и скота, и птицы, и землицей мир не обидел; вон и ребятенков возвел. Не морю их, не пускаю по подоконьям...»

Мужик повернулся, скрипнул полатями, обхватил голову руками и опять призадумался:

«Одного не пойму, что хозяйка совсем захилела: вон лежит на печи, словно пень али бо колода какая, а работящая баба, не во грех сказать, на печи-то ее не удержишь в другую пору. Совсем захилела баба, совсем; сел даве за стол, глядь: и щи не дошли, да и каша перепрела. Стал говорить — ответу не дает толком. Все на подложечку жалуется; не то дурит, не то обошел ее какой недобрый человек. Взял бы плеть... так время-то, кажись, не такое: по лицу веснухи пошли, да опять же и тяжелина...»

— А которая тебе, Мироновна, пошла неделя?— окликнул мужик сожительницу.

— Да вот, считай, с заговенья-то на Петровки: которая будет?

— То-то, смекаю, Мироновна, не пора ли?

— Ой, коли б не пора, кормилец — всю-то меня, разумник мой, переломало: и питье-то долит, и ноженьки-то подламывает, вот к еде-то и призору нет... Ни на что бы я, сердце мое, не глядела. Даве от печи словно шугнул кто: еле за переборку удержалась; в головушке словно толчея ходенем ходит; утрось пытало мотори́ть *...

Мироновна не вынесла и заплакала; мужичок опять заскрипел полатями.

— Да ты бы, Мироновна, поспособилась чем! — заговорил он после продолжительного молчания.

— Напилась даве квасу, ну словно бы и полегчело. А вот теперь опять знобит. Душа-то ничего не принимает, разумник, позыв-то не на то, что следно брать: глины бы вон я от печки поела, пирога бы калинника пожевала...

— Нишкни-ко, нишкни, Мироновна, никак у тебя к

концу ведет? Давай-ко бог этой благодати на наше бездолье. Да смотри же ты у меня, опять рожай парня, а я вот тем часом пойду да баню тебе истоплю. Пораспаришь косточки-то — полегчает. Вот я ужо...

Мужичок слез с полатей, захватил топор, сходил истопить баню, вернулся назад, подошел к печи и опять окликнул Мироновну:

— Что, спишь ли, Лукерьюшка, спишь ли, кормилка? Али уж тошно больно стало? Нишкни же, нишкни, дока!.. Вот я позову повитуху, добегу хоть до тетки Матрены!.. Уж и мне-то, глядя на тебя, такового тошно стало!..

Мужичок махнул рукой, повертелся по избе туда да сюда и опять ушел вон.

Вот он уже у тетки Матрены — деревенской повитухи-бабки. Кланяется ей в пояс и просит:

— А я опять со своей докукой, тетушка Матрена. Большуха-то у меня калины попросила; опять никак на сносе, подсоби.

— Как же не на сносе, Михеич! По-моему, ей еще вечор надо бы... на тридцатую-то неделю шестая пошла...

— Не откажи!— просит Михеич.— Ты вот и Петрованка повивала, и Степанко, и Лукешка от тебя шли; прими — куды не шло, еще какое ни на есть детище. Рука у тебя легкая — так по знати тебе и веру даешь: к другим нашим бабам и не лезу...

— Ладно, ну ладно, Михеич!..

— Полтину-то я уж от себя сколочу, ну там, поди, с кумовьев пособерешь, будет тебе за повит-от. Овчины я сейчас припасу, бери только бабу да и веди в баню...

И Михеич опять поклонился в пояс; думает, задурит баба, заломается, хоть и за своим же добром пойдет; сказано: женский норов и на свинье не объедешь — ни с чего иную пору чванятся. А поклониться ей, не надломить спины, не волчья же у мужика шея, не глотал мужик швецова аршина.

— Ладно, ну ладно!— говорит повитуха.— А сколько ты посулил за повит-от?..

— Грешным делом полтину медью отвалю тебе, тетка Матрена, не стану врать — дам пятьдесят копеек, не ругайся только!..

— Ну, а припасы-то какие будут?

— Да уж на этом стоять не станем — приходи да и хозяйничай. Я тебе и поросенка зарежу, и барана зарежу, куды не шло! Сама и сметаны напахтаешь!..

— В кумовья-то кого позовешь?

— Да брат Семен будет и Степанида, Базиха Степанида...

— Что ж ты бурмистра-то не попросил, аль заломался?

— Не то, тетка Матрена, заломался! Да нужно ведь и честь знать. Вон Лукешку принимал, говорит: в последние принимаю, ни к тебе, ни к кому не тронусь; изъяну, слышь, много, а крестники-то разве кулич принесут на Пасхе, а о Рождестве, глядишь, самим денег давай. И так уж их у меня больше десятка... Пускай, говорит, Евлампий-земской крестит, тому это дело совсем нанове. Благо ведь приохотиться, говорит, к этому делу, а там — подавай только...

— Так ты бы лучше земского попросил, Михеич, все же и тебе лучше. Вон он, толкуют, гужей накупил, дуги гнет — так лавку, слышь, открывает; кузницу поговаривают, у Демки скупает...

— Лучше по родству, тетка Матрена, водиться; и Евлампий чванлив больно, богат — так и занозист... Мы ведь с тобой и в лаптях ходим да не спотыкаемся, а и брат — мужик хороший: три коровы на дворе, опять и жена тяжела... Сама знаешь: тебе же на руку...

Еще раз поклонился Михеич в пояс, но повитуха Матрена не ломалась больше. Вдвоем стащили они роженицу в баню, и увидел здесь Михеич свою радость, хотя и не в первый уж раз. Видел, как повитуха дала роженице сначала воробьиное семя, а потом стакан вина и на закуску — кусок круто посоленного черного хлеба. Видел, как поили потом его жену пивом с толокном, и знал, что и впредь ей не будет запрета ни на какую пищу.

Вечером собрались у колодца две бабы-соседки — воды накачать, и повели пересуды.

— Смотри-кось,— говорила одна,— новый месяц никак народился, гляни-ка, мать, какой лупоглазый вылез; знать, на утре-то сиверком завернет...

— А видела, дева, как даве Михеич-то из бани выскочил?

— Нешто, родная, запарился?

— Чего, мать, запарился; сама-то, слышь, родила, ведь она на froпоследях ходила...

— Кого же бог дал — бычка или телочку?

— Опять, дева, парнем прорвало. Выбежал, слышь, даве из бани, словно сблаговал. Ухватил меня за поніток да как крикнет чуть не на всю-то деревню: радуйся, слышь, Агафьюшка — третьего парня рожаю. А мне-то что? По мне бы девоньку-то лучше!

— И по мне-то, дева, кажись девонька-то лучше. Ну да давай ему бог, над его бы семьей и сбывалось — мужик-то ведь он больно хороший. Чего не попросишь, всего дает, коли б не перечила ему большуха-то...

— Зелье-баба, и говорить нечего; попроси горшочка — задавится,— говорила другая баба и расписала бы Михеича хозяйку хуже всего, если б не перебила ее первая баба:

— Кого же они, мать, повивать-то взяли?

— Опять, дева, те же завидущие, бесстыжие глаза, опять Матрена криворотая!.. Уж такая-то прорва, такая-то волчья снедь, ненасытиха! Все бы тебе она поперечила. Вон пришла я летось к Скворцу на повит, и дело, было, сладили за полтину. Она тут и подвернись, ненасытиха-то эта и подвернись: да у Агафьи, говорит, рука тяжела, кость широка, да у ней, говорит, глаз недобрый, обыку, говорит, не имеет; у Базихи ребенка, слышь, заморила... У, прорва эдакая! Волчья снедь! Уж я ж ее допеку!.. Вон на месте мне тут провалиться!..

И ничего больше не узнала любопытная допросчица — первая баба, как ни пробовала, как ни пыталась разговорить соседку, но добилась только одного, что та и глаза Матрене песком заслепит, и на задах поймает — в косы вцепится, со свету сгонит Матрену: пусть-де она не перечит другим, не супротивничает. От других уже кое-как допыталась расспросчица, что сам-де Матрене полтину посулил за повит, брат самого идет отцом крестным, Базиха рубаху начала кроить — стало быть, в матери крестные назвалась; послезавтра, может, будут крестины, а может, и нет... А сам-де куды шибко радуется — то в баню забежит, то опять вернется в избу, поиграет здесь со старшенькими ребятенками, да и опять лезет в баню. И зачем его носит туда — студить только.

Но вот словно и угомонился отец: разделся, прилег на полати, свесил вниз голову, ласкает ребятишек, улыбается, подушки в одного парнишку бросил и — спать бы. Нет, Михеич опять зашевелился, раз пять перекинулся с боку на бок и опять-таки спрыгнул с полатей, и опять стал суетливо оболокаться. Потом подбежал к зыбке, покачал ее за кромку, да вспомнил, что пустая была еще эта зыбка, потрепал старшего мальчика за волосы в виде ласки, но не поняли буки-ребята этой ласки — разревелись. Отец того да другого погладил по голове, тому да другому посулил купить пряников да орехов. Вот опять вышел в сени и опять вернулся назад в избу: шапку забыл на полице, да и вместо лаптей были на ногах у него туфли — берестяные ступанцы. Отец поправил оплошность, бессознательно перебрал на столе обглоданные, замусоленные кусочки ржаного хлеба, забытые ребятишками,— и не прибрал. Порылся в ставце — и ничего не вынял. Заглянул зачем-то за переборку, толкнул ногой в голбец — и не притворил двери. Наконец, опять вышел на крылец, спустился на улицу, но не пошел в баню, а прямо-таки в свое приходское село.

— С требой уехал!.. Помирают!— говорила ему отца Ивана работница.

— Я подожду; ведь, поди, скоро приедет?

— Чего скоро — почитай, только что, только уехал!

— Я подожду, подожду, а скоро обещали?

— Кто ж его знает? Срок-от с ним! Дьячком-то Изосим поехал,— добавила от себя работница.

— Ну вот, поди ты!— бессознательно вымолвил Михеич.— А я, как тебя звать-то? я... подожду лучше...

— Чего тебе надо сказать — я, пожалуй, молвлю батюшке-то.

— Паренек, кормилица моя, родился, паренек... И такой-то, мать моя, гладкий, да тяжелый, уж такой-то резвунко, девонька, родился! В меня, бают бабы!.. Да и на матку похож, славный будет, во... славный! Завтра в избу перетащу и зыбку уж навязал на ту притчину...

— Да ты из какой деревни?— перебила работница каким-то плачевным голосом и, подхватившись локотком, пригорюнилась.

— Из ваших, мать, из соседских... вон, с поля на



поле! Сказывают, гоны трои будет, а по мне так и двух не наберется...

— Там моя сестра зимусь на супрядках гостила,— сказала с глубоким вздохом работница и еще больше пригорюнилась.

— Нешто померла сестра-то?— спросил Михеич, готовый в эту минуту сострадать всем и всему. Стало ему жалко, крепко жалко сироты-работницы.

— И — что ты, батько, с чего б помереть? Так только гостила!..— сердито вскрикнула работница и отняла ладонь от подбородка.

— А скоро ли сам-от приедет?— опять за свое ухватился отец.

— Сказала: с ним срок! Ну и проваливай.

— Нет, уж я подожду лучше!— закончил докучный допросчик и сдержал свое слово.

На третий день отец привез новорожденного парня в село, здесь отдал его на руки кумовьям, чтобы те отнесли его в церковь, а сам опять зашел к священнику просить его дать парню имя.

— Как же ты сам возжелаешь нарещи его?— спросил священник.

— Твое дело, батюшко — отец Иван: какое хочешь, то и ладно, по мне... Сам знаешь, все на тебя полагаю, на то ведь уж ты и приставлен.

— В сей день Анемподисту празднуем!— отвечал отец Иван и слышал, как Михеич перевертывал имя на разные лады — словно балалайку настраивал, и наконец-то поймал:

— Енподист, вишь Енподист... хитро больно имя-то, батюшко. Дал бы ты какое ни на есть попроще, а то переврут дуры-бабы!

— Еще память Герасима.

— Как ты, батюшко, молвил? Ровно не вслушался. Никак опять...

— Герасима!— перебил священник.

— Ну вот и ладно, батюшко! Никак и выйдет-то Гаранька, коли по скорости надо. Благослови, отец Иван, кумовья-то в церкви!..

И стал Михеич с Гаранькой — свежим детищем, новой утехой и радостью, будущим кормильцем и помощником!

Пока он был на селе, в избе его повитуха подняла пыль коромыслом: напекла-нажарила, наварила-напа-

рила, приготовила все, что припас хозяин, уложила роженицу за переборкой, накрыла на стол и поджидала дорогую роденьку хозяев, батюшку-священника с матушкой-попадьей и дьячка со старухой просвирней. Гости уселись за стол: священник с женой в переднее место под тябло, рядом с ними кум с кумой, ближе к краю дьячок с просвирней, против них родня хозяев, а с самого краю и большак в семье сам Михеич, потому что с него и начнется сейчас угощенье.

Бабка-повитуха засуетилась, забегала, схватила со стола принесенный родными подарок — горшок *порушки,* приготовленной из сушеной малины с медом, и отнесла его за переборку, откуда, накормивши роженицу, явилась с другой порушкой, которую приготовила сама из пшенной каши с перцем и хреном, страшно заправленной солью и только для прилики обсыпанной изюмом. Отец новорожденного попробовал, поморщился, да хоть бы и назад отдать, до того нехороша была эта порушка, но таков уж обычай, нужно было доесть стряпню бабки, которая к тому же и объяснила отцу:

— Что вот-де, как твоя хозяйка третеводни мучилась, так и ты поломайся теперь. Не нами-де сказано, что муж да жена — одна сатана, обоим и гуж за одно тянуть.

Но этим только не окончилось дело; Михеич должен был съесть еще ложку соли в то время, когда кум с кумой подняли пирог над головами с заветным желанием, чтоб «крестник их был так же высок, как приподнят пирог». Затем шло угощение кашей, за которую бабка получила от кумовьев деньги, а за вино, которое она первому поднесла отцу, получила обещанные за повит пятьдесят копеек медью.

Остальной порядок и угощение шли своим обыкновенным чередом: первая чарка и первый кусок священнику, последняя отцу и бабке. Гости церемонились, заставляя себя долго упрашивать, пока не подвеселились и не повели обыденные разговоры, в которых, по обыкновению, главная роль принадлежала священнику и самая последняя, незначительная — хозяину.

Священник говорил, что у них скоро благочинный будет новый, владыка по епархии ездит, так дьякона не мешало бы попросить. Мужички потолковали о том, что давно уж подумывал об этом и барин, да бурмистр

не ручается за достаточность вотчины, говорит, что и одним-де можно удовольствоваться. Тут же кстати потолковали гости и о том, что в Онтушевской волости мужики землю оттягали и была у них свалка с деминскими такая горячая, что только и удалось залить в онтушевском кабаке. Гости говорили все громче и громче, так что разговор их перешел в какой-то шум, из которого только и можно было понять одно, что всякий как бы по заказу старался перекричать остальных. Затевались к концу и песни, но, по обыкновению, не ладились. Целую ночь, да и половину другого дня Михеичев сивко развозил гостей по домам, а самого большака только на другой день к обеду едва доискались в углу на повите *.

Роженица недолго пролежит в постели: завтра же она будет возиться у печи, отрываясь только для того, чтобы покормить ребенка. Она и теперь не лежала бы за переборкой, если б не был на свете обычай класть на зубок новорожденного и непременно под подушку матери и если б не послаблял Мироновне муж-баловник.

Не задумалась бы она родить, как и многие деревенские бабы, на том же месте, где час приспеет — будет ли это подле печи, среди чистого поля на пожне и покосе, во время самой спешной и трудной работы.

На другой день после крестин в Михеичеву избу то и дело приходили соседки на навиды, приносили посильный подарок: иная пирог, другая пасмы две ниток, иная успела сшить рубаху, другие просили простить, что ничем не могут порадеть — или по недостатку или по беспамятью. Одним словом, все было так же, как обыкновенно бывает на любых крестьянских крестинах.

Ребенок покрикивал сначала тихо, но с прибавлением числа дней и недель все громче и громче, так что подчас получал порядочные шлепки и громкую брань от матери, на попечении которой он и оставался до тех пор, пока не начинал сам ползать медведкой или стоять дыб-дыб, опираясь ручонками на лавки. Отцово дело тут сторона, разве иногда возьмет он сынишку на руки и, поднимая к потолку, начнет стращать букой или попугает его своей бородой, выигрывая на губах какую-нибудь дребедень. Дальше, когда парнишка начнет подрастать, он предоставляется вполне самому себе, а когда

войдет в разум, то сам и радеть о себе должен; «вырастет с мать, сам будет знать, как из песку веревочки вить».

В наших деревнях, где едва ли не всякая баба исполняет обязанности повитухи, всегда уж найдется такая, которая исключительно посвящает себя этому занятию и, следственно, пользуется у рожениц особенным предпочтением перед всеми другими. Она вместе с тем и лекарка, и знахарка, и наговорщица — одним словом, такое лицо, без которого трудно, кажется, обойтись русскому человеку. К таким-то исключительным личностям принадлежала и тетка Матрена.

Происхождение ее очень просто: она почти всегда дочь тоже повитухи и редко принимается за свое заветное ремесло по собственному желанию. Это последнее обстоятельство совсем от нее не зависит. Оно устраивается как-то уже само собой, как у всякого другого русского простолюдина.

Смолоду у Матрены, разумеется, общее горе и радость, как и у всякой другой деревенской девчонки. На руках у ней вечно ребенок — сестренка или братишка, к которому она приставлена на правах няньки. С ним она обязана носиться целый день, пока не кликнет мать на насесто. Позовут ли ее играть в прятки те из товарок, которых судьба избавила от этой неприятности быть сестрой,— Матренка вскинет парнишку на закорки и идет к овинам. Здесь посадит брата к уголку и бегает с другими — резвится, забывает свою докучную службу, а там, смотришь, опять идет она по деревне босоногая, растрепанная, и опять у ней торчит за спиной черномазый братишка, ухватившийся обеими ручонками за голую шею сестры.

Пригласят ли Матрену хороводы водить, и опять, смотришь, прыгает она, резвится по-старому, и опять по-старому сидит ее братишка в пыли и грязи, насупившись, и кричит благом матом, когда обнюхает его проходившая свинья или собака. Но вот беда: заметила это нерадение Матренки проходившая мать и еще больше встрепала ее лохматую голову и вперед наказала не покидать братишку. Этот грех куда бы ни шел, сама назвалась на него, а бывает и так, что сам парнишка затевает беду себе, на голову, да еще и на глазах матери, как случилось это в то время, как играл он с котен-

ком. Баловливый котенок, оцарапав парня, напугал его, что перекинул навзничь и свалил плашмя с лавки, но и тут не прошла беда мимо няньки: зачем-де не смотрела, ты уж не маленькая! И это бы ничего: горе пополам с братом, да и мать дала наческу — никто другой, а то бывает и такой грех, что и сам-то он, братишка, всей пятерней врезывался в сестрино лицо и оставлял на нем царапины на целую неделю. Конечно, и тут извернуться можно, стоит только затащить его подальше на зады, нахлопать там досыта, да подождать, пока отойдет, а там сунула корку хлеба, и гора с плеч долой. Но вот уже беда неисправимая: когда девчонки затеют хороводы, а братишка спит, мать не пускает на улицу:

— Подожди ходить, вон братенко проснется, и его с собой прихватишь...

— Да, мамонька, хороводы-то на ту пору разобьют, не поспеешь...

— Подрастешь, дура, наиграешься...

Ничего не остается делать, как надрываться — плакать, пока не рассердится мать и не исполнит обещания.

Но вот уж подрос братишка, сам по себе стал ходить и бегать, нянька на радостях.

— На-ко,— говорит мать,— сестренку тебе, походь и ее, да смотри не по-летошнему, а то опять дубцом отстегаю, целый веник истреплю!..

Делать нечего, опять нужно покориться горькой участи и ожидать той поры, когда или мать рожать перестанет, или сама Матренка сделается подростком и ее скучная обязанность перейдет на другую сестру.

Но эта пора недалеко, время летит своим чередом скоро и незаметно: вот уж на Матрену начали ногами зариться большие ребята. Один что ни пройдет мимо, то и заденет — либо щипнет, либо просто начнет по плечу трепать, либо над ухом что есть силы языком щелкнет.

А надумает парень в хороводе пройтись с платочком, опять за Матрену:

— Выходи-ка, Матреха, воробушком!

В горелки ли врежется парень — опять-таки ловит ее, а не другую девку.

На камушке ли горит Матрена — никто ее не выкупит прежде того же парня, никто из ребят не поцелует прежде выбранного-суженого.

Матрена и сама не прочь отвечать на ласки парня, не пустит она колечка дальше своей руки, если довелось ей играть в веревочку и ищет это колечко ее молодец. Никого не бьет она жгутом так больно, как того же парня, не слушает и усиленных криков его: «чур меня!» У ней и «ох болит!» по том же парне, *а и рубль пойдет* — у Матрены в руках застрянет. Одним словом, девка во всем становится покорной парню.

— Слышь, Матреха, выходи-ка на супрядки к бурмистру, я там буду!— скажет волокита-парень.

И Матрена идет на супрядки, не противится, хотя и у самой в избе супрядки идут и много еще девке пряжи прясть и мотать без бурмистрова добра, на которого хватит работниц и кроме нее. Придет девка к бурмистру, непременно придет и найдет там своего молодца, который подсядет к ней и наговорит с три короба всякого вздора.

Запоет ли от скуки Матрена песню — парень первый подхватит ее. Захочет ли девка уйти из избы, опять-таки тот же молодец провожает ее; надумают ли девки пошалить, подурачиться, погасить лучину в избе — первый бросается к светцу Матренин парень, а Матрена и лучину запрячет на повит, как только можно дальше, в самый угол на сеновале.

Пойдут ли ворожить девки в баню о суженом — первый засядет туда тот же парень и велит Матрене завораживаться прежде других. Пойдут ли невесты слушать на поле звон или пение — Матренин парень уже стоит за овином, дожидается суженой, ее колокольцем пристращает, а для других пропоет погребальную. Начнут ли подходить к шапке за жеребьем, кому с кем в этот вечер женихаться — Матрену как будто надоумит кто вынуть ломаный грош, словно ее Матюшка и не мог бы положить неломаный. Девки молчат, как будто не замечают ничего, а ребятам и подавно нет никакого дела: всякий думает о себе и о своей — таков уж исконный обычай. Не любят только они захожих гостей и не дают своих девок в обиду. Не думают о Матрене ни парни, ни девки, думает о ней только одна мать и выговаривает:

— Ты что это, нечеса, со старостиным-то Матюшкой женихаешься, нешто не нашла попроще?

— Да он сам пристал, не я выбирала!— отвечает Матрена и хоть в слезы пуститься.

— Не женится он на тебе, дура, помяни мое слово. Ведь ты сирота, да и без достатку, а у Матюшкина батьки мошна-то потуже бурмистриной, бают...

Но девка не верит матери, не может перечить сердцу: она и во сне с Матюшкой по ягоды ходит, грибы собирает.

— Не обманет!— говорит она в свою защиту матери.— Сам обещал ожениться, не станет врать. Вот намнясь пряников купил, платок обещал подарить. Какой только, слышь, любишь — желтый или красный — тот, мол, и принесу...

Мать все-таки стоит на своем:

— Брось, девка, Матюшку, выбери кого другого. Этот бычок не по нашему стаду. Вон,— говорит,— сестрина Паранька взяла себе Кузьку Кузнецова и идет дело по-любовному: перед масленицей, слышь, и свадьба будет...

— Нет!— стоит на своем девка.— Не отстану от Матюшки, хоть живую режь. Иной и выводное даст — да плачется, а другой и даром возьмет — да любуется. Пусть же, коли богат Матюшка — не моя вина. Не даром он пряники носит, за меня же безинского лакея отколошматил...

Мать пригрозила было к бурмистру свести, собиралась и — не собралась.

Девка продолжала любиться с парнем, пока не приехала в деревню барская горничная, которой сам барин велел выбрать лучшего парня по всей деревне.

Как назло — словно предчувствовала Матрена — горничная выбрала старостина Матюшку и пошла вместе с ним на поклон к барину с полотенцем и куском деревенского полотна. Барин поцеловал молодую в щеку, дал ей на крестины пятьдесят рублей и велел быть ключницей, а молодому мужу приказал выдать синий армяк и послал привыкать к кучерскому делу, да не подстригать бороды...

Долго ли после такого горя девке поплакать, проплакаться и, опомнившись, с ужасом увидеть, что все подруги-сверстницы вышли замуж, каждая за своего суженого, не несет этой доли одна только Матрена, не будет она петь на прощанье родителям, хоть и кстати была бы эта песня:

Я еще у вас, родители,
Я просить буду, кланяться,

Не оставьте, родители,
Моего да прошеньица:
Не возил бы меня чуж-чужении
На чужую сторонушку,
К чужому сыну отецкому,
Не пасся бы он, не готовился,
На меня бы не надеялся.
У меня ль, у молодешеньки
Еще есть три разны болести:
Я головонькой угарчива,
Ретивым сердцем прихватчива,
Своим свойством не уступчива.

В деревне нет для Матрены женихов: остались одни подростки, а из других деревень не едут по девью красоту, потому что все знают Матрену, знают и ее Матюшку, но еще больше того знают, что злее обойденной невесты и зла мало на свете.

Если вообще всякая деревенская баба не прочь на чужой двор закинуть камушек, посудачить-посплетничать, то тем более те из них, у которых не уладилось дело на семейное житье, тихое-беспечальное. Матрене — все соперницы: всякий парень женихом считался. Она одна осталась теперь, как былинка в поле, как сосенка-сиротинка при дороженьке. Обойденная невеста что дом зачурованный, к нему крещеный неопытный человек и подойти побоится: черти в нем поселились, змеиным ядом дышут на всякого, а и житье в нем — ад кромешный.

Девка на первых порах покручинилась, разливалась горькими слезами, размывалась громкими рыданьями, не пила в меру, не ела в сытость, от тяготы сердечной была сама не своя, а когда и пришла в себя, то не много радостей вызнала, не много отрадного выпытала.

— Агашку за вихряевского питерщика Михея сговорили — в воскресенье в полудень и свадьба, слышь,— сообщали одни соседки.

— Лукешку побратали вечор, да у сестры-то ее, Степаниды, тоже на мази дело,— сообщали другие.

— Гаранька в Михееве, сказывают, подыскал. Ванюшка тоже свах засылает, Степка, Иван Кондратьев,— высказывали третьи на горькую кручину и слезы Матрены.

А на ее дворе ни свата говорливого, ни щебетуньи-свахоньки, словно Мамай войной прошел по деревне, ниоткуда нет засыла и подговоров.

Раз сорвалось с сердца Матрены супротивное, неладное слово на подруг-соперниц и на ребят-обидчиков — пошло у ней с той поры что дальше, то горше. Никому не стало пощады, на всякого нашлось у ней с три короба всяких обид. Про кого ни скажут доброе слово соседки — все не по ней.

— Вот Степанида-то питерщикова сговорена, складная девка, что стеклышко — чистенькая, во всех порядках, и смирная, и к родительской воле прислушливая,— выговаривает, бывало, соседка.

— Голыми-то руками за нее не берись — она только по глухой поре за овины-то к ребятам ходит, днем ее там не увидишь,— ответит Матрена, да и ни слова больше.

— А Лукерьюшка-то? Эта и в церкви завсегда напереди стоит да в землю молится, а и на посидках-то не больно чтобы уж очень шустрая...

— У этой-то и матка за солдатами в поход ходила, да и отец-от, как ушел в Питер, в деревню не заглядывал...

— Ну да уж про Агафьюшку-то не скажешь же худо?

— Про десятникову-то?

— Смирена девка, не тайщица, не привередница, ни она тебя облает, ни сделает по-своему. На супрядки попросишь — первая придет, на помочь позовешь — первая с серпом на пожне, подарок посулишь — отказывается, на дом его принесешь — назад отдает...

— У ней только что рожа-то праслицей, да коса — что голик, а пальца-то тоже не клади ей в рот,— крикнет, бывало, Матрена во всю избу да и решит тем, что говорить перестанет, заключив вопросы коротким ответом:

Хороша наша деревня — только улица грязна.
Хороши наши ребята — только славушка худа,
Хорошо нашими девками тын городить.

А между тем одно зло выручает другое; Матрена скажет у себя в избе, а гул разойдется после и по всей деревне. Брось калач на лес, пойдешь — найдешь,— говорит пословица, а на брань слово купится,— утверждает другая.

— Матрена — что ворон: на чьей избе сел, на той и накаркал!— говорили промеж себя девки-соперницы и

решали на том, что черного кобеля не домоешься добела, а на чужой роток не накинешь платок.

Женихи-ребята и думали и поступали иначе: на личную брань огрызались, на злую сплетню отвечали тем, что ворота мазали дегтем, в окно снегом бросали, на трубе горшки били, на улице не давали проходу и пошли еще и дальше того на том основании, что озорная корова до той поры и бодлива, пока рога у ней есть.

Случай смирил Матрену, заставив и ребят смотреть на ее бездолье иными глазами, глазами участия и снисхождения.

У Матрены умерла мать-старуха. Пошла сирота на кладбище и взвыла, горько там взвыла о своем сиротстве и бездолье, осталась одна на белом свете, как перст, как былинка в поле. Горьким, раздирающим душу голосом причитала она по родителям, добралась до родимой — помянула добрым словом, вспомнила тут же кстати, что любила покойная, вычитала истово и то, что родимая носить любила. Долго каталась Матрена по свежей могиле и выла, верная исконному обычаю отцов и дедов, пока не подобрала ее с места дряблая, сердобольная старушка-нищенка, верный друг всех надрывающихся от слез и кручины.

Плакала Матрена такой заветной старинной *заплачкой:*

Ты послушай-ка, родитель — моя матушка,
И сердечное желаньице,
Ты, денная моя заступушка
И ночная богомольщица!
Уж мы как-то будем жить
Без тебя, родитель — моя матушка!
Кто-то нас поутрушку ранешенько
Будет бдить со мягкой со постелюшки?
Кто-то станет разряжать нам
Крестьянские работушки?
Как встанем поутрушку ранешенько
Со пуховой со мягкой со постелюшки,
Мы не водушкой ключевой будем омываться,
Омываться горячими слезами,
Отираться злодейской-великой кручиной,
Зазнобушкой великой будем покланяться.
Как нонечку-теперечку волос к волосу не ладится,
Моя младая головушка не гладится,
Моя вольная волюшка на головушке не ладится,
Не уплетается моя русая косынька милешенько,

Все без своей-то без родители — без матушки,
Без слова сердечного желаньица.
Как нонечку-теперечку веют ветры полуденные,
Говорят-то многи добры людишки посторонние.
И все круг меня-то кручинной головушки.
Веют ветрушки с западками,
И говорят-то многи добрые людишки с прибавками;
И не видала я-то после своего родителя-матушки
Благословеньица-блаженьица,
Со Исусовой молитовкой буженьица,
Как нонечку-теперечку мне-ка
Как будет кручинной головушке
Без своей-то без родителя — без матушки,
Без свово-то, сердечного желаньица?
Вы придайте-тко ума-разума
Во младую во головушку,
Мои сродцы — мои сроднички,
Вы, спорядные соседушки,
Вы, пристаршие головушки,
Мне, душе да красной девушке,
Провожать свое прекрасное девичество
И ходить-то по тихим-смирным беседушкам,
По гульбищам — по прокладищам,
По обедныим — по свадебкам,
И по господниим — владычныим по праздничкам!
Я все буду бояться, кручинная головушка, теперюшко,
Чтобы ветрушки меня не обвеяли,
Чтобы людишки не облаяли.

С нищенкой коротала первые скучные дни одиночества сирота наша, но не нашла полной утехи в горести, все напоминало ей мать и все вызывало на слезы: и пучки калины, соком которой натирала мать лишаи, и полынные листья от лихорадки, и пережженные квасцы от озноба и дикого мяса.

Возьмется ли за кремень и огниво — огня высечь, и тут вспоминается ей мать, присекавшая и обметанные губы, и все другие летучие сыпи этими же самими кремнем и огнивом.

Осядет ли в жбане гуща квасная — и тут перед глазами Матрены мать-лекарка, круто солившая эту гущу, чтоб наложить потом на ногтоеду и заусеницы.

Попадутся ли ей на глаза два горшка рядом, и тут вспоминается ей, как покойница смачивала эти горшки и терла один о другой, чтоб стертой черной грязью натирать лишаи и ветреные сыпи всякого приходившего к ней за пособием.

Ремесло старухи, как живое, перед глазами Матрены, а нужда как на вороту виснет, хоть сама в сырую

землю ложись и гробовой доской прикрывайся, а брюхо — злодей, старого добра не помнит.

Задумалась Матрена над своим бездольем, но ненадолго. С первой же вешней водой полезли в ее избу все больные по привычке:

— Поспособь, Матренушка, чай, тебе матка-то натолковала. Нам ведь к другим-то почесть и идти не к кому. Голова болит...

— Обложи глиной али бо кислой капустой — полегчает, завтра приходи — понаведайся...

Но больной не приходил в другой раз, а поутру прихвалил Матрену при всех своих бабах и сторонних людях. И знали через день в деревне, что Матрена-де по матери пошла, способит как нельзя чище: от кашля печеным луком кормит, от лихорадки дегтем с молоком поит и посылает на реку в самую полночь искупаться, да так, чтобы никто не видал и не слыхал, и рубаху велит там оставить, как бы и мать ее прежде наказывала.

Стала Матрена и над кровью нашептывать, и зубы заговаривать с немалой удачей и навыком; и опять пошла молва по деревне, что и Матрена задавила крота между пальцами и не умывалась после того целые сутки, как и мать-покойница.

Пришел кузнецов сын с бородавками, так только нитку взяла, навязала на ней столько узелков, сколько бородавок было, да и бросила нитку в навозную кучу, примолвив: «Сгниет нитка, и бородавки пропадут»,— и словом-то этим что рублем подарила — прошли бородавки.

Другой парень пожелтел совсем и кашлять начал; так только живую щуку дала подержать, и желтизна прошла, как заснула и пожелтела сама щука.

За одним лихоманка увязалась на покосе, да случилась Матрена и только лягушку за пазуху кинула и холодной водой облила — отвязалась болесть и забыла о парне.

У мужика ноги отнялись на пожне, так что и ступить нельзя было — Матрена только в муравьиную кучу посадила ногами и тут же получила гривну медью, потому что опять пошел больной подбирать серпом ржаные колосья.

С грудным парнишком солдатки собачья старость приключилась — стало парня сушить в щепку, в соломинку; Матрена пришла, когда печи топились, и только

посадила парня на лопатку да три раза всунула в чело, и не успела мать третьего раза взвизгнуть, парень был готов и вскоре пошел на поправку.

У старостина брата зубы не давали спать ночей и лицо уже вздуло горой, а пришла Матрена да только рябиновый сук расколола начетверо, пошептала над ним да положила на зубы и три года не велела есть рябины — и как рукой сняло.

И действительно, в светленькую, чисто выметенную избу сироты-лекарки часто стали наведываться немощные и страждущие.

— Вот,— говорила ей одна, поклонившись куском крашенины *,— мой-то опять сблаговал. Ушел на село кро́сны * продавать, да и глаз не казал почесть что трои сутки...

— Опять, поди, запил.

— Нешто, Матренушка! На глазах-то, мать, и все бы по мне делает, а вот эдак провалится куды и пошел своим разумом... Вернулся домой-то да и лег на полу... Лей, мол, я на него воду, а то, слышь, боязко ему на глаза мне пьяным казаться. Ладила я с ним и так и сяк, и водой-то облила, и ноги велел к лавке привязать — и ноги привязала, и за волосья трепать наказал — натрепала, да уж и не выдержала, вскипело сердце — ухватила голик *, весь истрепала, невтерпеж же, мать, стало экое посрамление! Как на село — так и водись! И не дерется бы, мать, урчит только да плачет. Да поди, удержись.

— Поспособила бы я тебе его, кабы не такое хитрое дело — дорого стоит...

— Да уж не стою, Матренушка, не стою...

— Самой все надо и без меня, да и без чужого зазорного глаза. Купи ты вина ведро да двух щук достань, да живых только, и замори ты этих щук в вине-то, замори так, чтоб заснули. Подогрей это вино в печке, покрепче подогрей, да и напой этим на ночь, потом вся дурость-то и выйдет из него, и призору не будет. Да и помяни ты меня, не от худа...

— Твои плательщики, Матренушка, спасибо за совет, не сердись, родная!

И опоит баба пьяного мужика по совету Матрены и еще раз поклонится за совет прежде, чем муж снова добьется до села и разрешит общее недоумение буйным запоем. И приругает Матрену хлопотунья-жена за

неудачное пользование, но не повредит ее уже установившейся славе, разве даст только свободу языкам и пищу сплетне, но не помешает мужику-богателю поприведничать, зайти к Матрене раза два в неделю в свободный часок поплакаться:

— Попробуй-ка, Матренушка, опять нешто в боку-то заломило, не то в правом, не то в левом...

И знает Матрена, что врет богатель, на небывалую хворость жалуется, но осматривает его и выговаривает полтину медью.

— О том не стоим! Что нам полтина? Хворость бы отвязалась. Вот-вот, ровно бы тут защемило, словно бы иглами колет. Вечор с голбца на полати перелезал, и ухватило поперек-то — еле отдышался!

И мнимый больной напьется по совету Матрены ромашки на ночь, и велит себя вытереть солью с вином, и опять придет к ней от нечего делать, и опять принесет полтину и на глаз ей укажет:

— Посмотри-ка, Матренушка, не песьяк ли вскочить хочет?

— А вели-ка ты, Еремей Кузьмич, старшенькому-то парнишке ячменек проколоть да и показать ему кукиш: «Ячмень, ячмень! Вот, мол, тебе кукиш, что хочешь, то и купишь, купи себе топорок, пересекися, мол поперек», да и проведи по ячменю-то пальцем.

С бедным, со слабеньким значением в деревне привередником Матрена поступает иначе. Пожаловался мужичонка на боль в пояснице, да сказывает про болезнь не то, что надо,— Матрена отворит избу. Выберет баб да ребят молодых, велит им шибче смеяться, чтоб было веселей боли выходить из тела, и положит привередника поперек порога. Накладет ему на спину из голика прутьев и начнет тяпать по прутьям косарем да приговаривать, а привереднику велит петь песню, какая только на ум попадет, и сама смеется.

Встает привередник и гладит спину:

— А никак, Матренушка, и впрямь легче стало!— и похвалит ее пятому и десятому: сам при своем, и лекарка не в накладе.

На серьезных больных Матрена и теплые хлебы накладывает на поясницу, и горшками накидывает, и бьют освирепелые больные от невыносимой тяготы горшки эти о первый попавшийся угол, и бранят Матрену, словно виноватую, но при первом же случае кланяются ей и

маслом и яйцами и других посылают к ее же досужеству. И какая бы болезнь ни была, у Матрены всегда найдется снадобье. Но ни один больной не разделается с болезнью без того, чтобы не пропарила она его до самого нельзя в бане, не напоила бы его круто посоленным, не натерла бы перцем, хреном или редечным соком.

У одного шибко голова болит, и упорно держится в ней целый содом всяких дрязгов — болезнь всегда неприятная; Матрена и над ней не задумается: поставит на стол горшок с киноварью и угольями, посадит больного, накроет его теплым и велит разинуть рот и дышать тем паром, который лезет из горшка. Иной раз и удавалось. А случалось когда несчастье, задыхался мужик — знать, сел в час недобрый, знать, присмотрел за ним недобрый глаз, а за ней самой вины совсем никакой нет.

Не всегда с делом и за делом собирались в избу Матрены мужички, но просто и посудить-покалякать. Матрена и тут не терялась в ответах.

— Вот, красавица ты наша,— заговорили соседи,— корчи теперь эти в человеке живут, ведут они тебя всего, как есть всего выворачивают, отчего бы это такая притча состоялась?

— Это от нечистого духа,— ответит Матрена,— да от другого недоброго человека, который умеет след человечий с земли поднимать. Поднимет след — начнутся корчи. На такое дело надо взять ковш да накласть туда угольев горячих да на щепотку соли. Тут сказывай над ковшом этим наговор такой, какой надо, и с тех твоих слов вся эта корча и судорога на тебя идет; с больного-то, значит, на себя переводишь. Затем в этот ковш-от воды наливаем и прыщем на больного раз либо два. Позевнул — полегчело.

Вообще Матрена всегда охотно сообщала все то, что знала про секреты колдунов, на том основании, что колдун и знахарь не одно и то же. Если колдун продал душу свою и знает черта, то знахарка боится черта, и черт ее не любит, как и всякого другого крещеного человека. Если кликуш, у которых сто бесов животы гложут, не возьмется вылечить колдун, то ей, знахарке-доке, тут и рук прикладывать не к чему. *Дознаемой,* впрочем, молитвой да *умелым* наговором бегут и от знахарки разные людские житейские напасти. Оттого-то и идет

к ней за советом и помощью весь православный люд и просит научить опахать на голых девках деревню, чтобы не падал скот, как муха, и у них, так же, как и в соседних сельбищах.

На Васильев * вечер придут боязливые бабы к нашей же Матрене просить смыть у них в избе лихоманку, слепую и безрукую старуху, что залезает в избы и ищет виноватых. Матрена придет на раннюю зорю, чтобы не видал только никто из мужчин деревенских, прихвативши с собой четверговой соли *, золы из семи печей и земляной уголь. Встречают Матрену с хлебом-солью и ласковым приветом хозяйки. Матрена не входит в избу и обмывает сначала косяки дверей, а потом потолок снадобьем и вытирает чистым рушником, чтобы не было где уцепиться проклятой старухе.

На день Трех Святителей * Матрена смиряет домовых в своей деревне: режет в глухую полночь черного петуха, выпускает кровь его на голик и выметает этим голиком все углы на дворах, где любит жить этот мохнатый старик-капризник, обратившись всегда лицом к стене и никогда, впрочем, никому не видимый. Смирят домового — перестанет он и скот мучить, и хозяев давить за горло, и творить другие свои неладные шутки.

На Василия-Капельника * ребята часто от овечьей одышки в брюхо растут, и тут нужда в Матрениных оговорах и помощи. На Марью Египетскую * Матрена строго-настрого велит угощать водяного — бросать в глубокий мельничный омут яшные пироги — сгибни, за два дня до Егорья вешнего * она учит окликать на могилках родителей, со Сретеньева * дня наказывает она не спать по вечерним зорям, чтобы не приставала кумаха-трясовица.

На Ивана-Купальника * в жаркое лето она траву купальницу собирает против того же нечистого духа, который любит пугать по зорям нескладным криком своим косцов на покосах и жнецов на пожнях; на Прокофья-Жатвенника * в синюю склянку она собирает росу по зорям для излечений очных призоров и стрелы в виски; на Илью-Пророка * собирает дождь для той же цели и против всякой другой вражьей силы. А когда на первого Спаса * замрут до ранней весны ведьмы, Матрена учит мужиков поить лошадей с серебряной монеты из шапки, чтобы не приставал к ним во всю зиму ни

мокрец, ни столбняк, ни сап изнурительный. На Усекновение главы Предтечи* наказывает щей не варить из кочанной капусты затем, что кочень капустный, что голова, круглый.

На Андрея Первозванного* Матрена прислушивается к воде и сказывает по стону ее, какое будет лето, будут ли метели зимой, бури, морозы крепкие и иные разные беды. За два дня до нового года гадает она о земле на свиной селезенке и сказывает, долго ли, коротко ли затянется весна-красна и будущее жаркое лето.

Короче, ни одна из житейских примет, выжитых вековыми опытами, не прошла мимо Матрены-знахарки без заметки и внимания. Некоторую часть из них сообщила ей мать-знахарка, прожившая, потолкавшаяся между людьми не один десяток лет; большая часть пришла к ней с ветру частью от баб-соседок, частью от старух-нищенок, которых она любила прикармливать и которые бог весть где не побывают на своем сиротском веку, бог весть где и чего не вызнают, не выслушают. Раз выслушанное и поверенное личным опытом становилось для Матрены навсегда законом, не имеющим никаких сомнений и исключений. Если на чем и случалось ей споткнуться впоследствии, она и тут не задумывалась.

— Никто как бог,— говорила она,— все в божьей власти, а чему быть — тому не миновать. Все божье дело, к всякому делу человечьему разуму нельзя приступаться. Не сталось сегодня — станется завтра, и наш бабий век не клином же сошелся. Терпи и надейся!

И все-таки Матрена не оставалась в накладке — круглый год у ней прибыль. Большего почета никому нет в деревне. Она и на именинах не на последнем месте и не с остаточным куском, а крестины где — она первая в пиру и почете. К ней о всякой болезни с советом, о всякой невзгоде мирской с поклоном и приносом.

— Не житье Матрене — масленица!— толковали соседи.

— В шугаях* штофных ходить начала по праздникам, платок — не платок, лента — не лента, даром что обойденная, немужняя жена! — говорили соседки.

— На всякое, мать, счастье в сорочке надо родиться.

С дуру-то начнешь — дуростью кончишь, талант, стало быть, от бога вышел за ее долготерпенье да обиды! — решали облагодетельствованные ею нищенки-старушонки.

— Пущай и злиться перестала теперь — не ругается так, как в ономяняшную пору!

— Взыскана теперь — зачем станет ругаться? Кузнец Гаранька, слышь, позарился, свахоньку засылал, да Матрена и след той навсегда заказала. «Мне, слышь, теперь хомута-то мужнина надевать не приходится. Сама, мол, стала в вольной воле. А ты ему, косому черту, и на лбу запиши и всем накажи: ко мне-де теперь дорога заказанная, всякими-де она крепкими наговорами зачурована».

— Так вот она ноне баба-то какая стала! — решили соседи и мало-помалу забывали о прежних несчастиях и неудачах Матрены, начиная видеть в ней нужного, а потому и дорогого человека.

— Сватьюшка! Матренушка-то знахарка баню новую приговорила рубить...

— Богоданная! У Матрены-то криворотой навес на дворе настилают новый, подкаты под избу-то новые ладит!

— Дьякона Арсения от запоя вылечила, у матвеевского плотника — Лукой звать — ногу вправила: опять работает, здоров.

— К управляющему на усадьбу возили, кровь отворила не хуже, слышь, коновала доброго!

— Эка баба, экая лихая баба: и к сиротам податливая, и к нищим призорливая, и к церкви усердная — не колдунья какая. На ворожбу ни на какую не подается, не гадает на картах, цыганское, сказывает, это дело, не мое, сиротское!

Вот уже что говорили в одно слово соседи и соседки года два спустя после того, как обзывали ее недобрым словом.

Деревенский люд незлопамятен, а обзыв да покор не считают грехом, причастные и сами этой слабости, по пословице: «Брань на вороту не виснет, на нее слово купится, да так прахом и минуется».

Сделавшись знахаркой, Матрена не отказывается и от повита и с прежней заботливостью старается не разглашать по соседям, что вот та-то баба мучится родами, чтобы легче разрешилась роженица.

По-прежнему советует родителям давать новорожденному имя первого встречного человека, чтобы не было ему тяготы и невзгоды в предстоящей жизни; ко всем приветливая, всякому готовая на услугу, Матрена вызывалась из дальней деревни съездить к попу за именной молитвой с шапкой. Поп читал ей молитву эту в шапку, произносил имя первого встречного в пути Матрене человека. Привозила Матрена эту шапку в избу роженице, вытряхивала имя и молитву из шапки и вполне убеждена была, что тем спасала всех, присутствующих при обряде и дотрагивавшихся до поганой роженицы руками, от осквернения. В последнее только время стала она отказываться от подобных поручений и прежде всех обряжала подводу, чтобы везти новорожденного прямо на село. Говорили соседи потом промеж себя, что Матрену выстегали за то на становой квартире больно шибко, что тут был благочинный и старик поп, который давал молитвы, что наказывали Матрене напредки не делать эдак.

— И пригрозили кандалы надеть и между солдатами по столбовой прогуляться в непутное место, что острогом зовут да каторгой прозывают. А деньги, что нажила про себя, все отобрали да еще наказали через год принести столько же! — подтвердил сотский говор и молву народную.

Соседи покручинились и про себя и с Матреной вкупе, Матрена повыла-поплакала горько, но устояла-таки на своем и жила опять своим ремеслом — не кручинилась.

И крута гора, да сбывчива, и лиха беда, да забывчива — говорит пословица. У Матрены пошло дело опять своим чередом — дорогой торной, прямым путем.

Матрена любила между делом и посудачить — не идти же ей наперекор со своим делом бабьим.

— Вот,— говорила ей вестовщица, та же побирушка-нищенка, которая подняла ее на погосте,— за Осеновым Митюхино выгорело: ребятенки репу пекли, да и набаловали в овине.

— А не обрубай они соседским коровам хвосты, не мешай они соседским поездам *, не кори девок горшками на свадьбах, не пачкай ворот дегтем...

— Все-то, мать, избы испелило, десять животов сгорело, махонького парнишку еле вытащили живехоньким.

И жара-то какая, кормилка, была — словно из печи парило... Думали все, что светопреставление... Сам становой наезжал!

— Чай, пойдут на погорелое место просить?

— Вестимо, родимая, народ-то ведь все господской был, на овчинах стояли, да все, слышь, красавица ты моя, погорело... И первохристосные яйца бросали — не помогло, и молоко лили — не лучше стало. Старушонка тут у них жила, Ориной звать, так и ту в избеночке-то ее захватило. Кинулся народ-то: «Батюшки, мол, Оринушка-то сгорит!» Ан из избы-то, мать моя, ни словечка не слышно, хоть бы те что... Знать, мол, задохнулась, захватило дыханьице-то. Да швецы на ту притчу случились в деревне — народ-то, знаешь, боевой, один и выискался — Мартыном молодца звать — и кинулся к избушке-то. «Простите, мол, православные, мою душеньку! Не погибай-де, слышь, душа человечья на моих глазах; либо-де сгорю, а душеньку,— говорит,— спасу». Да и вломился в огонь, то индо, мать моя, зашипело что, и вытащил старушоночку, Оринушку-то эту, и вытащил сердобольную... Живехонька!.. Народ-то весь, моя мать, и шапки снял, стал креститься да кидать молодцу гроши да пятаки. Сам становой серебряный гривенник дал да по начальству, сказывали, отписать хотел. «Дадут, мол, тебе и больше супротив того». Да обгорел Мартын-то, всю-то рожу опалило, пузырей наскакало и невесть какая сила!.. Куды шибко обгорел...

И нищенка медленно покрутила головой и прослезилась.

— Пришел бы ко мне — поспособила!.. А не то ведь и самому не какая хитрость лапушнику-то нарвать да и обложить рожу-то с маслом...

— То-то, желанная ты моя, тебя-то я тут и вспомянула: вот как бы, мол, божья раба Матренушка-то наша была здесь — отдохнул бы молодец, желанная-то, мол, моя не поспесивилась бы — помогла. А пойду-ка, мол, к ней да поклонюсь, не изломала ли де кручина-то ее, да и ниточек-то, мол, попрошу: армячишко заплатить. Знаю, смекаю себе, не откажет душа ее добродетельная сироте бесприютной!.. Наградит ее Тифинская Пречистая!.. Сама... сирота...

Последние слова нищенка выпевала громко уже посреди судорожных всхлипываний, но, конечно, не оставалась в накладе — старый кафтанишко в заплатах за-

менился хотя и подержанным, но еще крепким, а ниток получила целую пасму.

Матрена знала, что старуха, бродя из деревни в деревню, разнесет об ней молву как об лучшей лекарке и сторицею заплатит ей за подарок.

Дело повитухи справит, пожалуй, легко и удобно всякая баба. Матрена повитом не много бы взяла, ухватила бы ее нужда поперек живота, если б не помогли ей первые удачи в знахарстве и сердобольные нищенки, в беседах с которыми она находила и отраду и заручку. При помощи их рассказов в самых дальних деревнях стали знать о Матрене. Правда, что нечасто берет недуг неладно скроенного, но крепко шитого русского человека. Правда, что сильны и тяжелы исходом и последствиями те недуги, какие ложатся на могучие плечи простого человека и, старея со дня на день, делаются по большей части неизлечимы до гробовой доски. Правда, что надежда больного не покидает до последней минуты жизни и он продолжает искать искусного человека, который бы мог дать такого снадобьица, чтобы болезнь заморило. Правда, наконец, что твердо знает всякий мужичок о том, что нет того города, где бы не жил такой присяжный искусник, который лечит от всех недугов и за то носит пуговицы светлые, чиновником зовется и в уезд наезжает все на мертвые тела.

— Да как ты к нему приступишься?— думает мужичок.— С медяками-то ржавыми к нему не пойдешь, а серебро-то по карману не черт же сеял, бумажных денег и по полугоду не доискиваешься. Да и на какого человека попадешь — иной тебе и говорить-то по нашему не умеет; ни он тебя расспросит, ни то место больное нащупает. Снадобей-то всегда забывает прихватить с собой и отсылает за ними в город. И не диво бы в город съездить про свой живот, кабы пора не рабочая, да коли б и снадобья-то эти сподручнее были, а то жгут, больно жгут и карман и спину. Кладут там нашего брата в больницу такую, где только за выписку берут деньги да за харчи, какие ты там поешь, а попробуй-ка полежи там подольше да расплатись с ними на чести — в избу-то свою и не заглядывай — волком взвоешь, все там быльем порастет, собаки ложки моют, козы в огороде капусту полют. А давай-ка нам знахаря поближе, да такого, чтобы его руками-то ухватить было можно, чтобы за приход-от либо пасмой ниток, либо пахтаньем,

либо новиной какой, а не то — коли и денег выпросит — так полтиной медью и себе бы и ему удовольствие можно было сделать. Это вот по-нашему, по-крещеному. А то светлых пуговиц до смерти боюсь, ну их!.. Эти же к тому немчи — нехристями такими смотрят, что нашему брату, православному человеку, и подступиться боязно. А гляди — как ты тут ни судачь, ни ворочай — по знати-то, да по старой памяти, что по грамоте — и полезно и никому не обидно. Сказывали бабы: в которой деревне Матрена, что божьи-то люди хвалили, живет?

Идут к Матрене и мужики и бабы больные, и последним подчас легче, потому что Матрена и ласковым, обнадеживающим словом найти и приголубить умеет всякого и потому еще, что тех больных, которые подошли крепко и немогутны стали, она не поскупится у себя в избе оставить и станет ходить за ним, что за своим роженым детищем. Да и Матрена не в накладе от своих больных и советчиков. Запасы свои она продает на чистые деньги офеням-ходебщикам да прасолам-булыням *, ест она не свое, а дареное, житье ее что сыр в масле: кроме прибыли ничего не видать ни с какой стороны.

Раз порастрепал ее, сказывали, становой по наговору городского лекаря и пригрозился ее в острог запереть, так только с год у Матрены изба новая некрытой стояла, да жалобилась девка недель пять кряду своим соседям, что нонче-де житье сиротское еще горше стало, чем было прежде, что и народ-то беднее стал, деньгами-то ей за знахарство и носить перестали и только. Через год — не дальше — изба ее все-таки стояла такою приглядною, новою, чистота в ней соблюдалась такая, что и у иного помещика не отыщешь: на Рождество Матрена все стены мылом мыла, в великий Четверток к Пасхе весь пол ножом выскребала. Дивились мужики толковости и находчивости Матрены и упрекали ею своих баб:

— Смотри, нечесы, в избе-то у нее словно рай цветет. Просто так посидеть, так в удовольствие тебе и в веселье. Про снадобья-то у ней шкапчик эдакой зелененький, а и там, что в лавке городской, таково приглядно... Все хорошо, все благовидно, одно слово сказать, чай начала пить купецким делом, и разговоров не надо...

Позднее, гораздо позднее, когда уже Матрена при-

обрела значительный навык в лечении болезней, привелось ей попечалиться на тот общий недуг, которым давно уже, хотя и излечимо, болит простой русский люд. Матрена была неграмотна и, не имея случая подумать об этом, жила себе, горя не ведая, до той поры, пока местный грамотей-доточник не принес ей писанной книги, значительно засаленной и измызганной. Прочел он ей заглавие. У Матрены и глаза разгорелись: «О травах различных вкратце, на каком месте которая трава растет и какова ростом и цветом и к чему которая трава угодна, и о болезнях вкратце». Понеслись мимо ушей Матрены лакомые, соблазнительные заголовки: вот средства от зубов, от угрей, от лишаев, у кого ум или мозг порушится, буде кто не спит, у кого очи свербят, о сверчке у кого в ухо зайдет, аще кто храплет, у кого волосы в гортани растут, у которого человека битого кровью заимет у сердца.

— Прочитай-ка, прочитай, кормилец, экое место,— перебила Матрена.

— Добудь десять раков,— читал грамотей, заручившись полуштофом угощения,— истолки и процеди и того отвесь три золотника, да крови козлячьей семь золотников, смешай все с пивом и пей по разу.

А как жена долго не разродится,— продолжал грамотей на соблазн повитухе.

— Выпей-ка еще на здоровье да читай, что пониже этого значится,— приговаривала та, жадно следя за глазами читающего и вся превратившаяся в слух и внимание.

— Напиши на бумаге ирмос «От земнородных», кто слышал таковая, весь до конца и привяжи на голову или под пазуху — скоро бог дает.

От зубов,— читал грамотей,— поймай воробья живого и выколи у него зеницу и положи на зубы и зубы тем мажь. От икоты — грызи капусникова коренья; сердце икать перестанет. Огнь в очах — излови во исходную пятницу зайца живого и вынь из головы мозг и тем мажь очи. Сие сотворил лекарство Адам, праотец наш. От уразу и от побоев — емли траву чабру и парь в вине, и пей на дщее сердце (натощак).

Есть трава именем Архангел, собою мала, на сторонах по девяти листов, тонка в стрелку, четыре цвета: червлен, зелен, багров, синь. Та трава вельми добра: кто ее рвет на Иван-день сквозь златую или серебря-

ную гривну и та трава носит, и тот человек не боится дьявола ни в ночь злого человека; аще на суд пойдет — одолеет супротивного, и цари и князи любят его и всякие люди. А корень ее добр: у которой жены детей нет, то истолки в молоке и дай пить, то конечно будут дети, или порча за тридцать лет здрава сотворит, исцелит. *О купальнице:* до солнечного восхода встань и будь чист, а копать руками без дерева, а говорить: «Господи, помилуй» 100 раз, а потом: «Аминь», а она вынять из земли перекрестись, а взять тремя персты правой руки, да левой один большой, и поцелуй траву трижды, а корень ее пятью и обвей златом или атласом или камчатным лоскутком, и держи в дому твоем, на путь ее с собой емли, и на войну, и на суд, и в пир, и от ведунов, не будеши испорчен. Есть трава именем глава Адамова, растет возле сильных раменных болот кустиками по пяти и по шести и по десяти листов вместе, высотою в пядь, цвет багров, иной рудожелт, а как расцветет — ино вельми хорош кукшинцами, всяким видом, и ту траву рвать с крестом Христовым и говори: «Отче наш» и псалом 8, а кто не имеет грамоты, да сотворит 300 молитв Иисусовых, и принеси ту траву в дом свой и который человек порчен да пьет — здрав будет, а кто хочет дъявола видеть или еретика, то ту траву пей и корень освяти водою и положь в церковь на престол и как минет 40 дней и ты носи при себе и узришь воздушных и водяных демонов, а кто хочет мельницу ставить — держи при себе — вода стоит, где хочешь, или церковь ставить — положь на землю ту, а как ранят человека и приложи, и та трава именуется во многих травах царь-трава.

Вот те три великие, заповедные, зачурованные от непосвященного глаза тайны, без которых не смеет умереть ни один доточник, ни одна знахарка, не передавши ее при приближении смертного часа кому-нибудь из приспешников и притом при смертной клятве на родных и знаемых, на кровных родителей, на свою утробу богодатную, на свои кости от ребра Адамова. В противном случае затаивший или не успевший передать при жизни эту тайну другому надежному человеку и по смерти не найдет покоя: станет подниматься в глухую полночь из гроба, выходить из могилы и плакаться человеческим плачем и голосом и изнывать на всех тех местах, где

сотворил какой-либо из семи смертных грехов. Будет пугать тот мертвец всякого живого человека до той поры и времени, когда найдется смелый и умелый, чтобы переложить мертвеца в гробу навзничь, подрезать мертвому пятки и вбить ему в спину между лопатками осиновый кол.



Из книги
„ГОД НА СЕВЕРЕ“



ПОЕЗДКА В СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

Шумливо бежит в недальнее море порожистая, неширокая река Кемь, извиваясь прихотливыми коленами, обставленная высокими гранитными берегами; бойко бежит по ней и наш карбас, подгоняемый крутым, не на шутку расходившимся юго-западным ветром. Недавно оставленный нами город Кемь то закроется от нас ближней *варакой,* высокой крутизной каменного, бесплодного берега, то покажет, как бы для последнего свидания, часть деревянных домов дальней набережной, то Леп-остров с его деревянной церковью древней постройки. Наконец, он совсем пропадает из виду, когда уходят далеко вправо и влево берега реки, на этот раз какие-то низенькие, какие-то черные, мрачные с виду. Казалось, что вот сейчас же разольется перед нами громадная ширина Белого моря и начнут метаться, одна на другую, крупные, соленые, для непривычного страшные с виду, волны. Как будто нарочно для этого и правая крутизна ближнего мыса, затянувшись туманом, отошла далеко назад. Самый ветер надувал наши два паруса полнее и крепче; чайки выкрикали чаще и тоскливее; море ширилось все больше и больше и бросало в нас уже крепкосолеными брызгами. Мы находились в настоящем море и почти открытом, если бы не выступали направо и налево высокие, словно обточенные, скалистые и щелистые острова из группы Кузовов. Дальние краснеют тускло, как будто надрезанные, прохваченные снизу полосой воды, как дальнее облако, неподвижно врезанное в серый горизонт. Ближние из них ярко выясняются грязным, сероватым гранитом с прозеленью тщедушного сосняка, с прожелтью выжженной солнцем, выцветшей травы, ягеля (оленьего моха), листьев ягоды вороницы и морошки. Некоторые из этих островов не кажут ничего, кро-

ме камня, темного цвета выбоин-щельев и потом опять камня серовато-красного и серовато-желтого. На одном из них прицепилась избушка-таможня.

— Это Попов-остров,— объясняет кормщик.— В избушке солдаты живут. К ним приставай всякий, кто с моря едет, и показывай им, не везёшь ли чего из запретного: рому норвежского, чашек чайных, сукна, а либо чего из прочего. Да наши молодцы такие, что и за Кильяками (островами) встанут, не что возьмешь — далеко ведь... Туда досмотрщику несподручно ехать, хоть и карбаса есть у них, и багры, чтобы за чужой карбас ухватиться. Спасаемся же!..

— А вон, гляди, этот остров!— продолжал мой кормщик тогда, как выровнялась новая гранитная скала, несколько бо́льшая против других соседних.

— Ехали наши ребята на карбасе три человека: богомольцев везли к угодникам. С ними женок штук до пяти было — и все тут. А на ту пору у нас этот *аглечкой*-то * бродил да обиды всякие делал. Едут вот наши ребята — едут, едут наугад, авось-де со врагом с супостатом и не встретимся, и проедем, и святым угодникам молитву воздадим. Ладно — с тем, стало, и едут. Ан глядь-поглядь, из-за одной луды * в Кильяках словно бы дымок показался. Стали всматриваться — дымок и есть. Наши ребята этак взяли в сторонку рулем и стали заходить правее за луду: там-де встанем, переждем на лютый час, пусть погуляют, проедут. Ружья у них и были, пожалуй, так, вишь, женского-то полу набралось — дери их горой! Ну вот — хорошо! Слушайте! Обогнули наши молодцы луду ту, пристали. На гору подниматься стали, поднялись — посмотрим, мол, далеко ли супостаты. А они тут и есть под горкой: кто в растяжку, кто стоя, трубочки покуривают, кто как... Насчитали наши ихнова народу, надо быть, сказывали, человек до тридцати. Как, слышь, увидали наших на горе — взболобольками по-своему да как кинутся под гору назад — так, слышь, только пятки засверкали. А нашим-то и любо; стоят да глядят, что дальше будет. Бегут аглечкие к шлюпке — отчаливать тормошатся, весла хватают... Один оступился, в воду попал — что бык взревел! Так и удрали, так и удрали на свой пароход. Наши после них пистолет нашли, цыгаров, спичек хороших таких, ни одна не пропала, а горела, что тебе восковая свечка... Таково-то хорошо, ей-богу!..

Нам завязалось поветерье. Карбас, несколько накренившись на бок, бежал довольно спешно, бойко рассекая несильные, но частые волны. Мы продолжали ехать между островами, оканчивая то тридцативерстное пространство, которое занято ими, начиная от устья реки Кеми. Остальные тридцать верст (изо всех шестидесяти от города до монастыря) идут уже *полым,* по-здешнему, т. е. открытым, свободным от всяких островов морем.

Хорошо было сидеть мне в чистеньком таможенном карбасе, предложенном мне предупредительностью доброго кемского городничего. Род каюты, навес над кормою, сделанный наподобие кибитки, обит был зеленым сукном; тем же сукном обиты были и скамейки по сторонам. На полу подостлана была шкура белого медведя, мягкая, удобная для леганья и сиденья. Навес не угрожал ударами по голове, как во всех других поморских карбасах, лаженных кое-как, только бы сошло дело с рук. Там сквозной ветр дует безнаказанно, там от дождя навесы не спасают, и всегда одолевает одуряющий запах трески, которою запасаются девки-гребцы. Здесь на этот раз ничего из подобного не было; даже и женщин-гребцов заменили на этот раз шесть мужиков, сильных на руки, бойких и острых на язык. Они подобрали весла и, по обычаю всех архангельских поморов, тотчас же принялись за еду. Несутся в мою будку отрывки их разговоров.

Один сообщает прочим, что он вот уже пятый раз в нынешний год ездит в монастырь и съездит, может быть, и еще четыре раза.

— Чего ж больно так разохотился?— спрашивает его другой гребец.— Али весело очень, в привычку вошел?

— И в привычку вошел, и усердие имею: я и в запрошедший год два раза был там, хоть и аглечкой бродил — небось не побоялся. Я ведь более по портному делу, на монастырских работников жилетки шью: любят очень. Поживешь на острову три дни положенных, жилеток до пяти и обработаешь. А деньги особь и за греблю, и за шитье получу; вдвое, стало быть, в барышах и бываю...

— Стало, тебе там и помолиться некогда?

— Какая уж тут тебе молитва? Известное дело!

Слышатся новые толки. Тот же портной сообщает товарищам, что монастырь выставляет бочку дегтю да-

ровую для того, чтобы богомольцы могли смазывать свои сапоги.

— А велят ли сапоги-то мазать?— робко, сдержанным голосом спросила его кемская женка, упросившая нас взять ее с собой.

Портной посмотрел ей на ноги: баба была в сапогах.

— Да хоть голову мажьте, коли *усердие* есть!— отвечал он ей и набил трубочку, коротенькую, прожженную и окуренную до безобразия и постоянной воркотни.

Почуялся прогорклый, неприятный запах махорки. Портной высосал трубку в два приема и очумел, вытаращив глаза, которые на этот раз сделались какими-то оловянными и бессмысленными. Вероятно, в это время он испытывал неземное наслаждение, потому что улыбка, до того времени не сходившая с его лица, на этот раз сияла полнейшею, двойною радостию.

— Нечистый вас, братцы, ведает, как это вы в экой дряни смак находите, будь вам пусто!— послышался голос кормщика.

— Да ведь это кому как, Гервасей Стефеич. Иной, пожалуй, вон из одной-то чашки с тобой и пить не станет, а все свою носит. Так-то!

— Да ведь из головы блудницы зелье-то это поганое выросло,— заметил было кормщик грубо-сердитым тоном.

— Это, брат Гервасей Стефеич, по книгам ведь. А по мне, коли водки в кабаке выпить захочешь, в артельной чарке она завсегда слаще бывает. Я не брезглив: по мне, коли водку пить, так и из ошметка хорошее дело. Верь ты моему слову нелестному!..

Кормщик замолчал на убеждения соперника. Но не молчал этот:

— Ты это знай, Гервасей Стефеич, что табак бодрости придает: в нем сила... Ты посмотри — вон и его высокородие сигарочку закурил. Стало, это хорошо, вон оно што!..

Кормщик хранил уже после того упорное молчание.

Остряк заглянул ко мне в будку:

— Ваше высокородие!

— Что хочешь сказать?

— Вот вы теперича изволите в обитель преподобных в первый раз ехать?

— Да.

— А знаете ли, какие там дивные дела случаются?

— Нет, не все знаю.

— На зиму, изволите видеть, месяцев на восемь острова Соловецкие совсем запирает: на них тогда ни входу, ни выезду не бывает во все это время. Сначала мутят море бури такие, что и смелый и умелый не суется. Попробовал архимандрит за почтой в Кемь послать — все потонули. С октября месяца у берегов припаи ледяные делаются. Так ли, братцы?

— Припаи верст на пять бывают от берега,— подтвердил кто-то.

— Бывают и больше. Вот на ту пору ветры морские, самые такие крепкие, зимние от припаев этих ледяных льдины, торосья такие отрывают и носят, что шальных, из стороны в сторону. Промеж льдин этих не протолкаешься: изотрут они утлый карбасенко в щепу.

— А Михей-то Назаров в четвертом году пробрался!— заметил кто-то.

— Ну, брат, ты мне про это не рассказывай! Про Михея Назарова закон не писан: он ведь блажной. Головушку-то свою где-где он не совал, он ведь, брат, зачурованный. Его и на том свете черти-то голыми руками не ухватят: такой уж!

Все засмеялись.

— Так вот я к тому речь свою веду, ваше высокородие, что монастырь на всю осень, на всю зиму, на всю весну заперт бывает; никаких таких сношений с ним нет. На ту пору они арестантов из казематов выпускают — которые гуляют по монастырю, которые в церковь заходят. В мае (рассказывают монахи), как начнет отходить земля, побегут с гор потоки — прилетает чайка одна сначала, передовая. Сядет она на соборную колокольню и кричит долго-предолго, шибко-прешибко; покричит часок, другой, третий — улетает. Дня через два — через три налетает этих чаек несосветимая сила, проходу от них нету, сами увидите! живут они на острову все лето, детей (чабарами зовут) тут же и выводят. Монахи и богомольцы их хлебом кормят, и чайки эти совсем ручными делаются, а ведь пугливая, дикая птица от рождения. Вот вам и первое диво!

Все гребцы при этих словах переглянулись. Портной продолжал:

— Осенью прилетают вóроны, с чайками драку затевают. Идет у них тут кровопролитие большое, чаек много бывает побито. Чайки улетают с острова все до

одной, остаются хозяевами вороны во всю зиму, а по ранней весне и они тоже улетают, тут драки не бывает. Так ведь вот диво-то какое!

Острова, между тем, стали заметно редеть; быстро уходили они один за другим назад. Крепкий ветер гнал нас все вперед скоро и сильно. Сильно накренившееся на бок судно отбивало боковые волны и разрезало передние смело и прямо. Выплывет остров и начнет мгновенно сокращаться, словно его кто тянет назад; выясняется и отходит взад другой — решительная груда огромных камней, набросанных в замечательном беспорядке один на другой, и сказывается глазам вслед за ним третий остров, покрытый мохом и ельником. На острове этом бродят олени, завезенные сюда с кемского берега, из города, на все лето. Олени эти теряют здесь свою шерсть, спасаются от оводов, которые мучат их в других местах до крайнего истощения сил. Здесь они, по словам гребцов, успевают одичать за все лето до такой степени, что трудно даются в руки. Ловят их тогда, загоняя в загороди и набрасывая петли на рога, которые успевают уже тогда нарости вновь, сбитые животными летом. Между оленями видны еще бараны, тоже кемские и тоже свезенные сюда с берега на лето.

Едем мы уже два часа с лишком. Прямо против нашего карбаса, на ясном, безоблачном небе, из моря выплывает светлое маленькое облачко, неясно очерченное и представляющее довольно странный, оригинальный вид. Облачко это, по мере дальнейшего выхода нашего из островов, превращалось уже в простое белое пятно и все-таки — по-прежнему вонзенное, словно прибитое к небу.

Гребцы перекрестились.

— Соловки видны!— был их ответ на мой спрос.

— Верст еще тридцать будет до них,— заметил один.

— Будет, беспременно будет,— отвечал другой.

— Часам к десяти вечера, надо быть, будем! (Мы выехали из Кеми в три часа пополудни.)

— А пожалуй, что и будем!..

— Как не быть, коли все такая погодка потянет. Берись-ка, братцы, за весла, скорей пойдет дело, скорее доедем.

Гребцы, видимо соскучившиеся бездельным сидением, охотно берутся за весла, хотя ветер, заметно стихая, все еще держится в парусах. Вода стоит самая

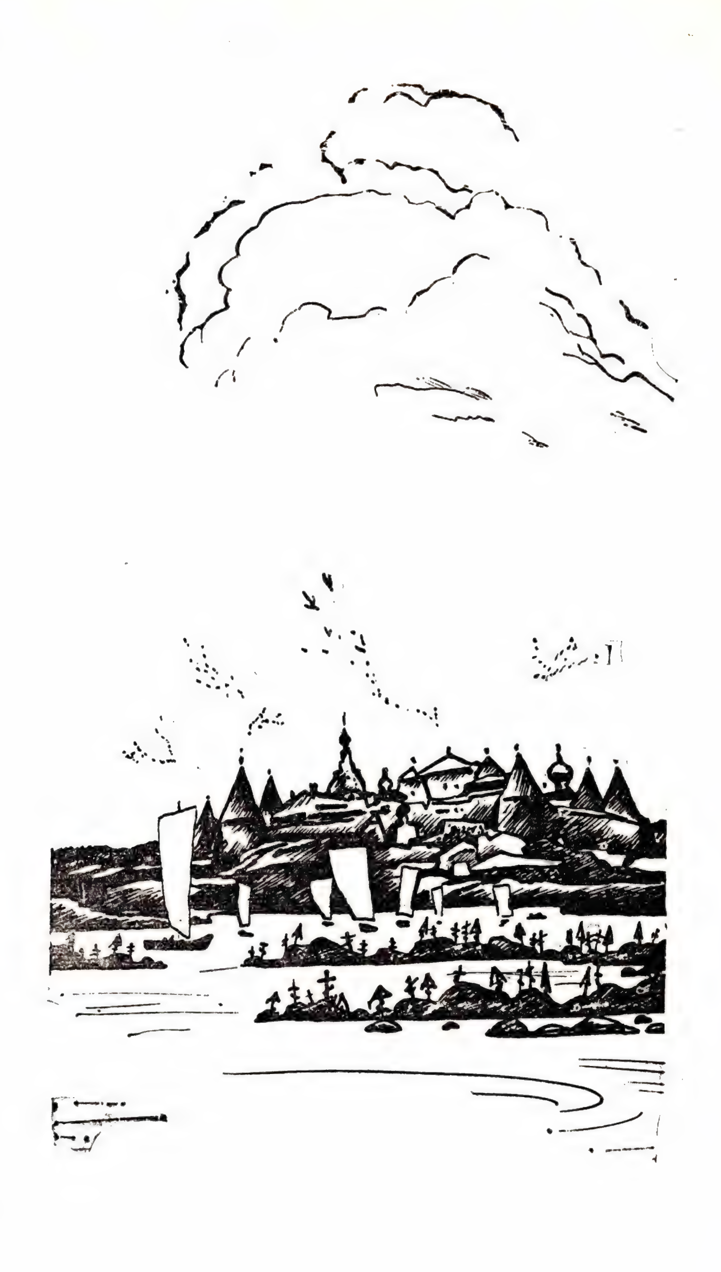
кроткая, то есть находится в том своем состоянии, когда она отливом своим умела подладиться под попутный ветер. Острова продолжают сокращаться, судно продолжает качать и заметно сильнее по мере того, как мы приближаемся к двадцатипятиверстной салме*, отделяющей монастырь от последних островов из группы Кузовов. Наконец мы въезжаем и в эту салму. Ветер ходит сильнее; качка становится крепче и мешает писать, продолжать заметки. Несет нас вперед необыкновенно быстро. Монастырь выясняется сплошной белой массой. Гребцы бросают весла, чтобы не *дразнить* ветер. По-прежнему крутятся и отлетают прочь с пеной волны, уже не такие частые и мелкие, как те, которые сопровождали нас между Кузовами. Налево, далеко взад, остались в тумане Горелые острова. На голомяни, вдали моря направо, белеют два паруса, принадлежащие, говорят, мурманским шнякам, везущим в Архангельск треску и палтусину первосолками...

Набежало облако и спрыснуло нас бойким, крупным дождем, заставившим меня спрятаться в будку. Дождь тотчас же перестал и побежал непроглядным туманом направо, затянул от наших глаз острова Заяцкие, принадлежащие к группе Соловецких.

— Там монастырские живут, церковь построена, при церкви монах живет, дряхлый, самый немощный: он и за скотом смотрит, он и с аглечкими спор имел, не давал им скотины. Там-то и козел тот живет, что не давался супостатам в руки...

Так объясняли мне гребцы.

По морю продолжает бродить взводень, который и раскачивает наше судно гораздо сильнее, чем прежде. Ветер стих; едем на веслах. Паруса болтаются то в одну сторону, то в другую, ветер как будто хочет установиться снова, но какой — неизвестно. Ждали его долго и не дождались никакого. Взводень мало-помалу укладывается, начинает меньше раскачивать карбас, рябит уже некрутыми и невысокими волнами. Волны эти по временам нет-нет, да и шибнут в борт нашего карбаса, перевалят его с одного боку на другой, и вдруг в правый борт как будто начало бросать камнями, крупными камнями; стук затеялся сильный. Гребцы крепче налегли на весла, волны прядали одна через другую в каком-то неопределенном, неестественном беспорядке. Море на значительное пространство вперед зарябило широ-



кой полосой, сталась на нем словно рыбья чешуя, хотя впереди и кругом давно уже улеглась вода гладким зеркалом.

— Сувоем едем, на место такое угодили, где обе воды встретились: полая (прилив) с убылой (отливом). Ингодь так и осилить его не сумеешь, особо на крутых, а то и тонут,— объясняли мне гребцы, когда, наконец, прекратились эти метанья волн в килевые части карбаса. Мы выехали на гладкое море, на котором уже успел на то время улечься недавний сильный взводень.

Монастырь кажется все яснее и яснее: отделилась колокольня от церквей, выделились башни от стены, видно еще что-то многое. Заяцкие острова направо яснеются также замечательно подробно. Мы продолжаем идти греблей. Монастырь всецело забелел между группою деревьев и представлял один из тех видов, которыми можно любоваться и залюбоваться. Вид его был хорош, насколько может быть хороша группа каменных зданий, и особенно в таком месте и после того, когда прежде глаз встречал только голые, бесплодные гранитные острова и повсюдное безлюдье и тишь. В общем, монастырь был очень похож на все другие монастыри русские. Разница была только в том, что стена его пестрела огромными камнями, неотесанными, беспорядочно вбитыми в стену словно нечеловеческими руками и силою. Пестрота эта картинностью и — если так можно выразиться — дикостью своею увлекла меня. Прихвалили монастырскую ограду и гребцы мои.

В половине десятого часа монастырь был верстах в двух, на которые обещали всего полчаса ходу. Ровно в десять часов мы уже идем Соловецкой губой между рядом гранитных корг * с несметным множеством деревянных крестов. Теми же крестами уставлены и все три берега, развернувшиеся по сторонам. В губе стоят лодьи и мелкие суда; могут, говорят, подходить к самой монастырской пристани самые крупные суда — до того глубока губа!

У пристани толпится кучка народу, из нее выделяется фигура монаха в затрапезном платье. Монах оказался гостинщиком. Он ввел нас в номер, который не мог похвалиться ни особенною чистотою, ни особенным простором. Говорят, что привелось бы поселиться с пятью-шестью соседями в этой узенькой, маленькой комнате и что теперь я один здесь потому только, что

богомольцев поотвалило, как объяснил мне монах-гостинщик, побежавший докладывать о новоприезжем отцу-архимандриту Александру.

Я остался один, и, бог весть, сколько темных, нерадостных мыслей пришло мне на ту пору в голову. Вот куда, думалось мне, на тот раз, забросила меня капризная, темная судьба, вопреки всех предположений и мечтаний. Это, казалось мне, грань крайняя: дальше идти было можно, но уже недалеко...

«Сию минуту (писалось мною в дневнике) ушел от меня какой-то допотопный варвар, инвалидный офицер в пьяном виде, сменивший своего предместника, который, по его словам, завтра должен был сесть на карбас и ехать в Архангельск. Много говорил он мне всякого вздору: говорил, что если он архангельский, а я костромской, то мы земляки, что солдат солдату брат, офицер офицеру тоже. Чудак принял меня за ревизора и никак не хотел верить, что я прислан от морского министерства, а не от министерства государственных имуществ, и что приехал я не землю межевать... Хорош бы этакой-то гусь явился к настоящему ревизору. И пришла же блажь для первого знакомства с монахами нализаться до сплетения языка и немощи... И вот — темная, дальняя, скучная, бесталанная сторона и безвыходная уездная жизнь: вся из однообразия, грязи, плесени и неизлечимых наростов, получивших каменистое свойство и характер гнилого чирья, переставшего уже ныть и болеть. Сердце мучится сомнением, неведением будущего, и не смеешь смеяться, и больно и стыдно за виноватого, пойманного с поличным».

— Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас! — послышался за дверью чей-то тихий припев, произнесенный тончайшим фальцетом с прибавлением ударов в дверь.

— Аминь! — отвечал я.

Явился молодой, кудрявый, сытый послушник:

— Отец-архимандрит прислали вам свое благословение: сливок, булку, чухонского масла — и просили извинить, что не могут вас видеть сегодня — они уже в постели...

Крепко заснул и я на новом месте, но рано проснулся: монастырские часы монотонно отбивают минуты. Чайки разнокалиберно, разноголосно кричат во всех углах ограды, на нашей гостинице, на берегу, на воде.

Некоторые из них летают мимо окон — и длинноносые, и с утиными носами, и серые, и белые — бездна! Криком своим надоедают невыносимо!.. Прямо перед моими глазами хмуро глядит своими выломанными окнами, с выбитыми стеклами, другая гостиница архангельская, такая же деревянная, обшитая тесом, покрашенным желтою же краской. Разница в том, что та гостиница уже необитаема, тес ее по местам ободран, углы поломаны, крыша разбита. Говорят, ее заменят новою, потому что она решительно негодна для обитания и потому что на нее-то преимущественно и устремлены были выстрелы англичан во время последнего бомбардирования. Архимандрит оставил ее в том виде для того, чтобы богомольцы, приходившие в этот год в огромном числе, могли видеть следы недавнего неприятельского погрома.

По прибрежью бродят лошади с колокольчиками на шее; ходят инвалидные солдаты; на причалившей лодье шевелится люд православный; из-за ограды белеются монастырские церкви и несется звонкий благовест, отдающийся долгим эхом. Правее архангельской гостиницы зеленеет осиновый лес, левее — березки, и видятся низенькие белые столбики второй ограды. Дальше сверкает неоглядною, бесконечною гладью море. Чайки продолжают кричать по-прежнему невыносимо тоскливо, у пристани белеет парусок — монахи ловят сельдей на сегодняшнюю трапезу. Солнышко весело светит и разливает приятную, увлекающую теплоту.

Я вышел из номера и пошел бродить подле ограды.

Тут, на прибрежье губы, выстроены две часовни: одна Петровская, на память двукратного посещения монастыря Петром Великим, другая Константиновская, на память посещения монастыря великим князем Константином Николаевичем. Вблизи их стоит гранитный обелиск на память и с подробным описанием бомбардирования монастыря англичанами.

В первый раз был здесь Великий Петр в 1694 году 7 июня. Прибыл он сюда в нарочно устроенной для него в Англии яхте с немногими приближенными особами, с холмогорским архиепископом Афанасием, недавно только спасшийся в Унских рогах от кораблекрушения. Выйдя на берег, государь тогда же приказал водрузить крест деревянный, который и находится теперь в Петровской часовне. Три дня пробыл он здесь: «В сем удаленном от мира пустынном месте младый самодержец

России упражнялся в молитве и богомыслии, а потом, по отправлении молебного пения и по одарении настоятеля со всем братством денежною милостынею, того же июня 10-го дня изволил отбыть обратно к городу Архангельскому, с милостивым обещанием всегда покровительствовать святой обители»,— говорит архимандрит Досифей в своем описании Соловецкого монастыря. Второе посещение монастыря Петром I, по свидетельству соловецкого летописца, последовало в 1702 году августа 20 дня. «Он прибыл,— говорит летописец,— на 13 кораблях и стал на якорях близ Заяцкого Острова, и была пальба из пушек, а прежде себя его царское величество изволил прислать наперед, чтобы великого государя пришествие архимандрит с братиею ожидал в монастыре, а в судах встречать не ездил. И великий государь с корабля с ближними своими людьми, не со многими изволил прибыть в боте в монастырь за полчаса до вечера и, вышед его царское величество на берег, помолился против монастыря и принял от архимандрита благословение; келарь же не со многою братиею подошли с подносом с образом, хлебом и рыбою, и великий государь благодарил и изволил сказать: «Будем у вас», а прочая братия все стояли по чину, вышед мало из святых ворот. Благочестивый же государь не подошел ко вратам, изволил идти кругом ограды монастырския на правую сторону и, обшедши, вшел святыми воротами в монастырь и изволил идти в соборную церковь — благовесту и звону не было — и в соборной церкви помолился и изволил идти в церковь к преподобным чудотворцам и тамо у гробов преподобным прикладывался, потом изволил идти в ризницу, в оружейную, в трапезу и говорил архимандриту, что «завтра кушать буду со всеми своими пришедшими начальными людьми в трапезе». Литургию слушал у преподобных чудотворцев, еже есть во вторник, потом пожаловал он, великий государь, к архимандриту в келию и благоволил в тот вечер, еже есть августа в десятый день, в понедельник, у архимандрита кушать. И откушавши, великий государь изволил отъехать, часу в шестом ночи, на корабль, а вышеписанные бояре и ближние люди ночевали в гостиной келии. Августа 11-го дня благоволил великий государь прийти слушать литургию без благовесту и звону. После соборныя службы братия отъели в трапезе, а он, великий государь, изволил войти в монастырь без

встречи и с благородным царевичем и великим князем Алексеем Петровичем, и весь его царский синклит; служил иеромонах с иеродиаконом; пели великого государя певчие по скору, по литургии слушал молебен, отпущал один священник со диаконом и благоволил на молебен дачу пожаловать и, отслушав молебен ради благородного царевича, опять изволил ходить в ризницу, и в оружейную, и в прочия службы, и благоволил великий государь в трапезе кушать, и благородный царевич, и при нем ближние люди и начальные, а кушанье приспевало все монастырское и питие, а потчевал архимандрит, келарь и казначей и от братии первые. Он, великий государь, и благородный царевич сидели купно с бояры и с ближними людьми и, откушав, благоволил по монастырю ходить, по тюрьмам, и благоволил быть у архимандрита в келье до отдачи часов и отбыл его царское величество и с благородным царевичем на корабль ночевать». 12 августа Петр Великий был в монастыре уже без царевича, осматривал с ближними Вараку (гору) и поздно уехал на корабль. 13 с корабля не съезжал. 14 августа он опять приехал в монастырь, слушал всенощную и сам стоял с певчими на правом клиросе и пел басом. После рассматривал он грамоты, жалованные монастырю; архимандриту Фирсу повелел носить мантию со скрижалями, посох с яблоками и совершать все по чину Чудова монастыря. За литургией архимандрит служил уже так, как указал государь. Там же Петр снова стоял и пел на клиросе; «и по святой литургии (прибавляет летописец) изволил идти в гостиную келью, там кушал с благоверным царевичем. Приспешники были дворцовые. Откушав, изволил быть в монастыре и посетить старца Лаврентия Александровца: понеже он из кельи не выходил никуда, ниже в церковь, разве причащения ради». 15 августа государь, на малых судах, отбыл на корабли, а 16-го наутре отправился в поход. Вечером он был уже в селении Нюхче кемского берега, откуда шла недавно сделанная по его повелению деревянная дорога на Повенец. Архимандрит с келарем и некоторыми монахами ездил на корабли благодарить государя за посещение. Петр Великий «довольно их потчевал» и велел отпустить в монастырь из Архангельска двести пудов пороху. «Архимандрит,— прибавляет летописец,— возвратясь в монастырь, прямо пошел в церковь, пел молебен с благовестом и звоном за здра-

вие государя и его спутников; от радости был архимандрит на погребе со всею братиею и довольно *трахтовались,* благодаря господа бога за таковое благополучие».

Прямо против монастырских ворот находилась третья часовня, называемая Просфоро-Чудовою.

— На этом месте,— объясняли мне монахи,— новгородские купцы обронили просфору, которую дал им праведный отец наш Зосима. Пробегала мимо собака, хотела есть, но огонь, исшедши из просфоры, попалил ее.

В версте от монастыря четвертая часовня, Таборская, построена на том месте, где погребены умершие и убитые из московского войска, осаждавшего монастырь с 1667 года по 1677 год *.

Поводом к восстанию соловецких старцев, как известно, послужило исправление патриархом Никоном церковных книг. В 1656 году вновь исправленные книги присланы были в монастырь Соловецкий. Старцы, зная уже о московских бунтах и распрях, а равно и о том, что сам исправитель (некогда монах соловецкий) находится под царским гневом, присланных из Москвы книг не смотрели, а, запечатав их в сундуки, поставили в оружейной палате. Церковные службы отправлялись по старым книгам. В 1661 году из Москвы прислано было множество священников для обращения старцев к раскаянию. Московское правительство думало делать благо, но сделало ошибку. Все грозило близкою опасностью и восстанием, дела монастырские принимали воинственное настроение. К старцам присоединились беглые донские казаки из шайки Стеньки Разина. Двое из них, Кожевников и Сарафанов, назначены были, на случай опасности, начальниками. На Никона сочинялись разные наветы; возрастала всеобщая ненависть. Рассказывали за верное, что когда Никон, бывши еще иноком, однажды читал евангелие во время литургии в Анзерском монастырском ските, то змей пестрый обвился около шеи его и лежал по плечам. Видел это своими очами святой старец Елеазарий. Старцы перестали повиноваться архимандриту Варфоломею и в конце седьмого года, по присылке книг из Москвы, рассмотрели их и написали, в опровержение *новин,* большую челобитную к царю Алексею Михайловичу. Келарь Савватий Абрютин (из московских дворян) с казначеем Геронтием сочинили эту челобитную; старец Кирилл, с двумя послушниками, вручил ее царю на Москве.

В сентябре 1666 года Алексей Михайлович потребовал к себе архимандрита и еще другого, жившего там на покое архимандрита Никанора, бывшего царского духовника. Из Москвы с ними отпущен был новопоставленный архимандрит соловецкий Иосиф — затем, чтобы кротостию увещать непокорных. Соловецкие старцы не впустили архимандритов, кроме Никанора, который присоединился потом к расколу. Вместо первых двух, в 1667 году явились новые увещатели, но старцев и эти не убедили. В следующем году пришла царская грамота, повелевавшая старцам «от противности недоумения и от непослушания отстать» и быть у архимандрита в послушании. Но соловецкие монахи и этой грамоты не приняли. Явился в монастырь стольник Хитрово с обращенным к православию келарем Савватием Абрютиным; монастырские и тогда не послушались. Сведав о том, что из Москвы идет в Суму с ратными людьми стряпчий Волохов, к которому должна была еще присоединиться на Двине стрелецкая сотня, старцы собрали собор. Советом этим положено было отослать на поморский берег всех немощных и малодушных, а всем остальным (1670 человек) обороняться до последней капли крови. Монастырь запер ворота 7 марта 1669 года и заявил вооруженное сопротивление. К этому представлялась полная надежда, потому особенно, что монастырь издавна делал огромные запасы съестной провизии и была возможность иметь сношения с ближними монастырскими вотчинами. В монастыре, сверх того, находилось, кроме мелкого ружья, 24 медные пушки, 22 пушки железные, 12 пищалей и, сверх того, свыше 30 000 рублей серебром и медью. Стена была неприступна, твердыня ее неодолима. Все предвещало успех и надежду до такой степени сильную, что и вторая царская грамота была отвергнута. Мирное предложение Волохова сдаться без боя было осмеяно; боевые нападения не имели успеха, и не могли иметь его потому особенно, что Волохов три летних месяца стоял или, лучше, смотрел на монастырские стены, а всю зиму жил под монастырем в бездействии на Заяцком острове. У него было 725 стрельцов против затворившихся в обители 500 человек монахов и бельцев *. Только в 1670 году удалось ему захватить главного начальника осажденных, чернеца-будильника Азария, с 37 человеками, выехавших из гавани в море ловить рыбу. В том же

году 30 человек вышли из монастыря добровольно, но дело нисколько не подвинулось вперед.

Стряпчий Волохов вызван в Москву. Его место занял голова московских стрельцов Клим Иевлев, явившийся сюда с тысячью человек свежего войска. Этот повел дела если не успешнее, то умнее Волохова: он перевел свои войска на самый остров, отогнал весь рабочий скот, захватил все рыболовные снасти, сжег все строения, находившиеся вне монастырских стен, прекратил всяческие сношения монастыря с его вотчинами, особенно с селом Keретью. В 1674 году царь отозвал и его в Москву за притеснения и насилия, которыми он отягощал монастырских крестьян; к тому же, как пишут, его постигла цинга. От нее же, как равно от пушечной и мушкетной стрельбы, в самом монастыре погибло 33 человека. Место Иевлева заступил стольник и воевода Иван Мещеринов. Этот, подступив под монастырь, окопался шанцами, построил 13 городков (батарей) и начал делать подкопы. Осажденные принуждены были производить частые вылазки и всегда успешно: подкопы уничтожались при самом начале. Мещеринов делал приступ, но приступ (23 декабря 1676 г.) не был счастлив. Воевода решился блокировать монастырь во всю зиму, как вдруг представился легкий, неожиданный случай сделать дело скорее и легче. К воеводе представлен был перебежчик монах Феоктист, объявивший, что под одною из башен (Белою) находится подземный проход, ведущий из монастыря к кладбищенской церкви, что этот проход закрыт ветхою калиткою и что перед утреннею зарею ночная стража сменяется и идет по кельям, а в башнях для караула остается только по одному человеку. Ненастная, бурная погода, случившаяся на 22 января, указала на время приступа. Майор Келен, с отрядом и проводником Феоктистом, прошел в отверстие, указанное перебежчиком, отворил святые ворота и впустил через них воеводу с остальным войском. Осажденным, застигнутым врасплох, уже не было никакого спасения и не дано никакой пощады — по свидетельству Семена Денисова, который (в своем Выгорецком ските) написал «Историю о запоре и о взятии Соловецкого монастыря»[1]. Он говорит, между прочим, следую-

[1] В Архангельском Поморье, можно сказать, нет ни одного селения, где бы нельзя было встретить рукописных списков этого замечательного сочинения, известного более под заглавием «Исто-

щее: «Мужи же мужественнии, из них Стефан и Антоний, с прочими тридесяти, изшедши ко вратам на сретение и мужественно за отеческие законы во вратех святых бравшеся, вси смертную чашу испиша, от воинов посечени быша. Отцы Киновии * и прочии слуги и трудницы, услышавше, паче же узревше нечаянную, новосодеявшуюся плачевную вещь, разбегошася во своя келии и затворишася. Еже услыша воевода не сме долго во обитель внити и посылаша начальники воинов молити и увещевати иноки, да ничтоже бояшеся, изыдут из келий, никоего же им озлобления сотворити обещаяся и клятвою крепкою свое завещание печатствова. Отцы же, веру емше, изыдоша на сретение с честными кресты и со святыми иконами. Сей же, забыв обещание, преступи и клятву, повеле воинам иконы и кресты отъяти, иноки же и бельцы за караул по келиям развести».

Далее Семен Денисов пишет, что воевода, возвратившись в стан свой, приказал привести к себе сотника Самуила и бить его перед собственными глазами (Самуил ударов *пястицами* не выдержал и тотчас же умер). Потом приказал позвать архимандрита Никанора.

Этот привезен был на небольших саночках по той причине, что был уже стар и в то же время сильно болел ногами. Воевода говорил ему:

— Рцы ми, Никаноре: чесо ради противился еси государю?

— Самодержавному государю ниже противляхомся, ниже противлятися помышляхом когда,— отвечал Никанор,— зане научихомся от отец к царем чествование паче всего являти. Научихомся от самого Христа воздавати кесареви кесарево и божия богови.

— Чесо ради, обещався увещати прочия к покорению, не токмо преступил обещание, но и сам с ними на сопротивление цареви совещался еси?— снова спрашивал Никанора воевода.

— Понеже,— отвечал старец,— божиих неизменных законов апостольских и отеческих преданий, посреде вселенныя живущим соблюдати не попущают нововне-

---

рия о отцех и страдальцах соловецких». Еще большим уважением и известностью пользуется «Соловецкая челобитная», сделавшаяся основным догматическим сочинением, опорою во всех спорах староверов и вызвавшая со стороны православных целые сочинения в ее опровержение. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

сенные уставы и новинства патриарха Никона: сих ради удалихомся мира, избегохом вселенныя и в морский оток, в стяжание преподобных чудотворцев, вселихомся преподобными их чины и уставы и обычаи тем же благочестием по стопам их руководитися желающе.

— Чесо ради воинства во обитель не пускаете и хотящие внити оружием отбиваете?

— Вас, иже растлити древлецерковные уставы, обругати священных отец труды, сокрушити богоспасительные обычаи пришедших во обитель праведно не пущахом.

На всякий спрос старец давал ответ решительным, твердым голосом. Разгневанный воевода начал его бранить, но старец не потерялся и тут.

— Что величаешися,— говорил он,— и что высишися? Яко не боюся тебе, ибо и самодержца душу в руце своей имею...

При этих словах воевода вскочил с места и бил старца тростью по голове, плечам и по спине, выбил ему зубы, приказал связать по ногам и бросить за оградой в ров. В одной рубашке пролежал Никанор всю ночь, а наутро умер.

По словам Денисова, казнены были потом: старец Макарий, резчик Хрисанф, живописец Федор с учеником его Андреем.

«Тако,— продолжает он далее,— повел прочия из караула привести иноки, числом яко до шестидесяти, и различно испытав и обрете их тверды и непревратны, зельнюю яростию воскипев, смерти и казни различны уготовав, повесити сия завещав: овыя за выи, овыя за нозе, овыя и множайшия междоребрия острым железом прорезавше и крюком продевше, на нем обесити каждого на своем крюке; иные же от отец зверосердечный мучитель на нозе вервию оцепивши, к конным хвостам привязывати повеле и безмилостивно влачили по отоку, дондеже души испустят».

Выкинутые тела лежали на морском берегу до времени таяния льдов, когда они были погребены на соседней луде, называемой Женской. Из оставшихся в живых большая часть разослана была по дальним местам беломорских прибрежьев. Некоторые, более озлобленные, отправлены в дальние города государства на заточение. Иные успели самовольно убежать из монастыря и скрыться. Все те, которые покорились, прощены и

оставлены жить в Соловках. Имена упорных, в числе 33, записаны в раскольничьи синодики и поминаются как страдальцы за веру и мученики. Важно было разъяснить и доказать, что в защиту старого благочестия восстала святейшая в России обитель; в убеждении, что мятеж Соловецкий, одно из крупнейших событий в истории раскола, произвел сам по себе сильное влияние на обольщение простых умов в пользу раскола. Несколько избранных произведены даже в святые. Увлекшийся, но бесспорно даровитый историк Денисов в своей «Истории» сообщил об них краткие жития и обычные велеречивые восхваления их подвигов — обстоятельство существенно важное вообще для истории распространения раскола. Эти бежавшие из монастыря скитальцы (в числе десяти) были собственно пропагандистами, с большим или меньшим успехом укреплявшими в народе веру в старую книгу и старый обычай. Соловецкое сиденье с надлежащими последствиями сделало их озлобленными, уверенными в себе и помогло их очень быстрым успехам. Денисов, упомянув о «многострадальных» Епифании, дивном отце Савватии и Игнатии, дьяконе соловецком, указывает проповедников в лице Иосифа Сухого, положившего основу раскола в Суме и Каргопольских пределах, Евфимия Дивного, бросившего первые семена учения в Олонецком уезде, Павла, Серапиона и Логина — в Ковдинской волости и Геннадия Качалова — в Нижнем Новгороде, Тихвине и проч. «И не токмо пустыни (пишет Денисов), и дебри и блата, но и окрест прилежащие грады и веси благочестия светом научивше и просветивше, сторичен плод ко Владыце принесоша». Для пущего успеха дела два фанатика из них (Игнатий и Герман) прибегли к самосожжению.

Весть о покорении монастыря уже не нашла царя Алексея в живых. Мещеринов царем Феодором вытребован был в Москву и здесь судим за расхищение монастырской казны и сокровищ.

Монастырь вновь населялся приходившими и присланными монахами из дальних монастырей, но порядку в нем еще долго не было. «Отсюду,— говорит Семен Денисов далее,— в Киновии умножишася мятежи и бесчиния: умножишася по келиям особъядения, варения и пирогощения; умножишася винопития и пианства и рождающия пианство питий содержание; оставляют яже на пениих молитвословия — исполняют кликов бес-

чиния, яже учащение празднословия, срамословия и лаяний неподобных изношения, яже табаки державия и табакопития и прочие неблаголепные обычаи и деяния».

Показания эти подтверждают и царские грамоты: Феодор Иоаннович (в 1591 г.) воспретил медовый квас; Михаил Феодорович запрещал (в 1621 г.) употребление пьянственного пития и обыкновение жить по кельям особенно, *заговором,* как сказано в грамоте. Алексей Михайлович в 1637 году давал указ о том же, и, уже вследствие прошения игумена Ильи, он же вновь подтвердил указ Михаила Феодоровича о том, чтобы младые, безбрадые трудники в летнее время жили отдельно вне монастыря, а на зимнее время отправляемы были на берег в Сумский острог или Кемь, «или где пригоже, а в монастыре б им зимовать не велели».

Осматривая настоящее состояние монастыря и вникая во все подробности его внутреннего и внешнего устройства, почти на каждом шагу встречаем имя св. митрополита Филиппа, бывшего здесь с 1548 года по 1566 год игуменом. В эти осьмнадцать лет он успел сделать многое, что до сих еще пор имеет всю силу материального своего значения. Поставленный в исключительное положение, любимец грозного царя, щедрого на подарки и милостыню, сам сын богатого отца из старинного боярского рода Колычевых, св. Филипп не стеснял себя в материальных средствах для того, чтобы удовлетворять всем своим стремлениям и помыслам. Он исключительно посвятил деятельность на то, чтобы остров Соловецкий, до того времени сильно запущенный, сделать возможно удобным для обитания: прорыл канавы, вычистил сенокосные луга и увеличил их в числе, провел через леса, горы и болота дороги, устроил для больной братии больницу, учредил по возможности лучшую и здоровую пищу, внутри монастыря, подле сушила, устроил каменную водяную мельницу и для нее провел воду из 52 дальних озер главного Соловецкого острова, в братской и общей кухне устроил колодезь, в который проведена из Святого озера вода через подземную трубу под крепостною стеною. Помпа колодезя этого зимою подогревается нарочно устроенною печью. Другая печь приготовляет теперь в один раз до 200 хлебов. При многолюдстве богомольцев в печь эту ставят две квашни в день, хлеб день отлеживается, на другой день поедается весь. Остатки едят рабочие, остатки же этих

остатков превращаются в сухари. Прежде было обыкновение давать каждому богомольцу по широкому ломтю на дорогу, теперь это, говорят, вывелось из употребления. В квасной запасается 50 бочек по 200 ведер каждая.

Сверх всего этого, св. Филипп умножил домашний рогатый скот и на островах Муксалмах выстроил для него особый коровий двор. Он же развел на острове лапландских оленей, которые живут там и до настоящего времени; выстроил просторные соборные церкви и огромную трапезу, вмещающую сверх тысячи человек гостей и братий. Близ монастыря сделал насыпи и разные машины к облегчению трудов работников, построил кирпичные заводы, заменил старинные чугунные плиты — *клепала, била* — колоколами, правителям поморских волостей, тиунам *, слугам и доводчикам * назначил жалованье, и пр., и пр.

Монастырь и в настоящее время находится в таком состоянии, что не нуждается во многом; только пшеница, вино, рожь и некоторое количество соли для монастыря покупное, а все почти остальное он имеет свое. При легком даже взгляде, монастырь поражает необъятным богатством. Не заглядывая в сундуки его, которые, говорят, ломятся от избытка серебра, золота, жемчугов и других драгоценностей, легко видишь, что сверх годичного расхода на братию у него остается еще огромный залишек, который пускается в рост на проценты. При мне высыпали из кружек богомольческих подаяний, скопившихся в полтора почти месяца, до 25 000 рублей ассигнациями, но что нынешний год, говорили, один из *неурожайных,* затем, что первый мирный *; *в урожайные* годы вынимают до 95 000. Эту цифру монахи считают среднею величиною. Сверх всего того, каждый богомолец покупает просфору, платит за чернила, которыми пишутся имена родных на исподке просфоры, платит за писанье, если только он сам не умеет грамоте. Годовые богомольцы платят деньги. Лубочные виды монастыря стоят 25 копеек, вместо 5 копеек назначенных; маленький кипарисный образ стоит 75 копеек; за стихи, описывающие бомбардирование англичан убийственными виршами и переписанные довольно четко на листе, просили с меня 1 рубль 50 копеек. Товары в лавочке для богомольцев, со скудным количеством предметов, дороги неприступно: палочка плохого сургуча стоит

20 копеек (в монастыре почтовое отделение). Спутник мой на Анзеры (в скит) желал записать в синодик на поминовенье своих родных. Монах, сидевший с пером, объявил, что они берут 30 копеек за годичное поминовение и 1 рубль 50 копеек — на вечные времена. Спутник мой решился на первое; писал долго и много; при расчете должен заплатить 6 рублей; оказалось, что 30 копеек берется с каждого вписанного имени, в чем монах, однако, не предупредил заказчика, бесповоротно испачкав шнуровую книгу с ясным указанием имен.

— Хорошо еще, что я призабыл многих, а то нахватал бы сотню, жутко бы тогда пришлось!— простодушно заметил мой спутник.

Торговля производится всюду, чуть ли не во всех монастырских углах: на паперти Анзерского скита продают лубочный вид этого скита, на Анзерской горе Голгофе (в скиту же) продают вид Голгофского скита, и везде кое-какие книги, и везде стихи монаха. Можно купить сапоги из нерпичьей кожи, можно купить и широкий монашеский пояс из той же кожи, довольно хорошо выделанной в самом монастыре. В самом же монастыре пишутся и иконы, шьется платье не только на монахов, но и на штатных служителей, обязанных черными и более трудными работами. Бо́льшая половина рабочих живет по обету. Обеты дают они при случае опасностей, которыми так богато негостеприимное Белое море. Тюлений промысел, называемый *выволочным,* соблазнительный по богатству добычи, опасный по отправлению, губит много людей. Зверя бьют на дальних льдинах; льдины эти часто отрываются ветрами и *выволакиваются* в море вместе с промышленниками. Счастливые из них прибиваются к острову Сосновцу или к Терскому берегу. Они-то и дают, в благодарность за спасение, обет бесплатно работать на монастырь три-пять лет. Бо́льшая часть уносится в океан на неизбежную гибель.

В монастыре вылавливается морской зверь, вытапливается его сало, выделывается его шкура. Есть невода для белуг *, есть сети для нерпы и бельков. В монастырскую губу приходит в несметном числе лучший сорт беломорских сельдей, небольших, нежных мясом, жирных. Только крайне плохой засол, какая-то запущенность этого дела мешают пускать их в продажу. Выловленные сельди летом уходят на братскую уху, выловленные осенью частию потребляются, частию идут

впрок на зиму. Полотно для нижнего монашеского белья не покупное: оно сносится богомольными женщинами с разных концов огромной России; они же приносят и нитки. Коровы для молока, творогу и масла в монастыре свои; бараны, живущие на Заяцком острову, дают шерсть для зимних монашеских тулупов и мясо для трапезы штатных монастырских служителей в скоромные* дни. Лошадей монастырь имеет также своих. Между монахами и штатными служителями есть представители всякого рода мастерств: серебряники, слесари, медники, оловянишники, портные, сапожники, резчики. Все другие мастерства, не требующие особенных познаний, разделены на послушания; таковы: рыбаки, продавцы, пекаря, мельники, маляры.

В этом отношении монастырь представляет целое отдельное общество, независимое, сильное средствами и притом значительно многолюдное. Ежегодные обильные вклады и правильное хозяйство обещают монастырю впереди несчетные годы.

На третий день моего приезда в монастырь я был разбужен поутру громкими криками, раздавшимися под окнами нашей гостиницы и по коридорам ее.

— Что там такое?— спрашиваю я гостинщика.

— Гонят женок-богомолок сельдей чистить. Сейчас приплыл карбас с свежей рыбой. Ужо на уху она пойдет,— объяснял он.

— А уготовляли ли вы себе цельбоносное купание во Святом озере вчера?— спросил он меня потом.

Я отвечал отрицательно.

— Все богомольцы немедля по прибытии совершают сей обряд во душевное спасение и телесное здравие. От многих недугов полезна вода. И сколь она холодна и благотворна, то такой уже, говорят, и не обретается в иных местах, кроме честныя обители сея.

— Что же это, батюшка, обязательно для всех?

— Неволи не полагается, но всяк творит по мере сил. Немотствующие не купаются. У нас по монастырским обычаям все богомольцы, искупавшись во Святом озере, идут ко гробу преподобных отец Зосимы и Савватия и ходатайствуют у них об умилостивлении Творца Всевышнего. Затем всякий полагает отправиться воздать молитву при гробе преподобного Елеазара в скиту, сооруженном им на острову Анзерском, и оттуда идут на гору Голгофу, где поминают молитвою предшедших от-

цов и братию в панихиде при гробе преподобного отца Иисуса Голгофского. Засим, на третий день, посещаются все часовни, места коих освятили своими стопами угодники божии: одну в трех верстах от обители, близ Исакиевой горы, где первоначально поселились преподобные Зосима и Герман, и все семь пустынь.

При последних словах его раздался звон в малый колокол.

— Это что такое?

— Кончилась литургия, к трапезе звонят, пожалуйте! В сей день полагаются скоромные кушанья.

Я отправился. Огромная трапеза была полна народу; монахи пели. Между богомольцами не видать было женщин: все они, по монастырскому обычаю, угощаются в особой зале, так называемой келарской. Раздалось чтение житий святых того дня, производимое с особого амвона чередным монахом. При перемене кушаньев, при звоне колокольчика, читалась с амвона и прислуживающими послушниками молитва «Господи, Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас». Трапезующие должны были отвечать «аминь». Всем возбранялись разговоры, все обязаны были есть из общей чашки; у всех были деревянные ложки с вырезною благословляющею рукою. Мне попалась ложка с надписанием:

На трапезе благословенной
Кушать братии почтенной.

У соседа моего на ложке было написано просто: «Во здравие братии». Вся посуда была оловянная. Кушанье солить или обливать уксусом обязаны были послушники. На этот раз вся трапеза состояла из четырех блюд: холодное — соленые сельди с луком, перцем и уксусом; треска со сметаной и квасом; уха, удивительно вкусная, из сегодня выловленных сельдей; и каша гречневая с коровьим маслом и кислым молоком. В конце трапезы разносились кусочки просфоры, или богородичного хлеба, освященного в конце пением и разрезанного при том же пении и тогда же. Певчие пели потом молитвы и отпуск, и затем все расходились.

Несметное множество чаек усыпало весь двор монастырский: кажется, на это время слетелись они со всего острова и его берегов. Монахи и многие богомольцы бросали им куски хлеба. Чайки до того были безбоязненны, что хватали хлеб этот из рук; многие клевали

8 Заказ 471

проходящих за ноги, за полы платья. Крик был невыносимый, и все это, взятое вместе, представляло странную, хотя и своеобразную картину. Некоторые из монахов пошли удить рыбу на озерах, другие — смотреть на море, где в это время разыгрывались знакомые, обыденные сцены: вот чайка учит своего чабара летать, чабар старается делать то же, что и мать: машет крыльями, бежит скоро вперед, но спотыкается, ударяется утиным своим носом в землю, прискакивает, но в воздухе держится недолго: собственная тяжесть не пускает его от земли дальше четверти аршина. За другим чабаром следит мать и смотрит, как он влез в воду и окунывается, хлопая по воде крыльями и обмачивая голову; чабар на воде держится легко. Дальше все прежнее: мальчишки-работники, *безбрадые трудники,* по словам гостинщика, бродят без дела по берегу, одетые в монастырские подрясники с широкими кожаными поясами и в плисовых круглых колпаках на голове. Мальчишки шалят. Взрослые штатные служители важно толкуют с богомольцами; часы выколачивают половину; чайки кричат, и гул их отдается эхом в стенах монастырских. Кто-то запел: «Воскресение Христово видевше...»

Вернувшись в свой номер, я попросил лошадей, чтобы ехать на Анзерский остров. Потребовали три рубля — и мы отправились. Дорога пошла по Соловецкому острову гладким, исправленным полотном. По сторонам ее потянулся лес со всею обычною обстановкою, невычищенный, со множеством неприбранного валежника. Во многих местах лес этот отдавал решительною дичью. Все в нем напоминало леса наших приволжских губерний: те же высокие деревья, словно и не полярные, не архангельские, та же спутанность сортов и видов их: тут и березовая полоса, перепутанная с ивняком, тут и сосняк с кустами густого цепкого волжского можжевельника. Сосняк перепутан с ельником, даже кое-где между ними проглянула лиственница. Между деревьями, по кочкам, иногда мшистым, иногда обтянутым травою, рассыпались кусты ягод вороницы и морошки. Кое-где красовался цветами шиповник; во многих местах зацветала малина и даже краснела уже ягодами. В воздухе разлита была чарующая свежесть, которою дышишь — не надышишься: то вдруг прольется струя целебной смолки, то здоровый запах травы, то вдруг опять пролетит нежная, эфирная струйка, пущенная

зажившими цветами шиповника. Луга, выглянувшие между деревьями, усыпаны были цветами и рисовались таким же пестрым ковром, который так обыкновенен везде, кроме архангельского края. Местность Соловецкого острова решительный контраст со всеми соседними ей: природа словно огорчилась, истощенная в береговых тундрах и болотах, и, собравши последние оставшиеся силы, произвела на острову новый, особенный мир, в котором так всем привольно и так все сродни и знакомо дальнему, заезжему человеку. Вот пошла дорога под гору, на мостик, перекинутый через бойкий ручеек; вот побежала она в гору, взрытую по местам колеями; вот канавы, прорытые по сторонам полотна ее, и опять та же лесная чаща и между нею болото такое же ржавое, такое же зыбкое, как везде и всюду в России, богатой и горами, и болотами, и роскошными лугами. Прекратился лес, открылась поляна, на поляне посеяна рожь. Рожь уже наливается, налив идет к концу; васильки в полной силе. Вправо от дороги, между редко расставленными деревьями, через поляну, засыпанную хвоей, выглянуло озеро большое, рыбное, на этот раз светлое, зеркальное. Лесная чаща продолжает по-прежнему окружать нас со всех сторон и дышит своим здоровым, целебным дыханием. В ней запела даже где-то птичка, другая, третья... Весело на душе, летят все черные мысли прочь, забываешь обо всем прежнем и живешь только настоящим. Пусть бы дальше и больше тянулась эта дорога с увлекательными видами и свежестью; пусть никакое тревожное воспоминание не беспокоит теперь воображения. А воспоминаний этих накопилось так много, ими так сильно утомлена и пресыщена душа, что прежний путь по прибрежьям кажется как будто сном, какой-то сказкой, выслушанной еще в детстве и теперь с трудом припоминаемой.

Ехали мы лесом часа два. За лесом началось поле, на конце которого стоит избушка, и в ней живут два монаха-перевозчика. У избушки этой надо было оставить лошадей и садиться в карбас, на котором предстоял путь через салму (пролив) в 4 версты 300 сажен. Ветру никакого не заводилось: привелось ехать на гребле, между тем как быстрина течения здесь поразительна. К тому же, на то время *вода* на том берегу *распалась*, как выразился наш перевозчик, то есть пошла на при-

быль, начался прилив и обещал нам навстречу сувой, но сувой оказался несильным, и мы хотя и медленно, но прошли его при помощи только двух весел. По пути нам морем играла белуга у самого карбаса и так близко, что можно было рассмотреть, как опрокидывала она свое огромное сильное тело в воду, выгибая над водой спину и выкидывая на шее фонтаном воду. Провожающие нас монахи говорят, что она удивительно быстро ходит, и если уж одной удалось прорвать невод, так все другие уйдут за ней мгновенно.

— Молоко-то у ней тоже белое!— заметил монах.

— А где же его видели?— спросил мой спутник.

— У *пропавшей* (околевшей и выброшенной на берег) видели.

Через полтора часа езды мы были уже на берегу Анзерского острова, подле часовни, на месте которой, говорят, основатель скита Елеазарий работал в избушке деревянную посуду и потом продавал ее приходившим на Мурман поморам. Приготовленную посуду он, по преданию, выставлял на пристани, а сам удалялся в леса от людей. Приплывавшие поморы брали посуду, а в отплату оставляли хлеб и другие съестные припасы, по силе возможности.

От часовни этой мы шли на две с половиной версты пешком до Анзерского скита, раскинутого в ложбине с каменными кельями (в них живет 14 монахов) и таковою же небольшою церковью. Вблизи скита этого ловятся лучшие соловецкие сельди и семга и производятся по осеням промыслы тюленей и морских зайцев.

На острову Анзерском жил несколько лет Никон.

Пустынножительство в этом скиту существует на том же положении, как и в монастыре Соловецком.

В Анзерском скиту нас посадили опять в линейку, чтобы везти на Голгофу, в Иисусо-Голгофский скит, до которого считают шесть с половиной верст. На второй версте началась эта высокая, словно сахарная голова, гора Голгофа, чрезвычайно крутая, вулканического вида. Дорога побежала винтом между высокими деревьями, в виду озер, разлившихся у подошвы горы. Словно поставленная на облаках, белелась над нашими головами скитская церковь далеко-далеко наверху. Здесь первоначально жил Елеазар, а после него иеросхимонах Иисус, водрузивший здесь крест и положивший таким образом первое основание скита в 1712 году. По заве-

щанию его, в скиту воспрещено употребление рыбы и молочной пищи, кроме субботы и воскресенья, и установлено неусыпное чтение псалтыря. Братии здесь жило в то время 8 человек.

Вид с горы и скитской колокольни поразителен: море протянулось во всей своей пустынности и ушло в безграничную даль океана. Неоглядная даль эта сливается в ближайшей стороне с бойкою, богатою лесною и луговою растительностью острова, с другой, дальней, ограничивается группою островов Муксалмовских. На них пасется монастырский скот. Между Большими и Малыми Муксалмами разливалась салма с необыкновенною быстротою течения, усиленною еще сверх того присутствием порогов. Пороги эти носят название Железных Ворот, едва одолимых гребным карбасом в сухую воду и едва доступных, по быстроте течения, при приливе, или полой воде — по-туземному. В самом узком месте этих ворот, с одного берега на другой, перекинут мост для перехода скота и оленей. За Муксалмами выясняется группа островов Заяцких с белою церковью, и вот правее их и ближе весь зеленый и огромный Соловецкий. Среди зелени его лесов светлеют зеркальным блеском то несомненные озера, то врезавшиеся в берег морские губы, которые так легко принять за озера. Между последними отличаются два: одно Исаковское, другое Секирное. Первое выделяется из всех тем, что выстроенная на берегу его пустынь означает место, на котором впервые поселился преподобный Зосима. Второе отличается от прочих не столько пустынью, сколько высящейся над ним горою, которая почитается самою высокою на всем Соловецком лесистом острове. На верхушке горы некогда (во время шведской войны в конце прошлого века) построена была батарея и поставлен маяк. Теперь белеется на том месте церковь.

Затем повсюду кругом, как венец сверкает громадная, неоглядная масса воды, сверкающей на полном свете полуденного, летнего солнца. Вот на море этом чернеет корга, едва не заливаемая прибылой водой, та корга, на которой ловят монахи морских зверей по осеням и зимам. С колокольни, на которой вечно ходит круговой ветер (хотя бы под горою и на море была полная тишь и гладь), глаз бы не оторвал от всего, что рисуется и красуется внизу. Гора Голгофа до того высока, что видна с моря верст за 50, по словам туземцев, и до

того своеобразна, что чаек, одолевающих криком внизу, в Анзерском скиту — в здешнем Голгофском не могли прикормить. Не водятся также здесь и голуби, и только вороны да орлы способны прилетать сюда вить гнезда и кормиться от сытной и обильной братской трапезы.

В Голгофском скиту не служат молебнов, служат одни панихиды.

На обратном пути в Анзерском скиту нам предложили варенцу и сливок, которых здесь, по словам монахов, в изобилии.

— Тяжелы были времена для обители в запрошедшие годы,— рассказывал мне анзерский монах.— В скиту нашем стекла дрожали от пальбы неприятельских пушек. Страшный дым стоял все время над монастырем; думали уже мы, что случился пожар и загорелась какая-либо из башен. Дым, стоявший над монастырем, минут через пятнадцать разносило ветром, и сердца наши испытывали велие веселие, радовались надеждою. Пришедшие монахи сказывали на другой день, что гроза миновала и молитвами преподобных отец наших Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, Елеазара Анзерского и Иисуса Голгофского обитель спаслась и только испытала некоторые повреждения.

Повреждения эти, сохраненные еще на мой приезд, состояли, как сказано, в неисправимых повреждениях архангельской гостиницы. Одно ядро прошибло крышу и опалило образ у дверей холодного собора, другое пробило в одном месте стену; многие расшибли церковные и келейные окна. Все эти ядра, собранные в значительном числе, показывали богомольцам выставленными по прилавку на соборной паперти. Пушки, из которых стрелял монастырь, отец-архимандрит Александр предполагал позолотить и выставить при входе в святые ворота. Также позолочены были и те ядра, из которых одно упало в соборной церкви и не разорвалось, и другое, засевшее в соборной главе и чуть не брошенное вниз по неосторожности кровельщиком впоследствии, когда поправлялись главы и кровля.

Вот что можно услышать от соловецких монахов с присоединением того, что осталось в воспоминаниях самого отца-архимандрита Александра об недавнем бомбардировании монастыря англичанами.

Эскадра английская, как известно, останавливалась около Заяцких островов. Отсюда отправлены были в мо-

настырь парламентеры с просьбою снабдить их пароходы баранами. Архимандрит отказал. Англичане высадились на один из Заяцких островов, и именно на тот, где паслись в то время бараны. Часть их была поймана, не давался долго один козел, но когда был схвачен, лизал руки у врагов, своих владетелей. За такую ласковость англичане отпустили козла, не взявши его с собою. Монастырю, во всяком случае, угрожала опасность. Англичане, державшиеся той системы, чтобы не стрелять и не начинать ссоры с беззащитными селениями, сожгли в то же время Пушлахту и Кандалакшу только после того, когда видели, что жители выбежали с ружьями и стреляли по ним. Англичане знали, что монастырь — сильная крепость, что в крепости этой есть некоторое количество инвалидной команды, есть пушки и боевые снаряды и есть, сверх всего, огромный запас провизии. К тому же, из монастыря получен был отказ в снабжении мясом. Архимандрит знал, что бомбардирование неизбежно. Незадолго до него командир эскадры поручил заяцкому монаху, отправившемуся в монастырь, передать настоятелю подарок. Подарок этот была штуцерная пуля со всем припасом.

— Попенял я им, что посылают пулю,— рассказывал этот монах.—«Послали бы вы,— я говорю,— отцу-архимандриту ружье английское хорошее».—«А пусть,— говорят,— приедет сам — подарим!»— «А мне подарите ружье?»— спрашивал я. «Тебе,— говорят,— не надо ружья». Подавая мне пульку, командир, переглянувшись с другим, стоявшим рядом, усмехнулся.

Собрал отец-архимандрит совет из монашествующей братии и объявил им о своем намерении ехать для личных переговоров с неприятелями. Одни отсоветовали, другие утверждали в этом намерении. Отец Александр решился на последнее и, благословивши и распростившись со слезами с братиею, сел в монастырский баркас, управление которым доверил он самому опытному кормщику, а в помощь ему выбрал самых сильных из всего количества штатных монастырских служителей.

При холодном противном ветре, против которого с трудом держался баркас и едва спасала теплая монастырская одежда, ехал отец Александр до неприятельских пароходов. Только на рассвете (отправившись после вечерен) он мог достигнуть до них. Выкинут был парламентерский флаг; с парохода неприятельского спу-

щена была шлюпка для переговоров. Настоятель согласился сесть только в таком случае, когда увидел, что на шлюпку вскочило много.

— Отчего ты не давал нам баранов?— спрашивал переговорщик. Переводчик этот чисто говорил по-русски, сказывал, что воспитывался и жил в Архангельске, где и привык так бойко говорить по-русски; сказывался простым солдатом, хотя, по словам отца-архимандрита, и имел на фуражке кокарду.

— Оттого не даем ничего, что вы враги наши!— отвечал архимандрит.

— Мы бы тебе заплатили деньги.

— Денег мне ваших не надо, потому что я монах и не нуждаюсь в деньгах. Я всем обеспечен от обители.

— Мы тебя возьмем в плен и увезем с собою.

— В плен вы меня взять не смеете, потому что я под парламентерским флагом приехал к вам, да и что вам во мне, и зачем вы меня так далеко повезете?..

— Дал бы ты нам баранов — мы бы вас не трогали.

— Дать я вам всего этого не могу, да и не позволит братия.

— А если сам захочешь?

— Сам не хочу и не дам, и братии не позволю, потому что мы хотя и монахи, но принадлежим своему отечеству, любим его и молимся за своего государя.

— Ну так мы будем стрелять...

— А мы будем молиться.

— Стрелять мы будем завтра.

— Стало быть, так я и знать буду и так же точно перескажу братии. Поеду и сам приготовлюсь по обрядам нашей церкви к смерти.

Оставив англичан с положительным отказом, отец-архимандрит собрал всю братию и приказал ей исповедью и причащением святых тайн приготовиться к завтрашнему дню. На другой день, в самый день бомбардирования, причастился и сам и, не дожидаясь начала пальбы, начал литию * с тем, чтобы при пении ее обойти вокруг монастырских стен. Лишь только потянулось шествие по стенам и не совершило еще половины крестного хода, раздался оглушительный гром от пальбы, завизжали пули, некоторые из них носились над головами богомольцев, незначительная часть которых успела пробраться на то время в монастырь. И вдруг — в одно мгновение (которое, по словам очевидцев, неизгладимо

останется в их памяти) — раздался сзади шествия страшный крик, и почти все задние ряды повалились ничком на землю. Оказалось, что ядро прошибло стену и пролетело над головами богомольцев, не сделав им вреда. В то же время другое ядро ударило в соборную главу и влетело в церковь, другое пробило кровлю и попалило образ. Гул и пальба не прекращались долго, даже и в то время, когда крестный ход вернулся в собор.

Наконец, все стихло: архимандрит совершал благодарственное молебное пение. Английская эскадра отправилась в Кемь.

При этом присовокупляют, что во время пальбы на монастырском дворе не видали убитою ни одной чайки.

Хотя теперь уже, может быть, уничтожен и последний след повреждений, произведенных в монастыре неприятелем, но, думаю, воспоминания и рассказы о нем слышатся богомольцами и до сих еще пор так же обильно, как слышал и я. Тогда для монахов было это свежо, но мне изменяет память; все, что осталось в ней, я передаю, как могу и помню.

15 июля 1856 года был последний день моего пребывания в монастыре. В последний раз видел я приветливого, гостеприимного, словоохотливого отца-архимандрита и простился с ним. В последний раз видел я двух схимников с пожелтевшими, словно воск, лицами, в ризах, обшитых спереди и сзади крестами, с седыми, как серебро, волосами. Схимники выходили за трапезу.

Карбас мой был уже готов, и мы отправились. Понесло нас сначала легоньким поветерьем: летний ветер надул паруса и веял приятной, клонящей ко сну прохладой. Монастырь еще виделся долго нам назади, серея своими стенами из неотесанных камней, плотно лежащих один на другом. Но вот и стену затянуло туманом.

— На Сеннухе ма́ра! — кричит кормщик.

— Что такое?— спросил я.

— Сеннуха — острова, а мара — гляди вон!

Я видел впереди спустившийся туман, который казался дальним, едва приметным берегом. Ехать было невыносимо скучно, к тому же ветер пал, и гребцы сели на весла. Затем пошли обычные, давно наскучившие подробности.

— Батюшко, припади!— говорил один гребец, обращаясь к ветру.

— Припадет — побежим! — подхватил его сосед и товарищ.

— Товарищи, други, не посрамимся! — просил третий, крепко налегая на свое весло.

— Сделайте милость, товарищи, понатужьтесь, там станет легче, — упрашивал кормщик...

Гребцы послушно налегали на весла, хотя и хорошо знали, что *там* не могло быть легче.

Портной наш сидел каким-то сумрачным, как будто обидел кто.

— Что ты такой невеселый? — заметил я ему.

— Из монастыря едучи всегда так надо.

— Разве работы не было?

— Ни одной жилетки не удалось сшить.

— Что же ты там делал?

— А у монахов про житие все слушал... все три дни жития слушал.

Опять по сторонам старые виды, и опять на карбасе пустые, наполовину понятные и неинтересные разговоры. Ветер то припадет, то опять стихнет. Дальний остров сначала выплывает словно облако, потом мелелится — чуть выясняется в тумане и, наконец, по мере приближения к нему, совсем обозначается ясно и живо с грудами камней, по которым прошли желобки, словно приступки. В тех желобках, где более тени и тень эта долговременна, сверкают лужи дождевой воды сомнительных качеств, черной, как пиво, и все-таки дорогой, в крайних случаях, при летней жаре для заезжих. По лудам, и самым счастливым из них, цепляется кое-какая растительность, и зеленеет у самой воды какая-то скользкая, грязная слизь.

Влево от нас выплывало из-за островов судно. На мачте этого судна засверкала от лучей солнца золотая звездочка, вероятно, крест, без которого не бывает ни одной монастырской лодьи, назначенной перевозить богомольцев из Архангельска, из Сумы и иногда из Кеми. Все мы рады этому судну, и всех занимает оно, и рисуются в моем утомленном воображении следующие картины.

Видится мне дряблая, разбитая ногами и голосом старушонка в крашенинном сарафане, с остроносой сорокой * на голове, баба плаксивая, богомольная; вывела она сыновей, дождалась и баловливых внуков. В товариществе попова Гаранюшки баженника-дурачка, да



Матвеюшки, что позапрошлый год медведь ломал да не изломал совсем, сама с клюкой, Христовым именем пробирается в неведомый ей край.

Дребезжит ее разбитый голос под волоковыми окнами * спопутных городов, сел и деревушек. В деревушках видят у старухи котомку за плечами, старенькие лаптишки под котомкой — в избу зовут:

— Богомолушка, кормилица?

— Нешто, родимые.

— Куда бог несет?

— К Соловецким, родители, за грехи свои богу помолиться.

— Далеко, кормилушка, далеко. Возьми-ко, сердобольная, гривенку: поставь и за нас свечку там — не погнушайся, богоданная! А вот тебе пятак за проход, пирог на дорогу. Да присядь-ко, касатушка, пообедай.

Бредет эта старушоночка и цокает: рассказывает про свою родину за густыми сосновыми лесами ветлужскими и кедровыми лесами вологодскими. Молит она милостынки и у вагана-шенкурца и у холмогора-заугольника *. Приходит, наконец, и в длинный Архангельск, но уже не с пустыми руками, хотя и с разбитыми, сильно отяжелевшими ногами. Поскупится она заплатить, из бережливости и скопидомства, лишний грош, ее заставят щипать паклю или прясть канатное прядево — и без денег свезут...

Вот она на палубе огромного судна — монастырской лодьи, плоскодонной, безобразной, с старой оснасткой и покроем, посреди густой толпы богомольного люда. Едет тут и бородатый раздобревший купец, которому удалось хватить горячую копейку на выгодном казенном подряде. Едет тут и оставленный за штатом недальний чиновник из духовного звания, распевающий в досужее время церковные стихиры и не пропустивший на своем веку ни одной заутрени и обедни в воскресный день. Едет тут и сухой монах дальнего монастыря изпод Киева, отправленный со сборною памятью и игуменским благословением... Все тут вместе: и светская архангельская дама-вдова с томными глазами, со вкрадчивым разговором и в костюме, имеющем претензию на заметное кокетство, и бойкая щебетунья баба — солдатка из Соломбалы, и длинный семинарист богословского класса, и дальний сельский поп, низкопоклонный, угодливый, приниженный.

Паруса уже налажены, снасти подобраны, остается только вытащить рычагом якорь. Все богомольцы стоят без шапок и чего-то ждут с сосредоточенным вниманием и при сдержанном молчании. Раздается сладенький тенорок кормщика:

— Молись, господа! Молись, благословёны,— в путь-дорогу пора. Читай, Кондратушко, молитву на путь шествующим!

Вслед за тем раздается звонкий, выровненный развитой до поразительной чистоты голос монастырского служки. Богомольцы творят молитвы на городские церкви и потом на все четыре стороны, из которых на каждой непременно блестит по одному — по два церковных креста.

Судно трогается и бежит, если ветер крепко попутный, и плывет лениво и вяло, плохо лавируя, если поветерье (говоря поморским выражением) кормщику в зубы. Бежит монастырское судно вблизи Летнего берега Белого моря к Ухт-Наволоку и далее открытым морем.

Трудными повенецкими дорогами с Онежского озера идут другие партии богомольцев из ближних к Петербургу губерний. То пробираются они по узким тропинкам через гранитные скалы, выкрытые тундрой с оленьим мохом и лесами с дряблыми деревьями, то плывут они по зеркальным, глубоким озерам в утлых, неудобных лодках или на посад Суму, или на деревню Сороку — людные и богатые селения поморского прибрежья Белого моря. Здесь их также принимают на лодьи или монастырские, или обывательские. В нередких случаях едут богомольцы и в мелких судах, карбасах. Теперь возит их монастырь уже на собственных прекрасных пароходах, и таким облегчением пути все не нахвалятся.

ПЕЧОРСКИЙ КНЯЗЬ

В отводной избе, жарко натопленной, очумелый, заспавшийся старик, слезая с печи и спускаясь по приступкам, ворчал на большуху:

— Ишь, как нажарила сдуру, ребро за ребро задевает — столь тяжко!

— Чай, ведь он намерзал четверы сутки, — отвеча-

ла она, ссылаясь на меня, когда я уже успел развязать свой чемоданчик, оттаять замерзшие в походной черниленке чернила и развернуть странички своего дневника, чтобы вписать в него на память эти первые приветствия печорцев слово в слово.

Тем временем старик успел испить квасу, потянуться, очухаться, обчесаться. Он пришел в себя и заговорил:

— Ты, чай, до князя приехал? Куда больше, не к кому!..

И позевнул.

— Мимо нашего князя никому не проехать!—вмешалась хозяйка.

— Добрый он у нас — такой добрый, что лучше нам и не надо! —подкреплял старик.

— Почто не добрый! Не нажить нам другого такого! — поддакнула толстая, вся в пестрых ситцах, большуха.

— Этот человек, — толковал дед, — долго будет на людских памятях! С богатыми он богатый, с нужными (бедными) нужный.

— Он у нас, батюшка, — продолжала словоохотно болтать хозяйка, — захворал онагдысь *. И так его круто свернуло, что днями лежит и горит. Неделями уж мы стали считать, а он все, свет наш, что бревнушко, лежит и не шелохнется. Сдумали мы, что он, знать, помирать собрался, не отойти ему. Кое-какие из баб тых саван ему стали шить. Всполохнулись мы тогда все. Все село на ноги поднялось. Страху все дались, как бы впрямь он не помер. Что мы тогда без него?

— Бабы совет такой промеж себя собрали и положили лечить его,— перебил, улыбаясь, старик.— Скажи-ко теперь сама, как вы лечили его?

— Да ведь и вылечили же — молитвы читали! С нашего-то дела, с того самого дня ему и отпустило. Раздышался он, почал в себя приходить и вздынулся. Здоров ведь теперь. Была у него огнева (горячка или нынешний тиф), от которой люди в себя не приходят и помирают в забытье. Об стену она не бьет, а держит плашмя и все нутро огнем выжигает. Одиннадцать сестер у этой болести, она двенадцатая: лихоманка, трясуха, гнетуха, ломовая, маяльница...

— Они что сдумали-то, бабы-то, — перебил снова дед. — Сколько вас было?

— Десятка два набралось.

— Вот всем-то этим суемом они принесли ушат холодной воды полнехонький. Подкрались к князиной кровати сзади да и окатили его: весь ушат вылили, сколь он ни велик был. Так весь и бухнули на князеньку нашего.

— Пять баб волокли, да еще две подхватывали и опрокидывали, — подтвердила большуха.

— Это она правду говорит, что стал с того дня князь поправляться, с этой самой со глупости-то с бабьей. Не то они болесть ту напугали, не то сама она ихней затеи испужалась, богу ведомо! Однако вышло из князя все зло коренье. Сгило оно и пропало, чист стал!.. Вот теперь ты, хозяйка, рассказывай, как это вам в голову вошло снадобье такое. Ну да ладно, я сам расскажу... На суеме бабы стояли и такой совет держали. Всем бы князь святой человек, одно поганит его. За это самое, видно, бог рассердился и наказует этакою приткой. Не истовым крестом князь молится, а никоновою щепотью, которой и табак в нос пихает*. Дай, освятим! Перекрестить его надо, может-де он, по своей-то земле, и обливанец* еще. Стали по требнику начитывать, со своими молитвами в горницу вошли. И когда из ушата ухнули, эти самые молитвы читали на голос. Поди разговори их теперь, что он стал не ихней веры! Теперь, говорят, вовсе он наш стал, как бы и совсем прирожденный. Господа, однако, смеются князю, да и он таково-то кротко на их слова отсмеивается. В церковь он по-прежнему ходит, так это, вишь, толкуют бабы, для начальства, страха ради иудейска. Ничем их не спятишь с того, что забрали в голову.

Вот и добрые признаки в этой добродушной откровенности, обращенной ко мне, без всякого с моей стороны вызова, хотя бы даже случай этот и был уже мне известен в Архангельске, и сам князь подтвердил его. Действительно, женщины силком ворвались к нему, сбивши с ног слугу и заранее подговоривши в свой заговор княжескую кухарку. Операция решена была полным консилиумом всего устьцылемского бабьего царства (женщин, сказать мимоходом, по всему Архангельскому краю, включительно до маленьких девочек, зовут «жонками», на Печоре же господствует общерусское слово «бабы»).

Весело глянулось на другой день на божий свет,

хотя последний на то время (в декабре) обозначался лишь сумерками; знать, и лошади принимали узенькую дорожную кибитку мою с правой ноги, и заяц не перебегал дороги, и ямщик не садился на козлы, а громоздился на переднюю лошадь, так как мы принуждены были всю дорогу ехать гусем. Дорога шла так называемою Верхнею Тайболой—обширными сплошными лесами, исконною глушью, где на огромном просторе местами залегли болота, замерзающие поздно, лишь на лютых морозах, местами разлились озера, казавшиеся на то время снежными полянами. Там, где дорога вступала в еловые и сосновые леса, среди которых располагались красивые и стройные лиственницы (иногда сплошными рощами, но чаще вкрапленными в борах отдельными насаждениями или кущами), дорога имела подобие совершенного корыта. Его выколотили земские лошади копытами, и оно давало собою все-таки скорее тропу, чем дорогу. Она самыми причудливыми коленами извивалась между гигантского роста деревьями, среди которых лиственницы имели до первых случаев по семь сажен в вышину. Дорога лежала гладким полотном лишь там, где попадались калтусы — не слишком вязкие болота, отчасти покрытые водою даже среди лета, и веретеи — чистые площадки, не заросшие деревьями или кустарниками.

Охотно, с добрыми надеждами, шел я на свидание с князем, вспоминая прошлые дни неудач и приемы богачами и влиятельными людьми в Поморье. Бывало, всегда выходило как-то так, что на первых шагах в новом селении я попадал прямо на шахматные полы верхнего этажа этих богачей, а не в иную, победнее, избу. Кормщик, управляющий рулем почтового карбаса и заменявший, таким образом, ямщика, передавал меня следующему с очевидным наказом — проводить в такое место, куда приказано где-то и кем-то, оставшимся назади и неведомым. Такова, значит, сила подорожной по казенной надобности, с прибавкою печатного указа губернского правления. При входе в дом тотчас же начинается угощение. Богач в Ковде Матвей Иванович Клементьев хлопотливо суетится около самовара самолично. Возвращаясь в комнату, низко кланяется и усердно старается угостить каменными баранками, пряниками, гнилыми орехами. Видимо, любит он принять заезжих гостей (думалось мне), но на поверку

оказалось, что он человек замечательной скаредности и заражен язвою стяжания новых прибытков в наибольшей степени сравнительно с прочими. Прижимист он и неподатлив; ни на какие уступки не ходит и чужими бедами не возмущается. Он даже прославился тем, что охотно откупал бедняков от рекрутства и затем забирал их к себе в кабалу, заставляя работать на себя за 50 рублей в год, при своей одежде. При этом он требовал еще перекрещиванья и обязывал купить для питья особую чашку и держать ее всегда при себе. Словно эта вера — его личный каприз и придурь, из-за которой бедняки должны гнуться в три погибели, молиться затребованным старым крестом. Где-нибудь за глазами они все-таки пускают в обе ноздри табачный дым и чокаются в кабаках артельными шкаликами и стаканчиками. Этот Клементьев так и ходил за мной, чтоб я не пошел смотреть хотя бы невинный забор, устроенный для ловли семги. Прислушивался он к моим разговорам и расспросам, предупреждал своими ответами те вопросы, которые обращал я к рабочим-промышленникам. Он так и не выпустил меня из плена, буквально не спуская со своих глаз. Савин в Керети повыступил совершенно в такой позе, в какой в знаменитой картине правдивого Федотова «Сватанье майора» представлен отец невесты: вырядился в непривычную долгополую нарядную сибирку и даже нижнюю пуговку еще не успел застегнуть. Как будто бы Савин заробел — «есть чему,— объясняют, — он свеженький федосеевец, еще не обсох от второго крещения, которое совершилось над ним там, в карельских скитах, кажется, на Топозере». Понуждался я в сельском начальстве для помощи — Савин послал за ним своего парня. Пришедшая власть поклонилась сначала ему, хорошо разумея, что позван приезжим человеком, с которым еще не видался. На предлагаемые вопросы он, собираясь отвечать, сначала читал в глазах богача раболепно, покорным и робким взглядом, отыскивая решение:

«Как повелит говорить твоя милость? Не провраться бы, не прогневить тебя, нужного человека, с тобой век изживать, а налетов-то этих ездит довольно — на всякого не угодишь».

В одном случае, при таком же замешательстве в ответах, Савин не выдержал-таки и заметил оробевшему:

— Говори же, братец, что знаешь и как дело понимаешь, ты это должон!.. Что ты на меня-то пялишь глаза?

Игра на этот раз велась уже до того открыто, что мне становилось не столько досадно и обидно, сколько смешно. Чего тут, в самом деле, скрывать на этом семужьем заборе, на этой ловле сетью-гарвою? Знай, болтай: сколько запущено нершей, как зовется продольное колье и как поперечное, когда ставят гарву и зачем ее не принимают на Терском берегу — чем она там неудобна? Сказывай, знай, чего жалко? Экие секреты!

Оказалось, однако, что без разрешения Савина сельская власть на полное исполнение моих просьб была не властна. Богач, за раскол, не будучи ни старшиной, ни головой, оказался потом настоящим начальником. На подножном корму, выращенном и приготовленном бедняками, а в том числе и этим, избранным в начальство за бессилие, он отпаивал, откармливал и опускал до колен свое чужеядное пузо. На этом самом Карельском берегу, бывало, то и дело лезут поморы с жалобами на притеснения: «Большой начальник ездит».

Поморы вообще не прочь попечалиться на горькую долю, но жалобы строят на общих невзгодах, зависящих от местных причин: от агличана, приходившего разорять берега во время Крымской войны, от сурового предательского климата, от норвегов, без спросу вылавливающих на наших берегах треску, и т. п. Зато поморы Карельского берега вдвое, вчетверо докучливее жалобами против прочих соседей и так, что самые просьбы их перестали уже давать темы для расспросов и служить путеводною нитью при исследованиях быта и нравов — просьбы и жалобы были слишком личными, в тесных рамках единичного интереса. Просто-таки жмут их и надавливают богатые монополисты, каждого по-своему и всех заодно. Брошенное письмо валялось в коробе с древними рукописями, принесенными напоказ. Пожелав познакомиться с письменным стилем поморов, я развернул письмо и прочитал: «М. Г. Иван Андреевич! Желаю вам здравствовать! С наступающим летом поздравляем. Сим вас прошу покорно сходить к Ивану Сущихину и получить по моему регестру денег три рубля. Если не отдаст, то нажми. Скажи ему, что я буду просить станового, чтобы

он выслал его ко мне, и вы попросите Назара Васильевича моим словом: нельзя ли его выслать ко мне для расчета? Если вам не отдаст, меня уведомить. Проситель А. Тукачев. Прошу меня в обстоятельствах уведомить. Писать про себя нечего, а пишем ради вести, что нагрузились сухой рыбой и идем в Архангельск». В другом месте лезет ко мне проситель с такою просьбой:

— Мир на море отпустил, а становой держит. И билет от головы и от писаря есть, в кармане лежит. Пали слухи, что на Мурмане рыбы не выгребешь, а рук мало. Повели, как мне быть?

Избитые песни, надоскучившие и измучившие своим режущим уши и надрывающим сердце тоном, непрошеными снова пришли на память, когда я шел знакомиться с князем. Кого в нем встречу?

Вот и сам печорский князь налицо, когда я в беспорядочно раскиданном, но очень большом селе Усть-Цыльме на площадке против церкви нашел двухэтажный дом, один из лучших и выделяющихся в слободе. Дом этот казенный, предназначенный для квартиры лесничего, в должности которого и состоял в то время этот столь всем известный, любимый и расхваленный человек. В Пинеге, на Никольской ярмарке, от всякого печорца в числе первых опросов требовался ответ: «Все ли по здорову князь поживает?» Всякий хорошо знал, что ни один ижемец не проезжал мимо без того, чтобы не повидаться с князем, не поклониться ему, лишь бы только лежал этим людям путь через Усть-Цыльму.

Передо мной стоял небольшого роста, живой и подвижный старичок (ему было лет под шестьдесят) в беличьем архалучке — бабий любимец и кумир. Он приветливо, очень мягко и ласково улыбается мне черными глазами. Над густыми усами ярко выделялся круглый восточный нос грузинского типа. Это и был тот самый князь Евсевий Осипович Палавандов, к которому обращаются теперь мои запоздалые воспоминания.

Он сейчас же и обогрел меня теплым приветом. Сказал, что поджидал со дня на день и кое-что успел уже приготовить из того материала, который может пригодиться для знакомства с краем: песельницу хоро-

шую разыскал, знает такую женщину, которая свадебные порядки умеет вести, и уже подговорил ее рассказывать, когда я приеду. Теперь ждет лишь прямых указаний, что еще надобно для моего дела и чем еще может помочь.

Едва мы успели обговориться и поосмотреться, как Евсевий Осипович поспешил сообщить мне то, что по званию моему, прописанному в подорожной, казалось для меня близким и интересным и что в том или другом виде сохранилось в запасах его памяти. Живя в Тифлисе, он слыхал про Марлинского, знавал Грибоедова, лично видал А. С. Пушкина. Сам был он тогда очень молодым юношей, с ограниченным, как грузин и тифлисский житель, наблюдательным кругозором. Последующая судьба и суровая жизнь могли лишь рассеять и малые запасы сведений, изношенных в течение тех трех десятков лет, которые протекли со времени любопытных тифлисских встреч. Конечно, он мог сообщить уже не многое, лишь кое-что, более резко запечатленное. Отдавшись благодарным воспоминаниям о добром князе, я не могу замолчать его рассказы, как своеобразные, как рассказы очевидца. (...)

О Марлинском (А. А. Бестужеве) князь Палавандов передавал мне известную легенду, сложившуюся на Кавказе и облетевшую всю Россию, когда имя романиста повсюду гремело и он был любимцем всей читающей публики.

— Живя в Тифлисе, числился Марлинский рядовым, но не служил. Все его любили. Постоянно ходил он в венгерке, жил вместе с сумасшедшим братом. Ему разрешено было писать и печатать, но не иначе, как под псевдонимом Марлинского. По настоянию какого-то негодяя-полковника Паскевич вскоре услал его на Кавказ в горы, в действующие войска. По самым верным слухам, там полюбили его мирные черкесы, и трое из них дали возможность собраться и проводили в горы. Что там с ним сталось — в Тифлисе не было известно.

Всех яснее напечатлелся в памяти Евсевия Осиповича, конечно, образ нашего великого поэта.

— Наша грузинская аристократия любила блеск и пышность. Ради удовольствий готова была разориться (что и случалось при князе Воронцове). Роскошничала сломя голову, невоздержно, с увлечением. При этом



не только не лишена была чванства, но считала за честь кичиться княжескими титулами. Ведь и в самом деле многие роды вели свое происхождение прямо-таки от царей Вахтанга V и Георгия. Внуков последнего, отдавшегося России со всею страной в 1800 году, особенно ласкали и баловали. Попасть в княжеские дома нелегко было, разве уж тот человек был близок по родству или другим связям с главнокомандующим. Можете вообразить себе, какой роскошный пир приготовили в Тифлисе в честь нового наместника, графа Паскевича! За почетным обедом, между прочим, для парада прислуживали сыновья самых родовитых фамилий в качестве пажей. Так как и я числился в таких же, то также присутствовал тут. Я был поражен и не могу забыть испытанного мною изумления: резко бросилось мне в глаза на этом обеде лицо одного молодого человека — я его как сейчас вижу перед собой в подробностях. Он показался мне с растрепанною головой, непричесанным, долгоносым. Он был во фраке и белом жилете. Последний был испачкан так, что мне показалось, что он нюхал табак (князь Палавандов особенно настаивал на этом предположении). Он за стол не садился, закусывал на ходу. То подойдет к графу, то обратится к графине, скажет им что-нибудь на ухо — те засмеются, а графиня просто прыскала со смеха. Эти штуки составляли потом предмет толков и разговоров во всех аристократических кружках: откуда взялся он, в каком звании состоит и кто он такой — смелый, веселый, безбоязненный? Все это казалось тем более поразительным и загадочным, что даже генерал-адъютанты, состоявшие при кавказской армии, выбирали время и добрый час, чтобы ходить к главнокомандующему с докладами, и опрашивали адъютантов о том, в каком духе на этот раз находится Паскевич. А тут — помилуйте!—какой-то господин безнаказанно заигрывает с этим зверем и даже смешит его. Когда узнали, что он русский поэт, начали смотреть на него, по нашему обычаю, с большею снисходительностью. Готовы были отдать ему должное почтение как отмеченному божьим перстом, если бы только могли примириться с теми странностями и шалостями, какие ежедневно производил он, ни на кого и ни на что не обращая внимания.

Всего больше любил он армянский базар — торговую улицу, узенькую, грязную и шумную. Узка она до

того, что то и дело скрипучие арбы сцепляются с вьюками на верблюдах. Из одного дома в противоположный, стоящий по другую сторону улицы, протянуты веревки и на них просушивается белье. Улица живет в открытую: лавки и мастерские все настежь. Чуть не на самом тротуаре жарят шашлыки, готовят кебабы; на глазах всех проходящих открыто бреют татарам головы, чинят штаны, вышивают шелками по сукну. Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вести, там видели его, как он шел, обнявшись, с татарином, в другом месте он переносил открыто целую стопку чурехов. На Эриванскую площадь выходил в шинели, накинутой прямо на ночное белье, покупал груши и тут же, в открытую и не стесняясь никем, поедал их.

Из Тифлиса езжал он и подолгу гащивал в полковой квартире Раевского, откуда привозили подобные же вести: генерал принимает подчиненных в мундирах, вытянутыми в струнку, а из соседней комнаты в ночном белье пробирается этот странный человек, которого по всем правам обязаны почитать. А он вот этого-то самого от наших грузин и не хочет, несмотря на то, что все хорошо знали, что он народный поэт. Не вяжется представление: не к таким видам привыкло. Наши поэты степеннее и важнее самых ученых. Поэт должен сидеть больше дома и, придя в гости, молчать, он обязан ценить каждое свое слово на вес золота и на площадях и на ветер речи свои не выпускать. Каждое его изречение непременно должно выражать собою практическое правило, и чем лучше и красивее та форма, в которую оно облекается, тем поэт почетнее и уважение к нему больше. Надо это видеть у мусульман, например, у персов, особенно по большим праздникам, когда целою компанией являются к почетным людям с обязательным поздравлением все эти улемы и муллы. С непривычки подумаешь, что это рассажены статуи или языческие боги с поджатыми ногами—до того они степенны и неподвижны. Кажется, не волнуют их подставленные под нос подарки, не смущают сладкие и лакомые угощения. Если и новый гость войдет в это время, они, по-видимому, и на него не обращают никакого внимания. Ни один не изменяет себе предательскою чертой на лице в сосредоточенности помыслов даже и тогда, когда понесет под мышками и в руках предложенные ему подарки. А тут — помилуйте! — совсем наоборот: пере-

бегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеется, якшается на базарах с грязным рабочим муштаидом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в то время пробыл в Тифлисе в общей сложности всего лишь одну неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не один год потом. Это я очень хорошо помню.

Кстати, князь вспомнил также и эпиграмму на капитана Борозду * и, полагая ее неизвестной, повторил с комментариями, рисующими личность, с той поры всем известную.

Совсем другое впечатление произвел тезка Пушкина, А. С. Грибоедов, бывший в Тифлисе гораздо больше, но раньше его.

— Я,— говорил князь,— как теперь вижу его большие выкатившиеся глаза и умные беседы, которыми он очень очаровывал, будучи радушно принят во всех лучших домах. Он — секретарь персидской миссии, он недавно исполнил поручение — переселял армян в Россию, он — чиновник по дипломатической части при великом Ермолове, — чего еще больше? Когда арестовали Рылеева, в его бумагах нашли письма Грибоедова. Ночью тайно схватили его и увезли в Петербург. Он успел оправдаться и вернулся назад с рассказами. Шепотом толковали о том, что в Петропавловской крепости сидел он, отделенный дощатою перегородкой, рядом с тем жидом, который держал по подряду почту для сношений южного общества соединенных славян с северным петербургским тайным обществом. Жид до того явно трусил, что неистовые порывы его оробелого духа не только были слышны, но и надоели соседу. Он стал высказывать всем свое твердое намерение написать комедию «Жид в тюрьме». Исполнил ли?

Перед близкими людьми Грибоедов шутливо оправдал свою невинность и непричастность к заговору тем, что написал «Горе от ума» с прозрачными намеками, которые не умели-де понять, а в Чацком могли бы заподозрить любого либерала из вернувшихся из-за границы молодых гвардейцев того времени... Аббас-Мирза... знаменитый тем, что оставил по себе 26 дочерей и 24 сына, также и тем, что бесплодно и безнадежно старался водворить в Персии европейское образование, получил за последнее стремление от Грибоедова по-

хвальные стихи, написанные на чистом фарсидском наречии, и наградил его орденом Льва и Солнца[1]. По возвращении в Тифлис Александр Сергеевич выпросил у Паскевича позволение жениться. Ему, на счастье, досталась красавица Чавчавадзе, за которую раньше сватался племянник Ермолова, но суровый и строгий генерал не любил, чтобы в боевой армии его находились женатые офицеры, а потому не позволил и расстроил брак. Вот почему и уцелела для Грибоедова эта красавица, Нина Александровна, которую он и увез с собою в Тегеран, отправившись туда посланником и на смерть. Сестра его желала иметь землю с могилы брата, и я ее в мешочке вручил ей в Москве, через которую провожали меня в ссылку, в финляндские батальоны.

Евсевий Осипович Палавандов действительно был в опале и ссылке, обвиненный за участие в заговоре, о котором собственно весьма мало известно, но организация которого не лишена интереса. Сам участник не любил об этом рассказывать (о чем меня раньше предупреждали все). Не вспоминал он и не сетовал даже на то суровое время, которое привелось ему провести в исправительных финляндских батальонах, отличавшихся не только строгостью, но и жестокостью в обращении с жертвами дисциплинарных взысканий. Мне еще в Архангельске объясняли:

— Незлобивый, добрейший человек вычеркнул из своей ссыльной жизни эти годы и постарался забыть о них, так что если когда неосторожно доводилось коснуться этого вопроса, он вздрогнет, вскочит с места, начнет ходить из угла в угол и впадет в такую меланхолию, что его уже и не расшевелишь целый день. Ни слова против, ни обличительного звука, как будто ничего этого не бывало и никакой Финляндии не существует, а есть вот прямо перед глазами облюбленная им Печора и застилающаяся в памяти милая, родная, роскошная и цветущая Грузия.

— Мне доводилось, — рассказывал мне сам Евсевий Осипович, — во время прогулок по полям прилечь от усталости на траве, где посуше. Я всматривался пристально в цветки и находил даже мелкие розы, ед-

[1] Здесь в сообщении князя неточность: Грибоедов был награжден этим орденом 2 степени за переселение армян из Персии в Россию. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

ва поднявшиеся от земли, но распустившиеся. Видел я другие цветки, которые напомнили мне родину. Здесь они не поднимают головок над травой и, скрываясь в ней, ни для кого не видны, а потому и считаются несуществующими или несоответствующими климату и почве. На другой день я приходил на те же места, ложился, высматривал те цветы и уже не находил их: они цвели не вчерашние лишь сутки, а может быть, всего-то несколько часов. Я был счастлив, что уловил эти мгновения. И на Печоре светит то же солнце, что и над Грузией... Напрасно здешнюю природу зовут мачехой, несправедливо весь край считают забытым и обиженным богом! — толковал князь с убеждающею настойчивостью.

Он убеждал, конечно, не без увлечения теперь, на старости, и в этой бедной и далекой стране, куда привели его другие увлечения давно мелькнувшей молодости, которой ему так и не довелось вполне насладиться.

12 сентября 1801 года манифест объявлял всенародно:

«Не для приращения сил, не для корысти, не для расширения пределов и так уже обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя управления царства Грузинского; единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в отвращение скорбей, учредить в Грузии правление, которое бы могло утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона».

Таков был ответ императора Александра I, вызванный посольством больного и бессильного последнего грузинского царя Георгия (в числе членов посольства был и дядя Евсевия Осиповича князь Елеазар Палавандов). Не было никакой мысли овладеть Грузией, предполагалась одна лишь поддержка страны, в которой все материальные и внутренние производительные силы были подточены внутренней анархией и расшатаны беспрерывными нападениями внешних врагов. (...) Простой народ единодушно выражал желание вступить в русское подданство и избавиться навсегда от гнета корыстолюбивых царевичей и расточительных цариц, доказывая то очевидными знаками доверия и рас-

положения к новым правителям. Случилось не то, на что имели полное основание рассчитывать.

Царевич Александр убежал в Персию искать там помощи: ему хотелось сделаться царем, и в то же время он не желал ссориться с русскими. Прочие царевичи, привыкшие соблюдать более свою, чем государственную пользу, двуличили не только перед русскими правителями, но и перед своими клевретами. К 1800 году всех царевичей, цариц, царевен и их детей насчитывалось 73 человека. Царицы (Дарья и Мария), представлявшие крупные силы, руководили всеми смутами и интригами, и одна из них дошла до коварного убийства русского генерала Лазарева. Прирожденные многочисленные князья разделились на две партии: одни, жившие безграничным насилием и грабительствами, как манавские, ездили на гору каждый день, поджидая и высматривая царевича Александра с многочисленным войском, злонамеренно подговаривали лезгин к нападениям, чтобы показать народу бессилие русской защиты, и возмущали Кахетию. Другие князья, владевшие деревнями и имевшие свои доходы, были довольны и жили смирно. (...)

К концу 20-х годов нынешнего столетия царевичи и все грузинское царское семейство были перевезены в Россию, где предоставлены были им возможные почести и вознаграждения. Но многие, «вместо должной признательности за благодетельное спасение их самих и отечества их от явной гибели, питали скрытную злобу или мечтательные надежды, породившие, наконец, повод и к видам преступным». Так было сказано в судебном акте о событиях 1831 года. Из него, между прочим, видно, что молодые грузины, цвет юношества края, получавшие образование в Петербурге, по воскресным и праздничным дням ходили к князю Дмитрию и другим царевичам «отдавать им почесть», навещали их. У Дмитрия явилась мысль к восстановлению самобытности отечества. С другой стороны, князь Окропир (из царевичей же), живший в Москве, задумал (по свидетельству этого же акта) то же самое, без всякого, однако, соотношения к замыслу Дмитрия.

До 1829 года не было видно никаких действий. В этом году Окропир, воспользовавшись разрешением, полученным в Москве, отправился к кавказским во-

дам и, по окончании курса лечения, неожиданно отправился в Грузию. Здесь он сблизился, главным образом, с Орбелиани, сыном царевны Феклы (дочери царя Ираклия), с артиллерийским офицером Элизбаром Эристовым и учителем Додаевым. Они составили правила «тайного дружества», цель которого состояла в том, чтобы внушать молодым грузинам любовь к отечеству и Багратионам (о возвращении их рода на грузинский престол), просить священников молиться о последних, напоминать грузинам их прежнее бытье, вольный доступ к царям и скорую каждому расправу, не изменять народным нравам и обычаям, не говорить о намерениях своих никогда втроем, даже при родных братьях, и проч. Для восстановления грузинского царства (по данным того же акта) предполагалось произвести народное возмущение, овладеть в Тифлисе главными местами, заградить путь через Дарьяльское ущелье, образовать регулярное народное войско, подчиненное избранным начальникам, и продолжать действия против русских не массами, но шайкой. Расчет на успех основывался на вспыхнувшем в то время польском восстании и, вследствие того, на разъединении русских военных сил. Как только пришло об этом известие, заговорщики перезнакомились между собой и соединились в общество в начале июня 1830 года. Князь Эристов, более других пылкий и настроенный и действовавший энергично с князем Орбелиани, соединился с учителем Додаевым и иеромонахом Филадельфом. Орбелиани открыл свой замысел Евсевию Осиповичу Палавандову, «деятельно, однако, не участвовавшему».

Додаев для успеха дела начал было издавать газету, но выпустил лишь 6 листов в 1831 году. Остальные заговорщики вошли в сношение с беглым царевичем Александром, которому Орбелиани приводился родным племянником. Царевича звали прибыть в Кахетию для начальствования войском в видах изгнания русских из Грузии. Царевич, за старостью лет, отказался. Племянница его, дочь брата Юлона, красавица Тамара Юлоновна, старшая сестра Дмитрия, заместив его в Тифлисе, сделалась центром заговора. Молодежь увлеклась ею до самозабвения.

При совещаниях с нею положили подговорить к соучастию офицеров сборного учебного батальона. При

слухах о неприязненных намерениях персиян вторгнуться в Грузию и о продолжительности польского восстания произошло некоторое волнение в умах и беспокойства в Тифлисе. Когда Варшава пала и известие о том дошло до Тифлиса, заговор «если не прекратился, то ослаб; общество приняло некоторый вид литературного». По прибытии некоторых сообщников из Петербурга заговор снова устроился, чему благоприятствовала отправка кавказских военных сил в Дагестан против Казымуллы.

Заговорщики начали распространять неблагоприятные слухи и почасту сходиться у Орбелиани и у Палавандова, жившего в квартире брата (Николая Осиповича), гражданского губернатора, во время отсутствия последнего для ревизии губернии. Рассчитывали сделать нападение на казну, арсенал и магазины, подговорить ссыльных поляков (которых было до 3 тысяч) и разжалованных нижних чинов (каковых числилось в то время будто бы 8 тысяч). Княжна Тамара сначала было струсила, но потом согласилась на бунт и даже на личное в нем участие. Ждали съезда дворян на выборы и в особенности генерал-майора князя Чавчавадзе, который тотчас по приезде в Тифлис и поспешил отклонить намерения молодежи и убедил оставить пустые замыслы.

Произведены были аресты, и барон Розен назначил военный суд. Император Николай I, видя бесплодность и полную несостоятельность заговора, до некоторой степени раздутого следователями, милостиво смягчил приговор суда и меру взысканий, проектированных самим бароном Розеном. Южную кровь более порывистых и пылких надеялись охладить северным климатом. Так Элизбара Эристова увезли в один из архангельских гарнизонных батальонов, учителя Додаева определили в службу нижним канцелярским служителем в одной из северных губерний до отличия выслугой, не прежде, однако ж, десяти лет. Иных отправили в Пермь, других в Вятку.

Изо всех подсудимых 59 получили наказания, ограниченные ссылками на житье под присмотром в дальние русские гарнизоны, города и крепости. Между прочими царевичей Окропира и Дмитрия приказано выслать первого — в Кострому, второго — в Смоленск; княжну Тамару Юлоновну — в Симбирск, Феклу Ираклиев-

ну—в Калугу, а отставленного от службы коллежского регистратора князя Евсея Палавандова, не подвергая суду и не лишая дворянства, повелено определить унтер-офицером в один из полков, расположенных в Финляндии. Всем воспрещен въезд в Грузию на всю жизнь. Остальные из прикосновенных к делу, в количестве 78 человек, освобождены были от всякого взыскания.

Князь Палавандов в 1834 году предстал пред новыми начальствами с аттестацией барона Розена такого рода: «Прежнее поведение его весьма предосудительное, ибо два раза он бежал в Турцию и горы, нравственность его очень неблагонадежная. Вообще, по своему уму, хитрости, пронырству и безнравию, он человек для здешнего края решительно вредный и опасный».

Ссыльный князь оказался полезным для другого края, где постарался начисто исправить свою репутацию и загладить свои вины и увлечения молодости, заменив мечтательные порывы практическими стремлениями и действиями.

По освобождении от солдатской лямки князь был произведен в благородный чин прапорщика, не только дозволявший по регламенту жениться и нюхать табак не из артельной, а из собственной табакерки, но и открывающий дороги во все стороны. Для Палавандова, однако, оказалась одна, не ближе Архангельска, а по прибытии сюда — не дальше Печоры. Не лесничий ученый туда понадобился, а открылось просто свободное место, предназначавшееся в то время обычно офицерам и, вопреки всяким ожиданиям, очень покойное. Туда Палавандова и направили и старались о нем забыть, как забыли и о самой Печоре. Под его наблюдением и попечением очутилось, таким образом, целое государство европейское по количеству квадратных верст, весь Печорский край, находящийся в пределах Архангельской губернии. На севере — моховая пустыня, без меры в ширину и без конца в длину, совершенно безлесная.

— Не смейтесь! — вразумлял меня сам лесничий с обычным ему примирительным взглядом на вещи и пристрастием к стране, гостеприимно его приютившей.—Живет и пустыня. Кажется, все в ней мертво, уныло и убийственно-однообразно. Смерть, дескать, повсюдная смерть! Стелется один ерник да мох, а забывают, что их сопровождает вереск, кое-какие злаки, а

по болотным местам не оберешься морошки. На самом сухом бесплодном песке вырастают грибы и рядом с ними самое красивейшее формами земное растение — мох и лишаи. Я не прощу за насмешку и резкое обвинение — и укажу прямо на любимицу модных кабинетов, многоствольную кустарную карельскую березу. Ведь и лиственница растет... Корява, правда, малоросла — не выше полутора сажен, не шире трех вершков в отрубе, а ведь это есть то самое благородное дерево, которое идет на корабли, которое здесь, в окрестностях Усть-Цыльмы, доходит до семи сажен и семи-девяти вершков в отрубе (до нижних сучьев). Мы видим это дерево сплошными рощами, чего в России давно не видать. Этими рощами опушены наши реки и речки. О сосне и елях я уже говорить не стану: добротность и красота их — доказанные. (...)

В таких-то лесах и при подобных условиях привелось быть блюстителем и хранителем добрейшему и мягкому человеку Е. Ѳ. Палавандову. (...)

Идем раз мы с ним вдвоем по улице — навстречу нам парень. Выправивши с груди из-под малицы руку в рукав, он снял с головы пыжицу с длинными ушами и поклонился. Князь пригрозил ему пальцем:

— Хорош мужик — разоритель! Куда мне тебя определить за твою вину?

Тот, остановившись, учащенно кланяется, встряхивая волосами.

— Гулял я по лесу, вижу: лежит дерево лиственницы, великан-дерево, — объясняет князь, обратившись ко мне. — За такое дерево в Петербурге морское министерство шестьсот рублей платит, за границей дадут далеко больше тысячи. Стал доискиваться, допрашиваться, кто рубил. Прямо на тебя, друг, и указали. Рассказывай, как было дело?

Встречный парень не замедлил:

— Поехал я с Матюшкой рыбу острогой колоть, изладились пообедать и увидали эту самую лесину: сколь, мол, она хороша! А Матюшка-то и говорит: «А что, паря, матицы для новой избы ладны будут?» Побежали в лодку за топорами и повалили.

— А не стонало дерево-то, не плакалось, не придавило вас? Вам жаль его было? Что же не вывезли-то его, зачем гнить его бросили?

— Силушки нашей не хватило — трем лошадям в

упор. Перли, перли, все плечи изодрали — не поддается.

Заговорил и князь-лесничий:

— Вот он теперь гнить начнет, мохом обрастет — кабы ты об него запнулся да нос себе в кровь разбил!.. Вот и толкуйте с ним! Охраняйте леса от таких озорников, — говорил он мне, а потом ему: — Пойдешь к батюшке, покайся на духу — своровал ведь, да еще и так, что ни себе самому, ни дворовому псу.

— Не изловчишься — не наладишься,— жаловался он мне как-то раз после обеда, в котором обычно сменялись оленьи свежие языки вкусными оленьими губами с хреном и самой вкусной рыбой в свете — пелядью (...) С ними чередовались осетрина из Оби, привозимая из-за Камня * ижемцами, и чир местного нароста.

Князь любил поесть вкусно, хотя и умеренно: ему несли все лучшее и любимое им. Никому не продадут, если он не откажется. Не купит князь — «возьми в подарок, сделай милость, Христа ради, из почтения, за великую твою доброту».

— Вот как трудно исправлять должность, — продолжал объяснять добрейший и кротчайший человек.— По верховьям печорских притоков мешаются с елью кедровые деревья, а по самой Печоре их бывает еще больше. В урожайные годы шишек так много, что начинают не только все грызть орехи, а и на сторону продавать. Сбор — бабье дело. Они вот этакого остолопа возьмут с собою, и он, чтоб угодить бабам и понравиться, возьмет да и срубит благородное дерево. Они, мокрохвостые, сядут да и обирают шишки, как морошку рвут. Соберу их, чтобы избранить и застращать, а иная воструха на мои слова и на глазах вынет из кармана орешки и щелкает; назвать-то плод не умеют — зовут гнидами, а щелкают, как настоящие белки, в глазах рябит. И здесь плюнешь и отойдешь прочь.

Не баловство это,— объяснял ответно князь,— а такой неискоренимый обычай, закон какой-то повсеместный. Никакими наказаниями не наладишь. Надо в котлах новых людей вываривать, а старые и наличные все на один покрой и никуда не годятся. Рыбаку нужно щербу (уху) сварить, охотнику на рябах по путикам обогреться — разведут костер, и ни один еще из них ог-

ня не тушил. Леса горят во всех сторонах, и летним временем только о пожарах и слышишь. Сгорают огромные площади, конечно, безнаказанно, за неимением средств и рук для тушения. Либо сам пожар перестанет от какого-либо случая, либо набежит огонь на реку, домчится до озера, заберется в гнилое и мокрое болото и не совладает с ним — потухнет. Выбрал я из охотников самого мудрого, степенного человека. Глубоко я его уважал за рассудительность, за солидные и чистые дела, толковал с ним очень долго. Я ему про то, что эти уголья им же на голову, он вникал и поддакивал. Я уж и успокоился, что нашел рассудительного человека, сейчас мы с ним правила начнем сочинять и писать и пошлем их в палату, а то в министерство. Стали сводить к концу, он и говорит: «Напрасно, князь, пишешь!»—«Как же, мол, так?»—«Да тушить огонь, — говорит, — самое пустое дело и труд не в прибыль: Печорский край никогда не может совершенно выгореть!» Сказал он это, да еще ногой притопнул; значит, у них скреплено, и мирская печать приложена.

Разрешивши для себя эту статью таким положительным и безапелляционным способом, Евсевий Осипович обратил свои заботы и внимание в другую сторону. Кстати, от него и не требовали особенных должностных услуг. У него даже вицмундир с зеленым воротником залежался. Управляющий палатой, навестивший его, почувствовал особенную жалость к тем очевидным страданиям, которые испытывал князь, надевши форму и наглухо затянувшись: мундир оказался до того узким, что начал по швам потрескиваться. Постановлено было тогда же совсем не обращаться к форме никогда и быть за всяко-просто, в архалучке грузинского покроя. Князь отбывал ссылку — надо сострадать ему и не беспокоить на месте, обязавшем его совершенно чужим делом. Он успел просиять личными добродетелями, они все и прикрыли, сделав его личность неприкосновенной, от которой нечего требовать, а следует ожидать, на что она, будучи светлой и безупречной, сама соизволит. Да и печорцы, кажется, порешили так. «Леса, стало быть, охранять не стоит, не уберечь их тебе и не оглядеть всю их целину. А вот охрани ты нас, немощных и беззащитных темных людей, в забвённой сторонушке. Поучи, дай совет, как

жить да избывать всякие беды, которые, как крупа с неба, не переставая, сыплются. К кому же прилепиться? Кому же поведать печали и у кого искать защиты и доброго совета?»

Зато советам князя охотно следуют самые грубые и несговорчивые люди, решением его все спорщики всегда оставались довольны.

— Батюшка ты наш,— выпевала своим певучим печорским голосом, неблагозвучно растягивая слова, молодая бабенка, при мне без доклада прямо ввалившаяся в горницу.

— И не проси, не пойду,— сразу и решительно отвечал ей князь, знавший всех в слободе не только в лицо, но и с изнанки.— Слышал, что родила, сказывали.

Она ему в ноги — и поползла по полу. Он даже вспыхнул.

— Я покрещу, а ты перемажешь, да наново перекрестишь. Вот тебе (и сунул что-то, конечно, деньги) — и ступай, кумом меня не считай и не зови при наших встречах.

— Церковных всех перекрестил,— объяснял мне хозяин отводной квартиры.— Родом-то он дальный, сказывали, из какой-то теплой, неверной страны, а веры-то русской сызмальства, — рассказывал хозяин, твердо уверенный в том, что и здесь надо подразумевать привилегию как некое чудо, доставшееся в особое исключение перед прочими для их излюбленного человека.— И всякого парнишку по имени помнит,— добавлял он.— На улице встретит — по голове гладит, даст пряник либо калачик. По большим праздникам оделяет деньгами и малых ребят, и все кумовство. Какие получает деньги, все изводит. У него отказу нет. Окажешь ему просьбу, он так и зашевелится. Хочется ему по-твоему сделать, больно хочется — по всему видать, да, видать, у самого на тот час нету. Благодарности не любит, не принимает от тебя — разворчится и не покажется.

Я видел самоеда *, который на улице, в глубоком снегу, повалился благодарить за то, что князь отбил от обидчика-зырянина * добрым советом двух его важенок (оленей), которых отобрал лиходей за пастьбу на тундре, никому не принадлежащей и до сих пор неудобной к межеванию. Олени этого самоеда просто пристали к

стаду зырянина и молодые охотно и долго держались на одном мху, за одним пастухом, с третьегодним приплодом и тем провинились вместе с хозяином-самоедом перед зырянином.

На благодарный поклон князь рассердился и даже ворчал, говоря мне внушительным тоном:

— Глупый-с, очень-с глупый народ, самый несчастный-с!

Вежливая придаточная частица речи, конечно, не была у него дурной привычкой гостинодворских приказчиков галантерейного обхождения. Не чувствовалось в ней и признаков условной, отталкивающей вежливости, и тем менее она обличала собой насмешливость приема больших и влиятельных, желающих уязвить, нагнести, наглумиться над маленьким и подчиненным, чтобы он чувствовал весь яд перемены обычного тона на поддельно-вежливый. Подозревалась здесь благоприобретенная под батальонными пинками и палками простая прикраса обыденной речи ненужным и холодным привеском. Вошла она теперь в обычай, с которым и нельзя уже ему расстаться по привычке.

Словно он вымещал своими искренними чувствами сострадания и участия — спросту, по-христиански — за все то, чем обижали его и что перенес он про себя при старой системе казарменного воспитания и батальонной службы. Во всяком случае, он совершенно погрузился в интересы Печорского края на всем протяжении его в пределах Архангельской губернии, пользуясь всеобщей любовью. Впрочем, более близкие к нему и тонкие наблюдатели замечали, что у него лежало сердце больше на сторону устьцылемов не по ближнему соседству, а вследствие экономических условий их быта (всем было известно, что он бедным слобожанам всегда помогает в покупке дорогого хлеба). Архангельскую Печору, как известно, поделили между собой низовики-пустозеры с верховыми — ижемскими зырянами. Первые — владельцы богатых рыбных ловель и оленьих пастбищ, вторые — владельцы оленей и богачи от замши, мехов и перепродажи соли и хлеба. Устьцылемы, очутившись между двух огней, понесли печальную бытовую участь с очевидными признаками бездолья и бедности. Последняя вынудила их и на выселки по притокам Печоры и породила давнюю непримиримую и нескрываемую вражду с теми и другими, особенно с пустозерами, и

указала князю беспокойную роль миротворца, ходатая и хлопотуна.

Выселками устьцылемы не выгадали, попали из огня в полымя. Живущие на притоках находятся в самом жалком положении, не многим лучшем самоедов, вконец обездоленных ижемскими зырянами. Из пятилетних урожаев дает бог один подходящий, когда снимут дозревший хлеб сам-пять. Иные из-за куля бурлачат на Печоре все лето. Между тем заступничество князя уважалось и ценилось в Архангельске: оно лечило временные язвы и починяло случайные прорехи. Самое большое затруднение представляла размежевка озер, чрезвычайно рыбных, из которых в течение зимы налавливается не одна тысяча пудов. В одном только случае удалось князю помирить соседей тем, чтобы они наловленную рыбу: щук, чиров, сигов и нельму (...) сваливали в одну кучу и потом делили по равным частям между всеми участниками. Ловцы послушались и потом каждый год ходили благодарить князя, что приставил голову к плечам. Искреннее участие его все-таки ничего не могло сделать с вековечной укоренившейся враждой устьцылемов с низовиками.

— Ну вот-с, покажите господину — он свежий, он лучше нас может рассудить,— говорил князь устьцылемским старикам, явившимся с какой-то книгой.

То была старинная, скрепленная дьяком выписка из писцовой книги, где в самом деле указаны были собственностью устьцылемов те острова, шары и виски, которые оттягали у них пустозеры. Оказалось, что князь давно уже возился с этим документом более чем двухсотлетней давности, простодушно уверенный в его законности и святости. Возбудит он пререкания, вызовет перекоры — начнет мирить и соглашать. Спорщики как будто подадутся, и князь для них становится уздою даже в щекотливом экономическом случае поземельного владения. Спорщики и в самом деле помирятся на словах до первой ссоры и драки на межах. Опять они идут к князю судиться, а он снова не скучает с ними толковать про белого бычка. Никак не управятся они все вместе при добром согласии с этой писцовой книгой! И мной остались, конечно, они все недовольны. Остался доволен лишь я сам лично тем, что по этой старинной выписке довелось мне попол-

нить свой словарек местными названиями живых урочищ. Названия эти из XVII века остались нерушимыми до настоящего времени, но свойственными лишь этому Печорскому краю. Так, например, виска — это пролив из реки в озеро или между озерами (отсюда и название многих печорских деревень), а шар — пролив между реками и между островами в море и рукав той же реки, огибающий остров, летом высыхающий. Курья — заливец из шара, заходящий кутом версты на две — четыре и опять входящий в шар, — это шара шар. У острова бывает хвост и голова. Старуха — не только заветшалая баба, но и покинутое русло, где, однако, воды столько, что можно плавать, а пристав — не только тот чин, который оберегает стан — становой пристав, но и тот кол, которым, с охранительными же целями, припирают дверь от блудливой скотины, когда уходят на страду. Вот и хо́луй — название, сохранившееся за великорусским селом, где пишут иконы (во Владимирской губернии), и утратившее там первоначальное значение. Здесь, на Печоре, оно убереглось, оставшись за тем возвышенным побережным местом, куда река течением своим привыкла наносить бугор из щепы, всякого хвороста, цельных деревов и песку. Вот и россоха — каждое из устий, на какие делятся иные реки при слиянии, — словом, все те урочища, которые принимались за границы (...)

— Вот-с, расскажите господину, Марья Савельевна, что знаете,— серьезно и допросливо говорил князь (этим он отвечал на вопрос мой о результатах безвыгодного и тяжелого житья устьцылемов, обращаясь к приглашенной им гостье, себе на выручку, мне на помощь).

Чопорная и полагающая себя умной и действительно знающая обычаи и всякие обряды своих слобожан, Марья Савельевна начала рассказывать. Князь уклонился от очного свидетельства по очевидному неумению или нежеланию говорить о людях худо и произносить тем паче огульные им обвинения.

— Наши слобожане,— истово выпевала рассказчица, в конце речи возвышая голос (...),— не очень отягощают себя пьянством, однако же не дадут своей части испортиться в бочке, но и чужое-то не квасят.

Князь улыбается и поощрительно настаивает:

— Говорите-с дальше, хорошо начали.

— Болезнь, кроме горячки и оспы, бывает порча или отрава, которая единственно происходит от злых людей по ненависти и дотуль доходит, что и смерть получают в скором времени...

— Дальше, государыня моя, дальше! — продолжал настаивать князь и даже ногой притопывал, словно наслаждался певучестью речи почтенной старушки, и выбивал такт, когда она, по местной привычке, к концу фразы возвышала голос.

— Училище? Заводилось училище, но по новым книгам, а потому и не было принято желающими училища по старым книгам для образованности.

Князь потирает руки и улыбается.

Затем шел рассказ о пище, об одежде, о жилищах. Князь настаивал, как будто хотел, чтобы старуха выложила все разом, и снова в такт покачивал головой, когда мне приходилось выслушивать и записывать на память.

Старуха, между прочим, выпевала:

— Но всегда если не на сарафане, то по рубашке надет пояс, по старообрядскому поверью, и потерять, либо подарить, либо забыть надеть этот пояс — значит накликать на себя несчастье...— Князь погнал рассказ дальше и догнал его до конца. Старушка допевала:

— И все тому подобное, хлебопашество, скотоводство, рыбна ловля и зверина, и жительство, и язык — все русские, и никаких нет особенностей разных. И есть хотя маленькие ошибочки, но выразить невозможно.

— А вырази! Ты ведь умная и ученая,— перебил князь.

Но она уже, видимо, устала и выкладывала последние остаточки.

— Также и памятников, и болванов, и никаких почетных богов и богинь не водится. Хоша и есть какие-нибудь басни старинные — таперича все оставили. А читают какие-нибудь изданные разные книжки, примерно, Аглицкого Милорда, Францыля Виньцыана, Еруслана, Бубу (Бову?) и другие прочие. А более не взыщите — скольки знала, стольки я вам и сказала.

Вот и эта патриотка своих мест застилает и заметывает, плетет и нижет, а за занавеску держится и не выпускает ее из рук. Где нужно и когда вздумается, возьмет да и задернет, невзирая на то, что тут-то и открываются самые любопытные виды. Тем не менее,



свадебный обряд дозволила она мне записать полнотой. Песенки на голос спела, избы в подробности описала и проделала все это беззастенчиво, самым обстоятельным образом,— конечно, из уважения и угождения князю, при явном расчете на его камертон и на выбор сюжетов. Разумеется, кое-где схитрила, местами умолчала, в другом переврала, затребовала новой поверки и справок в исполнение печорской же пословицы: «Чужая сторона блудясь, спознавать».

На одно особенно не поскупились печорцы — именно в жалобах на врагов своих, ижемцев, не пожалели красок, чтоб обрисовать отношения к тундре, то есть к самоедам и к приращению того бродячего капитала, который в виде оленьих стад гуляет на беспредельном просторе этой самой тундры.

Я еще не добрался до слободы Усть-Цыльмы, как уже успели забежать к князю раньше меня уехавшие с Печорской ярмарки два ижемские богача: Меркул Исакович из Мохчи и Николай Васильевич из Сезябы, с которыми я успел там раньше познакомиться. Они долго выспрашивали у князя, как им поступать со мной и какие держать ответы, как меня понимать и за кого принимать. Прием там сделан был самый радушный, но отличавшийся самой досадной и обидной замкнутостью, дававшей одно лишь подозрение, что ижемские дела в самом деле нечисты и «тундра грехом лежит у них на совести».

По неизменному и испытанно полезному обычаю я и в Усть-Цыльме поспешил познакомиться с местным молодым священником. Он между прочим поразил меня знанием священных текстов, которыми охотно пользовался, вставляя в свою речь во время бесед наших. По его объяснениям, это знание замечено было и его духовным начальством еще в семинарии, и, когда он окончил курс и открылось здесь вакантное место, архиерей Антоний избрал его, признав способным к миссионерской деятельности среди жителей отдаленного края и в раскольничьей слободе.

Интересно было его мнение о князе.

— Господь благоволил ему. Оттого и блажен, что он избранник по хотению своему, его же и прия.

— В чем тайна?— отвечал мне о. Павел на прямой вопрос мой.— Грядущего не изжинает. Каждый идет к

нему, и всякого приемлет. Как сказал Златоуст в слове на утреню святыя пасхи? Аще приидет и в девятый час и того милует, и того целует, и овому дарствует, и тому дарует,— говорил о. Павел быстро и остановился.— Впрочем, я всеконечно спутался: один ведь раз в году-то читаем,— говорил он в свое оправдание и затем продолжал:

— Остерегайтесь называть его деяния слабостью к сплетням и всезнание от скуки и праздненного жития — нет! Не сон его по годам стал реденьким, а по великой любви и благодати он заботлив и любвеобилен. С первыми петухами он всегда на ногах. И привычка сделана. Докажу примерами. Живет здешний мужик с достатками такими, что может лежать на печи сколько угодно. У него застоится кровь — начнет стрелять в спину, поясница застрадает. Идет к князю жаловаться. Советует князь в баню сходить. Да он уж и сходил, и отпустило ему, а все-таки лезет. Зачем?— вопрошаю. А вот, чтобы сказать домашним: «У князя был»,— как принимал, как потчевал. «Вот, братец ты мой, пришел я к нему, вышел это он ко мне, здравствуй — говорит, руку подал» и т. д. Но о сем довольно беседовать.

Замечательно, что на Печоре подача руки вовсе не считается особым знаком внимания и почета. Кто из приезжих новых людей сам не догадается это сделать, тому печорец первым поспешит сунуть свою мозолистую руку. Этого нет в Поморье, кроме богачей, а на Печоре такой обычай заведен князем и стал всеобщим и похвальным. Каждый тотчас же торопится вытащить руку из широкого рукава малицы и просунуть ее в наружный просов под заскорузлой и торчащей вбок рукавицей, пришитой одним боком к рукавам малицы.

— Продолжаю уподобление,— говорил отец Павел,— и представляю второй пример. У бабы овечку волки зарезали, отчитывать бы ей по своему требнику, а она также идет к князю. Однако не за деньгами его, чтобы купил, а затем, чтобы поскучать перед ним и поплакаться ему: «Бойкенькая была, два раза волну снимала и чердынцам на деньги продала». Он ее слушает, головой качает и языком причмокивает, того ей и нужно и больше ничего. Слышит и видит она, что он ее жалеет. Тайна сия велика есть. Баба довольна, да ведь и соседки не дадут ей покоя, непременно скажут: «Что

скулишь-то? Посоветуйся с князем». Она побывала, поговорила с ним — овца-то у ней словно бы и отыскалась. Велика эта тайна, повторю, не обинуяся. Всматривался я в его деяния: идет он весьма поранy гулять по слободе, палкой от собак отбивается и на все имеет прозорливость. Увидит неисправность, постучит в окно палкой и вызовет кого возжелает. Сделает наставление, учит каждого, как поступать, чтобы всем было хорошо и любительно. Лыбопытствовал я о церковном различии, так как он грузин — никаких мне отмен он не указал. Обнаруживал явственно рачение к молитве и рвение ко святому храму. Плащаницу сам любит выносить из алтаря и храма. К разногласию с раскольниками довольно хладнокровен, как бы не взирая. Вот вы отсутствовали на богоявленской вечерне с водоосвящением (я был на пути в Ижму) — жаль, что не посвидетельствовали, какое бесовское игрище, языческое идолослужение уготовляют шумно и дико на час освящения воды заблудшие слобожане. Верхом на лошадях они скачут по дворам в открытые ворота. В руках у них метлы и палки, суют их и бьют ими с плеча во всяком углу на дворе и в клевах по воздушному пространству. Это они изгоняют бесовскую силу, ибо по учению их потребников токмо в один этот час и возможно делание таковое и имеет вероятие восконечного изгнания нечистых духов. По закоренелому своему обычаю раскола предместнику моему от суеверов этих было весьма худо и не безопасно. Озорничали при встречах, словами оскорбляя духовный сан, и, кто знает, может, усугубляли это и действиями. Князь их смирил и, можно сказать, возложил на них узду равнодушия. Заключительно скажу: следствия сокровенной тайны, видимые лицом к лицу, неисчислимы.

— Не боитесь вы, что они произведут князя при жизни во святые? — спросил я.

— Подобные примеры в житиях святых усматриваются. Указываются таковые праведники. Впрочем, возложим хранение на уста до благовремения.

— Ну, вот и слава богу, теперь вы все сами лично видели! — сердечно приветствовал меня князь по возвращении из «Ижемцы». (...)

— Теперь от себя прибавлю, — говорил князь. — Спаивают, всю тундру со всеми стадами на вино выменяли, за чарку — шкурка. Долгами так опутали, что

водворили полное крепостное право. Однако не все... Это только худшие из них так делают. Прочие все, как люди — хорошие люди. Сами видели — набожные, хлебосольные, предприимчивые, бережливые и — поверьте мне! — с хорошей нравственностью. Все это есть и у пустозеров. Нет только этой скаредности, стремления к наживе, излишней заботы о своих пользах. Вместо них, видели: любят пустозеры жить просторно, полакомиться и других угостить. Бабы щеголяют.

Князь пошел на откровенность:

— Устьцылемы замкнуты в себе, не гостеприимны, чуждаются людей, да и ленивы, а бабы только и умеют вязать чулки да перчатки. Зато нет аккуратнее в расчете с долгами. Без чердынцев они погибли бы...

Свидание это было последним на тот третий раз, когда снова приходилось проезжать мимо Усть-Цыльмы в полное подкрепление той истины, что мимо князя никак не проедешь, куда бы в самом деле ни сунуться — на юг или север. Не мне первому оказывал он всевозможные услуги и помощь. В одном случае его жизни довелось ему быть даже спасителем от серьезной опасности молодого ученого Кострена, изучавшего здесь родственные языки его финляндской родины. Суеверные устьцылемы, по какой-то странной огласке, сочли его за колдуна. Другие признали его за поджигателя, третьи уверились в том, что он лекарь, отравляющий колодцы. На беду сам Кострен имел привычку гулять ночью. Дело обсуждалось в волостном правлении, именно в том смысле, что им делать с чародеем. Два раза уже останавливали ученого на дороге, но князь не велел этого делать и умел разъяснить, что за дикая птица этот приезжий. В одном доме тряслись половые доски, на которых между прочим стоял ушат с водой. По забавному случаю свалилась с печи малица, рассыпалась вязка дров, заколыхалась вода в ушате. Тут, наверное, засел черт, и посадил-то его этот самый наезжий чародей! — порешили печорцы. Надо было догадаться проделать опыты над трясучим полом при всех и видеть, как у суеверных зачесались затылки, но не исчезли с лица косые взгляды на финляндского колдуна. Поверить — не совсем поверили, но разошлись добром и по согласию.

По-прежнему я нашел здесь на обратном пути со стороны Евсевия Осиповича предупредительную забот-

ливость. *Он* прислал ко мне с моржовыми клыками и посками* и мамонтовыми рогами продавца по ценам, установленным чердынцами: клыки подешевле, рога подороже, поски даром, курьеза ради, с приобщением о них архангельского анекдота (неудобного для печатного рассказа). Принесли в подарок курьезные каменные ядра с уверением, что они отваливаются от какой-то горы в тундре именно в этой поразительно правильной обточенной форме шаров. Оказалось, что князь заботливо относится ко всевозможным произведениям края, лежащим в неизвестности и еще не имеющим сбыта в значении продажного товара. Он пытливо допытывается у всякого заезжего о возможности применения известного сырого продукта. Он как приехал сюда, так и завел огород: насажал свеклы, редьки, моркови, гороху и, между прочим, картофеля. Дело небывалое и невиданное в слободе; крестьяне посмеивались. На картофель искоса поглядывали, прослышавши, что та овощь недобрая и в старых книгах проклятая. С князем принимались спорить, возражали ему:

— Что нам из картофи, да и кто добрый человек будет ее есть? Коли уж сеять, так лучше же репу.

Князь высеял картофель в поле, осенила его благодать — уродился порядочным. Сеятель и насадитель переупрямил — теперь картофель и овощи стали выручать голодную страну, и огородничество оказалось важнее хлебопашества. Благодетель выписал свежих семян и раздарил охотникам. На следующий год они пришли и поклонились князю до самой земли. В одном князь не был счастлив: не сладил с бабами, настаивая на том, чтобы они покупали у чердынцев лен и ткали бы холсты.

— Не умеем, матери не учили нас ни ткать, ни прясть,— упрямо отвечали ему с привычным припевом.

Добродетельный человек не уставал, он уже успел дать ход гагачьим шейкам, покупаемым теперь на Пинежской ярмарке для выделки из них очень оригинальных, прочных и красивых дамских муфт. Сам он из них сшил себе пестрый широчайший плащ, непромокаемый и отличавшийся сверх того еще тем, что сизые с отливом, испещренные беленькими бородками в таких же квадратах шкуры эти от дождя и снега становились еще красивее и сизее. Шила плащ самоедка, по обыкновению, оленьими жилами на вековую прочность, при-

нявши за выкройку широчайший капюшон княжеской шинели военного покроя. Мне плащ понравился, и я мимоходом его похвалил. Когда я сел в сани, чтобы ехать по льду Печоры в обратную, князь прислал слугу с мешком, принятым мною как последний и обычный знак гостеприимства. Мне думалось, что добрейший человек позаботился снабдить меня съестной провизией на время четырехдневного переезда по голодной Тайболе с курными и неприступными избушками — кушнями. На реке Мезени в мешке оказался тот самый плащ, который практически служил на Печоре князю, а для меня лично являлся лишь редкостною вещицей на память и для подарков.

На тот раз снова цельно выяснилась маленькая фигурка большого человека в полном величии той изящной простоты, которая так гармонировала и пришлась по мерке с изумительной патриархальной простотой нравов жителей Печоры. В их глазах, в самом деле, князь оказался и образцово набожным человеком, соответственно племенному характеру, как грузин, и святым, безгреховным человеком — по личным свойствам. Он заслужил чрезвычайное почтение еще при жизни, которое, несомненно, должно перейти за пределы его подневольного временного пребывания на далекой реке и перенесется на его могилу. Невольно припомнились мне и могила Киприана в окрестностях той же Усть-Цыльмы, пострадавшего в XVII веке за приверженность к расколу, и сомнительное место погребения знаменитого Аввакума с четырьмя товарищами, сожженными живьем в Пустозерске. Песком с их могил лечатся от сердитых недугов и ходят сюда для поклонения. Если жива и действительна их память, то, по некоторому сходству участи, не откажет в том же благодарное печорское население неподкупному охранителю их прав, заступнику за их интересы и, несомненно, добрейшему человеку. Выяснился передо мной и тот разительный контраст, который оказался между этим победителем душ и сердец и теми поморскими благодетелями, которые подвели под свою тяжелую руку беззащитную бедность страхом отказа в помощи, денежной кабалой, требованием перемены веры и смены обычаев, перекрещиванием, насилованием совести и другими недобрыми делами.

На этот раз опять предстала передо мной эта высо-

кая в нравственном смысле личность, скромными, неслышными способами получившая широкую известность. Прошлой весной одно из влиятельных лиц, отправлявшееся на Печору с важными поручениями и обратившееся ко мне за сведениями, упомянуло об Евсевии Осиповиче Палавандове и пожалело, что уже не может воспользоваться его услугами и благотворной помощью. Когда последние для меня оканчивались досадным сроком поездки и надо было благодарить и прощаться, я решился задать князю тот вопрос, который он искусно сдерживал до сих пор — вопрос, невольно напросившийся в последние минуты свидания:

— Когда же вы, князь, соберетесь наконец оставить Печору и решитесь переменить худшее на лучшее?

Известно было, что не один раз ему предлагали на выбор любое место лесничего во внутренней России, даже в теплой Малороссии, только не за Кавказом, но он упорно отказывался.

— Зачем?— отвечал Евсевий Осипович и мне вопросом, как, вероятно, делал и при формальных запросах служебного начальства.— Печора дала мне все, что не дала бы мне и родина. Здешний прелестный климат на старости лет закалил меня таким здоровьем, что могу даже отбавить другим желающим. Таких людей, как здесь, мне уже нигде не найти. Нет, не могу вам сказать: до свидания,— прощайте навсегда, до возможной встречи там, на небесах, в будущей жизни. (...)

В Усть-Цыльме, на церковной горушке, действительно насыпана могила князя рядком с теми многими, для которых он посвятил все с лишком двадцать последних лет своей безупречной и небесследной жизни. (...)

БЕРЕСТЯНАЯ КНИГА

Береста, собственно верхний светлый слой, наружная оболочка березовой коры, имеет, как известно, огромное приложение к практической жизни простого русского человека. Он представляет легкий, подручный и удивительно пригодный материал под названием скалы для растопок печей, теплин на пастбищах, овинов по осеням, на ис-

годнюю покрышку кровель вместо леса, под тес на обертку комлей столбов для охраны от гнилья и проч. Береста, с другой стороны, служит дешевым и удобным материалом для разных поделок, необходимых в домашнем быту. Если следовать строго систематическому порядку постепенности в описании всех практических применений этого продукта, имя которого стоит в заголовке этой статьи, то как на первообраз этого применения можно указать на те самоделки-ковшички, которых так много плавает во всех придорожных ключах для услуги утомленного летним зноем путника, не всегда запасливого, хотя подчас и сметливого. Второй вид применения бересты, естественно, тот сосуд, который так пригоден и в дальних странствиях на богомолья, и в ближних на страды и годовые праздники и в котором пригодно держится в деревнях и сотовый мед, и густая, вкусная брага, в котором, наконец, привозятся в столицу национальные лакомства, будет ли это уральская икра, или лучший вятский (сарапульский) мед, или даже каргопольские соленые рыжики и ярославские грузди. Сосуд этот зовется бураком в средней и южной части России и туезом по всему северу и по всему сибирскому краю. Ступанцы — те же лапти, только не липовые (не лыковые) и не веревочные шептуны, служащие простому народу вместо туфель,— всегда целыми рядами видны в любой крестьянской избе под печными приступками подле голбца, плетены всегда из лент бересты. Ступанцы эти как туфли надевает и баба, идущая из избы загонять в загороды коровушек и овечек, и мужик, которому надо проведать коней, наколоть дров, накачать воды из визгливого колодца. Берестяные же плетушки-саватейки, содержащие внутри себя всю необходимую подручную лопать (одежду и белье), торчат сзади, на спинах всех тех странников — калек перехожих, которых можно видеть значительными толпами и по Троицкой дороге за Москвой, и в уродливых лодьях на Белом море между Архангельском и Соловками. Они же торчат и за плечами бродяг, толпами идущих из Сибири в Россию, с каторжной неволи на лесное и степное приволье. Из той же бересты сшивают тунгусы конскими волосами свои летние юрты — *урусы*. По Ветлуге (в Костромской губернии) береста породила новую и довольно значительную отрасль промышленности: там из бересты гнут круг-

лые табакерки-тавлинки, которые, с фольгою по бокам и ремешком на крышке, обошли всю Россию, удовлетворяя неприхотливому вкусу небогатых нюхальщиков. Один из умерших уже в настоящее время мастеров своего дела в первых годах настоящего столетия в одном из дальних и глухих мест нашей России делал для себя и по просьбе коротких знакомых целые картины и портреты, вырезая и оттискивая их рельефом на той же бересте[1]. На этом, по-видимому, и должна остановиться всякая иная попытка к усовершенствованию и дальнейшему приложению такого грубого, но прочного материала, какова береста. Но мне удалось в мезенских тундрах найти новую редкость, указывающую на то, что береста может служить материалом для составления целых *книг,* и если не вовсе может заменить бумагу, то, во всяком случае, и легко, и удобно служит заменою ее в крайних случаях при ощутительном недостатке.

Живущие в тундре (*в оленях*, говоря местным выражением) по целым годам удалены бывают от людей и всякого с ними сообщения за непроходимыми болотами летом, глубокими и непроезжими снегами — зимою. Скитаясь, по воле и капризам оленей, с одного места на другое, живущие в тундрах (даже и русские) привыкают к однообразной жизни и разнообразят ее только охотой с ружьем, с неводами, с капканами и проч. Но бывает и так, что судьба и обстоятельства загоняют в тундру и тех из русских, которые привозят с собою грамотность, так значительно развитую в тамошнем краю, забывая часто бумагу. Изредка (в год — в два раз) наезжающие из *Городка* (Пустозерска) по пути на пинежскую никольскую ярмарку привозят с собой только чай, кофе и сахар; предметам письменности тут нет места. Между тем темные осенние и зимние ночи с коротеньким просветом способны нагонять и на привычного человека тоску и скуку, которые были бы безвыходны, если бы и здесь не явились на помощь грамотность и уменье писать.

Из пережженной березовой корки делается клейкая сажа, которая, будучи разведена на воде, дает доволь-

[1] Автор этой статьи видел два портрета его работы, замечательные по чистоте, оригинальности отделки и по разительному сходству: портреты фельдмаршалов Кутузова-Голенищева-Смоленского и Барклая-де-Толли, вырезанные художником в 1820 г. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

но сносные чернила, по крайней мере, такие, которые способны оставить очень приметный след по себе, если и обтираются по верхнему слою. Орлы и дикие гуси, которых много по тундре и которым трудно улететь от меткого выстрела привычных охотников, дают хорошие перья. А вот и подручная, всегда удобно обдирающаяся по слоям береста, которую можно и перегнуть в страницы и на которой можно писать и скоро и, пожалуй, четко.

Беру отрывок из путевых заметок, и именно то место, где вписались подробности приобретения этой редкости.

...Едва только аргиш[1] наш успел остановиться, олени повернулись в левую сторону и стали, как вкопанные. На крыльце высокого, по обыкновению, двухэтажного дома показался человек, окладистая седая борода которого, резко отличаясь от серого воротника оленьей малицы, бросилась в глаза прежде всего и необлыжно свидетельствовала о том, что борода эта принадлежала самому хозяину. По обыкновению высокий и широкоплечий, старик этот не представлял, по-видимому, ничего особенного: та же приветливая полунасмешливая улыбка, свидетельствующая о том, что старик рад нежданному гостю, та же суетливость и предупредительность в услугах, с какими поспешил он отряхнуть прежде всего снег с совика и с какою он, наконец, отворил дверь в свою чистую гостиную комнату, приговаривая:

— Просим покорно, просим покорно! Не ждал, не чаял — не обидься на нашей скудости. Милости просим, богоданный гость!

Все, одним словом, по обыкновению предвещало и впереди тот же неподкупно-радушный прием, с каким встречает русский человек всякое новое лицо — нежданного, потому, стало быть, еще более дорогого гостя.

Старик и в комнате продолжал суетиться: помогал стаскивать совик, советовал поскорее сбросить с ног пимы и липты[2], тащил за рукава малицу, вытребовал

---

[1] Аргиш — поезд в 5—10 санок оленьих. Чунка — санки с высокими копыльями и оленьей веревочной упряжью. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

[2] Пимы — сапоги, а липты — чулки из оленьего меха, преимущественно из камусины или шкуры, снятой с оленьих ног. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

снизу старшего сына, такого же рослого и плечистого богатыря, и велел ему весь этот тяжелый, неудобный, но зато страшно теплый самоедский наряд снести на печь и высушить.

— Чай, не свычно же твоей милости экую лопать-то на себе носить, тяжело, поди!

— Ничего, старичок, попривык!

— Тепла ведь, больно тепла, что баня! Озябли эдак руки-то — спустил рукава да и прячь их куда хочешь, под мехом-то им и не зябко. Затем и рукава под мышками мешком, пошире делают. Мы вон малицу эту и по летам, почесть, не скидаем — все в ней.

— Надевать-то уж очень трудно, видишь, с полы надо, как стихарь. Распашные лучше по мне, а то чуть не задыхаешься!

— Да уж надевать, знамо, привычку надо: мы так вон, просунем голову — и был таков! У вас ведь там, в Расее-то все, слышишь, распашные.

— Все распашные: тулупы, полушубки, шубы, шинели, пальто.

— В наших местах они не годятся — не устоят! У нас тянут ину пору такие холода, что нали руду * носом гонит, а дышим так все под ту же малицу, весь в нее прячешься, и с носом, и с глазами — такие страшные холода стоят! А вот ведь без оленьего-то меху что ты поделаешь?

— Теплый мех, старичок, очень теплый и мягкий такой, а, пожалуй, и не слишком тяжелый.

— Одно, вишь, в нем нехорошо: мокра не терпит — промочил ты его в коем месте, так и норови скорее высушить, а то подопреет мездра и всю шерсть выпустит: не клеит, стало, не держит! Ну и дух дает тоже... Шевелись же, ребятки, шевелись, давай самовар поскорее! — прикрикнул он на своих сыновей, из которых трое были налицо и тоже пришли посмотреть и поклониться новому, незнакомому человеку.

Явился самовар, против обыкновения, довольно чистый и, по обыкновению, большой — ведра в полтора. Старик, предоставив старшему сыну распоряжаться чаем, сам скрылся и пришел уже в синей суконной сибирке, по-праздничному, и с бутылкою вина в руках.

— С холодку-то, ваше благородье, ромцу не хочешь ли? Способит. Из Норвеги возят наши поморы. Хоро-

шее вино, не хваставшись молвить, из Слободы в редкую чиновники наезжают — хвалят.

Два сына явились, между тем, с тарелками, на которых насыпаны были общие поморскому краю угощения: на одной медовые пряники, на другой кедровые орехи, на третьей баранки.

Начались потчеванья, раза по два, по три, почти через каждые пять минут.

— Спасибо, будет, взял уж, будет с меня!

— Бери, ваше благородье, не скупись: добра экого у нас много: у чердынцев, почесть, возами покупаем на целый год. Орешки-то вон, эти на бездельи очень забавны. Дела-то ину пору нет, скламши-то руки сидеть несвычно — возьмешь вон этих орешков — щелкаешь их помаленьку, ан, словно и дело делаешь, а время и идет тебе не в примету. Прекрасная забава!

Началось угощение чаем, густым, как пиво, но старик не с того начал:

— Садись, ваше благородье, вон под образа-то, сделай милость!

— Спасибо, старик, все ведь равно, мне ловко и здесь!

— Нет уж, сделай милость, садись в передний угол, не обидь!

— Не хлопочи, старик, и здесь также хорошо: стакан есть куда поставить...

— Нет, да уж ты не обессудь нашу глупость, садись в большое место — гость ведь... У нас, твоя милость, таков уж извеков обычай — коли и поп туда засел, да нежданный гость пришел на ту пору — мы и попа выдвинем. Нежданный гость — почестен гость! Да что это я твою милость не спрошу, как тебя величать-то? Благородный ты или высокоблагородный?

— Все равно, старик, как хочешь.

— Нет уж, коли есть разнота эта, почто не по-нашему?

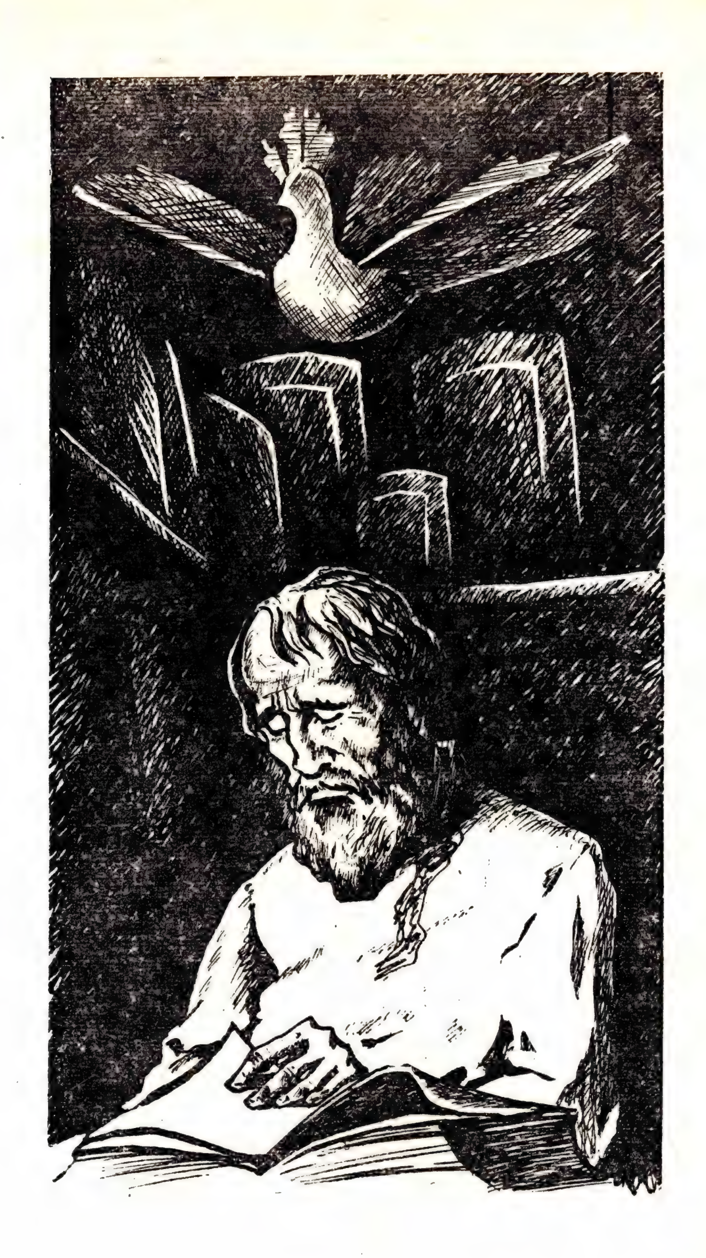
— Имя ведь есть у меня, а то зачем нам чиниться: в гостях ведь я у тебя, не следственные допросы отбираю?

— Да ведь как кому? Новой (иной) вон и обижается, коли не чином его взвеличаешь — оговаривают. Так уж и зовем всех высокоблагородными — и не обижаются. Как же имячко-то твое святое?

— Сергей, старичок!

— Слышь, Мишутка, поищи-ко там у меня в акафистах акафист Сергию Радонежскому да положь там к божнице!— обратился он к одному из сыновей и потом ко мне:

— Ужо на молитву к ночи встану, прочитаю. Его, стало, святыми молитвами мне бог ноне гостя послал, он вымолил... Когда имянинник-то бываешь, по лету али по осени? Родился-то на этот день али пораньше? Тропарь... постой, тропарь-то ему как? Да, «Иже добродетелей подвижник, яко истинный воин Христа-бога», знаю. Да, великий был постник, великий подвижник и воин по Бозе: еще был в чреве матерне — три раза проглаголал в церкви, по рождении в пятки и среды не вкушал матерняго молока в знак великого своего постничества, от мира бегал и в пустыне водворихся, чаях бога спасающего от малодушия и бури житейския,— продолжал как бы про себя рассуждать старик, подтверждая то мнение, которое составилось о нем и в ближних и дальних местах печорского края. Говорили, что старик читает много и знает много, что такого книжника не найти нигде во всем архангельском краю, что он самый сведущий из той семьи стариков, почти вымершей в настоящее время, которая, состоя при Соловецком монастыре в обязанности штатных служителей, знала церковный устав лучше монахов, образовывала клиросный хор. К опытности этого старика обращался первый архимандрит, составивший певческий хор из монашествующей братии, до того не участвовавшей на клиросе. Но главное, что особенно могло влечь к беседе со стариком, это именно то, что он знал много о старине архангельского края, тщательно собирал и берег, как зеницу ока, старину эту и в памятниках письменности — в старинных грамотах, сказаниях, книгах, и был обладателем единственной библиографической диковинки, о которой ходили какие-то смутные слухи. Старик показывал ее только коротким и близким землякам, но прятал от всякого незнакомого, чужого глаза. Все предвозвестия были, вообще, неблагоприятны. Личный опыт был тоже не на стороне успеха в настоящем деле: архангельский люд уже осмотренной западной части губернии доказал на деле какую-то замкнутость и поразительную скрытность в сообщении пустейших даже сведений о своем житье-бытье. На все вопросы у



всех был один ответ: «Страна наша самая украйная, у край-моря сидим; люди мы темные, дураки, грамоте и маракует кто, так и то через пень в колоду; рыбку вон сетями разными промышляем; тоже опять суденушки строим, а то мы люди темные, какие уж мы люди — самые заброшенные, никакого начальства большого не видим, рыбку вот ловим, суденушки строим...»

Со стариками-кремнями было еще труднее водить дело: спросить о старине и прямо начать говорить о деле — испортить дело навсегда: он окончательно запрется и станет на одном, что он «человек темный и вести дело с большим начальством несвычный, старины придерживается по привычке только, а не со злого какого умысла».

Повсеместный ли раскол, частые ли разыскания беглых из Сибири в местах беломорских со всеми неблагоприятными, запугивающими острастками со стороны неопытных следователей причиною всей этой скрытности — решить трудно. Можно положительно и наверное сказать одно только, что и будущему собирателю всяческих сведений предстоит такая же неутешительная и обидная трудность, с какою боролся и пишущий эти строки. Одна надежда, единственная возможность услышать кое-что, найти что-нибудь — случайность и крайнее уменье, приноровка к делу. Легче объехать всю почти непроходимую Архангельскую губернию в полгода и в летнюю пору, чем собирать все народные редкости, которыми давно и справедливо славится этот дальний, сплошь почти и без исключения грамотный и толковый край.

С этими же неблагоприятными и неутешительными мыслями и предположениями сидел и я в избе мезенского старика, удивленный и его начитанностью и редким патриархальным порядком, который ввел он в семье своей, напоминавшей всецело добрую, но уже отжившую свои века старинную допетровскую жизнь нашего обновляющегося отечества. Особенно поражало непривычный глаз отсутствие женского пола, чего нигде нельзя встретить, хоть бы привелось объехать всю Россию из конца в конец, заглядывая даже в дальние, глухие закоулки ее.

— Разве вы, старик, живете без женщин?

Старик спохватился, как будто испугался чего-то:

— Нет, мы не такие, как нам можно без женщин?

Живем мы по христианскому закону. Ты так и пиши. А то почто без женщин, как можно без женщин?

— Да куда же я буду писать-то, старик?

— Ну да кто тебя знает куда? Известно, уж туда, куда тебе надо. Затем ведь ты, чай, и ко мне?..

— Ты меня, кажется, старик, не за того принял?

— Нешто ты не из земских? Может, из молодых. А каков-таков ты есть — мы и не видывали, да и не чутко, чтобы там на Слободе-то новые были какие. Дали бы знать, коли бы были, есть такие благодетели... Ты не обессудь наш глупый мужичий разум, сказываем то, что на ум идет, по простоте ведь. Каков же таков ты-то, ваше сиятельство, не в обиду тебе вопрос этот?

Я сказал. Старик придакнул, ребята, сыновья его, насторожили уши.

— Так почто же это тебя послали-то сюда, сказываешь?

— Смотреть вот, как вы живете здесь, чем промышляете...

— Как живем? Да вот по боге живем-то, христианских душ не губим, ты в наших местах и не услышишь этого, хоть все объезжай. Каков вот свет-от божий стоит, не токмо убивства, воровства-то, ваше сиятельство, не слыхать, да и не услышишь. В бога веруем. Троицу святую почитаем и в Сыне и в Духе, в трех ипостасях — все по христианскому закону, как глаголали святые отцы и пророки. А промышляем-то? Да все рыбку промышляем-то, потому — море близко. Хлебушка у нас не дает бог, ячмень — вот туда пониже сеют, да и тот больно плох — одно, выходит, звание. Лес тоже у нас опять жидок, ни на какую поделку не способен; карбасишки шьем, пожалуй...

— Вот за тем-то я и приехал, чтобы посмотреть, как вы и рыбу ловите и карбаса шьете.

— Так! Рыбу-то, вишь, мы ловим сетями такими, неводами зовутся... Семгу, навагу, сельдь вредкую попадает тоже. В озерах — по тундре-то нашей много же озер этих живет — щук ловим, окуней, лещей опять... А карбаса *вичью* шьем — это такое коренье бывает, вичье.

Старик видимо уклонялся от разговоров и дальше во весь день твердил только одно, что сторона их украйная, места бедные, еле концы с концами сводят, что

все зависит от моря, даст бог рыбу, даст бог и хлеб — истины, давно уже известные в мельчайших своих подробностях. Ими, и почти слово в слово, начинались все мои прежние беседы с поморами, со стариком не ушли мы и на пядень дальше. Даже известие, что снаряжают также артели за морским зверем на Новую Землю, было для меня вовсе не новостью. От главного, необходимого предмета разговора мы ушли далеко. Старик как будто смекнул уже о цели настоящего моего посещения и как будто старался забить разговор, вводя подчас совсем постороннее и неидущее к делу.

Раз я попробовал:

— Слыхал я, старик, что ты человек толковый, грамотный, разные старинные бумаги собираешь?

Старик отвечал на это решительно:

— Почто же это ты взвеличал-то меня, не ведаючи?

— Многие сказывали и все в одно слово.

— Ну, пущай их сказывают: зла я отродясь никому не делывал, все по божьему закону, не изобижал никого. Я не лучше же других, коли не всех еще хуже. Что я? Персть есмь, а не человек, поношение человеков и унижение людей...

— Вот ведь ты и самолюбив же еще старик, хвастаешься.

— Почто хвастаюсь? Не хвастаюсь. Ты вот похвалил на первых порах, а теперь и обзывать. А что этих бумаг старинных — так их у меня и в заводе не было. Нету таких, совсем нету!..

— А про акафисты-то сказывал.

— Ну да вот еще псалтырь новопечатная есть. Принесите-тко, ребятки, показать его сиятельству. Начальник наезжал позапрошлый год — видел и ничего не молвил. Держи, говорит, эту можно. А то какие такие старинные бумаги — нету таких...

— Ты, старик, не думай худа какого!

— Почто думать? Христианская, чай, в тебе душа-то, да вон и сказываешь еще, что не земской. А каких таких тебе старинных, досельных бумаг надо — не знаю; да и нету их у меня. Нету ведь, ребятишки, чего его милость спрашивает?

Сыновья подтвердили, молча кивнув головами.

— Ведь я, старик, не отнимать приехал: есть да покажешь — спасибо, а нет — так ведь не драться же стану.

— Да это точно, что не драться же станешь. Да ведь чего нет, так и не покажешь. Так ли?

— Худа ведь по мне в том нет, старик, что ты держишь старинные грамоты в свитках, сказания, лечебники... По мне это тебе еще делает честь, как человеку толковому и любознательному.

— Вот, ты опять начал! Знамо, худа тут нету, да и добра большого не вижу.

— Добро же в том, что ты знаешь больше другого.

— Да, это точно, что я, мол, как будто бы де и книжник какой! Это точно. А все же ума, поди, не прибудет, коли не дал бог при рождении...

— Ведь правишь же ты семьей, сыновей вырастил...

— Детей-то народить не хитрая штука: и набитые дураки, слышь, умеют!

— А в почтении их к себе держишь?

— Да это ведь батюшки еще покойничка наука, не сам же ведь я придумывал — по готовому ведь! И как же сыну теперича кровному почтение отцу не оказывать? На то я их поил-кормил. Жисти своей, может, половину в них положил, заботился об них. Да отец родной сына убить за непослушание может, и суд не тронет...

— Они ведь тебя и слушают, повинуются, чай!

— Этим что гневить бога: все — в послушании и любви, мирно живем, по всей, выходит, правде божией.

Старик, видимо, попал на живую струну, говорил долго и много. Рассказал он всю биографию и отцовскую, и свою собственную, и каждого сына порознь.

— Ну да ладно, постой-ко ужо! Слышь-ко, ребятки, тащи-ко сундук-от, что с книгами, правой-от.

Такое выгодное для меня, хотя и далеко непредвиденное заключение произошло, по всему вероятию, от внутреннего довольства старика, успокоившегося в своей семье, ступающей каждый шаг по его приказу и указанию.

В сундуке оказалось много старых печатных книг: брюсов календарь, несколько других позднейших, до десятка печатных монографий — житий святых московского издания, так называемых «петушков», письмовников Курганова и т. п., занесенных и сюда, вероятно, владимирскими ходебщиками — офенями. Но все это было не то, чего мне хотелось. Благодарность и осторожность требовали с моей стороны еще большей и

едва ли не самой нужной в настоящую минуту скромности.

Сундук был отнесен нетронутым — обстоятельство, видимо, расположившее старика окончательно в мою пользу. Он велел принести другой сундук с старопечатными, но и отсюда выбрать было положительно нечего: то были старопечатные требники, псалтыри, минеи — вообще книги, более или менее известные. И этот сундук унесен таким, как был. Старик окончательно повеселел и ожил.

— Ну постой же,— говорил он,— коли ты такой до старины падкий, покажу я тебе книжку, какой ты, чай, и не видывал. Принесите-ко, ребятки, берестяночку-то голубушку. Пусть полюбуется: эдакие ведь, все сказывают, на редкость и в наших местах.

Ее-то мне и было надо — книгу, писанную полууставом на бересте, так тонко и удачно содранной и собранной, сшитой по четверкам, что принесенная редкость смотрела решительной книгой. Разница только та, что листы берестяные склеивались между собою, но отдирались один от другого и легко и без всякого ущерба. Писанное разбиралось так же удобно, как и писанное на бумаге, буквы не растекались, а стояли ровно, одна подле другой: иная бумага хуже выделяет буквы, и только один недостаток — береста разодралась от частого употребления в мозолистых руках поморских чтецов по тем местам, где находились в бересте прожилки. Книжка была кое-как, доморощенным способом, переплетена в простые, берестяные же доски и даже болталась подле веревочная петелька вместо закрепки, а на одной доске торчал деревянный гвоздичек для той же цели. Старик весело улыбнулся на мой восторг и впился в меня взором.

— Батюшко еще покойничек выдумал,— говорил он,— жития разные вписывал и другое-прочее, что полюбится да придет ему по нраву, и я от себя писал. Таково-то легко: почесть, что не хуже бумаги. Перо только помягче надо...

— Сколько же, по твоему счету, времени этой книге?

— Да вот мне восьмой десяток на выходе, а я, что ни живу, помню ее, да все такую же. Батюшко-то, надо быть, до рожденья моего писать ее начал. Уж такой был старик книжный да любопытный!.. Царство ему

небесное! Такой грамотей, что тебе архиерей иной! Псалтырь всю да евангелия, глаза зажмурив, на память валял! А там эти великопостные службы — нипочем. Смеялись даже, бывало: тебе, говорят, что царю Василию, хоть сам Шемяка глаза-то выколи — любого попа загоняешь, и глаз-де не надо. Во какой был!

— Хороша твоя книжка, старик, очень хороша.

— Любопытна?

— Да так любопытна, что я у тебя и купил бы ее охотно, денег бы не пожалел.

— Книжка-то, вишь, не продажная: отцово наследие. А деньги почто не жалеть? Деньги нужное дело, без них нельзя. Тебе ведь, поди, много еще ездить надо...

— Да уж не пожалел бы!

— По-нашему: береги денежки смолоду — на старости слюбятся, как во вкус войдешь. А ведь тратить их тоже не учиться нам стать — с крылышками ведь они. Я вон и ребятам своим то же кажиной день твержу.

— Уступи, старик, по гроб обяжешь.

— Нет уж, я тебе лучше рыбинки какой ни на есть на дорогу дам, поважнее будет: вишь, у нас места какие, кроме снегу, ста на три верст ничего не найдешь — снежные палестины!

— Я тебе за рыбу-то деньги заплачу и за книжку тоже...

— Опять-таки, зачем мне твои деньги? Береги их, а у меня свои есть, своих много денег. Чай, и на Слободе об этом говоруны-то тамошние сказывали, что у старика денег много, да скуп, мол, старик: задатков не дает, да и промысла-де старик перестал обряжать, все по одной скупости. На чужой ведь роток не накинешь платок. По мне, мели Емеля — твоя неделя, а меня не убудет, мое при мне и останется. А твоих мне денег и даром не надо — твои деньги не даровые, чай, тоже...

— Я не стою об них, не пожалею.

— Мне с тебя, с заезжего человека, брать деньги — грех, на том свете покоя за это не дадут. Скажут: стяжатель, мытарь и фарисей, кощей семижильный, вот что скажут. Рыбку бог дает даром, бери, сколько сможешь, даром я и делиться ей должон с тем, у кого нет. А почто я с гостя-то стану брать? Гость — посланец божий, милость его за какое твое доброе дело...

— Да ведь рыбу-то ловишь же, хлопочешь, трудишься!

— Чего трудишься-то? Рыбка сама идет... Рыбка для гостей непродажная, ты ведь съешь ее, продавать в чужие руки не станешь. На доброе здоровье она тебе пойдет, и меня добрым словом помянешь. Нет, рыба моя тебе непродажная и книжка тоже непродажная — наследие!.. И на что она тебе?

— Покажу таким, которые в этом толк знают, пользу найдут. У тебя так же заглохнет, и никто ничего не увидит и не узнает. Тебе-то тут пользы уж положительно нет никакой.

— Мне какая польза? Это точно. Да что в ней и смотреть-то будут? Ничего такого в ней запретного нет.

— Да и не надо.

— Так почто просишь ты ее?

— Показать, как доказательство, что захочет русский человек писать — и без бумаги найдет средство, если уж крепко шевелится в нем это желание.

— Так вот вишь, книга-то непродажная. Еще, чего доброго, ты за мной же пришлешь после да в тюрьму либо в какое другое место и посадишь...

— За твое-то одолжение, за твое доброе дело?

— Оно, правда твоя, что не за что. Да вишь, ведь вы, чиновники, народ такой — не в обиду тебе молвить. Это начнешь-то сперва, как бы и ладно мягко расписываешь, а как выжилишь все, так и начнешь гнуть, и жестко покажется... Ты меня извини на глупом моем слове. Люди мы простые, пряники едим неписаные, да и свету-то, почитай, только в свое окошко и видим. Книжка опять-таки, стало быть, выходит непродажная. Ты и не проси по-пустому, не замай меня — лучше мы с тобой по знати, так — миром да согласием... Возьми, сколько желаешь, отступного, а меня ты не засуди, ребята тоже, жена, детки: есть кому старика пожалеть. Взвоют ведь, больно взвоют, ух, как взвоют!..

Старик крутил головой, сыновья вышли из горницы. Мне становилось тяжело и безысходно, слезы подступали к сердцу и... прекращаю, впрочем, описание дальнейшего и скажу в коротких словах, что старик согласился, наконец, уступить мне книгу уже на третий день по моем приезде. Старик уносил книгу с собой, никак не решаясь оставить при мне. Видимо, бывал

недоволен, когда я принимался ее рассматривать, брал из рук и сам ее оглядывал. Всякий раз надо было усиленно просить его, чтобы он опять ее принес снизу. Согласился же он отдать после долгих и многих хлопот, и то уже достаточно подстрекнутый сыновьями, из которых одному почему-то особенно хотелось угодить мне.

— Отдай, батюшка, вишь ведь ему больно хочется, что мучишь-то?

— Отдай... отдай!— рассуждал старик.— Ну отдай ты сам! Что меня учишь? Не знаю, что ли?

— Да я бы, брат, давно отдал, кабы моя была! Вишь, он затем и приехал!..

— Почто затем приехал? В гости ко мне приехал. Не надо говорить так, обижать не надо... Отдай!.. Ну отдай сам. Так ин, вишь, у тебя-то нет, нет у тебя-то, а я отдай! Что мне отдавать-то?..

— Деньги возьми, старик! Не даром же ведь. Я даром ни за что не возьму!

— Деньги возьми!— ворчал старик.— Сколько же ты дашь?

— Я не оценщик, спроси, сколько тебе самому лучшим покажется. Я торговаться не стану, если только не превысит моих наличных.

— Сколько же у тебя наличных?

— А это мое дело!

— Знаю, что твое дело. Книжке-то, вишь, цены нет, дорога книжка!.. Что с тебя взять?..

Старик долго еще продолжал толковать все в том же роде и высказывался почти теми же словами. Часто накидывался и ворчал на сына, как будто досадуя на его вмешательство, и, наконец, мы с ним порешили.

Четверня оленей, запряженных в те же высокие чунки, давно уже ожидала меня у крыльца. Скуластый, истый монгол, самоед-работник стоял уже наготове с длинным шестом-хореем. Еще несколько других чунок с шестами и оленьими шкурами для походной палатки — чума на безлюдной и неоглядной снежной степи также были готовы. Оставалось садиться и ехать с прежним гиком, похожим, впрочем, более на откашливанья и заменяющим бойкие ямщицкие выкрики дальней России. Ехали прямо, без дороги, через пни и кочки, по звездам и подчас по ветру, заметающему свой след на снежных сугробах. С моей стороны требова-

лось того только, чтоб крепче держаться за ременные петельки, прикрепленные к чунке, и смотреть, чтобы опять не потянуло совик и малицу к коленям и выше; тогда до чума пришлось бы не согреться и без причины сердиться и на самоедский наряд, без которого нельзя обойтись в тех местах, и на неудобную чунку, на которую нельзя положить ног и расположиться так, как в благодатной кибитке, и, наконец, на полярный холод, и даже, пожалуй, на себя самого.



Из книги „НА ВОСТОКЕ“



<К ОФЕНЯМ>

В мае 1855 г. я оставлял Петербург для некоторых уездов Владимирской губернии, населенных теми промышленниками, которые в разных местах России носят разные названия. В большей части случаев они известны под общим прозванием *офеней, ходебщиков, корабейщиков, разнощиков;* в Малороссии называют их *варягами,* в Белоруссии — *маяками,* на севере Великой России — *торгованами,* в Сибири — *суздалами,* на Кавказе — *вязниковцами*; сами себя зовут они *мазыками.* Селениями своими они преимущественно группируются в Вязниковском и Ковровском уездах Владимирской губернии, очень мало их в Шуйском, почти нет в Гороховецком и положительно нет в Суздальском. Торгуют они образами, книгами, красным товаром, сыром, каперсами, колбасами — всем тем, что успело залежаться и прогнить в московских лавках Ильинского ряда, всем тем, на что падок и помещик, и деревенская девка и баба, и сельский поп, в чем нуждается и богатый, и грамотный крестьянин, и щеголиха-попадья, и помещица, и волостная писарша, и почтальонша и проч. Для того, чтоб крупнее обманывать и легче (для своих работников, темнее для покупщиков) объяснять все тонкости надувательства, у купцов этих существует особый язык — офенский. Несколько десятков слов для примера поместил в 1839 г. в «Отечественных записках» г. Срезневский с коротеньким предисловием; еще меньшее количество слов уделили какие-то из номеров «Владимирских губернских ведомостей».

Вот все те наличные сведения, к которым могли привести меня печатные источники и с которыми мне привелось выезжать из Петербурга на новое дело, не-

привычное, затеянное первый раз в жизни. Позади — ничтожная практика, сложившаяся из цепи случайностей, когда смотрелось на дело с точки зрения фланера, дилетанта и никак не работника, обязанного известным делом и непреложным обетом. Впереди — темное дело с темным успехом, даже с вероятностью неудачного исхода, тем более что опять-таки позади ни одного примера, никакой школы и поучения: масса путешествий — и в них конечные результаты, последние выводы и ни одного намека на закулисные, так сказать, рудниковые работы; значительное число путешественников — и все они или роются в архивах, добывая исторические материалы и заявляя их миру, или собирают травы, каменья, наслеживают отмены, разновидности животного царства; таковы П. П. Свиньин, Лепехин, Гмелин, Паллас и многие другие; и затем почти ни одного слова *для* этнографии и *за* этнографию. Почти двадцать лет раздается в бесприветной пустыне один голос Владимира Ивановича Даля, голос сильный, заслуживший почетный авторитет, авторитет взятый с боя без уступок, без апелляций. Голос этот не остался без привета и ответа: «Журнал Министерства Внутренних Дел» стал наполняться этнографическими статьями, которые заметно ослабели в числе и качестве, когда вновь основанное географическое общество заявило свои издания: «Записки» и «Вестник». И тут, и там, и в литературных журналах стали часто появляться этнографические статьи, но везде с конечным итогом, с последним выводом. Везде тщательно и кокетливо припрятывались предуготовительные, закулисные работы, те, которые могли бы давать и примеры и поучение. Оставалось идти по заветному русскому обычаю на авось; положиться на случай, попытаться придумать свои средства и запастись возможно большим терпением. Я так и сделал.

Быстро примчала меня железная дорога в Москву; скоро очутился я у Рогожской заставы, где большой тарантас, шедший в Нижний, дожидался только одного попутчика. Извозчики, по обыкновению, накинулись на меня огромной толпой: видимо, рады были моему появлению; запросили с меня огромную сумму, считая за новичка, и не ошиблись. Сев в тарантас, я имел удовольствие слышать от одного соседа, что он заплатил только половину моей суммы и ехал до Нижнего,

а от другого, что он заплатил против меня вдвое и ехал не до Вязников, как я, а только до Владимира. Все, словом, случилось так, как бывает это и до сих пор, по положению: раньше пришел — оплатишь всю дорогу; позже пришел, да узнаешь, что седоки есть, заплатишь ничтожную сумму, которую иной раз стыдно выговорить; самым последним пришел — при отъезде, когда уже не только окуплена вся дорога, но и взят крупный залишек,— уедешь чуть не даром. Во всем уменье и сноровка и такова уже логика, исконный порядок и обычай всех ямщиков у Рогожской.

Показали мы билеты свои на заставе, заплатили шоссейную пошлину и поехали. Ямщик у нас бессменный, беззастенчивый, разговорчивый; каждого спросил: куда едет, кто таков, зачем. Дошел и до меня черед.

— Отгадай! — предложил я ему.

— Да как тут тебя судить? Дело темное. Пальто, вишь, на тебе из парусины, надо быть, шито; шапка не рваная. Кто тебя знает, что ты такое?

— Так на то, поди, тебе и голова в плечи ввинчена, чтоб знать да думать, и на то извозчиком зовешься, чтоб сразу отгадывать и в один дух догадываться о седоке, а затылком-то я и сам, брат, крепок.

— По речи-то по твоей равно бы ты из кутейников*. Они больно на язык-то зубасты бывают.

— Зачем же ты изругался-то?

— Кутейником назвал? Извини! Так я тебя и духовенством могу взвеличать — изволь, сделай милость!

Так и вышло: всю дорогу до Вязников я слыл под именем духовного. Замешкался ли я на станции — «духовного нет», замечал ямщик. «Какого духовного?» — спрашивали товарищи. «А что в белом-то».

— Не бросай, господин духовный, окурок-от, дай мне. Как ты вот уже в попах трубку-то будешь курить — за волосья трепать станут.

— А что, господин кутейник... то бишь духовный господин, подыскал ли ты себе поповну-то? Без того ведь и места не получишь.

— Учат ли вас науке-то этой, чтобы по звездам читать и сказывать, что какая звезда значит, духовный человек?

И все в таком роде и в подобных выражениях, обращенных в большей части случаев в форме вопросов, по которым можно было видеть не пытливого исследо-

вателя, а простого, праздного расспросчика, который оттого и задает вопросы, что ему больше делать нечего. Он меня успел уже спросить (и не один раз): на чем свинья хвост носит? как выходит по науке: к слезам или к радости левый глаз чешется; шуринов племянник как зятю родня? муж с женой, брат с сестрой, шурин с зятем: сколько народу стало? Словом, это был ямщик, распущенный, избалованный купеческой повадкой и баловством, ямщик, который хорош был бы в лакейской компании, едва ли пригоден к другому делу, помимо легкого дела — извоза, и, наверное, не устоял бы в такой работе, которая требует и внимания, и догадливости, и сметки, а потому-то он, наверное, и состоит в ямщиках.

Спутники мои на этот раз оказались тоже несостоятельными и пригодились только на то, чтобы идти в долю на чай, на порцию селянки, на пару пива. Один оставил нас во Владимире, его место занял другой, еще хуже, а в Вязниках оставили меня и те и другие: и старые мои спутники, и новые.

В Вязниках я остался одинок, без советника, без руководителя на постоялом дворе, остался потому именно, что из Вязников путь мне лежал в сторону за Клязьму, где в 40 верстах лежало село Холуй, с иконописцами до последнего обитателя, с окрестными деревнями и селами, заселенными исключительно одними офенями. Там моя Мекка, моя Медина, мой Эльдорадо!

Толстый, безобразно-толстый и (вследствие того) флегматический дворник* оставался пока единственным моим советником, руководителем, другом, если я имел только право на это последнее название тогда и если не принимать в расчет его грубые, краткие ответы, которые обижали меня вначале с непривычки, от незнания и неуменья освоиться с настоящим своим положением. Так я решил впоследствии; но на первых порах выговорил-таки дворнику этому свое неудовольствие:

— Видимся мы с тобой впервые, другой раз, может быть, и не сойдемся; знаем мы друг друга всего только без году неделю. Я тебя не обидел и говорил-то с тобою — только квасу попросил, а такой ты сердитый, неразговорчивый! Ляпнул мне давеча один короткий да крутой ответ, и то словно бык рогатый в бочку рявкнул.

— Да вы из дворян, что ли?

— А хоть бы и так, положим, на первый раз.

— Ну так извините: так и знать станем. Что же вам от меня надо?

— Хочется знать, как в Холуй проехать?

— А по дороге надо ехать.

— Остроту твою чувствую, а не дивлюсь: толку-то она мне мáло сказывает.

— Надо лошадей нанять.

— Не коров же, полагаю.

— По званию вашему, надо тройку взять: у меня есть на дворе угарная. Прикажите — сейчас подадим.

— А сколько возьмешь?

— Да десять рублей на серебро: ведь в сторону.

— За сорок-то верст?

— За тридцать восемь с половиной.

— Ну бог с тобой! У меня таких денег нет.

— Нет, так и разговору нет. Попутчика ждать придется вашей милости.

— А долго?

— Как господь благословит: может, неделю, может, и больше, а может быть, и сейчас навернется...

Все, видимо, располагается не в мою пользу: мало обнадеживает успехом; к тому же первый блин, да и тот комом. Все начинает глядеть на меня как-то сумрачно, сухо, неприветливо; ничто не радует, ничто не увлекает. Корова подошла почти ко мне, вытянула шею и неистово, почти над самым ухом моим, промычала раз, другой, третий, десятый, без пауз, один за другим. Зачем, к чему, ради какой причины? Бросил я в нее палку — она отошла и опять заревела... (...) Вон пронесла тройка какого-то счастливца в Москву; сидит он в пыли весь; колокольчик выколачивает свою дурацкую, ленивую песню. Скучно и досадно! *Скучно* потому, что сумел себя выбросить в незнакомое, непривычное место; *досадно* потому, что третьи сутки жду и не дождусь избавителя-попутчика.

Но вот и он наконец.

Сидели мы с дворником на крылечке. Я объяснял ему, отчего у человека жир нарастает, отчего у него икота делается и как от подобных неприятностей избавляются люди. Он жаловался мне на тягость жизни: по летам от жары и жиру, на необходимость потреблять огромное количество квасу ежедневно, почти еже-

часно; говорил, что его и вода не принимает, что он на ней, как на постели, может ворочаться: и на спине лежит, и на любой бок может повернуться, а окунуться при купанье — труд великий.

— Свиная жизнь,— прибавлял он,— ходишь да хрюкаешь.

Словом, разговоры наши шли своим чередом и носили характер казенный, обыденный. В воротах, между тем, застучала телега, и на двор въехала пара лошадей с двумя седоками. Один из них рылся в телеге, другой ловко соскочил на землю и обратился к дворнику с тем же вопросом, с каким и я три дня назад.

— У нас лошади есть, да дороги, — отвечал ему дворник. — Ступай поищи в слободе: там найдешь охотников. Тебе куда ехать-то?

— В Ряполово.

— Так вот тебе до Холуя попутчик.

Дело шло обо мне. Сговариваться приводилось недолго: решили платить пополам, и дело поступило в архив, как оконченное. Товарищ мой повертелся недолго около телеги, на дворе и в избе. Изумил меня своей юркостью, лихорадочною подвижностью, бойкими глазами, которые ни на один момент не сосредоточивались на одном и том же предмете; беспрерывное движение рук и подергиванье плеч обличало в нем если не болезнь, то долгую привычку в спешных и торопливых работах. На мои глаза это был купеческий приказчик, любимый у хозяина, доверенный у него и главный.

— По-нашему, попросту, офеня, — объяснил мне дворник по уходе товарища.— Вон и тот беспременно офеня, — продолжал он потом. — Теперь они в деревню на побывку едут — время такое: много съезжается; ужо, чрез неделю, поползут, что воронъё, успевай лошадей припасать.

Но у меня уже сердце на первых словах переполнилось радостью; и чем дальше и больше говорил мне дворник, тем сильнее возрастало мое нетерпение и душевный восторг. Предмет исканий сам дается мне в руки, и так легко и скоро, без всякого труда! Надо теперь подойти к нему осторожнее и выпытать правду, но так, чтоб он не замкнулся в своей толстой раковине, а распустился бы, как цветок на весеннем солнышке, всецело до последнего, самого мелкого лепестка.

Если офеня — думалось мне в то же время — умеет надувать всю Россию; надувал когда-то в Венгрии, в Австрии, надувает теперь своего брата и хозяина, то сам, в свою очередь, наверное, не легко поддается обману. Да еще и сумею ли придумать, сумею ли приложить к делу, сумею ли управить за всеми изворотами и направить к искомому результату: не попасть бы мне на мель и не сесть бы тут надолго; не наскочить бы на скалу и не разбиться бы вдребезги. Но попытка — не шутка, спрос — не беда, попробуем!

Сел я с офеней и поехал. Ехали мы недолго, за Клязьмой тотчас же слезли с телеги и пошли пешком. Жара была невыносимая, на телеге жар пропекал нас до мозга костей и напоминал нам о себе, за неимением дела, ежеминутно. Пошли мы пешком, задали себе работу — о жаре почти и забыли; закурили трубки, повели разговор с обыкновенных вопросов: кто мы, зачем и откуда.

Я — семинарист, отыскиваю место учителя.

Он — торгующий. Живет у хозяина, в Оренбургской губернии; три года не был на родине: идет отдохнуть и повидаться с родными.

— Стало быть, вы офеня?

Сердитый взгляд и короткий ответ:

— Мазыки.

— С коробком ходите?

Опять медвежье взглядье и снова короткий ответ:

— С коробками мелкота ходит, здешные.

— А вы-то как же?

— Мы в лавке сидим, а на ярмарки с возами ездим.

— Извините: нечаянно, не думавши обидел вас.

Офеня мой промолчал: видимо, простил меня. И опять молчит, сосредоточенно покуривая трубочку и сплевывая. Хочется мне опять приступить к нему, натравить его на разговор, но с какого конца? Боюсь, опять не рассердить бы его, не ухватить бы за живое место. Попробую.

— И долго вы пробудете дома?

— Сколько прогостится, сколько сможется.

— Да ведь хозяин, вероятно, на срок отпустил.

— Хозяин нам в этом деле не указ; мы на него больше зависимость кладем, чем он на нас.

— Ну, да врешь же, парень! — перебил его наш ям-

щик, давно уже прислушивающийся к нашему разговору.— Прогостишь-то ты, чай, до макарьевской ярмарки, а там тебе велено в Нижний ехать, товары принять да и везти их на место, к хозяину.

«Спасибо, ямщик! Спасибо за то, что поддержал ты меня, вывел большое дело наружу. А кому и знать офенские обычаи, как не тебе: не первый же год ты, поди, с ихним братом водишься, да и сосед такой ближний, может быть, и сам в былые поры офенствовал».

Так думал я про себя, но сказать вслух не решился: боялся. Офеня наш упорно молчал: обидчивый такой, суровый. Опять камень преткновения! Что тут делать с ним? Печальный, сиротливый вид дороги и окрестной местности наводит на мысль, подает надежду опять завести беседу.

— Все-то здесь песок, все-то одно божье дерево, ни ржи не видать, ни ячменю: видно, не сеют их?

— Не сеют совсем почти.

— Да вон и болота пошли, на болотах озерки, что лужи, расплылись, длинные такие и рыбные, думаю.

— Заводями зовем, а рыбы в них нет никакой.

— Много мест на святой Руси видел я, а таких печальных, таких горемычных, богом обиженных не видывал.

— Наши места еще хуже.

— Могут ли быть хуже этих?

— А потому и могут, что у нас все болота, все зыбуны, все заводи. Здесь хоть река есть, и хорошая река, песок есть, а мы и тем обездолены...

— Скучно же вам жить!— сказал я, чтоб только сказать что-нибудь.

— Отчего наш народ на чужую сторону весь потянулся, как вы думаете?

— Вам это лучше знать, вы такой мудрёный, задумчивый: надо быть, много знаете, да не любите сказывать.

Офеня мой приятно и снисходительно улыбнулся (видно, попал я в шляпку гвоздя, что называется). И дух у меня захватило; думаю, что он скажет, но он снова обратился с вопросом:

— А как вы думаете?

— Вы это лучше меня понимаете: вам и книга в руки.

Офеня мой снисходительно улыбнулся и отвечал:

— Оттого народ и ходит в чужие люди, что дома жить нельзя: ничего ты с нашей горемычной землей не поделаешь, хоть зубами ты ее борони да слезами своими поливай. Так-то!

— Ну да, брат, и повадка тут большую силу имеет!— опять раздается спасительный голос ямщика.

Офеня молчит, снисходительно выжидая чужого мнения. А мне лучше, мне приятнее. Из споров выходит правда. Офеня молчит, но не молчит ямщик:

— Ведь и вы, что и другой кто (говорил ямщик)— как бараны: один потянулся, так и все за ним шарахнулись.

Решился и я, в свою очередь, поддержать ямщика:

— Ярославцы в московских и петербургских гостиницах живут половыми...

— Точно!— в свою очередь поддержал меня ямщик.

— К чему же ваша речь клонится?— спросил меня офеня, и в вопросе его прозвучал тот же тон снисходительного внимания и благосклонной, милостивой уступки, которым обыкновенно отличаются все немногознайки, но хвастуны и спорщики.

— А к тому моя речь клонится, что если где завелся половой из ярославцев и удалось этому половому сделаться буфетчиком, то уж скоро и наверное весь трактир будет наполнен ярославцами.

— Верно!— поддакнул ямщик.

— И вот почему вся Ярославская губерния или, по крайней мере, большая половина ее состоит в половых. Других ярославцев я знаю только огородниками да малярами.

— Да уж ты, брат офеня, что ни толкуй, а повадку вам эту насчет дальней торговли Синельников да Дунаевы дали. До них — сказывала старуха матушка — редкий который из ваших офенствовал. У Дунаевых, сказывают, офенские артели десятков до двух доходили; и где-где работники ихние не таскались! Потом ведь уж вас на место-то усадили да велели к городам приписываться и торговать там, где указ застал. (...)

Я молчал и слушал. Разговор начинал принимать благоприятный для меня оборот и даже историческую форму. Ямщик говорил:

— Что бы вы до Дунаева-то сделали, коли бы он не указал вам на красные товары?

Офеня молчал.

— Ничего бы не сделали, хоть и богомазы подле вас живут: иконами-то немного бы наторговали.

— Иконы меняют, а не продают, — поправил офеня.

— Ну да ведь на деньги же, брат, меняют-то. А ты на словах-то меня не лови: знаю я сам, что знаю. А ты скажи мне, отчего ты сам-от торгуешь?

Офеня молчал.

—Скажи-ко!— приставал ямщик.

Офеня продолжал упорно молчать.

— Ну так я скажу за тебя: торгуешь ты, чай, оттого, что, поди, у тебя хозяин свояк, брат двоюродный, а может, и дядя родной. А что уж он из одной с тобой деревни — так это, брат, верное слово его-то было (кивок головой на меня).

Офеня на слова эти опять снисходительно улыбнулся, но не замедлил ответить:

— Отгадал!

— Да уж это мы тебе как по печатному — верно так.

И, в свою очередь, самодовольно улыбнулся ямщик. Рад был и я его радости, тем более что, по-видимому, офеня наш был один из таких, которые крепко поняли свое ремесло и все тайные его изгибы и лазейки и обязали себя строгим обетом молчания. С такими людьми тяжело вести дело: они, как тюремные стены, и многое видели и многое слышали, но не дадут ответа. Несчастен тот час, когда с ними сходишься; самое тяжелое и трудное время в жизни — когда с ними сближаешься. Таким на первый раз показался мне и наш офеня; показался бы он мне и простым дураком, мало смыслившим, небойким на язык, но если офеня — плут вообще, то опять-таки плут дураком не бывает. Беседа с офеней начала казаться мне уже невозможною; оставалось надеяться на будущих, дальних. Но если один такой угрюмый и скрытный глаз на глаз с тобой, то что же можно ожидать от будущих и дальних, которых придется ловить и выспрашивать не поодиночке, а в целой артели? Вероятнее неудача, чем какой-либо успех; и опять холодом обдало сердце, и опять начали приступать и тоска и опасение. Но будет что будет! А между тем мы уже подъехали и к Холуйской слободе, к цели первоначальной моей поездки. Здесь оставляет меня суровый мой спутник; здесь

я решил остановиться, потому что, как известно, слобода Холуй населена иконописцами, промысел которых тесно связан с офенством. Дело мое идет здесь успешнее, потому что работа вся на виду и далеко не секрет. Пишет образа и мой хозяин, у которого я нанял светелку; пишут образа во всех домах, и не пишет их только мельник, и то потому, что сделался мельником (но и он писать умеет), да еще другой, здоровый, шутливый парень, который живет в шалаше и сбирает с возов гроши и пятаки за проезд по мосту, наведенному через реку Тезу.

Река эта делит Холуй на две половины и на два прихода, в той и другой половине каменные церкви; есть каменные дома; та и другая половины принадлежат разным помещикам. Бесплатный, нестеснительный переход по мосту дает возможность часто бывать на той стороне и на этой. Вижу я и тут и там большие и малые хозяйства; вижу стол; за одним сидит рабочих меньше, за другими больше, но у тех и у других одни и те же обычаи, раз заведенные и потом замороженные. Маленькие мальчишки растирают краски, подростки грунтуют и выглаживают доски, взрослые пишут иконы. Отмен никаких, исключения ничтожны. Одни из мастеров пишут *долишное*, то есть ризы, одежду, детали и орнаменты, образцы которых указаны киевскими святцами (с изображениями святых), но главнее всего пример учителя и те образцы, по которым выучился маляр и на которых он и остановился, не делая шагу вперед, не думая ни об улучшениях, не стараясь познакомиться с иными, лучшими учителями, современными образцами. Другие мастера пишут только *лишное* (говоря их же выражением), то есть лица. Почасту случается так (особенно у богатых хозяев), что тот, который умеет писать долишное, не умеет писать лиц, и наоборот: сделав свое дело, он передает доску другому работнику для окончательной отделки. Мастер, способный написать целую икону один, без помощника, почитается художником и составляет исключение. Так, по крайней мере, полагается в Холуе, который, как известно, приготовляет дешевые иконы, писанные обыкновенно яичными красками, и хорошими мастерами не хвалится. Лучших, то есть умеющих писать масляными красками, я нашел уже в других, богатейших селах Мстере и Палехе. В одном приготов-

ляются образа старообрядские, в другом — такого письма, которому позавидовали бы даже мастера лаврские (киевские и сергиевские), хотя и они все-таки, в свою очередь, далеки еще от совершенства. Приемы в производстве работ оказались те же самые, что и в Холуе.

В Холуе я дождался тихвинской ярмарки. Ярмарка эта показала мне то, чего я не мог бы добиться в другое время и никакими силами. На ярмарку эту приехали московские купцы, ивановские и офени. Ивановские привезли сукна и красный товар, московские — чай и сахар и те лубочные диковинки, которые, в форме картин, пестрят все рядские проходы и ворота в Москве, и в форме книг украшают рядские прилавки (и не только в Москве, но и по всей России). Книги продаются здесь десятками и на вес, картины — пачками и стопами, красный товар — на аршин и штуками. Те и другие скупаются офенями, но офенями — *мелкотой, хозяйчиками,* которые начинают только торговать и расторговываться. Крупные, говорят, делают закупки в Нижнем, на ярмарке. Тогда же хо́луйцы сбывают и предметы своего производства тем же офеням и в малом числе москвичам. На ярмарке этой привелось мне натолкнуться и видеть все те сцены, которые, охотно просясь на перо, неудобно ложатся на бумагу и которые в десятках изустных анекдотов разошлись по всей России. Тогда же привелось мне окончательно убедиться и в том, что холуйцы смотрят на свое дело как на простой обычный ручной промысел, что они точно так же легко могли бы быть и ткачами, как соседи их, шуйские, и что иконописцы они именно потому, что так уже сложились исторические причины. Помимо того, что холуйцы отдают все, что успели заготовить, офеням (которые все это развезут и разнесут потом по дальним углам и закоулкам России), они и сами, в свою очередь, делают необходимые запасы. Изумительно быстро, до ранней обедни, успевают расхватать все возы со *дсками* еловыми, ольховыми и дубовыми, возы, являющиеся сюда обыкновенно из дальнего Семеновского уезда Нижегородской губернии. Тогда же холуйцы запасаются и всем нужным для жизни, кроме хлеба, который берут они в десяти верстах от села на так называемой «Пристани» на Клязьме. Не будь этой пристани и тихвинской ярмар-

ки, Холуй существовать бы положительно не мог: хлеба в нем не сеют ни зерна, ремесел, помимо главного, не знают никаких; нет у холуйцев ни кузнеца, ни швеца, ни сапожника. Работая пять дней в неделю и сбывая готовый материал одному из местных богачей-скупщиков, на чистые деньги, они спешат купить хлеба только на неделю и затем остатки тотчас же пропивают в субботу и (...) в воскресенье; большего пьянства, как в Холуе, я не видал уже ни прежде ни после того.

Две недели прожил я в этом селе, собирая сведения не по обдуманному плану, а наугад, как они доставались и сообщались случайно: дело неопытное, дело новое! Хотелось мне поскорее добраться до офеней, и тот же Холуй доставил мне этот случай и легко и просто.

Судьба столкнула меня на базаре с офеней-хозяйчиком. Какие-то пустяки заставили нас заговорить друг с другом и разговориться. Я позвал его к себе напиться чаю; он зазвал меня в трактир выпить пару пива. Разменявшись взаимными обязательствами и любезностями, мы были уже с ним как свои. Разговоры шли у нас обыденные. Мне удалось рассмешить его два раза до упаду. Смотрю: товарищ мой — и добряк и простота-человек. Он потребовал еще пару пива. Я опять завел его к себе и унес с собой полуштоф сладкой водки; завелись новые разговоры. Долго не думая, я решился начинать прямо.

— А что, дружище, говорят, у вас язык есть свой какой-то; да я этому не верю: на что он вам?

— Надо.

— Да врешь ведь ты, хвастаешься? «Ведь вот, мол, я худ человек, да два языка знаю».

— Нет, не хвастаюсь, а два языка знаю.

— Окроме свинячего, как говорится.

— Ты не шути, а это верно!

— Да ты не морочь, смотри: ведь день теперь, да и церковь видно.

— Я не колдун! А что свой язык и российский знаю — этому быть так.

— Не врешь, так правда. Научи-ка!

— И вправду? На что идет?

— На что хочешь: я не боюсь и не верю.

— Еще на пару пива.



— Идет.

— По-твоему, как вот это?

— Армяк.

— По-нашему *шерстняк*. Ну а вон эвоно!

— Дом.

— По нашему *рым*.

— Ври, небойсь, дальше: слушаем!

— Лопни мои глаза, коли я тебе вру! Да ты грамотный?

— Бывалое дело, учили господа. Нашему брату, дворовому человеку, без того нельзя тоже — сам знаешь.

— Пиши, что я сказывать тебе стану. Напишишь — завтра любому мазыку покажи: в одном слове фальш сделал — с меня пара пива.

— Ладно, идет!

— А коли все слова скажу — четверть водки с тебя, и с закуской.

— Идет, идет, идет!

И идет мое дело и спорко теперь и легко; руки дрожат от радости, и придвигается слово к слову, и мелькают целые ряды слов: *лох* — мужик, баба — *гируха,* девка — *карата,* молодуха — *ламоха,* голова — *неразумница,* хрен — *нахрин,* репа — *кругалка,* рубли — *круглеки,* поп — *кочет,* напиться—*набусаться*, бежать— *ухлывать,* сидеть — *сеждонить,* продавать — *кухторить* и проч. и проч. Несколько сотен слов записалось в тот же день. На другой день, на свежую память и на мои запросы посыпались новые слова, по уговору, по обещанию передать мне эту науку. Приложил я только ко вчерашней четверти еще новую, сталось полведра и писалось уж слов за тысячу.

— Дешево ты, друг любезный, продал.

— Дорого ты, сердечный приятель, купил.

— По писанному-то я скоро выучу всю твою науку.

— Попробуй-ка, выучи! У меня на этом старуха — баушка зубы все съела, а не выучилась, с тем и померла.

— Я не баушка, у меня память молодая, здоровая.

— Да и на какой ты черт слова наши учить станешь?

— А чтоб ваш же брат не надул потом.

— Не стоит же, паря, шкурка выделки: и с глазами надуют, не то с языком.

— Сам торговать стану, офенствовать.
— А господская воля на что делась?
— Да ведь я на волю отпущен...
— Ну так слушай слово мое: язык наш на работе самой только и в память идет; без того слова наши что пузыри лопаются, забываешь. Хочешь, к торговле нашей приспособлю.
— Хитро, чай, не поймешь сразу?
— Погляди, может, и скоро дастся. Ведь и я сам не сразу же начал.
— Приучи, сделай милость!
— Пойдем в деревню со мной. Ужо, через неделю у нас на селе торжок будет — пойдем с коробком.
— Хорошо, согласен. Согласен хоть сейчас ехать!
— Ну и пойдем!

В неделю эту видел я офеню в домашнем быту; видел как буйно пьянствовали те из офеней, которые приходили домой только на побывку и на отдых и действительно ничего больше не делали, как только опоражнивали штофы и полуштофы. Приятель мой пристал к землякам с выигранным полуведром, но тотчас же и отвалился, только почуял, что ведро уже кончено. Живя и налаживаясь около дома, он был бережлив и, что называется, скопи-домок.

Через неделю мы уже шли с ним на торжок: он — с коробком за плечами, я — с его аршином в руках. Памятны мне и безутешная, тоскливая местность, по которой мы шли, пыльная дорога, в деревнях ломаные гати, прорезывающие дорогу по болотам; ржавые болота эти — топкие, сырые, сырые даже и в то время, когда два почти месяца стояли жары невыносимые, породившие значительное число лесных пожаров за Волгой и на Волге. Длинные заводи по этим болотам, заводи, которые то кажутся решительным озером, то без всякой видимой причины узятся в реку, иногда в ручеек, который соединяет одну заводь с другою, и так как будто в бесконечность. Там, где заводь уже, встречали мы мостик утлый и трясучий (и ездят по нем, да мало — и то храбрецы), за мостом находили мы опять изрытую, крепко подержанную гать с погнившими бревнами, с кое-как умятым и прилаженным валежником. Выходили мы в ложбину сухую и душистую от недавно скошенного сена, тащились в гору, по большей части глинистую и невысокую, на которой думал я

встретить родную рожь с васильками, ячмень, пшеницу, но встречал только плохо принявшиеся кустарники, словно после сильного лесного пожара. С горы мы опять спускались в ложбину и опять шли по болоту.

Я начинал изнемогать, уставать с непривычки: шли мы уже двадцатые версты. Надавленные плечи (хотя и не было на них никакой тяжести) болезненно ныли, подгибались колени, слышалась острая боль в пятках и подошвах. Выломил я себе палку, стал опираться — не помогла и она. Товарищ мой весело шел, круто забирая привычными ногами, шел в гору, я отставал от него, и отставал на значительное пространство. Хотел ложиться, но слышал с горы предостерегающее наставление:

— Не ложись, все дело напортишь: не дойдешь потом; это уж работа такая — знаю я ее!

«И кому знать?»— думал я и кричал ему в свою очередь снизу:

— Не могу идти, умираю!

— Раньше смертного часу не помрешь. А ты понатужься, укрепись еще — недалечко: верст с пяток осталось. У бабушки Лукерьи горяченьким всполоснемся: щец потреплем, молочка — важно будет!

— Сил моих не хватает!

— Была, знать, у тебя сила, когда мать на руках носила, а ты бы по-моему песню запел.

— Голос не пойдет.

— А ты попробуй! Не такую, стало быть, песню пел.

— Всякие пробовал: не выходит.

— А выходит, значит, то, что в дороге ты иди ровным шагом, не прибавляй, не укорачивай его — хорошо будет.

— Слыхал я и это, да теперь уж поздно.

— Поздно потому, что село близко. А то мужики-богомольцы, слыхал я, на траву ложатся и ноги кверху вздымают, что оглобли: отливает кровь — помогает.

— И я так же сделаю.

— Не смеши, Христа ради! На извозчичью телегу похож станешь: вороны закаркают.

Но вот, наконец, и село, и бабушка Лукерья с горячим, и теплые полати, и крепкий сон; вот и торжок в полном цвету и разгаре, по обыкновению, шумливый, живой и разнообразный. Приладили и мы из досок

прилавок, вколотили четыре кола, навес от дождя и солнышка сделали. Разложили на прилавке вздор всякий: для баб и девок пуговки, петельки, ленточки ярких цветов, а на пущий соблазн зеркала раскрыли с портретами Рюрика с молотком, Святослава с мечом; для большаков — кожаные кошельки с изображением взятия Варшавы с одной стороны и Паскевича — с другой; для попадей и поповен — стеклянные ящички, нитки бумажные, шелк, коробочки с бисером, наперстки, колечки — и серебряные и волосяные с бисером, цыганского дела, курительные свечки московского дела и проч., и проч. Принес мой хозяин всего товару на 62 рубля (...), а продал на 129, умея и обмануть вовремя и надуть подчас.

Не входя в подробности этого дела, полагая их предметом особой статьи, я останавливаюсь только на самом процессе работ, на той обстановке, которая сопровождала их, — и потому продолжаю.

Возвратившись с ярмарки, я жил у приятеля-офени еще два дня — *гостьбы на слитки*, как назвал он — два дня последние, прощальные, как думалось мне самому, потому что меня блазнило ближайшее село, в котором жили офени, прибывшие на побывку. Это были дальние, приказчики крупных хозяев, а не офени-мелкота, как мой приятель и его соседи. Тем же дешевым и легким путем пешего хождения пришел я туда, но не мог отыскать себе квартиры в доме с офенями; все светелки, отдельные от хозяйского помещения, построенные обыкновенно над двором и воротами, все эти горницы заняты были гостями. Здесь гости эти, возвратившиеся домой после долгой разлуки, да еще, вдобавок, с порядочными деньгами и подарками в семью свою, гости эти жили и отдыхали от тоскливой, сосредоточенной, однообразной жизни приказчика на чужой стороне. В редком доме по этому случаю не была сварена брага и пиво, в редкой избе с раннего утра не стоял угар от множества приготовляемых кушаний и масляных и жирных, редкая деревня не наполнена была запахом жареного от начальной околицы с овинами до выездной околицы с банями. Видимо, и хозяева были рады гостям, видимо, и сами гости не поскупились расположить хозяев в собственную пользу. Загул и пьянство были всеобщие, начиная от дряхлых стариков и оканчивая ребятами-подростками 15-ти лет. Потче-

ванья и угощенья начинались с раннего утра, с того времени, когда подавались хозяйками плавающие в масле блины и оладьи, не переставали они (...) и в то время, когда все это снималось со стола, и заканчивались они обедом с бараниной, поросятиной, лапшой и пирогами. После обеда гости-офени обыкновенно спали и, подкрепившись силами, сходились вечером у кабака или в другой избе и снова пили и пьянствовали до поздней ночи. Восемь дней прожил я на новом месте и во все это время видел только долгое и систематическое пьянство. Только ранним утром удалось мне разговаривать с офенями этими об деле, в остальное время я слышал от них некоторые откровенные и закулисные подробности, но в редком и малом числе. Правда, что в это время доставались на мою долю такие сведения, которых я не мог доспроситься в трезвые минуты и никогда бы не добыл их прямым путем, но минуты эти были так редки, дожидаться их приводилось так долго и трудно! Они валились как с неба, совершенно случайно, как дальняя и мелкая подробность в долгой беседе, наполовину пьяной, наполовину безалаберной. (...) Я спрашивал обо всем, чего мне хотелось, шел по приглашению, не задумываясь, записывал, что хотелось и где приспевало это желание; офени трепали меня по плечу, целовались со мной, называли дружком, приятелем и слова «холуй, лакей, барский барин» употребляли как слова ласкательные. Я торжествовал, я готов был жить у них еще не одну неделю, да так бы и сделал, если б не налетело темное, дождливое облачко, которому суждено было омрачить ясный горизонт моей жизни в селе и разбить мгновенно все мои планы и предположения.

Дело было так. Я вышел на реку и, сидя на берегу, толковал с двумя ребятишками, в речи которых мне нравилась та своеобразность вязниковского говора, целостность которого, от влияния городов и дальней стороны, утратилась в разговоре их отцов. Бойкий из мальчиков особенно нравился мне своею наивностью и откровенностью. Ему было двенадцать лет, и отец его брал с собой на чужую сторону.

— Чай, и ты плутовать будешь?— спрашивал я.

— Нельзя без того, — отвечал мне мальчик смело и без запинки.

— Как же так?

— Тятька научит: он это умеет.

— Да ведь это нехорошо и грешно делать.

Мальчик посмотрел на меня во все глаза, в которых так и светилось сомнение и неверие в слова мои.

— Надуваньями денег не наживают; за надуванья в тюрьму сажают, в Сибирь посылают.

— У тятьки денег много, в тюрьму садят за долги, слышь, а в Сибирь посылают, кто убьет кого.

— От кого же ты узнал все это?

— Все сказывают. Я давно это знаю.

— Что ж они говорят?

— Да говорят, что нельзя не обманывать, потому народ очень глуп.

— Какой же народ?

— Всякой. Пуще-то, слышь, всех барыни глупы очень, их, сказывают, обманывать всех легче, надо-де только поддакивать им. Товары выкладывать им все напоказ — беспременно, сказывают, выберут тогда...

Разговор наш продолжался все в этом духе. Мы говорили бы долго и на этот раз, как это делывалось и вчера, и третьего дня, и прежде, если б нам не помешал священник. Он подошел к нам, снял шапку, благословил мальчиков и отослал их со словами:

— Ступайте домой, не мешайте нам!

И затем обратился ко мне:

— Мне давно хотелось поговорить с вами...

— Я к вашим услугам. Что вам угодно?

— Что вы здесь делаете?

— Свое дело, батюшка.

— Какое же дело такое?

— Кому какое дело до моих занятий? Я могу и не сказать, да и не желаю этого...

Так думалось мне, но выговорилось иное:

— Слежу за офенями, желаю познакомиться с нравами их и бытом.

— Я и сам так решил, когда узнал и увидел вас на другой день прихода сюда. Мне сказали, что вы господский человек, отпущены на волю и возвращаетесь на родину. Я сначала поверил, но, вглядываясь в лицо ваше, прислушиваясь к разговору вашему, усомнился в истине показаний. Вы, должно быть, ученый, от географического общества посланы?

— Нет, от редакции частного журнала, именно от «Библиотеки для чтения».

— Я давно хотел поговорить с вами и предостеречь.

— Благодарен за ваше внимание. Но чего ж я могу опасаться?

— Офени не такие добряки и простаки, как вы полагаете.

— Я этого не думаю, но радушие, с которым они меня принимали, угощали...

— Не называйте это радушием. Они сегодня приходили ко мне и говорили об вас.

— Что ж такое?

— Что вы человек сомнительный и опасный, что вы что-то пишете про них, что они вас угощают и что вы — извините меня — продадите их; это были их слова.

Вся кровь бросилась мне в голову. Я никогда в жизни не был так оскорблен до глубины души. Я растерялся и мог найтись только на один вопрос:

— Неужели и вы, батюшка, считаете мое невинное дело изучения быта делом сыщика-фискала?

— Не смею и думать этого.

— Какие же средства к тому, чтоб добиться правды у замкнутого, неоткровенного человека, какими особенно показались мне офени. Дальше этих средств не шли и прежние исследователи, лучшие люди в нашей литературе. Я только последовал их примеру, не найдя лучших, иных средств, за неимением, за крайнею невозможностью добыть их, особенно при срочной работе, ограниченной тремя вакационными месяцами...

— Я могу посоветовать вам только одно: уйти отсюда поскорее до несчастного случая.

— Но я не могу этого сделать теперь, потому что работа увлекла меня, она пошла так успешно и еще не кончена.

— Они хотят вести вас к становому...

— Я пойду охотно, потому что я не беглый и у меня есть отпускной билет от медико-хирургической академии, в которой я состою студентом.

— Но поймет ли вас становой? Поймет ли он вашу цель и ваше полезное дело?

— Не сомневаюсь в том, если сумею объяснить ему толково и просто.

Священник на последние слова мои улыбнулся и недоверчиво покачал головой.

— Но можно ли в этом сомневаться? — спрашивал я его.

— Можно и должно, потому что вы должны знать давно наших становых.

— Вы думаете, что я должен буду дать ему взятку?

— Без нее он может препроводить вас в земский суд, в Вязники.

— Но это будет оскорбление. Я могу не пойти.

— На это он может не смотреть, не принимать этого в расчет, и не примет, если задобрен будет со стороны вам враждебной, которая, вероятно, не поскупится на то, чтоб удалить вас от себя как опасного человека.

— Но ведь это, батюшка, я думаю, одни только ваши предположения?

— И вероятные. Дай бог, чтобы они не случились.

— Но могут ли случиться? Это вопрос...

— Не подлежащий сомнению, потому что они сегодня же хотели привести намерение свое в исполнение. Я просил их отсрочить, чтоб переговорить с вами. Ради бога, послушайтесь моего совета. За неприятный для вас исход дела я могу поручиться, к несчастию, к крайнему моему прискорбию. Согласитесь, что вам неприятно будет находиться в положении человека подозрительного и испытывать все невыгоды этого положения.

Снова кровь бросилась мне в голову, усиленно билось мое сердце, мне было и неприятно и тяжело. Я не мог говорить, я не мог сосредоточиться помыслами на одной мысли, на одном пункте. Говорил за меня священник, и говорил правду, сущую, мрачную, неутешительную.

— Вас поведут под конвоем в становую квартиру, которая отсюда далеко. Для этого нарядят сотских, от которых будет зависеть, связать ли вам руки или оставить их свободными.

— Но вы за меня заступитесь.

— По христианской обязанности и долгу священства, но меня имеют право не послушать и, может быть, не послушают. А за дальнейшие последствия я уже поручиться не могу. Бог весть, что там с вами сделают.

Бог весть, что там со мной сделают?

Честный человек священник, награжденный такой благородной душой, говорит правду. Я предчувствую, предвижу, что со мною сделают; я почти не ошибаюсь в своих предположениях и в вероятии тех подробно-

стей картины, которые рисует мне напуганное и напряженное воображение мое.

Приведут меня в становую квартиру. Становой пристав спит, велят подождать. И ждем мы, присев на крылечке, понятые не оставляют меня, не позволяют мне отойти от назначенного ими пункта и смотрят на меня сердито и косо, как мои заклятые враги. Нас зовут, мы входим в переднюю. Еще ждем несколько времени, выходит становой, сердитый, заспанный. Спрашивает:

— Что такое?

— Бродягу привели,— говорит один из понятых, выступая вперед и указывая на меня рукою.

И снова кровь приступает к голове и бросается в лицо. Вопрос в том, накинется ли на меня становой и начнет ругать всеми выражениями, насиженными, придуманными в долгую жизнь, или медленно, по пунктам начнет выспрашивать меня, добиваться правды. Я не смею протестовать против его подозрения, он имеет на то много прав; может быть, он человек небезгрешный, как гоголевский городничий, может быть, он сам боится подсылу. Чем я могу ему доказать, что я не проклятое инкогнито, и могу ли, наконец, убедить его. Мы будем кричать, будем горячиться. Он не остановится на моем, я не уступлю ему своего права. У меня роль ответчика, взятого с поличным, у него — власть и сила. Он приказывает привести подводу, приказывает везти меня в город, в земский суд. И везут и мучат физически и нравственно. Там освободят, и освободят непременно, но скоро ли? А мучения пытки до счастливой поры свободы, а то состояние неволи, от которой, по преданию, Мария-Антуанетта в одну ночь поседела?..

— Я согласен с вами, батюшка, и не знаю, чем благодарить вас за добрый совет. Сегодня же я ухожу отсюда на нижегородскую дорогу.

— Ступайте с богом завтра, а сегодня милости прошу ко мне. Я приглашу стариков, и мы вместе общими силами потолкуем с ними. Пойдете сегодня в сумерки, они вас схватят на дороге и будут иметь полное основание: скорый отход ваш они примут за прямое подтверждение их подозрений.

Нельзя было не согласиться со словами моего покровителя. Впрочем, пришли к нему четыре старика, из которых трое были мои знакомые. Мрачно глядели они

на меня и даже не поклонились мне — обстоятельство, чрезвычайно поразившее меня и, конечно, опечалившее до глубины души. Не в духе простого русского человека такая сухость обращения, такое оскорбительное мнение за дело, которое окончательно еще не выяснилось, не приняло определенной и настоящей формы.

Говорил за меня священник и оправдывал мое дело почти столько же, сколько был бы в состоянии я сам это сделать. Вопрос остановился на том подозрении, зачем я пришел именно в их село, а не в другое какое. Я оправдывал этот поступок случайностью. Ответ мой приняли недоверчиво. За меня отвечал священник.

— Пришел он в ваше или не в ваше село, но пришел за своим делом, и потому он уже имел на это право.

Старики молчали.

— Ведь и вы идете торговать в тот город, где вам лучше, где вы знаете, что вам будет дело, и дело выгодное. Не так ли это в самом деле?

— Это правда твоя! Это что говорить! Точно так! Верно твое слово...— отвечали старики в один голос.

— Кто же может запретить кому-нибудь входить к вам в село — ведь оно незачумленное?

— Никто запретить не может, село наше точно что незаколдованное.

— Так за что же вы меня обидеть хотели?

— Зачем обидеть? Мы не хотим этого, мы хотим только у начальства спросить, как оно об этом полагает.

— На что же вам самим-то голова (...)?

— Дело-то, вишь, это не наше, а начальничье, затем ведь они и живут у нас.

— Отчего же вы миром не потолковали прежде? Может быть, что-нибудь и хорошее вышло.

— Толковали и миром, да вышло на то, чтобы у батюшки совета спросить. Мир-от толкует, зачем, вишь, ты по домам ходил?

— В домы меня приглашали, я не смел и не мог обижать хлебосольных хозяев, не желал обходить их дома.

— Ну а почто ты с пьяными хороводничал, а сам не пил?

— С пьяными толковал оттого, что пьяный скорее распоясывается, пьяный откровеннее.

— Ну а почто это тебе?

— Батюшка сказал, что это мне надо, что это мое дело. Я и сам скажу то же самое.

— Ладно! Пущай так! Ну а зачем ты все это в книжку писал, все, что тебе пьяные ни наболтают с дурьего-то ума своего?

— В книжку записывал для памяти и со скуки.

— Ну, а куда ты эту книжку отдашь?

— Это дело мое, отдам куда надо.

— Нет, ты скажи!.. Пьяный мало ли что наврет тебе, пьяный, брат, знамо, враг себе. Ты возьми у него язык-от да и вырви.

— Отдам я это не начальству вашему, а друзьям вашим — людям надежным и честным.

— Да где ты найдешь таких? Что врешь-то непутное?

— Я уж нашел и знаю таких. Да и сам я разве враг вам, Христос с вами? Батюшко-то вот перед вами — спросите его.

— Мы и тебе верим. Книжку-то бы тебе нельзя было привозить — вот что! Книжка-то у тебя, может, со шнурком да с печатью.

Я показал ее, эту тетрадку, без шнурка, без печати.

— Отдай нам ее!

— Я бы отдал, если б у меня была другая такая же.

— А если мы отнимем?

— Я за грабеж почту и буду жаловаться об этом в Питере. Если вы здесь мне не верите, то там мне поверят, даю в этом слово.

— Ладно, что тебя еще наши пьяные-то не убили.

— Это уж ты далеко хватил! Если б ты сказал мне, что и теперь меня убить хотят, то я и этому бы не поверил. Ты говори дело, а не предположения. Я бы и с места не двинулся не только на этот раз, но и в прежние, если б не был уверен, что русский человек не только друга своего, но и врага не убьет.

— Ну извини, Христа ради! Сказал я тебе точно что дурость, и такую дурость, что давно уж такой не говаривал. Назад беру! А на чем вы с батюшкой-то порешили?

— Я завтра иду от вас и прах от ног отрясу, как в писании сказано.

— Куда же пойдешь?

— А искать людей, которые добрее вас и хлебосоль-

нее, которые не станут меня попрекать за свою хлеб-соль да грозить мне за все это тюрьмой и становыми.

— А ты прости нас по писанию-то. Мы тебя с этого твоего слова как есть полюбили. Душа ты, видно, добрая, и Христос с тобой! Ты деревню нашу не ругай, мы к тебе всем сердцем. Почто ты вот в книжечку-то писал? Это-то вот в большую обиду нам показалось.

— Книжечка эта, сказал я вам, пойдет в надежные руки, к честным людям. Это же самое и теперь повторяю!

— Вот за это спасибо! За это награди тебя господь! А все бы тебе не надо с пьяными-то возжаться. Лучше, кабы ты нас спросил...

— А вы бы ничего не сказали. Я одного пробовал охаживать в трезвом-то виде, так только язык намозолил да на свою душу скорбь нагнал, что и деваться некуда было.

Старики, мои слушатели, дружно засмеялись и переглянулись между собою с такою же коварною улыбкою, какою часто награждал меня мой спутник из Вязников.

— С упрямым да с неразговорчивым говорить — клещами на лошадь хомут натягивать,— заключил я.

— Да ведь пьяные-то тебе, чай, черта в ступе нагородили?

— Это уж мое дело — отличить тут ложь от правды.

— Знамое дело: кто к чему простирается, тому то и в понятие — понимаем мы это!

— Так о чем же теперь разговор ваш будет? Что вам от меня надо?

— Погости ты еще у нас.

— Обидели вы меня, сердце не терпит! Не сможешь, пожалуй, и дня прожить. Да с меня уж и будет.

— Знали бы мы раньше, мы не так бы и приняли тебя. Мы тогда все бы тебе по порядку сказали.

— Да полно, так ли?

Старики не ответили и опять переглянулись между собою.

— А если б я по казенной надобности приехал?

— Да нешто ты от казны?

— А хоть бы и так?

— Так мы тебе и словечка б не молвили. Все бы тебя потчевали, да не так, как вот те дураки, с которыми ты хороводничал-та. Те — ослы.

— А по-моему, так это лучшие люди.

— По-твоему, может, так, а по-нашему-то, так мы их утре же, на мирской сходке на глум примем.

— Тогда я другу и недругу закажу к вам ездить.

Старики промолчали на это и взялись за шапки. Безопасность моего отхода, по-видимому, была уже обеспечена. В поступках моих и тех приемах, с которыми я приступил к своему делу, мне начинала уже видеться предусмотрительная догадливость, может быть, наполовину случайная, но, во всяком случае, усвоенная с легкой руки моего первого офени. Оставаться в этом селе я уже не находил пользы и поучения; по-видимому, мне пришлось бы пировать и на пирах этих быть не столько допросчиком, сколько, в свою очередь, рассказчиком. Подобные примеры не раз уже случались со мной и прежде, когда только приводилось заявить себя случайно охотником говорить,— у мужичков конца не было расспросам. (...)

На другой день, на ранней заре, я выбрался из села и целые двадцать верст находился в том беспокойствии, которое может испытать человек с большими деньгами, проезжающий темной ночью в темном лесу, где, как говорят *пошаливают*. Боялся я не за себя, боялся я за свою записную книжку. Может быть, не боялся бы я и за нее, если б за околицей села не попался мне один из моих знакомых офеней. Я простился с ним. Он спросил меня:

— Совсем идешь?

— Совсем.

— Все ли захватил-то с собой, не забыл ли чего?

Я промолчал.

— Не пришлось бы вернуться тебе с полдороги, али бы из наших кому догонять тебя.

— Все со мной!.. Прощай. Спасибо за хлеб за соль.

— Не поминай лихом. Будь здоров со всех четырех сторон! Иди — не спотыкайся, беги — не оглядывайся.



Из книги
„СИБИРЬ И КАТОРГА“



НА КАТОРГЕ

В начале декабря, темной ночью, подъезжал я к Нижнему Карийскому промыслу, одному из центральных мест, предназначенных для работ тех ссыльно-каторжных, которые, по судебным приговорам, назначаются в так называемые Нерчинские рудники.

Дорога шла в сторону от реки Шилки густым хвойным лесом. Вовсе не расчищенная, мало приспособленная к проезду, но в то же время (сколько можно судить по ныркам, т. е. ухабам) крепко подержанная, дорога эта казалась торною. Ветви деревьев хлестали по лошадям, совались к нам в сани; надо было изловчаться, чтобы не потерять глаз, не исцарапать лица. К тому же, дорога до того была узка, что мы принуждены были снять у саней отводы, хотя в то же время сани наши были приспособлены именно для таких окольных, мало наезженных дорог и сани эти уже успели с достоинством выдержать испытание с лишком на тысяче верст.

Темнота и густота леса усиливали наши несчастья: мы налезали на пни и с трудом с них снимались. Сани без отводов валились в первую глубокую и покатую выбоину. Провожатые мои ворчали и сердились.

— Уж воистину дорога каторжная,— замечал один.

— Оттого и каторжная, что ведет на каторгу!— острил другой.

— Так-то, парень, поглядишь,— толковал первый,— дорога на каторгу ка-быть узенькая, а подумаешь, так она выходит больно широкая.

— Туда-то широкая,— мудрствовал второй,— а оттуда-то опять узенькая. Попасть легко, а не вырвешься.

— Сказано, милый человек, не отпирайся ни от сумы, ни от тюрьмы.

Разговор кончился обоюдным вздохом.

Тишина и темнота давали широкий простор воображению: рисуй, что хочешь, но не дальше заданной темы. Вот впереди то самое место, где соединяются вместе все тяжкие преступники, высланные из России, все убийцы, разбойники и грабители. Работа на этих казенных золотых промыслах полагается самою высшею мерою наказания для всех подобного рода злодеев. С ослаблением в последние десятки лет серебряного промысла в Нерчинских горных заводах и за уничтожением разработки рудников руками ссыльных преступников, Карийские промыслы (Верхний, Средний, Нижний и Лунжанкинский) представляли единственный материал для изучения истинного значения так называемой каторги. Я поехал туда с удвоенным нетерпением, тем более что во всем Нерчинском крае только при этих четырех промыслах (да еще при Петровском железном заводе) остались тюрьмы собственно каторжные.

Ночь была до того темна, что мы с великим трудом могли распознать, где кончился лес и начался перелесок. Запах жилого места, несмотря на жгучий мороз, вскоре дал нам знать, что селение у нас уже на носу, а вот и самая каторга где-то тут же и очень близко. Откуда-то вырвался звонкий выкрик и раскатился в морозном воздухе длинною трелью, которой, казалось, и конца не было. Во всяком случае, вела эту ноту здоровая грудь с ненатруженными легкими. На оклик последовал ответ, который также со звоном рассыпался в разреженном воздухе по горам и заглох только в перелеске. У третьего оборвалась нота без трелей: голос осекся от морозной струи, судорожно захватившей крикливое горло. Оклики посыпались один за другим. Кричащие, что петухи, играли вперегонку, кто кого лучше и чище споет, и таких очень много! Значит, мы на каторге, но распознать за темнотою ничего не можем.

Успеваем припомнить прошлогоднее событие, рассказ о том, как на этих самых промыслах, из какой-то тюрьмы вырвался один зверь и в одну ночь в разных домах зарезал пятерых, и в том числе погубил мать с двумя младенцами, так, из любви к чужой крови, без всякого повода и причины. На душе становится не совсем покойно: воображение говорит, что впереди нас

зверинец, наполненный кровожадными и голодными зверями. К тому же, зверинец этот плохо сколочен, дурно и не крепко заперт, но рассудок старается уверить в том, что, вероятно, и здесь полагается недремлющий сторож, имеется укротитель. Теперь в неопределенной темноте всего этого распознать мы не можем, но завтра, наверное, увидим.

Тяжелые, гнетущие сердце мысли не покидают нас и в уютной, теплой квартире до самого утра, до рассвета. Пойдем же смотреть, что день укажет. Вот мы и на улице.

Направо и налево сильно подержанные, покривившиеся утлые хаты; они идут в порядке, из порядков образуется улица одна, другая, пятая. Перед нами целое селение, которое только тем и отличается от шилкинских и других, что оно бедное, совсем не подновляемое. Некоторые дома, как мазанки, грязноваты снаружи, заборы полуобрушенные. Видно, что голь и бедность строились тут; видно, она ж и теперь тут живет. Но селение это, как известно, казенное: вот неизменный хлебный и соляной амбар с неизбежным часовым, товарищи которого, а может быть, и сам он, кричали так усиленно и настойчиво-громко целую прошлую ночь. Но где же тюрьма, частокол, острог — жилище главных хозяев селения? Смотрю кругом — и не вижу. Вижу опрятнее других чистенький домик — вероятно, начальника промысла, пристава; вижу другой, почти такой же, может быть, смотрителя тюремного. Но где же тюрьма, когда кругом обыкновенные обывательские дома, свободные от часовых и караула?

— Вон и тюрьма! — говорят мне, указывая на один из домов, наружною постройкою похожий на обыкновенные деревянные сибирские казармы. Дом и я принял за казарму, не разглядев только в окнах ее железных решеток, отсутствие которых в другом соседнем доме характеризовало настоящую, действительную казарму. Близость тюрьмы объяснилась отчасти соседством гауптвахты, несколькими физиономиями в папахах, принадлежащих сибирским казакам.

Но кто же эти люди, которые идут мне навстречу? Люди эти без кандалов, стало быть, не тюремные сидельцы, а, по всему вероятию, выслужившие свой срок ссыльнокаторжные. Вежливо предупреждают они поклон наш, снимая шапки и кланяясь. А вот и сами пре-



ступники, побрякивая кандалами, творят свое домашнее дело: сопровождаемые часовым, несут они вдвоем на палке ушат, накрытый тряпками. Из ушата этого валит пар и щекочет обоняние знакомым запахом национального «горячего», известного в казармах под названием купоросных щей. И эти преступники вежливо снимают пред нами шапку: смешно нам за вчерашние грезы и страхи, и готовы мы оправдаться только тем, что свет дневной всякие страхи гонит.

— Хотите вы видеть каторжного, вот вам первый из них!— говорит мне пристав промысла, обязательно вызвавшийся познакомить меня со всею подробностью своей службы.

— Иванушка, поди-ка сюда!— кричал он встречному.

Из ворот соседнего дома вышел человек в рваной шапчонке, с всклокоченною реденькою бороденкою. Шея его была голая, армячишко совсем слез с плеч, и даже рубаха у него была рваная. На ноги этого человека я уже и решимости не имел посмотреть. Иванушку всего подергивало: голова не твердо держалась на плечах, он то приклонит ее к правому плечу, то быстро отдернет к левому. Левое плечо ходуном ходит, и самого Иванушку как будто всего ведут судороги, как будто чувствует он, что все его конечности не на своих местах, и он употребляет теперь все усилия, чтобы вправить их кости в чашки, в надлежащие и пристойные места. Видно, тяжело Иванушке носить свою головушку, да и с остальным телом мудрено ему ладить. По-видимому, он тяготится этою работою; на дворе с лишком тридцать градусов мороза, а у него оба плеча буквально голые.

— Работа каторжная так его изуродовала? В серебряных фабриках наглотался он ртутных паров и качает теперь головою? Принял что-нибудь такого внутрь, по совету доброхота-злодея, чтобы умягчить для себя ядовитую болезнь или тяжесть каторги и тем записать себя в разряд неспособных?

— Ни то, ни другое, ни третье,— отвечают нам.— Иванушку сюда именно таким и прислали, готовым.

Иванушка был перед нами.

— Где ты был?— ласково спрашивал его пристав.

— Снежку отгребал, покормили за то!— отвечал Иванушка и брызгал; голова как будто еще сильнее

заходила на плечах, левое плечо так и приподнял он до самых ушей.

— А кто ты такой?—продолжал расспрашивать пристав.

— Я... божий человек!—гнусливо растянул старичок.

— Как прозываешься-то?

— Поселенцем велят зваться.

— Откуда ты родом?

— С Вятки родом.

— За что прислан-то сюда?

— Я и сам не знаю. Мне бы уж домой идти надо. На родину пора... Там у меня тятька с маткой остались.

— Да ведь уже нельзя тебе возвращаться-то...

— Можно, говорят вон там.

Иванушка указал рукою на тюрьму.

— Надо, слышь, только бумагу этакую достать. Без бумаги-де не пропустят и назад вернут. Дай ты мне такую бумагу, чтобы мне в Расею уйти, сколько прошу! (И в последних словах послышался упрек.)

— Всякий раз обращается он ко мне с этою просьбою!—объяснил мне пристав потом, когда мы оставили Иванушку.

Вот что мы слышали потом об Иванушке (...). Сам он рассказывает, что прислан сюда за раскол; знающие люди уверяли, что раскол усугубил только степень наказания. Но дело станет понятным и ясным, если представить себе, что Иванушка родился *боженикам* (и не только к какой-нибудь умственной, догматической работе, но и ни к какой валовой домашней был неспособен) и попал за то в пастухи. Обездоленный идиотизмом (не помешавшим, однако, развиться в нем грубым, извращенным животным инстинктам), он в скотском стаде впал в тот грех, который увел его в самое дальнее место поселения. Ближние судьи судили в нем отвлеченную идею, дальние вершители не видали в глаза подсудимого. Приговор был подписан и, вот, приведен в исполнение. Над Иванушкой в тюрьме смеются, посмешищем он был и во всю дорогу по этапам. Все его любят, все его учат, кто чему может, и хорошему и худому. Ходит он по чужим дворам просить милостыню. Об одежде он не заботится: оденут другие, он полагает, что это так и следует, и спасибо не скажет.

На Каре Иванушка человек неспособный и совсем лишний.

— Дай мне такую бумагу, чтобы мне в Расею можно уйти!— просил он меня, придя ко мне на квартиру.

— Дал бы я тебе такую бумагу, да дать не могу.

— А мне в тюрьме сказали, что можешь.

— Дал бы я тебе, Иванушка, такую бумагу, которая бы тебя в богадельню увела и там оставила, да не в силах я.

— В богадельню бы мне хорошо.

— Хорошо, Иванушка, так хорошо, что там тебе только и место! Лечить бы тебя — вылечили. Здоровый бы вышел, девку бы полюбил, полюбил бы ты девку, женился бы на ней.

— Нету! Я девок смерть не люблю, в девках-то черти-дьяволы сидят.

Иванушка мой заплевался, разворчался, сердит стал не в меру. Самые судороги его пошли приметно учащеннее и озлобленнее. Иванушка был просто идиот и притом, по свойству многих больных болезнями нервными, имел одно больное место (антипатию), прикосновение к которому вызывало ожесточенные припадки. Иванушка, по общим сказам, не любил два-три слова и, смирный вообще, при напоминании слов этих выходил из себя, бросал чем ни попало в равных себе и знакомых и бегал от неровней и от незнакомых, как это он сделал и со мною. Сделались ли слова эти ненавистными больному с самого того времени, когда он уразумел практический смысл их, или опротивели они ему до омерзения от частого напоминания в насмешках досужих и праздных товарищей — решить теперь трудно. Иванушка, во всяком случае, был верен антипатии к словам ненавистным и во все время на каторге не изменил себе ни одного раза. Бесконечно жалко Иванушку, который вместо богадельни попал на каторгу, и страшно за него, когда знаешь, что в соседстве с ним живут люди настоящие каторжные. Не прилипнет к нему злодейская грязь по причине крайней неподатливости его почвы, но и не вылечат его здесь от болезни, для которой в медицине нашлись бы кое-какие облегчающие снадобья[1].

---

[1] Петр I подобных безумцев велел отправлять в монастыри. Екатерина I этот указ подтвердила, велев отправлять по надле-

— А вот и другой экземпляр ссыльнокаторжного!— говорил мне карийский пристав, указывая на высокого старика, седого, как лунь, тщательно выбритого и чистенько одетого. Старик приковал мое внимание необыкновенно правильными чертами лица; в глазах его еще было много жизни, а во всех чертах лица много мягкости и ничего злодейского ни во взгляде, ни в улыбке; даже и верхняя челюсть не была развита в ущерб остальным частям лица. Глядел он бодро, честно и открыто, шел смело и уверенно. Сложен он был превосходно, и даже той сутулости, которая характеризует всякого ссыльного, битого кнутом, и даже той запуганности, которая заставляет прятать взор куда-нибудь в сторону и в угол, мы в нем не заметили. Наконец, той робости, которая велит скидывать шапку пред всяким встречным (что так любят и привыкли делать все, просидевшие долгое время в каторжной тюрьме), в старике нашем также заметно не было. Внешний вид расположил меня в его пользу, и я готов был усумниться в подлинности и вероятии рекомендации пристава, но последний настаивал на своем:

жащем в тайной канцелярии наказании в 1727 г. Анна Ивановна в 1735 г. преступников, лишившихся рассудка, велела также отсылать в монастыри «к неисходному их тамо содержанию и крепкому за ними смотрению». В 1860 г., кроме моего знакомого, известны были еще два дурачка, из которых один помешанный, немец из Риги, прислан был за поджог архива, жил в Горной (в 4 верстах от Благодатского рудника), все время был убежден в том, что живет в 4 милях от Риги. Очень часто тайком скрывался, принимая Нерчинский завод за Ригу, рвался и кричал, когда его брали для возвращения на место водворения. Здесь либо шатался по улицам, либо, погруженный в молчание, вперял свой неподвижный взор вдаль, останавливая его на какой-либо точке. Из прошлого осталось одно воспоминание об отце во фраке, причем он всегда простодушно смеялся. Говорили, что он сошел с ума еще в Риге, вскоре после того, как его суженая вышла замуж за другого. Другой сумасшедший, также признанный неспособным к работам, шатался там же в рубахе, сшитой из лоскутьев, которые бились от ветра. Целые дни носился он с корзинкою, наполненною куклами, тряпками и другою ненужною дрянью, принимая все это за имущество, которое тщательно берег из боязни, чтобы не украли. Прислан был из Костромской губернии неизвестно за что. Ходил по окрестностям и искал работы и, не находя таковой, занимался покупкою тряпок, не покидая надежды найти работу; над немцем любил подсмеиваться и не удостоивал его разговором, называя его дураком. Немец почитал блаженством получить трубку табаку; костромич был доволен, когда накормят его. Костромич любил ходить без шапки, немец носил громадную шляпу, но сквозь одежду его также сквозило голое тело. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

— Три года в Акатуе на цепи сидел.

Сам старик рассказывал потом:

— В Калуге, на родине, почту мы ограбили и почтальона с ямщиком убили.

И откуда он взял столько хладнокровия, чтобы совершенно спокойно выговорить эти слова из рассказа своего.

— А за что тебя на цепь посадили?— спрашивал за меня пристав.

— Сами знаете, ваше благородие!— отвечал старик, и мягкая, кроткая улыбка пробежала по лицу его. Улыбка эта, может быть, в то же время меня обманула, но я и теперь за нее. Далеко ходить в оправдание ее, но лицо старика при дальнейших расспросах оставалось невозмутимо спокойным. Думал ли он на этот раз, что перед прямым, непосредственным своим начальником скрываться нечего, тот все знает, или сообразил он, что нет греха сознаться в том преступлении, которому минула законная давность и тяжесть которого давно уже искуплена цепью и одиночным заключением, сосредоточивающим все помыслы в самом себе,— старик обо всем этом вслух не сознался. Он поведал другое:

— На цепи я сидел за то, что из тюрьмы бежал, на дороге бурятскую юрту ограбил и одного братского* задушил.

Опять хладнокровный тон в показании, как будто во свидетельство того, что старик теперь не боится за себя. Знать, «умыкали бурку крутые горки».

— Взял я его к себе в водовозы и не нахвалюсь старанием и усердием; запивает иногда, но очень редко!— говорил мне пристав.— У нашего начальника жила в кормилицах женщина, сосланная сюда за убийство собственного ребенка, и исполняла свою обязанность с такою любовью, что иная мать не прилагает столько нежности и ласки к собственному детищу. Мы объяснили это порывами раскаявшейся натуры, жаждавшей искусственною, подогретою любовью замыть кровавый грех ужасного преступления, но баба эта нас обманула. Теперь она осталась нянькою при многих детях и вот уже четвертый год такая же неустанная, бессонная, честная и нежная работница.

Третий, Мокеев, также случайно попавшийся нам на глаза, был именно из тех боязливых и робких, которые

привыкли прятать свой взгляд, привыкли быть замкнутыми и неоткровенными на любой из вызовов наших. Ссыльный этот писал, например, стихи и одно время исполнял даже обязанность полкового пиита: написал по заказу начальства песню на отправление первой экспедиции, снаряженной для завоевания Амура. Он же сочинил целую тетрадку виршей, посвященных описанию всяческого быта ссыльного в тюрьме и за тюрьмою. Я долго упрашивал его поделиться плодами его досугов в расчете встретить в нем одного из тех сочинителей песен, которые приготовляют на тюремный обиход казарменные новые песни взамен старых народных, но получил ответ, что стихи он забыл, а тетрадку зачитали товарищи. При дальнейших просьбах я добился только обещания принести на днях; ждал я неделю и тетрадки все-таки не получил. Мокеев пришел в Нерчинские заводы по делу *об ограблении и умерщвлении* какого-то купца где-то в степных губерниях и принес с собою рекомендательные письма. По письмам этим он обвинялся только в том, что был при убийстве свидетелем, но не участником. Письма говорили, между прочим, и то, что он, нося веселое звание купеческого сына или брата, вел в то же время и жизнь, приличную этому званию, т. е. ничего не делал, кроме кутежей, ничего не видел, кроме трактиров и погребков. Он жил таким образом долго и весело, пока не истощились отцовские деньги. Недостаток денег вывел его из трактира в кабак, в кабаке он попал на развеселых товарищей, которые образовали шайку, имевшую намерением поправить свои обстоятельства и подсластить пропойную жизнь на чужие средства. Средством для этого друзья придумали грабеж на большой дороге. Желая ограничиться грабежом, они сгоряча и в противоборстве совершили убийство, но без участия Мокеева, хотя и в его присутствии. Как соучастник и друг убийц, не давший вовремя знать начальству о преступлении, он от товарищества судом выделен не был и вместе с ними попал на каторгу. Сюда, когда он освободился из тюрьмы, богатые родные присылали ему деньги. На деньги, при посредстве промыслового начальства, вознаградившего его тем снисхождением и участием, которых не получил он от судей, Мокеев успел затеять кое-какую торговлю. Торговал он удачно и деньги наживать начал, да вдруг вспомнил о своем

бездолье и родине — и запил. Запой сокрушил все его средства; новые присылки денежной помощи шли в кабак. Сколько ни валили потом щебня в болото, гати не сделали; раз прососавшаяся вода по знакомому ложу смывала все преграды. На время (и только на время) приостановилась было вода на мельнице, не рвала гати и обещала по ней прямое и надежное русло туда, куда надо: Мокеев полюбил вольную казачку, полюбился и ей и женился. Торговля опять пошла на лад, колеса на мельнице завертелись, мука была, и покупателей было довольно, да вдруг загул, и опять прорвало плотину. Суетилась жена, хлопотали соседи, суетились и хлопотали много и долго, а добились одного только, что больной стал пить не загулами, а запоем, что, как известно, и безнадежно и неизлечимо. Стал Мокеев человеком убитым и потерянным; и скрежещет теперь зубами на свою шаль и дурь, и жену любит, и всеми соседями был любим за кроткий податливый нрав, да слабость свалила и не позволяет встать на ноги. Мокеев теперь на все рукою махнул.

— Ничего с ним не поделаешь,— говорила жена его,— самый беспутный человек! Песни писать пуще прежнего начал, станет тебе читать какую, слезой прошибет. Лучше бы уж в гроб скорее ложился да гробовой доской накрывался. Вот и вчера пьянехонек домой пришел и завтра такой же будет.

Отдельно взятые случайные личности мало значат. Живя на свободе, они могли утратить много того, чем отличается настоящий каторжный, да и жизнь на свободе, хотя и подле самых ворот каторги, далеко не каторга. Про людей, вышедших из тюрьмы, и самые соседи многого не скажут: многое забыли они, многое стараются забыть, зла не помня. И сами мы намерены не биографии писать, мы хотим видеть каторгу.

Каторги, однако, мы видеть не могли. Постоянные холода, стоявшие все время ниже 30°, и человеколюбие горных офицеров задержали работы на разрезе до благоприятного времени. Каторжных из тюрьмы не выпускали, кроме нарядов на легкие и недолговременные работы. Тем лучше, стало быть, мы увидим тюрьму в полном составе и сборе. Идем туда.

Вот эта тюрьма Нижнего Карийского промысла у нас перед глазами. На тюрьму, в том смысле, как бы хотело представлять наше воображение, она не похожа.

Нет даже и того казенного вида, каким поражает всякий старый этап по сибирским дорогам. Нет этих заостренных сверху бревен, плотно приставленных одно к другому, черных, погнивших, нет и этих огромных ворот посередине, с низенькою захватанною калиткою и двумя полуразвалившимися будками по обеим сторонам скрипучих, громадных, тяжелых ворот, которые отворяются только два раза в неделю, чтобы проглотить и потом выбросить проходящую партию. Карийская тюрьма глядит решительною казармою и много-много если она похожа на такую, где существует так называемая сибирка, кутузка — места для временного полицейского ареста. Снаружи казарма эта очень ветхая, и даже не видать, чтобы она была недавно починена. Решетки ржавые, крыльцо погнившее, крыша полинялая, но зато все остальное, обрядовое, в совершенном порядке и надлежащей форменности.

— Ефрейтора!— закричал над нашим ухом часовой солдат, стоявший у наружной двери.

Явилось требуемое лицо. Наряжены были еще двое конвойных с ружьями и пущены вперед.

— Старосту!— закричал сзади нас в свою очередь ефрейтор.

Явился и староста с бритою наполовину головою, с угодливостью в лице, с судорожными движениями во всем теле, как будто готовый лететь, растянуться в воздухе по первому призыву и приказу начальника.

Перед нами отворилась дверь, и, словно из погреба, в котором застоялась несколько лет вода и не было сделано отдушин, нас облила струя промозглого, спершегося, гнилого воздуха, теплого, правда, но едва выносимого для дыхания. Мы с трудом переводили последнее, с трудом могли опомниться и прийти в себя, чтобы видеть, как суетливо и торопливо соскочили с нар все закованные ноги и тотчас же, тут подле, вытянулись в струнку, руки по швам, по-солдатски. Многие были в заплатанных полушубках внакидку, насколько успели; большая часть просто в рубашках, которые когда-то были белые, но теперь были грязны до невозможности. Мы все это видели, видели на этот раз большую казарму, в середине которой в два ряда положены были деревянные нары; те же нары обходили кругом, около стен казармы. Вид известный, неизбывный во всех местах, где держат людей для казенной надобно-

сти в артели, в ротах, в батальонах. На нарах валялись кое-какие лоскутья, рвань, тоненькие, как блин, матрацы, измызганные за долгий срок полушубки и вся эта ничтожная, не имеющая никакой цены и достоинства собственность людей, лишенных доброго имени, лишенных той же собственности. Вопиющая, кричащая бедность и нагота кругом нас, бедность и несчастье, которые, вдобавок, еще замкнуты в гнилое жилище, окружены гнилым воздухом, дышат отравою его до цинги, ступают босыми ногами с жестких нар на грязный, холодный и мокрый пол, Нечистота пола превзошла всякое вероятие: на нем пальца на два (буквально) накипело какой-то зловонной слизи, по которой скользили наши ноги, не раз ходило сильное властью и средствами начальство и не замечало, а если и замечало — то, наверное, забыло. Половина смрада в казарме копилась на полу и наполнила потом всю ее до самого потолка, который также оказался неспособным отправлять свою трудную службу. Отворялись и форточки, но не помогали делу нимало; топятся и огромные уродливые печи и оказываются бессильными. Вся сила спасения не в планочках, которые мы, набалованные повадкою, охотно прибиваем ко всякому месту, которое сквозит, свистит и просвечивает, не в загрунтовке мест, которые проболели до того, что заразились гноем и сочатся гнилою, порченою кровью, вся сила — в коренной перетруске старого и в решительном создании нового. На прежнем месте, пожалуй, но свежая казарма должна быть во что бы то ни стало и притом не по старому образцу и не старыми балованными руками сделанная, а по образцам новым, руками не запачканными, но чистыми, не выверченными из вертлюгов на бесполезных работах, но здоровыми и сильными, которые зла не творили, а за добром давно тянутся и всякому живому гуманному движению давно уже распростерли горячие объятия. Еще долго проживут каторжные в своих вонючих и сырых норах, пока и до них добежит луч света по казенным инстанциям, после множества бумажных справок и выправок.

— А дай-то бог, чтобы поскорее время шло!— говорит каторжный в ожидании тюремного срока содержания; старательно клеит он и терпеливо ладит себе балалайку для сокращения досадного, бесполезного времени тяжелой, скучной каторжной жизни.

Снял он нам с гвоздочка скрипку свою, дал осмотреть, дернул смычком по струнам — ничего!

— Песни к этой скрипке голосом не подладишь, а плясать можно.

— За что ты попал сюда?— спросил я первого попавшегося мне на глаза арестанта.

— Лошадь своровал, много чужой лошадь своровал!— отвечал татарин.

— А ты за что?

— Заграницной материи наси евреи возили...— начал было выясняться перед нами обитатель западной русской границы, да перебил его другой досужий и знающий:

— А кто контрабанду через границу возил и в таможенную стражу из ружей стрелял, двух солдат положил на месте?

Смолчал еврей.

— А ты за что?

— А я, ваше сиятельство, совсем понапрасну. Спрашивал я у начальства, ничего не сказали. Наказание получил, сюда привели. Ей-богу, лопни глаза мои! Занапрасно попал.

Арестант забожился, а в резком акценте его выяснился для нас цыган, пришедший сюда, по всему вероятию, за что-нибудь покрупнее конокрадства; может быть, за грабеж на большой дороге, подле которой стояли родичи его табором.

— Не хотите ли,— предлагают нам,— задаться задачей пройтись по губерниям. Спросите из любой представителя, из всякой можем представить. Выбирайте наугад!

Подвернулась первою на память Киевская — нашлось целых трое. Прошлись по Волге от вершины до устья, отозвались от каждой из девяти губерний по одному; на Симбирскую выкрикнули опять трое.

— Так и должно быть,— поясняют нам,— из густонаселенных губерний захлопнет наша западня не меньше одной пары, и при этом всегда больше других отличаются юго-западные, а из приволжских — Симбирская. Впрочем, больше идут и погуще дают преступления губернии, ближние к Сибири: Оренбургская и особенно Пермская, из Вятской поменьше. Из Финляндии и инородцы чаще попадают на поселение и если являются к нам, то не прямо с родины, а уже с мест поселения.

Замечаем, что Тобольская губерния преступнее всех и сердитее.

Можем утешить вас вот чем: из губерний глухих и лесных, каковы Архангельская, Вологодская и Олонецкая, мы настолько редко получаем к себе пациентов, что я вот в двенадцать лет ни одного не принял оттуда. Людей этих местностей не знаю и родов болезней их объяснить себе не могу. Из инородцев не видим вовсе лопарей, самоедов, остяков * и тунгусов: в Березове даже и тюрьмы не существует. Татарин идет к нам зауряд со всеми, обвиненный по роду тех преступлений, которые водят на каторгу. Кавказские горцы идут за грабежи, а киргизы, кроме этого, ни в каком уже ином преступлении и не завиняются, баранта * у них — племенная добродетель, как у голодных горцев набег. Еврей рекомендуется больше контрабандистом, цыгана мы привыкли понимать за конокрада, и уж давно цыган проговорился, что краденая лошадь не в пример дешевле купленной обходится. Другие инородцы для нас безразличны.

Женщины приходят к нам за убийство детей, но чаще за поджоги. Поджог также преступление детей. Стариков мы знаем как кровосмесителей и растлителей, получали их также за ересь и раскол. (...)

— Соображая по состояниям и по отношению ссыльных к общей численности того и другого сословия, мы можем уверенно сказать и доказать, что преступления тяжкие, ведущие прямо к нам, чаще всего совершаются мещанами и солдатами — сословиями искусственно созданными. Они вместе с другими значительно облегчают тяжесть упрека, который привыкли валить на крестьян, и в сильной степени ослабляют в общей цифре обвинение их в черных и тяжких преступлениях. Вот, не угодно ли вам будет проверить слова наши хоть на промыслах наших, хоть, пожалуй, и здесь в тюрьме.

Узнавать в коротких и скороспелых вопросах мы не решились, да к тому же и не имели этого в виду, а задавали вопросы по вызову со стороны пристава и для того, чтобы сделать что-нибудь в ответ на любезную предупредительность и иметь больше времени осмотреться и познакомиться с наружным видом каторжной тюрьмы. Спрашивать самих арестантов об их преступлениях нам казалось неловким и неделикатным (мы в этом и каемся теперь). Да притом же, давно и хоро-

шо известно, что они никому и никогда не говорят истинной причины ссылки, стараясь затемнить ее окольным показанием или новым сочинением. К правде не приучили их прежние следствия наши и отбили всякую охоту тюремные обычаи и тюремная наука.

Расспросы свои мы прекратили в расчете и с надеждою серьезным изучением проверить наблюдения наших проводников (чего мы и достигли впоследствии). На этот же раз решились прекратить и самое пребывание в тюремной казарме, где уже оставаться становилось невмочь голове и легким (голова разболелась, грудь защемило), до того с непривычки удушливо-тяжела была тюремная атмосфера! Каким же образом живут в ней люди, что они успевают там делать и чем вознаграждают себя за эти лишения и мучения? Вот вопросы, разрешение которых мы принуждены были искать на стороне, узнавать от людей, близко стоящих к этому делу, и если не слишком заинтересованных им, то и не совсем чуждых. От них мы узнали многое. Все это многое мы проверили отчасти собственным наблюдением (насколько это позволяли обстоятельства), отчасти выяснили себе по архивным бумагам, по рассказам самих ссыльных, по свидетельствам их приставников. Все, что досталось нам в добычу, несем на общий суд и внимание.

Всех ссыльнокаторжных, находившихся в то время на Карийских промыслах, насчитывалось около 1200 человек (во всем же Нерчинском округе до 4 тысяч). Все карийские содержались в четырех тюрьмах и размещены были почти в одинаковом числе в двух тюрьмах при Среднем и Нижнем промыслах, в меньшем числе в тюрьме Лунжанкинского промысла, а самое меньшее, сравнительно, число помещено было в тюрьме Верхнего промысла. Эта последняя тюрьма находилась прежде в самом селении, но, по удалении промысловых работ (в 1850 году), она перенесена на новое место, вверх по течению золотоносной реки Кары, на одну версту от центра промысла, к подножию горы. В тюрьме этой 8 комнат, из которых каждая способна вмещать не более 50 человек. Средняя тюрьма, построенная в 1851 году, находится в самом селении (Средне-Карийском) и походит на первую: лицевая сторона ее также не забрана палями *. Лунжанкинская тюрьма, по удалении промысловых работ, перенесена в 1856 году вверх по

речке, давшей свое название промыслу, за три версты, и поставлена на месте, называемом Коврижка. Это — самая маленькая изо всех тюрем (только с двумя комнатами), но зато прочнее прочих; при ней службы еще весьма удовлетворительны.

Вот официальное топографическое описание тюрем, которое потребует от нас дополнений.

Каждая тюрьма имеет при себе непосредственного начальника, должностное лицо государственной службы, смотрителя. Каждому смотрителю дается помощник, известный под именем тюремного надзирателя. Кроме того, каждая тюремная артель выбирает из своей среды старосту (на 40 человек арестантов полагается один такой выборный). Староста получает отдельный нумер от прочих, и он же вместе с тем и артельный эконом, обязанный заботиться о пище, и помощник надзирателя (субинспектор), обязанный быть комнатным соглядатаем и фискалом. Старост этих, таким образом, в каждой тюрьме, смотря по числу заключенных, находится 3, 4 и 5 человек. Над ними полагается еще один на́больший, старший староста, который на тюремном языке называется общим.

Такова должностная иерархия и тюремная бюрократия. А вот какова и вся процедура их обязанностей в кратких и общих чертах, набросанных одним из смотрителей карийских тюрем. «Смотритель,— говорит он,— заведует как хозяйственною, так и письменною частью. Надзиратель заботится о пище и об одежде арестантов и, кроме всего этого, ведет отчетность. Поутру, в назначенные часы для работ, он идет на *раскомандировку* в тюрьму. По приходе с караульным урядником строит арестантов в строй, делает перекличку по имеющейся у него табели, чтобы узнать, все ли арестанты налицо (точь-в-точь, как делалось это на этапах); кончив такую, сдает партии военному караулу, наряженному в конвой. По уходе арестантов на работу он выдает старостам провизию на день (...), которая принимается заблаговременно им от комиссара промыслов. Окончив все это, он идет в канцелярию тюремного смотрителя разводить арестантов по работам по имеющемуся у него журналу *(о выводе арестантов на работу)*, и в оном отбирается расписка с военного караула относительно принятия арестантов на работы, а потом уже составляется корчая табель, в коей показывается

число людей, ушедших на работу, и пища, употребленная для них. С нею идут на рапорт к смотрителю. Вечером, когда арестанты сойдут с работы, надзиратель делает счет, все ли приведены с работ, и по заверке кладет о принятии свою расписку в вышеупомянутом журнале».

Приводя эти строки, мы с намерением остановились на тех подробностях, какие дают они нам. По-видимому, не может быть ничего однообразнее жизни арестантов, и недаром у них существует поговорка: «Каторжный хлеб кончал, сухарь кончал, казенной службы не мог кончать». Но, тем не менее, заключенные всегда находят средства разнообразить свою жизнь, и первое утешение представляет им песня. Действительно, тюремный сиделец поет на каторге с великого горя кручинные песни, и любит он в досужий час эти песни. С любовью бросается он и на деланные, сочиненные. Поет он и те, которые (...) вылились у какого-нибудь горемыки в крайнюю минуту искреннего, неподкупного вдохновения. В какой бы форме ни привелось выливать свое тюремное горе, которое главным образом сказывается в лишении свободы, испытывается в недостатке участия со стороны милых сердцу, как бы строго ни преследовалась песня, арестанты часто поют песни хором, а в одиночку всегда и каждый вечер:

Бывало у соколика времячко:
Летал-то сокол высокохонько.
Высокохонько летал по поднебесью.
Уж-то он бил-побивал гусей-лебедей.
Гусей-лебедей, уток серыих,
А ноне соколу время нету:
Сидит-то сокол во поимани,
В той во золотой клеточке,
На серебряной сидит на шесточке,
Резвы его ноженьки во опуточках.

Или:

Перекреп-то, перезяб я, добрый молодец,
Стоючи под стенкой белокаменной,
Глядючи на город на Катаевской.
У города воротцы крепко заперты,
Они крепко заперты, воротцы — запечатаны.
Караульные солдатушки больно крепко спят.
Крепко больно спят солдатушки — не пробудятся.
Одна лишь не спит красна девица,
Красна девица — королевска дочь.
Брала она со престолику короночку,
Надевала ее на свою буйну головушку,
Еще брала со престолику златы ключи,

Отмыкала-отпирала каменну тюрьму,
Отпускала невольников-подтюремщиков.

Пока «красная девица — королевска дочь» в воображении только, а «златы ключи на престолике» в песне хороши отвлеченным смыслом своим и без всякого практического применения: ворота тюремные действительно крепко заперты, и караульные солдаты всю ночь не спят. Бдительность дозора их, приправленного крепким и строгим наказом, до того сильна и закончена в мельчайших своих подробностях, что для арестантов нет другого исхода, кроме покорности, подчинения и надежды не на настоящее, а на будущее. Конечно, покорность эта только временная и подчинение условное, но арестанты все-таки видят строгость надзора, неумолимость наказания за проступки и ищут утешения, по свойству человеческой природы, в других путях и средствах. Средства эти они находят в собственной натуре, в натуре русского человека, и гнету и преследованиям сверху противопоставляют сильный оплот и противодействие снизу, в среде своей. Противоборство это заключается в так называемой артели тюремной, в арестантской общине. Община эта ладится плотно, очень скоро и просто. Правила для нее бог весть когда и кем придуманы, но уже приняли определенную и законченную форму. Форма эта, по долгому опыту, состоятельна при практическом применении, а существование ее не подлежит сомнению. Арестанты этого не скрывают и, может быть, утаивая мелкие подробности, объявляют общие черты, по которым можно составить приблизительное описание. Описание это мы основываем на рассказах самих преступников и проверяем сведениями, сообщенными нам тюремными приставниками на словах и в официальных бумагах.

Одна и та же участь, равная степень наказания, поразительное до мельчайших подробностей сходство житейской обстановки — все это естественным образом помогает сближению, делает это сближение не только возможным, но даже и совершенно необходимым, по силе закона: «Дружно — не грузно, а врозь — хоть брось». Сближение это, при одинаковой степени нравственного развития и душевного настроения, совершается тем скорее, чем вероятнее усталость и уступка со стороны противодействия. Сближение становится прочным и действительным по мере того, как преследование де-

лается озлобленнее, а стало быть, и бездарнее и недальновиднее. Пользуясь всяким благоприятным моментом, тюремная община, не ведающая усталости, не желающая отдыха, накопляет внутри себя силы, и притом в таком количестве, что при напоре их поневоле должны уступить всякие внешние противоборства, хотя бы они и велись систематически. Кажется, сколько глаз следят за преступниками, сколько законов, правил и постановлений обрушилось на них в течение недолгого времени, и все-таки тюремная община живет своею самостоятельною особенною жизнью. Она цела и самобытна, несмотря даже на то, что тюрьма не вечная неизбывная квартира, что она скорее постоялый двор, где одни лица сменяются другими, новыми. Правила для тюремной общины как будто застывают в самом воздухе, как будто самые тюремные стены пересказывают их. Преемственная передача убеждений, жизнь старыми преданиями, на веру, едва ли сильнее в другой какой общине.

Законом для всякой арестантской артели полагается выборный из среды преступников — *староста*. Он прежде всего заботится о приготовлении пищи товарищам и в этом отношении может быть назван экономом. В его руках скопляется вся сумма денег, образуемая из доброхотных подаяний; вот и казначей. Староста — ответственное лицо за проступки всей артели перед начальством, которое обязывает себя глядеть на него как бы на лицо официальное и должностное, а по уставу — даже и утверждает его в этом звании. В случае, если бы он решился скрыть какое-нибудь преступление, затеянное недовольными и обиженными арестантами, задумал бы не сказать о проступке одного из них, за все про все отвечает он, староста. Отвечает он своею спиною, но не лишением места. Лишить его звания, отрешить от должности начальство без согласия всей артели не может точно так же, как выборный в старосты, из уважения к общине, делающей ему такую честь и доверие, отказаться от должности не имеет права. Условия взаимного уважения, основанного, с одной стороны, на доверии и, с другой, на благодарности, одинаковую имеют силу и в обществе преступников, как и во всяком другом.

Таким образом, староста стоит между двух огней. Та и другая сторона заявляют на него свои права, та

и другая требуют исполнения обязанностей. Обязанности эти или, скорее, угождения в сущности своей диаметрально противоположны друг другу. Как быть? Как выпутаться?

А на что же существует община?— ответим мы на эти два вопроса также вопросом. Тюремная община держит своего старосту в границах, положенных его обязанностям: позволяет ему принимать съестные припасы и подаяния, хранить артельные деньги — и только. Этим власть его и ограничивается; и тени нет влияния на нравственную сторону заключенных. Арестанты опасаются навязать себе агента своих блюстителей, а потому от старосты требуется чрезвычайная осторожность и глубокая осмотрительность. Всякий из них должен знать, что множество глаз заботливо следят за всеми его действиями и с особенным вниманием за сношениями его с тюремными властями. Малейшая ошибка (простая, непреднамеренная), и староста сменяется.

— Я бывал свидетелем,— рассказывал мне один из заключенных,— как сменяемых старост прогоняли сквозь строй жгутов (наказание, по сказанию самих виновных, могущее поспорить с таковым же официальным наказанием, послужившим первому образцом и примером)*. Смещенный староста подвергается затем общему презрению, самому тяжкому изо всех нравственных наказаний, какие только могут быть придуманы в местах заключения. В старостах, по избранию арестантов, чаще всего является тот из них, который и у свободных людей носит прозвание сквозного плута и который прошел в тюрьму сквозь огонь и воду и медные трубы, а в тюрьме сумеет не остаться между двух наголе, напоит и вытрезвит, обует и разует.

Таким образом, ябеда, донос — самое нетерпимое изо всех тюремных преступлений. Хотя ябедник и доносчик там явление очень редкое, но, тем не менее, бывалое, и если больного этою трудно излечимою болезнью не вылечат два испытанных средства (каковы жгуты и презрение), то его отравляют растительными ядами (обыкновенно дурманом). К исключительному средству этому прибегают примечательно редко и в таком только случае, когда начальство не имеет средств или не сдается на просьбы товарищей и не переместит виновного в отдельный покой или (если есть) в другую тюрьму.

Товарищество соблюдается свято и строго и в тюрьме, как соблюдается оно, например, во всех закрытых заведениях, где также часто мелкий проступок возводится на степень преступления, где также излишняя строгость вызывает неизбежную скрытность как единственное подручное оружие протеста. В этом отношении у корпусов, пансионатов и институтов сходство в приемах с приемами тюремными поразительно. Грани сходятся, и только в результатах они, естественным образом, должны расходиться и расходятся. Преступники идут дальше по пути преследования виновных, идут смелее и резче, как то и подобает людям крепкого житейского закала, сильных и крупных характеров и страстей.

Арестанты виноватого (но не уличенного) товарища ни за что и никогда не выдадут. Уличенный, но не пойманный с поличным в преступлении своем никогда не сознается, и не было примера, чтобы пойманный в известном проступке выдал своих соучастников; он принимает все удары и всю тяжесть наказания на себя одного. Равным образом, если арестант и попался с поличным, оказался совершенно виновным и смотритель его наказывает, арестанты довольны и не препятствуют исполнению приговора, слепо веруя, что наказание научит их товарищей другой раз быть осторожнее, заставит их потом концы хоронить подальше и повернее.

Стремясь к согласию и возможной дружбе, заботясь об единодушии как главных основаниях всякого товарищества, тюремная артель не терпит строптивых, чересчур озлобленных, сутяг и всякого рода людей беспокойных. Бывали примеры, что арестанты огулом жаловались начальству на таких озорников, прося об удалении их из своей среды. Не решаясь прибегнуть к средствам, приложимым к ябедникам (на том предположении, что наушничество — неисправимое зло), они оставались довольны, если беспокойного товарища запирали в отдельную камеру на одиночное заключение. Озлобленного и беспокойного человека арестанты, по долгому опыту, считают исправимым и — говорят — не ошибаются; удаленные на время «злыдни» очень часто возвращались потом в тюремную семью тихими, кроткими и примиренными. Одиночное заключение арестанты ненавидят и боятся его пуще всех других. Раз из-

ведав его, всеми мерами они стараются избежать в другой раз. Для всякого арестанта дорога тюремная артель, мила жизнь в этой общине, оттого-то все они с таким старанием и так любовно следят за ее внутренним благосостоянием: удаляют беспокойных и злых, исключают наушников, обставляют непререкаемыми правилами, сурово наказывают своим судом виновных, а суд тюремный, как мы сказали, самый неумолимый и жестокий.

Насколько сильно и крепко товарищество — вот пример (первый, подвернувшийся на память из сотни других). Дело было на одном из заводов Восточной Сибири (на каком именно, не упомню).

Тюремный смотритель сердит был на арестанта за его дерзкие грубости, за непочтение к особе начальника, за что-то, одним словом, такое, чего никак не мог забыть и умягчить в своем сердце смотритель. Арестант был ловок, увертлив; смотритель, при всех стараниях, поймать его не мог, а между тем хотелось удалить неприятеля из завода и удалить так, чтобы он его помнил.

Смотритель призывает к себе другого арестанта и начинает уговаривать его допытаться: кто такой преследуемый и ненавистный ему преступник и если переменил он свое имя и живет под чужим, то уйдет прямо на золотые Карийские промыслы, т. е. в самую каторгу.

— Я бы допытался, ваше благородие, да мне жизнь еще не надоела, сами знаете наши порядки. Тяжелы такие дела!

— Я тебе в них защитник и покровитель.

— Если так, то было бы из чего начать дело.

— Вот тебе три рубля.

— Так неужели я товарища-то своего продам так дешево? Да и на три рубля что я могу сделать?! Ни обуви купить, ни одежды завести.

Стали толковать, торговаться — на десяти рублях серебром порешили дело. Берет арестант деньги, идет в тюрьму и прямо к товарищу:

— А я, брат, тебя смотрителю продал, сказал, что ты чужое имя носишь; вот и денег десять рублей получил. Разделим пополам, а ты меня выручи: нет ли здесь в селении на тебя кого похожего? Не осрами перед смотрителем!

— Шел один в пересыльной партии похожий на ме-

ня, да и живет-то он здесь на заводе, фамилия Клыгин.

— Клыгин! — рапортовал подговоренный смотрителем. Справился тот в статейных списках: приметы подходят (да и много ли таких примет в казенных паспортах*, каковых нельзя было бы применить ко всякому в особенности и ко всем остальным разом).

Наскочил смотритель на врага своего, рад-радехонек. Тот отрекается, идти на дальнюю каторгу не хочет, следствия просит: «Мало ли де чего на свете не бывает! Я сам своего двойника в пересыльной партии видел, да он и теперь живет на заводе, здесь». Дают очную ставку, смотритель действует смело, в расчете на купленного доносчика. Очная ставка с мнимым двойником не удалась, смотритель остался в дураках, наскочил на своего доверенного:

— Зачем ты оболгал?

— Пошутить захотел над вашим благородием; что я стану таить теперь по-пустому?!

Долго и громко смеялась тюрьма над этою выходкою. Многие о ней и теперь не забыли и мне рассказали.

Насколько арестанты блюдут тайны своей артели и стерегут ее интересы, узнаем также из множества примеров. Вот один из них, более характерный и смелый.

«Был у нас, — рассказывал мне один из ссыльных, живший в последнее время в Иркутском солеваренном заводе, — был у нас в тюрьме унтер-офицер, сердитый, тяжелый и неподкупный. Такие люди несносны. Арестанты решились его удалить во что бы то ни стало, но как это сделать? Надо было найти смышленого человека. Ходили за ним недалеко. Содержался вместе с нами из бродяг Сенька, ловкий на все руки и калач тертый с солью, ни над чем он не задумывался и на жизнь легко смотрел. В России ходил по ярмаркам с Петрушкой — фокусы показывал; не посчастливилось там — в Москве жуликом долго был, ловко таскал платки из кармана, часы обрезывал. Ограбил там церковь — в Сибирь попал. К этому Сеньке и обратились арестанты.

— Помоги, — говорят, — смени ундера!

— Ладно! — говорит. — Сечь меня будут, так положите ли по две копейки за розгу с артели?

— Идет! — говорят. Сами смотрят, что будет.

Ходит Сенька по казарме, ходит, бурлит, ко всем привязывается, притворяется пьяным. Увидал это ундер, донес смотрителю. Пришел смотритель и спрашивает:

— Где взял водку, кто принес?

— Вот он!— говорит Сенька и показывает на ундера.

— Врешь,— говорит смотритель,— не верю, не таковский человек этот ундер.

Божится Сенька.

— Дохни!

Дохнул Сенька так, что как будто и в самом деле в соседнем кабаке двери отворили.

— Розог!— закричал смотритель.

Сенька мигнул товарищам: «Считайте-де, братцы, а я вас сам поверять буду, чтобы потом не отжилили».

Стали считать: пятьдесят розог насчитали.

Смотритель опять спросил: «Врешь-де, собачий сын!» Побожился Сенька, и снова драть его стали. Еще пятьдесят розог сосчитали: по счету на серебро два рубля приводилось с артели. Артельному кошелю тяжело стало, закричали арестанты Сеньке:

— Будет, Сенька! Проси, шельмец, прощения!

Не просит.

— Кто принес вина?

— Этот самый ундер.

Опять положили. Арестанты громче шум подняли.

— Сказывай, Сенька, ну тебя к черту! (Много-де артельских денег изводишь и сам-де того не стоишь).

Лежит себе Сенька под вторую сотню. Арестанты еще громче зашумели: «Тебе-де, дьяволу, ничего, шкура-то у тебя барабанная, стало, привычная, да артельным-то деньгам изъян большой».

Сенька стоит на своем: ундер принес. Получил двести и встал. Встал и говорит:

— Сказывал я вам, что сказывал; не поверили вы мне, ваше благородие! Осмотрите-ка ундера, может, он и четушку-то (косушку) еще не успел спрятать.

Послушался смотритель совета его, осмотрел ундера и в ранце у него нашел ту посудину (успел-таки ловко подложить свою вещь Сенька, умевший таскать из тех же карманов и всяких ручных мешков чужие вещи).

Артель достигла цели: ундера убрали, Сенька получил свои четыре рубля серебром. Смеялись все долго и еще пуще полюбили все Сеньку».

Вообще, не скупясь ни на какие средства, не задумываясь ни перед какими препонами, тюремная артель строго блюдет свою тайну, старательно прячется за завесою ее, у которой, если приподнять один только уголок, мы увидим вот что.

Во всякой тюрьме (русской и сибирской) существует так называемый *майдан*. Это, в тесном смысле, подостланная на нарах тряпка, полушубок или просто очищенное от этой ветоши место на нарах, на котором производится игра в карты, кости, в юлку и около которого группируются все игроки из арестантов. По тюремной примете-пословице, на всякого майданщика по семи олухов.

Игра, как известно, есть одна из самых прилипчивых и упорных страстей между преступниками. Беспрестанная боязнь быть открытыми (несмотря на существование сторожей у дверей) заставляет преступников торопливо играть и в волнениях душевных, разжигаемых игрою, находить самые любезные им наслаждения, самые приятные и дорогие им утехи. Существование азартных игр присуще тюрьмам всего земного шара. Вот что говорит Фрежье в своем сочинении «Des classes dangereuses» о французских тюрьмах: «Арестанты, привыкшие в один момент терять плоды недельной работы, доводят свою страсть к игре до того, что ставят на кон хлеб, которым должны кормиться месяц, два, три месяца. Но что всего удивительнее, между арестантами встречаются такие, которые во время раздачи порций оказываются нетерпеливыми, даже жадными, те, которые рвут хлеб из рук и потом легко примиряются с лишением пищи, проигранной в карты. Прибавлю последнюю черту, показывающую, до какой степени помешательства может доводить разумное существо страсть к игре. Врачи центрального дома Mont-Saint-Michel наблюдали за одним преступником, который играл с таким увлечением, что, лежа в больнице, ставил на кон порцию бульона и вина, когда тот и другое были крайне необходимы для восстановления его растраченных сил. Этот несчастный умер от истощения сил».

Право содержать майдан в наших тюрьмах отдается с торгов, независимо от содержания других оброчных статей (о чем мы будем говорить ниже). Откупщик майдана бывает, большею частью, самый береж-

ливый из арестантов, скопидом и, во всяком случае, обладающий известным капиталом. Он называется *майданщик* и если не пользуется уважением и любовью арестантов, то, во всяком случае, находится под покровительством артели. В среде ее он всегда найдет таких голышей, которые за несколько копеек становятся на стражу и оповещают играющих о приближении опасности (играют обыкновенно по ночам). Для этого существуют в тюрьмах условные выражения, особенные слова.

— *Стрема!*— кричит сторож в нерчинских тюрьмах.

— *Вода идет!*—оповещает сторож в тобольском и других спопутных острогах.

Майдан исчез: свеча погашена, карты спрятаны так, что самый опытный смотритель не найдет их. А уйдет дозорник *(стрема, вода)* и опять пошли переходить с рук на руки и *курынча* (медные деньги, по тюремному названию) и *сары* (т. е. бумажки и серебро, которое водится во всех видах, даже иностранные талеры, пятифранковики, старинные целковые и проч.).

— Талан на майдан!— желает арестант играющему в карты товарищу.

— Шайтан на гайтан!— шутливо отвечает этот.

— Давай в святцы смотреть,— говорит другой арестант третьему, желая натравить его на игру. «Быков гонять» на условном тюремном языке значит в кости играть, бросать пару обыкновенных игральных квадратных костей (со значками в точках до шести). «Светом вертеть», «головой крутить»— в юлку играть [1].

«Хамло пить» зовет арестант товарища, когда он достал водки и желает угостить ею. *Дыму* желает купить арестант, когда табак захочет курить — и курит его теперь в папиросах или, лучше сказать, в тюриках, свернутых из самой толстой бумаги, ибо чем толще бумага, тем мягче махорка. Бумага краденая, табак купленный (у майданщика); иногда и бумагою торгуют, но чаще добывают ее из тех книг, которые

---

[1] *Юлку* делают из говяжьих костей, которые распиливают крученою суровою ниткою, постоянно смачивая ее в растворе золы и березового угля. Один пилит, другой подливает щелок. Счет у юлки особенный: 9 — лебедь, 11 — лебедь с пудом, 5 — петушки, 4 — чеква и пр., как у клубных игроков в лото и у бостонистов (6 — филадельфия, 8 — индепаданс и проч.). *(Примеч. С. В. Максимова.)*

раздают для чтения члены попечительных о тюрьмах комитетов (всякий другой сорт бумаги — плод, законом воспрещенный в тюрьмах). Папиросы еще тем хороши, что прячутся ловко, да и налетишь с нею на дозорщика, не жаль расставаться, а трубок — ненапасная пропасть переводится. Трубки держат только там, где дозор посходнее и пристава попроще.

Арестант мастерит сам или у других покупает *змейку,* когда намерен перепилить тюремную решетку в окне или дужку замка на кандалах ради побега. Кандалы называются *ножные брушлеты* (браслеты); кнут — *лыко,* или с добавлением *адамово* лыко. *Заводская собака лает* — острил ссыльный рабочий, когда звонил колокол, призывавший на работу.

Беглый идет на тюремном языке под названием *горбача* (за ношу, которая всегда имеется у него сзади, на спине). «Гляди в *маршлут:* долго ли нам идти?» — говорит горбач своему товарищу, когда не желает заходить в спопутную деревню за милостыней и надеется найти в этом маршлуте (т. е. бураке или, по-сибирски, туезе) достаточное количество запаса для прокормления себя.

Бежит арестант из тюрьмы «к генералу Кукушкину на вести» или просто «кукушку слушать», но нередко сходит только «простокишки (т. е. простокваши) поесть», т. е. дойдет до Верхнеудинска и, возвращенный оттуда опять на Кару, осмеивается в этом последнем выражении товарищами. Бежит арестант, не думая о последствиях, и сам острит и смекает, что «лиха беда нагнуться (под плети), а не лиха беда отдуться».

В тюрьме арестант умоляет строгих по виду, на самом деле податливых сторожей «привести мазиху» (т. е. женщину) и не щадит никаких денег, а на воле старается «красного петуха пустить», в отмщение той деревне, в которой покусились схватить его, беглого, и представить по начальству, т. е. спешит пожар в ней сделать. «Берись за жулик» (т. е. за нож), — кричали арестанты, когда поднимали бунт против приставников.

Вот почти все те слова, которые находятся в тюрьмах в обороте; едва ли есть больше, потому что некоторые из приведенных нами крайне случайные, мало употребительные, другие отзываются легкою насмешкою, третьи легко и просто заменяются самими сторожами,

как было принято, например, в тобольском остроге, где сторожа, по уверению ссыльных, особенно дешевы. Там, если кричали со двора «унтер-офицер!» значило «вода», начальник идет, берегись! Кричат «ефрейтора» — продолжай майдан, идут люди неопасные, свои, купленные. Часть условных тюремных слов, судя по внешним знакомым признакам, введена московскими жуликами или петербургскими мазуриками; другая часть, по всему вероятию, оставлена арестантам в завещание волжскими и другими разбойниками, не так давно наполнявшими тюрьмы Сибири и Забайкалья.

Майдан в сибирских тюрьмах принимает более обширные размеры, а потому и откупная цена на него по торгам значительно выше, чем та же во время путешествия арестантов по этапам. Во время этапного пути майдан (...) снимался за Тобольском на время, необходимое арестантской партии для того, чтобы дойти до Томска. В Томске опять торги до Красноярска, в Красноярске до Иркутска (самая меньшая цена майдана) и в Иркутске до Нерчинских заводов (самая большая цена майдана). Принимая в расчет большее или меньшее количество верст (а стало быть, и время), необходимое для путешествия, арестантская община, при сдаче майдана, имеет также в виду и большее или меньшее число желающих и могущих вести игру. Потому за продажу карт полагается откупная плата от 15 до 30 рублей. Майданщик обязуется при этом поставлять игрокам и освещение в виде сальных свечей. Деньги эти вносятся в общую артельную кассу и сдаются на руки выборному старосте (он иногда бывает и майданщиком, но редко, хотя в старосты арестанты иногда стараются выбирать денежного, следовательно, и влиятельного до некоторой степени). Чаще всего сдают карточный откуп в те же руки, в которых находится откуп съестных припасов, как тому лицу, которое в тюремной общине носит название харчевника.

(...) В тюрьмах городских карты через сторожей покупаются у торговцев, иногда новые, иногда играные. Наружных достоинств не требуется, были бы только очки приметны, а самые карты до невозможности засалены и обмочалены. Но в тюрьмах, помещенных не в городах (каковы, например, все каторжные и заводские тюрьмы), карты делаются самими арестантами. При этой операции самую серьезную трудность — при-

готовление фигур — обходят условным приемом в размещении очков и достигают цели тем, что валета делают из двойки, даму из четверки, короля из тройки — словом, из всех тех карт, которые выкидываются при игре в три листика. К двойке приделывают два очка, по одному наверху слева и внизу справа, рядом с существующими; в четверках прибавляют по одному очку наверху и внизу, в середине готового ряда. Своеобразная четверка служит, таким образом, за валета, а оригинальная, условная шестерка — за даму. Короля рисуют вновь из тройки: стирают старые очки и намечают новые, располагая значки ромбом по четыре наверху и по четыре внизу. Я приобрел один экземпляр этих *чалдонок* (так называются самодельные карты), но они сделаны все до одной заново из простой серой писчей бумаги, проклеенной простым столярным клеем. Исподки выкрашены под один цвет (красный); черные очки наведены краскою из сажи с клеем (иногда чернильными орехами с купоросом); красные из мелкого кирпича с тем же клеем, формат карт для удобства почти вдвое мельче обыкновенных. Но мой экземпляр великолепный: очки наведены как бы какою-то печатною формою. Я видел другие несравненно грубейшей работы. По-видимому, карты деланы наспех, под множеством зорких глаз и притом в самой строгой тюрьме, может быть, именно в военной омской (крепостной) тюрьме. Красные очки выведены кровью и даже сажа для черных очков растворена в той же крови. Такими жертвами покупается право игры!

И сколько еще у арестантов выходов, если конфискуются по несчастью все карты. Удобоскрываемые кости на случай конфискации заменяются *юлкою*. Отнимут юлку — в тюрьмах есть дешевая и простая игра в шашки, доска для которых всегда готова на нарах, но в особенности подручна игра в так называемые *бегунцы* — игра, известная во всей России. Бегунцы родятся в волосах, выпускаются на стекло, смазанное салом, в круг или на бумагу с двумя концентрическими кругами. Разом всех бегунцов выпускают в меньший круг. Чья осилит круг прежде другой, тот и выигрывает. Побежденную казнят тут же на месте преступления, победительницу сажают опять в старое убежище, в перышко. Две переползут в одно время — кон или ставка пополам.

Игроки нарочно составляют такие зверинцы, тщательно сберегают и держат при себе всегда на голове. Также всегда наготове и во всякое время к услугам простейший способ игры в *петлю:* заложивший банк берет в руки веревку или нитку и делает из них несколько петель. Желающие сорвать ставку стараются попасть в петли пальцем так, чтобы одна из них защемила палец (или палочку) и сделался узел. Но и здесь бывает подтасовка: в ловких руках фокусника все петли срываются и никогда узла не схлестывают.

Из игр карточных самая употребительная в России *подкаретная* или в *три листика* с фальками и бардадымами *, но самая любимая — *едно* в Сибири составляет некоторый род видоизменения первой, с разницею в счете очков по уговору: туз считается либо за 14, либо за один очок, король всегда 13, дама 12 и валет 11. Существует еще игра *юрдовка,* иначе *зернь,* основанная на игре в оставшиеся от выброски карты: двойки, тройки, четверки и пятерки. Именем этой игры называлась отдельная слобода на Нижнем Карийском промысле по дороге в Средний. Назвалась она так потому, что при начале промысла на Каре на этом месте собирались записные картежники из каторжных и вели сильнейшую зерню (игру). Господствует она в нерчинских тюрьмах, где, как известно, арестанты проигрывают все: одежду казенную, от полушубка до онучки, паек до последней крошки и зерна, хлеб, соль по пословице: «Рубль и тулуп и шапка в гору».

Тобольский острог по поводу преследования карт сохранил рассказ о следующем весьма характерном случае (передам его по возможности так, как он записан в тюремной хронике): «27 июня 1849 г. по окончании вечерней поверки и запора во всех казармах и секретных камерах арестантов, смотритель, чувствуя себя после дневных трудов ослабевшим в силах, намерен был успокоиться сном и потому, в одиннадцать часов ночи, пригласив к себе на ужин караульного офицера прапорщика Санкт-Петербургского линейного батальона № 1 Тидемана и, по окончании оного, пожелав доброй ночи, осторожного и благополучного наблюдения за постовыми караулами, расстался с ним в начале двенадцати часов и в ту же минуту уснул. В продолжении каковогo сна смотрителя, самого кратчайшего (т. е. сна), упомянутый офицер, подойдя к окну кухни смотрительской,

в коей тогда после ужина случилось еще быть его жене, требовал сказать смотрителю о замеченной часовым картежной игре в казарме кандальных арестантов. Жена смотрителя, пожалев разбудить мужа, распорядилась отдать ключ от упомянутой казармы г. Тидеману с покорнейшею просьбою поостеречься входить в сказанную казарму без надзирателей или приставников комнатных, да и замеченных им арестантов, играющих в карты, не брать или шума с ними в ночное время не заводить, сказав притом, что с виновными утром поступит, как должно, сам смотритель. Г. Тидеман, уважая хотя и неуместный, женский, но предупредительный для него же совет, приказал своим караульным позвать дежурных надзирателей. Сам решился стремглав броситься в казарму, чтобы врасплох захватить игравших. Случилось, однако же, не так. Это распоряжение в ту же минуту встревожило всех бывших в казарме арестантов, в коей находилось их 126 человек, с криками и ужасным стоном лежавших голыми у самых дверей вследствие непомерной духоты; бросившиеся караульные должны были вследствие крайней тесноты топтать их по чем приходилось сапогами и, без сомнения, падая через них, причиняли им с досады побои и кулаками, отчего еще более увеличился крик, сколько от лежавших перед дверьми на полу по причине чувствуемой ими боли, столько и от находившихся под нарами и на нарах из жалости к своим товарищам, безвинно переносившим от солдат побои. При увеличившемся же крике г. Тидеман принужден был из казармы бежать, а за ним и солдаты, которыми был выпихнут один каторжный (Муханов), которого стоявшие на дворе солдаты с ружьями избили при г. Тидемане прикладами до такой степени, что он был брошен в казарму почти без памяти, что еще больше взволновало каторжных до такой степени, что караульные, боясь дальнейших происшествий, поспешили припереть дверь. Разбудили смотрителя, прибежал: солдаты жердями приперли двери и идти не советуют, убьют-де. Смотритель не послушался: избитого отправил в больницу, где ему пустили кровь, каторжных уговорил быть покойными и не шуметь. Потом делал осмотр: в двух секретных камерах, заметив потушенный огонь, велел зажечь свечи. Затем начал ссору с офицером, когда последний потребовал его к себе и обозвал бабою при тех же нижних чинах, на что смотритель, хотя и с

вежливостью, но рекомендовал ему себя не бабою, а старшим ему службою».

На майдане никто сразу всего не проигрывает. Так, например, один пускает в игру на кон три рубля и все проиграл; выигравший обязан возвратить ему третью часть (т. е. рубль) по правилу, бог весть когда и кем постановленному и свято соблюдаемому во все времена и всеми арестантами. Точно так же выигравший казенные вещи (платье, рубашку, сапоги и проч.) обязан их возвратить проигравшему бесплатно по истечении некоторого времени, достаточного, по соображениям арестантов, для того, чтобы охолодить горяченького и удержать его от опасного азарта. Не исполнивший этого правила во многих тюрьмах лишался права на всякий выигрыш, т. е. принужден был сам запереть себе двери к игре. Правила эти столько же предупредительны на случай могущих быть ссор, споров, драки и, может быть, убийства, сколько придуманы они в видах круговой поруки на случай, если бы все игрецкие деньги перешли в одни руки к счастливому и, таким образом, остановили бы игру. На другой день вчера проигравшийся и получивший на руки свою третью часть, пускает ее опять на кон и если проигрывает, то снова получает свою третью часть из рубля (33 коп.) и играть в тот день больше не имеет права (да с ним уже и не станут). На третий день он опять при деньгах и при праве на игру, т. е. на четвертый день обеспечен 11-ю копейками и т. д. Перестанет он играть, разорившись в пух, если он не почетное лицо в среде арестантов, и играет в бесконечность, если он аристократ острога, т. е. бродяга — человек бывалый и тертый, а потому находящийся у всех на почете.

Бродягам майданщик обязан верить всегда на 1,5 рубля серебром, хотя бы они ничего за душою своею не имели. Эта фантастическая сумма, никогда не облекаемая в существенный материал денежный, имеет все-таки наглядное значение в виде порции вина для пьяниц и в виду возможности участвовать в игре в кредит. Достаточно бродяге поставить на майдан кирпич или просто собственный кулак, чтобы под видом этих вещественных знаков шел в круге и в круговой игре и его отвлеченный, кредитованный майданщиком капитал в полтора рубля серебром. Играющий должен верить бродяге, хотя бы он и проиграл свои полтора целковых;

в отвлеченном понятии они не пропадают и все-таки остаются в кредите. Не захочет верить банкомет — все проигранные деньги отдавай, таково уже тюремное правило; станет упираться, его повалят огулом и все деньги отнимут. На это арестанты просты и к тому же слепо верят бродяге на его *честное варнацкое слово,* а за словом этим (но не за делом) ни один бродяга не постоит. Кончается срок откупа обыкновенно раз в месяц. Остаются за бродягами долги, долги эти пропадают, прощаются должникам по закону, хотя бы их было и 50 человек. Весело шумят бродяги в казарме и самые порывистые и малодушные из них прыгают на одной ноге и приговаривают на своем тюремном условном языке: «Лахман долгам, долгам лахман!» При новом откупщике для бродяг опять идет кредит в полтора рубля, и, таким образом, идет он в бесконечность, а потому майданщики, снимая подряд и сходясь в откупной плате, при установлении цены принимают в соображение и эти беспроигрышные бродяжьи права. Не бывает *лахману,* исключаются эти статьи права и закона только в таком случае, когда садится на майдан бродяга — человек такой же почетный и так же уважаемый всею тюремною общиною.

Если играет бродяга с бродягою, то проигравшийся получает не треть проигранного, а уже целую половину. Из этой половины по окончании игры бродяга спешит заплатить все свои долги по крайнему своему разумению и без всяких обязательств; может, однако, и не заплатить (что, впрочем, редко бывает), ибо все-таки имеет право играть в другой раз на свои вечные полтора целковых. Бродяга может и украсть у майданщика деньги, хотя это и почитается несколько предосудительным; иной товарищ обзовет при случае, выкорит. Но смело может бродяга воровать вино у майданщика. В этом до сих пор ни один преступник ничего не находит позорного, столько же и потому, что откупщик питейного майдана не пользуется ничьим расположением и даже презирается, как мытарь и стяжатель неправильно приобретаемых каторжных варнацких грошей. Впрочем, воровство — не тюремный, не арестантский порок, напротив даже, тюрьма против этого неприятеля объявлена в вечном осадном положении. Оба стана всегда наготове: когда одна половина смотрит, где у другой слабое место, и у каждого из нападающих чешутся руки

на все без разбора (на деньги, на рухлядь, на съестное, на всякую безделушку от осколка стекла до клочка бумаги, пригодного на папироску), в то же время другая сторона высматривает каждую щель и, пользуясь оплошностью нападающего, заручается всякою замысловатою и секретною хоронушкою, чтобы отвести чужие глаза от соблазна и уберечь от них свою наживную, несчастную собственность. В особенности тщательно уберегают деньги, подвязывая их под мышками, закладывая в выдолбленные каблуки сапогов (причем, последние и не снимают на ночь), зашивают деньги в канты, в белье и проч., и проч. Впрочем, и тут не всегда достигается цель, и вор у вора дубинку крадет, вор вору терпит. Украденные вещи сначала спрячут таким удивительным способом, что не найдется тех человеческих сил, которые могли бы их отыскать, а потом тем же самым способом пускаются они по этапной дороге и, например, киевские вещи надо уже искать не ближе Иркутска. Воровство в тюрьмах не делается повальным, потому что арестанты умеют наблюдать друг за другом; лишенные по суду права на недвижимую и стесненные в правах на движимую собственность, они поколебались только в разумении истинного значения их и спутались, но понятия о собственности не совсем утратили.

Содержание питейного майдана существует, обыкновенно, как отдельное тюремное откупное учреждение; питейный майданщик редко принимает на себя содержание карт, но старается иногда захватить в свои руки содержание съестных припасов. За право продажи вина берет община в артельный капитал обыкновенно от 30 до 60 рублей, имея в виду то, что майданщик будет продавать водку чайными чашками (120 штук в ведре), за каждую чашку будет брать или 30 или 50 копеек серебром, а средний расход вина — по давним соображениям и расчету — простирается в большом остроге до одного ведра в сутки. Всякий более или менее значительный выигрыш сопровождается попойкою, ни один праздничный день без нее не обходится. Существуют во множестве такие аматеры *, которые, кроме водки, уже ни в чем не находят для себя утехи. Сколько в то же время ни существует постановлений, чтобы арестанты не имели при себе денег и инструментов, не употребляли водки, не играли в

карты и не имели сношений с женщинами,— все эти постановления остаются без действия, все меры ничтожны против ухищрений арестантской общины, и откупа продолжают существовать и процветать. Появление в тюрьмах водки и других запретных вещей обеспечивается подкупностью сторожей-приставников. Сплошь и рядом тюремные смотрители в своих рапортах по начальству со всею откровенностью рассказывают о подобных событиях. «У часового, стоявшего у ворот замка, нашли завернутый в «постовой» тулуп или в броню сермяжную, по выражению одного юмористического стихотворения, туез (т. е. бурак) с вином, которого было более $^1/_4$ ведра». «Принесла вино арестантка, бывшая в прачках, выпущенная из острога ефрейтором за рубль серебром». В другом случае арестант из чиновников, вечно пьяный и во хмелю беспокойный, выявил унтер-офицера, который закупал вино заранее, хранил на вышке кордегардии и вечерами передавал покупку во второй этаж и секретный коридор, приставляя к окну лестницу. В третьем случае был куплен сторож, ходивший с ящиком за лекарствами для больных арестантов в аптеку. Раз он споткнулся, упал, уронил ящик, разбил склянки и распустил такой винный запах, как будто спиртную бочку откупорил. Следствие обнаружило, что сигнатурки * были поддельные, прилаживал это дело на стороне (на воле) один подкупленный доточник, и что сторож носит в лазарет, вместо лекарств, водку уже не первый месяц, и проч., и проч. Туезами пользуются как посудою объемистою и общеупотребительною, а где уже, как в аду, строго, прибегают солдаты к ружейным стволам для сокрытия водки.

За продажу припасов (куда входят также и табак и сласти) платится от 5 до 10 рублей в месяц, смотря по числу потребителей. При продаже этой статьи назначается обязательная такса для всех жизненных припасов, употребляемых в остроге. Дивиденду назначается не более 20%. Майданщик и этой статьи, как и двух остальных (игорной и водочной), обязан верить бродягам на заветные и неизменные полтора рубля. И у этого майданщика бывает долгам *лахман,* когда откуп переходит в руки другого. Но существуют и исключения: если майданщик понесет какие-нибудь случайные, не предвиденные артелью убытки, тогда долги

становятся для всех обязательными. Они вычитаются потом при общем дележе каких-либо случайных доходов (каковыми бывают обыкновенно подаяния), или долги эти переходят к следующему майданщику, а этот выплачивает уже их своему предшественнику.

Всякий новичок, поступая в острог и в тюремную общину, обязан внести известное количество денег, так называемого *влазного*. Крестьянин и всякого свободного состояния человек вносит единовременно 3 рубля серебром, поселенец (т. е. идущий на поселение) — 50 копеек, бродяга — 3 копейки[1]. Вообще же всякий неопытный и не искусившийся новичок, поступая в тюрьму, делается предметом насмешек и притеснений. Если у него заметят деньги, то стараются их возможно больше выманить; если он доверчив и простосердечен, его спешат запугать всякими страхами, уничтожить в нем личное самолюбие и самосознание. Доведя его до желаемой грани, помещают обыкновенно в разряд чернорабочих, т. е. станут употреблять на побегушки, в сторожа майданов карточного и винного, заставят выносить ночное ведро, так называемую *парашу*, или чистить отхожие места (что, как известно, лежит на обязанностях арестантов[2]). Слабые сдаются, твердые начинают вдумываться и задумываться, а кончают тем, что обращаются за советом к бывальцам. У этих за деньги и водку нет ничего заветного и запретного: милости просим! Правил немного, но все приперты крепко, стоят твердо, незыблемо и нерушимо.

---

[1] Взнос влазного — остаток весьма древнего обычая, перешедший из рук властей к арестантам и уничтоженный еще в конце XVII века, когда воспрещен был этот побор с «колодников, приводимых на тюремный двор и за решетку, чтобы в том бедным людям тяготства и мучительства не было». В тобольском остроге и эта статья сбора влазного со вновь поступающих отдавалась иногда на откуп. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

[2] Эта часть также иногда отдавалась на отдельный откуп, как и право собирать влазное. Новичок, чтобы откупиться от параши, платил в артель обыкновенно от 3 до 5 рублей серебром; опытные и тут попадали на 50 копеек, но бродяги вносили только 3 копейки. Право топить баню артель также продавала одному лицу, называемому банщиком. Стоило право 2—3 рубля, а гарантия этих денег заключалась в устройстве за условную (и довольно высокую) плату любовных свиданий. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

Вот они: «За товарищей горою; свято хранить тайны и если нет выхода, подопрут рогатиною в угол, старайся впутывать в вину свою и свое дело побольше таких арестантов, у которых денег много, которые богаты, и путай их больше, сколько возможно больше — начальники деньги любят, начальников за деньги всегда можно купить. Твоих, голыш, денег не хватит, а богатые начальника купят непременно, и примеров таких не было, чтобы арестанты начальников своих не подкупали. А купят, так тебя и на цепь не посадят и в кучумку не запрут; самое большое, что на розгах дело сойдется; а любят тебя богатые товарищи, так и того не будет».

Второе дело для новичка: заставь себя полюбить! Полюбят — не выдадут, да еще уму-разуму научат. Научат, как врать на показаниях, если живешь в тюрьме подсудимых; научат, как оговаривать и куда, в какие дальние места отправлять за справками, чтобы, таким образом, отдалить время наказания или ослабить меру его, и проч. На этот предмет, как известно, существует в тюрьмах особая самостоятельная наука, имеются профессора-законники, которым позавидовали бы московские стряпчие, имевшие притоны свои около Иверской часовни. Около законников своих новичок-арестант в весьма непродолжительное время становится тем, чем он должен быть, т. е. арестантом. Его трудно было ловить на следствиях, его мудрено было спутать на очных ставках, его не устрашить тюрьмою, и в самой каторге он уже не видит того страха, каким преисполнялось его тревожное воображение с самого раннего возраста.

Потом вновь поступивший без руководства и объяснений понимает уже весь внутренний смысл тюремного быта на практике, в самом течении дел, и через неделю он — полноправный член этой общины, у которой существуют свои тенденции, свои правила, как многомогущий рычаг и двигатель.

Артельный капитал, образуемый, таким образом, из оброчных статей, простирается от 50 до 100 рублей, которые обыкновенно и делятся поровну между всеми арестантами.

При этом выдается двойная дележка старосте и *парашникам*. Новички при этом обделяются, сидящим недели две ничего не дают. Утроенная часть (за троих)

полагается палачу. Ему сверх того выдается *на рогожу* из общей кассы (образуемой добровольными подаяниями и неприкосновенной до конца тюремных сроков); выдается *на рогожку* всегда, когда отправляют к наказанию бродягу. Кроме того, палач считает «рогожкою» и все те подаяния, которые сходятся к преступнику за то время, когда ведут последнего из тюрьмы на эшафот, к месту торговой казни.

Деньги, уходящие из острога вон, на покупку вина, карт и съестных припасов, пополняются преимущественно вновь поступающими арестантами[1].

---

[1] Мы не говорим уже о тех деньгах, которые попадают с воли в острог и в руки искусников, владеющих каким-либо мастерством или досужеством на изделия, нужные или ненужные там, за острожными стенами. Водятся в тюрьмах такие искусники, которые отлично приготовляют игрушки, безделушки: из лучинок или тоненьких планочек мастерят таких голубков, которых ни один купец средней руки не задумается для украшения подвесить в средине потолка гостиной или залы. Детские игрушки в особенности отличаются замысловатостью и тщательною отделкою из хлеба, из вываренной говяжьей кости. Мудрено вообразить себе какое-либо местечко или городок, соседние с каторжною тюрьмою, где бы не показывали каких-либо мастерских изделий арестантов, преимущественно столярных и токарных. В Сибири пользовался сильною известностью повсюду Цезик, успевший побывать и пожить во многих тюрьмах. В этом человеке тюремное досужество дошло до своего апогея и выразилось уже в замечательном искусстве лепных работ. Работа Цезика для сибиряка предмет серьезного значения и высокой цены в нравственном и материальном значении слова; в особенности редки и ценны стали его работы со смертью мастера, самого старика, сосланного сюда в 1830 году из Литвы во время польского мятежа. За недостатком его работ, которыми кичились и хвастались самые богатые и изысканные кабинеты золотопромышленников и сибирских начальников, стали охотливо удовлетворяться работами его сына, но уже почти ничего не имеющими общего с художественными работами отца. И за эти работы продолжали платить хорошие деньги. Старик передал сыну секрет составлять различных сортов и цветов глину, завещал несколько образчиков лепных фигур, силуэтов и проч., но унес с собою в могилу тот секрет, который оживлял все его работы, прыскал на них живою водою смысла и значения. В истинном широком значении слова Цезик-отец художником не был, но искусство делать миниатюрные работы действительно достойно всякого изумления, особенно если верить преданию, уверяющему в том, что некоторые работы производил он в тюрьме, не имея ничего острого (по общему тюремному положению), осколком стакана, обломком гвоздя и проч. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

Принявши меры против возможно-кругового и постоянного перелива денег из рук в руки в тюремных стенах, арестанты бессильны против неизбежного выхода их за тюремные стены или в руки приставников. В сибирских же тюрьмах прибылых денег от подавателей бывает очень мало по той причине, что сибирские купцы дают больше натурою: молоком кислым, булками, калачами, солониною и прочими припасами, большею частью порчеными, каковые арестанты либо бросают, когда подарок обзавелся червями, либо съедят, когда приношение только дух дает.

Арестанты в видах усиления денежного обращения в общине своей принуждены бывают искать побочных средств и путей. Путей этих очень много, и за ними следить трудно, но известно, например, что тобольский острог искони славился мастерством приготовлять фальшивую монету серебряную (из олова)[1]. Рубль продавался обыкновенно за 30 копеек, и караульные солдаты охотно брали эти деньги за таковую плату для сбыта темным киргизам, остякам и татарам. Вторую статью дохода в том же тобольском остроге составляла продажа фальшивых печатей и видов; печать стояла в цене между полтинником и рублем, а вид продавался от одного до трех рублей серебром. Продается между собою все, что продать можно, и в этих случаях расходуются больше других прихотливые; так, например, продаются на нарах места с краю, как самые удобные, а потому и соблазнительные среди общей и всегдашней тюремной тесноты. Цена за место стоит между 2 копейками и 1 рублем. Продавший место спит уже на полу. Иркутский острог придумал новую статью откупа, воспользовавшись тем обстоятельством, что за водою для арестантов надо было ходить чуть не за версту — на реку Ушаковку. Воду эту арестанты сдали на откуп водоносам, а в водоносы записались те два компаньона, которые исключительно стали заниматься этою работою и затем неустанно таскали воду целый день с утра до вечера (воды на большой острог требуется много). Во время этих про-

---

[1] Чтобы дольше и прочнее держалась ртуть на олове, приготовленный для монеты оловянный кружок арестанты кладут в рот на целую ночь, чтобы таким образом отделить с него окись. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

гулок оба возмещали с большим избытком те два-три рубля, которые внесены ими в артель за право,— подаяниями, полученными на переходах до реки и тюрьмы от всяких благотворителей, клавших в руки гроши и копейки добровольно или по вызову, по просьбе самих арестантов[1]. Для мастеровых и ремесленников в сибирских тюрьмах, за приметным недостатком в Сибири таких людей, всегда находится работа и лишние деньги в тюремные капиталы, про домашний обиход. Арестанты работают дурно, наспех, казенными испорченными инструментами, но хорошо и то, когда нет ничего, а тем более что и плата арестанту зависит от властей и начальства: ближайшему даром, дальнейшему за полцены. Все-таки это игры не останавливает; приобретению вина и иных сластей благоприятно даже и в том случае, если мастеровых мало, но подрядчикам настоит нужда в поденных работниках. Если арестанту и гривенник один дадут за день — он поворчит и на другой день охотливо лезет в казенную шинель или полушубок, чтобы и этот гривенник из рук не выскочил и можно было подышать вольным воздухом, в кабак забежать, а пожалуй, на риск и совсем убежать в леса темные, дебри дремучие.

Всех этих удобств почти не ведают и измыслить что-нибудь подходящее собственно каторжные тюрьмы не могут. Эти тюрьмы, например, карийские, самые бедные своими домашними внутренними средствами, и здесь проигрывается и пропивается все казенное: и одежда, и даже пища. Тюремные деньги свободно выплывают на волю. На карийских промыслах деньги на вино и вещи на чужой обиход сбываются тем бывалым тюремщикам, которые вышли из тюрьмы на так называемое пропитание и на краю селения, в особой слободке, обзавелись домком-лачужкою, а в ней и *юрдовкою,* т. е. заведением, удовлетворяющим всем арестантским нуждам и аппетиту на вино и харчи, на игру и мазих. Вещи, сбываемые сюда в наличности, уходили, хотя и на наличные деньги или на обмен, ухо на ухо, уходили, разумеется, далеко ниже своей стоимости; например, шинель, стоившая казне 2 рубля 17 копеек, от-

---

[1] Во время Святой недели откуп воды сдавался рублей за семь. *(Примеч. С. В. Максимова.)*



давалась в юрдовках за 75 копеек и, самое большее, за полтора рубля. Передача вещей вольным людям производится там во время работ на разрезе, но часто и непосредственно в самих торговых и промышленных заведениях.

В каторжных тюрьмах сходство приемов и правил с тюрьмами русскими и сибирскими пересыльными поразительно: и в них бродяга — почетный человек, любимое и нежное детище всей тюремной общины, хотя в каторжной он уже и носит название *оборотня,* — не в смысле зверя мифического, но по тому обстоятельству, что бродяга, попавший на нерчинскую каторгу, был уже когда-то здесь, жил в одной из здешних тюрем и теперь *оборочен* (обращен), возвращен назад после полученного им наказания где-нибудь в России или в той же Сибири.

В бродяге товарищи видят человека, много испытавшего на своем веку, много видавшего и потому опытного; за многочисленные страдания ему уважение от сердца, за его опытность почтение из практического расчета самим поучиться. Возводя бродягу в идеал тюремного быта, тюремные сидельцы любуются в нем образом мученика, страдальца (и притом многострадального). Арестанты убеждены, что одна часть совершенных им преступлений невольная, сделанная от простоты, другая часть ему приписана судьями, о чем он узнал только тогда, когда уже очутился в тюрьме. Знают арестанты, что для товарища их и в будущем нет ничего отрадного и живого. В силу этих положений идеал бродяги для всех любезен, и все относятся к нему с любовью и простосердечием, сколько по преданию и предрассудкам тюремным, столько же и потому, что в участи бродяги провидят свою будущую. Тип этот, в свою очередь, вырабатывается так кругло и определенно, что, с какой стороны ни подходи к нему, арестант везде встретит черты, ему любезные и понятные. Бездольная жизнь по тюрьмам, тасканье по этапам породили в бродяге непонимание, отчуждение, даже отвращение ко всякого рода собственности. Он не ценит и ворует чужую, не питает никакой привязанности, не понимает и своей личной собственности (арестанты давно уже выговорили про себя: «Едим прошенное, носим брошенное, живем краденным»). Бродяга сделался простосердечен и добр до того, что,

если у него завелись деньги, ступай к нему смело всякий — отказа не получит. Бродяге ничего не нужно, бродяга потерял к себе всякое уважение и себя не ценит ни в грош, ни в денежку. Вот за это-то и ценят его другие, такие же, как он, бездольные и скорбные люди, которые сами через год, много через два, бегут с каторги, сделаются такими же бездомными бобылями, бродягами. У бродяг нет никогда денег (и это новый повод к сочувствию к ним), но зато они богаты сердцем и, в сущности, люди не злые, хотя иногда и озлобленные. Тюремные сидельцы, впрочем, и не требуют этой мягкости и, по особому складу ума своего и понятий, готовы полюбить в бродяге и противоположный образ — злодея, лишь бы только злодей этот удовлетворял главным требованиям: был человеком твердого нрава и несокрушимого характера, был предан товариществу, общине, был ловок на проступки и умел концы хоронить, никого не задевая и не путая; не делал бы никаких уступок начальству, преследовал бы его на каждом шагу, насколько это в его тюремных средствах, и вымогал от него всякими средствами льготы (не себе, а товарищам), а главное, умел бы смотреть легко на жизнь и на себя самого. Во имя этих доблестей об его старых грехах никто не помнит, никто не знает да и знать не хочет; довольно, если он теперь добрый молодец удалой. (...)

Арестанты, по свидетельству всех стоявших к ним близко, неохотно и очень редко рассказывают о своих похождениях, о злодействах же никогда. Когда бывали попытки, то вся община строго приказывала смельчаку молчать. Бывали случаи, что арестанты рассказывали о своих похождениях легковерным, всегда с крайностями и циническим преувеличением мнимых подвигов, но делали это в надежде большого вознаграждения за рассказы. Возвратясь к своим, рассказчики эти вслух глумились над легковерием любопытных.

Арестанты, окруженные и вещественною, и нравственною грязью, сами делаются циниками и затем уже озлобленно питают отвращение к тем людям и тем постановлениям, которые, доведя их до преступления, лишили свободы. Вырабатывая свои правила, часто смешные, редко несправедливые, они в правилах этих бывают жестоки и всегда оригинальны. Так, например, не привыкая хвастаться своими преступлениями и ви-

деть в них какое-нибудь удальство, арестанты все-таки с большим уважением относятся к тому из бродяг, который испробовал уже кнут и плети, стало быть, повинен в сильном уголовном преступлении. Такие бродяги почетнее кротких. Имена их делаются именами историческими, как бы имена героев на манер Суворова, Кутузова, Паскевича. Таким образом, тобольская тюрьма помнит имена бродяг Жуковского, Туманова, Островского (просидевшего на стенной цепи в Тобольске десять лет), Коренева; нерчинские тюрьмы: Горкина, Апрелкова, Смолкина, Дубровина, Невзорова и др. Память о них переходит из артели в артель с приличными рассказами и легендами, а так как легенды эти имеют много жизненного смысла и силы, то они в то же время служат поучительным образцом и руководством.

Чтобы судить о степени влияния на артель тюремную этих бродяг из злодеев, мы приводим одну из множества легенд, сказывающую в то же время, до какой степени плотно и прочно тюремное товарищество. Дело, говорят, происходило в тобольском остроге, в старом, стоявшем на обрыве над оврагом (нынешний новый замок построен на берегу Иртыша).

Живет в тюрьме в ожидании судебного приговора один из бродяг — Туманов. Много преступлений скопилось на его голове, от многих он увертывался, впутывал разных лиц, затягивал следствие на целый год и под шумок судопроизводства жил себе в тюрьме припеваючи, пользуясь всякими ее благодатями. К концу года Туманов сообразил, что время его близко, раскинул умом, и вышло, что быть решению скоро и решение выйдет немилостивое, от военного суда. Ему ли, старому бродяге-законнику, не знать того, что шпицрутенов изломанной спине его не миновать. Он и число палок сосчитал вперед не хуже любого законника. Рассказал он об этом соузникам и попечалился им. Не шутя и чуть не через слезы высказал он им, что все это надоело ему крепко. Он говорил им: «Братцы, для меня кнут бы еще ничего, не люблю я солдатских палок, да и нерчинская каторга дело бывалое. Вся беда в том, что каторга эта стоит далеко, скоро ли с каторги этой выберешься? А уж мне это надоело, два раза уходил оттуда. Не надоела мне мать-Россия: в ней дураков больно много, а народ в

ней прост, и нашему брату лучше там жить, способнее. Как-никак, а мне уходить от каторги надо дальше, ближе к России. Пособите, братцы! Вся моя просьба: больше молчите теперь, а смекайте дело после. Так или этак, а бежать мне надо! Так это дело я порешил в себе и средства придумал; вы только не мешайте, об одном прошу».

Было за этим Тумановым художество: умел он фокусы показывать: дело, собственно, внимания не стоящее и в тюрьме пригодное в досужий час, как праздничная забава. Поиграй оловянными рублевками — товарищи посмотрят, глотай горячую смолу — они подивятся, привесь смешливому товарищу замок к щеке — посмеются. Да и не учащай этого дела, не налегай на него: дураком почтут, уважение всякое потеряешь; в тюрьме живет народ угрюмый, серьезный, формалист и большой рутинер.

Туманов так и поступал до сих пор. Но с некоторого времени арестанты стали замечать, что Туманов начал старые штуки припоминать, новые выдумывать и даром их не показывает. Кто смотреть желает — давай деньги! Смекнули это арестанты и, памятуя наказ и просьбу, помогать ему стали. Отгородили ему место на нарах, занавеску приделали из всякой рвани, солдат повестили, что у них теперь «киятры» будет Туманов показывать. Театр в Тобольске дело редкостное, любопытное, охотников нашлось. Со своих товарищей Туманов брал грош, с солдат пятак. Копились у него деньги, но росла и слава, лучи которой сначала достигали до караулки, а потом хватили и до квартиры смотрителя. Приходил и он, старичок, с семейством, похвалил Туманова и заплатил ему четвертак за посмотренье. Не великое дело четвертак — дальше четушки водки его не вытянешь, но велика сила, что смотритель его дал. Теперь можно вести себя посмелее, бить наверняка. Туманов и начал бить.

Ни с того ни с сего началась в казармах возня и ломка; Туманов командует всеми, ставит одного к стене, другого к нему на плечи, поставит двух рядом и опять к ним одного на плечи. Целое утро возится Туманов с арестантскими ногами: и на одной оставляет многих, и чуть у других из вертлюгов не выворачивает. В казарме пыль столбом, смех и шум. Сторожа смотрят на все это, ничего не подозревают, думая: «Казен-

ного добра арестанты не портят, стекол не бьют, штукатурку не обламывают, пусть себе ломаются Туманов с арестантами, стало быть, потешное что-нибудь придумали. Дело же подходит к празднику, нам же арестанты забаву готовят, нас хотят тешить. Придет к ним и начальство смотреть, благо раз уже удостоило». Молчали солдаты.

Подошли тем временем праздники. Пошел по казармам слух, что Туманов намерен дать «чрезвычайное и небывалое представление», пройдет он с шестом и изобразит живую пирамиду, но так как дело это в казармах сделать неспособно — потолок помешает, то и не худо бы представить все это на тюремном дворе, на просторе, позволит ли только начальство, т. е. смотритель?

— Пусть, — говорит,— представляют! Я сам приду посмотреть.

— А нельзя ли, — просят, — на том дворе, который к задам идет, земля там глаже и делать способнее.

— Можно, — велит передать, — можно и на задах сделать.

Назначен день представления. На выбранном месте арестанты скамеечку для начальства приладили, обещалось начальство прибыть не одно, а с гостями. Сбежался на представление чуть ли не весь острог: прибежали солдаты из караулки хотя одним глазком посмотреть, дежурный офицер явился в кивере и чешуйки расстегнул, ждали гостей начальника и его самого — дождались!

Шли сначала мелкие фокусы, из таких, которые уже видели; были такие, которых не видывали. Дошло дело до пирамиды. Стали ее ладить: стала пирамида, что один человек, словно из меди вылитая. Взгромоздился на самый верх Туманов, шест в руки взял. Пошла пирамида неразрывною стеною... Туманов шестом заиграл. Шла пирамида тихо, торжественно. Туманову снизу полушубок бросили, подхватил и не оборвался, новую штуку показал: на ногах устоял. Арестанты закричали, гул подняли. Дежурный офицер, из выгнанных кадет, захлопал в ладоши, чтобы показать свое столичное происхождение перед дураками из смотрительских гостей. Все, одним словом, остались довольны.

А пирамида шла себе дальше, не шелохнувшись,

а Туманов стоит себе выше всех, выше стены тюремной. Держится пирамида ближе к стене, подошла к углу, остановилась. Глянули зрители наверх: нет Туманова, только пятки сверкнули. Пока опомнились (а опомнился первым смотритель), пока побежали через двор (а двор очень длинный), сбили команду, побежала команда кругом острога, а острожная стена еще длиннее,— прошло времени битых полчаса. Стали искать — и следов не нашли! Шла битая тропинка круто под гору, ускоряя шаг и поталкивая, и вились цепкие, густые кусты, которым не было конца. А там овраги, глубокие овраги пошли в пустые места, чуть ли не до самой Тюмени. Черт в этих оврагах заблудится, дьявол в этих кустах увидит! И зачем тропа и зачем овраги, когда, может быть, лежит Туманов под стеною с изломанною ногою, с отшибленным легким? Оглядели то место по приметам: и трава отошла, и ничьего и никакого следу не видно. Полезли на стену и увидели, что стену арестанты ловко и предусмотрительно обдумали: стена была ординарная в этом углу, тогда как во всех других и на всем дальнем пространстве она была двойная. И на стене нет Туманова. Нашли только на гвозде его большую кудельную бороду. Для смеху ее Туманов привязывал. Взяли это отребье, принесли к смотрителю. Смотритель рапорт написал по форме, бороду к рапорту приложил и припечатал, а сам поехал с докладом к губернатору.

Генерал рассердился, раскричался на смотрителя. Вырвал у него из рук не рапорт, а куделю, приложил кудельную бороду к бритому подбородку смотрителя да и вымолвил:

— Вот велю привязать тебе, дураку, эту бороду, и станешь ты ходить с нею до гробовой доски. Ну зачем ты мне принес ее, а не привел беглого? Зачем? Отчего? Почему?..

Кричал начальник долго, а Туманов тем временем был уже далеко.

— Пошехонцы в трех соснах заблудились, как сказывают, а нашему брату, бродяге, два дерева, только два дерева дай: мы так спрячемся, что десять человек не найдут. Дело это для нас плевое, потому как мы на том стоим, все в лесах живем, все около деревьев этих водимся, одно слово — лесные бродяги.

Вот что рассказывают сами бродяги, которые зна-

ли Туманова лично, но что с ним сталось дальше — рассказать не могли, не знали. Знали только то, что генерал простил смотрителя и дал арестантам возможность еще не один раз над ним посмеяться.

«Смешной был человек, смотритель этот!— рассказывали мне.— Дурак не дурак, а с роду так. Бежал у нас один арестант через трубу из нужного места, бежал, и тоже след простыл. Сказали смотрителю. Пришел он в тюрьму, зашел к нам, в казарму подсудимых, зашел и головкою седенькой помахивает.

— Этакая, — говорит,—скотина, в какое место полез!.. И как ему в голову это пришло? И как, ребята, лез он туда, окаянный?

— Головой думаем, ногами не способно.

— Перепачкался, поди, весь!

— И что за охота, что за охота собачьему сыну лезть?! Черт, дьявол толкал его, распроклятого. Что за охота?!

Головушкой трясет старичок и все одно слово повторяет. Мы глядели, глядели на него да так фыркнули всей казармой. Сам, мол, ты дурак, седой черт! Не знаешь, что и крепка твоя тюрьма, да черт ли ей рад? Воля, мол, лучше боли; коли отвага кандалы трет, так она ведь и мед пьет».

Но как ни сильна эта отвага, побеги собственно из казематов совершаются реже, и притом, как замечено, на побег решается удалый и бывалый и притом из тюрем так называемых пересыльных. Правда, что арестант не упустит ни одного случая малейшей оплошности конвойных, особенно за стенами острога на работах, и бежит, но все-таки побег не единственный выход из бездолья каторжного. Существуют и другие пути, которыми идут арестанты к призрачной свободе и подкопом под тюрьму завоевывают временно облегчение участи. Случаями этими особенно богаты собственно каторжные тюрьмы.

Казенная работа изо дня в день одна и та же, до возмутительно однообразных и мелких подробностей, помимо физического истомления, истощает все нравственные силы и, как вампир, высасывает запас терпения даже и у тех, которых мягкость нрава, нерешительность характера и слабодушие — прирожденные черты характера. Таким людям до побега далеко. Ма-

лодушные выбирают другие средства и, не богатые вымыслом и смелостью, кидаются на ближайшее. (...)

На Карийских промыслах очень часто во время утренних раскомандировок по работам попадаются арестанты с ознобленными пальцами на руках. Наблюдения и разыскания убеждают в том, что арестанты, обыкновенно ночью, смачивают какой-нибудь палец подручною жидкостью и достаточно нагретый и теплый палец мгновенно спешат высунуть в форточку окна на мороз. Опыты подобного рода арестанты любят учащать на том основании, что, вовремя не захваченный, озноб скоро ведет за собою поражение отмороженного члена антоновым огнем, а отрезанный лекарем палец спасает несчастного от исполнения полного числа уроков. (...)

Вытяжкою сонной одури они делают искусственную слепоту: пуская жидкость в глаз, увеличивают (расширяют) зрачки и, выставляя глаз кверху при осмотре, кажутся как бы действительно слепыми. При помощи жженой извести с мушкою или купоросной кислоты вытравляли клейма, но не совсем удачно: оставалась белизна и большие шрамы. Это — старый способ. Так же стар и нерчинский способ вызывать на месте клейма местное воспаление, а потом нагноение посредством травы пострела (на щеках) и прижигания трутом (на лбу). Трут, обычное народное средство при заволоках, в особого вида фонтанелях (едно) и проч. заменен был новым средством — ляписом (lapis infernalis), на покупку которого не щадили больших денег. Новейший, самый последний способ уничтожать клейма, теперь уже отмененный, вернее достигал цели: помогала высокая трава с желтыми цветочками (Ranunculus acris), растущая тут же перед глазами на острожных дворах. Обварив клейменные места кипятком, бьющим ключом, немедленно прикладывали эту траву и, вынеся жестокую пытку от боли, достигали цели тем, что траву эту держали на обваренном месте недолго (не более получаса). Рука краснела, а если припухала при этом, то творог прекращал страдания и воспаление: выходило ровно и гладко, словно во младенчестве мать ошпарила.

Принимая натощак столовую ложку прошки (нюхательного табаку), арестанты достигали того, что их клали в больницу, принимая за начальные припадки

серьезной болезни происходившее от того отравление, сопровождаемое тошнотою, бледностью кожи, биением жил и общею слабостью. Принимавшие целую деревянную ложку толченого стручкового перца с сахаром добивались грыжи и пили потом натощак по таковой же ложке сока из репчатого лука, когда грыжа надоедала и делалась ненужною. Той же грыжи добивались те, у которых достаточно было смелости на то, чтобы проглотить серебро, и столько терпения в надсаде и прыганьях, чтобы, долго натуживаясь, добиться-таки желаемой гостьи. В расчете на глухоту клали в ухо смесь вроде кашицы из травяного сока, меда и гнилого сыра; последний, разлагаясь, вытекал наружу жидкостью, по дурному запаху и белому цвету весьма удовлетворительного характера. Порошком, натолченным в древесных дуплах червяком, дуют в глаза желающему спекулировать бельмом, которое однако скоро проходит.

Хороший флюс для арестантской практики также не мудреное дело: стоит наделать внутри щеки уколы иглою, пока не хрустнет (но не прокалывать насквозь), а затем, зажав нос и рот, надувать щеку до флюса: щека раздуется, покраснеет, и на рожистое воспаление это очень похоже. Чтобы вылечить — стоит проколоть щеку снаружи насквозь и выпустить воздух.

Стягивая под коленом кожу в складки (с захватом жил) и продевая сквозь морщины свиную щетину на иголке, добивались искусственного сведения ноги; щетина оставалась в жилах. Распарив ногу в бане и вынув щетину, можно и в бега уйти[1]. Сушат ногу от колена до ступни тем, что под самым коленом перетягивают саржевым или шелковым платком и помачивают водою, и пр., и пр.

Впрочем, некоторые арестанты наивны, как школьники, и идут на смотр к доктору, наколов булавкою десну и ноздри и, приняв кровь на рубашку, уверяют в кровохаркании; другие (геморроидалисты) подвязывают живот и жалуются на спазмы. Однако в тех и дру-

---

[1] Вместо щетины для этой же цели берут нитку из дерева, называемого волчье лыко. Кончик нитки оставляют торчать наружу, чтобы после вытянуть, ибо лыко не щетина, держать долго нельзя: делается краснота и приключается большой жар. (*Примеч. С. В. Максимова.*)

гих случаях легко достигают цели, доктора уступают их настоятельным заявлениям на отдых и, обманутые и не обманутые, застаивают у ссыльных рабочих несколько времени, давая им перевести дух и расправить натруженные члены на больничных койках. Зато и арестанты считают их своими первыми благодетелями и на поселении всегда с любовью вспоминают о них.

Замечательно, что подобного рода притворщики (по личному признанию самих арестантов) в тюремной иерархии занимают невидное место. Это — плебс, черный народ, который возбуждает в товарищах малое сострадание в таком только исключительном случае, когда подлог их обличится, не достигнув цели. Сами они, по большей части, не заботятся о возвышении своего нравственного уровня, мало блюдут за своими падениями и довольны бывают тем унижением, в какое сумеют поставить их товарищи-аристократы из бродяг. Их обыкновенно называют «жиганами». Роль их тогда бывает незавидна и была бы тяжела для них, если бы они в то же время не были (за недостатком практической изобретательности) крайними бедняками, голышами. Конечно, в тюрьме найдутся средства кое-как добыть кое-какие деньги, но для того требуется унижение, а раз униженному далеко до уважения, даже и до такого, каким, например, пользуются бродяги. Бродяга скорее вытерпит всякую невзгоду, вынесет на обтертых и привычных плечах всякую каторжную работу, раз десять обманет сторожей и пристава и смотрителя, но до крайнего унижения своей личности не дойдет. Бродяга не унизится перед богатым, не пойдет он по заказу его *уткою*[1], не согласится, когда заломается арестант-богач, чувствуя в кармане деньги, и велит подать ему во-

---

[1] В числе игр, выдуманных арестантами в тюрьмах для общего и частного (по заказу богачей) развлечения, чаще других употребляется эта утка. Желающему быть общим посмешищем и получить за то, смотря по обоюдному договору, пятачок серебра или гривенник, арестанты связывают на спине обе руки веревкою и таким образом, чтобы между ладонями можно было укрепить сальную свечку. Свечка эта зажигается. Нанятый шут обязан, не погасив огарка, ползти на брюхе с одного края казармы до другого и по тому грязно-скользкому полу, каков, например, в тюрьме Нижне-Карийского промысла, где эта игра в большом употреблении. Прополз потешник на брюхе, не погасив свечки, он получает договоренную монету; погасил на дороге — даром все труды пропадают.

ды, принести какую-нибудь вещь, чтобы за такую услугу, за удовлетворение праздного каприза выдать прислужившемуся грош или пятак.

Настоящий бродяга настолько практик, чтобы не быть трусом и побежденным, и настолько свободен он и не побежден, что готов попасть опять на старое каторжное пепелище, но предварительно побывав в бегах. В бега, одним словом, идут только те люди, которые оделены волей и характером, точно так же, как в госпиталь ложится только живой мертвец, побежденный и безнадежный. (...)

— Да еще и попадает сверх того!— прибавляли мне рассказчики.

— Бьют?

— Бить не бьют, а поднимут на глум, да так, что в этот раз битье-то, пожалуй, лучше бы...

Замечательно, что все тюремные забавы — как и быть, впрочем, следует — грубого дела и большею частью основаны на испытании крепости зубов, волос, кожи и пр., на манер семинарских бурс. Таковы, между прочим, и те игры, которые известны, например, в петербургском остроге: масло ковырять, покойника отпевать, пальто шить, колокола лить, на оленях катать, присяга на верноподданство по замку, Киршин портрет, жгуты, голоса слушать и проч. В сибирских тюрьмах любимая забава прилепить спящему к подошве голой ноги смазанную салом бумагу и зажечь ее. *(Примеч. С. В. Максимова.)*



Из книги
„КРЫЛАТЫЕ СЛОВА“



ВПРОСАК ПОПАСТЬ

Попасть впросак немудрено каждому, и всякому удается это не одну тысячу раз в жизни, и притом так, что иногда всю жизнь те случаи вспоминаются. Между прочим, попал впросак тот иностранец, который в нынешнем столетии приезжал изучать Россию и, увидев в деревнях наших столбы для качелей, скороспело принял их за виселицы и простодушно умозаключил о жестоких, варварских нравах страны, о суровых и диких ее законах, худших, чем в классической Спарте. Что бы сказал и написал он, если бы побывал в городе Ржеве? Побывши в сотне городов наших, я сам чуть-чуть не попался впросак, и на этот раз разом в два: и в отвлеченный, иносказательный, и в самый настоящий. Расскажу по порядку, как было.

Шатаясь по святой Руси, захотелось мне побывать еще там, где не был, и на этот раз — на Верхней Волге. С особенной охотой и с большой радостию добрался я до почтенного города Ржева, почтенного, главным образом, по своей древности и по разнообразной промышленной и торговой живучести. Город этот, старинная «Ржева Володимирова», вдобавок к тому, стоя на двух красивых берегах Волги, разделяется на две части, которые до сих пор сохраняют также древнерусские названия: Князь-Дмитриевской и Князь-Федоровской,— трижды княжеский город. Когда все старинные города лесной новгородской Руси захудали и живут уже полузабытыми преданиями, Ржев все еще продолжает заявляться и сказываться живым и деятельным. Не так давно перестал он хвалиться баканом и кармином — своего домашнего изготовления красками (химические краски их вытеснили), но не перестает еще

напоминать о себе яблочной и ягодной пастилой (хотя и у нее нашлась, однако, соперница в Москве и Коломне) и под большим секретом — погребальными колодами, то есть гробами, выдолбленными из цельного отрубка древесного с особенным изголовьем (в отличие от колоды вяземской), за которые истые староверы платят большие деньги. Не увядает слава Ржева и гремит, главнейшим образом, и в приморских портах ржевского прядева судовая снасть, парусная бечевка и корабельные канаты: тросты, вантросты, кабельты, ванты и ходовые канаты для тяги судов лошадьми. Эта слава Ржева не скоро померкнет. Не в очень далеких соседях разлеглась пеньковая смоленщина, которая давно проторила сюда дорогу и по рекам и по сухопутью, и с сырцовой пенькой, и с трепаной, а пожалуй, и с отчесанной.

Обмотанными той или другой густо кругом всего стана от низа живота почти по самую шею, то и дело попадаются на улицах молодцы-прядильщики (встречных в ином виде и в другой форме можно считать даже за редкость). Промысел городской, таким образом, прямо на глазах и при первой встрече. Полюбовались мы одним, другим молодцом, обмотанным по чреслам, пока он проходил на свободе: сейчас он прицепится, и мы его в лицо не увидим.

В конце длинного, широкого и вообще просторного двора установлено маховое колесо, которое вертит слепая лошадь. С колеса, по обычаю, сведена на поставленную поодаль деревянную стойку с доской струна, которая захватывает и вертит желобчатые, торопливые в поворотах шкивы. По шкивной бородке ходит колесная снасть и вертит железный крюк, вбитый в самую шкиву. Если подойдет к этому крюку прядильщик, то и прицепится, то есть припустит с груди прядку пенькового прядева и перехватит руками и станет отпускать и пятиться. Пред глазами его начинает закручиваться веревка. Крутится она скоро и сильно, сверкая в глазах, и, чтобы не обожгла белого тела и кожи, на руках надеты у всех рабочих кожаные рукавицы, или голицы. Прихватит ими мастер свежую бечевку и все пятится, как рак, и зорко пред собою поглядывает, чтобы не оборвалось в его рукавицах прядево на бечевке. Он уже не обращает внимания на то, что не выбитая кострика либо завертывается вместе с пенькой в самую веревку,

либо сыплется, как песок, на землю. Пропятился мастер на один конец, сколько указано, скинул бечевку на попутные, торчком стоящие рогульки с семью и больше зубцами и опять начинает снова. Время от времени, когда при невнимании или при худой пеньке разорвется его пуповина и разъединится он и со слепой лошадью и с колесом,— он тпрукнет и наладится. Впрочем, иные колеса (и, конечно, на бедных и малых прядильнях) вертит удосужившаяся баба, а по большей части — небольшие ребята.

Так нехитро налажен основной механизм прядильной фабрики первобытного вида. К тому же, по старинному закону, и это маленькое заведение кочует: оно переносное. У хозяина невелик свой двор и притом короток, а на вольном воздухе свободней работать, если время не дождливое и не осеннее. Вот он и выстроил свой завод прямо на общественном месте, вдоль по улице — вдоль по широкой. Кто хочет тут проехать — объезжай около; там оставлено узенькое место: лошадь пройдет и телегу провезет. Остальную и бóльшую половину улицы всю занял заводчик: выдвинул колесо. Отступая от него аршина на два, он вбил доску со шкивами и дальше вдоль, один за другим, по прямой линии, стойки или многозубцы на кольях. Колья эти вбил он прямо в размокшую и мягкую землю просохшей городской водосточной канавы, как вздумалось. И по кольям-стойкам знать, что они порядочно покочевали: били их по головам до того, что измочалили. Вертит колесо в шестнадцать спиц, длиною в два с чертвертью аршина, баба в ситцах, а на другом конце валяются обгрызанные поленья, «сани», с прикрепленною бечевкою от колеса и припрыгивают, словно бумажка на нитке, которой любят играть молодые котята. По мере того как колесо крутит веревку, эти полешки, или «сани»— тяжелые, грубого устройства полозья,— пошевеливаясь, пятятся ближе к машине.

Во Ржеве вообще нет никакого уважения к улицам, или по крайней мере об них господствует своеобразное понятие: они далеко не все служат для проезда.

Действительно, во Ржеве по такой улице не проедешь, потому что там и сям выстроены столбы с перекладиной, до которой самый высокий мужик не достанет рукой. В полное подобие виселиц на всех перекладинах ввинчены рогульками крепкие железные крючья.

Это — большие заводы, у больших хозяев, у которых со дворов выходят на простор прешироких ворота. У одного такого заводчика оказалось двадцать колес: по двенадцать человек на каждом — это прядильщики. Затем двадцать восемь человек колесников да пятьдесят шесть вьюшников. Эти последние на каждую вьюху наматывают девять пудов пеньки, то есть двадцать семь концов по четыре нитки, и работают по три перемены.

Я зашел в одну из таких диковинных непроезжих улиц и прямо у широких ворот на задах большого дома едва не был сбит с ног и не подмят под сапоги с крепкими гвоздями. Выступила задом из ворот и пятилась до самой средины улицы целая ватага рабочих, человек в двадцать, а тотчас следом за нею другая такая же. Все спины широкие, гладкие, крепкие, серые, белые, синие: такие можно загадать только в воображении на богатырей.

Ржевские богатыри, выдвинувшись из ворот, покрутились на середине улицы перед виселицей. Здесь весело и громко они переговаривались, пересмеивались и насмехались, и опять, с гулом и быстро, потянулись вперед, куда потребовали их вóроты с колесами, установленные в конце двора под навесом. Эти веселые молодцы считаются первыми бойцами на кулачных боях, которые извести во Ржеве никак невозможно. Тут все налицо, что надо: ребятки, что вертят колеса,— застрельщики, рабочие одного большого хозяина — враги и супротивники соседнего заводчика. Да и самый город с незапамятной старины разбит Волгой на две особые половины, под особыми, как сказано выше, прозваниями: правая сторона за князя Дмитрия Ивановича (Князь-Дмитриевская), левая — за Федора Борисовича (Князь-Федоровская), а место, в котором выходить может стенка на стенку,— где хочешь, если уже удалось отбить от начальства почти все улицы. Если же начальство несогласно, то Волга делает в окрестностях города такие причудливые, как бы по заказу, изгибы и колена, что за любым так ухоронишься, что никто не заметит и не помешает побиться на кулачки.

Я заглянул на тот двор, куда ушла шумливая и веселая ватага бойцов, и увидел на нем целое плетенье из веревок, словно основу на ткацком стану. Кажется, в этом веревочном лабиринте и не разберешься, хотя и видишь, что к каждой привязано по живому челове-

ку, а концы других повисли на крючках виселиц. Сколько людей, столько новых нитей, да столько же и старых, чет в чет понавешено с боков и над головами. Действительно, разобраться здесь трудно, но запутаться даже на одной веревочке — избави бог всякого лиходея, потому что это-то и есть настоящий бедовый «просак», то есть вся эта прядильня или веревочный стан,— все пространство от прядильного колеса до саней, где спускается вервь, снуется, сучится и крутится бечевка.

Все, что видит наш глаз на дворе,— и протянутое на воздухе, закрепленное на крючьях, и выпрядаемое с грудей и животов,— вся прядильная канатная снасть и веревочный стан носит старинное и столь прославленное имя «просак». Здесь, если угодит один волос попасть в «сучево» или «просучево» на любой веревке, то заберет и все кудри русые и бороду бобровую так, что кое-что потеряешь, а на побитом месте только рубец останется на память. Кто попадет полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан одежды отрывает прочь, пока не остановят глупую лошадь и услужливое колесо. Ходи — не зевай! Смеясь, поталкивай плечом соседа, ради веселья и шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда — не выдерешься, просидишь в просаках — не поздоровится.

НА УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

Не забывая ржевских улиц, вспомним, к слову и кстати, про всякие на Руси улицы. Смотреть же, где настоящие баклуши бьют, пойдем потом в другую и дальную сторону.

Не только та полоса или дорога, которая оставляется свободною для прохода и проезда у лица домов, между двумя рядами жилых строений, называется улицей, но и весь простор вне жильев, насколько хватает глаз, все вольное поднебесье означается этим именем во всей северной лесной Руси. Старинный народ, любя селиться на просторе и прорубаясь в темных дремучих лесах, хлопотал именно о том, чтобы открыть глазам побольше видов. Для этого он беспощадно рубил де-

ревья, как лютых и непримиримых врагов, в вековечной борьбе с которыми надорвал свои силы. Затем уже он поспешил встать деревней так, чтобы кругом было светлое место. Не оставлялось на корню ни одного деревца подле жильев. Оттого там, в лесных русских селениях, всякий человек, пришедший с воли, незнаемый, а тем более нежеланный и даже недобрый, называется человеком «с улицы», «с ветру». Там, если приглашают приятеля «пойти на улицу», то это вовсе не значит посидеть на завалинке или пошататься между рядами домов, а значит погулять на вольном воздухе, в поле и в лесу. Собственно тех улиц, которые мы понимаем и чувствуем под этим строгим именем и образцы которых, с европейского примера, указал нам Петр Великий,— в прямую стрелу проспектов, коренные русские люди пробивать и проламывать не умеют. Они настолько о том не заботятся, что выводят их, как бы намеренно и совсем противно петровскому вкусу и указам, и вкривь, и вкось, и тупиками, и такими узкими, что двум встречным не разъехаться. В тупиках или глухих улицах нет вовсе сквозных проездов, в узких же — с трудом прилаживаются обочины или тротуары для пешеходов, а в настоящих и коренных городах и во всех деревнях без исключения уличных полос вдоль дороги даже вовсе не полагается. Уважая и любя соседа, пристраиваются к боку и сторонкой, так, чтобы его не потеснить и потом жить с ним в миру и согласии: не всегда в линии, как в хороводе, а отчего же и не в россыпь? Должно строиться так, как велят подъемы и спуски земли, берега рек и озер, лишь бы только всем миром или целой общиной. Без мирского строя, без общинных законов, как известно, нигде и никогда русские люди и не останавливались на жительство, потому что воевать с могучей и суровой природой и с докучливым инородцем одиночной семье было не под силу. Не только земледельцы, но и отшельники в монастырях жили артелями. Только в тех случаях, когда их кругом облагали беды и нужды и приходилось ютиться друг к другу как можно теснее и ближе, зародилось что-то похожее на нынешние улицы с проулками и закоулками. Так сталось в больших городах, спрятавшихся за двумя-тремя стенами. Здесь, когда развилась, обеспечилась и развернулась жизнь и стали разбираться люди по заслугам, по ремеслам и занятиям, отобрались бояре в одно место и устраивались. Духовные,

торговые, ремесленные и черные люди выбирали свои особые места и строили избы друг против друга и рядом, чтобы опять-таки не разделяться, а жить общинами и всем быть вместе и заодно. Старинная городская улица, как сельская волость, естественно сделалась политической и административной единицей, устроила свое управление. Она выбирала себе старост и выходила на торжище или площадь, когда собирались другие общины-улицы судить и думать, толковать не только о делах своего города, но и всей земли, тянувшей к нему податями и сносившей в него разнообразные поборы.

Во Пскове и Новгороде несколько улиц, будучи каждая в отношении к другим до известной степени самобытным телом, все вместе образовывали «конец», а все вместе концы составляли целый город, как Новый Торг (или нынешний Торжок) с семнадцатью концами или улицами, как и «государь Великий Новгород» с пятью, «господин Великой Псков» с шестью концами. По этим действительно великим центрам и сильным примерам взяло образцы все множество больших городов и северной России вплоть до Камчатки, так как вся Русь по хвойным лесам устраивалась исключительно новгородским людом и по новгородским образцам. Уладились в них улицы — стали они общинами; жители назвались «уличанами» и еще охотнее и вернее «суседями». Сближаясь интересами, делали и судили дела за «единый дух», в полное согласие: своего не давали в обиду. Как на Прусскую улицу в Новгороде, населенную боярами, хаживали с боем другие улицы и на Торговую подымался Людин конец, где жила рабочая и трудовая чернь, так и в остальных старых лесных городах ходили кулачным боем, стенка на стенку, на Проломную или Пробойную (срединную) Ильинская (нагорная) и Власьевская (окрайная). По русскому древнему обычаю, где ссорились и дрались, тут же вскоре и мирились, как в те времена, когда бои затевались из-за политических несогласий, так и потом до наших дней, когда большие вопросы измельчались до домашних дрязг, до простого желания порасправить свои могутные плечи, ради удовольствия и досужества или из уважения к обычаям родной старины. Задорнее других были улицы Плотницкие и Гончарные, сильнее всех — Мясницкие, или, по-старинному, «кожемяки»— вольный слободский народ из окольных слобод.

Захотят свести счеты — и пустячный повод разожгут из конца в конец города: станет каждому досадно и всем невтерпеж. А лишь вышла стена на улицу, и мальчишки вперед бегут задирать,— другая стенка смекает и, как вода с гор сливается, выступает навстречу первой, не медля. Бежит каждый в кучу в чем слух застал, и, засучив рукава выше локтей, каждый приготовился к бою. Когда направят ребятишек, тогда разгорятся и сами погонят малых назад. Большие и сильные начнут выступать, могучие силачи —«кирибеевичи» издали смотрят и ухмыляются, пока не придет их час и не позовет своя ватага на дело, в помощь. Были на улицах свои старосты, бывали и свои молодцы-силачи, по двадцать пять пудов поднимали и клали на сторону лихих супротивников, как снопы, по десятку. Были на улицах свои силачи (теперь их смирили и повывели), были и свои красавицы; нарождались свои обиды и придумывались насмешливые прозвища и укоры за недостатки и прегрешения, жили свои свахи и знахарки. И непременно для всякой избы, в каждой улице, обязательны были свои праздники, с пирами и пирогами, с гулянками, брагой и орехами. На кулачных боях подерутся, изместят накипелые за долгое время обиды на сердце, а на уличных праздниках —«братчинах»— помирятся, размоют руки и нагуляются. Оттого-то мудреный смысл русской улицы опять на народном языке извратился: «улицей» стали называть всякую гулянку с хороводными песнями, соберется ли она у деревенской часовни или на лужайке за овинами. Улица этого рода и звания не лежит неподвижно в пыли и грязи, а капризно кочует с облюбленного места на хорошее новое — в последние времена в московских ситцах и суконных пиджаках, веселыми ногами и с улыбающимися празднично лицами.

«Петровские соседи,— пишет старая летопись,— разбивши костер старый (то есть башню, как называли их во Пскове) у св. Петра и Павла, и в том камени создаша церковь святый Борис и Глеб». Вот и указание на время праздников и повод к ним, если только они падают непременно на летнее время и, по возможности, на безработное. Богатые города, впрочем, последнего не соображали; им до этого дела не было: на город всегда работала деревня, и за него она хлопотала. На улице в городе тогда и праздник, когда подойдет он в главном

или придельном храме той церкви, которую действительно всегда строила на своей грязной улице своим трудом и коштом вкупе и складе вся жилецкая улица. Если попадает тот церковный праздник на теплое время, придумается такой, когда чествуют икону какой-либо явленной или чудотворной иконы богоматери. Впрочем, большая часть и таких богородских празднеств как раз установлена на летнее время: и казанская, и тихвинская, и смоленская — всероссийские и другие многие местные, «местночтимые».

Не без причины приходится подольше останавливаться на этом объяснении обиходной и столь распространенной поговорки. Как тот же огонь, который исключительно жег старинных попов *,—«на улице праздник», представляемый в лицах, становится уже таким же преданием и с таким же правом на полное забвение. Мы переживаем теперь именно это самое время. Однако около сорока пяти лет тому назад я еще был очевидцем и свидетелем такого уличного праздника в далеком, заброшенном и полузабытом костромском городе Галиче, который некогда гремел на всю Русь своим беспокойным и жестоким князем Дмитрием Шемякой и до сих пор славится плотниками и каменщиками [1].

В моей детской памяти ярко напечатлелось необычайное повсюдное безлюдье в городе, не исключая всегда шумливой рыночной площади, и припоминаются теперь огромные толпы народа, сгрудившиеся на одной улице, главной и трактовой, называемой Пробойною. Почтовый ямщик не решился по ней ехать и свернул в сторону, зная, что Пробойная на этот день принадлежит празднику. Большие неприятности и очень тяжелые последствия ожидали бы того смельчака, который рискнул бы расстроить налаженные хороводы и другие игры. Вся Пробойная превратилась в веселый и оживленный бал, развернувшийся во всю ширину и длину ее: «улица не двор — всем простор». Несколько хороводов кружилось в разных местах чопорно и степенно по-городскому, с опущенными глазами, с подобранными сердечком гу-

---

[1] Впрочем, еще в 1857 г. писали в «Москвитянин» Погодина из Новгорода: «С главных улиц праздницкие (так называемые там хороводы и гулянки) уже исчезли, а справляются еще по закоулкам и пригородным слободам: Троицкой и Никольской». *(Примеч. С. В. Максимова.)*

бами, выступая в середине густой стены из добрых молодцев, еще в длинных на тот раз сибирках, теперь, ради куцего пальто и жилетки, совершенно покинутых.

Все девушки вертелись в кругу с лицами, закрытыми белыми фатами, в бабушкиных, шитых позументами и унизанных каменьями, головных повязках и надглазных понизях или рясках, в коротеньких со сборами парчовых безрукавных телогреях, в широких, вздутых на плечах кисейных рукавах и со множеством колец на руках (галицкий наряд пользовался на Руси, вместе с калужским и торжковским, равною известностью и славою). Хороводы собственно были очень чинны и степенны, а потому скучны. Ни одна девушка не решалась поднять фаты, а покусившийся на это смельчак жестоко поплатился бы перед молодежью-уличанами своими боками. Веселились собственно на том и другом конце, где большие и малые играли в городки или чурки. И в самом деле, было забавно смотреть, когда из победившей партии длинный верзила садился на плечи крепкого коротыша и ехал на нем от кона до кона, и гремела толпа откровенным несдерживаемым хохотом. Веселились еще по домам, смотревшим на эту улицу большею частию тремя или пятью окнами, где для степенных и почтенных людей было сварено и выдержано на ледниках черное пиво и брага и напечены классические рыбники, поддерживавшие славу города, который расположился около тинистого большого озера, прославившегося в отдаленных пределах северной России ершами, крупными и вкусными.

Теперь эти праздники там совершенно прекратились, когда, на смену хоровода, привезли из европейской столицы досужие питерщики французскую кадриль. Готовые пальто и дешевые ситцы победили вконец бабушкины сарафаны и шубейки, и в народные песни втиснулся нахалом и хватом, с гармонией и гитарой, кисло-сладкий ветреный и нескромный романс вместе с «частушками»— коротенькими куплетцами водевильного строя. Теперь и в глухих местах пошло все по-новому, и на улицах праздников мы больше никогда не увидим и иных, кроме иносказательных, пословичных, понимать не будем.

БАКЛУШИ БЬЮТ

Баклуши бить — промысел легкий, особого искусства не требует, но зато и не кормит, если принимать его в том общем смысле, как понимают все, и особенно здесь, в Петербурге, где на всякие пустяки мастеров не перечтешь, а по театрам, островам и по Летнему саду их — невыгребная яма. Собственно незачем и ходить далеко, но за объяснением коренного слова надобно потрудиться хотя бы в такую меру, чтобы подняться с места, пересесть в Москве в другой вагон и, оставив привычки милого Петербурга, снизойти вниманием до Нижнего Новгорода. Нижним непременно и обязательно следует по пути полюбоваться: стоит он того! Перехвастал он и острова и Поклонную гору, что под Первым Парголовым. Красота его видов — неописанная. Есть у него соперник в городе Киеве, да еще обе эти силы не меряли и не вешали, а потому сказать трудно, кто из них внешним видом привлекательнее и красивее.

Если посмотреть на Волгу и ее берега со стороны города, хотя бы с так называемого и столь знаменитого «откоса», то простор, разнообразие и широкое раздолье в состоянии ошеломить и ослепить глаза, обессилевшие в тесных и душных высочайших коридорах столичных улиц и проспектов. Там, на Волге, на этом месте все есть, к чему бессильно стремятся всяческие и все вместе взятые театральные декорации, размалевывая прихотливые изгибы реки, зелень островов и бледноватую синеву леса, обыкновенно завершающие задние планы картины. Все это здесь могущественно и величественно, как те две реки, которые вздумали именно в этом месте начать обоюдную борьбу своими водами *. На них — перевозный паром, на котором установлено до двадцати телег с лошадьми, и работают пароходы. И они, и этот уродливый и большой дощаник кажется ореховой скорлупой. До того высока гора и до того мелко, как игрушечные изделия на вербах, вырисовываются на противоположном низменном берегу церкви села Борок. Теперь уже оно не оправдывает своего лесного названия: леса очень далеко ушли вглубь синеющего горизонта. Но зато какие это леса, те, которых не видно (но они еще уцелели там, дальше, за пределом, положенным силе человеческого взора), леса «чернораменные»,

керженские, ветлужские! Их редкий из читающих людей не знает. Ими вдохновился покойный знаток Руси П. И. Мельников (Андрей Печерский) в такую меру и силу, что написанная им бытовая поэма сделала те леса общественным народным достоянием, в виде и смысле крупного художественного вклада в отечественную литературу.

Следом за ним на короткое время и мы заглянем сюда в эти интересные леса, куда П. И. Мельников сумел так мастерски врубиться для иных целей. В этих первобытных дремучих дебрях, которые также начинают изживать свой достопамятный век, хотя после П. И. Мельникова и не осталось щепы, зато процветает еще «щепеное» промысловое дело.

В самом деле, эти боры и раменья или совсем исчезли, или очень поредели: много в них и обширных полян, и широких просек, и еще того больше ветровалов и буреломов. Здесь производится издавна опустошительная порубка деревьев на продажу, которой подслужилась столь известная в истории староверья река Керженец. В лесах этого Семеновского уезда Нижегородской губернии издавна завелся и укрепился промысел искусственной обработки дерева в форме деревянной посуды, говоря общепринятым книжным термином, или, попросту, заготовляется на всю Русь и Азию «горянщина», или щепеной товар: крупная и мелкая домашняя деревянная посуда и утварь. Сильный ходовой товар — лопаты, лодки-долбушки (они же душегубки), дуги, оглобли, гробовые колоды, излюбленные народом, но запрещенные законом. Для разносных и сидячих торговцев с легким или съестным товаром и для хозяйства — лотки, совки, обручи, клепки для сбора и вязки обручной посуды — это горянщина; и мелочь: ложки, чашки, жбаны для пива и квасу на столы, корыта, ведра, ковши — квас пить, блюда, миски, уполовники и друг.— это щепеной товар. От этой мелочи и мастера точильного посудного дела называются «ложкарями». Они мастерят и ту ложку «межеумок», которою вся православная Русь выламывает из горшков крутую кашу и хлебает щи, не обжигая губ, и «бутызку», какую носили бурлаки за ленточкой шляпы на лбу вместо кокарды. Здесь же точат и те круглые расписные чашки *, в которых бухарский эмир и хивинский хан подают почетным гостям лакомый плов, облитый бараньим салом или све-

жим ароматным гранатным соком, и в которые бывшая французская императрица Евгения бросала визитные карточки знаменитых посетителей ее роскошных салонов.

Для такого почетного и непочетного назначения ходит с топором семеновский мужик по раменьям, то есть по сырым низинам, богатым перегноем. На них любит расти быстрее других лесных деревьев почитаемое всюду проклятым, но здесь почетное дерево — осина. Оно и вкраплено одиночными насаждениями среди других древесных пород, и силится устроиться рощами, имеющими непривлекательный вид по той всклокоченной, растрепанной форме деревьев, которая всем осинам присуща, и по тому в самом деле отчаянному и своеобразному характеру, что осиновая роща, при сероватой листве, бледна тенями. Ее сухие и плотные листья не издают приятного для слуха шелеста, а барабанят один о другой, производя немелодический шорох. Это-то неопрятное и некрасивое, сорное и докучливое по своей плодовитости дерево, которое растет даже из кучи ветровалов, из корневых побегов и отпрысков, трясет листьями при легком движении воздуха, горит сильным и ярким пламенем, но мало греет,— это непохожее на другие странное дерево кормит все население семеновского Заволжья. Полезно оно в силу той своей природной добродетели, что желтовато-белая древесина его легко режется ножом, точно воск, не трескается и не коробится, опять-таки к общему удивлению и в отличие от всех других деревьев.

Ходит семеновский мужик по раменьям и ищет самого крупного узорочного осинового пня, надрубая топором каждое дерево у самого корня. Не найдя любимого, он засекает новое и оставляет эти попорченные на убой лютому ветру. То дерево, которое приглянется, мужик валит, а затем отрубает сучья и вершину. Осина легко раскалывается топором вдоль ствола крупными плахами. Сколет мужик одну сторону на треть всей лесины, повернет на нее остальную сторону и ее сколет, попадая носком топора, к удивлению, в ту же линию, которую наметил без циркуля, глазом. Среднюю треть древесины в вершок толщиной, или рыхлую сердцевину, он бросает в лесу: никуда она не годится, потому что, если попадет кусок ее в изделие, то на этом месте будет просачиваться все жидкое, что ни нальют в посудину.

Наколотые плахи лесник складывает тут же в клетки, чтобы продувало их: просушит и затем по санному пути свезет их домой. Эти плашки зовут «шабалой» и ими же ругаются, говорят: «Без ума голова — шабала». Есть ли еще что дряннее этого дерева, которое теперь лесник сложил у избы, когда и цены такой дряни никто не придумает,— есть ли и человек хуже того, который много врет, без отдыха мелет всякий вздор, ничего не делает путного и мало на какую работу пригоден?

Шабалы семеновский мужик привез в деревню «оболванивать»: для этого насадит он не вдоль, как у топора, а поперек длинного топорища полукруглое лёзо и начнет этим «теслом», как бы долотом, выдалбливать внутренность и округлять плаху. Сталась теперь из шабалы «баклуша», та самая, которую опять надо просушивать и которую опять-таки пускают в бранное и насмешливое слово за всякое пустое дело, за всякое шатанье без работы с обычными пустяковскими разговорами. Ходит глупая шабала из угла в угол и ищет, кого бы схватить за шиворот или за пуговицу и поставить своему безделью в помощники, заставить себя слушать. Насколько нехорошо в общежитии «бить баклуши»— всякий знает без дальних объяснений; насколько не хитро сколоть горбыльки, стесать негодную в дело блонь *, если тесло само хорошо тешет,— словом, бить настоящие подлинные баклуши — сами видим теперь. Таких же пустяков и ничтожных трудов стоило это праховое дело и в промысле, как и в общежитии.

В самом деле, притесал мужик баклушу вчерне и дальше ничего с ней поделать не может и не умеет, так ведь и медведь в лесу дуги гнет,— за что же баклушнику честь воздавать, когда у него в руках из осинового чурбана ничего не выходит? Впрочем, он и сам не хвастается, а даже совестится и побаивается, чтобы другой досужий человек не спросил: каким-де ты ремеслом промышляешь? Однако с баклушника начинается искусство токарное. Приступают к самому делу токари, ложкари — мастера и доточники (настоящие) с Покрова и работают ложки и плошки до самой св. Пасхи. Вытачивают, кроме осиновых, из баклуш березовых, редко липовых, а того охотнее из кленовых. За ложку в баклушах дают одну цену, за ложки в отделке ровно вдвое. При этом осиновая ценится дороже березовой, дешевле кленовой. Да и весь щепеной товар изо всех изделий

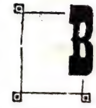
рук человеческих — самый дешевый: сходнее его разве самая щепа, но и та, судя по потребам, в безлесных местах, лезет иногда ценою в гору. Если дешева иголка по силе и смыслу политико-экономического закона разделения труда, то здесь около деревянной посуды еще дробнее разделение это, когда ложка пойдет из рук в руки, пока не окажется «завитой» (с фигурной ручкой), «заолифленной» (белилами, сваренными на льняном масле) и подкрашенной цветным букетом, когда, одним словом, ее незазорно и исправнику подложить к яичнице-скородумке, на чугунной сковороде, с топленым коровьим маслом. Для господ и сами ложкари приготовляют особый сорт — «носатые» (остроносые) и тонкие самой чистой отделки: «Едоку и ложкой владеть».

Стоит у ложкаря его мастерская в лесу: это — целая избушка на курьих ножках, без крыши, только под потолочным накатом и немшоная: лишь бы не попадал и не очень бил косой дробный дождик в лицо и спину. В избе дверь одна, наподобие звериного лаза, и окно одно подымное да другая дыра большая. В эту дыру просунул хохломский токарь толстое бревно, насадил на том его конце, который вывел в избу, баклушу и приладился к ней точильным инструментом. К другому концу бревна, что вышел на улицу, прицепил ложкарь колесо, а к нему привязал приученную лошадь: на нее если свистнуть, она остановится, если крикнуть да нукнуть, она опять начнет медленно переставлять разбитые ноги. Ей все равно: она знает, что надо слушаться и ходить, надо хвостом вертеть, а иногда и сфыркнуть в полное наслаждение и для развлечения. Тпру! — значит, десять чашек прорезал резец. Теперь другую баклушу следует насаживать на бревно, а готовые чашки с того бревна-баклуши будут откалывать другие. В третьих руках ложечная баклуша так отделается, что станет видно, что это будет ложка, а не уполовник. Четвертый ее выглаживает, пятый завивает ручку; у шестых она подкрашенною сушится в печах и разводит в избе такую духоту и смрад, что хоть беги отсюда назад и прямо в лес. Кто бы, однако, ни купил потом эту ложку, всякий сначала ее ошпарит кипятком или выварит, чтобы эта штучка была непоганая да и не липла бы к усам и губам.

Покупать у ложкарей готовый щепеной товар станут «ложкарники», кто этим товаром торгует в посаде

Городце и селе Пурехе (в последнем главнейшим образом). Они умеют доставлять и продавать эти дешевые, но непрочные изделия туда, где их успевают скоро изгрызать малые ребята, делая молочные зубы, и ломают сами матери, стукая больно по лбу шаловливых и балованных деток, привыкших дома бить баклуши.

ЛЯСЫ ТОЧАТ



В тех же заволжских лесах, о которых было сказано прежде и где бьют настоящие баклуши и вытачивают из них бесконечного разнообразия вещи, также не обманным, а настоящим образом «точат лясы или балясы».

Там не ведут шутливых разговоров на веселое сердце в свободный час и досужее время, истрачивая их на пустяки или «лясы», на потешную или остроумную болтовню. Усердно и очень серьезно из тех же осиновых плах точат там фигурные балясины, налаживая их наподобие графинов и кувшинов, фантастических цветов и звериных головок, в виде коня или птицы: кому как вздумается и взбредет на ум или кто как выучен с малых лет. Работа веселая, позывает на песню и легкая уже потому, что дает простор воображению и нередко руководится рисунком, которым можно угодить, заслужить похвалу и «на водку». Делается напоказ для похвальбы и идет на украшение лестничных перил, поручней на балконах и т. п... все не в прямую пользу и не для всякого мужика, сколько его ни народилось на свете, а только для богатого и, стало быть, тщеславного. В глазах ложкарей, приготовляющих нужные всем и полезные вещи, такое веселое занятие кажется менее внушающим уважения за последствия, и точеные, на разный рисунок, столбики — пустяковиной, сравнительно с ложкой, чашкой и уполовником. Лесной житель привык видеть в природе отупляющее однообразие и обязан всегда любоваться ее строгим и хмурым видом и среди ее жить чаще буднями, чем праздниками. С другой стороны, на обоих оживленных берегах Волги, среди открытого простора и бесконечного движения, особенно «на горах», народились охотники на яркие и пестрые безделушки, которым придают они большую цену,— особенно богатые судохозяева.

Отвечая спросу и угождая вкусу поволжских богачей,

13 Заказ 471

в среде семеновских токарей издавна завелся особый сорт промышленников, которых и называли «балясниками». Их досужеству обязаны были своей пестротой и красотой все те суда, в особенности коноводки и расшивы, которые плавали вдоль Волги. Когда они выстраивались рядами, во время Макарьевской ярмарки, в самом устье Оки, вдоль плашкоутного наводного моста, выставка эта была действительно своеобразною и поразительною. Подобной в иных местах уже и нельзя было встретить. Она местами напоминала и буддийские храмы с фантастическими драконами, змеями и чудовищами. Местами силилась она уподобиться выставке крупных по размерам и ярких по цветам лубочных картин, а все вместе очень походило на нестройную связь построек старинных теремков, где балкончики, крыльца, сходы и повалуши* громоздились одни над другими и кичились затейливой пестротой друг перед другом. Идя по мосту с Нижнего базара города на песчаный мыс ярмарки, нельзя было не остановиться и можно было подолгу любоваться всем этим неожиданным цветистым разнообразием.

Строгий деловой и казенный вид однообразных пароходов, которые в последнее время, по американскому способу, стали уподобляться даже настоящим многоэтажным фабрикам и заводам, сбил спесь с расшив и коноводок до такой степени, что они теперь почти совершенно исчезли. Исчезло с ними вместе в семеновских лесах и специальное ремесло балясников, уступив место подложным — тем ловким людям, которые «лясы точат — людей морочат», хвастливыми речами «отводят глаза и заговаривают зубы», а угодливыми поступками берут города, то есть все то, чего не достигают другие люди честным трудом и прямыми заслугами. Много таких мастеров в больших городах и в высших сословиях.

ЛАПТИ ПЛЕТУТ

Лапти плести в иносказательном смысле собственно значит путать в деле и в разговоре. Так по крайней мере разумеет сельщина и деревенщина («путает, словно кашу в лапти обувает»).

В городах применяют это выражение к тем, которые медленно, вяло и плохо работают, и применяют, пожалуй, также основательно, так как самый хороший

и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кривили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет. «Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетенный лапоть хранят и показывают». Оправдывая таким неверным сказанием самое немудреное дело на свете, предоставленное в деревнях ветхим старикам, которые уже больше ничего не могут делать,— народ около лаптя умудрился выискать некоторые поучения, выдумал и пустил в оборот еще несколько обиходных выражений. Из области технических деревенских производств вообще взято довольно выражений для живого языка и ежедневного руководства.

Кто шатается без дела и не находит места, где бы найти работу и присесть за нее,— тот «звонит в лапоть». Кто вдруг и сразу захотел сделать дело, да не вышло,— остался хвастливый ни при чем,— говорят тому в укор: «Это не лапоть сплесть!» Обеднел кто по своей неосмотрительности, которая, однако, не возбуждает сожаления, про того говорят, что он переобулся из сапог в лапти; а случается, что «переобувают» другие ловкие люди — товарищи в деле и в предприятии. На кого ничем нельзя угодить, хоть разорвись,— на того «черт плетет лапти по три года кряду». Собственно «лапти плесть — однова́ в день есть»— немного заработаешь, потому что пара лаптей дороже трех и пяти копеек бывает редко, и то подковыренная паклей или тем же лыком. Между тем на этого явного и всеми основательно обвиненного врага и злодея красивых и, по применению к общежитию, наиболее полезных и дорогих деревьев истрачивается ежегодно неисчислимая масса. Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком раннем возрасте (до 4—6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар.

Происходит это от уменья ровно подбирать сплошной ряд лыковых лент в дорожку по прямой черте, а также

и от добросовестного выбора только самых чистых лык. Не всякое лыко годится в лапотную строку; отсюда и распространенное выражение: «Не все в строку, не всякое лыко в строку», обращаемое советом к тем, которые чрезмерно взыскательны и строги, и к тем, которые неразборчивы в делах, расточительны до излишества в словах и т. п. «Не все лыком, да в строку»— кое о чем можно и помолчать.

Пока еще дадут мужику возможность обуться в сапоги и в том ему помогут, лапоть все-таки сохранит достоинство отличной обуви: дешевой и легкой для ходьбы по лесам и притом зимою — теплой, а летом — прохладной. Свалился он с ног на улице или завяз в грязи — не жалко: слез терять не станут, а догадливая баба поднимет на палку и поставит в огороде: начнет лапоть ворон и воробьев пугать.

В старину едва ли не всюду, а теперь во многих глухих местах липовый лапоть играл почетную роль измерителя земли при общинных переделах, когда малые клочки хорошей почвы имели важное значение для уравнения всех в правах владения или торжества общинной справедливости. Пахари становятся один против другого и, считая вслух, приставляя один лапоть к другому непосредственно и так, чтобы передок головы одного приходился к запятнику (задку) другого. Поэтому и пол-лаптя принимается в расчет, и двое соглашаются «войти в один лапоть» и т. д.

НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ

Рассказ довольно простой для объяснения и к тому же весьма известный. Кто его успел забыть, тем напомню.

Украл что-то вор тихо и незаметно и, конечно, скрыл все концы в воду. Искали и обыскивали — ничего не нашли. Думалось на кого-нибудь из своих близких. К кому же обратиться за советом и помощью, как не к знахарю? И не знаясь с бесом, он, как колдун, умеет отгадывать.

Знахарь повел пострадавших на базар, куда обыкновенно все собираются. Там толпятся кучей и толкуют

о неслыханном в тех местах худом деле: все о том же воровстве.

В толпу эту знахарь и крикнул:

— Поглядите-ко, православные: на воре-то шапка горит!

Не успели прослушать и опомниться от зловещего окрика, как вор уже и схватился за голову.

Дальнейшего объяснения не требуется, но два однородные рассказа просятся под перо. В видах же полноты и надлежащей точности обязан я напомнить о существовании однородных анекдотов — из восточных азиатских нравов (например, один записан в каком-то даже учебнике для переводов с русского под мудрено-длинным заголовком «Верблюдовожатый»). Тем не менее два представляемые мною — коренные русские.

Посланный министерством государственных имуществ лесничий (по фамилии, сколько помнится мне, Боровский) описывал леса Печорского края и бродил по ним, тщетно разыскивая цельные лиственничные рощи,— ходил, конечно, с астролябией и со съестными запасами. За ним бродила целая партия рабочих — таких простаков, что даже позднее этого события я не нашел у них замков, кроме деревянных, против блудливой рогатой скотины. У этих устьцылемов также, по обычаю, была сплочена артель, хотя она, при таком казенном деле и заказе, и не нужна была вовсе. Сбились в артель, или «котляну», как говорят там, то есть «покрутились» все в один котел и кошель или составили артель продовольственную, чтобы уваривались щи погуще, а каша покруче: «Артельно за столом, артельно и на столе».

Все шло хорошо. Котляна была крепка и работой и товарищеским согласием. Ходит лесничий по глухой и мокрой тайболе — не налюбуется. Вдруг жалоба: пришли все, сколько народу ни было (и вор пришел, конечно, вместе с прочими), и просят:

— Вор завелся — изведи! Вот у этого смирного парня запасные теплые пимы (сапоги) украли. Где их укупишь теперь, когда заворотят осенины? А в пимах-то были у него деньги запрятаны; не так чтобы очень много, однако около рубля, говорит.

— Стрелы бы тому в бок, кто такую напасть навел! Ты — ученый, все произошел: помоги нам, укажи вора!

Не желая «дискредитировать науки», ученый (по званию и в самом деле) лесничий решился поддержать и уважение к себе и веру в привезенные им из самого Питера знания. Придумал он позвать предварительно на совещание одного старика, который пользовался у всех большим уважением и был, что называется там, «умная башка».

— Не думают ли на кого товарищи, дедушко?— спрашивал старика молодой лесничий.

— Да все — хорошие люди. Все по артеле-то, что и по работе, равны, как восковые свечи перед богом в матушке-церкве. Одинаково горят!

— Однако и пальцы на руках не все равны,— заметил лесничий.

— Так ведь эдак-то — борони бог!— выйдет, пожалуй, у тебя, что, кто меньше ростом, тот и виноватый. На такой закон ты не выходи: согрешишь! Может оказаться при такой скорости, что все мы тому злому делу причинны. Думай по-божески!

— Есть у вас парень чужой, пришлой,— один изо всех не ваш: не он ли побаловал? Может быть, ему чужих-то и не жалко?

— Был — чужой, стал теперь свой, и парень он больно хороший. Замечаем, по котляне-то, что он есть лютой: «есвяной» такой парень! Ну да ведь на работушке силу-то тратит, из котла опять ее назад берет. Не сумлевайся, не кори молодца,— ох, грех великий!

— На мои глаза, больно он шустер и пройдошлив: ловчей всех ваших.

— А и слава те, господи! Скоро из котла ложку таскает да есть поторапливается — это по нашим приметам и очень прекрасно. Скор на еду — значит, скор и в работе. Однако с чужой ложки не хватает: пошто же на него напраслину выводить за это за самое?

Увидел ученый лесничий, что с атаманом артели не сговоришь, у заступника ее ничего не добьешься: правит он закон и обычай — стоит за артель горой.

Послушал лесничий того совета, который сказал ему старик уходя:

— Коли хочешь узнать сущую правду, ты ищи ее подругому. Сделай милость, не пугай парня, не обижай его и никому на него не указывай! А я с тем и ухожу, что словно бы и не слыхал от тебя ничего. Суди побожьему!

Оставшись один, лесничий задумался. Перед глазами сыр-бор да мшины, ветровалы да буреломы: ничего от них не допросишься. Вдруг на глаза ему попала астролябия, он так и привскочил с места. Из памяти его никак не выходит тот самый пришлый рабочий: на Печоре он к одному нанимался — отошел, у другого тоже не сжил до срока. Надо было показать и старику и артели, что этот человек нетвердый, а стало быть, и ненадежный, в отмену от прочих и — вероятнее других — виноватый.

Поставил лесничий всех своих рабочих в круг, по знакомому всем им знахарскому способу. Чтобы они не сомневались, он около них и круг очертил палкой и зачурал:

— Синус — косинус, тангенс — котангенс, диагональ, дифференциал, интеграл. Бином Ньютона, выручай! Астролябия и мензула, помогайте!..

Рабочие так и застыли на месте: угадал и угодил барин страшными словами. Когда же он поставил в самой середине их круга астролябию, раздвинул ее ножки и сам к ней приблизился — они уже и глаза опустили в землю, и волоса на бородах не шелохнутся. Заподозренный лесничим рабочий установлен был прямо против северного румба компасика.

— Смотрите все на меня!

Лесничий шибко разогнал стрелку: она посуетилась, помигала под стеклом и встала перед ним острием прямо против того парня. Его так и взмыло!

— Врет она на меня. Она сможет указать и на другого. Я не согласен. Надо, по закону, до трех раз пытать. Гони ее опять!

И во второй раз, конечно, стрелка указала его: все молчат, словно мертвые. Лесничий опять проговорил «замок» по-новому и снова разогнал стрелку. Все повыступили с мест; подозреваемый дальше всех. Стрелка побегала, вздрагивая, и, словно охотничья собака, тыкалась и суетилась, обнюхивая и отыскивая виноватое место. Рабочие старались догнать стрелку глазами и как вкопанные остановили их вместе с нею на парне. А он уж пал на колена и лицо в траву спрятал. Полежал и говорит:

— Моя вина: берите вашу вещь! Ничего теперь не поделаешь! Ваш меч — моя голова!

Артель долго не расходилась, посматривая то на

«начальника», то на мудреный «штрумент». Качали все головами и не могли надивиться:

— Ведь ишь ты! Словно перстом указала.

На подобную же находчивость известного проповедника московского митрополита Платона указывают в двух анекдотах. По одному из них он обличил плотника, укравшего топор у товарища в артели в то время, когда Платон строил свой исторический скит Вифанию, в трех верстах от Троице-Сергиевской лавры. (...)

«Однажды докладывают митрополиту Платону, что хомуты на его шестерике украдены, что ему нельзя выехать из Вифании, а потому испрашивалось его благословение на покупку хомутов. Дело было осенью, грязь непролазная от Вифании до Троицкой лавры, да и в Москве немногим лучше. Митрополит приказывает везде осмотреть, разузнать, кто в этот день был, и т. п. Все было сделано, но без всякого успеха. Митрополит решается дать благословение на покупку, но передумывает. Он распорядился, чтобы в три часа, по троекратному удару в большой вифанский колокол, не только вся братия, но и все рабочие, даже живущие в слободках, собрались в церковь и ожидали его.

В четвертом часу доложили митрополиту, что все собрались. Входит митрополит. В храме уже полумрак. Перед царскими вратами в приделе Лазаря стоит аналой, и перед ним теплится единственная свеча. Иеромонах, приняв благословение владыки, начинает мерное чтение псалтыря. Прочитав кафизму, он останавливается, чтобы перевести дух, а с укрытого мраком Фавора раздается звучный голос Платона:

— Усердно ли вы молитесь?

— Усердно, владыко.

— Все ли вы молитесь?

— Все молимся, владыко.

— И вор молится?

— И я молюсь.

Под сильным впечатлением окружающего и отрешившись мысленно от житейского, вор невольно проговорился. Вором оказался кучер митрополита. Запираться было нельзя, и он указал место в овраге, где спрятаны были хомуты».

У ЧЕРТА НА КУЛИЧКАХ

Русский человек вообще любит часто вспоминать про эту нежить, нечистого, лукавого и злого духа, причем богомольные люди стараются незаметно сделать рукой крестное знамение или творят про себя глухую молитву. Иные «чертыхаются», впрочем, не столько с сердцов, сколько по дурной, худо сдерживаемой привычке. Посылают и недруга, и докучливого человека, и всех «ко всем чертям» или в «тартарары», еще не так далеко, как это кажется и как думают о том сами сердитые и вспыльчивые люди. Богатырские сказки и священные легенды учат, застращивая, и уверяют, назидая, что, как вымолвишь черта, так он тут и появится с длинным хвостом и острыми рогами. Он готов купить душу и потом оказывать за то всякие услуги. Около святых, по пословице, они любят водиться даже в особину, как и в болотах, в таком множестве, что кажется, здесь у них самое лакомое и любимое место для недремлющей и неустанной охоты и стойки. Если же кто живет у черта, да еще при этом на куличках — это уже так далеко, что и вообразить трудно. Последнее выражение только в таком смысле и употребляется, хотя (следует заметить) произносится неправильно. Никакого слова «кулички» в русском языке нет, и уменьшительного имени этого рода ни от какого коренного произвести невозможно. От кулича выйдут куличики, а от кулика — куличкѝ с знаменательным переносом ударения. Если же восстановим в этом слове одну лишь коренную букву и скажем «на кулижках», тем достигаем настоящего смысла выражения и можем приступить к его объяснению и оправданию, как к православному и крещеному.

Кулиги и кулижки — очень известное и весьма употребительное слово по всему лесному северу России, хотя оно, очевидно, не русское, а взято напрокат у тех инородческих племен, которые раньше славянского заняли студеные страны. Они не сладили с ними и мало-помалу начали вырождаться и «погибоша, аки обри», говоря словами одного из древнейших, но уже в народе давно и совершенно исчезнувших летописных присловий. Слово «кулига» взято у этих несчастных языческих пле-

мен и, по обычаю, приведено и окрещено в русскую веру [1]. Вот как это случилось.

Когда дремучий и могучий богатырь студеных стран России, хвойный лес, ослабевает в силах растительных, в нем местами являются прогалины, плешины, поляны. Здесь растет торопливо, сильно и густо трава с цветами всякого вида и ягодами всякого рода в обилии. Эти лесные острова и есть «кулиги». Дикие инородцы, у которых все боги злые и немилостивые, признали такие редкие места за жилища старшего керемети. А так как и его тоже, что и старшин и всякое начальство, надо умилостивлять приношениями ценного и приятного, то в таких местах собираются до сих пор приносить керемети жертвы. Колют оленей, овец, телок, жеребят; наедаются досыта и напиваются допьяна, поют и скачут. Другого применения этим кулигам дикие звероловы не могли придумать. Пошумят, поломаются, обманут совесть и разойдутся по лесным трущобам, чтобы не сердить и не беспокоить бога. Его это место: оно им зачуровано и потому для всех свято.

Когда пришел сюда же русский человек, то он сейчас вспомнил, что от перегноя трав на этих местах самая плодородная почва, которую любят и рожь и ячмень. Тут он и поставил избу и приладил крест. Керементь испугалась, отступилась и ушла с того места прочь. А так как русские люди тянулись сюда, по своему обычаю и привычке, целыми артелями, лесные же деревья тоже размножались и жили плотными общинами (сосна — так кругом сосна, ель — так все ель), то переселенцам и пришлось немного призадуматься. Непролазные леса в этих суровых местах на кулиги неохотливы, легче им жить плотной стеной. Полян, то есть травяных островов, или безлесных равнин, в них немного — все больше сырые болота, где хорошо живется только одним чертям, да и из них подбираются особенные — водяники: нагие, все укутанные в тину, умелые плавать на колодах, целый день жить в воде и показываться только ночью.

---

[1] Инородческое окончание «га» повторяется в бесчисленном множестве слов домашнего обихода, но в особенности знаменательно в названиях таких крупных урочищ, как озера и реки. Таковы, например: Волга, Ветлуга, Онега (река и озера), Мягрига, Синдега, Куенга, Лапшенга, Пинега, Вага и т. д. (*Примеч. С. В. Максимова.*)

Задумываться, однако же, привелось не долго таким людям, которые пришли в дремучие леса с сохой, топором и огнивом; начали они рубить деревья топором под самый корень, валить вершинами в одну кучу и в одно место и жечь. Стали выходить искусственные поляны, как места для жильев и пахоты; звали их назади, когда врубались в покинутые леса, «лядами, лядиками, огнищами». Это в западных лесах. В северных лесах, когда начали валить их, углубляясь в чащи с речных и озерных побережьев, прозвали такие новые места и валками, и новями, и новинами, и гарями, и росчистями, и пожегами, и подсеками, и починками. Чем дальше заходили вглубь, тем больше растеривали и забывали старые слова и все такие «чищобы» под пожню (для травы) и под пашню (для хлебов) стали звать чужим и готовым словом «кулиги». Так и осталось оно за ними на всем огромном востоке России, и выражение «кулижное хозяйство» принято теперь учеными людьми для пользования в книгах и пущено в ход в их сочинениях. Для хлебопашца в лесах это единственный выход и исключительный способ, отчего, как убеждается читатель, и такое множество синонимов на одно и то же слово, обозначенное в старинных актах общим именем «на сыром корени». «Да то все управит мати божия, что есть беды принял о месте сем!»— воскликнул святой и смиренный Антоний Римлянин, один из первых насельников новгородских кулиг и покорителей северных суровых стран.

Для пущего убеждения в географической распространенности и исторической известности слова «кулига» имеем возможность указать даже на Москву. В те времена, когда этот город, по обычаю и приемам всего государства, созидался и ширился в лесных теснинах и трущобах, под жилые слободы отбили места таким же новинным, или кулижным, способом. В слободах этих, которые потом вошли в состав Москвы, выстроились церкви, устоявшие до наших дней под непонятным теперь для москвичей названием Троицы (за Ивановским монастырем), Рождества богородицы (на Стрелке) и Всех святых (за Варварскими воротами) «на кулижках». Это в трех местах Москвы, где на сухой горе, среди соснового леса, то есть на настоящем бору, несколько раньше выстроена была одна из древнейших церквей Кремля, собор Спаса на бору́. При этом сле-

дует заметить, что московские чистобаи (наречие которых принято литературой и в разговорном языке) произносят слово «кулижки» правильно. Грамотеи же, вроде настоятелей тех церквей и составителей указателей, пишут его неверно, заменяя букву «ж» буквою «ш». Повторился тот же придаток к живым урочищам и церквам и в других русских городах, где селения на кулижных росчистях также вошли в городскую границу.

Если остановимся на одной из московских кулижек — именно на той, где близ Ивановского монастыря стояла при царе Алексее изба — патриаршая «нищепитательница»,— то в житии Илариона Суздальского прочитаем о том событии. В богадельне этой (женской) поселился демон и никому не давал покоя ни днем, ни ночью: стаскивал с лавок, с постелей, по углам кричал и стучал, говоря всякие нелепости. Благочестивый царь повелел духовного чина людям творить молитвы на изгнание этого беса. Но он стал еще свирепее: начал явно укорять всех, обличать в грехах и стыдить, а иных бил и выгонял вон. На борьбу с ним вышел старец Иларион из г. Суздаля и начал одолевать его обычным способом молитвы, но, лишь начнет вечернее пение, бес с полатей кричит ему: «Не ты ли, калугере *, пришел выгонять меня?» Начнет старец ночью читать молитвы на изгнание беса, а черт кричит ему: «Еще ты и в потемках расплакался!» И крепко застучит на полатях и устрашает: «Я к тебе иду, к тебе иду». Свидетели, как, например, схимонах Марко, бывший самовидцем, испугались и хотели бежать из избы, но Иларион остановил их уверением, что «даже и над свиниями дьявол без повеления божия не имеет власти». Тогда избяной дьявол обернулся черным котом и стал прискакивать к старцу всякий раз, когда этот хотел положить поклон. Цели бес не достиг. Иларион был столь незлобив, что сам враг похвалил его: «Хорошо этот монах перед богом живет»,— и в заключение неравной борьбы принужден был сознаться, что его зовут Игнатием, что он «был телесен и княжеского рода», но что мамка послала его к черту, что из богадельни он выйти не может, так как не по своей воле пришел сюда. Не послушался он и бродячих попов с Варварского Крестца, стоявших там с калачами за пазухой (...), а даже обругал: «Ох вы, пожиратели! Сами пьяны, как свиньи! Меня ли вам выгнать?»

На этом сравнительно позднейшем сказании, записанном в малоизвестном житии, иные сами готовы (и советуют) основывать объяснение заглавного выражения (конечно, на произволящего).

Когда и на искусственных кулигах становилось жить тесно, а почва начала утрачивать силу плодородия, уходили от отцов взрослые и старшие сыновья, от дядей племянники и т. п. При полной свободе переходов, с помощию людей богатых, которые давали от себя даром и соху, и топор, и рабочую лошадь, брели врозь с насиженных и родимых мест так далеко, что и вести достигать переставали. Да и как и через кого перекинуться словом, когда стали жить у черта на кулижках? Когда припугнули трусливых и диких инородцев огненным боем, который вспыхивал внезапно, гремел гулко и разил наповал и насмерть,— кулиги стали подвигаться еще дальше, где уже, по присловью, и небо заколочено досками и колокольчик не звонит.

С КОЛОМЕНСКУЮ ВЕРСТУ

В таком нелестном подобии является в представлении московских людей высокий человек, превосходящий на целую голову прочих и, стоя, например, в толпе, мешающий задним видеть впереди себя. По большей части такой человек неуклюж, неловок, неповоротлив, что называется на севере «жердяем» и «долгаем», а повсеместно «верзилой» и «долговязым». Для московских жителей такие большерослые люди представляли подобие тех столбов, которые царь Алексей Михайлович расставил от Москвы до своей любимой загородной летней резиденции — села Коломенского. Это был первый опыт обозначения видными знаками верстовых измерений, существовавших издавна в одном лишь призрачном представлении с обязательною неточностью самой меры. Неточность зависела столько же от сметки расстояний на глазомер, сколько и от условной подвижности или изменяемости самой меры, и при этом не одних только верст, но и саженей. Древнейшая сажень была короче нынешней, и таких требовалось в версту целая тысяча. Впоследствии верста стала составляться из семисот сажен, и такое-то ко-

личество их и велел уложить царь Алексей в ту видимую версту, которая ушла в поговорку. Царь Петр I повелел считать в версте пятьсот сажен, что и намечали впоследствии по всем казенным почтовым дорогам пестрыми верстовыми столбами, покрашенными в три национальные цвета. За такой-то столб задел в степи хохол, изумленный невиданною диковинкою, и остался недоволен.

— Ажно проехать стало неможно: проклятые москали верстов по дороге понаставили!

На самом деле консервативное начало высказалось и в этом нововведении: еще на нашей памяти в захолустных местах семисотные версты предпочитались пятисотным, взаимно соперничая. Требовался переспрос: по какому счету принято на проселках, где не поставлено столбов, разуметь дорожную версту. Конечно, всего чаще случалось получать в ответ всем известное объяснение расстояний в нашей пространной и неоглядной Руси: «Меряла баба клюкой, да и махнула рукой,— быть-де так!»

ДОЛГИЙ ЯЩИК И МОСКОВСКАЯ ВОЛОКИТА

Когда говорят про недобрых дельцов и судей, про влиятельных лиц и решителей судеб, упрекая их в лености, что они «откладывают дела в долгий ящик», тем вспоминают про тот длинный ящик, который некогда царь Алексей Михайлович велел прибить у дворца своего в селе Коломенском, на столбе. Он ежедневно прочитывал сам вложенные туда челобитья. До того времени челобитные на имя царя клались на гробницы царских предков в Архангельском соборе. Богомольный царь, ревностный к церковному благолепию, поспешил отменить обычай. Ящик сделан был длинный в соответствие свиткам, на которых писались все документы до Петра, заменившего их листами голландского формата, существующими до сих пор. Из царских теремов выходило решение скорое, но, проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков, дело «волочилось»: инде застрянет, инде совсем исчезнет, если не были смазаны колеса скрипучей приказной ма-

шины. Недобрые слухи про московскую «волокиту» или, еще образнее, про «московскую держь» в народном представлении остались все те же, а кремлевский ящик из длинного превратился в «долгий», про вековечный обиход несчастных просителей и жалобщиков на всем раздолье русского царства. Особенно же это было чувствительно и тягостно для приезжих из областей и дальних мест. В первопрестольном городе им доводилось задерживаться и издерживаться. Это — то же «хождение по передним» нынешних влиятельных лиц, равносильное стоянию на Красном кремлевском крыльце или у дверей старинных приказов. Насколько тяжело было положение просителей, свидетельствует св. Митрофан, епископ воронежский. Отправляясь в Москву, он считал необходимым, для сокращения сроков московской держи, каждый раз запасаться достаточным количеством денег. Если в монастырской казне их не было, то он прибегал к займам и издержки аккуратно записывал в тетрадь. Одна из них сохранилась. В ней мы читаем о покупке святейшему патриарху «в почесть 40 алтын на лещей и на 23 алтына и 2 деньги осетрины» в то время, когда на себя лично во всю дорогу издержал святитель всего лишь семнадцать алтын «за постой и квас». В Москве он поднес патриарху калач, дал патриаршим истопникам сорок алтын, патриаршим певчим славленных шестьдесят два алтына, пономарям Успенского собора гривну, подьячему Кириллову на сапоги две гривны и прочая «про́тори и про́езсти, убытки и волокиты», как привычно выражались в те времена, приравнивая даже взятки к волокитам всякого рода.

БОБЫ РАЗВОДИТЬ

Теперь это значит пустяками заниматься, побасенки рассказывать, с прямым желанием подлаживаться, угодничая находчивым, острым или веселым словом. «Иной ходит до похода, бобы разводит», как подсмеивается поговорка. Выражение это взято от обычного не только в старину, но и в наши дни способа ворожбы, по которому раскидывали бобы (или разводили) и гадали по условным знакам,

как ложились эти продолговатые плоские зернышки обыкновенного огородного стручкового боба. Повезло ему счастье избрания с древнейших времен. Искусство разумения предсказательной силы в будущем приобреталось наукой, передавалось за особую высокую плату не всякому встречному, но каждому в тайне. Опытных мастеров выписывали, например, в Москву из далеких стран, какова Персия, доискивались их в глухих лесных и болотистых трущобах, какова наша озерная Корелия. Прятали их самым тщательным образом потому, что уличенных и сознавшихся в колдовстве, по старинным московским законам, предавали лютым казням. В старину науке волхвования — искусству разводить чужую беду бобами — обучали всяких чинов досужие люди, но больше всего простолюдины. Чаще всех владели тайнами ворожбы и гаданий коновалы, среди которых это искусство уберегается и до сих пор, наравне с цыганами. В таких же кожаных сумках хранятся у них бобы, травы и росной ладан *. Бобами гадальщик разводит и угадывает; ладаном оберегает на свадьбах женихов и невест от лихих людей, при родах от сглазу и от ведунов. Умея ворожить бобами, умели на руку людей смотреть и внутренние болезни у взрослых и младенцев узнавать и лечить шепта́ми. Траву богородскую дают пить людям от сердечной болезни без шептов; норичную траву дают лошадям. И зубную болезнь лечат, и щепоту, и ломоту уговаривают, и руду (кровь) заговаривают, и тому подобное.

Не одного из таких знахарей в строгие времена застенка и пыток сжигали живыми в срубах с сумками и с наколдованными в них травами и бобами всенародно в Москве на Болоте.

Из «розыскных дел о Федоре Щегловитом и его сообщниках», изданных Археографическою комиссиею, видно, между прочим, следующее: царевна Софья узнала, что постельничий Гав. Ив. Головкин водил в Верх, в комнату царя Петра Алексеевича, мурзу князя Долоткозина и татарина Кодоралея. Они там ворожили по гадательной книге и на письмах предсказали, что царю Петру быть на царстве одному. За такое предсказание их обоих отвезли в застенок, пытали и в заключение сожгли на их спинах гадательную книгу и письма. Здесь родилась и пословица: «Чужую беду на бобах разведу, а к своей ума не приложу».

КУРАМ НА СМЕХ

Ни одно из домашних животных не представляет наибольших поводов к презрительным насмешкам или унизительным уподоблениям, как куриная порода, с древнейших времен сделавшаяся домашнею и очень полезною. Именно женская половина этого вида, наиболее оказывающая куриных услуг людям (некоторые курицы приносят до ста двадцати яиц ежегодно), вызывает самое большое количество насмешек. Петух, гордый султан, поддерживающий семейный порядок в строжайшей дисциплине, щеголь и крикун, сумел отстоять себя во мнении просвещенной и мыслящей публики. Над ним не насмехаются. Смеются над теми людьми, кто ему уподобляется, петушится, то есть либо чванится и величается, либо без особой нужды, по задорному характеру, лезет в спор и драку. Зато на курицу посыпались всякие насмешки, впрочем, не столько заслуженные ею одной, сколько всем куриным родом. И в самом деле, как рак — не рыба, так и курица — не птица; например, всем природа дает перья для полета — у ней они только для украшения и при этом слабо прикреплены к мягкой коже и часто выпадают и легко выщипываются. Короткие, круглые и тупые крылья тоже не для дальних и повсюдных передвижений: из холодных стран в теплые и, в свое время, обратно. Несмотря на то что издали слышен бывает шум куриных перелетов, на самом деле «гора родит мышь»: перелеты, не больше хороших скачков, ничтожны и забавны своими претензиями до смешного. Курицы не делают гнезд, а высиживают яйца на голой земле, в поразительное отличие от прочих пернатых. Они боятся воды и забавляются только пыльными и песчаными ваннами, пропуская, на солнечном пригреве, пыль и песок между перьями, развернутыми веером. Они флегматиками бродят по двору и, обладая ненасытною прожорливостью, заботливо и хлопотливо ищут зерен, которых им всегда мало. Кажется, по этой-то самой причине они и пребывают в постоянной задумчивости и меланхолии и, выведенные из такого положения невзначай и особенно темной ночью, начинают беспокойно шуметь, кудахтать так, что не скоро затихают. Когда их ментор и патриарх, привыкший прежде всего

заботиться всею душою о семействе и потом уже о самом себе, найдя целую кучу зерен, расхвастается о том,— ненаходчивые и неизобретательные куры ему верят. Они вдруг схватываются с места: как шальные, начинают суетиться, как будто услыхали какую-то чрезвычайную новость и рассчитывают увидеть невиданное чудо. Они спешат вперегонку друг за другом, бегут сломя голову, толкаются, семенят ногами, комически повертываются и зря, на полном доверии начинают тыкать короткими и крепкими клювами у ног своего повелителя. Петух, однако, пошутил, обманул: рассказывал, что просыпана целая горсть, а на самом деле оказалось, что всех зерен — только щепоточка, да и то сомнительного качества, вперемежку с мелкими камушками. Так же флегматически, вперевалку, бредут обманутые куры дальше, ничем не смея выразить своего неудовольствия и очевидной обиды. Довольный испытанным повиновением, общим доверием и вообще всем домашним порядком, хвастливый при всяком случае и со стороны очень смешной своим самодовольством, петух в это время уже успел взлететь на первую попавшуюся кафедру — на забор, на кадку — и воспел самому себе хвалебную песнь так громко, что она слышна далеко в соседней деревне. Конечно, все эти проделки очень забавны.

Именно эта забавная петушья ревность и эта самая смешная куриная покорность с безответной подчиненностью уронила всю куриную породу во мнении людей. Ничего не может быть обиднее и унизительнее сказать или сделать на смех этим смешным курам (совсем худо, «если курам смех»), как ничего не может быть жалчее и опять-таки в то же время забавнее «мокрой курицы».

Вялый в работе, неповоротливый в движениях человек, на которого нечего и рассчитывать, обзывается, с великой досады, этим самым унизительным прозвищем «мокрой курицы», потому что неприглянее ее, попавшей под дождь и не успевшей спрятаться под навес и на насест, трудно уже представить себе что-нибудь другое.

«Слепая курица» есть тот человек, который бестолково тычется и суетится, разыскивая вещь, лежащую, что называется, у него на носу. Толпа на базаре, горожане на бульваре ходят долго и много, но без всякого толку — это они, как куры, бродят. Утлая избушка сказочной бабы-яги и всякой иной ведьмы стоит не иначе,

как на курьих ножках: такая неустроенная и необрядная, что хуже ее не бывает.

Против этого мимоходного сообщения довольно пространно возражает г. Никольский (сначала в газете «Южный край», потом дословно в воронежских «Филологических записках», 1891 г., вып. IV—V). Он прямо, ничтоже сумняся, ставит сказочную избушку «на курьях», а не на курьих ножках.

В олонецких краях, где умели цельно сохранить (более, чем где-либо) песенную и сказочную старину, избушка на курьих ножках снабжена еще придатком «на веретенной пятке», то есть до того неустойчива, что свободно могла поворачиваться, как укрепленная на тонком конце вертлявого веретена («пятке»). Иван-Царевич так и говорит ей: «Устойся — устойся — туда тынцем (то есть тыном, забором), ко мне крыльцем. Мне не век вековать, одну ночь ночевать». Весь интерес сказки вертится именно на архитектурной особенности и исключительности этой постройки, а вовсе не на местоположении ее. Напрасно мой судья взвел напраслину на сказочников, что они не понимали выражения «на курьях»; стали-де искать к прилагаемому (на курьих) существительное, каким и оказалось «ножки». На Севере в особенности всем известно, что курья — тот изгиб реки, который отделяется от главного русла большим коленом, образуя остров. Так делает это Печора и сделала Двина против Холмогор, отрезавши большой остров —«Кур-остров», на котором уместилась целая волость с деревнями, и в одной из них, как всем известно, родился наш гениальный Ломоносов. Напрасно, стало быть, выписывал автор из словарей целую группу финских слов, которые довели его лишь до неверного понятия о курье, как «о высохшем русле реки или оврага, теряющегося в болотах». Стремясь поместить «едва заметную убогую избушку» еще как можно дальше — в курье, «в оврагах и лощинах, где русского духа слыхом не слыхать», как видим, сам толковник забрел, без всякой надобности в болота и там доброхотно завяз. Куростровская курья течет себе вольно, пропуская даже пароходы, да и в избах побережных деревень петухи поют, напоминая, что старинное славянское имя им — кур («куре-доброгласне»), да и сейчас «попал, как кур во щи» и уже по нем супруга из его гарема называется курицей. Отсюда, от него же прилагательное законное

«курий», а от особи женского пола, по произволу, и куричий, и курячий, и даже «курицын сын», как слегка бранное и насмешливое[1]. Слово же «куриный», рекомендуемое оппонентом, относится ко всей птичьей породе, ко всему семейству этих пернатых животных. Теперь как же объяснит автор предлагаемой мне поправки со своим финским аршином московское урочище «на курьих ножках», где стоит (между Поварской и Арбатом) церковь Николы, чрезвычайно далеко от Москвы-реки? И, наконец, как он посоветует приспособить к имени обитательницы избушки производимое с финского «ягать и яжить» к белорусской старухе, которая зовется «бабой-Югой», а чаще просто «Югой»? В Белоруссии, при чрезмерном обилии болот, о болотистых курьях и не слыхивали, даже и в тех местностях, которые соседят с финскими племенами.

ГОЛУБЕЙ ГОНЯТЬ

Для иных эта работа — забава и шалость, за которую вообще не хвалят, а *городских* ребят родители их считают непременною обязанностью награждать волосяной выволочкой. Для других, не только взрослых, но даже старых, легкая забава переходит в серьезное занятие, требует особой науки и доводит до любительской страсти со всеми неудобными последствиями.

Как всякое безотчетное влечение, эта страсть также неудержима, необузданна и заразительна. Ею заболевают целые города и в них такие умные люди, как дедушка Крылов (баснописец), и такие могущественные,

[1] В «Вопросах Кирика и Слове христолюбца» сказано: «Кумирную жертву ядят, и кур (петухов) им режут». В 1289 г. кн. Мстислав установил с берестьян подать со ста «по 20 *куров*, а княгине Витовтовой давали с дыма * в кухню по *курети* (по курице) и по 10 яиц. По «Русской правде» за куря взыскивали по 9 кун и т. д. В цельном своем виде живым сохраняется до сих пор старинное имя современного петуха при выражении о неудачнике: «попал, как кур во щи». При этом объясняется, что таковое изречение применено было еще к судьбе первого самозванца (по свидетельству современника М. Бэра). *(Примеч. С. В. Максимова.)*

богатые и сильные люди, как братья Орловы-Чесменские. Однако, как не дающая никаких практических результатов, игра все-таки у нас не пользуется уважением и вызывает насмешки. Думают даже, что нет позорнее несчастия, как свалиться с голубятни и убиться до смерти в безумном увлечении при напуске и подъеме голубей. Слово же «голубятник» обратилось в презрительное и бранное: «В голубятниках да в кобылятниках спокон веку пути не бывало»— уверяет народная пословица.

О городских ребятах выговорилось слово неспуста, именно потому, что серьезно поставленная гоньба голубей, с соперничеством на пари, как игра азартная, укрепилась исключительно в наших городах и преимущественно в торговых. В деревнях такими пустяками заниматься некогда, разве воспитывая голубей на продажу. Однако же и здесь голубей заменяют скворцы. Тем не менее здесь твердо верят, что «сегодня гули, да завтра гули, ан и в лапти обули». Зато невозможно представить себе ни одного мало-мальски порядочного города, в особенности старинного, где бы не было настоящих голубятников-любителей. Правда, что нынешнее строгое время, перевернувшее многое наизнанку, а главное, потребовавшее строгого и сторожливого взгляда на жизнь, в значительной степени ослабило эту купеческую страсть и городскую забаву. В некоторых городах она достигла до крайних пределов не больше двадцати пяти — тридцати лет тому назад. Город Тула выделялся более всех других и почитался столицею всяких забав с певучими и непевучими птицами. Он сделался даже притчею во языцех и предметом народных насмешек. Москва, совместившая в себе несколько городов разом, конечно, оказалась не в силах отстать от повальной страсти к козырным голубям, говорящим скворцам, драчливым петухам и т. д. Она прославила курских соловьев и заставила завести для себя заводы канареек в Медынском уезде Калужской губернии, на так называемом Полотняном заводе. Голуби дались легче прочих птиц, потому что оказались более повадливыми к людям и их жилищам и более забавными и послушными.

В самом деле, найдется ли на Руси такой город с мучными рядами и лавками, где бы не шумели сильными и громкими взмахами сизяки (одичалые голуби) на длинных заостренных крыльях, помогающих быстрому,

грациозному и продолжительному полету? Они либо нежно целуются, сидя на крышах, и томно, громко и приятно для уха воркуют, то хлопочут и суетятся около налитой дождем лужи или на водопойной колоде и притопывают проворными и нежными лапками, на которых задний палец касается земли! Они в кучке и не ссорясь между собою клюют выброшенные из лавки целыми горстями зерна, а самчик в густом и красивом мундире, как гусар былых времен на балу, ходит вокруг своих дам, растопырив шейные перья. Такими голубиными проделками можно только любоваться. Вообще не ошиблись люди, признавая эту птичью породу за идеал кротости, целомудрия, невинности и любви (но не ума, которым голуби всех пород вообще не отличаются). Понятна городская любовь к ним, особенно если припомним, что на любителей имеются в природе до двухсот различных видов, и между ними такие занимательные, как воркун или бормотун (он же зобастый), большой, глинистого цвета, и когда воркует, то вздувает зоб пузырем, за что зовется еще дутышом. Трубастый распускает хвост, подобно павлину, колесом или опахалом; плюмажный ерошит свой воротник из перьев. У хохлатого или козырного — хорошенький чепчик и мохны на ногах, делающие его похожим на одетую по парижской моде богатую городскую девочку (иногда у него этих чепцов нет). Белый «чистяк» с черными крыльями носит на них повязки и ходит в кругах, за что ему особенное предпочтение перед другими породами. Огнистый носит на груди манжеты. Рыжий турман, всегда голоногий и изредка хохлатый, на лету вертится кубарем через голову, через какое-нибудь крыло боком или через хвостничком. Он так иногда усердствует править свое дело, «катается вразнобой», что, не рассчитав места, разбивается головой о крышу своей голубятни. Египетский голубь, когда воркует, заливается хохотом, сидя и покачиваясь на стрехах и на сучьях,— словом, всякий вид голубей очень красив и все чистоплотны, кротки и обходительны («голубчик» и «голубка» обратились в самые нежные и сердечные ласкательные приветствия). Голуби привязаны к своим жилищам, кормят других птиц своим кормом и насчет времени очень аккуратны. Этими последними свойствами и воспользовались люди, чтобы сделать из этих птиц серьезную для себя забаву.

Она у солидных людей искала досуга и знала свое время. В праздничный день и во всякое воскресенье теплой летней порой горожанин-любитель поднялся с постели рано, сходил помолиться к заутрене, отстоял обедню. Вернувшись домой, сейчас горячего пирожка поел, щей похлебал, соснул немного, наверставши то время, что израсходовал ранним утром; попил кваску и как был в халате или в рубахе при жилете, так и полез на голубятню и на крышу. Взял он в руки длинную мочальную веревку с хвостом, спустил голубей и замахал мочалом в круги; чем дальше, тем больше. Дошло, наконец, дело до подпояски, а у азартного человека — до халатной полы. Тогда трудно бывает представить себе что-либо смешнее этой бородатой фигуры, которая к тому же и присвистывает, и хлопает в ладоши, и пристукивает палкой, прикрикивая на голубей: «Кысь-кысь!»— пока они ходят в кругах.

Он вскинул сначала ободистого или кладного, которые больше любят летать одинцами и не могут подолгу тешить хозяина в жаркие и тихие дни. Он на этой голубятне родился и здесь выхолен; теперь ему проба.

Поднялся он хорошо, взлетел весело: то притонет, как будто бы в воду приспустился, то немного подастся наниз, то опять полетит крепко. Стал он спускаться, выкруживать книзу: потягивается, вертит шеей на ту и другую сторону. Хозяин доволен: будет хороший летальщик на все лето, в жаркие дни станет летать мягко.

Вот и испытанные «повивные» или «налетные», выпущенные парами и всем гнездом. Не торопятся; круги словно рисуют на бумаге: выходят гибкие, совершенно круглые. Всем кажется, что стоит там для них в воздухе прямой шест и они его видят во всей прямизне и стараются выводить около него спиральные круги, точно часовую пружину тянут: чем выше, тем завивистей и проворней. И все еще летают на виду. Видит глаз и чувствует любительское сердце, что там, в воздушных кругах, голуби «сплывутся или вскипятся» все в кучу и прямо над головой, затем исчезнут.

На это время уже чуть не половина небольшого, но старинного города навострила глаза и, не спуская их, любуется и утешается чужой радостью, которая на этот день и раз как будто своя, домашняя и даже отчасти общая городская гордость. Ребятишки, побросавши городки и бабки, собрались со всех улиц и сгрудились тесной

кучей около того места, где хозяин голубей проверяет число кругов, какое сделали птицы до исчезновения из глаз. Считают с ним вместе и все те, кто любуется; при этом, конечно, просчитываются, заводят споры, ссорятся ребята и дерутся. Сто кругов полагаются обязательными для лучших повивных; после двадцати исчезают из глаз, «теряются летальщики» и т. д. В особенности оживляются группы зрителей, когда с двух разных голубятен вскинули по паре и обе на дальней высоте, сплылись и исчезли. Вопрос о том, в чьей будке они очутятся, куда обе пары выкружат,— настолько живой и горячий, что делаются заклады или пари. Спор идет о том, чья голубка переманит; один продал голубя, другой купил его, подсадил к голубке, кормил пшеницей, держал их в одной клетке несколько недель и не выпускал на волю. Голуби совыкались: голубка привязчива, а голубь всегда обходителен и ловок. Придет пора, что можно на него и понадеяться, спустить его на свидание и для встречи с прежней голубкой. Теперь чья-то возьмет? Вот они все четверо выкружили; книзу идут твердо, все шибче и резвее, не изменяя взлетов, не ломая кругов. В самом низу кружат очень сильно. Но не в этом дело, а куда повернут? Повернул голубь за старой подругой, а за ним потянула в чужую будку и новая; разом все, как по команде, уселись в ряд на гребне крыши. Побежденная пара, без ссор и дальних споров, остается собственностью того, к кому прилетела. Был чужак, теперь стал свояк, «пришатился».

Хорошо выдержанных в жаркий и тихий день можно смело вскидывать раза четыре — они нимало не ослабнут. Летанье отменное, «сплывка» веселая. На Таганке, на Полянке и в Рогожской у Андроньева монастыря это хорошо понимают и высоко ценят, гулом и выкриками делая настоящий базар. На это твердо рассчитали и сами владельцы-любители. Голубя любить, надо его и холить и все предусмотреть.

Переманка голубей у охотников почитается делом законным и справедливым. Голое воровство наказывается суровым самосудом, как одно из тяжких преступлений. Молодых ребят поколотят родители само по себе, а сверстники прибавят к недополученному дома.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Некоторые думают производить его в виде переводного слова с французского языка, хотя, по многим признакам, выражение это можно считать коренным или если и заимствованным, то в очень далекие времена. Метать жеребьи, определяя очереди,— прием, известный библейским евреям,— практиковался и на Руси. Шляпа, валянная из овечьей шерсти, также издревле русский народный головной убор, и белорусский колпак-магерку мы видим на скифских изваяниях. В эти шляпы на всем разнообразном протяжении русской земли бросаются всякие жеребьи в виде условных знаков — будут ли то каменные или надкусанные и нащербленные рубилом монеты, или кусочки свинца с меткой на счастье — при спорах и наймах. «Жеребей — божий суд» (говорит пословица); «жеребей метать — вперед не пенять». Чья метка вынется, на том человеке и всем спорам конец; его право на получение заказа перед соперниками на куплю и продажу, на поставку лошадей в разгон и т. д. неоспоримо, и дело в шляпе ожидало лишь очереди: надевай ее на голову — теперь дело твое из нее уж не выскочит.

БЕСПУТНЫЙ

«Не быть в нем пути»,— говорят про такого человека, который явно не встал на прямую дорогу, обычно ведущую к цели, а выбрал или «попал на неправый, кривой или ложный путь житейский», как выразился Даль и подкрепил общеизвестными живыми изречениями: «Идешь по беспутью к погибели своей», «на беспутной работе и спасиба нет». К нашим удельным князьям приходили с воли свободные люди, бояре-дружинники, и нанимались к ним на службу двояким способом: навсегда — служить до смерти, или на время, «сколь поживется». Первые получали «кормленье»— право собирать известную часть доходов не только с городов, но и с целых волостей. Вторые — мелкие бояре — получали разные должности при дворе, где и служили в разных чинах, пользуясь за служ-

бу содержанием или жалованием (то есть что пожалует князь) с каких-либо доходных своих статей, смотрели — что теперь называется — из «чужих рук», а не брали, как первые, своею «властною рукою». А так как современное слово «доход» в старину называлось «путем»[1], то и княжеские наемники этого рода получили прозвище «путных», или «путников». Иные прямо оправдывали свое звание тем, что разъезжали по поручениям князя, обычно провожали и охраняли в дорогах во время переездов княжеские семьи, но вообще они были на каком-нибудь «пути». Одни собирали на бойких проездных дорогах «мыт» и пользовались доходом от сбора пошлин за товары, провозимые по земле князя. Другие держали путь по владениям князя для сбора ко двору съестных припасов с сел и деревень[2] (это «стольничий путь»). «Окольничий», при походах и разъездах царских, посылался вперед и приготовлял станы, или места царских остановок. У царя Алексея указан был «сокольничий путь», то есть состоял при дворе чиновник, ведавший охоту, и имелись под его рукой рассыльные, собиравшие по дальным волостям соколов, кречетов и иную ловчую птицу. Лица, занимавшие подобные должности, так и назывались: «боярин с путем, сокольник с путем» и т. п. До строгих времен собирателей земли — московских царей — у «путных бояр» оставалась в силе и праве «вольная воля». Высмотрев более богатого и тароватого князя, охочего в посулах, уходили к нему. Здесь такие «послуживцы» получали поместья; так, между прочим, народились из них помещики на свободных землях вольного Новгорода, когда их стал раздавать Иван Третий. Вообще этот класс людей был подвижным (они даже не обязаны были сидеть в городе). Впоследствии многие из них домотались со своим вольным правом, переходя с места на место, до того, что сошли на очень низкую и незавидную степень. На Литве, например, они заняли у панов должности управляющих имениями, стали приказчиками, войтами и даже прямо слугами. Оставшимся при старинном праве и звании «путных» довелось очутиться без прежних почетных путей, а при неудачах

---

[1] Так и писали: «отдали землю на льготу, да в том ему и путь». *(Примеч. С. В. Максимова.)*

[2] Даже у вольного Новгорода из глубокой старины приписывались волости «на путь тысяцкого». *(Примеч. С. В. Максимова.)*

в жизни без промыслов было удобно и легко стать совсем «беспутными» в современном обидном смысле. Неимение определенных занятий все-таки главным образом зависит от того, что у таких людей и в личном характере «не было проку».

НЕТ ПРОКУ

Когда пришельцы-дружинники давали удельным князьям поручные записи служить ему самому и его детям и не отъезжать ни к кому другому, то им, как сказано, давались «в кормленье» и целые города и большие волости. Эти были надежны за клятвою, данною либо «по рукам» (на личном доверии), либо за порукою сильных и влиятельных людей (каковы были митрополиты и духовные владыки стольных городов), и крепки на месте за крестным целованием, также с записью. Эти бояре назывались большими, в отличие от меньших путных, и «введенными». Тут были и приезжие из Литвы или с великокняжеских русских столов, и владельцы значительных уделов. Из этого-то иерархического беспорядка, при совместном служении у московских князей, и выродилось самобытное явление нашей истории — местничество, созданное предками «отчество», дававшее поводы считаться преимуществами рода, а не личным качеством и заслугами. Стало очень важным и щекотливым право, «кому с кем сидеть и кому над кем сидеть» в советах и думах.

Кормление им давалось «с правдою» и «без правды», то есть с наростом обычных доходов, еще право суда с теми пошлинами, которые полагались за разбирательство, решение дела и приговоры. Иным, сверх всего, жаловались поместья в вотчину с правом перехода из единоличного в потомственное владение. Можно было эти владения продавать, обменивать на лучшие земли, дарить излюбленному человеку, отдавать в закуп для молитв по грешной душе своей честным монастырям. Этот способ пожалования сел и деревень назывался отдачею «в прок». Такие счастливцы на свои пустые земли могли звать к себе рабочих людей и «добрых»: свободных от тягол (обязательств ранних) и «не письменных» (нигде

не прописанных). Этим жилось привольно; кормленье шло впрок. Вся суть его заключалась в том, чтобы быть сытыми, на что они сами указывали великим князьям, когда обращались с жалобами, говоря с полною откровенностью. Так, двое бояр (один русский, другой литовский выходец), назначенные вдвоем на один город, били челом, что «им обоим на Костроме сытыми быть не с чего». А чтобы сытыми быть, посланные на кормленье, вместо того чтобы тем городам и волостям расправу и устрой делать и всякое лихо обращать на благо, чинили злокозненные дела, не были пастырями и учителями, но сделались гонителями и разорителями. Бывало так, что один выпросит у горожан на себя «посул», а потом потребует еще и на жену. И «вошло в слух благочестивому государю, что наместники и волостели многие города и волости учинили пусты», разбежался народ кто куда: иные крестьяне разошлись по монастырям бессрочно и без отказу, другие разбрелись безвестно. Деревни запустели, и наместника и пошлинных людей уцелевшим на местах прокормить нельзя: нечем. Между тем наместник и волостели были «честнее» воевод (то есть, по старинному значению, чином и заслугами и в общественном и государственном положении стояли гораздо выше),— чего же могли ожидать от этих, более низких, самые малые черносошные? «Великого князя (отвечают иные жалобы) половиною кормят, а большую себе берут»; по выражению Ивана Грозного, «от слез и от крови богатеют». Воеводы наезжали не только с детьми, но и с родственниками, а так как им была и честь большая и корм сытный, то они привозили с собою всякую челядь, большую дворню. Сверх того, около них же пристраивались с площадей оскуделые люди — подьячие, которые, в свою очередь, «кормились пером». Всем посадские люди несли корм: и деньгами, и пирогами, говядиной и рыбой, вином и пивом и сальными свечами, лошадям овсом и т. д. в бесконечность. Кормленщики разъедались, и чем дальше они кормились от Москвы, тем необузданнее действовали. Мирские люди тех мест нередко вызывались даже на самоуправство, оправдываясь про себя тем, что «до бога высоко, а до царя далеко», «и лаяли» воевод и «хаживали на них бунтом». Пробовали воевод указами смирять, сокращая поборы, ограничивая приносы. Петр Великий «шельмовал» их, но только один из них высветлел на темном фоне ста-

ринного народного быта. То был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин — любимец царя Алексея: он не хотел кормиться на псковском воеводстве, а всемерно старался поднять благосостояние города. Все остальные были на один образец, как образно показано в драме А. Н. Островского. На вопрос о том, каков будет новый воевода, сказано отчаянно безнадежным голосом из толпы молодых посадских: «Да, надо быть, такой же, коль не хуже». Когда спознали, что и в воеводах нет пути и не было проку, то есть ни добра, ни пользы, это звание в 1764 г. совершенно отменили.

ПРАВДА В НОГАХ

Хотя пословица и укрепляет в том бесспорном убеждении, что в ногах правды нет, однако в недавнюю старину ее там уверенно, упорно и с наслаждением искали наши близорукие судьи, с примера, указанного татарскими баскаками. Сборщики податей, а впоследствии судные приказы, взыскивавшие частные долги и казенные недоимки, ставили виноватых на правеж, то есть истязали. По жалобе заимодавца приводили должников босыми. Праведчики, то есть пристава или судебные служители, брали в руки железные прутья и били ими по пятам, по голеням и икрам (куда попадет). Били с того самого времени, когда приходил судья, до того, когда он уходил домой.

Били доброго молодца на правеже
В одних гарусных чулочках
И без чоботов,—

говорит одна старина — былина. Бивали так новгородских попов и дьяконов «на всяк день от утра до вечера нещадно». Чаще всего ограничивали срок битья согласием должника заплатить долг или появлением поручителя. Бирон казенные недоимки, накопившиеся от неурожаев, вымогал тем, что в лютую зиму ставил на снег и все-таки в отмороженных ногах бесплодно искал правды. Стали толковать: «душа согрешила, а ноги виноваты» и «в семеры гости зовут, а все на правеж». Истязуемые умоляли безжалостных заимодавцев: «Дай срок,

не сбей с ног!» Бессильные и безнадежные, когда «нечем было платить долгу, бежали на Волгу». Все эти болезненные вопли и бессильные жалобы ушли в пословицы и, с уничтожением правежного обычая, приняли более смягченный смысл. Плачевный вывод из суровой практики старых времен погодился в нынешние времена лишь в шутливый и легкий упрек доброму приятелю. Стали уверять, что «в ногах правды нет» тех, которые, придя в гости, церемонятся, не садятся[1]. Точно так же: «дай срок, не сбей с ног» обращают теперь к тем, кто в личных расчетах торопит на работе, понуждает на лишние усилия сверх ряды и уговора в тяжелом труде, затеянном либо на срок, либо в самом деле наспех, и т. д. Над упраздненным правежем начали уже и подсмеиваться в глаза заимодавцам: «На правеж не поставишь!» (не что возьмешь!) Какая же, в сущности, правда в ногах? «В правеже не деньги», то есть иск по суду мало надежен,— сознательно говорят и в нынешние тяжелые времена всеобщего безденежья.

ПРАВДА ГОЛАЯ

Александр Невский сказал: «Не в силе бог, а в правде», а русский народ говорит: «И Мамай правды не съел». Однако на всем свете, по всенародному убеждению, правду говорят только дети, дураки да пьяные. В самом деле, многие ли ищут истину и любят правду?

К слову: в последних двух словах, при некотором обусловленном сходстве, есть существенная разница. Истина —«все, что есть», что справедливо, верно и точно, является достоянием человеческого разума, или, говорится, истина *от земли,* в смысле правдивости и правоты, *а правда с небес,* как дар благостыни. По объяснению В. И. Даля, истина относится к уму и разуму, а

[1] И. М. Снегирев говорит, что в буквальном своем значении и в свое время пословица эта заменяла нынешнюю: «На нем взятки гладки», то есть ничего с него взять нельзя, напрасны и мучительные домогательства, как бесцельны и настойчивые просьбы. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

добро или благо — к любви, нраву и воле. Благо во образе, как в форме, доступной пониманию, есть истина. Свет плоти — солнце, свет духа — истина. Истина же во образе, на деле, во благе и есть правда, как правосудие и сама справедливость, суд по правде. По псалтырю «истина от земли воссия, а правда с небес притече». Истина присуща только богам (ее-то и не знал Пилат и громогласно просил объяснения) *; стремиться к истине — значит желать быть добродетельным. Вот почему она встречается так редко. Да и правда, будучи не нагою, не дерзает являться в свет иначе, как прикрытою ложью, чтобы, по русскому выражению, не колоть глаз, то есть не возбуждать ненависти. Правда не так сладка людям, как плоды заблуждения и обманов, да притом же ее трудно проверить, а потому и народный совет: «С нагольной правдой в люди не кажись». Нагая правда, то есть прямая, без обиняков, не на миру стоит, а по миру ходит, то есть не властвует людьми, не начальствует над ними, а, истомившись, сама лжи покорилась. Всякий правду хвалит, ищет, любит, знает, да не всякий ее сказывает, в том убеждении, что и хороша святая правда, но в люди не годится. Пробовала правда спорить с кривдой, да свидетелей не стало, а сталось так, что у всякого Павла оказалась своя правда, и все оттого самого, что она живет у бога. Если хороша эта правда-матка, так не перед людьми, а все же только перед одним богом. И трава перекати-поле, подхваченная ветром, унесла на себе кровавые следы, которые обнаружили убийцу, и ракитов куст тем же способом за правду постоял, но все-таки правде в людях нигде нет места, и не по той же, в самом деле, причине, что она ходит нагишом. Ее уж с древнейших времен, когда настояла надобность изображать в лицах, попросту изображали голою (отсюда и русское выражение: «Правдолюб — душа нагишом»). Ввиду господствующей лжи современные любители и искатели правды советуют одно утешение — в молчании с убеждением и верою, что правда все-таки есть на свете. «Все в нем минéтся, а правда останéтся». Под прикрытием лжи можно долго изловчаться, однако до тех только пор, пока не грянет гроза, очищающая и освежающая воздух, и не разразится буря, ломающая все гнилое и попорченное. «Правда есть, так правда и будет»— говорит пословичная народная мудрость.

ГРЕХ ПОПОЛАМ

С грехом пополам бывает такое дело или даже самая жизнь, что можно выразить также словами: кой-как, так-сяк, с примесью добра и худа, горя и радости, довольным быть нечем, а, впрочем, ничего — не жалуемся, а терпеливо сносим: от греха не уйдешь. Грех пополам — это уже совершенно другое. Пополам с водою и молоко рыночное продается, пополам делят, по обычаю, и общую находку, а «озорники все рвут пополам да надвое». Несогласные семейные наследство делили: пополам перину рубили, не смотрели на то, что давно уже сложилась насмешка на таких людей: «Кувшин пополам — ни людям, ни нам». Пополам также люди торгуют, то есть работают на складочный капитал соединенными силами находчивого ума и налаженной опытом привычки. Впрочем, с такими приемами и воры мошенничают и крадут. В лавке торговец за свой товар запрашивает, покупатель дает свою цену, конечно, меньшую. Между посулом этим и запросом образуется таким образом разность. Она уменьшается по мере того, как соперники борются, слаживаются каждый на своих резонах. Выходит так, однако, что разность все еще такова, что им ее не осилить: тому и другому тяжело и невыгодно, а желательна сделка ради знакомства и других добрых чувств. Вот тогда-то эта разность оказывается «грехом», в смысле помехи, которую и решаются, с обоюдного согласия и по взаимному уговору, рубить на две равные половины, как бы бревно или полено, попавшие под ноги и мешающие ходу.

Таково самое простое, всем известное толкование этого выражения. Нередко каждому доводилось даже применять толкование его на деле, но у нас имеется про запас другой повод, чтобы указать иные применения греха пополам. В народной русской жизни здесь важно то, что этот обычай перешел в судебные разбирательства при исках и тяжбах: суды решают платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется. Так на Дону у казаков и таких же сибирских казаков (иртышских). Во-вторых, этот обычай упоминается еще в эпических песнях. Так, например, Илья Муромец говорит своему крестному отцу:

Батюшка крестный Самсон Самойлович,
Покажи ты половину греха на меня.

У донских казаков, в случае погибели скота во время езды, пастьбы или в случае недостатка доказательств для решения спора, станичный суд определяет платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется.

ГОЛ, КАК СОКОЛ

Кому только не приравняли совсем бедного, бездомного, неодетого и необутого человека! Говорят: гол, как осиновый кол, как перст или бубен, как сосенка. Такие уподобления, взятые для примера, наглядны и весьма понятны и в пальце, скудно прикрытом волосами, и в бубне, обечка которого нарочно обтягивается сухой кожей, тщательно очищенной от шерсти («тяжбу завел — сам стал, как бубен, гол»). Если всем хвойным деревьям судила природа смотреть вершинами только в высокое небо, то сосне заказано это строже других. Исполняя такое назначение, сосна стремится охотнее ели занимать самые возвышенные места, обрастает все горы своей семьей, борами, и не любит соседей. Она глубоко, как редька, пустила свой корень в сухую, большею частью песчанистую землю, но затем растеряла все ветви почти вплоть до вершины и густо скопила их только здесь в виде шапки. Большая часть ствола этих высочайших деревьев во всем свете является совершенно голою и такою же стройною, как все столь прославленные южные пальмы. На просторе, который сосна очень любит, древесный ствол высоко очищается от сучьев, потому что сосна сбрасывает отмирающие сучья и в молодом возрасте дает самые длинные, крепкие и голые жерди. Словом, все эти принятые в разговорном языке сравнения и уподобления с полным правом пользуются общим кредитом. Их довольно бы, но почему-то понадобился еще сокол — хищная птица, один из известнейших тиранов воздушного царства.

Природа снабдила сокола грозными орудиями, настолько надежными, чтобы быть ему сытым и не линять от недостатка пищи. Серый глаз с острым, холодным и

жестким взором, угрожающий погиб клюва, расставленные люто когти — все это признаки могучего силача. Он по природе опытный воин: неподвижно покоится он в прозрачном воздухе, но его пронзительный взор видит все пернатое царство. С быстротою молнии, как всякий хищник, он падает на жертву и, как гастроном, медленно наслаждаясь, высасывает ее теплую кровь. Сокол еще, сверх того, обучается бить на лету особым, любимым охотниками, приемом: он сперва подтекает под намеченную жертву, взгоняет ее, испуганную, ввысь, потом сам выныривает сзади и, взмахнувши крыльями, взлетает вверх и тотчас опускается в то самое время, когда испуганная птица падает как бы с последнею надеждою на спасение. Он, как живой нож, быстро распарывает ее, перерезая горло, и пьет кровь не так, как ястреб, который щиплет куда ни попало, а как запойный пьяница.

Этот-то своеобразный полет и оправдывает ту ходячую поговорку, что «видно сокола по полету, как доброго молодца по ухваткам». На длинных и широких крыльях, подобно орлам, сокол показывает всю силу величавого стремления и поразительную красоту парения. Как рыба в воде, он парит в воздухе, как бы покоясь на незримом облачном столбе, и сам воздух стремится к нему навстречу целыми потоками, ищет и окружает его, проникает в него, подымает и носит.

Оперён сокол так же, как и все летающие птицы, представляя в воздухе непроницаемое целое из бородок перьев, переплетенных между собою. При этом он свободно и красиво плавает в воздушном пространстве, и вся фигура его отличается теми же мягкими контурами, которые при ярких цветах, вообще предназначенных всем хищным птицам, делают из сокола красавца. За это его восхваляют и в песнях, и в пословицах, и в поговорках. Для русского доброго молодца нет лучшего уподобления и наибольшей похвалы. Зачем же этой красивой птице придается такая несчастная, унизительная прибавка, какая указана нами в заголовке? Если сталось так по набалованной привычке к приятному для уха созвучию, то отлично выручает и заменяет кстати подслужившийся и успешно выполняющий свою службу осиновый кол.

Действительно, мертвенно гол и гладок другой «сокол»— одно из старинных стенобитных орудий, которое

обыкновенно выливали из чугуна, подвешивали на железных цепях и ломились им во всякую стену, каменную и деревянную, с большим успехом. Если изловчались придвинуть сокола к воротам, то и от железных створов летели только осколки да куски. Это — то же тяжелое бревно, окованное на одном конце и называвшееся также тараном или, еще проще, бараном. Под именем сокола идут и большие ручные ломы, которыми обычно ломают и гранитные камни и каменную соль. Ручная баба или трамбовка вроде песта — тоже сокол, в работе и от нее не только голый, но и ясный сокол.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ

Та же печка или собственно дым из ее широкого жерла или трубы дал повод к разным общеупотребительным выражениям и поговоркам. В так называемых курных избах, которые ставятся без труб, дым из устья печи валит прямо в избу и выволакивается «волоковым» окном, открытыми дверями либо дымоволоком, выведенным в сени. Говорят: «тепло любить — и дым терпеть», «и курна изба, да печь тепла». Выходит дым из труб над крышей, судя по состоянию погоды, или так называемым восходящим потоком, либо «столбом»— прямо вверх, либо «волоком»— стелется книзу, либо «коромыслом»— выбивается клубом и потом переваливается дугой. По этому гадают на ведро или ненастье, на дождь или ветер и говорят: «дым столбом, коромыслом» про всякую людскую сутолоку: многолюдную ссору со свалкой и суетней, где ничего не разберешь, где «такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом,— не то от таски, не то от пляски».

Когда подымала пыль столбом московская рать Ивана Третьего, шедшая громить Новгород в сухое лето 1471 г., тогда и дым коромыслом буквально и успешно сыграл свою историческую роль на всех трех дорогах, которые вели от Москвы. Тогда немилосердно жгли села и пригороды, убивали без разбора и сострадания и малых и старых и «клали пусту всю землю». Между прочим, осаждали Вышегород и стали сильно теснить

огненными «приметами». Вышегородцы защищались храбро, стреляли метко и убили одного из предводителей, а камнями ловко раздробляли головы. Да не было у осажденных воды, их начала мучить жажда. Дым, переваливаясь через стену и застревая в забралах (наличниках шлемов), слепил глаза и сильно беспокоил. Осажденные не выдержали: вышли со крестами, и воевода их кричал: «Учините над нами милосердие, мы же вам животворящий крест целуем».

БРАТАТЬСЯ

С древнейших времен Руси побратимство умело выражаться в особом слове и оригинальном обычае «крестового брата». Совершенно чужие люди обменивались тельными крестами и обязывались на всю жизнь взаимной помощью и дружбой, более крепкими узами, чем те, которые существуют между кровными родными. Обменявшись, крестились и обнимались, называясь потом «побратимами» и «посестрами». Не так давно в бурлацких артелях заболевший рабочий, которого обычно бросают на дороге на произвол судьбы, если имел крестового брата, был обеспечен. Побратим, несмотря на все тяжелые невыгоды остановки, хлопотал о больном, пока тот не поправится и не удастся его пристроить к какому-нибудь делу. Этот же обычай приладили русские люди к инородцам, наиболее оказавшим способности и заявившим стремления к обрусению (в особенности вотякам) *. Однако похвальным обычаем злоупотребляли, пользуясь беззаветной искренностью и простотой полудикарей, то есть делались побратимами на те случаи, где предполагался перевес выгод и услуг, и переставали держаться обычая, когда он начинал стеснять. На этот случай сохраняется много забавных анекдотов. Однако в этом христианском обычае чисто русского происхождения (теперь, кажется, совершенно исчезнувшем) нельзя не видеть одного из действительных средств к тесным сближениям с аборигенами дремучих лесов на всем пространстве колонизационного движения русского племени. Братались — и плотнее садились на новых землях.

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

Шиворот-навыворот», как и «зад наперед»,— однородное несчастие и прямая неудача: сделать вовсе не так, как бы следовало, истолковать превратно, разъяснить извращенно, сказать и поступить совсем наоборот, думать затылком, как говорят попросту крепкие задним умом деревенские русские люди. Шиворот в обиходном употреблении разгуливает по свету и в смысле ворота и в значении затылка, одинаково в народной жизни имеющих большое значение. Для пущего позора обычно бьют по шеям, сгоняя прочь с занятого места и отказывая от дела, в расчете, что у русского человека шея крепка: многое на ней висит тяготой и бременем — и ничего, выносит себе. Блажен и счастлив тот, кто «сваливает с шеи»— отделывается от докучного дела и освобождается для отдыха; но не завидует никто тому человеку, который «берет на свою шею», то есть на свой ответ, конечно, обязываясь при этом разнообразными хлопотами и многочисленными заботами. За тот же шиворот хватают тех, которых ловят на месте преступления или ведут на суд и к ответу. Равным образом бывает обязательно для всех, как непреложный закон: «по шее и ворот». И самый ворот также имеет большое значение и получает разнообразный переносный и прямой смысл. В последнем значении он служит даже важным племенным этнографическим признаком, по которому легко различаются северные русские люди, пристрастные к косому вороту на верхнем (армяках и полушубках) и на нижнем одеянии (рубахах), от южных жителей (малороссов и белорусов). Эти последние искони предпочитают прямой ворот — с разрезом по середине шеи на гортани — косому, застегнутому на правом боку для пущей защиты груди от холода. В старорусских обычаях этот ворот играл даже более значительную роль: он отличал боярина от простолюдина тем козырем, который на торжества и царские выходы прикреплялся, весь вышитый золотом, серебром и жемчугом, сзади шеи, на затылке к вороту парадного кафтана (зимой к нему пришивался ожерелок, то есть меховой воротник). Расшитый козырь торчал так внушительно, придавая осанке прямое и гордое положение, что до сих пор сохранилось выражение «ходить козырем»: надменно, высоко и прямо держа го-

лову и не сгибая спины, с полнейшим сохранением важного достоинства и вида, с видимым презрением ко всем прочим. С тех пор все, что резко выдается вперед, как бы наступает и грозит, зовется козырем, начиная с кожаного зонтика, пришитого к картузу или шапке, и кончая передком саней, дерзко загнутых кверху. Оказалась козырем та игральная карта, которая бьет остальные масти, и «козырь-девка», которая выделяется от подруг находчивостью, веселым духом, видным ростом и бойкими ухватками и всегда и везде впереди всех.

Ни один боярин ни разу не надевал своего ворота наизнанку и навыворот не по одному лишь тому, чтобы не стать в глазах других посмешищем. С последнею целью выворачивали наизнанку, на исподнюю, выворотную сторону, все носильное верхнее платье, чем особенно любил забавляться грозный царь Иван Васильевич, а за ним и московская чернь. Обреченные на такой позор отягощались еще тем, что их сажали на лошадь лицом к хвосту. И в наши дни, когда второпях надевается платье и нечаянно загнется ворот, поправляют его с невольной улыбкой и поспешностью — и теперь так же точно надеть платье наизнанку значит не к добру: «биту быть», как спроста говорят мужики. К добру выворачивают намеренно они же овчинные шубы и полушубки только на свадьбах, как родители жениха, при встрече молодых из-под венца, чтобы наглазно показать им желание свое быть богатыми, жить в тепле и холе. В старину чаще всего практиковался этот способ выворачиванья одежды наизнанку или — по-деревенскому — наизворот в самосуде над пойманными на месте и уличенными в грязном деле. Однако этот прием не исключителен для русских людей, а, по всему вероятию, сохраняется с древнейших времен. Он, между прочим, употреблялся среди библейских евреев.

ЧУР МЕНЯ

Идут или едут несколько человек в товарищах по одной дороге. Зазевавшийся и неосторожный путник, ранее проходивший тут, обронил какую-нибудь вещь. Вещь эта валяется забытою, и кто-нибудь другой ее непременно подымет. Хозяин оброненной вещи, видимо, не спохватился о своей потере

и не возвращался ее отыскать и взять. Взять чужое, конечно, все равно что украсть; от такого греха избави бог всякого человека. Все так и думают: «Нашел, да не сказал — все равно что украл». Чужую, однако ж, вещь, которая валяется на проходном пути, велят считать за находку: не искал, а набрел на нее неожиданно. Это бывает так редко, что всякому приятно зачесть за особое свое счастье: «бог послал». Если бы вернулся хозяин, объявил, представил доказательства — бесспорно, чужую вещь отдать надо. Отдать ее следует и в том случае, когда бы можно было разыскать владельца; да где же его уследить в незнакомом месте, в целой толпе неизвестных прохожих людей, между которыми всегда можно рассчитывать на обманщика? Он вклеплется, назвав чужую вещь своею. Всего же чаще случается так, что лежит чужая потеря среди чистого поля, в бесследном перелеске и на проезжей дороге.

Хотя находке и не велят радоваться, как об утрате горевать, однако кому же ее взять, когда шло несколько человек? Из глубокой старины установлено так, что, если спутников двое, находку надо делить пополам с товарищем. Не всегда это бывает легко и возможно (смотря по вещи). Если шли втроем, впятером и разделить никак нельзя, да и из деленого каждому почти ничего не достанется и вещь может быть дележом испорчена, в целом же виде она кому-нибудь очень бы погодилась,— как поступить? На этот-то раз выручает одно только слово, этот самый «чур».

«Чур одному!»— спешит выговорить тот, который первый заметил находку. Этим запретным словом он бесспорно и бесповоротно заручил ее за собой как нераздельную собственность: «чур одному — не давать никому». И чтобы вконец было верно слово на деле, к находке притрагиваются рукой. «Чур чуров и чурочков моих!»— говорят при этом в Белоруссии.

У белорусов это слово во множественном числе относится ко всем тем вещам и предметам, которые, будучи приговорены словом «чур», как присвоенная находка, становятся для всех запретными, являются собственностию единоличною, а не общественною. Клады, например, спрятанные в земле, считаются общим достоянием всех ищущих, но остаются собственностию того, кто умеет «чуровацъ» (по белорусскому выговору), то есть словом «чур» ослаблять и разрушать волшебную силу

наложенного запрета или очарования. «Чурую землю, воды и гроши»,— говорится в местных сказках. Например, тамошний рыбак из тверских осташей, ведомых и искусных истребителей озерной рыбы, никогда не возвращается с ловли домой с пустыми руками. С белорусом случается противное, потому что бородатый осташ в кожаном фартуке зачурал во всей стране для себя все рыбные места, все подводные тайники. Как «чаровник», он видит даже, где подо льдом кучатся лещи, спят щуки и т. д. Осенней порой, когда небо покрывается черными облаками, осташ уверенно бросает в озеро сети. Буря вздымает волны, покрытые пеной, а он, как нырок: то появится на ребре самой большой волны, то низвергнется в кипящую бездну; только и видно, как крутятся над ним крикливые птицы-рыбалки. Он знает, что иные породы рыб ловятся только в непогодь, другие — когда тихо и ясно, а потому зовет ветры на озеро, волнует воду, поднимает и беспокоит рыбу, а когда этого не нужно ему, он гонит ветры прочь и возвращает на землю день ясный. Такова сила чарования, ведомая практическим великороссам, по понятию суеверных белорусов.

«Чур пополам, чур вместе»,— торопятся выговорить все товарищи, если все увидели находку разом или когда ранее усмотревший ее не успел или не догадался ее «зачурать», то есть заповедать. По этой причине скорее чурают ее, доколе кто не увидал,— вся тайна и все права в этом. Обыкновенно же поступают так, что, по взаимному соглашению, обязывают того, кто возьмет себе находку, платить соответственную долю товарищам.

Зачурованные, то есть чуром приговоренные, присвоенные находки на этом основании называются также «чурами». А тех людей, которым находками случайно посчастливило в жизни, зовут «чураками».

По народному поверью, помогало слово «чур» с неизвестных времен тем, кто находил клады, то есть зарытые в земле сокровища. Зарывались клады с зароками, например на три головы молодецкие, на сто голов воробьиных и т. п. Три головы должны погибнуть при попытке овладеть кладом — следующему по счету, четвертому, он обязательно достанется.

Надо зарок знать и притом помнить, что клад стережет злая сила — нечисть. Когда клад «присумнится»,

то есть выйдет наружу и покажется блуждающим огоньком и выговоришь зарок, черти начнут стращать, отбивать клад. Тут слово «чур» и очерченный круг только одни и выручают, спасая от мучений.

По народному верованию, на архангельском Севере клады достаются только тем, которые «не обманывают бога», то есть кто, заприметя клад, скажет три раза: «Чур мой клад с богом пополам». Это значит, что дан твердый обет половину из открытого отдать на доброе дело или в пользу церкви.

«Чур меня!»— говорят (и вслед за тем спешат положить на себя крестное знамение) те люди, которых поражает какое-нибудь неожиданное явление: не расшибло бы чем, не убило бы как-нибудь.

Каждый из нас с ранних детских лет хорошо помнит, насколько важно было в товарищеских играх оставить за собою занятое место, хотя бы в игре в медведя, или оставить себя безопасным от ударов и от «ожогов», например в игре мячом (в «лапту»), на рюхах (в «городки»). Кому надо отойти по какому-нибудь частному поводу в сторону, вне порядка игры, тот обязан оговориться: «Чур моя ямка, чур мое место, чур меня!» Зачуровавшийся, ровно как и заговоренное место — становятся священными и неприкосновенными, как бы и впрямь какая-нибудь важная пограничная собственность.

Путник в дороге, догнавший другого пешехода, добрым приветом «мир дорогой» зачуровывает, заговаривает его в свою пользу: вместе идет, коротает время, чтобы не было скучно, сокращаются расстояния, меньше чувствуется усталость и проч.

Деревенские колдуны-обманщики и знахари-лекаря, действуя на воображение, опутанное в туманную существенность, вызывают или нечистых духов, или темные врачебные силы такими заговорами и мольбами, в которых неверующий человек не найдет никакого смысла. Эта бессмыслица в суеверных людях даже увеличивает и страх и веру. Когда ловкие и опытные колдуны видят, что воображение верующих достаточно напугано, они выговаривают страшное слово: «Чур меня, чур!» Этим они желают показать, что нечистая сила уже явилась, невидимо присутствует тут, у него за плечами, и готова творить всякое зло. Но колдун, сильный человек, ее обуздывает, останавливает одним этим могучим словом

«чур меня, чур», то есть не тронь меня, не смей тронуть, в то самое время, когда нежить готова кинуться на людей и натворить разных бед и напастей. За проговоренным же словом все стали безопасны и неприкосновенны, как за каменной стеной, потому что заручены вызванным добрым духом, всегда готовым на помощь, чуром: они «зачурованы»— заговорены от нечистой силы. Для пущей уверенности в том колдуны обратившихся к ним за помощью очерчивают кругом, за который уже не посмеет заскочить самый бойкий и дерзкий чертенок. Велика сила этого слова, и им пользуются все суеверные люди с древнейших времен и повсеместно. Народ твердо убежден в том, что от нападения вражьей силы только тем и избавиться можно, если поспешить очертить вокруг себя круг, хотя бы перстом или палкой, и заручиться заговором, и оградиться криком «чур меня!».

Таким образом, немудреное слово неважного бога живет на русском белом свете заведомо вторую тысячу лет. Всякому делается известным оно с младенчества и пришедшему в зрелый возраст напоминает дорогое и золотое время детства, весну человеческой жизни.

НАКАНУНЕ

Таково свойство всех чисто народных праздников, доставшихся в наследство от предков и цельно сохранившихся со времен славянского язычества, что они начинаются с вечера того дня, который посвящен тому или другому богу. Так, начинают с вечера и прыгают через огни во всю ночь на Ивана Купалу, перед днем перелома лета *. Точно так же в святой вечер, начинающий двенадцатидневные коляды и совпадающий с рождественским сочельником христианских времен (перелом зимы), стелют на обыкновенный стол солому и, покрывая скатертью, ставят обетные кушанья: разварные зерна, насыщенные медовым или маковым соком, овсяный кисель, блины, толокно и т. п. Это — первая кутья, «постная» и первая коляда.

В Малороссии и Белоруссии вторая кутья (исчезнувшая в Великой России) поедается с вечера, накануне

городского Нового года, в деревенский Васильев вечер, в языческую «щёдровку». Эта кутья самая важная; эта коляда настоящая: ласая, мясная, товстая (толстая), щедрая, жирная, богатая, а потому и любимая. Она почтена многими прозвищами за то, что требует непременно мясных кушаньев и, по мере возможности, в роскошном обилии. Здесь первое место принадлежит колбасам разных сортов, ветчине, студню — все из свинины, все жирное и все мясное. С колбасой лезет старший в семье на печной столб в черной рубахе и съедает всю колбасу в расчете на урожай всякого жита. Самая кутья поедается теперь с коровьим молоком или топленым скоромным (а уже не постным) маслом. Девушки хватают со сковородок первые блины и из горшков первые ложки кутьи и бегут с ними на перекрестки гадать — прислушиваться. Молодые ребята выбирают из среды своей самого рослого и красивого парня, одевают его стариком в парик из кудели и в рваное вретище. Это — щедрец, который водит по домам ватагу товарищей, распевающих для подачек особые песни, называемые «щедровками». Молодежь также теперь «щедрует» (гадает), тогда как накануне Рождества она «колядует», славит Христа и коляду. Существенная разница здесь заключается в том, что песен-колядок очень много и они весьма разнообразны, а щедровки от древнейших времен остались в виде маленьких осколков и притом в замечательно ничтожном числе (меньше десятка) и с однообразным содержанием. Великоруссы-псковичи поют: «Щедрин-ведрин, дайте вареник, грудочку кашки, шматок колбаски», а коренные белорусы: «Дарите не барите, коротки свитки — померзли лытки, коротки кожушки — померзли петушки, матка казала, штоб кусок сала» и т. п.

Третья кутья бывает в крещенский сочевник (неправильно сочельник, ибо слово происходит от сочива, именем которого назвается всякий сок из семян: мака, льна, конопли и проч.). Такая кутья (последняя в году) носит прозвание «голодной», потому что она опять постная и оттого, что на этот раз все запасы съедены. Во время первой кутьи первою ложкою чествуют мороз и зовут его есть кутью зимой, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой, не губить посевов. Тогда же обязываются домовые хозяева подарками и приношениями духовным лицам. Отдаривались здесь,

откупались подарками и в Великороссии за грехи, преследуемые этими самыми служителями веры.

В Архангельской губернии под кануном разумеют те «богомольные дни», когда чествуется заветный праздник особо в каждом селении всею общиною, в одном из домов поочередно. Складчина требует, чтобы все участники приносили съестные припасы «по силе — по мочи». В складчину же варят пиво, кое-где освящаемое духовенством. Оттого самое празднество называется «пивà», а самый напиток, с вечера заправленный хмелем, именуется кануном, канунным пивом. Начнут молитвой в сельской церкви за обедней, а кончат попойкой и играми. Чтобы не смешивать таких канунов, справляемых в известные дни (например, на Ивана Богослова, 8 мая, на Илью, на Петра и Павла и проч.), для прочих праздников имеются свои названия: «богомолья, пòварки». Я видел одно торжество, которое мне называли «борода». То было окончание уборки сена (или, все равно, хлеба). Зовут на «бороду», когда дожнут и свяжут последний сноп (белорусские «дожинки», великорусские «обжинки»). Одну кучу стеблей оставят на ниве с колосьями горсти на три; солому разогнут, присыплют туда горсть земли и начнут завивать бороду. Девушки соберут по меже цветы, подовьют их к бороде и разбросают по ниве около того места. Тогда уже идут в избу хозяина угощаться, затем водить хороводы, петь песни, играть во всякие игры. Из кушаньев здесь играет общественную роль «отжинная каша».

Христианская церковь уступила народным привычкам и вековым обычаям и в свою очередь начинает чествовать наступающий праздник также с вечера, совершает «правила». А это последнее слово перевод с греческого «канон», превратившееся на русском языке в «канун» и выражающееся церковными песнопениями в похвалу святого или чествуемого праздника. Эти стихиры, или похвальные тропари, эти ирмосы, или вступительные стихи, выражающие содержание прочих стихов канона и других, иногда читаются, иногда поются на заутренях и вечернях. На таких канунах, как начале отправления праздника, по известным правилам, или, проще, в вечер наступающего знаменательного дня, приготовляются и праздничные столы с символическими кушаньями, то есть «справляют канун». Оттого и все такие дни, «кануны», и всякое совершившееся событие,

всякое законченное дело к известному дню, но во всяком случае в этот, который предшествует срочному или видному празднику, за день, с вечера, породил прямое и ясное выражение «накануне», то есть случилось на тот день и в тот раз, в самый канун. Таким образом, а не иначе, мы вправе понимать слово, поставленное в заголовке, в его расчлененной форме.

Канун, сделавшись самостоятельным словом, выражающим определенный день, в свою очередь допустил в языке новое и законное выражение «канун кануна», то есть день до кануна, вечер перед кануном. Говорят и «накануне третьего года», то есть в четвертом году. В самом деле, и священник ездит и собирает кануны — всякие приношения; и по усопшим совершают кануны, то есть поминки; и в начале и по окончании полевых работ заказывают кануны, то есть молебны; и варят канунцы, то есть заготовляют домашнее пиво и питейный мед. С успехом читают кануны по усопшим на дому приглашенные начетчики. Пошло даже и на то, как откровенно высказывает поговорка, что «хоть сусек снести, только канун свести», лишь бы изловчиться совершить поминки по усопшим родителям. Зато водятся и такие скаредные люди, которые за чужими канунами своих покойников поминают; а иные, руководясь таким правилом, совсем забывают про то, что «если все кануны справлять, ин без хлеба стать».

РУССКИЙ ДУХ

Нянина сказка «О царь-девице» восстает теперь в памяти, как вчера сказанная, а из похождений «Ивана-царевича» припоминаются такие картины.

Выехал он из дремучих лесов на зеленые луга и увидел избушку — и в ней старуха. Сидит она на лавке: шелко̀в кудель точит, через грядку про̀сни мечет, в поле глазами гусей пасет, а носом в печи поварует.

Говорит она Ивану-царевичу:

— Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух в-очью является, сам на̀ дом ладом.

Вторая старуха на другом конце в новой избушке говорит по-новому:

— Фу, фу, фу! Досель черный ворон кости расейской не занашивал, а ноне кость в глаза копает (или: в очи вержет)!

Отвечает добрый молодец не очень вежливо, но зато прямо по-русски:

— Дам тебе поушину, будет в спине отдушина; дам в висок — посыплется песок! Ты бы, старушка, не училась много богатыря спрашивать — училась бы кормить да поить, на постелю спать уложить.

Если мы этого доброго молодца сказки приравняем к Илье Муромцу былин, станет ясен нам образ русского колонизатора, ведущего дело с недобрыми лесными силами. Вот смело пришел он и открыто заявил старинным языком о заветном обычае — все то, что, между прочим, составляет народный характер и дух в переносном значении этого последнего слова. Не погрешим нисколько, если примем слово это и в том значении, которое придает ему одна поговорка. Она тоже в свою очередь выражает иносказание, говоря, что «от мужика всегда пахнет ветром, а от бабы дымом». Не только внешняя обстановка, но и потребляемая известным народом пища имеет влияние на его животный, специфический запах. Поражают обоняние свежего человека все азиатские народы, пристрастные к употреблению чеснока и черемши, но между ними резко выделяются евреи от цыган, и всякий носит свой особый запах: китайцы и персияне, киргизы и самоеды — в особенности те, которые усвоили ношение шерстяного и мехового платья. В равной степени влияют и ароматические приправы к блюдам, и пахучесть господствующих растений страны и т. п.

Со своей верой, при своем языке, мы храним еще в себе тот дух и в том широком и отвлеченном смысле, разумение которого дается туго и в исключение только счастливым, и лишь по частям и в частностях. Самые частности настолько сложны, что сами по себе составляют целую науку, в которой приходится разбираться с усиленным вниманием и все-таки не видеть изучению конца и пределов. Познание живого сокровенного духа народа во всей его цельности все еще не поддается, и мы продолжаем бродить вокруг и около. В быстро мелькающих тенях силимся уяснить живые образы и за та-

ковые принимаем зачастую туманные, обманчивые призраки и вместо ликов пишем силуэты. Счастливы мы лишь энергией в усилиях и неустанным исканием той правды, которая, однако, составляет лучшее украшение художественных созданий текущего гоголевского периода литературы.

Если мы пойдем дальше в объяснении того, что значит «по-русски», то лишь с великим трудом можем свести концы: до того своеобразна и самобытна наша родина! И одеваемся мы не так, как другие, и едим не то, что прочие, и даже носим прическу, кланяемся встречному по-своему, а русская печь, в прямом и переносном смысле, печет совсем уже не так, как до сих пор говорят и пишут. Не забудем при этом, что мы переживаем то трудное время именно теперь, когда освежается и изменяется весь налаженный строй нашей жизни. Изменяется не один внутренний быт, но и внешний облик. Та самая прирожденная и коренная старина, которая совсем недавно, едва не вчера, была у нас перед глазами, стала бесповоротно уходить в предание. Даже самое консервативное явление, как народный костюм, сделался игрушкою прихотливой моды. Мы стоим теперь как раз на том круговороте и пучине, где встретились два противоположные течения, и очутились мы на том рубеже, где старая изъезженная дорога начала уже затягиваться мохом и зарастать травой, а взрытая новая еще не укатана. Такие места, обещая обилие материала для наблюдений, интересны, но самое время переломов и переворотов, увлекающее новизной явлений, нельзя считать особенно удобным. Еще не видать ничего определившегося и законченного. Лишь кое-где по стрежу реки рябят сильные струи, текущие в упор и навстречу, а на полотне дороги засветлели местами уже накатанные, но еще пока свежие колеи.

СКАНДАЧОК

Иногда, вместо того чтобы сказать про человека, поступившего опрометчиво, сделавшего что-либо на авось, как ни попало, или, проще, намах, говорят, что он отпустил скандачка — и попался в беду. В редких случаях пользуются этим словом в ближайшем к настоящему значению смысле про

таких людей, которые придумают ловкий оборот в разговорной речи или остроумный прием на выход из запутанных обстоятельств в общественном быту. Тогда говорят: «Он поступил с кондачка», и при этом пишут слово в том виде, как оно теперь у нас напечатано. Здесь ошибка явная, по силе тех же укоренившихся обычаев — давать превратные толкования окончательно определившимся в языке словам и выражениям. Особенно страдает слово «нарочито», которым сплошь и рядом заменяют слово «нарочно», где прямо подсказывается и прилаживается оно в смысле умышленно, с намерением, тогда как «нарочитый» всегда сохраняет свое древнее значение (вышедшее из обычая) чего-либо отличного, значительного и даже именитого. Так же точно ошибочно при описаниях в газетах каких-либо народных гуляний, благотворительных торжеств, детских елок и т. п. употребляют вместо «сласти» (как лакомства и сладкие закуски, покупные вещи фабричного изделия) — «сладости». Забывают, что последнее слово обозначает исключительно лишь качество всего сладкого на вкус и то ощущение его с последствиями услады и наслаждения, то есть всего приятного не только одним чувствам, но и душе. В слове, вызвавшем эту мимоходную заметку, некоторые усмотрели происхождение слова от названия духовной песни «кондака», всегда сопровождающей, как продолжение и разъяснение другой церковной песни в честь спасителя, богоматери и святых праведников, тропаря. Ничего общего здесь нет, и ни в каком случае даже самого отдаленного смысла заподозрить невозможно. Тропарь есть такая церковная песнь, в которой или излагается образ жизни какого-либо святого, или указывается в общих чертах на образ совершения какого-нибудь церковного праздника. В соответствие тропарю в кондаке воспевается в кратких выражениях христианское значение подвигов святых, славословится Спаситель или богородица.

Значение нашего слова не потребует никаких натяжек и чрезвычайных поисков, если обратимся к картинам народного быта, и на этот раз прямо-таки к русской пляске, во всем разнообразии приемов. Можно плясать чинную великорусскую и разудалого казачка, ходить голубца и делать малороссийскую метелицу, то есть становясь попарно в круг, каждой паре плясать на три лада бурно. Можно, с присвистом и вскриками, пу-

ститься вприсядку, то есть, опускаясь внезапно на корточки, так же быстро вскакивать навытяжку во весь рост. По пословице «и всяк пляшет, да не как скоморох», потому что бывают изумительные мастера выбивать ногами штуки и откалывать разные колена. Вот такие-то добрые молодцы и делают «скандачок», то есть, ловко и сильно ударяя пяткой в землю, немедленно затем вскидывают носок вверх. По этому начальному вступительному приему уже сразу видать сокола по полету, который, несомненно, и расшевелит стариковские плечи и потешит глаза товарищей и молодиц. Он сумеет за скандачком и ударить трепака, то есть пустить дробный топот обеими ногами с мелким перебором. Разуважит он подгулявших зрителей всласть, по самое горлышко, и артистическими коленами вприсядку с вывертами и прискоками, для которых, впрочем, еще не выработано определенных приемов и точных законов, по примеру бальных или театральных танцев.

ЗАТРАПЕЗНЫЙ

Еще на нашей памяти, вплоть до пятидесятых годов, обучавшиеся в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в халатах, носивших название «затрапезных». Эти халаты представляли собою узаконенную обычаем и, кажется, обязательством форму для всех семинаристов, исключая лишь тех, у которых родители были побогаче. Те имели возможность одевать детей или в шинели, или в нанковые длиннополые сюртуки до пят, или, как острили сами семинаристы, «по сие время». Это обстоятельство пришло мне на память в виду недавно встреченного объяснения слова «затрапезный» именно тем, что подобные хламиды всего чаще можно было встречать за монастырскими обедами в трапезах. Отсюда же и самое название перенесено на всякое платье из материала самого дурного качества, поношенное, измятое и истрепанное, дозволительное только в монастырских стенах и терпимое лишь в семинарских классах, на плечах бедных учеников или же мастеровых мальчиков. Известный М. М. Спе-

ранский в подобной затрапезе пришел в ворота Александро-Невской лавры учиться, а потом в ту же лавру в торжественной процессии привезен был на погребение графом, знаменитым сановником, как крупная историческая личность, обессмертившая свое имя огромными трудами, каковы: «Полное собрание законов Российской империи» и систематический «Свод законов». Эта резкая противоположность в его замечательной жизни послужила, между прочим, темою для надгробного напутственного слова.

Как бы то ни было, объяснение слова «затрапезный», несмотря на указанную легкость в изыскании корня, в этом смысле неверно. Произошло название вовсе не от того платья, которое носили семинаристы или в какое одевали бывшие помещики своих крепостных, содержа их в затрапезных или застольных покоях. Это — просто материя, пестрядь или пестрядина, или прямо «затрапез», «затрапезник», получившая свое название от фамилии купца Ивана Затрапезникова, которому Петр Великий передал основанную им фабрику в г. Ярославле. Передал ее царь в поощрение способностей и полезной деятельности, подобно тому же, как это сделал с Никитой Демидовым, получившим от него уральский Невьянский завод, и т. п. Фабрика изготовляла пеньковую грубую и дешевую ткань, пригодную для тюфяков, рабочих халатов, шаровар и т. п.

Столь различное применение пестряди в общежитии вызвало и разнообразные ее сорта. Эта пестрая или полосатая, чаще всего с синими полосами, ткань в торговле до сих пор носит разные названия от ниток основы: третная, где одна нитка основы белая, а две синие; половинчатая — две нитки синие и две белые; погоняйка — в одну нитку редкими полосками, самая грубая; путанка — вся в полосатых крапинках; тяжина, в которой уток идет наискось, не образуя прямой решетки, как вообще принято. Есть еще скворцовая (по цвету), наволочная, рубашечная и проч. С этой тканью отчасти соперничает и ее подсменяет голландский тик с косыми нитками и тоже полосатый, по-видимому, образец и родоначальник нашего прославленного православного затрапеза.

Интересна судьба самой фабрики, живописующая нравы того времени. По смерти хозяина ею заправлял зять, майор, до совершеннолетия наследника. Муж се-

стры этого мальчика возымел намерение воспользоваться его состоянием и оттеснить свояка. С этой целью он украл шурина от учителя, накупил ему голубей и стал всячески развращать его всеми пороками праздности. Мальчик бегал по улице в шутовской одежде, играл с фабричными в бабки, а когда этого недоростка управляющий-зять отправил в Ригу учиться, интригующий зять опять его выкрал. Для пущего успеха он склонил на свою сторону тещу, полоумную, вздорную бабу, постоянно пьянствовавшую со своими фабричными до того состояния, что приходила в неистовство — бросалась ножами, кусалась. Дошло дело до властей. Коммерц-коллегия приняла сторону того зятя, который имел свою шелковую фабрику и, конечно, средства, чтобы подкупить судей. Сенат перерешил дело и наказал коллегию неожиданным, редкостным по тем временам, способом: определил взыскать штраф в пятьсот рублей.

ЗА ПОЯС ЗАТКНУТЬ

Несмотря на всем известную простоту и ясность этого выражения, употребляемого иносказательно в смысле быть доточником или мастером своего дела, самое значение пояса невольно останавливает нас для кое-каких заметок. Мы не историю пишем, а потому не будем говорить о том, как в отмщение за позор и бесчестье по поводу сорванного пояса на свадебном великокняжеском пиру (с Василия Косого) поднялась война, имевшая следствием свержение с престола побежденного великого князя Василия Васильевича Темного. Словом, мы не будем объяснять исторического значения русской подпояски, так как за нею есть и другие достоинства. В самом деле, можно ли найти и указать, даже в настоящее время, хотя бы на одного простого русского человека, вышедшего из деревенской среды, который не имел бы на себе подпояски или пояса? Даже в тех случаях, когда городские обычаи заставляют надевать немецкое платье, деревенская привычка, скрытно для посторонних наблюдательных глаз, остается нерушимою и святою. Святым считается это непременное обязательство в силу того, что при свя-

том крещении всякий православный младенец опоясывается, при молитве о препоясании силою, ленточкой или шнурком по рубашке. Ходить без пояса по рубахе считается основным и тяжелым грехом, хотя и допускается в некоторых редких случаях неимение опояски сверх кое-какой мужской верхней одежды, например кушака или подпоясника, то есть ремня с набором или пряжкою. Отсутствие этой туалетной принадлежности возбуждает у самых простых людей серьезное недоумение и вызывает искренние насмешки. Ни одна догадливая и любящая мать не пустит своего парнишку, рассеянного и необрядливого, без пояса на улицу в силу издавна укоренившегося поверия о порчах сглазу. И по пословице: «Рассыпался бы дедушко, кабы его не подпоясала бабушка». У русских людей, наиболее преданных заветам старины, как, например, у раскольников, этот обычай получает даже строгое мистическое значение. Так, при молитве, налагая истовый размашистый крест во всю длину вытянутой руки, нельзя класть этого знамения поперек, то есть опускать ниже пояса. За крестным знамением следует и малый начал, или поклон, святым иконам опять-таки поясной, то есть во всю спину. Уверяют при этом, что в старых людях, особенно принадлежащих беспоповщинским сектам, сохранилось поверие о делении человеческого тела на две половины: верхнюю — чистую, где помещается душа и сердце, и нижнюю — нечистую, где орудие плоти; «все мы по пояс люди, а там — скоты». Во всяком случае, каждая русская женщина имеет пояс, шерстяной, шелковый, бумажный или плетеный нитяный домашнего дела, поверх сарафана, а в жаркое летнее время, при спешных работах в поле, пояс переносится прямо на рубаху. Заткнувши за этот пояс полу рубахи, сбоку, работающая, как вол, и сильная русская женщина еще с большею легкостию, с усердием и без помехи, отправляет свой честный труд поистине в поте лица своего. Даже и самая крестьянская нужда и деревенское горе являются в наглядном представлении не иначе, как подпоясанными, хотя бы на этот раз и лычком. По длинной до самых пят белой рубахе подпояска, на левом плече серп, в руке ведерко с квасом, под правой мышкой охапка сжатых колосьев — вот и жнея. Обе рукавицы, заткнутые обоими большими пальцами за кушак спереди, и кнут, круто заткнутый сбоку, немного назад,— вот и удалый

ямщик, поблекший уже на красивом фоне картин русского быта, стираемый с лица земли обер-кондукторами и изгоняемый кочегарами в засаленных и чумазых блузах. Топор назади, наискось по спине, закрепленный в петле кушака, означает плотника, приметного и Петербургу ранним утром, с восходом солнца, и вечером, перед закатом его: нарубился, натесался, заложил топор за пояс так, что лопасть с лезом и обух с проухом пришлись снизу кушака, острием к земле, а деревянное топорище просунулось вверх к левому боку,— плотник теперь пошел спать и отдыхать. Обязательный обычай и прием при употреблении подпоясанного одеяния, конечно, вызвал и такие промыслы, которые удовлетворяют этим насущным потребностям. Не говорю о кушаках, для которых на Руси — в разных местах мастеров очень много, но и такая мелочь, как узенькие пояски, обратила на дело ремесла очень многих. Очень славятся пояски тагайские, из симбирского села этого имени, и прòмзинские, той же губернии Алатырского уезда (указаний на другие местности мы не имеем). Богатые семьи покупают шерсть, прядут, красят и потом раздают бедным женщинам на дом для плетенья. Такой шерстяной пояс продается не дороже двух копеек. Но ничего не может быть приятнее покупки на монастырском празднике или ценнее подарка знакомой богомолки, удостоившейся сходить к соловецким угодникам или киевским чудотворцам,— именно в виде подобного пояска, изделия монашеских чистых рук. Как известно и видно из вышеприведенного указания, эти руки отбили от мирян промысел изделиями столь нужного и распространенного предмета. В больших монастырях продажа поясов составляет изрядную статью дохода, крупнее всех для киевского Михайловского монастыря с мощами Варвары-великомученицы. Эти пояса в особенности почитаются в народе вместе с медными и серебряными колечками, полежавшими у мощей в раке святой; ими богомолки в свою очередь весьма с выгодою поторговывают, не без обычных обманов подделками. Особенно заманчивы и прекрасны на девичий взгляд шелковые пояски с вытканными молитвами — рукоделье женских монастырей: «По поясу-то пояски, а по пояскам-то поясочки (полоски) и слова молитовки нанизаны! И сколько тут много всякой благодати и спáсенья!»

СПУСТЯ РУКАВА

Таким чрезвычайно распространенным выражением либо хвастаются ввиду легкой и хорошо знакомой работы, либо исполняют обыкновенную или трудную неохотно, небрежно, кое-как, чтобы только сбыть ее с рук и убежать. «Бегать же с засученными рукавами» — совсем уже ничего не делать, а просто суетиться, зачастую мешая настоящим делателям. Не попало для разъяснения это изречение в ряд других, потребовавших по личному убеждению или по подсказу посторонних лиц, — не попало в первое издание этой книги по своей простоте и очевидному смыслу. Рецензент ее указал на это обстоятельство, как на существенный пропуск, предупредив замечанием, что выражение обязано своим происхождением истории и что здесь подразумевается «древняя одежда с длинными, спускавшимися до земли рукавами, заимствованная от татар»[1]. На это могу сказать в тоне самого рецензента: «пора перестать верить» или, лучше сказать, злоупотреблять ссылками на татар и их влияние в разнообразных заимствованиях, воплотившихся в русскую речь и народный быт. «Отошла пора татарам на Русь ходить», — говорит историческая пословица, применимая в настоящее время, когда позднейшие исследования отбили у татар не только много слов, якобы от них полученных, а между ними оказались половецкие, а кнут даже немецким, но еще большее число обрядовых частностей в жизни, до затворничества женщин включительно. Длинные рукава мы видели в зимнее время и на Амуре у манчжур и китайцев, выдумавших меховые маленькие наушнички, но еще не знакомых ни с рукавицами, ни с перчатками. Озябли руки — китаец спустил загнутый рукав и греется. Неужели нужно было прийти татарам на Русь, чтобы научить бороться с лютыми морозами, оберегая зябкие конечности? Старинные «теплуги», хотя бы в виде шубы, а в особенности полушубка, наиболее удобного

[1] А терлик (несомненно монгольское слово) — самая употребительная и обычная одежда удельных князей и московских царей? Кашинский князь пробежал мимо Твери в одном только таком терлике — халате, похожем на узкий кафтан, почти без сборов. Но он был узкий и имел короткие рукава, даже и впоследствии в одеждах московских царей из дома Романовых. (*Примеч. С. В. Максимова.*)

для работ, сшитого в обхват и покороче, имеют в рукавах ту особенность, что они кроятся узкими, но длинными или, говоря обычным выражением народным, долгими. Делается так с расчетом на запас для набора в сборки к плечам (в полушубках) или чтобы засучивать, отвертывая края (в шубах). Накатанные и засученные рукава не мешают работе ни в лесу с топором, ни с ухватом у печки. Отработал, спустил рукава, стал отдыхать. На рукавицы (кожаные голицы с шерстяными варежками) нет прямых указаний в древних актах, но «перстатые» рукавицы (перчатки) привозились из-за границы, как видно из договоров с ганзейскими немцами. Коренной русский сарафан (встарь бывший мужскою одеждою) у женщин потребовал на рубахах длинных рукавов во весь стан и тоже для набора в сборки ради удобств, а для красоты женские рукава шьются широкими. Таковою изображена на картине, приложенной к Святославову сборнику, сама княгиня и та женская фигура, которая изображена на новгородской иконе в часовне Варлаама Хутынского. Такие же вздутые рукава рубах при безрукавных телогреях и шугаях на борах сзади представляют бесспорное русское одеяние, какого нельзя уже нигде больше встретить. При всей наклонности к подражаниям под увлечением модой, при всей слабости к заимствованиям, исторически доказанным борьбою духовенства и властей с нововведениями в обычаях и одежде, не все взято у татар, не все можно им приписывать. Даже крутой и настойчивый Петр Великий принужден был уступить. Так, например, одевая Русь в немецкое платье голландского покроя, сибирским жителям, «ради их скудости», дозволил он оставаться в прежнем платье.

ХОТЬ СВЯТЫХ ВОН ВЫНОСИ

Иногда говорится так при случаях совершенно противоположного и непохожего смысла, а «святыми» в полное согласие весь русский народ называл те иконы, которые ставит на тябле (особой полочке) и держит в киотах, чтит и бережно охраняет. Староверы, несомненно по обычаю предков, почтение к этим живописным изображениям спасителя, богоматери и святых угодников довели даже до крайности, например прикрепляя занавеси и задергивая лики от всех приходящих православных. Впро-

чем, во многих местах завешиваются иконы во время пиршеств, пляски и других развлечений; нельзя сидеть в шапке, свистать: все это большой грех.

Иконопочитание во всей Руси простирается с древнейших времен до того, что если и существовал (еще до Грозного) иконный ряд в Москве и ими «торговали», продавая на деньги, тем не менее этот термин к иконам неприменим, а заменен словом «менять», «выменивать». Когда в 1540 г. псковичи усомнились в приобретении принесенных на продажу «старцами-переходцами из иных земель» изображений Николы и Пятницы «на рези в храмцах» (изваянных из дерева в киотах), новгородский владыка сам молился на эти иконы, перед ними молебен пел, проводил до реки Волхова на судно, а псковичам наказал эти иконы у старцев «выменять» и встретить их соборно. Понятие о боге и купле, очевидно, не совмещается в уме нашего народа, как не совмещалось оно и во времена язычества. Исстари же ведутся и особые приветы и приспособлены разные приемы в соответствие почитанию икон, называемых и «святынею» и «божьим милосердием». «Честь да место — господь над нами — садись под святые!»— привечают гостя и «кладут» под святые умирающего, вживе обмытого и одетого в саван. Если таковой больной поправился, выздоравливает от тяжкой болезни, про него говорят, что он «из-под святых встал». Зато говорят также и надвое: «Хоть святых вон выноси»— про тех, которые врут не в меру, «и святых выноси и сам уходи», и про бестолковый гам и крик на миру в замену обычного «поднялся содом»: пусть святые иконы не видят греховных людских развлечений и не слышат свиста пустодома. И действительно, выносят прежде всего святые иконы на случай пожарного бедствия в деревнях и при переходе из старой избы во вновь построенную и т. д. Объединявшая Москва, забирая под свою высокую руку обессилевшие удельные города, этим же способом пользовалась как чрезвычайно ловким политическим приемом. Все нижнее тябло в иконостасе большого Успенского собора украшено таковыми иконами-палладиумами из разных русских стран, как победными трофеями. К числу таковых относятся также и колокола, о чем я уже имел случай упоминать в своем месте. Здесь, вероятно, и начало вышеприведенному и повсюду распространенному изречению.

ЩЕЛКОПЕР

Щелкопер — довольно известное укоризненное или бранное слово, недавно лишь утратившее живой корень своего происхождения. Оно, ввиду многих однозначащих и новых, начинает выходить из употребления с тех пор, как перестало быть и казаться совершенно понятным даже до очевидности. По объяснению Даля, это — пустой похвальбишка (бахвал) и обирало, а по Гоголю — достойный презрения ничтожный человек, шатающийся без дела, скалозуб, занятый на полном досуге пересмеиваньем чужих недостатков, но сам владеющий в то же время избытком собственных, непризнанный обличитель, в некоторых случаях даже опасный, друг Хлестакова, душа Тряпичкин, бумагомаратель. В бессмертной комедии оба бранные слова недаром вместе и рядом вылетели из уст городничего, возмутившегося до бешеного раздражения; в его время щелкоперы и бумагомаратели уживались в близком соседстве, даже сидели рядом, будучи одной семьи, кровнородственными. До второй половины истекшего столетия, пока еще мало были известны и вообще не вошли еще в общее пользование стальные перья, а перья машинного очина доступны были лишь губернским и торговым городам, казенное и частное письмоводство производилось гусиными перьями. Этот сорт и существовал в продаже пачками, круто перевязанными крепкой бечевкой красного цвета, наподобие сахарной. Каждый писец обязан был выработать в себе уменье чинить перья, и, конечно, не всякому оно давалось, но зато иными достигалось до высокой степени совершенства и поразительного искусства, чему доводилось не только удивляться, но и любоваться. Ловко срежет он с комля пера ровно столько, чтобы можно было надрезать расщеп, и оба раза щелкает. Повернет перо на другую сторону и опять щелкнет, снова срезавши из ствола или дудки пера именно столько места, чтобы начать очин. Прежде всего, конечно, он вынет из дудки сердцевину, прикинет перо на свет, прищурит глаз, поскоблит обушком ножа цепкую пленку, на ногте большого пальца левой руки отщелкнет в последний раз с кончика расщепа ровно столько, сколько нужно по вкусу любого писца. Перо теперь окончательно излажено «по руке». Отмахнувши кончик

бородки, иной для доброго приятеля из той же бородки сделает елочку — и получается готовое оружие для прицелов. Скрипит оно в руках другого умелого мастера, который действует так же, склонив голову набок, откинув глаза в одну сторону, а пожалуй, даже и язык на отброс. До сих пор перо только щелкало под перочинным ножом на весу и на свету — теперь оно заскрипело в упор по белой бумаге. Стало, словом, так, как предлагается досужей загадкой: голову срезали, сердце вынули, дали пить, стали говорить. А затем бумага терпит, перо пишет — на темные глаза деревенского люда, приученного не верить тому, у кого перо за ухом,— пишет про то, что не стешешь и не вырубишь потом топором, и зачастую недоброе на чужую голову. Бывало, старый подьячий — по пословице — «за перо возьмется, у мужика мошна и борода трясется». В эти-то, теперь уже далекие, времена в том многочисленном сословии, которое было вспоено чернилами, в гербовой бумаге повито, концом пера вскормлено, всегда выделялись особые мастера для изготовления готовых чиненых перьев, особенно для сварливых и капризных начальников. Подбирался сюда народ ни к чему другому не способный, обычно грамоте мало разумеющий и даже в писцы-кописты не годившийся. В эти самые нижние слои чернильного царства по большей части оседали сыновья местных влиятельных лиц, так называемые матушкины, умственно бессильные, нуждавшиеся в покровительстве сильных и сами охотливые до коренной льготы, предоставленной обычаем всем этим щелкающим, а не скрипящим перьям, быть свободными от занятий далеко прежде других. Они уходили из судов и приказов тотчас, как все требуемое для чернильной фабрики количество чиненых перьев было ими изготовлено. Всякий из таких счастливцев-пустозвонов был свободен снова идти гранить мостовую, зубоскалить в общественных садах и на городских бульварах обижать невинных, задевать бессильных и т. п.



Из книги
„НЕЧИСТАЯ, НЕВЕДОМАЯ И КРЕСТНАЯ СИЛА“



ПЛОТНИКИ И ПЕЧНИКИ

О плотниках и печниках распространены в народе многочисленные рассказы, свидетельствующие о том, насколько мстительны и недоброжелательны эти люди в тех случаях, когда им не доплачивают условленной суммы хозяева и подрядчики. Особенно дурной славой пользуются те из плотников, которые известны своим искусством, вроде костромских галичан, знаменитых издревле владимирских «аргунов», вологодских, вохомских и т. д. Так как по известному присловью их «топор одевает, топор обувает, да он же и кормит», то мастерство свое они умели довести до замечательного искусства и даже до шаловливых фокусов, которыми успевают они «морочить глаза» темных суеверных людей. А если отводят глаза, да при этом еще застращивают и похваляются местью, то чем и объяснить все это, как не уверенностью их в помощи нечистой силы, с которой они несомненно знаются?

Про вохомских плотников (в Вологодской губернии Грязовецкого уезда) известен такой рассказ. Однажды они не получили сверх расчета обычного угощения пивом и водкой, и, когда ушли, хозяин послал сына посмотреть новую избу. Вернулся тот перепуганным и рассказал отцу про такое диво, что тот сам пошел проверять и увидел то же самое. Только что вошел он, как выскочила маленькая мышь, за ней другая побольше и еще больше, а последние стали выбегать ростом с сытую кошку. «Запрягай, сынок, поскорее лошадь, поезжай за тем мастером, зови его на влазины, а в Петрецове захвати четверть водки!» Приняли плотника с хлебом-солью и низкими поклонами в новом доме. Выско-

чила маленькая мышь, а мастер только и сказал ей: «Скажи в стаде, чтобы сейчас убирались вон». Не успели они выпить по второй, как большие и маленькие мыши труском и вприскочку выбежали из избы мимо них в двери и в поле.

Около села Кубенского (в 30 верстах от Вологды) по сей день стоит ветряная мельница, совершенно новая, но больше десяти лет не употреблявшаяся в дело. Тем же вохомским плотникам не доплатил мельник трех рублей, и с первого же дня помола всякий раз его отбрасывало от жерновов с такой силой, что он навзничь валился на пол. Приводил он на свою ветрянку и священника с молитвой, но и это не помогло. Плотники советовали купить мельницу другому мужику и обещали ему, что она будет хорошо работать, но тот купить побоялся, а за ним и все прочие опасаются.

В Орловской губернии (под самым городом) подслушали бабы, как владимирские плотники, достраивая хату, приговаривали: «Дому не стоянье, дому не житье, кто поживет, тот и помрет»,— и подсмотрели, что бревна тесали они не вдоль, а поперек, а потом напустили червей. Стали черви точить стены, и едва успел хозяин помереть, как развалилась и хата его.

В Сарапульском уезде (Вятской губернии) построили плотники новый дом. Пришли они попрощаться да и сказали хозяйке: «Ну, тетка, тебе не спасибо, вовек будешь помнить, как ты нас поила-кормила». И вот за то, что она докучала им попреками, укоряя, что много у ней выпили и еще того больше съели, они посадили ей кикимору: никого не видно, а человеческий голос стонет. Как ни сядут за стол, сейчас же кто-то и скажет: «Убирайся-ка ты из-за стола-то!» А не послушают — начнет швырять с печи шубами или с полатей бросаться подушками. Так и выжила кикимора хозяев из дому. Сказывали знающие люди о причинах этого происшествия, но разное: одни говорили, что либо на стояке, либо под матицу плотники подложили свиной щетины, отчего и завелись в доме черти. Другие предполагали, что под дом зарыт был когда-то неотпетый покойник или удавленник и что плотники знали про то и намеренно надвинули к тому месту первые венцы, когда ставили сруб.

Точно так же нельзя было жить в одной избе в Скопинском уезде Рязанской губернии по той причине,

что как только сядет семья за стол, так и летят чашки с печи и с полатей лапти, онучи и пр. И иконы поднимали — не помогло.

В Пошехонской деревне (Ярославской губернии) мышкинские плотники сделали так, что как придет вечер, так на повети и начнет плакаться жалобный голос: «Падаю, падаю — упаду». Придут посмотреть — никого нет. Бились и мучились так до той поры, когда пришел в избу свой же пошехонский швец, ведомый знахарь. «Помоги!»— просят его хозяева. «Ничего,— говорит,— не горюйте». Вышел потом портной ночью, услышал слово «падаю», прошептал свое, какое знал, да и крикнул: «Коли хочешь валиться, то падай на хлеб!» Вслед за тем что-то со страшным треском упало, а после этого в избе уже не «диковалось».

В Белоозерском уезде (Новгородской губернии) в деревне Иглине у крестьянина Андрея Богомолова плотники так наколдовали, что кто из его семьи ни войдет в новую избу, всякий в переднем углу видит покойника, а если войдут с кем-нибудь чужим — не видят. В первую же ночь сына Михаила сбросило с лавки на пол. Решили сломать избу эту и поставить новую. Стали ломать — и нашли в переднем углу под лавкой вбитым гвоздь от гроба.

Такая же недобрая слава установилась и за печниками и каменщиками. Последние в особенности прославились злыми шутками, и притом на всю святую Русь. Найдется ли на ее широком раздолье хотя один такой счастливый город, в котором не указали бы на заброшенный нежилой дом, покинутый и заколоченный наглухо? В таких захолустных домах поселяются черти и по ночам возятся на чердаках и швыряют чем попало и куда попало. В городе Сарапуле (Вятской губернии) в 1861 году пишущему эти строки указывали на соборной площади подобный таинственный дом, а три года тому назад об этом же самом доме сообщали, что верх так и стоит необитаемым уже много лет. Рассказывали, что как только кто-нибудь поселится в этом доме, в первую же ночь слышится голос: «А, окошки поставили! двери сделали!» И поднимется вслед за тем шум, а наутро оказывается, что все стекла в окнах и дверях выбиты. Лет шесть тому назад этот дом так и стоял с разбитыми стеклами. Теперь окна заколочены досками.

В смысле чертовщины за обширную Белокаменную тоже никто не поручится, а в Петербурге на нашей памяти на Фонтанке, близ Калинкина моста, существовал беспокойный дом с зелеными колонками. Лет 10—15 тому назад на такой же дом на Литейной (или на Моховой) указывали все газеты, и толпы любопытных собирались к нему в таком множестве, что вмешалась полиция.

«Один каменщик (пишет корреспондент из Сарапула) из крестьян села Мостовой передавал следующее: «Когда трубу кладем, так артути в перышко гусиное линешь, плотный-то конец оставишь на волю, а другой замажешь. Как затопят после того печку — она и застонет, а хозяева боятся: «Смотрите-ка, мол, каменщик какую штуку удрал».

О такой же приблизительно штуке сообщает и орловский сотрудник: «Плотники просверлят дыру и вставят в нее бутылочное горлышко — ветер дует в это незаметное для глаз отверстие, причем происходит завывание, а хозяин думает, что в его жилище поселили лешего».

Грязовецкие вологжане рассказывают о своих плотниках, что они кладут в один из срубов избы деревянную куклу для того, чтобы «наводило» временами на хозяина страх. А делают это так: по три зари подрядчик спрашивает рабочего, находящегося на срубе: «Что стукаешь?» Рабочий отвечает: «Лень на шабаш». Подрядчик говорит: «Лешему строить шалаш».

Из Шуйского уезда (Владимирской губернии) пишут: сговорились плотники с печниками и вмазали в трубу две пустые незаткнутые бутылки по самые горлышки[1]. Стали говорить хозяева: «Все бы хорошо, да кто-то свистит в трубе — страшно жить». Пригласили других печников. «Поправить,— говорят,— можно, только меньше десятки не возьмем». Взялись сделать, но вместо бутылок положили гусиных перьев, потому что не получили полного расчета. Свист прекратился, но кто-то стал охать да вздыхать. Опять обратился хозяин к плотникам, отдал уговорные деньги на руки вперед, и все успокоилось.

Погрубее и попроще месть обсчитанных печников заключается в том, что один кирпич в трубе заклады-

[1] Вместо бутылки кладут в стену пискульки из речного тростника, дудочку из лубка липы, лозы. (*Примеч. С. В. Максимова.*)

вается так, что печь начинает постоянно дымить, а плотники засовывают в пазах между венцами во мху щепочки, которые мешают плотной осадке. В этих местах всегда будет продувать и промерзать. Точно так же иногда между концами бревен в углу кладут в коробочку камни: не вынувши их, нельзя плотно проконопатить, а затем и избы натопить. Под коньком на крыше тоже прилаживается из мести длинный ящичек без передней стенки, набитый берестой: благодаря ему в ветреную погоду слышится такой плач и вой, вздохи и вскрики, что простодушные хозяева предполагают тут что-либо одно из двух — либо завелись черти-дьяволы, либо из старого дома ходит сжившийся с семьей доброжелатель домовой и подвывает: просится он в новый дом, напоминает о себе в тех случаях, когда не почтили его перезовом на новое пепелище, а обзавелись его соперником.

Всех этих острасток совершенно достаточно для того, чтобы новоселья справлялись с таким же торжеством, как свадьбы: с посторонними гостями и подарками, с приносом хлеба-соли и с самыми задушевными пожеланиями. Плотников задабривают еще далеко загодя: когда сговорятся насчет условий — пьют заручное, когда положат первый ряд основных бревен — пьют «обложейное», когда заготовленный сруб перенесут и поставят на указанное место — опять пьют или «мшат» хату. Точно так же пьют при установке матицы (это тот брус, или балка, который кладется поперек всей избы, и на нем настилается накат и укрепляется потолок). Матицу «поднимают» и «обсевают» в полной обрядовой обстановке, повсеместно одинаковой, как завет седой старины. Вот как это делается: хозяин ставит в красном углу зеленую веточку березки, а затем из среды плотников выступает такой, который половчее прочих и полегче на ногу. Это —«севец», как бы жрец какой, отгонитель всякого врага и нечистого супостата. Он и начинает священнодействовать: обходит самое верхнее бревно, или «черепной венец», и рассевает по сторонам хлебные зерна и хмель. Хозяева же все это время молятся богу. Затем севец-жрец переступает на матицу, где по самой середине ее привязана лычком овчинная шуба, а в карманах ее положены: хлеб, соль, кусок жареного мяса, кочан капусты и в стеклянной посудине зелено вино (у бедняков горшок с кашей, укутанный в

полушубок). Лычко перерубается топором, шуба подхватывается внизу на руки, содержимое в карманах выпивается и поедается. Весь этот обряд имеет, разумеется, символическое значение: зеленые веточки березки, которую хозяин, предварительно обрядя, ставит в переднем углу вместе с иконой и зажигает перед ними свечку,— служат символом здоровья хозяина и семьи; шуба и овечья шерсть, вместе с ладаном заложенные под матицу, обозначают изобилие всего съедобного и тепло в избе.

ЦАРЬ-ОГОНЬ

Древнее почитание огня, основанное на величайших услугах, оказанных им человечеству, и в настоящее время не совсем изгладилось из народной памяти. Хотя это теперь лишь обрывки чего-то целого, разбитые и не скрепленные в одну непрерывную цепь, но и по ним с полным основанием можно заключить, что эти обломки былого миросозерцания представляют собой не что иное, как остаток древнего богопочитания. Стихия, дающая тепло и свет, снизошла с неба, чтобы разделить свою власть над человеческим родом лишь с другой, столь же могучей стихией — водой, которая ниспадает в виде дождя и снега, образуя на земле родники, ручьи, реки и озера, а в смеси с солями — и моря. Эти последние оказались прямыми и облегченными путями для заселения земного шара, огонь же пришел на помощь для повсеместного распространения и закрепления оседлости человеческого рода на материках. Многоводные русские реки привели первых насельников на обширные, глубокие озера, на берегах которых основались самые первые опорные пункты, послужившие средоточием политической жизни и прикрытиями дальнейшего ее разветвления по междуречьям, в дремучих непочатых лесах. Сюда врубился топор и, при содействии огнива, проложил дороги и отвоевал места, удобные для земледелия, а стало быть, и для оседлой жизни. На срубленном и спаленном лесе объявились *огнища*, или пожоги, они же новины или кулиги — места, пригодные для распашки. Народился на русской земле, в самое первое время ее истории, особый класс поселян-огнищан или «житых

людей», хозяев-землевладельцев, крестьян-пахарей; выработался особенный вид крестьянского хозяйства, огневого или кулижного, общего всей северной лесной России, дожившей от времен Рюрика до наших дней[1].

Но, составляя основу человеческой культуры на земле, огонь вместе с тем является и истребителем ее: при неудачном и несчастливом применении он временами проявляет могучую и страшную силу, которая сметает с лица земли все, что попадается ей на пути, и которая заставляла первобытных людей в благоговейном трепете поклоняться огню и умилостивлять его молитвами и жертвами. Та же сила поддерживает и в современном поколении неизбывное тревожное состояние души, и в этом отношении лесная и деревянная Русь находится даже в особенном, исключительном положении перед прочими странами: она представляет собой как бы неугасимый костер, который, никогда не потухая совершенно, то ослабевает, то разгорается с такой чудовищной силой, что пропадает самая мысль о возможности борьбы с ним; целое море пламени каждый год огненным вихрем проносится из конца в конец по нашей многострадальной земле и без остатка истребляет леса, засеянные поля, деревни, села, города. Выросшие под впечатлением этих вечных пожаров, русские люди воспитали в себе наследственный, заразный страх перед силой огня: они целыми веками живут под его грозной властью, почти не помышляя о борьбе и только цепенея от ужаса. Впрочем, и то сказать — русские пожары так грандиозны, что хоть кого приведут в панический страх. Пишущему эти строки приходилось наблюдать один из таких колоссальных пожаров в 1839 году в Костромской губернии. Это было поистине нечто потрясающее. Потускнело солнце на безоблачном небе в знойную июльскую пору, называемую верхушкой лета, и в самый полдень стало так темно, что надо было зажигать огни. Прозрачный воздух превратился в закопченное стекло, сквозь которое яркий диск жгучего светила казался кружком, вырезанным из красной фольги, до-

[1] Тот же огонь, который пособил земледелию укорениться в лесах, содействовал в степных местах развитию скотоводства «напуском палов», или искусственных пожаров, осенью или ранней весной выжигающих все луга, пастбища и покосы, чтобы старая трава — *ветошь* — не мешала расти молодой и чтобы попутно сгорали зародыши вредных насекомых, до саранчи включительно. (*Примеч. С. В. Максимова.*)

зволявшим безопасно смотреть на себя: не переломляются лучи, не льется животворный свет и не исходит живительная теплота.

То был год страшных местных пожаров. В ста верстах от пожарища чувствовалась ужасающая сила огня-царя и его сокрушительное господство над дремучими лесами. Ясно видны были и трофеи его несомненных побед; дым в подветренной стороне до того сгустился, что перед полуднем начали изменяться цвета предметов: трава казалась зеленовато-голубой, красные цвета стали желтыми. Пепел, а с ним перегорелые листья, затлевший мох, еловые и сосновые иглы, переносились через стоверстное расстояние, и дождевые капли, пролетая по воздуху, наполненному пеплом, принимали красноватый оттенок. Народ говорил: «Идет кровавый дождь»,— и был уверен, что начинается светопреставление. И действительно, в иной день в воздухе, наполненном дымом, трудно было дышать; домашний скот искал спасения в воде и только там получал некоторое облегчение. Люди в страхе толпились по улицам и боялись входить в дома. Некоторые молитвой и покаянием приготовлялись к смерти и встрече антихриста. По лесным деревням мужчины надевали на себя чистое белье, женщины спешили шить себе саваны.

Ужас, повсюду распространившийся и охвативший не только людей, но и домашних животных, в некоторых местах достигал наивысшего предела, где раскаленная огненная стена надвигалась, как плотная военная рать с метким огненным боем. При вое урагана в одном месте вспыхнуло — это порыв ветра перебросил галку (горящую головню) или огненный шар (свившуюся, скрученную жаром пылающую лапу, оторванную бурей от ели) — вспыхнуло, стало быть, загорелось свежее место; примолкло — значит, разгорается, дунул новый порыв ветра — раздул огонь в пламя. Оно своим треском, шипеньем, свистом и визгом дает знать о том, что вошло в полную силу и стало неудержимым. Теперь оно понесется все вперед и вперед, на громадных расстояниях сметет с лица земли все, что попадется навстречу. Один очевидец[1] пробовал описать это поразительное зрелище, и мы с его слов постараемся дополнить картину лесного пожара.

[1] Граф Н. С. Толстой: «Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской губернии». (*Примеч. С. В. Максимова.*)

«При грозе, в сухие годы, жарким днем в глухом чапыжнике иль на бору, заваленном валежником, вид обширного лесного пожара бывает поразительно величествен. Напирающая по ветру грозная стихия сплошным пламенем пожирает на пути своем весь сухой вереск, валежник от ветроломов и разных лесных промыслов, сухой мох, торф, стоячие сухары и самые сучья свежих деревьев. Сплошное пламя взлетает по ним, как истинный Змей-Горыныч, с неимоверною быстротою. Этому способствует раскаленная атмосфера, предшествующая пожару и иссушающая хвою и листья зеленых деревьев от макушки до половины дерева гораздо раньше, чем пламя подступит под пни корчащихся, трещащих и обливающихся смолою сучьев. Прибавьте к этому вой урагана, завыванье волков и других зверей, спасающихся от гибели, раскаты грома, блеск молнии, озаряющей мглу небесную. Стонут падающие исполины, пламенными радиусами рассекающие воздух. Дым клубится мглистыми, багряно-синими, кроваво-красными волнами. Кипят и пылают смоляные фонтаны, тончайшими струйками бьющие из каждого излома лопнувшей коры огромных хвойных мачтовиков. Пожирает громадные ребра необъятных костров (ветроломов), нагроможденных в хаотическом беспорядке исполинскими грудами в десяток и более сажен вышиною, в несколько десятков верст протяжения и в сотню сажен поперечника. И не в пожар костры эти могут привести ночного путника в содрогание, представляя нередко самые фантастические образы фосфорическим светом своим, но в это время они просто ужасны».

Этот лесной пожар (того же 1839 года), охвативший девять уездов двух смежных губерний (Костромской и Нижегородской), начавшийся 29 июля, потух лишь 5 сентября, когда выпал глубокий снег. В некоторых местах удалось ослабить свирепость огня, а в иных и вовсе остановить яростный напор его искусственными мерами: зажигали «встречный пожар» из заранее приготовленного горючего материала, сваленного около проездных дорог и нарочно вырытых канав. Их оберегали рабочие, вооруженные метелками из свеженарубленных длинных березок[1]. Ползучий огонек в

[1] Тем же способом — напуском встречных палов — руководятся в русских и сибирских степях, когда разгорается напускной напольный огонь: охватит деревню, захватит врасплох косцов меж-

подготовленных небольших кострах из сухого моха, лапок и шишек сначал бессилен, но затем начинает шириться против ветра и ползет навстречу коренному пожару. На пути своем намеренно вызванное пламя уничтожает все то, что могло бы служить пищею грозно наступающему врагу. «По мере расширения своего (говорит один из очевидцев, принимавших участие в тушении пожара в Заволжских лесных чащобах Макарьевского уезда Нижегородской губернии) и по мере согревания атмосферы, искусственный огонь становится сильнее и сильнее. Пройдя несколько десятков сажен, он сам уже делается пожаром и стремится все быстрее и быстрее навстречу противнику, несмотря на противодействие ветра, который лишь определяет направление отрываемых горящих лап и путь коренного пожара, идущего по свежим, не отожженным местам. Ветер, вызванный движением пожара, не может помешать медленному расширению встречного пламени, ползущего с травки на травку, и только лишь замедляет его в наступательном действии. Наконец, искусственный пожар вступает в палящую огнедышащую атмосферу гонимого ветром настоящего пожара и яростно бросается навстречу ему. Бой по всей линии оглашает окрестность по мере скопления противных сил. Эти мгновения бывают торжественны! Тут чудятся и артиллерийские залпы, и взрывы, и пламенные зубчатые строи лесных великанов, напирающих друг на друга и борющихся всеми крутимыми жаром, переплетенными своими ветвями. Пламя вздымается стена на стену и, при страшных порывах, проявляет мгновенно исчезающие смерчи или столбы клубящегося огня, винтом взвивающегося к небу. После этой общей схватки, где рухнул не один величавый титан, презиравший ярость всех ураганов, все затихает. Пламя садится, и смрад, несжигаемый им, покрывает окрестность, чадит, ест глаза и стелется низом во мраке; одни необъятные груды ветроломных костров долго пламенеют еще в смрадном чаду и, от времени до времени садясь и рушась, извергают миллионы искр, исполинскими фейерверочными снопами рассыпающихся над пожарищем. Картина из грозно-величе-

---

ду небом и землей без укрытия и разольется огненным морем. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

ственной делается грустной, тяжелой и печальной, как после битвы. В особенности грустны, тяжелы и печальны последствия таких роковых явлений, когда им предшествует засуха и сопровождает их подъем из болот вредных испарений, от которых начинаются падежи скота и повальные болезни на людях. В таких случаях суеверные пророчества о новых предстоящих бедствиях обыкновенно усиливают сердечную тоску и душевные тревоги среди обездоленных и угнетенных.

Естественно, что под влиянием подобных устрашительных явлений природы мог свободно укрепиться культ почитания огня; этот культ выразился у славян в поклонении Перуну, а у соплеменной Литвы — в почитании Знича. Но начало его восходит ко временам доисторическим, когда древний человек, пораженный зрелищем молнии и грома, обоготворил это явление природы и тем положил начало поклонению огню, которое сохранилось и до наших дней. В Вильне и теперь могут указать то место, где горел вечный огонь и жил жрец, его охранявший, а по всему северо-западному краю великорусская «моланья», «молатка» (молния) зовется не иначе, как «Перуном» (ударение на первом слоге). Это мгновенное освещение тучи и неба огненной струей повсюду среди славянских племен признается небесным огнем и издревле называется священным, причем, если гром ударит в человека или в строение, то никто не станет их спасать, считая это сопротивлением воле божией. Предрассудок этот распространен как в целой Литве, так и в Белоруссии, и понятно, что он порожден верой в Перуна. Тот же предрассудок можно наблюдать и в Великороссии: если молния зажжет строение, то крестьяне считают это божьим наказанием, ниспосланным свыше. Противиться ему невозможно, но надо воспринимать с чувством умиления и благоговейной покорности; точно так же людей, убитых молнией, многие считают святыми. Между прочим, из Ярославской губернии получаются такие сведения: «Кто умоется водой во время первой грозы, тот в течение целого года не будет хворать никакой болезнью». Средством, предохраняющим человека и его имущество от гибельного действия молнии, является тот же огонь: следует держать в доме головню от пожара, происшедшего от молнии, но когда молния опять причинит пожар, то пламя можно тушить не иначе как исключи-

тельно одним молоком (или молоком от бурой только коровы). Последний предрассудок еще настолько распространен, что его можно считать общим для всего женского населения России. Не хватит молока — заливают квасом, но отнюдь не водой. От воды же такой огонь только больше разгорается. Существует и другой предрассудок (вполне, впрочем, невинный), к которому точно так же прибегают при тушении пожаров, происшедших от молнии: в костер пожара бросают яйцо, так называемое «первохрестное» (им первым привелось похристосоваться) в предположении, что только им одним можно затушить пламя (верят также, что если бросить яйцо против ветра, то можно отклонить в ту сторону направление пламени).

Когда в христианской Руси этот небесный огонь из глиняных рук Перуна передан был в незримую длань библейского пророка Илии и подковы копыт огневидных коней его вместе с огненными колесами пламенной колесницы начали выбивать искры и производить гром, явилось верование, что рука всехвального пророка мечет на землю молниеносные стрелы, чтобы разить на смерть злых духов, враждебных человеку. Ведая про то, злые, но трусливые бесы в неописуемом смятении мечутся по земле, отыскивая себе надежные места для защиты. Обыкновенно скрываются они в жилых и нежилых строениях, вскакивая через открытые двери и окна и влетая через печные трубы и всякого рода отверстия. Столь же нередко спешат они укрыться в густой хвое, в тени развесистых листьев деревьев, за всяким подходящим прикрытием. В числе последних самыми надежными, вполне безопасными считаются в блудливом бесовском сонме живые люди, застигнутые под открытым небом на лошади или в телеге, так как небесная огненная стрела находит виноватого всюду и разит без разбора, убивая из-за бесов и людей (бесы вполне безопасны от ударов молнии лишь в чистом поле на межах). Илья, впрочем, знает невинность того человека, которого избрал дьявол себе для защиты, и жалеет божье создание, хотя в то же время твердо убежден, что все равно тот человек, в которого успел вселиться дьявол, погиб бы, так как злодей не покинет своей жертвы уже во всю жизнь и рано или поздно заставит потонуть или повеситься. Илья — усердный божий помощник в борьбе с нечистой силой — не толь-

ко не враг человеческому роду, но радетель и старатель за православный люд; убивает он избранного, как случайную жертву, в уверенности, что бог милует и приемлет таких несчастных, удостаивая их царства небесного, так как они явно сослужили полезную службу людям своей смертью, которая вместе с тем вызвала одновременно и смерть злого духа. Вот почему для заграждения себя от дьявола, кроме общепринятого обычая крестить рот при зевоте, издревле установилось благочестивое правило налагать на себя крестное знамение и при всякой вспышке молнии со словами самой простой молитвы: «Свят, свят, свят».

Осторожные хозяева в деревнях предусмотрительно соблюдают все, что указывается вековечными обычаями, зародившимися в глухие и давние времена безверия *, чтобы обезопаситься от беса, не допустить его прятаться в избе и тем подвергать ее в грозное время опасностям пожара.

С этой целью опытные, пожилые деревенские хозяйки советуют: «Во время грозы нельзя быть с растрепанными волосами, в подоткнутом платье — много места тут укрываться анчутке-беспятому (бесу). Всякую посуду в избе надо опрокинуть, если она пустая; налитую следует поспешно закрестить. Не надо в голове искаться: не одну такую бабу стрела забила насмерть, других же оглушила». Полезно также держать на чердаке громовую стрелу или чертов палец (белемнит — скипевший или вообще сплавленный ударом молнии песок). В последнее средство слепо веруют все поголовно, и, найденный на песчаных берегах речек, этот конусообразный камень в виде пальца бережно прячут и тщательно хранят. Но всего полезнее держать пост, особенно в Ильинскую пятницу, или мазать молоком косяки дверей и окон, полезно также вывешивать за окно полотенце с покойника. Если же бес не побоится ни того, ни другого, то, наверное, не устоит он перед горящей свечкой, с которой молились в Страстной Четверг на «стояниях», когда читались 12 евангелий Господних Страстей. Хороши и пасхальные, а того лучше богоявленские свечи — уверяют богомольные деревенские люди, не раз применявшие этот способ на деле с видимым успехом.

— Громовых стрел два сорта: от огненных происходят пожары, а каменные или чугунные убивают людей,

расщепляют деревья[1],— толкуют словоохотливые деревенские старушки, и каждая из них на случай грозы припасает ладан, чтобы посыпать его на уголья в печной загнетке или на раскаленную сковородку, так как «черт ладану боится».

Кроме «небесного» огня, великую силу имеет также тот сорт огня, который обычно называется «живым».

Крутили мужики около палки веревку, веревка загорелась. Приняли огонь на сухую смоляную спицу — развели костер. Разобрали огонь по домам и старались его долго поддерживать. Очень его ценили и почитали, потому что это был именно «живой огонь», из дерева вытертый, свободный, чистый и природный. Вологодские мужики сняли колосники (жерды) с овина, изрубили их на части и также терли, пока те не загорелись. Огнем таким разожгли они костры: один на улице, другой в скотском прогоне, третий в начале поскотины и четвертый в середине деревни. Через второй костер перегнали они весь скот, чем и воевали с сибирской язвой.

Вообще, как мера борьбы с болезнями, живой огонь в большом употреблении. В одной деревне, например, умирал народ от тифозной горячки, и крестьяне, чтобы избавиться от нее, задумали установить праздник, положивши чествовать Николу-Угодника. Собрались они всей деревней, от мала до велика, и положили тушить в избах все огни до последнего уголька, для чего залить все горнушки (печурка, загнетка, бабурка и проч.). При этом мужики строго-настрого наказывали бабам не сметь топить печей, пока не будет приказано, а сами притащили к часовне два сухих бревна, прикрепили к одному рукоятку, как у пилы, и стали тереть одно бревно о другое. Но на этот раз, как ни бились, ничего не вышло: бревна нагрелись, даже обуглились, а огня не появилось. «Значит,— заключили крестьяне,— не указ, богу не угодно. Надо попробовать в другое время!» И порешили устроить праздник на третье воскресенье после Пасхи. Снова принялись за бревна — огня добывать. На этот раз промеж бревнами в щели всколыхнулось как бы малое-малое пламя, и огонек обозначился. Подхватили его на сернички, подложили

[1] По мнению захолустных крестьян, молния особенно часто ударяет в телеграфные столбы, так как они неугодны богу. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

огонь под костер, разожгли, стали через огонь прыгать по-козлиному, а стариков и малых детей на руках перетаскивали. Разнесли потом огонь по домам, затопили печи, напекли-нажарили. Затем подняли иконы, позвали священника, пригласили всех духовных, стали молиться. За молебном начали пировать, безобразить в пьяном виде на улицах и бесчинствовать до уголовщины: соседку помещицу за то, что она не послушалась мирского приговора и затопила печи, не дождавшись общественного огня, наказали тем, что выжгли всю ее усадьбу с домом, службами, хлебными и всякими запасами.

Все подобные священнодействия, переданные народу по прадедовскому завещанию, предпринимаются, главным образом, в виду защиты себя и домашнего скота от повальных болезней. Там, где эти падежи часты, как, например, в Новгородской губернии, для вытиранья живого огня устраивается даже постоянное приспособление в виде машины, так называемый «вертушок»[1]. Два столба врыты в землю и наверху скреплены перекладиной. В середине ее лежит брус, концы которого просунуты в верхние отверстия столбов таким способом, что могут свободно вертеться, не переменяя точки опоры. К поперечному брусу, одна против другой, приделаны две ручки, а к ним привязаны крепкие веревки. За веревки хватаются всем миром и среди упорного молчания (что составляет непременное условие для чистоты и точности обряда) вертят брус до тех пор, пока не вспыхнет огонь в отверстиях столбов. От него зажигают хворостины и подпаливают ими костер. Как только последний разгорится, все бросаются к стаду, которое еще накануне священного дня было сбито в табун и выгнано в поле к ручью, и затем, не пропустив ни одной животины, перегоняют всех через огонь. А чтобы вера в очистительную силу этого огня стояла в деревне крепче, по обеим сторонам костра выкапывают две ямы: в одну зарывают живую кошку, в другую собаку — этим отнимают у чумных оборотней силу бегать по дворам кошками и собаками и душить скотину. Этот обычай окуривания практикуется и в Олонецкой

[1] В старой Новгородчине (в Череповецком уезде) подобный обычай укрепился настолько, что крестьяне не ожидают даже каких-нибудь внешних поводов для вытирания огня, а ежегодно, в Ильинскую пятницу добывают себе живой огонь и затем затопляют им все печи. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

губернии (например, в Петрозаводском и Лодейнопольском уездах), где он является в форме строго обязательного карантинного обряда с тем различением, что в одних местах костры зажигаются обыкновенными спичками, в других стараются добыть из бруска живой огонь[1].

Уверовав в скрытую, таинственную силу живого огня, крестьяне вместе с тем не теряют благоговейной веры в мощь и влияние всякого огня, каким бы способом он ни был добыт. Коренной русский человек, с малых лет приглядывающийся к родным обычаям и привыкший их почитать, не осмелится залить или плюнуть в огонь, хотя бы он убедился на чужих примерах, что за это не косит на сторону рот и виноватые в этих проступках не чахнут и не сохнут. Точно так же те, которые придерживаются старых отеческих и прадедовских правил, не бросят в затопленную печь волос (чтобы не болела голова), не перешагнут через костер, не сожгут в нем экскрементов человеческих из боязни корчей и судороги тем людям. Почтение к огню во многих местностях Великороссии (а в Белоруссии повсюду) доведено до того, что считают великим грехом тушить костер на полях, теплины на ночном и т. п., предоставляя самому огню изнывать в бессилии и тухнуть. Оберегая огонь от набросов нечистот, сжигают в печах сметенный сор и не выносят его вон, не выбрасывают через порог, чтобы не разнесло ветром и чтобы недобрый человек по нем, как по следу, не наслал порчи[2]. При наступлении сумерек огонь зажигается всегда с молитвой, и если при этом иногда начнут ссориться между собой невестки, то свекровь говорит:

— Полно вам браниться, удерживайте язык, аль не видите, что огонь зажигают?

И ссора прекращается, перебранка смолкает.

— Огонь грех гневить — как раз случится несчастье,— говорят крестьяне, вспоминая известную легенду, предостерегающую от перебранок при зажигании огня. Вот эта легенда или, вернее, нравоучение:

---

[1] Маленький брус кладется на порог избы. Пять человек берутся за другой, больший, и начинают пилить, как пилой; добытый огонь принимают на трут, а с него уже на сернички. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

[2] Отсюда и выражение «выносить сор из избы», то есть разглашать семейные тайны, не держать секретов. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

«Зажглись на чужом дворе два огня и стали между собой разговаривать:

— Ох, брат, погуляю я на той неделе!— говорит один.

— А разве тебе плохо?

— Чего хорошего: печь затапливают — ругаются, вечерние огни затепливаются — опять бранятся...

— Ну гуляй, если надумал, только моего колеса не трогай. Мои хозяева хорошие: зажгут с молитвой и погасят с молитвой.

Не прошло недели, как один двор сгорел, а чужое колесо, которое валялось на том дворе, осталось целым [1]».

Когда на Руси появилось христианство, оно хотя и ломало коренные народные обычаи, но в то же время зорко присматривалось к наиболее упрочившимся предрассудкам и старалось осторожно обходить их. Поэтому и огонь, издревле почитаемый русскими людьми, оно приняло под свое священное покровительство. Провозвестники нового учения оценили в огненной стихии ее очистительное начало и, угождая всеобщим верованиям, признали в нем освящающую силу. В таком смысле внесли слово «огонь» и в молитвенные возношения, поставив его с изумительным дерзновением неизмеримо высоко, наравне с дарами Святого Духа. Несколько веков стояло это слово в церковных требниках не на своем месте и произносилось в возгласах при освящении воды в навечерие Богоявления: «Сам и ныне Владыко, святив воду сию Духом Твоим Святым и *огнем*», пока не догадались, что это явная и грубая ошибка, противная коренному смыслу христианского верования. Так было до 1616 года, когда духовному люду привелось твердо убедиться в том, что этого придатка нет в

[1] Подобная легенда известна и малороссам, с той разницей, что огонь недоволен был хозяйкой за то, что она заметает его грязным веником и ничего не подстилает, ничем не укроет (не сгребет на плошку и не спрячет в печь). «Она, может быть, исправится»,— советовал другой огонь, у которого хозяйка была добрая — всегда, бывало, его перекрестит и сбережет. Сошлись оба огня у той же плохой хозяйки. «Ну что, поправилась?»— «Нет, сегодня же сожгу ей избу». Услыхала угрозу сама виновная и тотчас же сгребла уголья в загнетку и стала потом всегда делать так, т. е. загребать огонь особым веником, а отнюдь не тем, которым метут полы, всеми мерами стараясь избегать дотрагиваться до огня ножом или топором или говорить про огонь что-либо бранное или неприличное и т. п. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

тех греческих богослужебных книгах, с которых переведены все «обиходы» церковные. Поэтому в богатых церквах велено было отобрать те требники и заменить их исправленными, а в бедные приходы, которым было не по силам покупать новые и дорогие книги, приказано было ехать поповским старостам (нынешним благочинным) и то предательское слово зачернить, замазать, заклеить бумажкой. Самим же священникам указом предписано этого «прилога не говорить». Указ был исполнен в точности, без всякого прекословия, и только не налаживалось дело у стариков священников, которые по закоренелой привычке продолжали говорить это слово и, спохватившись, оправлялись и досадовали на себя, делая беспокойные телодвижения. Кончилось тем, что на эти случаи свидетели поповских неудач приладили к старой поговорке новый «прилог»— стали говорить: «грех да беда на кого не живет — огонь и попа жжет». И кроме того, шутки ради стали укорять виновных в обмолвках попов при честном народе: «На воду глядит, а про огонь говорит». Справедливость требует, однако, заметить, что далеко не везде исправление священных книг окончилось столь мирным и безобидным образом. В центре России оно вызвало недовольство, и в Москве, например, исключение из молитвы лишнего слова произвело неожиданное смятение. Из скромных келий монастырских дело книжных справщиков вынесено было на шумные городские площади и попало на суд и осуждение всякого праздного сброда. За старое и ненужное слово заступились убежденные суеверные люди, которые населяли окрестные городские слободы, занимаясь ремеслами, и те, которые торговали в самом центре города. К ним пристала и беспокойная голытьба, шатавшаяся без дела по площадям и улицам. И вот в базарной толпе пронесся страшный слух: появились-де на Москве еретики, которые хотят огонь из мира вывести. Известием этим особенно встревожились ремесленники, более прочих нуждающиеся в огне для работ.

— Выйдет указ, по еретическому наущению, погасить огни — и погасят,— уверенно говорили бывалые люди из кузнецов, оружейников, серебренников, царских поваров и проч.

— Наколдует еретик своим дьявольским наваждением, и самые огни на земле погаснут,— толковали промеж себя наиболее суеверные.

А в торговых рядах и на площадях им поддакивали:

— Огонь, как и вода, очищает всякую скверну. В огне сам господь являлся людям и говорил с ними. Огонь нисшел с небеси; кто такой дерзкий осмелился его уничтожить?

Первым заметил в книгах ошибку и первым решился исправить ее знаменитый архимандрит Троице-Сергиева монастыря Дионисий, незадолго перед тем содействовавший убедительными воззваниями своими ко всему православному русскому люду спасению отечества от внутренних смут и нашествия чужеземцев. Ему поручено было исправление книг, испорченных неграмотными переписчиками и невежественными справщиками, но один из них сделал на архимандрита донос, весь смысл которого сводился к тому, что архимандрит-де подлинный еретик, не исповедующий Духа Святого, «яко огнь есть». Крутицкий митрополит Иона, человек ума не высокого, образования малого, характера слабого, управлявший церковными делами за отсутствием патриарха Филарета, еще томившегося в плену у поляков, доносу поверил. Когда слух о мнимом еретичестве троицкого архимандрита достиг до келий Вознесенского монастыря, где жила инокиней мать царя, начали суд и дело. В царицыных кельях допрашивали заподозренного с двумя его товарищами — справщиками. На допрос главного виновника старались водить через весь город, среди враждебно настроенной, грубой и дерзкой толпы. Водили Дионисия на посмешище, хотя и в монашеском одеянии, но в рубище и цепях, а чтобы еще резче выделить его из толпы, иногда сажали на клячу без седла. Суеверы из невежественных ремесленников и торговцев с нескрываемой злобой бросались наносить ему всякие оскорбления: иной швырял палкой, другой подбегал вплотную и плевал в лицо. На людных местах летели в него комья грязи и кала, сыпался песок, выливались помои. Праведный старец, убежденный в своей правоте и людском неверии и заблуждениях, все оскорбления переносил без ропота и жалоб. Если же замечал в озлобленной толпе знакомые лица, то ласково им улыбался. Когда грозили ему заточением, ссылкой в дальние Соловки, требуя отречения от исправы слова, он коротко отвечал судьям: «То мне и жизнь! Я этому рад!»

Тем временем (в 1619 г.) вернулся царский роди-

тель, Филарет Никитич, и взял все это дело в свои мощные руки. Между прочим он спрашивал Иерусалимского патриарха, приехавшего в то время в Москву за милостыней:

— Есть ли в ваших греческих книгах прибавление «и огнем»?

— Нет. И у вас быть тому не пригоже.

Списался Филарет с прочими вселенскими патриархами и получил ответ. Тогда Дионисий был оправдан и вместе с товарищами возвратился в монастырь, сохранив за собой прежнее звание настоятеля.

Кроме живого огня, русские люди придают большое значение так называемому «освященному огню». Это огонь, вынесенный из церкви после великих священнодействий и в то время как бы получивший особенную силу и исключительную благодать. В Великий Четверг после чтения Страстей благочестивые люди несут из церкви зажженные свечи, с которыми стояли в торжественные моменты важнейших богослужений. Причем важное значение придается не только огню, но даже свечам. Так, «венчальная» свеча зажигается при трудных родах и иногда ставится в изголовье умирающего в расчете на то, чтобы скорее кончились страдания. «Пасхальная» свеча, по влиянию и благодати равносильная с прочими, имеет громадное значение для пастухов, у которых будет сохранно стадо, если в рожок закатан будет воск от этой свечи. «Богоявленская» и «четверговая» свечи, кроме защиты во время грозы, имеют еще особые свойства: первая, как и «венчальная» свеча, помогает в родах и при смерти, вторая владеет могучей силой уничтожать чары колдунов и лечить лихорадки, ею выжигают на косяках дверей и окон кресты, чтобы злые духи не посещали жилищ. Затем всякая свеча, побывавшая в храме и там купленная, обладает магической силой при разных случаях, перечисление которых, по многочисленности, было бы утомительно [1].

Признавая за огнем целебную и предохранительную силу, наш народ в то же время сохранил уверенность, что священный огонь имеет и множество других полез-

---

[1] Эта вера в силу свечей распространена всюду, но в особенности она сильна в Белоруссии, где существуют не только «врачующие» и «спасающие» свечи, но издревле устроен даже специальный праздник «Громницы», совпадающий с Сретением Господним (2 февраля). (*Примеч. С. В. Максимова.*)

ных для человека свойств: чем, например, наказать непойманного вора, ловко ускользнувшего и схоронившего концы? Для этого надо взять восковую церковную свечу, известную всюду под именем «обидящей» («за обидящего»), и прилепить перед образом оборотным концом для того, чтобы, подобно свечке, стоящей нижним концом вверх, господь таким образом поворотил душу врага, навел на неизвестного вора такую тоску, чтобы тот раскаялся и возвратил украденное. Еще дальше пошли те суеверные фанатики, которые приготовляют свечи из человеческого жира в расчете, что такая свеча делает обладателя ее невидимым. Вера в эту свечу-невидимку до сих пор так велика, что люди добровольно обрекают себя на законную кару за разрытие могил. Не менее суеверен и другой обычай — «отогревание покойников». По некоторым сведениям, он состоит в том, что тело усопшего, накрытое простыней и положенное на железную решетку, подогревается снизу костром из березовых дров (отнюдь не сосновых и не осиновых, так как на осине Иуда задавился). Обычай этот соблюдается лишь раскольниками и притом тайно и непременно ночью.

Последние два обстоятельства: тайна, не поддающаяся поверке, и указание на раскольников как на виновных в такого рода суеверии, дают право глядеть на это сообщение как на злую сплетню, так как на раскольников, как и на мертвых, привыкли взваливать все, что угодно. Но, с другой стороны, способы поминания усопших родителей чрезвычайно разнообразны, и один из них действительно называется «греть родителей». Практикуется он во многих местах (между прочим, в Тамбовской и Орловской губерниях) и состоит в том, что в первый день Рождества среди дворов сваливается и зажигается воз соломы в той слепой уверенности, что умершие в это время встают из могил и приходят греться. Все домашние при этом обряде стоят кругом в глубоком молчании и сосредоточенном молитвенном настроении. Зато в других местах около этих костров, взявшись за руки, весело кружатся, как в хороводе на радонице (во вторник на Фоминой неделе)[1].

---

[1] На юге и западе России народное верование, что умершие души не перестают жить за гробом, выражается ежегодными празднествами в честь некогда боготворимых «дзядов» (предков). Вера эта сохранилась и в Великороссии в обычаях Дмитриевой суббо-

В массе суеверий, не поддающихся никаким влияниям и внушениям и уживающихся рядом с христианскими верованиями, выделяется одно, где огонь также играет влиятельную роль и где поразительна именно живучесть обмана и его повсеместное распространение. Это бабьи расказы о «Летучем» (он же и «Налетник» или «Огненный змей»), являющемся в виде сказочного чудовища — достойного соперника храбрых и могучих богатырей, «Змея-Горыныча», превратившемся в удалого доброго молодца — женского полюбовника.

Многие женщины, особенно в местах, живущих отхожими промыслами, передают священникам на исповеди, что их отсутствующие, а часто и умершие мужья являются к ним вьяве и спят с ними, то есть вступают в половое сношение. Сплошь и рядом не только вдовы, но и замужние женщины, войдя в доверие с любознательными школьными учительницами, охотливо рассказывают им о своих похождениях подобного рода со всеми мелкими подробностями. Изучающим деревенский быт или наблюдающим его по обязанности соседства часто доводится получать указания даже на те избы, куда летят огненные змеи, и на тех женщин, с которыми они находятся в плотском сожитии.

Рассказы подобного рода чрезвычайно распространены, причем бросается в глаза удивительное однообразие частностей этого явления и его печальных, нередко трагических последствий.

Хотя самая основа этого стойкого поверья лежит, несомненно, в существовании того явления природы, которое называется «огненными метеорами», но в глазах темного люда оно получило вид и характер верования в нечистую и злую силу. Иконография успела даже закрепить в представлении молящихся этих уродливых крылатых и хвостатых чудовищ, изображая их в виде змеев, дышащих пламенем и несущих на своих хребтах женщин, обреченных на погибель или влекомых на соблазн.

У огненного змея голова шаром, спина корытом и длинный-предлинный хвост — иногда до пяти сажен.

ты, Красной Горки и Радоницы, о чем будет сообщено в своем месте. (*Примеч. С. В. Максимова.*)

Прилетая на свое место, он рассыпается искрами, которые вылетают как бы из решета, а летает он так низко, что бывает виден от земли не свыше сажени. Посещает он исключительно таких только женщин, которые долго и сильно тоскуют об отсутствующих или умерших мужьях. Самое же посещение, по словам одной простодушной орловской бабы, происходит следующим образом: «Умер у меня старик, а я и давай тосковать, места себе не нахожу. Так вот и хожу, как оголтелая. Вот ночью сижу у окна и тоскую. Вдруг как осветит, подумала я: пожар — вышла на двор. Гляжу, а старик покойник стоит передо мной: шляпа черная, высокая, что носил всегда по праздникам, сапоги новые, армяк длинный и кушаком подпоясан. С той поры и начал ходить».

Самого посетителя сторонним людям не видно, но в избе слышен его голос: он и на вопросы отвечает и сам говорить начинает. Сверх того, посещения его заметны и потому, что возлюбленная его начинает богатеть на глазах у людей[1], хотя в то же время всякая баба, к которой повадился змей, начинает худеть и чахнуть (говорят: «полунощник напущен»), а иная изводится до того, что помирает или кончает самоубийством (все случаи женских самоубийств приписываются змею). Есть, впрочем, средства избавиться от посещения змея. Совестливая и стыдливая баба спохватится и обратится к колдуньям за советом, а уж те укажут, как узнать, кто по ночам приходит: настоящий ли муж или сам нечистый. Для этого они велят в то время, как избранница сидит за столом с огненным змеем и угощается всем, что он приносит и выставляет, уронить со стола какую-нибудь вещь и затем, поднимая ее, наклониться и поглядеть: не копытами ли ноги, не видать ли между ними кончика конского хвоста? Если затем окажется, что прилетевший змей подлинно черт, то, чтобы избавиться от него, надо сесть на порог, очертиться кругом, расчесать волосы и в то же время есть

---

[1] Во многих местах (между прочим, в Орловской и Ярославской губерниях) огненного змея называют «южом» и, признавая за ним способность обогащать возлюбленных, придумали для обиходного языка подходящие выражения. Кто бережлив и запаслив, тот «как юж, все в дом тащит». Кто же быстро богатеет, тому, вероятно, «юж деньги таскает», и т. п. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

коноплю. Когда же змей спросит: «Что ешь?»—надо отвечать: «Вши». Это ему столь не по нутру, что он «попихнет в бок или больно ударит, но с того случая больше летать не станет»[1].

Ходят повсеместно слухи о том, что от огненных змеев женщины рожают детей, но большей частью недолговечных («как родился, так и ушел под пол») или прямо мертвых. Рождение уродов точно так же приписывается участию змея, причем бабки-повитухи, которые ходили принимать таких детей, зачатых от нечистой силы, рассказывают, что дети родятся «черненькие, легонькие, с коротеньким хвостиком и маленькими рожками». На помощь и как бы в поощрение таким верованиям прибегают и шатающиеся по деревням странники. Они от всех подобных проказ и нечистой силы во образе огненных змеев пишут на бумажках сорок раз псалом «Да воскреснет бог» и велят надеть на крест и носить, не снимая.

Устойчивость верований в огненных змеев, а тем более живое и наглядное олицетворение их несомненно находится в связи с тем представлением, какое существует вообще о происхождении самого огня. Здесь разнообразие народных воззрений, резко расходящихся между собою, явно свидетельствует о том, что к первобытным понятиям уже успели примешаться те новые, которым довелось вступить в открытую борьбу с языческой стариной. Но победа еще далеко впереди, а пока на боевом поле обе враждующие стороны обнаруживают достаточно сил и стойкости.

Наиболее господствующее убеждение заключается в том, что первый огонь изобрели бесы в то самое время, когда они были изгнаны с неба. При этом рассказывается легенда о том, как бог со св. Петром и Павлом ходили по земле и неожиданно увидели костер, разве-

---

[1] Слепая вера в существование огненного змея, приносящего золото и вообще доставляющего богатства, доведена до того, что существует даже способ добычи этого змея вживе. Для этого следует достать «спорышек», т. е. маленькое уродливое яичко, суеверно признаваемое за петушье (в нем один желток и нет белка), и носить его шесть недель под левой мышкой и, когда вылупится змей, то надо на ночь лечь спать в нежилой избе (например, в бане). Во сне черт передаст этого змея в услуги смельчаку на определенный срок и при известных условиях. Тогда отогретый змей начнет носить деньги. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

денный и охраняемый бесами. Бог приложил палочку, и, когда она загорелась, бесы вздумали ее отломать. Тогда господь ударил этой палочкой о камень, полетели искры, и с той поры люди узнали, как добывают огонь из камня. Так думают и в Малороссии, где эта легенда общеизвестна. В решительном противоречии с ней находится великорусская легенда, свидетельствующая, что огонь дан людям самим богом, который ниспослал его с небес на помощь первому человеку по изгнании его из рая, когда человек очутился в безвыходном положении и не знал, как готовить себе пищу. Бог послал молнию, которая расколола и зажгла дерево, и тем показал способ добывания столь чтимого и признаваемого святым «живого огня». Другие легенды стараются примирить оба начала, признавая два огня: адский и небесный, а одна из легенд говорит, что до первого греха первых людей огня на земле не было. После же грехопадения отворились адские ворота, и пламя вырвалось оттуда и появилось на земле, чтобы причинять людям вред пожарами, обманывать вспышками на местах кладов, смущать огневидным появлением в воздухе самих бесов в виде огненных змеев и т. п. Кроме адского огня, был послан с неба и тот огонь, которым зажигались жертвы, приносимые богу, и устранялись многочисленные бедствия, посещавшие людей и домашних животных в виде различных болезней. Теперь (свидетельствует один из наших корреспондентов со слов верующих) «тот и другой огонь смешались вместе и их не различишь». Но несомненным считается лишь то, что на болотах огни зажигают водяные, чтобы заманивать и топить неосторожных путников; на кладбищах огонь горит над могилами праведных людей; на местах кладов зажигают огонь для обмана легковерных охранители зарытых сокровищ —«духи-кладовики». И все-таки остаются неразрешенными вопросы: каким огнем сжигается масленица, через какой огонь прыгают в Купальскую ночь? И здесь несомненно лишь одно, что в святую ночь, называемую также и светлою, по всему громадному пространству святой Руси около храмов зажигаются костры, а в окнах жилищ лишние свечи во славу воскресшего господа, показавшего нам свет.

МАТЬ-СЫРА-ЗЕМЛЯ

Третья, по старинному счету, мировая стихия — земля — почтена наивысшим хвалебным эпитетом: с незапамятных времен она называлась «матерью», и у всех народов, а в том числе и у нас, русских, была возведена на степень божества. Впрочем, в наши дни от былого почета остались лишь обезличенные признаки и потускнелые следы древнего богопочтения, да и то в приметно меньшем количестве, чем по отношению к огню и воде. Но, тем не менее, по народному убеждению, и самая святость целебных родников и колодцев главным образом зависит от того, что исходят они непосредственно из благодатных и неисчерпаемо богатых недр матери — земли сырой. По всеобщему верованию, самая стихия эта настолько свята и чиста, что не держит в себе ничего нечистого и в особенности враждебного людям. Лихих недоброхотов в виде ведьм и колдунов земля «не принимает», и до сих пор требуются особые обряды, чтобы прекратить выход из могил этого сорта покойников и посещение ими живых людей и заветных мест. Даже тот умерший, труп которого долгое время не разлагается,— по народным понятиям, несомненно был при жизни великим грешником, потому что он «не изготовляется к погребению в сырой земле». И напротив, если новорожденный ребенок выделяется весом тела от прочих детей, то он не жилец на божьем свете, его «тянет» к себе земля. Вся нечистая дьявольская сила от крестного знамения и «воскресной» молитвы проваливается не иначе, как «сквозь землю», не оскверняя святости земных недр и т. п.[1]

Связь человека с землей устанавливается и священным писанием: «Всяк человек — земля есть и в землю отыдет». Ту же мысль выражает и пословица: «Сверх земли не положат даже нищего и бездомного». Саженку вдоль да полсаженки поперек — для каждого полагается обязательным. А затем вся та земля, куда схоронены кровные и близкие, называется родительскою и считается священною: она могущественна до такой сте-

[1] Здесь надо полагать, между прочим, основу самой страшной народной клятвы, перед которой, говорят, отступает всякое подозрение: «провалиться мне», «чтоб я сквозь землю провалился» и пр. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

пени, что горсточка ее, взятая с семи могил, укрывающих заведомо добродетельных людей, спасает всех родичей, оставшихся в живых, от всяких бед и напастей. Почти такой же силой обладает и вообще родная земля. Вот что свидетельствует на этот счет орловский корреспондент:

«2 августа 1897 г. из села Яковлева (Орловского уезда) отправились на переселение в Томскую губернию 24 семейства, и каждая семья взяла с собой несколько горстей родной земли.

«Может случиться,— говорил один из переселенцев,— что на новом месте мы попадем на такую воду, которая для питья не годится,— так мы положим в воду нашу землю, вода и станет вкусной».

Сверх того, родную землю зашивают в сумочку с ладаном (называемую вообще «ладанкой») и носят с шейным крестиком в уверенности, что этим способом можно избавиться от тоски по родине. Но вера в целебное свойство родной земли почти повсюду исчезла, сохранившись только у тяжелых на подъем вологжан и олончан, живущих в глухих окраинах северных губерний. Приезжая на чужбину, эти люди (особенно в тех случаях, когда прибывший намеревается остаться здесь на более или менее продолжительное время) высыпают на землю горсть родного песку и, ступая по нем, приговаривают: «По своей земле хожу». При этом они твердо верят, что «если захватить с собой родной земли, тебе заздоровится, не будешь болеть и скучать по родине». В этих глухих местах уверенность в силе родной земли настолько велика, что к подобного рода приемам прибегают даже богомольцы, отправляющиеся к киевским или соловецким угодникам: доведется помереть — товарка не откажет закрыть глаза и посыпать на них «родимой землицы». У матерей нет большего горя, как известие, что их сыновья, умершие на чужбине, не запаслись родной землицей и похоронены без нее[1]. У таких людей до сих пор нет божбы страшнее заклятия: «не видать мне сырой земли» и вернее врачебного средства — как «прощанье» на том самом месте, где случилась какая-нибудь беда или внезапная бо-

---

[1] Указан даже и состав земли, зашиваемой в ладанку: берут щепоть из-под печки, прибавляют такую же с росстаней дорог и из-под приворотной земли. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

лезнь, например, вроде болезненного припадка от неведомой причины, известного под неопределенным названием «притки». На то место, где притекла притка, ходят «прощаться» на девяти вечерних и девяти утренних зорях. Становятся лицом на восток и говорят заклятие, причем, так как «притка» является наказанием за какую-нибудь вину, то и самое заклятье носит характер извинения: «Прости, мать-сыра-земля, в чем я тебе досадил!» После каждого причета дуют и плюют через правое плечо и кланяются в землю. Но плюют только «примерно», так как в тех местах, где «прощаются», плевать на землю вообще считается большим грехом. Если попритчится скотине, то хозяева сами «прощаются» за хворое животное на повети или сеновале, так как твердо верят, что власть родной земли распространяется на животных. В иных местах эта вера заходит так далеко, что создались даже своеобразные обряды. Так, в Ветлуге (Костромской губернии), если покупают скотину в другом селе и желают, чтобы она не тосковала по своему стаду, то среди поля оборачивают ее головой в ту сторону, где она куплена; затем берут из-под передней левой ноги ее комок земли и натирают морду, а другой комок завязывают под яслями, думая, что ни корова, ни лошадь не уйдут уже дальше того места, откуда взята земля. Саратовцы (Хвалынский уезд) подобным же способом при переходе в новую избу переманивают старого домового: из-под печки старой избы они посыпают в лапоть горсть земли и высыпают ее под печку новой.

Особенное отношение нашего народа к матери — земле сырой выражается, между прочим, в так называемых земных поклонах. В старину русские люди при встрече с наиболее уважаемыми лицами кланялись до самой земли, касаясь до нее лбом или, взамен того, ударяя оземь шапкой. Эта форма, приличная теперь лишь людям низкопоклонным, не уважающим себя, была обычна в старой Руси, как законное установление и перестала действовать лишь в недавние времена во всех слоях и сословиях народа. Но все-таки, по отношению не к лицу властному, а к самой матери — земле сырой этот обычай упрямо отстаивается во многих местностях. Так, например, весной (в Орловской губернии и уезде) при ударе первого грома все бабы, перекрестившись, кланяются в землю и целуют ее.

В тех же местах сын, дерзнувший оскорбить на миру родную мать или отца, обязательно целует землю после того, как произнесет клятву, смотря на небо и перекрестясь троекратно. Точно так же заподозренный в каком-либо мирском несчастье, вроде поджога, кражи и т. п., целованием земли вполне удовлетворяет и успокаивает своих односельцев. Самое же важное значение земли исстари признавалось в межевых спорах при разделе земельных участков. Межевые знаки, до изобретения мензул и астролябий, были неточны по той причине, что намечались по живым урочищам, подвергающимся, под влиянием стихий, всевозможным изменениям. Пограничные споры соседних владельцев были бесконечны, особенно в тех случаях, когда не оказывалось налицо письменных записей: дожди смывали последние признаки граней, а старческая память старожилов была ненадежна. Но так как неудобства чересполосицы все-таки требовали решительного ответа в ту или другую сторону, то кое-где, в глухих местах, были придуманы особые приемы для полюбовных размежеваний. Так, в Олонецкой губернии (Каргопольский уезд) на нашей памяти еще соблюдался обычай класть на голову вырезанный из спорной земли кусок дерна. С ним доказывающий свое или чужое право на землю шел по той меже, которую признавал правильною, законною. При генеральном межевании 1744 г. этот обычай применялся в смысле бесспорного и вполне законного доказательства. Например, в Ярославской губернии старший чин, заведывавший этим делом, приглашал, по общему приговору, того старика, который признавался наиболее знающим и памятливым, вырезал из земли дерновый крест и клал его на голову свидетеля. Этот прием кое-где сохранился и до наших дней, а лет 40—50 тому назад он практиковался весьма широко. Так, например, в Пошехонском уезде при наделе крестьян помещиками, по объявлении указа об уничтожении крепостного права, некоторые общества не позволили переделять своих полос на том основании, что их отцы либо деды обходили эту полосу с землей на голове. Из Череповецкого уезда сообщают, что в земельных спорах, в виде клятвы, и теперь берут землю в рот, кладут на голову, на спину, за пазуху. В знаменитой кустарным железным производством Уломе произошел в 1896 г. такой случай: спорили о меже на



покосе два крестьянина двух соседних деревень (Чаева и Миндюкина) одной волости (Колоденской). Настоящей межи никто не помнит, землемера взять негде: как быть? Долго галдели, переругиваясь, и вдруг смолкли, когда один чаевский старик взял «кочку» земли и со словами: «Пущай эта земля задавит меня, если я пойду неладно»,—пошел по «воображаемой» меже таким твердым и уверенным шагом, что с того времени стала та межа фактическою, бесспорною. Подобный же спор был решен несколько лет тому назад между крестьянами той же Уломской волости, деревни Коротова и крестьянами деревни Карпова Дмитриевской волости. Так как пословица недаром говорит, что «межи да грани — ссоры да брани», то, чтобы уничтожить или, по крайней мере, ослабить эти ссоры, в старину, когда делали пропашкой межевую борозду, всегда сгоняли сюда ребятишек, клали на эти грани и секли с наказом и приговором, чтобы каждый помнил отцовской участок. Так, между прочим, бывало и у казаков на Дону, так водилось и в новгородчине, где часто слышалось выражение: «Ты меня не учи, ты мне не рассказывай: я на межевой яме сечен». Теперь, когда на межах перестали сечь, но все еще решают межевые споры божбой и клятвами, вместо дерна кладут на голову святую икону. В одном случае (в Ярославской губернии) около Ростова спорщики удовлетворились, когда один из присутствующих, довольно ветхий старик, вспомнил и сообщил о том, что ему привелось быть свидетелем, как дед нынешнего владельца обходил этот самый клин земли с большим куском вырезанного из нее дерна, положенного на голову.

Глотанье сырой земли суеверными людьми точно так же не ушло еще в область предания: вести об этом обычае доходят из разных местностей. Так, например, орловский корреспондент сообщает о следующем случае. Однажды под г. Орлом через овраг, удобный для нападения лихих людей на задремавших или оплошавших проезжих, темною ночью возвращался домой крестьянин Талызенков. Как из земли выросли перед ним три человека с дубинами. Подбежали к нему, схватили лошадей под уздцы — остановили.

— Стой,— говорят, — подавай деньги!

— У меня, братцы, денег нет: в городе все потратил.

По голосу грабители узнали своего односельца — соседа по избам, узнал и он старых приятелей.

У грабителей и руки опустились. Один из них спохватился и говорит:

— Что же нам теперь, Алексей Осипыч, делать? Куда нам себя определить? Нас три души живых — твоя одна. Пустить тебя целым — ты скажешь про нас; тогда живым нам не быть.

Талызенков был мужик торговый, денежный, цену себе ставил высокую. Собрался он с духом и отвечает:

— Не скажу я про вас никому. Умрет это дело на этом самом месте. Чем хотите, тем и поклянусь.

— Съешь,— говорят, — комок земли, тогда поверим.

Он съел, и его отпустили. И только после смерти всех трех мужиков рассказал Талызенков об этом случае своему соседу Афанасию Чувакину.

— Отчего же, — спрашивал рассказчика наш корреспондент,—ты раньше не рассказал об этом?

— Боялся, что убьют, да и нельзя рассказывать, коли съел земли.

— Почему нельзя?

— Да уж нельзя! Нельзя потому, что можно большое несчастье произнесть (т. е. перенесть).

Крестьянка деревни Пушкина (в той же Орловской губернии) рассказала, как одного непокорного сына мать выгнала из своего дома и как он, поступивши с женой на барский двор, повел тяжелую и скорбную жизнь, что стало ему невтерпеж и довело до раскаяния. Стал этот сын (Григорий Сухоруков) просить старосту заступиться за него у матери.

Приходит Любава (мать) на барский двор, просит непокорный сын у нее прощенья: кланяется и божится. Мать не сдается, не верит ему и говорит:

— Если хочешь, чтобы я тебе простила, съешь этакую глыбину земли.

— Ты меня, мать, подавишь.

— Коли не съешь, меня, значит, не почтишь, и я не прощу, а коли съешь — иди опять жить домой.

Григорий послушался, съел и стал после того жить так, что никому лучше того не придумать.

Оба случая произошли, по свидетельству рассказчиков, не дальше 20—25 лет тому назад. А вот свежие, почти вчерашние указания на тот же прием клятвы, основанной на мотивах совершенно иного характера.

В «Неделе» было сделано указание на распространяющийся в Холмском уезде Псковской губернии гражданский брак среди крестьян. Мотивы этого брака вызваны экономическими и юридическими особенностями быта, а самый брак сопровождается тем же древнейшим образом богопочитания матери-земли сырой. Пока девица живет в семье с отцом, она покойна за его спиной, будучи обеспечена отцовским наделом. Но после смерти его надел числится за нею только до ее замужества, а затем, по местному обычному праву, отходит в общее мирское пользование. И вот, чтобы избежать беды, девицы и выдумали внебрачное сожительство. Гражданский брак заключается с некоторою торжественностью: родственники сговариваются, берут икону, зажигают перед ней свечи, перед которыми жених и невеста, разодетые по-свадебному, «кусают землю», т. е. берут пястку земли и глотают ее в знак любви и верности до гроба. Обходя церковный брак из-за земельных выгод, молодые, конечно, не думают в это время о том, что будущие дети их зачтутся незаконнорожденными и прав на дедушкин надел не будут иметь никаких.

Особенность наружных воззрений на мать-сыру землю дала основание чародеям и здесь воспользоваться для своих недобрых целей тайными, могучими свойствами этой стихии. Применение земли в чарах чрезвычайно разнообразно. Взять хотя бы всем известное «вынимание следа», состоящее в том, что на месте, где стоял обреченный человек, вырезают ножом часть дерна или из-под ступни его соскабливают пол и над этими следами колдуют.

Впрочем, чародейственной силой земли пользуются не только колдуны, но и обыкновенные люди, прибегающие, в случае беды, к заступничеству и покровительству своей «кормилицы». Это видно, между прочим, из обычая опахивать деревни. Обычай *опахиванья* является даже своего рода священнодействием со всею тою мистическою обстановкою, которая вообще приличествует всякому древнему обряду и которая рассчитана на то, чтобы самый обряд сделать внушительным и страшным. Толпа женщин с распущенными волосами, в одних белых рубахах, в глухом сумраке ночи, возбужденная всей внешней обстановкой и условными околичностями обрядового чина, становится опасной

для всякого случайного свидетеля этого религиозного «действа». Совершение его преимущественно предоставляется женщинам того селения, которому угрожает занос чумы на скот, тифа на людей и т. п. и которое необходимо оградить со всех сторон таинственным, заколдованным поясом земли, вырезанным сохою в ширину сошника и глубиной не менее трех вершков.

Почин самого обряда всюду предоставлен старухам, крепче верующим и более осведомленным в порядке совершения чина «опахивания». Они и выбирают подходящую полночь и оповещают женское население шепотком, чтобы не знали и не слыхали мужчины. Для того чтобы таинственная цель была достигнута, считается необходимым участие в обряде по малой мере девяти девок и трех вдов (как и высказывается это в обрядовых припевах). Оповещенные старухами с вечера, все девицы и бабы прокрадываются за околицу и, выйдя в поле, снимают с себя одежду до рубахи, причем иные повязывают голову белыми платками, а девицы развязывают косы и распускают волосы наподобие русалок. На одну вдову, по общему выбору и приговору, надевают тайком унесенный хомут и впрягают ее в оглобли (обжи) сохи, также припрятанной заранее. Другая вдова берется за рукоятку, и обе начинают косым лемехом разрывать и бороздить землю, намечая тот «продух», из которого предполагается подъем и выход земляной силы, невидимой, непонятной, но целебной и устрашающей самую смерть[1]. А в это же

[1] В обжи впрягают непременно беременную, правит ею старая дева, как отличная по поведению; прочие бабы помогают тащить соху, а вдовы в прорезанную борозду сеют песок. Подслушан при этом такой приговор: «Когда наш песок взойдет, тогда к нам смерть придет». В такой обстановке обряд этот известен Далю. В Бюро присланы сведения из Нижне-Ломовского уезда (Пензенской губернии), из которых видно участие в процессии парней: впереди старухи, сзади девицы, соху в середине волокут ребята. В Новгородской губернии в соху запрягают молодую телку, две девушки ведут ее за рога, две погоняют, одна держит соху, двое ей помогают. Чем позднее узнают об этой проделке в деревне, тем вернее успех самой затеи. К ней в иных местах (как во Владимирской губернии Судогодского уезда) стали примешивать нечто церковное, православное: так, например, самая старшая, идя впереди всех прочих, несет в руках икону Богоматери или св. Власия; сопровождающие поют: «Да воскреснет бог», на перекрестках проводят сохой крест и в копаных ямах кладут церковный ладан и т. д. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

время все остальные девицы и вдовы (замужние не всегда допускаются, как неподходящие, нечистые) идут за сохой с кольями и палками, со сковородами, заслонками и чугунами. У девяти девиц девять кос, в которые они и производят беспрерывный звон. Звонят, кричат и поют с неистовым рвением, которое прямо указывает на глупую цель — запугать и прогнать смерть. Ей и грозят в обрядовых песнях и причитаниях: «Смерть, выйди вон, выйди с нашего села, изо всякого двора! Мы идем, девять девок, три вдовы. Мы огнем тебя сожжем, кочергою загребем, помелом заметем, чтобы ты, смерть, не ходила, людей не морила. Устрашись — посмотри: где же это видно, что девушки косят, а вдовушки пашут?»[1] Обойдя околицу по огородам и гуменникам, вся эта женская ватага врывается на улицу настолько уже взволнованная, с таким подъемом нервного настроения, что ничего не замечает по сторонам и ничего не хочет видеть, кроме спасительной сохи. Все, что попутно обратит на себя общее внимание, вроде, например, выскочившей из-под подворотни собаки, спрыгнувшей с подоконника кошки,— все принимается за несомненного оборотня, в которого перевернулась эта самая злодейка «скотья смерть», черная чума, огневая горячка. С гамом и ревом бросается вся сопровождающая соху свита на этих собак и кошек и бьет их насмерть. Разбуженные мужики выглянут осторожно из окошка да и спрячутся за косяк, чтобы не приметили бабы: потому что последние не задумываются напасть на встречного мужчину, признавая и в нем необлыжного оборотня. Притом же мужчина самым появлением своим оскверняет священнодействие и, стало быть, мешает благополучному завершению таинства. В деревне Юшиной (Орловского уезда и губернии) задумали бабы опахиваться. Узнали про это парни из соседней деревни и решили пошутить: с вечера забрались в соседние ракиты и в них притаились. Но когда процессия подошла к тому месту, шутники заревели медвежьими голосами. Однако женщины не испугались, они сбились в одну кучу и все, как одна, начали швырять в засевших парней камнями, палками. Видя же, что это не берет, они натаскали затем к дереву, на

[1] В некоторых местах, например в Орловской губернии, обряд этот так и называется «гонять смерть». *(Примеч. С. В. Максимова.)*

котором засели ребята, охапки соломы и подожгли. Шутники, как майские жуки, свалились на землю и начали сказываться своими именами, но женщины не только не поверили им, но пришли уже в полное остервенение. С теми же криками: «Бейте коровью смерть»,— они продолжали бросать грязь и каменья, пока не устали и пока шалуны-парни не были избиты в кровь.

Сохраняя такой внушительный, устрашающий характер, обряд опахивания дожил до наших дней, вероятно, по той причине, что в распоряжении крестьян не имеется иных предупредительных мер против занесения эпидемических болезней. Притом же этот обряд, перешедший к нам от темных времен глубокой старины, считается надежным уже по той причине, что распространен повсюду, и притом нередко выполняется с участием христианских святынь, которые как бы закрепляют обычай и узаконяют приемы[1]. В некоторых случаях обряд из временного, вызываемого первыми признаками надвигающейся беды, становится обязательным и совершается ежегодно в условное время. Например, в Калужской губернии каждый год под праздник Преполовения собирается ночью огромная ватага девиц, сопровождаемая парнями, из которых один, самый молодой и пригожий, правит сохою, запряженной несколькими парами девушек. Впереди этого шествия (рассчитанного на то, чтобы избавить деревню не от одного мора, но и от всякого рода напастей) идет вдова и несет икону. И опять беда тому, кто попадется навстречу этому ночному шествию. В Болховском уезде (Орловской губернии) «гоняют смерть» обычно после Петрова дня и об избранной ночи извещают мужчин, требуя их согласия и невмешательства. К принадлежностям обряда присоединяются также икона (на этот раз Богоматери), восковая свечка и дегтярница с помазком: дегтем намечают крест на каждых воротах и такой же крест честная вдова вырезает сохою на бугре за деревней. На этом месте раскладывается затем

---

[1] Так, из Пензенской губернии (Инсарский уезд) доходят слухи, что чернички (полумонашенки) в самую полночь уходят на дальний родник и там совершают освящение воды, подражая до мельчайших подробностей священникам. Затем все-таки впрягаются в соху, на концах которой укрепляют восковые свечи, и таковые же держат в руках, когда с пением церковных песен начинают опахивать деревню. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

костер, и все женщины прыгают через него для завершения обряда. Дегтем мажут также и тех, кто нечаянно встретится на пути. В других деревнях носят образ св. мученика Власия, признаваемого по всей святой Руси покровителем домашнего скота, и к свечам прибавляют еще ладан[1]. В деревнях Нижнеломовского уезда Пензенской губернии во главе подобного шествия видели старух с иконами Спасителя, Успения Богоматери и медного распятия на груди, и слышали вместо стихов заклятия, пение молитв Богородичной и Господней. В этом случае в обряде «опахиванья» принимали участие все жители деревни, без различия возраста и пола. Ко внешней церковной окраске прибавляется еще суеверное требование, чтобы, расходясь по домам, не оглядываться ни на зов, ни на вой, ни на угрозы, если не хочешь, чтобы не осталась шея искривленною и нечистая сила не сгладила ту черту, которую провела соха вокруг деревни.

В ночь на 1 июня 1897 г. восемнадцать крестьянок деревни Полонской Весьегонского уезда (Тверской губернии), чтобы не допустить занесения в свою деревню сыпного тифа, валившего людей в соседней волости, «опахали» свою деревню: одна из женщин шла впереди с иконою в руках, за нею следовала другая верхом на помеле, потом третья с кочергой и черепом какого-то животного. За этим авангардом шествовали две бабы, запряженные в соху, которою управляла третья баба, и, наконец, все остальные гурьбой, с шумом, криками и бранью замыкали процессию. (За нарушение тишины и порядка все участницы этой процессии были привлечены к уголовной ответственности по 38-й статье Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.)

Хотя, таким образом, уголовный суд и решился выступить на помощь усилиям духовенства и, в замену церковных назиданий, прибег к законной каре, тем не менее вера в мать-сыру-землю все-таки сохраняется незыблемо. Даже и там, где, по-видимому, Христово

---

[1] В Судогодском уезде Владимирской губернии опахиванье предпочитают производить под Духов день, а в иных местах в ночь на 24 июня, при чем поют «Да воскреснет бог», проводят сохой крест на всех перекрестках селения, в копаные ямы закладывают ладан и т. п. Опахиванье производится не всегда всем селением, но и своей семьей, причем хозяин опахивает свой двор на жене, запряженной в соху, и т. п. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

учение успело уже войти в плоть и кровь, стоит снять с языческих обрядов наложенные тонким слоем христианские краски, чтобы обнаружились черты древних языческих верований.

В Духов день (в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии и по Вятке), в день Успения Богоматери (в Тихвинском уезде Новгородской губернии), на Симона Зилота — 10 мая (без различия местностей) по православным деревням обязательно служатся всенародные молебны. Народ собирается к часовням, толпится на площадках и окропляется святою водою не потому, что в эти дни совершаются молебствия по случаю избавления от бед, а потому, что в эти дни мать-сыра-земля бывает именинница[1]. Хотя праздник именинного чествования земли существует далеко не повсеместно, но в то же время на всей Руси великой крестьяне строго придерживаются правила, что в эти дни никто не смел ни копать, ни рыть ям, ни пахать полей. Делается это для того, чтобы не обидеть кормилицу-землю и чтобы не осерчала она, и без того своенравная и капризная, тугая на подъем и скупая на милости. В некоторых местах наших лесных северных губерний уважение к кормилице-земле (здесь очень суровой и неласковой) сопровождается даже некоторым заискиванием: в Успеньев день, в теплую погоду, считается большим грехом ходить босиком. За соблюдением такого обычая следят очень внимательно, не позволяя малым ребятам ходить разувши.

Умилостивление земли и способы испрошения ее милостей настолько многочисленны и разнообразны, что в среде опытных хозяев существует на этот счет

---

[1] На Духов день, по объяснению, доставленному из Вятской губернии, земля потому именинница, что в этот день она сотворена: когда господь создавал землю, злые духи сказали ему: «Мы не будем тебе помогать». А начальник их украл клочок земли и положил себе за щеку. Здесь у него земля начала расти быстро. От боли во рту он начал бегать и разбрасывать землю по сторонам: где упало много — встали горы, а где мало — обозначились бугры и холмы. Когда происходила на небе война и архангел столкнул дьявола на землю, чтобы он сквозь нее провалился, сверженный на лету взрыл землю своими рогами так, что на ней поделались лога и овраги. В указанных выше местах считается также грехом беспокоить именинницу, и крестьяне, нисколько не стыдясь и вовсе не скрываясь, припадают на колени и по нескольку раз целуют землю. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

16 Заказ 471

целая наука. Попробуем взять из этих способов только те, где под новыми наслоениями всего заметнее сохранились следы седой старины.

Поставлен на поле стол, покрытый чистой скатертью. На нем серебрится на солнышке водосвятная чаша, желтеют свечки и сереет большая коврига печеного хлеба. Перед столом полукругом стоят бородачи с иконами в руках, закрытыми полотенцами. Против них поместился священник с причтом, а за ними и весь этот народ, от чрева матери обреченный в поте лица своего снести хлеб свой. Молебен отпели: толпа зашевелилась и загудела, как пчелиный рой. Подали священнику севалку — лукошко с веревочкой, чтобы ловко было перекинуть ее через плечо, — берет он из нее горсть сборной ржи от каждого двора и ловко, привычной рукой разметывает зерна по пашне. Затем идет он краем поля, поперек всех загонов *, и кропит все полосы святой водой. И чью полосу окропляет, тот хозяин крестится, а иной еще сверх того шепчет про себя, какую знает, молитву. Иконы относят в церковь, попа с дьячком зовут в избу и предлагают посильное угощение, в полную сыть.

Кроме священника, крестьяне еще чаще поручают делать засев какому-нибудь ветхому, преклонному старику, который сам и указывает, в какой день начинать засев. Такой старик считается первым человеком на селе. Рука у него легкая, удачливая, а с легкой руки — если не куль муки, то, во всяком случае, почин дорог. Этих стариков обыкновенно стаскивают с печи, чтобы они шли священнодействовать. У иного голова на плечах не держится, руками он не владеет, зерна в горсть с трудом загребает и зря рассыпает. Его выведут на зеленя под руки, пособят и рукой потрясти. Он же, зная свое дело и ожидая, что его позовут, успел уже с вечера сходить в баню и надеть чистое белье, а днем засева (обходя тяжелые дни — среду и пятницу) назначил Благовещенье[1]. Выходит он сеять

---

[1] По мнению вологжан, легкие дни — понедельник и вторник, а среда и тот день, на который случилось Благовещенье, тяжелые. К слову, о легких и несчастных днях: из Порховского уезда Псковской губернии прислан перечень этих дней, которые строго соблюдаются и в которые крестьяне не работают и даже не делают шагу из дому: в январе 2 и 23, феврале 2 и 20, марте 4,7 и 21, в апреле 3 и 20, в мае 2 и 26, в июне 9 и 23, в июле 3 и 20, в ав-

натощак, а разбрасывая по полосам зерна, шепчет молитву: «Зароди на все души грешные, на всякого проходящего и заходящего, на калек и нищих, на братию имущую и неимущую» и пр.

Это тот же почетный старец Белой Руси, который в первый день Рождества (на Колядах) в черной рубахе садится на печной столб, гадает об урожае и говорит затверженные непонятные слова, которые в наши дни надо переводить на живую речь и толковать. Так, например, он кличет: «Иди, мороз, кутью есть на чугунную борону с железным кнутом», т. е. если придешь, то было бы что положить на сковороду (чугунную борону), было бы что вынуть сковородником (железным кнутом) из печи и поставить на стол.

В некоторых местах (даже под самым г. Орлом), когда выходит засевальщик в поле, то, снявши шапку, молится на восток: «Батюшка Илья, благослови семена в землю бросать. Ты напой мать-сыру-землю студеной росой, чтобы принесла она зерно, всколыхала его, возвратила его мне большим колосом».

Или кличут так: «Кузьма-Демьян — матушка полевая заступница, иди к нам, помоги нам работать!»

При посевах всяких сортов хлеба великую роль играет так называемая «благовещенская» просфора, которую крестьяне или получают кусочком из рук священника при раздаче в конце обедни антидора, или сами подают за евхаристией*, чтобы вынули части за здравие живущих и за упокой умерших. Просфору эту или кладут в сусеки, чтобы увеличить силу плодородия зерен, или на дно лукошка-севалки и в мешки с зерном. По окончании же сева просфору делят между семейными и съедают. На вопрос священника о значении этого обычая подмосковные крестьяне отвечали, что так-де поступали и завещали делать отцы и деды. Сам же обычай этот укоренился до такой степени, что, например, под Орлом просфоры пекут дома, разной величины, от обыкновенной до полуфунтовой; по форме они схожи с церковными, но лишь с оттиском на верхней половинке обыкновенного шейного креста. В Там-

---

густе 4 и 6, в сентябре 4 и 26, в октябре 6 и 21, в ноябре 3 и 25 и в декабре 4 и 20. В эти дни зарождаются все недобрые люди и колдуны. *(Примеч. С. В. Максимова.)*

бовской губернии стараются напечь просфор столько, чтобы на каждого члена семьи пришлось по одной. В некоторых местностях (например, в Боровичах) значение благовещенской просфоры отчасти оспаривается силою и действием хлебца-«крестовика», какие обычно пекут по всей православной России, на средокрестной (четвертой) неделе великого поста. Печенье этих «крестовиков» связывается обыкновенно с суеверными гаданьями о том, кому доведется в тот год сеять и какие сорта хлеба. Счастье выпадает тому, кому достается «крестовик» с запеченными в нем заметками: одни для мужчин, другие для женщин. Если хлебец достанется ребенку, то, по обычаю, например, крестьян Ковровского уезда (Владимирской губернии), ребенка ведут или несут в поле и дают ему взять горсть семян (если же ребенок грудной, то за него разрешается исполнить святую обязанность матери).

Следом за окончанием сева начинается самое мучительное в трудовой деревенской жизни время, когда по мелким и случайным признакам настоящего доводится судить о темном будущем. До сих пор с ранней осени, с посева озимей, прибегали к гаданьям, вопрошая небо, насколько оно будет милостиво к земле-кормилице, в какую силу-меру станет отвечать ее насущным нуждам и помогать ее силам в тех случаях, когда они окажутся утомленными или истощенными. По заветам древнейших предков, в зимнюю пору то прибегают к церковным молитвам, то к суеверным заговорам и разнообразным причетам, служат и молебны в церквах и домах и втихомолку задабривают ласковым словом и обетными приносами того нечистого, который зовется «полевиком». Гадают об урожаях отдельно для всякого хлебного злака, а попутно и на огородные овощи, причем соблюдаются урочные для каждого из них сроки, намеченные еще в старину: и на христианские праздники из двунадесятых, и на простые дни, не чествуемые святой церковью, но избранные всенародным почитанием. Доискиваются прямых указаний — по блеску звезд на Параскеву-пятницу*, на день Рождества Христова, на Якова-апостола* и на последние сутки масленицы,— и по облакам, и по ущербам луны, и по солнцу. Принимается в расчет и то, насколько космата изморозь на деревьях и сколь силен иней, велик мороз, ясны утренники, черны тро-



пинки и прохожие дороги. Какой день на масленой неделе выдался ясным, тот день стараются запомнить, чтобы в соименный ему начать сеять. В родительскую субботу все спешат вывозить навоз на поля; на Вербной неделе, в Новгородской губернии, для урожая желают мороза; в Ярославской в то же время молят об ясных днях. На Вознесеньев день* в иных местах в поле не работают, в других стараются запахать пашню, в прямом расчете умилостивить кормилицу-землю и порадоваться за нее, когда снизойдет великая небесная милость и на вешнего Николу* польет хороший и теплый дождик, и т. д.

Призывая на помощь небесные силы для ответов на мучительные вопросы об урожае, вопрошают и самую виновницу бесчисленных тревог и бесконечных забот — мать-сыру-землю. Вопрошают ее в иных случаях с тем детским простодушием, которое вообще свойственно всем первобытным верованиям и которое в таком изобилии разлито во всех народных предрассудках и суеверных обрядах. Так, например, выселенцы из старой и коренной Руси на южные окраины московского царства унесли с собой и сохранили до сего дня, между прочим, такой обычай (подмеченный в Тамбовской губернии): в Васильев вечер, во вторую кутью, накануне нового гражданского года крестьяне, пришедшие от заутрени, идут на перекрестки, где вычерчивают на земле перстом или палкою крест, прилегают к тому месту ухом и слушают, что скажет земля. Послышатся звуки, похожие на то, что едут сани с грузом — будет год хлебородный, если пустые — неурожайный.

По народным воззрениям, земля не только отвечает на все вопросы о будущем урожае, но и сама дает указания, когда пахать, сеять и пр. Развернулся дубовый лист, стало быть, земля вошла в полную силу и принялась за род: «Коли на дубу макушка с опушкой, будешь мерять овес кадушкой». Березовый лист стал уже величиной с полушку — значит, земля показывает время, когда следует запахивать пашню, и на Егорья (23 апреля) выезжает даже «ленивая соха». Когда сама земля мокра, то любит, чтобы в это время доверяли ей овсяное зерно («Сей овес в грязь — будешь князь»). Зато рожь надо сеять в сухую землю («Сей рожь в золу да в пору», — советуют исконные земледельцы). Вообще на это время земля из своих нор выпускает

лягушек, которые скачут и квачут. «Пора сеять» («Лягушка квачет, овес скачет»). Раннее яровое в черноземных губерниях сеют, когда земля совсем сгонит весеннюю воду, и если цвет ягоды калины будет в кругу, то такой сев считается поздним. Впрочем, для глаз опытных хозяев имеются и другие приметы: советуют, например, наблюдать за известным кустарником, называемым «волчье лыко»: зацвели ягоды на нем сверху (а цвести начинают они тотчас, как стает снег) — лучше начать посев ранний; цветут с середины — средний; снизу пошли — поздний. Начнет цвести козелец (он же и лютик) желтыми цветами — земля приказывает сеять овес; зацветает черемуха — пришла пора пшеницы; расцветает можжевельник — время сева ячменя. Когда яблони в полном цвету — садят картофель, когда земляничные кустики словно бы спрыснули молоком — пришла пора сеять гречиху. Лист полон — и сеять полно. Когда на Ивана Купалу собирают росу, отрывают в муравейниках масло и рвут целебные травы, то в это время говорят: «Земля-мати, благослови меня травы брати, твою плоду рвати: твоя плода ко всему пригодна», и т. д. По обилию шишек на ели судят о хорошем урожае на все яровые хлеба; если же такое обилие замечается на соснах, то это предвещает хороший урожай одного ячменя. Сильный цвет на рябине предсказывает хороший урожай льна, обилие орехов обещает яровой хлебород на будущий год (оба урожая на один и тот же год никогда не сходятся). И нет сомнения в той святой истине, какая исповедуется всем русским миром, что «земля любит навоз, как лошадь овес, как судья принос». «Для того и кладут навоз, чтобы больше хлеба родилось, а полбу *, чтобы людям годилось». «Где лишняя навозу колышка, там лишняя хлеба коврижка». «Какова земля, таков и хлеб». О даровании же хлеба насущного на худых и холодных землях молят в умилении сердца и преклонив колена в церквах, в избах и на зеленых полях — на последних, когда показалась веселая и радостная улыбающаяся зелень всходов. Широко и размашисто кладутся крестные знамения и во всю трудовую спину поясные поклоны. Звонко, с восторгом разливаются голоса поющих молебен. Искреннее увлечение всех предстоящих очевидно: все настроены благоговейно. Но в то же время кто может поручиться за то, что если бы была своя воля действо-

вать, то не вырвались бы толпой бойкие бабы, не сбили бы священника с ног и не начали катать его по зеленям, а сами кувыркаться рядом, пожалуй, даже и с приговором: «Нивка-нивка, отдай твою силку, пусть уродится долог колос, как у нашего батюшки-попа волос».



ПРОИЗВЕДЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В СБОРНИКИ



ЧУХЛОМА

Городок Чухлома, как и большая часть ему подобных, был первоначально не иное что, как куча беспорядочно сгруппированных лачужек, в общем имевших название села, деревни. При учреждении штатов Екатериною II этой груде домишек дали название уездного города, приходскую церковь назвали собором, присланы были чины, и между ними один особенно должен был заботиться о том, чтобы сосед при постройке нового дома не пригонял бы своего двора и хлевов к окнам и фасаду соседнего дома: если же желал строиться на главной проезжей улице, то не выдвигал бы своей хаты дальше линии соседних домов и прятал бы углы подальше с глаз долой, не вырубал бы четного числа окон, загораживал бы двор забором, по возможности бревенчатым или дощатым, рыл бы канаву против дома и потом каждую весну осматривал бы ее и прочищал. При новых порядках горожане плакались друг другу, горевали, жаловались на крутые тяжелые времена и ходили с поклоном и приносом к градоначальнику, чтобы претворил гнев на милость, не велел бы ломать и крушить отцовских наследий, а давал бы им догнивать самим при пособии только весенних дождей да осенних непогод. И новопожалованный городок оставался бы в том же плачевном виде, такой же серенький и гниленький, каким был и до штатов, если бы тотчас не посещали его беды непрошеные, всегда от бабьей глупости или ребячьих шалостей. Сайки пекут да не к месту сгребут уголья, овин топят да не погасят, с лучиной пойдут на подклеть да забудут лучину под соломой, баловливых ребятишек оставят дома да не отберут у них огнива и трута; смотришь — и зарделся городок заревом на дальнюю и ближнюю окольность; и вспых-

нет, как порох, вся эта гниль деревянная в смеси с соломой и смолой, а тут как назло и ветер-то понесет на строения. В эти три часа городка как не бывало, только печи одни да кое-где черемуха, обгоревшая по вершине, остаются свидетелями недавнего пожарища. Весь же обгоревший люд, перепачканный сажей, в лохмотьях, небольшими кучками-семьями бродит из одной соседней деревни в другую, прося у *доброхотных дателей на погорелое место.* На будущее же лето городок забелеет новыми домами, складется церковь каменная с новыми громкими звонами, присланными из Москвы каким-то благотворителем, не велевшим объявлять свое имя и место жительства, и ведет обстроившийся городок свою эпоху от пожара до другого и готов считать важным событием в своей жизни и постановку на крышу кадушек со шваброй, и проезд губернатора или архиерея, и проход армейского полка с барабанами и отрывистой песней, и рекрутский набор с бабьим воем и раздирающей душу песней, и замещение старого чиновника новым. Такова участь всех тех городков уездных, которые заброшены далеко от больших судоходных рек и торговых трактов, как бы, например, и костромская Чухлома. Судьба указала ей место подле озера, сравнительно, пожалуй, и большого, но не обильного рыбой настолько, чтобы дать ему известность хоть даже и такую, какую дали ерши озеру Галицкому. Вся выгода Чухломы в этом отношении, стало быть, только та, что она никогда почти не сидит без рыбы, имеет под руками хорошую чистую воду, но, как брошенная в глушь, имеет незавидные, далеко не блистательные преимущества. Два-три раза в неделю суждено ей слушать звон почтового колокольчика; с одним отвозят, с другим привозят почту, необычный звон уже интересует всякого от мала до велика, едет ли это вечно мятущийся в вечном разгоне становой, проведавший про какое-нибудь мертвое тело в уезде, или хлопотун-исправник и другие чиновники отправились на именины или крестины или родины к ближайшему соседу помещику, у которого сохранились завещанные отцами и дедами гостеприимство и хлебосольство, стародавние, сгустившиеся и до половины кристаллизовавшиеся наливки и десятки сортов разных печений, солений, пряженья. И коротает свою скучную и однообразную жизнь уездный житель, распределяя

ее по крайнему разумению и завету отцов и подчиняясь неизменным законам и указаниям времен года.

Запирается он на всю холодную снеговую зиму в своих теплых домах и топит их до жаркой температуры дешевыми, почти непокупными дровами. Время это — для одних время преферансов, ералашей и вистов, крепких пуншей и сытных ужинов, подчас предваряемых танцами; для других — время поседок с песнями и плясками и супрядков с пряжей, но без плясок и песней, и для всех вообще — с рыбным столом до святок, с свининой и хворостом, сушеным печеньем после святок, с блинами и катаньем на масленице и хреном да редькой в великом посту. А между тем незаметно проходят морозы одни за другими: на рождественские уездный люд не ел до звезды, на Крещенье — до воды, афанасьевско-тимофеевские и последние морозы — власьевские — потрещали в полях и в углах на улицах и не принесли с собой и за собой ничего особенного. Только на сорок мучеников пекут уездные жители жаворонков из теста да кресты на средокрестной неделе, а там — и Пасха с куличами, творогом и яйцами и Дарья (19 марта), на которую расстилают для беленья кросна по замерзям; а вот и весна — мать-красна, по народному присловью. С весной и легче дышится и веселей гуляется, с первыми признаками этого благодатного светлого времени года у всех на душе и свежо и привольно — и у этого пестрого хоровода, сбившегося на лужку подле собора, и в кучке ребятишек, щелкавших в бабки или играющих в пристенок тут же подле, и у той толпы взрослых бородатых мужиков, которые загородили всю городскую улицу и ездят верхом друг на друге — стена на стене — по уставу ломовой игры в городки; все весело спуталось, и всем хорошо, в чехарде одним, в горелках другим и в гуляньях по аллеям почтовой дороги третьим. Так по праздникам, а по будням хозяева на Еремея-запричальника подымают сетев с овсом и рожью, хозяйки сеют горох и рассаживают по грядам рассаду капусты и свеклы, на вешнего Николу городьбу городят и выгоняют лошадей на ночнину, коровы еще с Егорья (23 апреля) гуляют в поле. На Федота (18 мая) развертывается дуб с пятак, на Федосью (29 мая) рожь пойдет в колос, а затем и в налив, по гумнам вереницы мышей побегут, и наступит лето с земляникой от Ива-



нова дня, с черникой от Прокофья-жатвенника (8 июля) и с грибами и свежей рыбой от Петра и Павла. Пошел городской люд всех сословий и возрастов на луга — с ягодами вернется домой, пошел на бор — грибов принесет; в сладость ему и в удовольствие всякого рода новая новинка с неизбежным трепаньем за правое ухо. И так же однообразно и немногосложно идет и летняя жизнь на свежем, здоровом воздухе, как шла в запертых и теплых комнатах и избах зимняя жизнь уездного городка. Резко выдается всякое редкое событие, повидимому, простое и обыкновенное, но временно делающееся чем-то торжественным, праздничным. Таков особенно приезд местного архиерея, ревизующего свою епархию. За несколько недель знает об этом все население городка от мала до велика и за несколько дней уже окончательно готово к его приему. Исправник со становыми и благочинные уехали уже на заставу, соборная церковь вымыта, и из-под колокольни вынесен весь лом: измятые паникадила и подсвечники; священники, появляющиеся на улицах в новых рясах и шляпах, перепоясаны праздничными вышитыми поясами, в перчатках и с камышовыми, также праздничными, палками; к отцу протопопу принесли много сортов всяких вин и рыб, в доме его поселился лучший городской повар, обнаруживший свое присутствие страшным хлопотаньем и стуком на целый город. И вот наступил давно ожидаемый день: народ, явившийся было на ограду с косами и ведерками, всей массой высыпал на большую дорогу и расположился по почтовым аллеям, городские разместились частью за околицей, частью подле церкви — все ждет готовое и нетерпеливое. Пономарь давно уже просвечивается на соборной башне между колоколами и ждет только сигнала — первой пыли на большой дороге. Из ближнего села несется безалаберный перезвон все учащеннее, все время от времени живее и резче; звон этот раздается долго и не перестает ни на минуту: видно, владыко в селе не остановился и продолжает ехать дальше под звон городских колоколов на общее удовольствие и радость. Два дня городок занят этим и потом целую неделю ведет разговоры о том, что сказал владыко дьякону Илье, что благочинным, что отцу протопопу, и потом долго вспоминает о том же, если не предстоит ему новый сюрприз — в приезде губернатора — далеко уже не так

мирном и кротком. Губернатора ждут не неделей, а месяцем раньше в присутственных местах, из которых казначейство всегда каменное, ежедневно поднимает пыль столбом, дым коромыслом, у сторожей бороды выбриты и даже прорезаны в некоторых местах бритвой; приказной люд причесался и обчистился снаружи; на почтовой дороге и денно и нощно целые волости мужиков работают и горстями, и боками, и лопатами, и топорами. Смотришь, дороги и узнать нельзя: на мостах новые перекладины, перила стоят прямо и весело поглядывают своей свежей дымчатой краской с красными и белыми полосками; самая дорога как ладонь, ям и рытвин, от которых захватывало дух и замирало сердце у всякого проезжего, как не бывало; подле городской будки, всегда пустой и необитаемой, откуда ни взялся инвалид с алебардой; в присутственных местах не найдешь уже ни одного стекла битым, у винных подвалов, вместо одного, поставлено трое часовых, и солдатские штаны, рубашки уже припрятаны с глаз долой куда-то дальше; даже свиньи, всегдашние, неизменные свиньи, сквозь землю провалились; на почтовых станциях, вместо двух заветных пар лошадей, согнали по 20 и 25 пар из окольных обывательских; по соседним лесам раздалось щелканье из ружей в дичь, назначенную к столу начальника губернии; по рекам и озерам замелькали огоньки в ночной ловле рыбы с острогой. Все принарядилось и приготовилось к предстоящему торжеству и как будто замерло, чуя скорую и сильную грозу: народ не толпится ни на улицах, ни на почтовой дороге, пономарь не стоит на колокольне, все идет иным путем, исправника давным-давно нигде не видать, становые как будто сгинули да пропали. Глухо, как будто с того света, время от времени ходят нерадостные слухи, сообщаемые вполголоса, что его превосходительство там-то на исправника пригрозил, там-то судью и казначея обещал под суд отдать и в острог посадить, там-то городскому голове бороду выщипал, там-то на почтмейстера и благочинного обещал пожаловаться почтовому и духовному начальству, смотрителя уездных училищ не принял с представлением, учителей выгнал вон. И замирает уездный люд в какой-то безысходной истоме, с обливающимся кровью сердцем и окончательно падает духом, когда заслышатся зловещие десятки почтовых колокольцев и вы-

скочит в город первая тройка с запыленным, непроспавшимся, перепуганным до последнего нельзя исправником. Благополучно ли, с громом ли и молнией пронесется гроза, все же время и привычка возьмут свое, и уездный городок опять вступит в свою колею, во все права своей однообразной, безысходной, скучной жизни; к хорошему и окончательному довершению плачевной картины за летом наступает безотрадная осень с грязью по колена на улицах, с грязью выше колен по задворьям, с ливнями без перемежки на целые недели, с завываньями холодных ветров в трубы и во все скважины утлых деревянных домишек. Требуются двойные рамы и приноровка к той одуряющей зимней жизни, срок которой так длинен и до безобразия утомителен. На семь месяцев опять запирается весь уездный люд в своих домах, домиках и домишках, развлекаясь на первых порах моченьем и соленьем брусники и клюквы, вяленьем брюквы и репы с репорезова дня (15 сентября) и лакомясь свежей пшенной кашей с свежим льняным маслом на Пятницу-льняницу (28 октября) и капустницу — порою свежей капусты в начале октября. А там и Кузьма и Демьян с гвоздем, Михайло с ледяным мостом, Федор-Студит — на дворе студит, а на Введенье приезжает и сама зима, в теплой одежде, на пегой кобыле.

Счастлив тот уездный городок, на бездолье которого судьба выкинула счастливый жребий собирать у себя раз в неделю по будничным дням людные базары с громким народным смехом, в котором так много жизни, и вдвое счастлив городок этот, если в нем бывает ярмарка, если только не отняло от него этого счастливого права ближнее село, поставленное в лучших обстоятельствах, на более бойком и удобном месте.

Ярмарка — такое событие, которое способно мутить и волновать всю ближнюю и дальнюю окольность уездного городка. За несколько недель думают об этом в городе и с полнейшим нетерпением и интересом следят за всеми приготовлениями: как появляются, бог весть откуда, груды досок, жердей, как из них образуются балаганы, как балаганы эти заставляют всю городскую площадь и ширину ее и как, наконец, начинают появляться в городе набитые доверху, закрытые кожей и плотно перевязанные веревками возы с товарами. Парочки лошадок с кибиткой привозят бородатых хозяев-



офеней, накануне самого дня ярмарки — в так называемое *подторжье* — с раннего утра собирается деревенский люд в своих одноколках, на разбитых, измученных лошаденках. К вечеру в этот день весь городок, до того всегда спокойный и тихий, наполняется разнохарактерным густым бестолковым гулом, из которого нет никакой возможности выделить что-либо общее, имеющее какой-либо частный смысл и значение. Резче выдаются голоса ближних, и гулом мельничных колес в густом бору отзываются дальние ряды всего ярмарочного народа, явившегося сюда за барышами и с надеждою на прибыльный сбыт и лучшую участь, чем была та, которую несет православный народ до ярмарки. Нет ни одной одноколки, внутри которой не лежало бы какого-нибудь предмета для сбыта — масла, ниток, сермяги, холста, пряжи, и нет ни одного хозяина, которого не мутило бы желание приобрести взамен своего что-нибудь из чужого: суконную шапку, решемской кафтан, галицкой выделки овчинку, макарьевские валенки на зиму, ивановского ситцу, московский платок, и проч., и проч. К ночи город населяется в сто — в двести раз плотнее и разнохарактернее; некоторое время в сумерках бродят еще к нам разные новые лица, из которых большая часть только раз в год — и именно в этот раз — видит свой уездный город, но скоро все мало-помалу стихает, гул редеет, и все, как бы сговорясь и по какому-то незримому приказу, смолкает, и город становится как будто вымершим, как вымирал во все будничные дни до ярмарки. Спит и богатый мужик в доме обывателя — старинного знакомого человека, с которым давно уже доводится водить ему хлеб-соль, спит и бедняк — оборванный, замученный мужичок, свернувшись калачиком на своей неуклюжей коротенькой одноколке, рядом с сердобольной хозяйкой-сожительницей, во всем покорной, ни в чем не перечащей своему мужу, спит на отводной квартире и чиновник дальнего городка, в котором не бывает ярмарки, приехавший сюда закупить огурцов и разной столовой и чайной посуды для домашнего обихода, спит и купец в своем балагане, более всех счастливый, более всех выигрывающий в общем смятении, на которое завтра поутру посмотрит с живейшим участием весь городской народ, а вечером и он поплетется туда же в ряды, сначала присмотреться и приторговаться, чтобы на другой день уже обез-

людевшей ярмарки сделать и себе годичный запас всего крайне нужного и неизбежного.

Не без сожаления, не без сердечного участия и не всегда сдерживаемой тоски смотрят потом все городские, как прежним порядком выезжают вон из города значительно обмельчавшие купеческие возы и как будто увозят их радость, с которою они встречали те же возы дня за три; в церквах уже не слыхать веселого праздничного перезвона, улицы по-прежнему пусты, хотя и значительно сорнее, чем были до ярмарки, балаганы ломают и убирают до последнего колышка, до последней щепки.

— Ужасти как жалко, так что плакать хочется, что всего только в три дня ярмарка кончилась, даже и потанцевать не удалось нынче! Хоть бы полк пришел!— вздыхают городские барышни на первых же днях после ярмарки.

— По указу губернского правления ярмарке местной дозволено производить торг только в течение трех суток с 24 по 27 включительно!— успокаивает барышень городской любезник, но никогда не достигает своей цели; барышни настойчиво требуют, чтобы ярмарка продолжалась непременно месяц, два, три, четыре... чтобы полк стоял в это время, чтобы актеры привозили театр; любезник успокаивает их тем, что зависит все от воли начальства и что нельзя же так, чтобы все время была ярмарка, надо же и в присутствие ходить, а то в делах произойдут упущения.

Все успокаиваются на том заключении, что в губернском городе жить лучше, а еще лучше в столицах, где каждый день ярмарка.

— Ну, батюшка Тихон Мироныч, что купили, что продали?— толкуют между собою высшие городские власти.

— Меринка-то своего, что подпалой был, сбыл Митрошка-барышник мужичонку из Сосницкой волости за двадцать пять рублей — понравился. Так как-то, знаете, он ему перцу в неприличное место посыпал, в ноздрях да в ушах волосы выщипал, а как вывел, так конь передом и задом — понравился, сбыл!.. Ну а вы что изволили?

— Да опять дридидаму двенадцать аршин на шаровары, не могу, чтобы не широкие были. Избаловала

меня кавалерийская служба, с нее самой привычку эту несу... Супруга ваша?

— Известно, тряпья всякого нацапала: ситцев да кисей да колец разных. Мучение-с!..

— Истинно, мучение, Тихон Мироныч,— мало по одной, по десяти, целым присутствием по рядам-то ходят да совещают, а купец — известно — рад бабьему толку, да шалью им и оказывает свое высокопочитание, а потом и взвоют наши барышни до новой ярмарки.

— Тяжелы времена, тяжелы стали. Пущай наши барышни да попадьи, таков закон уж, стало быть, а то вон и мещанки-то в немецкие платья оделись да и шляпки напялили. Тут уж и пришествие антихриста поневоле вспомянете!..

— Ну а вы что, приказные франты наши городские?

— Да сукнеца-с на сюртучок-с.

— Я того же-с, Тихон Мироныч.

— Платочек шелковой, голубенькой-с на шею-с заместо галстука — очень уж щетиной надоедают-с — колют!..

— А вот что, Тихон Мироныч, ярмарка-то наша, замечаю, безлюднее становится, народу съезжается меньше.

— Народу в Петербург очень много стало ходить, оттого и купцы неохотно собираются, да вот и офеней что-то мало, прежде, бывало, два-три воза в месяц и без ярмарки навертывались. Рассказывают, Москва их сбила!

— Недостаток и несовершенство путей сообщения мешают развитию производительных сил государства, железных дорог надо побольше, чтобы обмен продуктов производился и радикально и безостановочно! Вот в чем вся суть, господа!— решил недоразумение смотритель уездного училища, всегдашний глашатай всех книжных, вычитанных идей и судья и присяжный ценитель без апелляций.

— Однако все-таки скучно же, господа, без ярмарки, с нею как-то веселее, все, знаете, на людях, и для тебя будто и весь содом-то ярмарочный затеяли...

— Да уж чего бы Галич, например, и так же уездной городок, как наш, а смотришь, и там веселее! И гораздо веселее и не в пример веселее!

— Веселы те уездные города, где дворянства много и уездные предводители богатые люди, а посмотрите-

ка там, где не живут дворяне, где нет службы по выборам,— ад кромешной, с тоски удавиться можно!..

— Да и это точно, как и верно то, что и вся-то наша уездная жизнь под одно присловье подходит: день да ночь — сутки прочь. Большего от нее не жди и не обманывайся! Везде хорошо только там, где нас нет, а куда ни заберемся — всюду свое привезем. Во грехах мы родились, грехами повиты, грехи нас и в гроб сводят. Черного кобеля не домоешься добела! И это верно!

ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ

Ой же вы, леса, леса темные!
Перестаньте вы праву веровать.
Веруйте вы в господа распятого,
Самого Егорья-света храброго.

Стали леса по-старому,
Стали леса по-прежнему.
Выходил Егорий на Святую Русь,
Увидал Егорий света белого,
Света белого, солнца красного.

Леса, непочатые и дремучие, подавляющие человеческий дух и силу, побеждены земледельцем. Он принадлежал к новому пришлому народу славянского племени и русского имени и принес с собою сюда три нехитрых, грубого дела, но испытанных орудия. С ними, с тремя кусками железа, кое-как отточенного и кое-как укрепленного на деревяшках в виде косы, топора и сохи затеял он борьбу с могучими силами суровой природы.

Борьба оказалась тяжелою и в большинстве случаев непосильною. Затянулась она на целые века; потребовала всей жизни отдельных людей, вызвала напряжение соединенных сил всего наличного числа способных к работе от мала до велика. Как сказочному богатырю злая вражья сила ставила на пути по семи неодолимых преград, так и этому, подлинному и живому богатырю негостеприимная суровая страна рассыпала эти преграды (или, по выражению народных сказаний, «заставы») щедрой рукой в поражающем избытке. Но, по примеру того же богатыря, Егория-света храбра (поэтически олицетворяющего в себе весь рус-

ский народ), этим лесам темным, выросшим в высочайшую стену от земли до самого неба, сказан был легкий, но крепкий зарок, который приведен в начале этой главы.

Вышедшему на тяжелую борьбу с испытанными орудиями, сноровкой и терпением прислужился добрый дух-покровитель: он указал вход и выход, надежное место, где укрепиться. Борьба потеряла много страхов и опасностей, стала обещать успех и победу.

Земледельческому племени послужили помощью и оказали покровительство те же водяные пути: озера и реки, которые издревле облегчали труд движения и переселений. Они вывели земледельцев из дальних прикарпатских стран; они же привели их и сюда на очень отдаленный север, в самые негостеприимные страны. И, поставив лицом к лицу со врагом, они же обеспечили возможность и первого натиска, и последующих нападений. Земледельцу стоило лишь проставить ногу и укрепить ее на надежной почве, чтобы и с немудреными орудиями дальнейшая победа была обеспечена. Прибрежья рек и озер именно представляются такими местами, которые наиболее обеспечивают быт людей и борьбу их с лесами.

Озера и реки нуждались в низменностях, на которых хвойные леса расти не любят (за исключением еловых, редкого насаждения). На озерных и речных прибережьях олабевшая и остановившаяся сила хвойной растительности заменяется новою растительностью лиственных пород, более благоприятных для земледельца. Ежегодно спадающая с деревьев листва приготовляет перегной, благодетельный для хлебных растений. На такой почве для невзыскательных хвойных пород слишком много пищи, и, взбираясь на высокие места, они оставляют широкие приречные равнины и низменности в свободное пользование деревьев лиственных пород. Между ними березы, осины, черная ольха и ивы разных пород занимают наиболее видные места, причем остается довольно простора и для открытых мест с болотистыми растениями, и для лугов с кормовыми травами. Если леса низменностей принадлежат к числу красивейших лиственных лесов, получивших вследствие своей особенности особое название *шахры* и *пармы*,— они в то же время наиболее обеспечивают жизнь пахарей. Борьба с ними в значительной степени облег-

чена. Деревья растут низкими, с тонким стволом и короткими сучьями; садятся они не так часто одно от другого, наподобие чищенных рощ. Среди них открываются прелестные местности с роскошными лугами, воспользовавшимися обсыхающей ежегодно наносной почвой с веселыми озерками, с говорливыми ручейками, с улыбающимися холмами. У подножия их непременно раскинулись и укрепились деревушки, и ведет отсюда человек, понуждаемый своими многосложными надобностями и требованиями, тяжелую вековечную борьбу с лесом, который мрачно глядит с горных высот, обступивших веселую и живую картину, как резкий и подавляющий контраст. Картина низменностей этого рода кажется веселой уже потому, что лиственные леса разнообразятся роскошными подлесками, состоящими из кустарников. Лиственные леса не дают темной тени, так называемого *увея*, и потому в них нет клочка, которым бы не воспользовались разнообразные сорты трав и на которых не могло бы приняться и возрасти брошенное в землю семя хлебных злаков. Травянистая чаща обилует сочными листьями и пестрыми цветами — излюбленным местом певчих птиц, которые перепархивают в густые ветви подлесков, но избегают и боятся густых чащоб хвойных лесов.

Дремучие хвойные леса — действительно заклятые и непримиримые враги земледельческого труда уже потому, что занимают те пространства, которые могли бы воспитывать злаки хлебных растений. Господствуя на земле сплошными насаждениями в громадном избытке, они порождают и поддерживают ту суровость климата, которая столь враждебна нежным колосьям хлебных злаков. Как холодильники природы, они привлекают обилие влаги, которая является еще большим препятствием для всяких успехов земледельческих занятий. Сила и быстрота роста хвойных пород настолько велика и могущественна, что отбитая тяжелыми усилиями под пашню земля не медлит покрываться новою порослью елей или сосен, лишь только человеческий труд потребует отдыха, лишь только на один — на два года отвлечется от земли внимание пахаря. Напряженность последнему надобится чрезвычайная, а работа на новых местах требует действительно богатырских сил. Эта вековечная борьба с лесами в северном земледельце породила даже ненависть к ним, доходящую до

крайних пределов и очевидную в наши дни печальными последствиями безрасчетного истребления лесов, когда безнаказанно нарушены границы, полагаемые природою для истребления: срублены леса на горах, вырублены на источниках рек и т. д. У северных земледельцев, в противоположность южным и западным, эта ненависть доведена до того, что все селения стоят на полном солнечном припеке и тщательно и намеренно избегают даже прохладной тени лиственных и кустарниковых деревьев, отводя лишь изредка, в исключительных случаях, местечко, и то на задворках, бесполезным деревцам рябины и черемухи.

Хотя с точностью неизвестно время, когда русские люди пришли в дикие страны непочатых и недоступных хвойных лесов, тем не менее известны до мелких подробностей орудия, способы и последствия той тяжелой борьбы с суровой природой, на которую они обязательно натолкнулись. Впрочем, ограничиваясь здесь географическими пределами страны, носившей в древнем Новгороде название Заволочья и Двинской земли, мы на первых же страницах первоначальной летописи встречаем прямые указания, что эта страна была хорошо известна первым насельникам славянского племени, основавшим торговый Новгород. «Волок», отделяющий системы рек, текущих на юг и запад, от тех рек, которые направляются в Студеное море по северному склону лесистой земли, был обхожен и пройден.

В XI веке новгородцы уже собирали дань с Печоры; в XII предпринимали в знакомые места, в Двинскую землю, частые военные походы, а с XIII не только начали здесь правильную, обдуманную и настойчивую колонизацию, но получали дань даже с отдаленного заморского Терского берега. Населялись русскими людьми и Обонежская пятина, простиравшаяся вплоть до Белого моря, по сторонам Онежского озера, и новгородские области — Заволоцкая (по обеим сторонам Северной Двины, от реки Мезени до реки Онеги), Пермь (по верховьям Камы и Вологды) и Печора (от реки Мезени до Канинского полуострова). В XIII веке существовало даже независимое от Новгорода и совершенно самостоятельное владение между реками Вяткой и Камой, основанное новгородскими выходцами еще в предшествовавшем веке под именем *Хлынова* (что теперь Вятская губерния).



Привели сюда этих новых поселенцев многоводные реки — издревле испытанные и облегченные пути для народных переселений, на этот раз замечательные своим обилием и направлением течения. Сплошная цепь озер, соединенных между собою протоками, указала надежные места для первоначальных водворений, а частая и роскошная сеть рек, прорезающая область дремучих лесов во всех направлениях, вводила в самую лесную глушь и выводила на простор богатых морских побережий. Захватом верховьев реки и одновременно с ними и преимущественно устьев побочных рек обеспечивались начальные шаги наиболее опытных и смелых передовых водворенцев. Постройкою на этих местах укрепленных городков (Великий Устюг и Вологда, Вага и Холмогоры, Каргополь и Соль-Вычегодская) упрочивалось дальнейшее существование земледельцев на избранных ими пунктах. Шли сюда новгородские люди с издавна приобретенным навыком к постройке «хором» и судов, еще с 1016 года известные под бранным словом «плотников», приданным им киевскими полянами и степняками. Шли новгородцы безбоязненно и охотно расселялись на просторе свободных от заселений мест под защитою укреплений по речным подолам и угорам — «садились на сыром корени», по красивому выражению древних юридических актов, «где лес от века не пахан». Поселялся здесь новгородец на свой страх и в надежде на свою силу, как выговорил один за всех св. Антоний Римлянин: «Не приях ни имения ото князя, ни от епископа, но токмо благословение, и паша на чужой земле ни вдвое, ни во едино, ни себе покоя не дах: да то все управит Мати Божия, что есмь беды принял о месте сем».

Впусте лежащие земли были свободны, никому не принадлежали. Свободен был и искавший себе на них оседлого жилища и хлебородного места народ славянского племени. Во всякое время он волен был оставить избранное место и обменять его на другое. Если кто-либо нанимался для работ — ежегодно на осенний Юрьев день (26 ноября) он имел право оставить этого хозяина и искать другого. Простор для передвижений был обширный и неограниченный. Самый способ владения землею покровительствовал тому, что наше сельское население было подвижное: народ искал оседлости и покидал найденную землю ради той же оседло-

сти. И чем дальше в глубь времен, тем обычай этот был сильнее и деятельнее. Непрерывным потоком двигался народ на северо-восток России искать пашен. Полетел вместе с ними и воробей — в глухих трещах неизвестная птица. Выжигая еловые и срубая сосновые леса, пахарь, особенно на пустошах, давал простор лиственным лесам и самым сильным между ними — березовым. Береза стала развиваться в таком множестве, что в среде лесных инородцев родилось глубокое убеждение в том, что появление белой березы знаменует их погибель и владычество «белого царя».

Приходили люди на новое место, поднимали целину, ставили *починок* — одинокое жилье «на нови, без пашни»— как объясняют древние акты. Починок прозывался селением (селом), когда срубался соседний лес, подсушивался и выжигался, заводились новые мелкие хозяйства и с ними новые зимние жилья (с печкой для отопления, а потому *истопки, истьбы,* т. е. *избы).* Впоследствии селения, из дерева и среди дерев, прозваны были за то *деревнями, займищами, селищами, запашками.* Они были именно теми отдельными хозяйствами, выродившимися из сел, когда сельские поля удлинялись, а полосы хозяев удалялись от дворов; надобилось много времени на переходы и переезды в дорогое для пахаря летнее время, а изстаринная трехпольная система земледелия требует, чтобы полосы были под руками на задворках, а выгоны и пустоши — на глазах и недалеко. По земле, которая тянула к селу, *деревенщина* соединялась с селом, «по разрубам, разметам», отправлениям земледельцу и государству, но имела и свой участок, который жители дробили между собою на жеребья по дворам и семействам. Там же и в то время, когда селища и займища превращались в деревни, объявились на русской земле и погосты в глубокой русской древности. Это излюбленные и избранные места с одиноким жильем, куда в языческие времена окрестный народ собирался для общего дела: суда или торга, а в христианские — и для молитвы, так как на погостах выстроены были храмы и указано было место для погребения усопших. И до нашего времени эти одинокие селения сохранили свой характер временного сходбища (для гостьбы, погостить), оживленного лишь божьим храмом и при нем жильями духовенства и церковников. Погост немедленно переименовывался в село,

лишь только счастливый и удачный выбор места оправдывался на деле, и затем привлекал новых поселенцев и обстраивался домами промышленных и торговых людей. Рядом с этими переименованиями постепенно исчезали из народной памяти и разнообразные прозвища пахаря (изорник, смерд, ролейный закуп, наймит и т. п.), и получилось новое крещеное имя, господствующее теперь на всем пространстве русской земли,— крестьянина (хрестьянина, христианина).

Из оседлых жилищ в починках и займищах, в селах и деревнях выходили крестьяне с огнем и железом на такую же истребительную войну с лесом, какие вели некогда целые народы, с корнем стиравшие с лица земли своих противников, заграждавших путь и занявших попутные места. Приемы земледельческих племен насколько древни и просты, настолько же верно действуют, разнообразны и распространены повсеместно под множеством названий. В Древней Руси этот первоначальный способ возделывания земли посредством роздерти, росчисти, роскоси, гари назывался на северо-западе лядинным, на северо-востоке — *новинным*; на ученом языке он прослыл под названием хозяйства *подсечного*. Новая земля, отбитая от дремучих лесов, в старину звалась притеребой, теперь в разных местах зовут ее разными именами: на великорусском севере это — новь, новина, кулига, в белорусских лесах это — лядо, лядина, огнище. Тем не менее, как ни разнообразны названия способов, каждый прием поразительно однообразен и прост.

Крестьяне выбирают в дремучем лесу способное и удобное место. На лесистом севере таковыми считаются ровные и сухие, где растет ельник в смеси с березником, мелкий, но густой мешаный лес, где толщина деревьев не превышает двух с половиной вершков. Если преобладает белая ольха, почва считается наилучшею. В местах поюжнее лучшим признаком лядины полагается густая чаща ели (ольха же указывает на непригодность почвы), и наоборот, на севере (по Олонецкой и Архангельской губерниям) сплошные еловые леса считаются для новин непригодными деревьями, решительно не по силам здешним крестьянам для росчистей и поджогов под пашни.

В летнее время, между двумя посевами ярового и жнитвой озими, на избранном месте, называемом *лядо*,

лядина, ледина, а также, по примеру инородцев, *сельга*, вырубается лес и, по возможности, сваливается рядами или, как говорят,— *постелью.* Загроможденное таким образом место приговоренными к смерти деревьями, подсеченными, подчищенными и поваленными,— целый год, до будущего лета, называется русскими именами: *подсека, чищоба, валки, починок* и также под инородческим прозвищем *кулиги.* Деревья сложены одно на другое по длине и сколь возможно ровно и плотно прикрывают землю своими срубленными ветвями. Земля, занесенная снегом, менее промерзает и осенью дольше преет. Хорошие бревна раскатывают по сторонам, прибирают; оставляют на месте не толстые. Лес высыхает и подсыхает. В свободное время второго лета подсеченный лес зажигают, употребляя самое тщательное внимание на то, чтобы не занялся огнем соседний, стоячий лес. Обгорелое и зачернелое место, получающее название *пожога, огнища, пала* и *паленины,* посещается вновь в то же лето, спустя несколько времени, крестьянскими семьями в полном сборе: ими сносятся головни в кучи, перерубаются и дожигаются. Эта черная работа называется *прятанием новины.* При этом замечают, что, ежели лес хорошо высох и сгорал в недождливое и в безветренное время, успех тяжелого труда совсем обеспечен: новинка задалась. Ее *подымают* или, как говорят также, *ломают:* обработанную землю засевают рожью или ячменем, а в иных местах даже и льном (на Волге репой, а если кулига не поспела, то озимым хлебом, в южных местах — пшеницей). Из огнища делается пашня, известная на севере под именем *нивы,* на которой в беспорядке торчат обгорелые пни и голые коренья срубленных дерев. Между ними запахивается зерно бороною самого грубого дела (из перерубленных пополам еловых лапок с обсеченными длинными сучьями), но самого практического значения (гибкая борона, перемешивая семена с золою, не задерживается пнями и кореньями, легко спрыгивает на своих длинных пауковых ногах и при падении еще больше разрыхляет землю). Всякий раз, когда сеют хлеб, более и более взламывают и выворачивают пни или *корчуют* вагами, т. е. деревянными длинными рычагами. Эта работа — одна из труднейших и к тому же подвигается очень медленно: пни подопревают долго. Когда хлеб убран, новое поле получает название *ни-*

вища, в закромах у хозяев за долгий и тяжелый труд богатая прибыль. Урожай на нивах достигает иногда поразительных размеров: сам-25 самый обычный, сам-30—35 очень частый, сам-40 — нередкий, а бывает местами и временами и сам-60. Вырастающее зерно крупное, но почвенная сила непрочна: если одним посевом с громадным избытком вознаграждается тяжелый труд и предварительные трехлетние хлопоты, то на второй год нива уже никакого посева не заслуживает, если не будет удобрена. За малым количеством среди дремучих лесов луговых пространств с кормовыми травами, при невозможности разведения рогатого скота в том достаточном количестве, чтобы получать назем, и по крайнему вследствие того недостатку удобрения нивище пускается *вперелог,* на отдых. Лесная заросль не медлит занять старое место, и нивище это поступает обратным путем в то же звание и значение, которое характеризуют словом *лядины.* Лядина требует особенно частого и ежегодного ухода (проходной рубки и вырубки сосны и осины для простора белой ольхе, березе и немного ели). И при всем этом только через 35—40 лет лядина может годиться под огнище и ниву и под свежий посев, хотя почва через 8—10 лет дернеет, в более южных местах северных лесов превращается в *целину* и зовется иногда залогом и непашью.

Таким образом, на севере, в Заволочье, рабочему, поднявшему целину во цвете молодых и ненадломленных сил, надобится период лет, предназначенный вообще для жизни большинству людей, чтобы успеть еще раз обратиться к отдохнувшей земле и вновь попробовать вызвать ее силы, когда человеческие уже надорваны и ослабли, когда на помощь приготовилась уже третья свежая сила — во внуках. Вот почему с древнейших времен и до наших дней практикуется народом такой обычай: посидевший на новом месте 2—3 года покидает его, ищет другого, где бы труд его был легче и производительнее. Туда переносит он и свою избу с приспешнями, которые оттого во всех лесных местностях кажутся временно и наскоро построенными, недомовитыми, бедными и такими по виду и по внутреннему достоинству, что их не жаль покинуть во всякое время. Чуть труд станет потяжелее, земледелец бросает перенесенную избу и на третьем месте строит новую. Но и здесь предпочитает он делать гарь, чем хлопотать

об удобрении. Замечательно, что до XV века в древних актах и памятниках не говорится о земледельческих удобрениях нигде ни одного слова, нет и намеков. Даже и в настоящее время по недостатку сенокосов, когда скот приходится подкармливать истолченными в порошок сельдяными головками, скота на севере разводится мало, коровы очень мелки, да таковы же и лошади.

Известная холмогорская порода рогатого скота — лишь удачный опыт перерождения голландской породы в особую, очень молочную, но дальше окрестности Холмогор не привившуюся. Длинные, низенькие, горячие и сильные лошади *мезенки,* переродившиеся из вывезенных из Москвы другом царевны Софьи князем В. В. Голицыным, почти совсем исчезли и сделались, так же как и обвинки, большою редкостью. Все они отличаются мелким ростом, выносливостью и невзыскательностью к корму. У мезенок, как и у якутских лошадей, последнее свойство доходило до того, что они пропитывались древесной корой, неразборчиво ели опавшие с деревьев листья и т. п.

О сбережении лесов в старое время никто не думал; лес считался ни по чем. Он представлял собою только полный простор для свободного земледельческого русского люда, который еще в XVI веке волен был бросать расчищенную землю и искать другую. Вот почему старые официальные памятники переполнены указаниями на многочисленные группы деревнищ, займищ, селищ и пустошей.

Этому подсечному способу хозяйства, требующему постоянного и настойчивого передвижения вперед в глубь дремучих лесов, Россия обязана колонизацией холодного и негостеприимного севера и завладением столь богатою и обширною страною, какова Сибирь. Если самовольным переселениям в России давно положен предел, то в той новой стране, которая лежит за Уральским Камнем, вольные заселения новых мест производятся прежним порядком под видом и именем заимок. В России же остались только следы, но очень яркие и характерные как в правах, так и в народных обычаях следующего рода.

На лесистом севере оставшиеся жилища немногочисленны и малолюдны: большая редкость встретить деревни свыше 50 дворов. Гостеприимство, приказывающее «не быть для гостя запасливым, а быть ему ра-

ду»,— до сих пор у северных русских резко выдающаяся добродетель. За радушием этих людей легко уберечься всякому прохожему и голодному. До сих пор во многих местах (особенно в Сибири) свято соблюдается обычай приделывать к окну, выходящему на улицу, полочку и выставлять на ней на ночное время остатки дневной пищи. Если в настоящее время этот обычай погодился для беглых с каторги, то в свое время он послужил тому, кто свободным насельником перебирался с худого старого на хорошее новое место. До сих пор в глухих лесных местах придерживаются обычая сеять горох и репу при дороге, чтобы прохожий человек мог ими воспользоваться. Наученные личным опытом тяжелых переходов через необитаемые, глухие и опасные леса, передние не забыли о задних и по возможности обеспечивали им путь. Старинный православный обычай ставить кресты на местах отдыха и ночлегов прислужился тем, что наметил дорогу прежде прошедших здесь. На распутьях или росстанях и на тех местах, на которых одна дорога вела туда, где самому быть убиту, а другая туда, где коня потерять,— тот же обычай приурочен к тому, чтобы указывать выход: направления поперечных досок креста прилаживаются всегда так, чтобы с той или другой стороны указывать в надежное и безопасное место. Особенно внимательны обычаи и правила, какими издавна обставлены лесные избушки, известные под именем кушней (от кущей, находящихся в самых глухих трущобах под наблюдением особых сторожей — кушников). Такими избушками заставлены северные леса даже в самых глухих своих тайболах и урманах, и вся сеть их представляет непрерывную цепь станций, уголков для угревы и отдыха по направлению от обоих величайших русских озер до середины Печоры и дальше через Уральские горы в дальнюю глубь сибирской тайги. Это — или оставленные жилья неудачливых поселенцев, или изба, выстроенная про всякий случай догадливыми зверовщиками или земской властью для своей пользы. Во всяком случае, кушни не имеют хозяина и предназначены для общего пользования и всякому, кому приведется попасть сюда и войти погреться и покормиться: погреться — потому, что в избушках всегда складена каменка (очаг), а иногда и русская печь, покормиться — потому, что в кушне, если не живет кушник, всегда где-нибудь

стоит про голодного человека кадочка с соленой треской, ведерко с солеными сельдями, сухари в столе, соль в берестяной коробочке, сетка с поплавками половить свежей рыбки, образок в уголку помолиться богу. Попользуйся всем, что оставлено, но и поблагодари: оставь, что можешь. Если же и нет ничего — никто за тем не смотрит; другой запасливый человек за тебя сделает это.

Такими способами обеспечивался на вольной земле переход вольных людей на дальних расстояниях. Взаимная помощь и поддержка стали законом. Общее и неделеное указывалось самым характером народного быта и проникло во все его частности и дробные применения. Первая встреча с суровой природой, первые шаги в борьбе с могучими силами дремучих лесов убеждали в том, насколько ничтожна сила одного человека и насколько победоносно участие в деле соединенных сил, где все заодно и каждый за всех, где одному страшно, а всем нестрашно. На подобных работах создался «артельный» труд в самом разнообразном применении (промысловом, торговом и продовольственном), бесплатная «помочь» (работа артельно из одного угощения), новоземельские «котляны» и мурманские «покруты» для промысла морских зверей и пищевого продовольствия на необитаемых морских берегах и островах. Общинное начало господствует даже в торговых предприятиях, между купцами — вели ли они их с иноземцами или инородцами, меновые или денежные, водою (водными путями) или горою (сухопутьем). При подобном же способе обеспечения жизни выродилось могущественное начало общинного быта, укрепилась община, без которой и самая жизнь северного человека немыслима и безвыходна. Непосильная одному человеку борьба с суровыми условиями природы в общинном труде ознаменовалась блистательной победой, в земледельческой артели нашлись главные и надежные орудия. Община заселила север, община перебралась и в Сибирь, и это значение ее настолько было велико в прежние времена, что московские цари, не любившие новгородских порядков, уважали и укрепили значение крестьянских общин. Им предоставили право выбирать старост или лучших людей, излюбленных миром, в заступники за себя. Без ведома этих людей крестьянина нельзя было брать ни по суду, ни без суда;

17 Заказ 471

сама же община имела право судить своих выборных. Община надзирала за порядком и тишиной внутри, даже управлялась сама собою: выборными старостами, сотскими, пятидесятскими и десятскими. Эти выборные смотрели, чтобы в их волостях было тихо и спокойно, чтобы никто не допускал воровства, корчемства, разбоев. Выборные люди раскладывали подати и повинности. Расценивалось обыкновенно имение каждого тяглового крестьянина, пашня и получаемый с нее хлеб, двор и скотина при нем, промысел и работники в семье. Зажиточные писались в одну кость, средние в другую, бедные в третью. Случалось, что одна деревня богатела, наполнялась пришлым народом, другая пустела,— тогда общины уговаривались взаимно насчет платежа податей. Опустевшая община имела право сзывать новых жильцов, давать им разные пособия, посылала поверенных с деньгами выкупать у других общин состоящих в тягле, но пожелавших переселиться. Эти же поверенные отыскивали своих старых тяглецов и возвращали их на прежние пепелища.

Из ответственности крестьянских обществ перед тем или другим владельцем выродилась свободная сделка, называемая «круговой порукой». Эти сделки опирались на «доброй славе» всех членов общины и служили обеспечением тому, что всякий заботился о безопасности общей и всем неудобно и невыгодно было принимать худых людей, за которых нельзя было поручиться. Круговая порука была, таким образом, чисто народным порождением, и правительство впоследствии, для финансовых целей, воспользовалось ею, как готовою формою. На деле через нее за неисправного плательщика отвечали все другие или искали на его место более благонадежного члена.

На общинном сходе каждый крестьянин имел голос, на суде крестьяне, наравне с купцами и боярами, признавались свидетелями и имели равные права со всеми, т. е. выбирали в суд своих судей. Перед законом у крестьян было равенство с другими сословиями, они почитались лишь низшим классом общества. Но несмотря и на это, и на то, что жизнь в холопях освобождала от тягости тягла и обеспечивала боярским содержанием, земледелец не решался менять ни на что свою свободу, хотя и пользовался ею среди безотрадной и тяжелой жизни. Около Юрьева дня, в осенины,

за неделю до него и неделю после, земледелец был чист и прав, мог сниматься с места и жить на следующий год, сколько поживется, у другого. Этот другой был или другая крестьянская община, или богатый собственник в роде князя, митрополита, промышленного человека, купца, монастырского братства.

Таким образом побеждали леса и возделывали их под пашню — или соединенные силы добровольно сплотившихся монастырских и крестьянских общин, или сила денежного капитала богатых людей, призывавшая на свободные земли охочих людей.

В Двинской земле преимущественно играли видную роль в значении владельцев поместий новгородские бояре и купцы; в местах нынешней Вологодской губернии, имевшей 88 монастырей, видное место принадлежало монастырской колонизации.

Приемы заселения у всех были одинаковы: желавшие возделывать непочатую землю обещали за труд всякие льготы и барыши и старались удерживать пришельцев строгим исполнением своих обещаний. Нанимали чаще за половину добычи с земли (половники или половинники, дожившие со своими старинными правами до времени последнего освобождения крестьян). Нанимали в лучших местностях и за треть сбора (третники). Половникам удалось уберечься из древнейших времен нашей истории до наших дней — именно на лесистом севере (в Вологодской губернии, в уездах Устюжском, Соль-Вычегодском и Никольском в количестве около 5 тысяч). Эти крестьяне, как обельные разных губерний и белопашцы Костромской губернии (потомки Ивана Сусанина), были сословием привилегированным, и, когда все были прикреплены к земле, они пользовались правом перехода по старине, куда захотят — от одного владельца к другому или обратно в черносошные волости, и отнюдь не подлежали личному закрепощению. Пока жили на чужой земле, они обязывались доставлять владельцам половину произведений ежегодного урожая, по соглашению могли заменить это и оброком. Как люди свободные, садясь по записи на месте, они могли оставлять его, но с извещением о том владельца за год. Никто на этих людей не имел права налагать никаких других повинностей и служб, кроме относящихся до земледелия и сельского хозяйства. К сильным владельцам, каковы богатые новгород-

ские бояре, владыки и монастырские общины, сам народ тянул охотно, находя у них защиту от всяких сторонних притеснений. Жизнь за спиною сильного владельца, как за стеной каменной, соблазняла и тех, у кого были свои земли и достаточные средства держаться за них. Обид и невзгод в те времена было много: то померзнет от ранних заморозков хлеб на корню, и понадобится ссуда из запасных складов, то от частых и обильных дождей, какими богата вся лесистая страна, хлеб загниет и повалится, и наступит голод. Голодные годы до того были часты, по сказаниям самовидцев, что на четыре года приходился один год голодный; народ драл кору с сосен и ел ее вместо хлеба, вместе со всякой запрещенной скверной: собаками, мышами, кошками. Летописи почти год за годом рассказывают о подобных бедствиях, столь присущих девственным и диким странам, где все ни предусмотреть невозможно, ни обороniться нет средств, потому что силы природы чудовищно велики, неудержимы, с разительными крайностями и причудами: в 1371 году долговременная засуха сжигает все поля и луга, в 1429 году на Воздвиженьев день (14 сентября) выпадает столь глубокий снег, что хлеб погиб под сугробами. Люди умирали тысячами в домах и замерзали на дорогах; в 1518 году шесть недель шли непрестанные дожди, от которых поля были залиты водой и реки выступили из берегов, а в 1533 году опять с Петровок до сентября не пало ни одной капли дождя, болота и ключи иссохли, горели леса, и в тусклом свете багрового солнца днем люди не распознавали друг друга в лицо и задыхались от дымного смрада. Бедные шатались, как тени, падали и умирали. За голодом следовали неизбежные их спутники в виде «смертной появы»: мора, чумы, черной смерти. Целые тысячи людей сходили в безвременную могилу. Случалось, что и прибирать мертвых было некому. Растерявшимся в мыслях среди таких невзгод и злоключений не только всякий оберегатель и защитник, но и всякий советчик казался ангелом-хранителем. Те, у которых слово утешения соединялось с делом фактической помощи, порождали в народе искренние чувства беспредельного благоговения, сопровождавшие благодетелей и за гробом. На их могилах ставились неугасимые лампады, и в день их кончины совершались общинные панихиды, на гробах воздвигались храмы.

В тех случаях, когда благодеяния сопровождались очевидными фактами спасения от бед и напастей, скончавшиеся благодетели и молитвенники местно чтились, как святые угодники. Их именам посвящались храмы, к загробной помощи их обращались, как к живой и действующей, и уверенно ожидалась желаемая помощь и непременное спасение.

Для своевременного совета и возможных предостережений на случай неожиданных бед в русских земледельческих общинах выродился крупный тип советчика и охранителя, до сих пор в великорусском народе не исчезающий, под особенным именем *большака*. За ним вековечная давность и деяниями заслуженное право на уважение. В каждой общине одному из таких готовое место и безусловное послушание. Он всем равно дорогой человек, потому что каждому полезен и всякого превзошел умом и жизненным опытом. За ним идут туда, куда он соблаговолил повести, без него никто не снимется с места. Нарождается он в трудолюбивой многочисленной семье, нуждаются в нем и целые общины, составившиеся из множества этих отдельных семей.

Выделяет большака из толпы его крепкий ум, изощренный продолжительными наблюдениями над мудреною жизнью земледельца среди многочисленных врагов, которых он почти всех знает на память и против каждого хранит в запасах этой памяти способы обороны и средства отпора. Воздержная жизнь до седых волос сохранила ему и эту острую память, и крепкое здоровье, которое дает ему возможность не отставать от других в работе и служить всем примером. Строгое отношение к себе во всю долгую трудовую жизнь умеет он внушать и другим. Если иногда требовательность его доходит до крайностей в своей семье, где тяжела подчас его рука и неприятны его ежовые рукавицы,— на миру он благодетель и дорогой человек уже потому, что делиться с малоопытными своими драгоценными практическими наблюдениями он считает священным долгом. Для направления и исправления земледельческих работ у него такой запас примет по предзнаменованиям физической природы и животного царства, что общая сумма их составляет целый кодекс земледельческих правил. Его приговором определяется время посевов и жнитва, сроки сенокосов и выбор лядин для

росчистей и посева. Его последним словом и ручательством отделяются свои от чужих перепутанные и запаханные полевые межи. По ним он впереди всех, для пущего уверения, идет с иконой или куском вырезанного дерна, положенными на седой голове. Большак сказывает последний приговор и дает бесспорное мнение во всех тех случаях, где все другие потеряли голову и дошли до бесконечных и неразрешимых споров. Над глубокою, опасною пропастью по перекинутой с одного берега на другой тонкой и хрупкой жердочке большак есть тот опытный проводник доверившихся слепых, который наверно выводит на твердое и надежное место.

В названиях селений, даже городов, сохранились имена тех первых насельников, которые делали в лесах росчисти, ставили первую избу и улаживали на нови трудовую жизнь по изведанным и обычным общинным приемам. Если имена других и не приурочились к названиям селений, то память об них сохранилась в народе. В XV веке новгородский крестьянин Петр Дементьев Воронов с несколькими семейными товарищами ставит жилья на пустынном мысу при реке Олонке и быстро обогащается, привлекая новые семьи. Здесь основывается таким образом то селение, из которого потом выродился город Олонец. Промышленные люди из того же Новгорода Филатовы и Окладниковы содействуют заселению устья Мезени, и из слободы последнего образуется город Мезень. Новгородец Ивашко Дмитриев Ластка на Печоре при устье Цыльмы, по грамоте Грозного, созывал людей, «копил на государя слободу» и давал ему за то оброку шесть рублей в год; в слободе поставил церковь и «попа устроил как ему у тоя церкви можно прожити». Лука Варфоломеев (из бояр Новгорода) помогает заселению берегов Двины, и т. д.

В описываемых местах этот тип настолько живуч и неизбывен, что видоизменяется поразительно и разновидности его довольно многочисленны. Такими людьми живет и закрепляется община, они скрыты под разными обликами и известны под разными именами, но призвание и судьба их вся посвящена крестьянскому миру и вращается в сфере его интересов. У лучших представителей этого типа общественная служба доходит до самоотречения.

Священным почтением при жизни и «памятью с похвалами» по кончине своей воспользовались у народа



те святые отшельники, которые в давние времена строения Русской земли уходили в непочатые леса для самоуглубления и молитвы и выходили из своих затворов на людскую помощь немедленно, лишь только объявлялась в том надобность. Тот же неустанный труд, услажденный неусыпной молитвой, приковывал внимание тех, которые в отчаянии от неудач и невзгод утратили всякую энергию и надежду и боялись потерять самую веру. Лишь только доходил слух о безмолвных и скрытых подвигах пустынника, любопытные и верующие шли к нему для поучения, за примерами и указаниями. Некоторые увлекались святою жизнью до того, что решались оставаться подражать ей, другие и большая часть начинала помогать трудом этим людям, изнывающим и изможденным от постоянных трудов и непрестанных молитв. Созидались в лесной глуши храмы, выстраивались кельи, сооружалась ограда, возрождалась пустынька, невдолге превращавшаяся в монастырь, посвящаемый на всем севере в честь Спаса, сохранявшего от бед трудных переселений по глухим лесам, и имени Николы-угодника, уберегавшего, по исконным народным верованиям, на пути плаваний по бурным озерам и неизвестным рекам. Основатель обители, при виде пришлых, приселявшихся к монастырской ограде *свободным* поселением — *слободою,* ходил к сильным мира в Новгород к посадникам и вечу или в Москву перед светлые очи царей и великих князей. Здесь обещанием молитв за усопших родителей и во искупление их душ от вечного мучения отшельники выхлопатывали себе грамоты на земли, «володети тою землею игумну и старцам вовеки, а поминаючи родителей наших да и детей наших и ставити им обед на такой-то день». Когда монастырские межи встречались и перепутывались с полосами земель людей вольных и из них завистливые к богатым монастырским угодьям не затруднялись измышлять и наносить монастырским слобожанам всякие обиды, увозя снопы и сено и угоняя скот,— основатели обителей и их наместники снова ходили к сильным мира. Отсюда они приносили несудимые грамоты, по силе которых ведал крестьян судом и расправой сам игумен с соборными старцами, а в преступлениях, исключая уголовных, никто монастырских крестьян судить не мог. Наиболее богомольные, по примеру Марфы Борецкой, знаменитой вдовы новго-

родского посадника, отписывали за монастырь свои волости со всеми угодьями: землею и водою, рыбными ловищами, пожнями и лесами и лешими озерами. «А кто имеет наступатись на те земли или кто тех людей изобидит, и тому быти от нас в великой казни». За согласием на уступку в монастырскую пользу немеряных и неведомых земель у богатых князей и бояр не стояло дело. В жизни и делах слишком много было соблазнов и падений, чтобы понуждаться в умилостивлении бога. А именно на это и обрекли себя эти смиренные видом, нищие духом старцы, отрешившиеся от соблазнов и прелестей греховного мира, эти святые люди, пришедшие с жалобами и челобитьями и, при своей неизреченной скудости, со священною водою в восковых сосудах, с богородичным хлебцем и святыми иконами, вынесенными из дальних и глухих стран, с самых краев крещеного света. Когда просветитель лопарей, сын торжковского священника Трифон, пришел в Москву с ходатайством о помощи и содействии своим подвигам и подал челобитную царю Грозному на пути его в Благовещенский собор к обедне, царевич Федор Иванович столь был поражен видом монаха из таких дальних стран, что, войдя в особый придел храма, снял с себя богатую золотую верхнюю одежду и велел отдать ее страннику с тем, чтобы его милостыня предускорила всех прочих. Страхом и ужасом преисполнялось сердце и благоговейным восторгом наполнялась душа при представлении о тех великих трудах и святых подвигах, каким посвятили себя подвижники, обещавшие неустанные молитвы на целые годы у самых нетленных мощей прежде их благоугодивших богу и воссиявших теми же подвигами благочестия.

Заручаясь новыми угодьями и пустошами, отшельники посылали от себя в те места опытных людей из своих сотрудников «для посельства». Посланный «посельский старец» старался выбрать также удобное по местоположению, привольное, а стало быть, красивое и живописное: у воды и на горе. Этот старец ставил двор — самое первичное и безусловно необходимое условие оседлости, затем он обрабатывал землю вокруг жилья, сколько мог и хватало у него сил, приглашал поселенцев и вместе с ними занимал и оставлял за монастырем все то пространство земли по те места, куда — по красивому выражению древних актов — «их то-

пор и соха ходили». От пришедшего требовалось только того, чтобы он был человек добрый (т. е. способный работать и дать при вступлении в общину «явки — две деньги»). Бобыль получал только усадебное дворовое место, а полный крестьянин сверх того и жеребий во всех владениях монастырской общины. Монастырь богател и упрочивал свое бытие на многие грядущие века в то время, когда внутреннее его устройство давно уже поставлено было на незыблемом основании общинного устройства. За монастырскими стенами оно было то же самое, которое столько полюбилось всему русскому народу, а вводилось основателями-отшельниками, вышедшими из того же класса черносошных людей и также в глушь непочатых мест, и также не в одиночестве, а первоначальною общиною с товарищами, которым списатели «житий» святых присвоили общее имя учеников. В монастырскую общину, в число братий ступал каждый русский, бессемейный, который хотел жить по правилам, установленным для общины. Монастырские общины старательнее других хлопотали о том, чтобы «меж себя лихова человека не держать, обыскивать меж себя про лихова накрепко и на кого взойдет пословица недобрая и тех недобрых людей высылати вон».

В обители место большака занимал настоятель с помощью «собора старцев», между которыми наиболее выдающиеся умом и опытом занимали должности келаря, ватажника, трапезника и дьяка. Общими трудами и строгим воздержанием собор старцев, свободный от многих житейских соблазнов, мог доходить до сбережений и скоплений как денежной казны, так и хлебных запасов, и додумывался до бесплатной трапезы всем приходящим и голодающим. Гостеприимство, всегда отпертые днем священные ворота, скромная, но сытная трапеза с чтением житий благочестивых людей — всегда служили приманкой для чужих пришельцев. Облегченное тягло, обязательная ссуда из запасных складов «на семены и емены» (как говорили в старину), свобода от чужих судов и подчиненность ведомым и благочестивым людям делали из монастырской общины прибежище. К тому же около монастырей образовывались по временам сходбища окольного люда на торжки и базары, а потом и съезды жителей более отдаленных местностей на ярмарки. Монастыри наши, таким образом, стали содействовать в народе развитию торгового

духа. Конечно, и это служило причиною тому, что сюда очень охотно шли наймиты, и монастырские слободы быстрее населялись именно около тех обителей, которые снабжены были многообразными привилегиями. Память святых основателей особенно чтилась народом, и слава их подвигов далеко была распространена и привлекательна. Иным монастырям, как и частным общинным хозяйствам, не счастливило, и они, как скоро и свободно основывались, также быстро и исчезали (как, например, после смутного времени из 35 митрополичьих монастырей досталось патриархам только 13).

При таких неудачах поклонялся народ и золотому тельцу: приставал по призыву на землях сильных и богатых людей и также слободами, т. е. свободными поселениями на известных условиях и на сроки. Входил с этими людьми в соглашение вольный народ охотливее там, где мирному земледельческому труду задавалась невозможная пахарю задача обороны от диких насельников — аборигенов тех стран, или от искавших морских богатств богатых иноземцев. Богатые люди брали на себя обязанность и выговаривали в грамотах право строить остроги, снабжать их огненным боем и ратными людьми. И было из чего хлопотать: лесные места давали много выгод. Таковы, судя по исчислению грамот первых московских князей, бобровые гоны, перевесла, путики, сенные наволоки, полешие леса, тони и ловища по рекам и речкам, а на этих местах заводи, пески с падучими руками, стережень, устье с езами, тонями, исадами. Еще сам «Господин Великий Новгород» прилагал к этому заботу на приморских берегах Белого моря и на острову Соловецком, укрепляя их на случай нападения «каенских немцев» (т. е. датчан). Такими же деревянными крепостями и каменными стенами защищали свои остроги и монастыри богатые строители из новгородских владык и бояр во главе с посадницею Марфою Борецкою, а следом за ними и московские цари. В особенности прославились на этом поприще знатные купцы и именитые люди. Строгоновы — одни из наиболее видных и замечательных деятелей и уроженцев севера, фамилия которых сделалась историческою.

Предок Строгоновых, Аника, вышел из Новгорода и в лесах по реке Вычегде расчистил место у соляных источников. Для разработки их он принимал охочих

вольных людей и первый открыл с торговыми целями путь за Уральские горы на Обь. Сыновья его, Яков и Григорий, получившие от отца богатое наследство, заручились от московского царя Ивана Грозного после многих личных бесед с ним жалованными грамотами на пустые места по Каме и Чусовой до вершин реки этой. При таких льготах Строгоновы в 1585 году успели соорудить городок близ устья Чусовой, а через 10 лет после того несколько острогов по берегам той же реки и по реке Сылве. Когда братья увлеклись сибирским торгом и хорошо ознакомились с делами и землями владетельного князя Кучума, они наняли казачью вольницу с Волги под начальством атамана Ермака Тимофеевича в числе 840 человек. Изготовив для них запасы и нагрузив ими лодки, Строгоновы отправили удальцов за Камень с легкими пушками, с самопальными пищалями и содействовали совершению великого события — приобретения Сибирского царства и громадной земли, богатой рудами и непочатыми плодоносными пустошами среди лесов, до нашего времени изобилующих самым разнообразным пушным зверем.

Меньшая слава и не столь громадные материальные результаты подвигов выпали на долю тех уроженцев и деятелей севера, которые преследовали скромные цели и не владели могущественною силою денежных капиталов, однако исполняли свое предопределение при помощи умственных и нравственных капиталов. (...)

Дионисий Вологодский, устремивший свою проповедь в самую глушь дремучих лесов и основавший монастыри, до сих пор сохранившие характерное имя глушицких, тотчас и покидал избранное место, как только миссии его среди язычников мешало многолюдство пришельцев из русских людей. Герман Соловецкий, избравший для своих подвигов необитаемые Соловецкие острова, и подвизавшийся там вместе с Савватием, во второй раз вернулся сюда после первой неудачи, указав тем на важность места для апостольских подвигов преподобному Зосиме — уроженцу села Толвуя (близ озера Онеги). Уроженец двинский Антоний основал монастырь при озерах и на притоке Двины реке Сие, вологжанин Александр Куштский — близ Кубенского озера, вологжанин Феодосий — Спасо-Суморинский монастырь близ Тотьмы, Дмитрий Прилуцкий поставил обитель в диком лесу «на многих путях из Вологды на север»

и т. д. Но самым важным из таких деятелей является иной уроженец севера, сын причетника соборной церкви г. Великого Устюга Стефан, прозванный Храпом, епископ пермский.

Он дома выучился зырянскому языку и с ранних лет церковной грамоте, но, чтобы окончательно приготовить себя к задуманному им высокому подвигу, ушел в Ростов и долго жил там в Богословском монастыре, славившемся библиотекой. Здесь он изучал греческий язык и, приготовив себя к званию народного учителя, взял благословение от коломенского епископа Герасима и княжеские грамоты для безопасности и пошел на проповедь в Пермь, к зырянам. Он изобрел для них новые особенные буквы (числом 24) и перевел на зырянский язык главные церковные книги. Он построил церковь близ устья реки Выми, впадающей в Яренгском уезде Вологодской губернии в Вычегду, и здесь начал проповедовать Христово учение, встречая сначала изумление дикарей, а вскоре сопротивление их, в особенности волхвов. Один из них, по имени Пама, решился защищать перед св. Стефаном свою веру и вступил в состязание. Пама вызвался пройти невредимым сквозь огонь и воду, предлагая, чтобы и Стефан сделал то же. «Я не повелеваю стихиями,— отвечал святой,— но бог христианский велик: иду вместе с тобою». Пама, однако, отказался от испытания и тем довершил торжество истинной веры. Св. Стефан начал действовать решительно: бросал в огонь священные дарственные богам звериные шкуры и тонкие полотняные пелены, идолов сокрушал. Для наибольших успехов проповеди завел он училища, где и знакомил зырянских молодых людей с тайнами и чином священнического служения, и посвящал их в иереи, когда в 1383 году вернулся из Москвы епископом пермским. Возвратясь в землю, им просвещенную, св. Стефан не уставал благодетельствовать: во время голода покупал и доставлял хлеб из Устюга и Вологды, ездил в Новгород ходатайствовать у веча о разных поземельных и хозяйственных льготах для зырян. Народным покровителем и заступником оставался он до самой смерти, приключившейся с ним в 1396 году в Москве, куда он и на этот раз прибыл ради церковных и народных нужд.

Когда при царе Алексее произведено исправление книг, вызвавшее громадное недовольство и сопротив-

ление, когда над упорными и несогласными начались казни, преследования и ссылка, а приверженцы «древнего благочестия» стали спасаться бегством — северным дремучим лесам довелось сослужить народу новую службу. Самые отдаленные из них, самые глухие и недоступные сюземы избраны были спасавшимися от преследований как надежные притоны и оплоты. Все погодились и все стали оживляться людским трудом, особенно чернораменные, салавирские, поломские, керженские, топозерские, печорские, дорогучинские, ветлужские, гнилицкие и др. Сюземы олонецкие, архангельские и вологодские были признаны между прочими наиболее удобными и безопасными. Они одни из первых стали наполняться новыми отдельными хозяйствами под именем скитов. Число их стало быстро возрастать в особенности после десятилетней осады Соловецкого монастыря, когда десяткам мятежных монахов удалось спастись от московских ратных людей, осаждавших монастырь. Унылый звон молитвенных колоколов, тупые звуки чугунных бил раздались даже в таких местах за непролазными болотами, куда добрая воля, избирающая удобное для житья место, никогда не привела бы живых людей. Где не блуждали потерявшие свои пути лесные охотники, каковы острова северных озер (Топозера, Онеги, Выга и др.), там выстраивались двухэтажные дома и неизбежные при них часовни и молитвенные избы. «В великих болотах и топях, где и пешему ходить с нуждою: сыскивать никак невозможно»,— отписывали по начальствам те особые команды сыщиков, которые назначены были и разосланы по всем лесистым местностям «для сысков раскольников». Многие скиты были ими разрушены, сожжены до основания, и лопаты забросали потом место, где жили и молились по старым книгам сбегавшиеся из самых отдаленных стран люди. Много скитов предалось самосожжению и между ними большой монастырь (Палеостровский), когда преследователи вели правильные осады и высиживали непокорных голодом и жаждою, осажденные же предпочитали смерть в огне мучениям в оковах и тюрьмах. Много скитов рухнуло и разметано бурей после того, как отшельники, при неблагоприятных местных условиях климата, крайней удаленности и без путей сообщения, изнывали от голода и костоломной болезни сырых северных стран —

цинги. Некоторым скитам удалось устоять на счастливо выбранных местах и превратиться в людные, хорошо обеспеченные селения там, где попадала коса на камень и останавливались поиски самых смелых и настойчивых сыщиков. Иным удалось прислужиться властям (как знаменитым скитам выгорецким) и добиться льгот другим — откупиться деньгами и подарками, третьим — в недосягаемых трущобах достояться до того, что бессильные власти принуждены были признать их права на существование и лишь переименовали из скитов в селения (как сделали со скитом Великопоженским близ Печоры и многими другими).

Счастливее всех был тот скит, который на реке Выге основал убежавший из ближайшего села Шунги причетник Данило Филиппов Викулин,— скит, сделавшийся впоследствии крупным религиозным центром, главным и основным гнездом беспоповщины, затмившим славу и Стародубья с Веткой, и Иргиза, и Керженца. Как и все другие раскольничьи общины, руководимые умелыми руками опытных хозяев, Выг привлек к себе сразу 49 человек недовольных и невдолге довел число жильцов до 150. Через 7 или 8 лет в Даниловском скиту стало тесно. С 1703 года скит начал разбиваться на множество отдельных, среди которых один (на реке Лексе) мог выстроиться исключительно для одиноких женщин и стал многолюдным женским общежительным монастырем. Когда скитникам удалось прислужиться великому хозяину Русской земли Петру I (при основании в тех местах железных заводов), возрастание скитов населением еще более усилилось. Средства были настолько значительны, что Выгорецкий монастырь в половине XVIII столетия имел на своем иждивении до 2 тысяч человек мужеского пола и до 3 тысяч женского. Богатые иконостасы, блиставшие серебром и золотом и старинного пошиба образами, стройное столповое пение согласных хоров, чинные ряды старцев с седыми бородами по чресла, в старинных монашеских куфтырях и пелеринах, с лестовицами в руках для учета молитв и с подножными ковриками для частых земных метаний, при гробовом молчании в ярко-освещенной восковыми свечами моленной — все это производило столь очаровательное впечатление на простые души захожих и заезжих людей, что не устаивал никто из удостоившихся посмотреть и послушать, посравнить и

поразмыслить. Велика казалась разница здесь с поповскими службами по селам и погостам. Насколько действительна была сила внешнего привлечения, настолько же была деятельна и всемогуща власть внутреннего порядка хозяйств и общежительного благоустройства для укрепления в общине тех, кто поддался и возымел желание соединить свои груды с прочими скитскими трудниками. Основные порядки были похожи на те, которыми руководится всякая земледельческая и хозяйственная община, но на этот раз устроил все дело и руководил всем такой «большак», как Данило Викулин, имя которого сделалось знаменитым во всем громадном старообрядческом мире. Он и в самом деле принадлежит к замечательным деятелям, как один из образцовых хозяев северных стран. (...)

В этом смысле старообрядческие общины несли государству несомненные выгоды и отправляли полезную службу. К сожалению, эта сторона колонизаторской деятельности скитов своевременно не была замечена и понята теми, от которых зависела дальнейшая жизнь и деятельность трезвых и трудолюбивых страннопримцев. Вагорецкие скиты были уничтожены. Из филипповского учения, вообще довольно мрачного в соответствие влияниям и впечатлениям суровой природы и жизни в постоянной боязни преследований и наказаний, выродились новые толки. Они обнаружили более мрачные оттенки и представили собою самое глубокое невежество, напомнившее времена первобытных диких народов, сумевшее проклясть все святое в действующем и живущем мире. Между прочими народилось учение странников или скрытников, провозгласившее наступление на земле царствования антихриста, но уже не мысленного, а чувственного. Новое учение потребовало уже совершенного отчуждения от мира и людей и бегства в пустыню. Непролазные дебри дремучих лесов указаны были как места самые угодные богу и как обязательные храмы для молитвы. Молитва должна возноситься так, чтобы ни один посторонний и чужой глаз не дерзал ее оскорблять. Понадобилось новое крещение для очищения от мирской скверны, перемена имени, особенный способ поклонения богу и особенные молитвы, полное и совершенное отречение от мира и выход из него в леса и подполья на всю жизнь. Эта лесная вера, родившаяся в лесах пошехонских, быстро

усвоилась в вологодских и в настоящее время дошла уже до олонецкого Каргополя и исключительно принадлежит одним глухим северным лесам, на которых остановился настоящий рассказ наш.

В этих лесах, при каких бы условиях быта ни устраивалась жизнь русских людей — земледелие непременно остается главным основанием и самым существенным условием. Ради него явились сюда люди и затратили все запасы сил, несмотря на то, что только ячмень один является благодарным к труду и выносливым хлебным злаком, да рожь, как подспорье, вырастающая в таком количестве, которое требует для полного пищевого обеспечения подвозов из далекой Вятской стороны. Благоприятно сложившиеся условия водяных путей по волоку с Лузы на Сухону в Ношульскую пристань и на Двину облегчает эту возможность для всего Поморья, как делает то же Печора, при содействии чердынских торговцев, для жителей мест, ближайших к Северному океану. Тем не менее для стран, удаленных от рек, для самых прибережий Двины и Печоры на времена полных неурожаев, усугубляемых неудачами и случайностями подвозов, излишков выпуска хлеба за границу из Архангельского порта и т. п., на северных жителях лежит тяжелое обязательство обращаться за пищевым довольствием к тому же лесу, который, как сказочное чудовище, со всех сторон охватил железным кольцом пришлых насельников севера. «Семьдесят семь полков (говорит местная загадка) готовы к битве в благоприятное для земледелия летнее и весеннее время. Осенью все враги повадились, а на зиму все-таки трое остались» (лиственные деревья потеряли листву, ель, сосна и вереск остались в уборе). К сосне и обращаются за помощью. Она и выручает.

После первого грома с сосны сдирают кору — отделяют верхний слой, загрубелый от непогоды вместе со средним (лубом) и нижним (мезгой) и добираются таким образом до молодого и свежего древесного слоя — заболони и блони. Его на горячих угольях сушат, чтобы удалить неприятный и горький смолистый запах. Когда она покраснеет, толкут в ступах или мелют на ручных жерновах, для того чтобы превратить в порошок. Это — мука. Обыкновенно три четверти такой муки с одной четвертью ржаной идет на хлеб, который обыкновенным порядком ставят на ночь киснуть и ут-

ром пекут хлебы. Если ржаной мукой хозяйка поскупится, печеный хлеб делается пресным и в обоих случаях очень невкусным и достаточно вредным. Замечено, что от такого хлеба появляется в теле опухлость, в желудке частые и невыносимые колики. В таких случаях выпекают, на смену и для разнообразия, менее вредный, но также скверный хлеб из ячменной или ржаной соломы, смолотой на ручных жерновах вместе с рожью и пущенной в хлеб в трех частях на одну часть ржаной муки (лесные корелы других сортов и не знают).

Чтобы устранить от себя эти грустные и тяжелые последствия бесхлебья, которые ждут малейшей оплошки в труде и неудачи в работе, северный человек обязан напрягать умственные усилия больше и чаще, чем в каких-либо других странах России. И, скованный мертвым железным кольцом сырых и холодных лесов, опять-таки в них же самих находит и выход и подспорье. Топор — по пословице — его обувает, одевает и кормит.

Из-за липовых лык, которые идут в лаптях на обувь, северная бедность успела выдумать еще сверх того сапоги из бересты и босовики из того же материала, употребляемые, однако, только по праздникам. Из бересты — и фляги, и солонки, и детские игрушки, и пастуший рожок, и свисток для рябчиков, который, если смочить водой, дает птичий голос. Из бересты — лошадиные седла и вожжи, и тот классический кошель для носки пищи на полевые работы летом и на лесные зимой, который не пропускает воды, не гниет от дождя и сохраняет хлеб от морозов. Из бересты и книга, когда «письменному» грамотею ни за какие деньги нельзя достать в лесных трущобах писчей бумаги.

В поделках из лесу исконный исторический плотник не только сам дошел до артистических совершенств (сбивая для морских и речных судов лекалы по чертежам, сделанным прямо на снегу палкой), но выучил этой науке и инородцев. В корельской деревне Подужемье (около Кеми) живут лучшие, прославившиеся по целому поморскому краю строители стройных и ходких морских судов. И затем по всем главным рекам и по их притокам, на случай нужды, всегда большие запасы мастеров и их готовые услуги шить древесными кореньями разные роды и виды судов и лодок: от оси-

новых душегубок до благонадежных в морских прибережных плаваниях так называемых холмогорских карбасов. Древнее новгородское поселение — село Емецкое на Двине — пользуется в этом деле особенною известностью.

Замечательный человек, получивший право на историческую известность, холмогорский посадский человек Осип Баженин в 1671 году купил брошенную мельницу близ Холмогор, в селе Вавчуге и перестроил ее в пильную «без заморских мастеров по немецкому образцу». В 1693 году Великий Строитель земли русской, в первое свое посещение Белого моря, самолично осмотрел ее и внушил владельцу мысль основать тут же корабельную верфь. В том же году Баженин начал строить корабль, за изготовлением которого Петр I с особенным вниманием, требуя частых отписок и извещений, следил все время, пока жил в Москве. Весною 1694 года с вавчужской верфи спущен был *первый* русский корабль с *первым* русским коммерческим флагом. Под именем «Св. Петр» он был отправлен в Голландию с грузом русского железа. Баженин стал, таким образом, основателем и строителем первого русского коммерческого флота, когда ни одной казенной верфи еще не было. Следом за этим кораблем в Вавчуге продолжали строить новые военные и коммерческие корабли, гукоры и гальоты, а в 1702 году вновь прибыл в Вавчугу сам Петр I, в третье и последнее посещение севера, и сам спустил здесь два новых фрегата. Баженин получал заказы от иностранцев и много судов русской постройки отправил на службу всемирной торговле, построенными лучше и дешевле, чем на верфи Никиты Крылова, находившейся в 5 верстах от Архангельска на месте, называемом Бык. По примеру и с легкой руки Баженина на том же поприще судовых строителей прославились многие, но между ними наиболее прочих стал известным далеко в Европе другой уроженец севера, крестьянин Архангельского уезда Алексей Иванович Попов, основатель известного впоследствии торгового дома купцов Поповых. Заграничную известность получил он доставкою в Амстердам на собственном корабле разных товаров и необыкновенно добросовестным исполнением для голландского купечества разных судов, которые строил ему крестьянин Кочнев, умевший с достоинствами прочной постройки соединять красоту

отделки. В торговых делах А. И. Попов заслужил такое доверие, что голландцы и гамбургцы возложили на него исполнение своих комиссионных дел, а московское купечество избрало в звание члена коммерц-коллегии. Его практические сведения, в особенности редкий ум, до сих пор восхваляются в воспоминаниях туземцев, несмотря на то что А. И. Попов умер, после шестинедельной болезни, еще в 1805 году. Сын его Василий Алексеевич в следующем году был уже в состоянии исполнить правительственное поручение доставки хлеба для наших войск, находившихся в Пруссии, и в 1818 году взять подряд у датского правительства для снабжения хлебом Норвегии. Этот Попов избран был уже 34 гамбургскими, амстердамскими и лондонскими страховыми обществами в поверенные их по аварейным и страховым делам.

Воскресенский собор в Коле деревянный, построенный в 1684 году и сгоревший в 1854 году, увенчанный восемнадцатью главами, вместе с такою же многоглавою (о 23 главах) церковью в Кижском погосте (Олонецкой губернии), с церковью в с. Нюхче (на Белом море) служат достаточным доказательством, насколько смелы, самостоятельны и изобретательны были архитектурные замыслы доморощенных строителей. Не говорим о прочности, потому что, подвергаясь случайным бедствиям пожаров, эти замысловатые деревянные сооружения успевали выстаивать по двести лет, мало изменяясь. Деревянный дом в Сольвычегодске знаменитых богачей Строгоновых выстоял 233 года (построен в 1565, разобран в 1798 году) «в совершенном порядке, то есть ни в которую сторону не покривился».

Предоставленные самим себе и добровольно отдавшиеся руководству своих большаков и общинных приемов и правил, северные лесовики поспевают и на другие дела, не выходя из заколдованного круга, намеченного могущественными лесами. (...)

Следуя примеру инородцев и не устаивая перед соблазнами богатств, охотно предлагаемых почти даром лесами, наши северные люди в нужное время делаются такими же звероловами и птицеловами, ходят *лесовать* каждый год два раза: с окончанием полевых работ до глубокой зимы, а потом опять «по насту», то есть в конце зимы. На полянах становятся станом, но по лесам кочуют по звериным следам и тропам. Одна-

ко к охоте русские люди применили новые орудия и остроумные снасти. Вместо луков со стрелами пущены в дело винтовки, приготовляемые своими руками из своего железа, добываемого в ржавых лесных болотах. Вместо мертвых петель и пастей, ищущих зазевавшегося и случайного дурака зверя, русские промышленники приспособили ставки и всякие другие снасти, от которых редко уходит теперь самый чуткий и осторожный зверь. Охота на зверей и ловля птиц — столь же древние подспорные промыслы русского народа, как и само земледелие, и по обилию лесов не во многом ему уступают. Птиц и зверей в лесах и степях было такое обилие, что соболей — по пословице — били бабы коромыслами, а, по сказаниям очевидцев и современников, зверей убивали только для шкуры, бросая мясо; коз истребляли тысячами; от обилия рыбы обрывались сети, бобры водились во всех реках, весною мальчики наполняли птичьими яйцами целые лодки и т. д. От юго-западного угла у Карпатских гор до северо-восточного у Уральских, на всем громадном пространстве лесистой Руси ловецкие промыслы производились в самых широких размерах: на бобровых *гонах,* на птичьих *садбищах* и звериных *ловищах* по ловчим путям, сетями и перевеслами, клетками и тенетами.

По словам былины о Вольге Святославиче:

Вили веревочки шелковые,
Становили их в темном лесу.
Становили их по сырой земле
И ловили лисиц и куниц,
Диких зверей и черных соболей,
Больших поскакучих заюшек,
Малых горностаюшек.
Вили силушки шелковые,
Становили на темный лес,
На самый лес, на самый верх:
Ловили гусей, лебедей, ясных соколов
И малую птицу пташицу.
Туры, олени постреливали.

Во главе народа, кормившегося промыслом, стали сами князья, превратившие охоту в серьезное занятие и приятную забаву. На двух крайних рубежах нашей истории, отдаленных один от другого на шестьсот лет, стоят два охотника князя — один из симпатичных представителей владетельного рода, киевский князь Владимир Мономах и московский царь Алексей Михайлович.

Первый сам говорит про себя: «Тура два метали мя на розех с конем, олень мя один бол и два лоси: один ногами топтал, а другой рогами бил; вепрь ми на бедре мяч отъял, медведь ми у колена подклада укусил, лютый зверь (т. е. волк) скочил ко мне на бедры и коня со мною поверже». Царь Алексей Михайлович заповедал для своих государевых потех подмосковный хвойный лес, который до сих пор носит прозвание Сокольников; наблюдатели за царской охотою считались, под именем сокольничьих, придворными чинами; охотничьи правила узаконены особым наказом «сокольничьего пути», в котором сохранились собственноручные исправления и пометки царя Алексея. Был он «ловец добр, хоробор, николи же ко вепреви и ни ко медведеви не ждаше слуг своих, а быша ему помогли, скоро сам убиваше всякий зверь, тем же и прослыл бяшет по всей земле».

В древней Руси, когда порох еще не был изобретен и затем, изобретенный и вывезенный в Москву, был еще для забав и потех дорог и недоступен самым богатым,—для охоты служили ловчие птицы из породы хищных: ястреба и их родичи — чернопепельного цвета обыкновенный сокол и сокол белого цвета, называвшийся кречетом. Они входили в число податей с народа, для них устраивались особые сборные места («садбища»), и в числе военной добычи эти птицы считались приятным приобретением. Ловля ловчих птиц особенно была выгодна, потому что цена на них стояла высокая; сокольи гнезда принадлежали владельцу леса и ограждены были законом (славились ястреба вологодские, кречеты белозерские; Ивану Ластке велено было от Грозного царя ловить и сберегать этих птиц на Печоре). Ловли передавались по завещанию, ловчие остались вольными слугами, и жители тех мест, куда они приходили на ловлю, обязывались содержать их бесплатно, «занеже люди те надобны»—как выражается грамота Ивана Калиты. А ходили по отхожим лесам и сокольники, и бобровники, псари и тетеревники, ловцы лебединые, заячьи и гоголиные.

Эти ловчие обучали искусству ловли непривычную к людям и домашней жизни птицу тем, что сажали ее в темное место, истощали ее силы, томили и изнуряли голодом, потом давали корм, выносили и мало-помалу приучали преследовать ту или другую породу дичи. На

охоте сокола спускали с руки. Он бил птицу на лету, для чего сперва подтекал под нее, взгонял ее, потом сам выныривал позади вверх и внезапно ударял в птицу стрелой под левое крыло, всаживая большой отлетный коготь, и порол ее, словно ножом. Птица падала, сокол опускался на нее, перерезал горло и пил кровь. Ястреб птицу щиплет где ни попало, а кречет никогда не берет добычи с земли, не хватает ее и на полете. За это и за то, что он бьет сверху,— кречет считается самою ценною из всех ловчих птиц.

Бегая легким способом по лесным сугробам на лыжах, северные русские успели изобрести и иные способы пользоваться лесными богатствами, о присутствии которых лесные инородцы еще до сих пор не подозревают. Если все эти способы первобытны и самым решительным образом ведут на полное истребление лесов, тем не менее ими занято такое множество рук и сыто столько желудков, что нельзя пройти мимо них, не сказавши ни слова. В этом отношении особенная услуга оказывается сосною — самым господствующим деревом наших северных глухих лесов.

В начале весны, когда дерево начинает наполняться свежими соками, какой-нибудь шенкургский «ваган» сдирает кору до корня от того места, сколько позволит рост и достанет рука с топором. А так как крупные деревья повывелись, стало жаль остальных, то с мелких деревьев дерут кору с головы до пят, то есть с того места, где начинаются ветви, и до самых корней. Оставляется на створе ремень из коры только с северной стороны, от которой всегда ожидает тамошний человек всяких бед для себя. На этот раз север подсушит засоченное дерево — и весь труд пропал, незачем было и промокать до последней нитки на мокрых весенних прогалинах. «Засочка» кончается, когда кончаются взятые из дома съестные припасы и стало ломить плечи и спину. Ваган кладет свое клеймо. И еще не родился в тех местах тот человек, который смел бы не уважить чужой заметки, дерзнул был очищать чужой путик с надавленными рябчиками и куропатками, даже прикоснуться к той веревке, на которой нанизываются беличьи шкурки, забытые или оставленные до благоприятного случая в лесной кушне. Оставят там лодку и при ней шест — значит, чужая и нужная, проходи мимо. Подле одной такой лодки с сетями стояло весло,

и незнающий человек захотел на него облокотиться — все прочие бросились его удерживать и все уверяли с клятвою, что примешь за это и грех и болезнь — стрелье в бок. В одной избушке все охотники перемерли от цинги, не успевши донести до дома довольно богатого мехового промысла и разных мелких вещей. Одиночки проходили мимо, грелись в избе — не трогали из оставленного ни пушинки и решились прийти сюда целой артелью. Она пересчитала все счетом до мелочи, оглядела со всех сторон и все изъяны и все, до последней крохи и шерстинки, доставила наследникам. Но довольно, чтобы не заговориться на этом свойстве северных русских людей, мимо которого, однако же, и пройти невозможно, к тому же, стало оно теперь мало-помалу становиться редким.

Засоченные деревья должны стоять на корню 2, 3 и 4 года, то есть чем дольше, тем прибыльнее, потому что каждый год заливаются новой серой, которая спускается из-под коры вниз по осочке и тут засыхает. В таком готовом состоянии деревья отрубаются от ветвей и корней и свозятся на место, называемое майданом. Здесь просмолившиеся чурки раскалывают и расщепляют на поленья, называемые смольем, которые и складывают в костры. Между тем готова яма около четырех аршин глубиною, и на дне ее стоит деревянный плотный ларь или дщан вышиной в полтора аршина. На края его плотно настилаются толстые доски, а посередине их вырубается круглое отверстие, к которому набрасывают и утаптывают покато землю и застилают сырой еловой корой, чтобы предохранить смолу от утечки. Когда эта застилка получит форму беструбной воронки, среднее отверстие покрывают двумя или тремя нетолстыми чурочками, на которые кладут круглый камень. Коль скоро огонь при сгорании костра дойдет до его подошвы и сожжет чурочки, камень падает на отверстие, запирает его и, стало быть, не допускает огня в ларь. Костер смолы от 10 до 20 маховых сажен курится в земляной печке 5—7 дней. Простуженную в ларе смолу разливают в продолговатые бездонные бочки, самими же сделанные из той же сосны, но узаконенного начальством размера вместимости. Хотя в торговле у архангельского порта ямной смоле предпочитается печная, за то, что первая жиже, но она тем хороша, что доступна для сидки всякому

желающему, всякому крайнему бедняку (особенно в артелях). Есть топор и лопата — и довольно. Печная выкурка требует особенной печи, выгодной лишь там, где лес под руками, а ямы можно рыть на всяком месте, где удалось подсочить деревья.

«Гонка» дегтя, как и «сидка» смолы, обусловливается также весенним скоплением соков в березе, когда и снимается с деревьев береста. Собранная береста в количестве двух с половиной — трех пудов набивается в кубы и от действия огня разлагается, а деготь выделяется в виде паров, которые охлаждаются в трубах, пропущенных сквозь холодильник, наполненный водой. Деготь вместе с водой стекает в корыто или ушаты через трубы, которые для дегтя делаются из листового железа (для смолы из сырой осины). Вода отстает от чистого дегтя, устаиваясь нанизу. Всплывший товар, столь пригодный для сапогов и колес, бывает самого лучшего качества. Его предпочитают всем другим сортам и в Рыбинске, и на Ростовской ярмарке, он уходит отсюда и в такую даль, какова нижняя Волга.

Сидкой смолы занимается почти все крестьянское население в бывших удельных имениях Шенкурского уезда (Архангельской губернии) в северной его части, называемой Троичиной. К тому и другому промыслу в тех и других местностях, конечно, приурочивается заветный артельный труд, без которого на севере ни рыбы, ни зверя, ни птицы не ловят, и даже на рубку в лесах бревен зимою по найму выходят такими же артелями (сплоченными для продовольствия себя съестными припасами).

В круговой поруке и в последовательном сцеплении одного с другим промысла примыкают к сейчас описанным столь же для них необходимые и в свою очередь от них независимые иные лесные промыслы. Между ними самые незамысловатые, но самые трудные — рубка и сплав леса на места требований, особенно по Двине к Архангельску: здесь существуют лесопильные заводы, устроенные по новейшим образцам и указаниям технической науки. Распиленный лес в досках и брусьях издавна уже грузится на корабли и отправляется в такие дальние страны, как остров Мадера, и на надобности таких городов, как Севилья в Испании.

Здесь работа идет с подряду. Работает ловкий парень на купеческое имя и на его деньги в качестве при-

казчика и наемщика. Выбирает он ту зимнюю пору, когда у крестьян подошел хлеб и надобятся деньги на подати. При задатках наличными наем облегчается: идут задешево на сплавы обыкновенно в марте, на лесную рубку — в декабре под предводительством этих же приказчиков, бойких на слова, умеющих, что называется, заговаривать зубы. По пояс в снегу на лесной рубке, по самые плечи в холодной воде на сшивке плотов на сплавах отправляют беднейшие из лесных жителей такие работы, которые по всей справедливости принадлежат к самым тяжелым и опасным для здоровья и жизни. На большом плоту, который так красиво плывет по широкой Двине, много принято горя и притом в два приема: первый раз, когда звонил топор и стонало дерево, порубаемое под корень, во второй раз, когда оно, будучи поставлено на берег и спущено на воду, не слушалось сплавщика, ныряло и врывалось в рыхлый берег, капризничало и упиралось. Натрудившему руки, плечи и спину приходилось отдыхать в наскоро слаженном шалаше и на лучший конец в угарной лесной избушке, прямо на полу и на сквозном ветру из выветрившихся щелей. Намокнувшим в воде и продрогнувшим на холодном ветре при сшивке плотов не всегда приводилось отогреваться в четырехстенном строении, а чаще всего на свежем воздухе у костра или в шалаше из хвороста и соломы на самом плоту — один бок греется, другой стынет, а то и оба вместе продувает в одно и то же время. Без простудных болезней, без ревматизмов (называемых на севере «стрельем») сплавщики плотов домой не приходят. Этот, значит, отлежался: железные мускулы выдержали, другой провалялся в грязи и сырости и помер в соседней деревушке у сердобольной старушки-вдовы. Да и то еще не радость и далеко не веселье, что плот вышел на середину реки и несет от бед и напастей смоленые дегтярные бочки: может он навалить на берег или сесть на мель, надломиться и рассыпаться или застрять так, что не сдвинешь с места никаким способом. Ручных усилий недостаточно, выхаживали и на трубку (или ворот), и песни при этом пели, и много всяких песен пропели. Прибрежный край плота заело, береговой грунт «закусил» плот, один несчастный человек сорвался с вертлявого бревна и ушел под плот так, что его там и не сыскать, если не выплывет сам

бездыханным трупом. Прибегали и к последней мере: рубили на речных берегах таловые прутья, вязали в пучки и затем с плеча и во все руки и несколько часов кряду наивно секли, как провинившегося преступника, непослушный и упрямый плот или судно.

От таких невзгод засоряются малые и большие реки, накопляются под водою те коряги и каржи, на которых, как на острых ножах или зубьях, разрезают бока и дно другие дорогие суда с ценным грузом, заедаются канаты, останавливаются новые плоты, самое русло рек заиливается и уровень воды понижается. Ни рыбы половить без того, чтоб не перервать или не потерять сети, ни плоты спустить, чтобы не ловить потом россыпь до изнеможения сил и истощения всякого человеческого терпения.

Вода привела нас к новому предмету промысла и торговли и продукту продовольствия, какова рыба. Немудрено было догадаться и подсмотреть, что одни приходят в реки на время, другие в них остаются круглый год, одни ищут теплой воды в верховьях рек в глуши дремучих лесов и, сделав указанное природой дело, возвращаются обратно в море. Непокидающие рек выбирают в них любимые места: либо бродят по раздолью и на свободе по руслам, либо ложатся на дно и кончают на время зимы свои передвижения. По рыбьим привычкам и способы ловли. Последние замечательны тем, что остаются такими же, как были в глубокую старину (исключений очень немного) с переменою лишь названий. Самый употребительный, вполне соответственный общинной форме быта, потребовавшей, чтобы, если земля — достояние общее, то и вода должна быть таковою же,— изстаринный *ез* или *яз*, который зовется по лесам Костромской губернии *сежем,* по Волге — забойкой, перебойкой, *заколом,* на Урале — по-татарски *учугом,* а в северных реках попросту и совсем по-русски *забором,* который представляет собою сплошной частокол или тын, забитый в речное дно, чтобы запереть ход рыбе и загнать ее в сети (морды, нёрши, мережи и т. д.).

Как только славяне внедрялись в лесах, тотчас же заводили *ловища* и развешивали по деревьям *перевесища,* как делала это, по летописным свидетельствам, княгиня Ольга. Одновременно с этим поселявшиеся на озерах сначала и на реках потом заводили тони, стро-

или езы и пускали в дело всякие рыболовные снаряды. Промыслы эти до сих пор в лесистой России, в местах, где дают богатую добычу, соперничают с земледелием и заставляют бросать соху или навсегда, или на то время, пока обеспечивают существование. При неблагоприятных для промысловых случайных условиях (как случилось, например, в 1854 и 1855 годах, когда англичане держали в блокаде берега Белого моря) лесные жители снова принимались за свое коренное занятие земледелием и увеличивали число запашек. Впрочем, во всяком случае, в здешних местах земледельческий труд является лишь побочным, подспорным занятием к главнейшим лесным ремеслам. Хотя они в северной половине лесной области находятся в самой первобытной форме и очень неразнообразны, тем не менее занимают наибольшее количество рабочих сил. Здесь мы встречаем лишь только рубку и сплав леса, сидку дегтя и гонку смолы да судостроение (вплоть до верховьев Северной Двины). К югу от места слияния Юга и Сухоны лесные промыслы начинают разнообразиться: приготовляют деревянную посуду на крестьянскую руку и различные экипажи (около Красноборска из черемуховых корней плетут шарабаны, около Вологды делают сани). В значительной степени распространено тканье рогож и плетение кузовов из бересты. К лесным изделиям являются подспорьем ручные ремесла: плетение кружев, тканье холста и полотен, обделка щетины и проч. И чем далее к югу, тем лесные промыслы наиболее разнообразятся, достигая полнейшего развития в лесах Вятской и Костромской губерний и в ближайших к берегам Волги.

Рассказами о трудовой жизни северных лесных жителей мы дошли до тех печальных проявлений ее, которые требуют от рабочих чрезмерных жертв, крайнего напряжения сил без награды и физического труда в самых грубых формах его. За северным человеком во всяком случае остаются еще преимущества, зависящие от его житейского положения среди враждебных сил природы, требующих с его стороны постоянной бдительности, готовности на ежечасный отпор и неустанную борьбу. Жизнь среди повседневных опасностей должна была развить в его уме изворотливость и впечатлительность, в его характере — находчивость, терпение и смелость. Таков он и есть там, где опасность

прямо перед глазами и удачи не часто утешают его в начинаниях.

В Поморье каждая женщина с такою же решительностью ходит по зыбкой тундре, с какою пускается в опасное море на утлых и мелких судах. Дома, по причине долговременного отсутствия мужей на промыслы, северные женщины такие же опытные уставщицы домашних порядков и обеспеченной жизни, как мужья неутомимые работники на опасных морских промыслах. Находясь постоянно в ответе на мужских делах и обязанностях, женщины выработались настолько в образцовый тип, что он заслуживает полного уважения и возбуждает удивление. Наблюдая за их находчивостью в трудных обстоятельствах общественной и семейной жизни, так мудрено сложившихся в том краю, становится понятно явление такой представительницы северной женщины, каким рисуется нам намеченный летописными сказаниями образ вдовы новгородского посадника Исака Борецкого — Марфы. Вырастающие в руках таких матерей такие богатыри труда и терпения, какими являются кемские и мезенские поморы, говорят с избытком много о высоких добродетелях поморской женщины. Мы не забудем и того, что в умственном движении, возбужденном расколом, северной женщине принадлежит очень видное место и без ее сочувствия и деятельной подмоги, наверное, не было бы сделано пропагандою столь счастливых и быстрых успехов. Имена очень многих из них занесены в сказания раскольничьих писателей со ссылкою на очевидные факты их поучительной деятельности. Суровость климата, заставляющая подолгу сидеть в теплых избах, проводить большую часть времени у домашнего очага, развила семейную жизнь с ее неразлучными спутниками. Надобность сокращать время обменом мыслей и знаний вызвала в том краю уменье сберегать предания, выучила дорожить стихотворной стариной и проч. Женщины — преимущественные хранительницы этих драгоценностей и передатчицы в чужие руки, которым здесь издавна наиболее счастливит.

Рассказывать об отваге и смелости приморских жителей, присущей всем населяющим берега морей и больших озер, мы считаем излишним. Приключение с помором Хилковым и его товарищами стоит того, чтобы остановиться и упомянуть о нем теперь к слову.

Втроем они сумели прожить на одном из островов группы Шпицбергена шесть лет и три месяца, будучи оставлены там с тем запасом провизии, который могли принести на себе. Мерзлой рыбой и ложечной травой, которую умели отыскивать под снегом, они оборонились от первого и страшного врага — цинги (умер только один). От голода спасались мясом диких оленей, птицы и рыбы — линявшую птицу били палками, рыбу ловили простым мешком. Заряды жалели и берегли на оленей. Найдя на берегу доску с гвоздями (обломок корабля) и большой железный крюк, выковали из него голышом-камнем на другом голыше молоток, потом на том же гранитном камне этим молотком из гвоздей сделали копья. Их насадили на палку и укрепили ремнями — стала рогатина. С ней и воевали с белыми медведями, когда эти приходили гнать их с острова. Огонь для пищи и угревы вырубали огнивом на трут и разводили из леса-плавика, обыкновенно выбрасываемого морскими волнами. Когда истлела и измызгалась обувь, стали выделывать меха и кожу убитых стрелами зверей и сшивать жилами убитых ими диких оленей. Шили они и платье, шили и сапоги при помощи рыбьих костей. Надоело есть вареное и жареное мясо — стали коптить и солить: соль выжаривали из морской воды на сковородке. Нашли коску, вырубили крепкие и гибкие еловые сучья — сталисъ самострелы на песцов и лисиц. С ними начали охотиться, приманивая этих зверьков выложенным на крышу избушки мясом. Избушку нашли готовую — ее только починили и замшили свежим мохом; нашли (...) и ключевую воду, во множестве бившую повсюду между скалами. Вместо часов служила им плошка с салом, налитым ровно настолько, чтобы сгорало от полудня до полуночи. Стало протекать сало — самодельную из глины плошку обожгли. Спасло находчивых отшельников плывшее в Архангельск иностранное судно. Сюда привезли они весь свой промысел: 50 пудов оленьего жира, 200 оленьих лосин, 10 шкур белых медведей и очень много белых, черно-бурых и синих лисиц да за шесть лет рассказов на целые полгода.

Между различными влияниями на характер жителей, конечно, сильно влияние окружающей их природы. На севере менее заметные резкие переходы времен года, конечно, не остались без громадного влияния как

на характер людей, так и на образ их жизни, столь очевидный в нашей истории и в свойствах исторических деятелей. Хвойные леса несомненно оказали также свою заметную долю влияния на ту сосредоточенность, спокойствие до невозмутимости и решительность при первом серьезном требовании, какими вообще отличаются наши северные люди. Они стали здесь столь же неприхотливыми и умеренными, как и самые деревья. Мы уже видели весьма разнообразные формы возродившейся и развившейся здесь промышленной деятельности, для которой впереди еще много успехов. В убеждениях и верованиях замечается до некоторой степени отсутствие идеализма и поэзии и господство сухого практического направления, далекого от всего не относящегося к обыденной жизни. Даже напев народных песен у лесных русских не имеет той прелести и не богат той гармонией, какими отличаются, например, волжские. Северные песни монотонны, печальны, строги. В этом у северного человека, у великоросса, положительная разница с южноруссами и малороссами. У коренных жителей лесов, у инородцев нашего севера, указанные черты обнаруживались в самых крайних проявлениях. В религии у них на первом плане обряд и жертвы. Жертва — домашние животные (больше корова), лепешки и проч. Место жертвоприношений — лес и в нем святые места (...): скалы, овраги, озера, болота, куда ходят молиться.

Влияние старообрядства, вообще действовавшего с большею смелостью и успехом на всех окраинах Великороссии, наиболее сильно выразилось именно здесь. Сюда устремилось самопроизвольное переселение противников церковного исправления и направлена была ссылка самим правительством самых главных руководителей всего дела: епископа коломенского Павла, протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Феодора и других. Вооруженное десятилетнее сопротивление Соловецкого монастыря, самосожжение заключенных в монастыре Палеостровском, сожжение живыми на костре пятерых в Пустозерске были слишком крупными явлениями, которые произвели сильное впечатление на массу, и до сих пор рассказы о них живо сохраняются в народной памяти. В Выгорецких скитах, быстрое возрастание которых также не могло не повлиять на народ в пользу старообрядства, один из братьев Денисо-

вых (Семен), происходивших из захудалого рода новгородских князей Мышецких, посвятил свою жизнь написанию и распространению сочинений в пользу своего дела. Сочинения эти, вместе с поучительными посланиями Аввакума и его союзников, распространились в народе в огромном числе списков. Для этой цели приспособлена была в одном из Выговских скитов (Лексинском) целая мастерская из девиц, искусных переписчиц. Здесь же составлено подробное описание Выгорецкого общежительства (Иваном Филипповым) и также распространено было в большом количестве списков. Установившееся на твердых основаниях учение беспоповщины в то же время потребовало уставщиков и толковников, приготовлением которых и занялись с ревностью уединенные скиты. Самообразование наиболее грамотных в том же направлении, предполагавшем известного рода нравственные и материальные выгоды, также имело надлежащее место в подспорье Даниловскому, Топозерскому и другим скитам. Семена падали на восприимчивую почву. Стремление к грамотности и чтению священных книг было сильно развито не только в старообрядцах, но и в среде православных. Известно, что до архимандрита Димитрия (в тридцатых годах нынешнего столетия) вся клиросная и псаломническая служба в Соловках отправлялась не монахами, а теми штатными служителями, которые обязательно исправляли монастырские работы и поступали в монастырь из поморских крестьян. Димитрий первый стал образовывать чтецов и певцов из монашествующей братии. Уходившие из монастыря служители уносили (...) возбужденную жажду к чтению цветников, миней. И дома продолжали они списывать и переписывать самые разнообразные выборки из священных и апокрифических книг. Долгие зимы, обязывавшие безвыходным житьем дома (...), немало способствовали этим занятиям, хотя возбужденный ум не останавливался ни перед какими препятствиями. Мы видели несколько и имели в своих руках два подаренных цветничка, писанные на бересте, переплетенной листами в настоящую книгу, полученные нами в самых удаленных от жильев и всяких дорог селениях, — знак, что береста потребовалась в замену бумаги, которой нельзя было достать в то время, когда хотелось списывать. Мы не помним ни одного селения не только в

Поморье, но и на Печоре, где бы нам не указали на таких людей, которые владели рукописями и писанными книгами в самом разнообразном количестве: ими наполнены были сундуки и большие короба. Все это полууставное письмо по времени принадлежало к прошлому веку и в очень нередких случаях к XVII веку. Имена и деятельность многих из таковых грамотеев и любителей сделались даже весьма известными и почтенными. Холмогорский мещанин Василий Крестинин и сын архангельского купца Александр Иванович Фомин были избраны корреспондентами Академии наук за свои полезные занятия литературой, учеными исследованиями, за ревностные занятия археологией и за разыскания различных древних актов (между прочим двинского летописца, списка кормчей). Фомин составил описание Белого моря и разных местных промыслов. Крестинин написал «Начертание истории города Холмогор», о двинском народе, о древних обитателях севера и проч. Оба они в тот год, когда по проекту их гениального земляка М. В. Ломоносова основывался первый русский университет в Москве, учредили по собственному побуждению и почину общество для исторических исследований с тремя другими архангельскими гражданами. Целью общества было собрание древних актов, на что богатый Фомин не жалел издержек, а Крестинин трудов среди всеобщего равнодушия со стороны начальства и среди преследований и препятствий со стороны чиновников. Академики Лепехин и Озерецковский, путешествовавшие в 1771 году, во многом обязаны были этим людям, никогда (что замечательно) не выезжавшим за пределы родной губернии. Конечно, жизнь в Архангельске этих самоучек наших ставила в нравственные условия несколько лучшие, чем тысячи других, им подобных. В Архангельске жило много иностранцев, привлекаемых сюда сколько жаждою корысти, столько же и потребностями высшими, в качестве мастеров, механиков и на заводы и даже ученых, желавших изучить новый и оригинальный народ, поставленный в столь же оригинальные условия быта. Известно, что занятия архангельских археологов тамошними чиновниками принимались за нечто противное религии, что их прозвали «фармазонами» именно за знакомство с иностранцами и довели их насмешками и преследованиями до того, что общество их при-

нуждено было разрушиться и продолжать дальнейшую деятельность только в лице двоих. Конечно, эти двое не могли от иностранцев заимствовать любви и направления в трудах по русской археологии, тем не менее они могли в них встретить поддержку и известную долю поощрения — именно то, чего, к сожалению, недоставало другим нашим самоучкам. Говорим «к сожалению» именно потому, что практический русский ум в тысячах наших самоучек выразился стремлениями к применению и уразумению наук положительных, каковы математика и механика. В Архангельске и около него для таких одаренных натур нашлось бы в это время много образцов и поучения, но в Архангельске же дарования их, без руководства и указаний, погибали бесследно и задаром. Одним удавалось изобретать какие-нибудь замысловатые и остроумные секретные замки, самодвигатели, часы, т. е. вещи, большею частью уже давно изобретенные, другим доставалась еще горшая участь и между прочим, когда очень часто приходилось попадать на мысль отыскания «вечного движения», впадать следом за тем в безнадежное мистическое или предметное умопомешательство. Требовалась счастливая звезда, решительный шаг, вдохновляемый незаурядным призванием и такою энергией в увлечении, какая достается на долю лишь гениальных натур, чтобы результаты являлись более благоприятными.

Такою натурою наделен был от природы один из земляков Крестининых и Фоминых, который точно так же погиб бы в печальном звании и положении недоразвившегося самоучки в ожидании какой-либо благоприятной случайности, если бы в этой натуре не было неудержимых порывов и решительности разорвать все препятствия и смело направиться к цели хотя бы на другой конец света. Энергия эта увенчала дальнейший успех его действий и в лице его высоко подняла значение русского простого человека, его ума и способностей, до тех пор признаваемых пригодными лишь на черные работы и мышечный труд. Для исполнения своего высокого призвания гениальный холмогорец Михайло Васильевич Ломоносов бежал с родины. Здесь в ревизских сказках, в графе о занятиях и роде жизни, числился он «в бегах», т. е. в неизвестной отлучке, даже и в то время, когда имя его как первого русского уче-

ного известно было далеко за европейской нашей границей и плодотворная деятельность на пользу отчизны не знала устали и не находила конца и пределов в многообразных применениях и изобретениях.

На родине сведения о гениальном математике очень скудны. С величайшим трудом удалось товарищам по академии, Лепехину и Озерецковскому, доискаться до места его родины и вызнать несколько незначительных подробностей об его жизни в родной семье. Деревня Денисовка успела переименоваться в Болото, на месте дома Василия Дорофеева стоял дом дьячка. Не изменился лишь печальный вид его скудных родимых мест — неизменного острова, расположенного между рукавами Двины, с одной стороны в виду старинных Холмогор, откуда еще не переведена была епископская кафедра, и с другой — в виду Вавчуги, где в то время, когда рос Михаил Васильевич, находилась в полном разгаре деятельность Бажениных и еще жили свежими воспоминаниями о великом Преобразователе России. Скудная земля обязывала жителей отхожими промыслами, и в числе других и отца Ломоносова. Единственный сын его, Михайло, обязанный разделять труды семьи, тут получил первые уроки терпения и увидел первые примеры настойчивости в достижении целей и изобретательности. После домашней науки немудрено ему было добежать до Москвы в чужом китаечном полукафтане и с тремя рублями денег. Родина успела, однако ж, снабдить его всем, чем могла, в другом отношении: грамотность в среде населения была достаточно развита и тем более была обязательна для Ломоносова, что отец его придерживался раскола беспоповщины. Даровитого мальчика, обладавшего природною глубокою памятью, обучил и начаткам не иной кто, как той же Куростровской волости грамотный крестьянин Иван Шубной. Уже одной возможности читать книги достаточно было для шестнадцатилетнего Ломоносова, чтобы задумать неслыханное в тех местах дело — совершенно безраздельно посвятить всю свою жизнь обучению себя и науке. А так как на родине была только одна и то кое-какая школа для духовных, то и оставался прямой выход — покинуть родину и бежать в Москву по дороге, хорошо известной северным торговым и промышленным людям. Назад он на родину не возвратился: император Павел прислал в 1798

году указ, увольнявший семейство сестры Михаила Васильевича Головиной с потомством от подушного оклада и рекрутского набора «в уважение памяти и полезных знаний знаменитого профессора статского советника Ломоносова». Позднее (не в Холмогорах, а в Архангельске) поставлен был на гимназической площади памятник, но, к сожалению, классическая тога, лира и крылатый гений не достигают цели поучения и возбуждают в народе превратные понятия и забавные толкования.

Ломоносов бежал, по крайней случайности, в знаменательное для его родных мест время. Они стали быстро утрачивать свое прежнее значение и клониться к упадку. Гениальный Преобразователь государственной и экономической жизни России, вдохновлявший деяниями своими и давший направление всей жизни и деятельности Ломоносова, посетил три раза север именно для того, чтобы убедиться в исторической ошибке народа и для исправления ее дать народным стремлениям другое направление и указать новые пути. Лучший из них, на юг в плодородные черноземные степи, царю не удался, но зато новый путь на запад, обеспечивающий сближение с Европой посредством Балтийского моря, был прочно установлен великим хозяином еще при жизни. Петербург нанес сильный и верно рассчитанный удар Архангельску со всеми его ближними и дальними пригородами и волостями. В экономической жизни не только лесного севера, но и всей России произошел затем неожиданный и крупный переворот, который завершился последующими великими событиями: приобретением новороссийских степей и Черного моря. С этого времени упадок севера стал очевидным, и нынешнее печальное положение его едва ли уже исправимо. Мы в настоящем очерке именно потому и принуждены были дольше останавливаться на истории северного края, что существеннейший интерес народной жизни его теперь весь заключается в прошлом.

В прошлом народной жизни на севере — приобретение на Христово и русское имя новых диких стран, лежавших до тех пор впусте и без пользы, оживление их благотворным земледельческим трудом, установление торговых сношений для обмена богатств, открытие удобных мест для сношений с иностранными государствами и в то же время, по скудости почвы, развитие

промышленного духа и вместе с тем непрестанные передвижения в направлении на восток в расчете на приобретение лучших мест для земледелия и более выгодных для промысла. XV век в особенности замечателен по развитию на лесистом севере народной колонизации, дошедшей в следующем веке до своего апогея, когда обеспечению оседлости стали помогать различные благоприятные случайности и между прочим открытие иностранными кораблями входа в Северную Двину. В конце XVI века русские люди упрочились уже на далекой Печоре и ее левых притоках и пробили три пути за Уральский хребет, а вскоре перешли его уже не для временного обмена продуктами промыслов, а на вечное житье, «на пашню» в таких же земледельческих общинах. XVII век в этом отношении ознаменовался тем, что к свободным переселениям присоединило правительство вынужденные: за разные вины городских обитателей ссылали их в Сибирь целыми городами. С легкой руки Ивана Грозного, разорившего Новгород и переселившего из него лучших граждан, Борис Годунов из углицких горожан основал в Сибири Пелым-город, за покровительство ссыльным Романовым опустошил для той же цели Каргополь. Конец XVII века выразился для северного лесистого края новым наплывом свободных людей, побежавших от казни за приверженность к старому кресту и книге и за сопротивление властям. Край снова начал было оживляться и облюдел, однако, в таких лишь размерах, которые возможны были при постоянных тревогах и организованных преследованиях. Когда Петр I проложил дорогу на запад и хорошо успел обеспечить ее на первых же порах, а Сибирь в то же время стала вполне известною,— движение на север окончательно остановилось и получило решительное направление на восток. Лесистый север, издревле игравший роль проходной дороги, сделался как бы сборным пунктом для выселенцев в иные страны и получил значение как бы передаточного места. Недремлющие силы могучей природы снова вступили в права. Стали зарастать проторенные дороги, и на возделанных людским трудом местностях начались те перемены вида и характера их, которые так любит природа. Там, где земледелец вызвал из елового леса пашню, укрепился смешанный лес; где он охранял луга, вырос березник; где засорил реки,

понизил русла, увеличил через то размеры весенних разливов, там стали скопляться стоячие воды, образовались безнадежные болота и на лучший конец *уремы,* т. е. поемные леса или кустарники. Если и удалось людям значительно изменить физиономию лесистых мест — осушить болота, переменить направление речных русл, измельчить озера и сократить их береговые очертания, даже многие совершенно уничтожить, — тем не менее вступившая в свои права лесная природа затерла на лице земли не только одинокие людские жилья, но успела скрыть от любопытных глаз археологов людные города и воинствовавшие остроги. Если на остатках дворца петровских времен на кончезерских марциальных водах, принадлежащего царице Прасковье Федоровне, давно вырос лес, то может ли быть что-либо удивительного в том, когда целые ряды курганов в самых глухих трущобах характерно знаменуют покинутые жилья? Места многих летописных городов еще до сих пор с точностью не определены, а другие и совсем не отысканы. Иные города (Орлец, Чаронда) едва приметны теперь по слабым признакам земляных валов, беспощадно размываемых дождями и весенними разливами. Другие превратились в жалкие села, как Кевроль и такое некогда знаменитое место, как Усть-Вымь, где была кафедра св. Стефана Пермского и куда сбиралась для молитвы и торговли вся Зырянская страна. Особенно пострадали от перелива населения с севера те города, которые сохранили свои места и имена до настоящего времени. (...) Помог также упадку лесного севера тот же пушной зверь, который, между прочим, служил приманкой в этих лесах: соболь ушел в Сибирь, где стал путеводителем к открытию новых стран. Уничтожение и ослабление в продуктах промысла, столь характерное на великорусском севере, обращало земледельцев снова к пашне, к чрезмерным и безнадежным трудам, а стало быть, и к последовательному выселению на новые и сытые места, «от нужи да от потугов не по силам», как привычно жаловались в старину.

На счет великорусского севера устроилась Сибирь, и выходцам отсюда привелось там (как устюжанину Ерофею Хабарову, покорителю Амура) заслужить даже историческую известность. Не говорим уже о том, что все старожилы сибирских городов считают свое

происхождение из северных лесистых губерний, а все именитые купцы и торговцы — несомненные выходцы из городов Вологодского края (Великого Устюга, Вологды, Усть-Ваги, Тотьмы и проч.). Такие переселения и до настоящего времени не теряют своего значения, особенно в виду того обстоятельства, что сибирские соблазны растут и в глазах практических промышленных людей страна эта получает новую привлекательность.

Когда население великорусского севера все теснится к рекам и большая часть селений не живет больше как 3—4 избами вместе и на расстоянии иногда 50—60 и 80 верст одно от другого, — в Сибири деревни и села тянутся в длину на целые версты. Всякое вновь открытое и объявленное место не медлит населиться охотливыми пришельцами из неблагодарных стран племенной лесной родины. Только исключительно на них основывается вся прочная оседлость молодой и богатой страны, еще далеко не оцененной и не початой. В то время, когда все без исключения северные города приходят в упадок и год за годом теряют многое и существенное из своих приобретений, великорусский юг поражает необычайною, сказочною силою роста. На смену жалкой Вологды, совсем захудавшего Устюга, обезлюдевших Холмогор и Вычегодской Соли выступают Таганрог, Донской Ростов, Херсон и Одесса, в десятки лет скопляющие десятки тысяч свежего населения.

История великорусского севера кончилась. Его монотонная, навевающая грусть песня обрывается и замирает в сильных тонах новой, заводимой свежими и сильными голосами, не здесь, а совсем в противоположном месте.



ПРИМЕЧАНИЯ

Сборник «Избранное» является первой попыткой представить творчество С. В. Максимова в его лучших и наиболее характерных образцах. При подготовке тома избранных произведений писателя составитель стремился к наибольшей объективности в подборе сочинений — именно поэтому он руководствовался не только собственным вкусом, но и теми оценками, которые давались различным сочинениям Максимова его современниками. Вторым обстоятельством, игравшим роль при отборе произведений, была новизна, оригинальность материала для современного читателя. Так, например, при выборе статей из книги «Крылатые слова» предпочтение отдавалось, во-первых, тем, которые посвящены толкованию выражений, и сегодня бытующих в языке, а во-вторых, тем, которые представляют самостоятельный интерес в силу приводимых автором исторических и этнографических свидетельств.

Обилием первоклассных книг и очерков продиктовано стремление дать читателю, при ограниченном объеме, наиболее отчетливое представление об основных трудах писателя, показать его творчество с возможно большего числа сторон. Отсюда — необходимость в некоторых сокращениях, которые, впрочем, нигде не касаются существенных содержательных моментов. Опущены, в основном, приметы времени, представлявшие интерес для современников Максимова (цены, статистика и т. п.), но ничего не говорящие сегодняшнему читателю. Иные главы из произведений писателя сокращены за счет тех мест, которые служат для связки с предыдущим и последующим изложением,— таким образом, этим главам придан облик самостоятельных, законченных произведений. Все случаи сокращений обозначены отточием в скобках — (...) — и, кроме того, оговариваются ниже в примечаниях. Большинство произведений печатается по собранию сочинений Максимова, изданном товариществом «Просвещение» в 20 томах (Спб, 1908—1913) со сверкой текста по прижизненным изданиям.

Из книги «Лесная глушь»

«Извозчики»

стр. 28 *ямы* — ям, дорожная станция, на которой меняли лошадей.

стр. 30 *красные товары* — мануфактура, ткани.

чумачество — чумаками называли возчиков, доставлявших хлеб из черноземных губерний России к портам Черного моря.

стр. 31 *шашейные* — шоссейный сбор, взимавшийся с каждого экипажа на заставах, стоявших при выезде из городов.

стр. 35 *претендовать* — в данном случае означает «быть в претензии».

стр. 42 *питерщики* — плотники, ходившие «в отход», на заработки (преимущественно в столицу — отсюда и прозвище).

стр. 43 *гужеед* — прозвище, данное кучерам, вероятно, за то, что у одноконных повозок велик расход гужей (сыромятных ремней или, редко, мочальных плетей), которыми оглобли телеги крепятся к дуге. На тройке в оглоблях идет только «коренник», а две «пристяжные» тянут постромки. Следовательно, расход гужей у троечника относительно ниже.

стр. 48 *осенняя Казанская* — 22 октября старого стиля, установлена в память освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 г.

стр. 51 *онучи и оборы* — онучи — род обмоток, портянок; оборы — завязки лаптей, обматываемые кругом онучей.

«Сергач». Впервые опубликовано в «Библиотеке для чтения», 1854, кн. XI.

стр. 55 *летняя Казанская* — 8 июля старого стиля.

стр. 61 *сиделец* — продавец вина в кабаке.

стр. 69 *целовальник* — то же, что сиделец.

стр. 70 *падог* — батог, палка.

копыл — прялка.

стр. 72 *тябло* — полка для икон.

коник — ларь в избе, крышка которого используется как скамья.

стр. 77 *позорище* — в старорусском языке — зрелище; здесь — погляденье, потеха.

сулой — вода с мукой и закваской.

стр. 78 *борты* — или борти. Борть — пчелиный улей, выдолбленный из цельного куска дерева.

«Грибовник» и «Пастух» составляют, по сути дела, две части одного произведения, впервые опубликованного под названием «Встреча» в «Библиотеке для чтения», 1855, кн. VI.

стр. 80 *чеснок* — честнок, частокол.

стр. 86 *кортомить* — арендовать.

стр. 98 *векша* — белка.

стр. 99 *новина* — см. «У черта на куличках» из раздела «Крылатые слова» (с. 395).

«Нижегородская ярмарка»

стр. 125 *апраксинские* — имеется в виду Апраксин двор в Петербурге.

Новинское — в то время — подмосковная местность, где устраивались ярмарки и народные гуляния.

стр. 135 *парочка* — 2 фарфоровых чайника — большой для кипятку, малый для заварки.

стр. 145 *тавлинка* — табакерка для нюхательного табака.

«Колдун».

стр. 150 *удельные* — крестьяне, принадлежавшие казне и, следовательно, не знавшие власти определенного владетеля. По понятиям окружавших помещичьих крестьян, «казенные» считались едва ли не вольными хлебопашцами.

стр. 152 *светлые пуговицы* — блестящие форменные пуговицы, принадлежность мундира государственного или земского чиновника.

стр. 153 *нали* — так что, даже.

стр. 157 *мурий* — муравей.

стр. 161 *соцкий, сотский* — выборная должность для крестьян. Сотский выполнял в деревне полицейские функции.

стр. 162 *сбойливый* — крепкий, плотный.

шлык — женский головной убор.

стр. 163 *волостное* правление, состоявшее из волостного старшины, старост и писаря, ведало делами сельского округа.

стр. 165 *старый крест, прежний крест* — старообрядцы крестились двумя пальцами, а все остальные православные христиане — тремя.

стр. 166 *большаки* — главы семей.

раменья — см. «Баклуши бить» (с. 382) в разделе «Крылатые слова».

стр. 167 *станового на мертвое тело выжидали* — ожидали приезда полицейского чиновника для разбирательства о найденном на землях сельской общины теле убитого или самоубийцы.

«Повитуха-знахарка». Первая публикация — «Русское слово», 1859, кн. IV.

стр. 169 *уповод* — срок, определенный период времени продолжительностью от 2 до 4 часов, обычно уповоды считали от одного до другого приема пищи и между основными моментами светового дня (восход, полдень, закат).

стр. 170 *моторить* — тошнить.

стр. 178 *повит,* поветь — крытый двор, сеновал.

стр. 188 *крашенина* — крашеный домотканый холст, обычно синий.

кросны, кросна, кросно — домотканый холст, снятый со станка неразрезанным, «трубкой».

голик — веник.

стр. 191 *Васильев вечер* — 31 декабря.

четверговая соль освящается в церкви в страстной четверг, когда идет служба в воспоминание тайной вечери, предшествовав-

шей распятию Христа. По представлениям верующих, обладает целебной силой.

стр. 191 *день Трех Святителей* — 30 января.

Василий-Капельник — 28 февраля (в северных губерниях считали 7 марта).

Марья Египетская — 1 апреля

Егорий вешний — 23 апреля.

Сретеньев день — 2 февраля.

Иван-Купальник, или Купала — 24 июня.

Прокофий-Жатвенник — 8 июля.

Илья-Пророк — 20 июля.

первый Спас — 1 августа.

стр. 192 *Усекновение главы Предтечи Иоанна* — 29 августа.

Андрей Первозванный — 30 ноября.

шугай — женская кофта с отложным воротником.

стр. 194 *поезд* — вереница саней или телег, везущая молодоженов и их родителей к венцу и из-под венца.

стр. 197 *прасол-булыня* — бродил по деревням и скупал у крестьян лен, холсты, пеньку, щетину и т. п. для перепродажи на торгах и ярмарках.

Из книги **«Год на Севере»**

«Поездка в Соловецкий монастырь»

стр. 203 *аглечкой* — английские военные суда, участвовавшие в морской блокаде России во время Крымской войны 1853—1855 гг.

луда — губа, мель.

стр. 208 *салма* — прилив.

стр. 210 *корга* — каменистая отмель, обнажающаяся во время отлива.

стр. 215 *московского войска, осаждавшего монастырь...* — даты, указываемые Максимовым, не соответствуют данным, приводимым современными историками. По сведениям БСЭ (т. 24 (I), стб. 454), осада монастыря длилась с июня 1662 по январь 1676 года.

стр. 216 *белец* — послушник, живущий в монастыре, но не принявший пострига в монахи.

стр. 218 *Киновия* — общежительный монастырь.

стр. 222 *тиун* — приказчик, управляющий.

доводчик — доносчик.

первый мирный — первый год после окончания Крымской войны.

стр. 223 *белуга* — правильно белуха, род тюленя.

стр. 224 *скоромные дни* — дни, когда разрешается употребление в пищу продуктов животного происхождения (мясо, молоко, яйца и т. п.).

стр. 232 *лития* — богослужение, совершаемое вне храма.

стр. 234 *сорока* — женский головной убор.

стр. 236 *волоковое окно* — окно для вытяжки дыма в избах, топившихся «по-черному».

вагана-шенкурца и *холмогора-заугольника* — традиционные прозвища жителей Шенкурска и Холмогор, городов Архангельской губернии.

«Печорский князь». Цензура неоднократно налагала запрет на печатание этого очерка, и он увидел свет только в 1887 г. («Русская мысль», кн. XII), спустя тридцать лет после поездки Максимова на Печору. В переиздании «Года на Севере» он напечатан в 1890 г.

стр. 238 *онагдысь* — недавно, на днях.

стр. 239 *никоновой щепотью* — то есть креститься троеперстием — тремя пальцами, сложенными вместе.

обливанец — то есть при крещении не погружен в купель, а облит водой.

стр. 248 *капитан Борозда* — имеется в виду приписываемая А. С. Пушкину эпиграмма:

Накажи, святой угодник,
Капитана Борозду...

. . . .

стр. 256 *Камень* — Урал.

стр. 258 *самоед* — ненец.

зырянин — коми.

«Берестяная книга»

стр. 274 *руда* — кровь.

<К офеням>. Отрывок из «Введения» к книге «На Востоке». Заглавие дано составителем.

стр. 290 *кутейник* — шуточное прозвище церковных служек.

стр. 291 *дворник* — в данном случае содержатель постоялого двора.

Из книги **«Сибирь и каторга»**

«На каторге»

стр. 324 *братский* — бурят.

стр. 330 *остяк* — ханты.

баранта, барымта — угон лошадей.

стр. 331 *пали* — частокол.

стр. 336 *официальное наказание, послужившее... образцом* — наказание шпицрутенами в строю солдат.

стр. 339 *приметы в казенных паспортах* — в дореволюционной России в паспорте не было фото владельца, а перечислялись лишь общие приметы: рост, цвет волос, глаз и т. п.

стр. 346 *фальки и бардадымы* — пиковые восьмерки и короли черной масти.

стр. 350 *аматер* — любитель.

стр. 351 *сигнатурка* — ярлык с названием лекарства.

Из книги «Крылатые слова»

«На улице праздник»

стр. 378 *жег старинных попов* — см. «Царь-огонь» (с. 460—461).

«Баклуши бьют»

стр. 380 *две реки* — Волга и Ока.

стр. 381 *круглые расписные чаши* — хохломская роспись.

стр. 383 *блонь,* заболонь — белый, подкорный слой на стволе дерева.

«Лясы точат»

стр. 386 *повалуши* — башенки.

«У черта на куличках»

стр. 396 *калугере* — звательный падеж (ныне вышедший из употребления) от слова «калугер»— монах.

«Бобы разводить»

стр. 400 *росной ладан* — пахучая смола.

«Курам на смех»

стр. 404 *подать... с дыма* — то есть с каждого двора (очага).

«Правда голая»

стр. 415 *Пилат... просил объяснения* — имеется в виду вопрос римского наместника Иудеи Понтия Пилата, обращенный к Иисусу Христу: «Что есть истина?»

«Брататься»

стр. 420 *вотяки* — удмурты.

«Накануне»

стр. 426 *день перелома лета* — день летнего солнцестояния.

Из книги «Нечистая, неведомая и крестная сила»

«Царь-огонь»

стр. 456 *времена безверия* — дохристианские, языческие времена.

«Мать-сыра-земля»

стр. 482 *загон* — пахотная полоса земли.

стр. 483 *антидор* — церковный хлебец, просфорá.

евхаристия — причастие.

стр. 484 *Параскева-пятница* — 14 октября старого стиля.

Яков-апостол — 9 октября.

стр. 486 *Вознесеньев день* — «переходящий» праздник в апреле или мае.

вешний Никола — 9 марта.

Произведения, не входившие в сборники

«Чухлома». Вторая часть очерка «Авраамиев монастырь и город Чухлома», впервые опубликованного в «Живописном сборнике», 1858, № 1, 2.

«Лесные жители». Впервые опубликовано в многотомном издании М. О. Вольфа «Живописная Россия» — т. I, ч. I. Спб, 1881.

СОДЕРЖАНИЕ

Странник. Вступительная статья 5

Из книги «Лесная глушь»

Извозчики 28
Сергач 52
Грибовник 80
Пастух 99
Нижегородская ярмарка 118
Колдун 147
Повитуха-знахарка 169

Из книги «Год на Севере»

Поездка в Соловецкий монастырь 202
Печорский князь 237
Берестяная книга 270

Из книги «На Востоке»

<К офеням> 288

Из книги «Сибирь и каторга»

На каторге 316

Из книги «Крылатые слова»

Впросак попасть 370
На улице праздник 374
Баклуши бьют 380
Лясы точат 385
Лапти плетут 386
На воре шапка горит 388
У черта на куличках 393
С коломенскую версту 397
Долгий ящик и московская волокита 398
Бобы разводить 399
Курам на смех 401
Голубей гонять 404
Дело в шляпе 409
Беспутный 409
Нет проку 411
Правда в ногах 413
Правда голая 414

Грех пополам 416
Гол, как сокол 417
Дым коромыслом 419
Брататься 420
Шиворот-навыворот 421
Чур меня 422
Накануне 426
Русский дух 429
Скандачок 431
Затрапезный 433
За пояс заткнуть 435
Спустя рукава 438
Хоть святых вон выноси 439
Щелкопер 441

Из книги «Нечистая, неведомая и крестная сила»

Плотники и печники 444
Царь-огонь 449
Мать-сыра-земля 469

Произведения, не входившие в сборники

Чухлома 490
Лесные жители 501
Примечания 552

Сергей Васильевич Максимов

ИЗБРАННОЕ

Редактор **В. М. Курганова**
Художественный редактор **Г. В. Шотина**
Технический редактор **И. И. Капитонова**
Корректоры **З. И. Шехмейстер** и **Т. А. Лебедева**

ИБ № 2323

Сдано в набор 21.01.81. Подписано в печать 16.09.81. А06605. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 29,40. Уч. изд. л. 30,77. Тираж 200.000 экз., 2-й завод (50.001—200.000). Зак. 471. Цена 2 р. 80 к. Изд. инд. ЛХ-239.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Отпечатано с матриц типографии им. Смирнова Смоленского облуправления издательств, полиграфии и книжной торговли на Книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь, Московской области, ул. им. Тевосяна, д. 25.

2
5
9
.
3
5
8
9
1
4
9
9
90
01
52

8 1/32.
ı. л.
471.

по
апу-

ения
Рос-
ьств.
. им.


СЕРГЕЙ
МАКСИМОВ